ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ

В. О. Ключевский

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую» – в этом афоризме выдающегося русского историка Василия Осиповича Ключевского выразилось его собственное научное кредо. Ключевский был замечательным лектором: чеканность его формулировок, интонационное богатство, лаконичность определений завораживали студентов. Литографии его лекций студенты зачитывали в буквальном смысле до дыр.

«Исторические портреты» В.О.Ключевского – это блестящие характеристики русских князей, монархов, летописцев, священнослужителей, полководцев, дипломатов, святых, деятелей культуры.

Издание основывается на знаменитом лекционном «Курсе русской истории», который уже более столетия демонстрирует научную глубину и художественную силу, подтверждает свою непреходящую ценность, поражает новизной и актуальностью.

- Василий Осипович Ключевский
  - Предисловие[1]
  - Правители Русского государства
    - Первые Киевские князья
    - Андрей Боголюбский
    - Иван III
    - Иван Никитич Берсень-Беклемишев и Максим Грек
    - Иван Грозный
    - Царь Федор
    - Борис Годунов
    - Лжедимитрий I
    - Василий Шуйский
    - Лжедмитрий II
    - Царь Михаил Романов
    - Царь Алексей Михайлович
    - Петр Великий
    - Екатерина I
    - Петр II
    - Анна Иоанновна
    - Елизавета I
    - Петр III
    - Екатерина II
    - Павел I

        - Александр I
        - Николай I
        - Александр II
    - Созидатели земли русской
        - Добрые люди Древней Руси
        - Нестор И Сильвестр
        - Сергий Радонежский
        - Иван Никитич Берсень-Беклемишев и Максим Грек
        - Нил Сорский и Иосиф Волоцкий
        - К.Минин и Д.М. Пожарский
        - Патриарх Никон
        - Симеон Полоцкий
        - А. Л. Ордин-Нащокин
        - Князь В.В. Голицын
        - Князь Д.М. Голицын
        - Н.И. Новиков
        - М.М. Сперанский
        - А.С. Пушкин
        - Декабристы
        - Н.М. Карамзин
        - К.Н. Бестужев-Рюмин
        - С.М. Соловьев
        - Т.Н. Грановский
    - Приложение
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18

- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35

Василий Осипович Ключевский
Исторические портреты

Предисловие [1]
Зачем человек существует или желает существовать на свете, или О взгляде художника на обстановку и убор изображаемого им лица

Человек – главный предмет искусства. Художник изображает его так, как он сам себя выражает или старается выразить. А человек любит выражать, обнаруживать себя. Понятно его побуждение: мы любим понимать себя и стараемся, чтобы и другие понимали нас так же, как мы сами себе представляемся.

Говорят, лицо есть зеркало души. Конечно, так, если зеркало понимать как окно, в которое смотрит на мир человеческая душа

и чрез которое на нее смотрит мир. Но у нас много и других средств выражать себя. Голос, склад речи, манеры, прическа, платье, походка, – все, что составляет физиономию и наружность человека. Все это – окна, чрез которые наблюдатели заглядывают в нас, в нашу душевную жизнь. И внешняя обстановка, в какой живет человек, выразительна не менее его наружности. Его платье; фасад дома, который он себе строит; вещи, которыми он окружает себя в своей комнате, – все это говорит про него. И, прежде всего, говорит ему самому, кто он и зачем существует или желает существовать на свете. Человек любит видеть себя вокруг себя и напоминать другим, что он понимает, что он за человек.

Обстановку, какой окружает себя человек дома и в какой он выходит на улицу, вид, в каком он появляется в обществе, художнику необходимо наблюдать и надобно уметь, т. е. привыкнуть наблюдать. На это есть свои правила и приметы. Когда вы входите в кабинет к человеку со средствами, у которого все просто и опрятно, по стенам ни одной картинки, на столе ни одной фотографии, никакой блестящей безделки и даже лампа какая-то матовая, будьте уверены, что перед вами человек замкнутый, но доброжелательный, очень мало интересующийся вами при первой встрече, но человек с подвижным и сильным воображением, не нуждающимся во внешних возбуждениях, и, по вашем уходе, он мысленно сделает из вас что угодно, вылепит какой угодно идеал, и уж непременно запомнит вас надолго, если только вы оставили в нем сколько-нибудь благоприятное впечатление.

Красная площадь в Москве

Я раз пришел к очень богатому барину. В маленьком кабинете, на антресолях его собственного дома, я заметил несколько худеньких стульев, кожаный сильно просиженный рваный диван, небольшой письменный стол на курьих ножках с озеровидными пятнами на потертом зеленом сукне. Человек в опрятном фраке и безукоризненных белых перчатках на дорогом подносе поставил на стол кофе, и при этом передвинул стоявшие на нем два подсвечника. Тут я заметил, что это были бронзовые подсвечники старинной работы, ценное качество которой без труда почувствовал даже мой несведущий в таких вещах глаз. Мы долго и оживленно говорили о предмете, сильно его занимавшем, он с видимым любопытством меня выслушивал, при прощанье крепко жал мне руку за полученные сведения, а через неделю при встрече в гостях не узнал меня. Есть люди, которые любят щеголять нарядными драгоценными рубищами, чтобы заставить людей запомнить себя, и забывают о собеседнике тотчас, как только расстаются с ним.

Человек украшает то, в чем живет его сердце, во что кладет он свою душу, свои умственные и нравственные усилия.

Современный человек, свободный и одинокий, замкнутый в себе и предоставленный самому себе, любит окружать себя дома всеми доступными ему житейскими удобствами, украшать, освещать и согревать свое гнездо. В Древней Руси было иначе. Дома жили неприхотливо, кой-как. Домой приходили как будто только поесть и отдохнуть, а работали, мыслили и чувствовали где-то на стороне. Местом лучших чувств и мыслей была церковь. Туда человек нес свой ум и свое сердце, а вместе с ними и свои достатки. Иностранцы, въезжая в большой древнерусский город, прежде всего, поражались видом многочисленных каменных церквей, внушительно поднимавшихся над темными рядами деревянных домиков, уныло глядевших своими тусклыми слюдяными окнами на улицу или робко выглядывавших своими трубами из-за длинных заборов.

В 1289 г. умирал на Волыни, в местечке Любомли, Владимир Васильевич. Это был очень богатый, могущественный и образованный для своего времени князь, построивший несколько городов и множество церквей, украшавший церкви и монастыри дорогими кованными иконами с жемчугом, серебряными сосудами, золотом шитыми бархатными завесами и книгами в золотых и серебряных окладах. Он умирал от продолжительной и тяжкой болезни, во время которой лежал в своих хоромах на полу на соломе. Или возьмем жившего немного позднее московского князя Ивана Даниловича Калиту. Это был один из самых сильных и богатых князей, если не сильнейший и богатейший князь Северной Руси в начале XIV в., отличавшийся притом большим скопидомством. Между тем, перечисляя в своей первой духовной грамоте (не позднее 1328 г.) наиболее ценную домашнюю движимость, которую он оставлял своим наследникам, он прописывает 12 золотых цепей, 9 поясов золотых и несколько серебряных, женское ожерелье, монисто, 14 женских обручей, чело (женский головной убор. – *Прим. ред.*), гривну, 7 кожухов и кафтанов, золотую шапку, 6 золотых чаш и чар, 17 штук блюд и другой посуды золотой и серебряной и золотую коробочку, – все это, как видите, можно уложить в один порядочный сундук.

Теперь обстановка и убор человека далеко не имеют того значения, какое они имели в старые времена. Современный человек обставляет и убирает себя по своим понятиям и вкусам, по своему взгляду на жизнь и на себя, по той цене, какую он дает самому себе и людскому мнению о себе. Современный человек в своей обстановке и уборе ищет самого себя или показывает себя другим, афиширует, выставляет свою личность и потому заботится о том, чтобы все, чем он себя окружает и убирает, шло ему к лицу. Если исключить редких чудаков, мы обыкновенно

стараемся окружить и выставить себя в лучшем виде, показаться себе самим и другим даже лучше, чем мы на самом деле.

Вы скажете: это суетность, тщеславие, притворство. Так, совершенно так. Только позвольте обратить ваше внимание на два очень симпатичные побуждения. Во-первых, стараясь показаться себе самим лучше, чем мы на деле, мы этим обнаруживаем стремление к самоусовершенствованию, показываем, что хотя мы и не то, чем хотим казаться, но желали бы стать тем, чем притворяемся. А во-вторых, этим притворством мы хотим понравиться свету, произвести наилучшее впечатление на общество, т. е. выражаем уважение к людскому мнению, свидетельствуем почтение к ближнему, следовательно, заботимся об умножении удобств и приятностей общежития, стараемся увеличить в нем количество приятных впечатлений.

Видимая суетность и тщеславие становится вспомогательным средством или орудием альтруизма. Конечно, мы улыбаемся при виде иной дамы в пожилых летах и с юным сердцем, которая любит рядиться в молодые цвета. Но вы отдадите справедливость ее доброму намерению: скрывая свой пожилой возраст, она ведь отклоняет вас от мысли о неприятности, которая ждет и каждого из вас.

В старые времена личности не позволялось быть столь свободной и откровенной. Лицо тонуло в обществе, сословии, корпорации, семье, должно было своим видом и обстановкой выражать и поддерживать не свои личные чувства, вкусы, взгляды и стремления, а задачи и интересы занимаемого им общественного или государственного положения. Над личными вкусами и понятиями, даже над личными доблестями, царили общеобразовательное приличие, общепризнанный обычай. В настоящее время зачастую встречаешь гимназиста, который идет с выражением Наполеона I или, по меньшей мере, Бисмарка, хотя в кармане у него балльная книжка, где все двойка, двойка и двойка. Встречаешь порой и гимназистку, особенно в очках, что теперь не редкость, которая смотрит императрицей Екатериной II или даже самой Жорж Санд, хотя это просто Машенька Гусева с Зацепы и больше ничего. Теперь такие несвойственные возрасту и положению выражения величия вызывают только веселую улыбку, а в старину они навлекли бы строгое внушение.

В прежние времена положение обязывало и связывало, обстановка, как и самая физиономия человека, в значительной мере имела значение служебного мундира. Каждый ходил в приличном состоянию костюме, выступал присвоенной званию походкой, смотрел на людей штатным взглядом. Занимал человек властное положение в обществе – он должен был иметь властные

жесты, говорить властные слова, глядеть повелительным взглядом, с утра до вечера не скидать с себя торжественного костюма, хотя бы все это было ему тяжело и противно. Родился князем Воротынским – поднимай голову выше и держи себя по-княжески, по-воротынски, а стал монахом – так и складывай смиренно руки на груди и береги глаза, опускай их долу, а не рассыпай по встречным и поперечным. Словом, «назвался груздем, так полезай в кузов».

Когда древнерусский боярин в широком охабне и высокой горлатной шапке выезжал со двора верхом на богато убранном ногайском аргамаке, чтобы ехать в Кремль челом ударить государю, всякий встречный человек меньшего чину, по костюму, посадке и самой физиономии всадника, видел, что это действительно боярин, и кланялся ему до земли или в землю, как требовал обычай, потому что ведь он – «столп, за который весь мир держится», – как однажды выразился про родовитых бояр знаменитый, но неродовитый князь Пожарский. Появись он на улице кой-как, запросто, в растрепанном виде, с легкомысленными, смеющимися глазами, он только неприятно смутил бы встречных, как смутились бы молящиеся в соборном храме, если бы, при полном праздничном освещении, среди всего церковного благолепия, из Царских дверей вышел владыка-митрополит в рубище и с улыбкой на устах.

Припоминаю один давний случай. Давали благотворительный концерт с участием какой-то дивы и с очень повышенными ценами. В первом ряду сидел в блестящих мундирах, фраках и туалетах цвет местного общества. К распорядителю, принимавшему у входа билеты, подходит скромно одетая и со скромным видом дама и подает один из первых нумеров. Подозрительный и неловкий распорядитель посмотрел на билет, потом на даму, потом опять на билет и имел неосторожность спросить: «Позвольте узнать, как ваша фамилия?» – «Княгиня такая-то», – тихо ответила дама, выговорив такую фамилию, от которой у распорядителя зарябило в глазах, и он, растерянно извиняясь, повел ее к первому ряду, который встал весь при ее появлении.

В старые времена житейская обстановка предотвращала подобные недоразумения. Отдельные лица прятались за типами; внешними признаками резко отмечались и различались целые классы людей, общественные состояния, а классы, состояния рассматривались не как простые случайности рождения или капризы счастья, а как естественные нормы жизни или предначертания всем правящей всевышней десницы: кому что на роду написано, судьба.

Если вы потрудитесь вникнуть в логику такого исторического разума гения, который строил формы и отношения людского общежития, вам не покажутся странными некоторые явления старинной русской жизни, с которыми вы можете встретиться, изучая русские исторические памятники для своих художественных композиций. Столь известная в истории раскола, небезызвестная в русской живописи Федосья Прокофьевна Морозова, урожденная Соковнина, была большая московская боярыня времен царя Алексея Михайловича. Она была замужем за родным братом боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя и свояка этого царя, и обладала огромным богатством: у ней было 8 тыс. душ крестьян; дома ей прислуживало человек 300 челяди. В дому у нее всякого добра было больше чем на два с половиной миллиона рублей на нынешние деньги. После, когда ей пришлось встать за благочестие, хотя и ложно понятое, что она считала старой истинной верой, двуперстие и сугубую аллилуйю, она показала, как она мало дорожит всеми дарованными ей житейскими благами, и честью при дворе, и золоченой кроватью дома, не побоялась ни допросов, ни сырого боровского подземелья, куда ее посадили. А посмотрите, как она, оставшись молодой вдовой, в «смирном образе», по-нашему в трауре, выезжала из дома: ее сажали в дорогую карету, украшенную серебром и мозаикой, в шесть или двенадцать лошадей, с гремячими цепями. За нею шло слуг, рабов и рабынь человек со сто, а при особенно торжественном поезде – с двести и с триста, оберегая честь и здоровье своей государыни-матушки. Царица ассирийская, да и только, скажете вы, – раба суеверного и тщеславно пышного века! Хорошо.

В. Суриков. **Боярыня Морозова**

Перейдем к концу XVIII столетия, в век Вольтера, Руссо и императрицы Екатерины II, эпоху разума, свободы, равенства и естественной простоты, когда под горячими лучами разгоревшейся человеческой мысли таяли людские суеверия и предрассудки. Вице-канцлер Екатерины II граф Иван Андреевич Остерман был сын любимца Петра Великого, барона Андрея Ивановича Остермана. Этот вице-канцлер был образованный, неглупый и богатый дипломат, в домашней жизни не любил роскоши, держал себя важно, но без гордости. На Святой неделе, когда в Петербурге бывало народное гулянье с качелями, он любил поглядеть, как веселится народ. Посмотрите, в какой обстановке появлялся он на гульбище. Он приезжал один в одноместной позолоченной карете с большими стеклами, точно фонарь, на шестерке белых лошадей; на запятках стояли два гайдука в голубых епанчах, из-под которых выглядывали казакины с серебряными снурками, а на головах высокие картузы с перьями и с серебряными бляхами на лицевой стороне, на которых виден был именной вензель господина; перед лошадьми шли два скорохода с булавами в руках, в нарядных костюмах, в щегольских чулках и башмаках, какая бы ни была слякоть. Ныне появление в такой обстановке придало бы народному гулянью характер публичного маскарада под открытым небом и было бы встречено веселым хохотом. Сто лет назад эту процессию столичная толпа встречала с обнаженными головами и почтительным шепотом: «Его сиятельство граф Остерман едет!»

В. Васнецов. **Три девицы**

Конечно, и в современной жизни много условного, ненужного для прямых целей общежития, но удобного для прикрытия его недостатков. Люди, которым приходится видаться, но не о чем говорить, поневоле говорят о политике и погоде, чтобы не смотреть молча в глаза друг другу. Но эти условности, еще удержавшиеся в жизни по привычке или необходимости, эти переживания быстро теряют свою обязательность в общем сознании или в общественном мнении. Все более торжествует мысль, что каждый имеет право быть самим собой, если не мешает другим быть тем же и не производит общего затруднения. Мы улыбнемся при виде вороны в павлиньих перьях, но едва ли осудим ее в душе – за что? Если она умеет носить их прилично, и не задевая ими простых неукрашенных ворон. В старые времена, при других понятиях и нравах, такая своеобычность была менее удобна и, во-первых, не совсем безопасна. Общественное мнение было более завистливо и нетерпимо, не выносило ничего выдающегося, незаурядного, своеобразного. Будь как все, шагай в ногу со всеми – таково было общее правило.

Известно, что в Древней Руси дамы любили белиться и румяниться. Может быть, в этом обычае был свой смысл: он делал красивых менее красивыми, а дурных приближал к красивым и, таким образом, сглаживал произвол судьбы в неравномерном распределении даров природы. Если так, то обычай имел просветительно-благотворительную цель, заставляя счастливо одаренных поступаться долей полученных даров в пользу обездоленных. Но духовенство не благоволило к обычаю, подозревая в нем иные, худшие побуждения. Однако были софисты, которые замысловато оправдывали этот обычай.

Вот что случилось в 1653 г. в доме муромского воеводы. В праздник собрались к нему гости. Пришел и протопоп Логгин и, благословляя хозяйку, спросил: не белишься ли? Гости вместе с хозяином подхватили это слово и накинулись на батюшку. Так что же, что белится? Ты, протопоп, белила хулишь, а ведь без белил и образов не пишут. Рассерженный отец Логгин жестко возразил: «Да если таким составом, каким иконы пишутся, ваши рожи намазать, так всем это, пожалуй, и не понравится». Однако от воеводы полетел в Москву донос к патриарху, что-де муромский протопоп Логгин хулит иконы.

Один иноземец, бывший в Москве при царе Михаиле, рассказывает, что одна красивая московская боярыня не хотела белиться и румяниться. Тогда все дамы боярского круга взъелись на нее: «Она осрамить нас вздумала: я-де солнце, а вы оставайтесь тусклыми свечками при солнечном сиянии», и чрез мужей заставили-таки красавицу подчиниться обычаю: гори-де и

ты, подобно нам, тусклой свечкой при солнечном сиянии. Будь как все, шагай в ногу со всеми.

Вот характерная нравоописательная картинка из записок известного московского подьячего времен царя Алексея Михайловича. «В домах своих живут они, смотря по чину и общественному весу каждого, вообще же без особенных удобств. Малочиновному приказному человеку нельзя построить хорошего дома. Оболгут перед царем, что-де взяточник, мздоимец, казнокрад, и много хлопот наделают тому человеку, пошлют на службу, которой исполнить нельзя, инструкцию такую напишут, что ничего не поймешь, и непременно упекут под суд, а там – батоги и казенное взыскание, продажа движимого и недвижимого с публичного торга. А ежели торговый человек или крестьянин необычно хорошо обстроится, ему податей навалят. И потому, – заключает Котошихин, – люди Московского государства домами живут негораздо устроенными и города и слободы у них неблагоустроенные же».

Впрочем, свобода убора и обстановки стеснялась не одной людской зависимостью, но и соображениями благочиния и благоустройства. При тогдашних нравах свобода могла повести и приводила к вредным излишествам и чудачествам, рассказами о которых так обильны наши предания о добрых старых временах. Правительство тогда считало своим долгом отечески опекать подданных и во имя общественной дисциплины вмешиваться в их частную жизнь. У нас, как и в других странах, к этой цели было направлено целое законодательство о платье и роскоши. Еще в прошедшем столетии у нас запрещался ввоз из-за границы некоторых дорогих материй и других предметов роскоши. Закон хотел сделать из людской слабости поощрение к труду, образованию и общественному служению, из личной суетности и тщеславия – средство общественного порядка, щегольство превратить в стимул гражданского чувства. Обстановка должна была стать не просто выставкой богатства, но и отметкой общественного положения, социального распорядка лиц, знаком отличия за уменье вести дела и за заслуги обществу и государству.

Хочешь блеснуть перед людьми, доставить себе удовольствие, кольнуть их завистливые глаза своей персоной, ливреей лакея или упряжкой – приобрети на это установленный патент трудолюбием и искусством. Да и делай это разумно и осторожно, чтобы люди не посмеялись и над тобой, и над тем, кто патентовал тебе привилегию колоть им глаза своей персоной или упряжкой.

Раскройте жалованную грамоту императрицы Екатерины II на права и выгоды городам Российской империи: вы найдете там ряд

статей о том, как могли по закону выезжать люди разных городских состояний. Городское население по грамоте делилось на именитых граждан, купечество трех гильдий, цеховых ремесленников и простых рабочих. Эти звания приобретались городской общественной службой, образованием, искусством и размером капитала, т. е. величиной платимого с него в казну процентного сбора, значит, трудолюбием, талантом, услугами обществу и государству.

Грамота прямо говорит, что «название городских обывателей есть следствие трудолюбия и добронравия, чем и приобрели отличное состояние». Так к высшему состоянию именитых граждан причислились, наравне с крупнейшими капиталистами, ученые, имеющие академические или университетские аттестаты, художники четырех художеств, именно: архитекторы, живописцы, скульпторы и музыкосочинители, также с академическими аттестатами «и по испытаниям главных российских училищ признанные таковыми». И вот что мы читаем в грамоте о правах выезда для лиц высших городских состояний: «Именитым гражданам дозволяется ездить по городу в карете парою и четвернею; купцам первой гильдии дозволяется ездить по городу в карете только парою, купцам второй – в коляске парою, третьей же гильдии запрещается ездить в карете и впрягать зимою и летом больше одной лошади; то же и цеховым ремесленникам или мещанам».

Но довольно, господа! Теперь подсчитаем, до чего мы договорились. Я обещал сказать вам свое мнение о том, как надобно художнику смотреть на обстановку и убор изображаемых им лиц. Этот взгляд устанавливается различным значением обстановки и убора в прежние времена и теперь, иначе говоря, историческим значением этих житейских подробностей. Это различие, в свою очередь, зависит от неодинакового отношения лица к обществу теперь и в прежние времена. Теперь человек старается сознавать и чувствовать себя свободной цельной единицей общества, которая живет для себя и даже свою деятельность на пользу общества рассматривает как свободное проявление своей личной потребности быть полезным для других.

Согласно с этим., он подбирает себе, разумеется, в пределах своих средств, обстановку и убор по своим личным вкусам и понятиям, по своему взгляду на жизнь, на людей и на себя. Все, что мы видим на современном человеке и около него, – есть его автобиография и самохарактеристика, так сказать. Мода, общепринятый обычай, общеобязательное приличие указывают только границы личного вкуса и произвола. Прежде лицо тонуло в обществе, было дробной величиной «мира», жило одной с ним

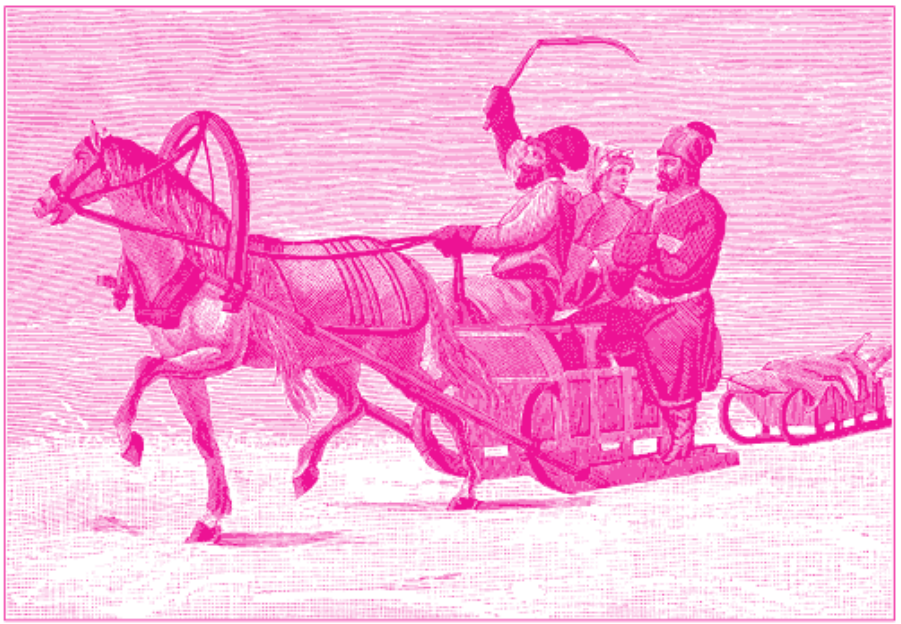
жизнью, мыслило его общими мыслями, чувствовало его мирскими чувствами, разделяло его повальные вкусы и оптовые понятия, не умея выработать своих особых, личных, розничных, и ему позволялось быть самим собой лишь настолько, насколько это необходимо было для того, чтобы помочь ему жить как все, чтобы поддержать энергию его личного участия в хоровой гармонии жизни или в трудолюбиво-автоматическом жужжании пчелиного улья.

Люди прежних времен умели быть эгоистами не хуже нас, даже бывали чудаками и самодурами, какими не сумеем стать мы; но они менее нас умели быть оригинальными, без странностей, своеобразными и самобытными, без неудобных чудачеств, без потребности в полицейском надзоре. Потому в своей житейской обстановке, как и в своем наружном уборе, они были столь же мало своеобычны и изобретательны, как в своих чувствах и вкусах, повторяли общепринятые завитки, цвета и покрои, исторически сложившиеся, отцами и дедами завещанные.

Моды в России в 1791 г.

Теперь обстановка есть характеристика личного настроения и положения человека, его средств и взгляда на свое отношение к обществу. Прежде она была выставкой его общественного

положения, выражением не его взгляда на свое отношение к обществу, а взгляда общества на его общественное положение и значение. Ныне обставляет и держит себя, как сам себя понимает, а прежде – как его понимали другие, т. е. общество, в котором он жил. Отсюда следует, что, изображая современного человека, вы, разумеется, в указанных пределах общепризнаваемого обычая и приличия, можете придумывать своему герою какую угодно обстановку, платье и прическу, лишь бы все это верно выражало его своеобразный характер, можете быть для него и портными и парикмахерами, только оставаясь художниками и психологами. Но в изображении стародавних людей художник обязан быть историком, окружать и убирать его, как тогда все себя окружали и убирали, хотя бы это окружение и этот убор и не согласовались с характером изображаемого лица.



Извозчичьи сани в конце XVIII в.
С гравюры Шефнера. XVIII в.

Правители Русского государства

Первые Киевские князья

Мы старались рассмотреть факт, скрытый в рассказе Начальной летописи о первых киевских князьях, который можно было бы признать началом Русского государства. Мы нашли, что сущность этого факта такова: приблизительно к половине IX в. внешние и внутренние отношения в торгово-промышленном мире русских городов сложились в такую комбинацию, в силу которой охрана границ страны и ее внешней торговли стала их общим интересом, подчинившим их князю Киевскому и сделавшим Киевское варяжское княжество зерном Русского государства. Этот факт надобно относить ко второй половине IX в.: точнее я не решаюсь обозначить его время.

Направление деятельности. Общий интерес, создавший великое княжество Киевское, охрана границ и внешней торговли, направлял и его дальнейшее развитие, руководил как внутренней, так и внешней деятельностью первых киевских князей. Читая начальный летописный свод, встречаем ряд полуисторических и полусказочных преданий, в которых историческая правда сквозит чрез прозрачную ткань поэтической саги. Эти предания повествуют о князьях Киевских IX и X вв. – Олеге, Игоре, Святославе, Ярополке, Владимире. Вслушиваясь в эти смутные предания, без особенных критических усилий можно уловить основные побуждения, которые направляли деятельность этих князей.

Покорение восточного славянства. Киев не мог остаться стольным городом одного из местных варяжских княжеств: он имел общерусское значение как узловой пункт торгово-промышленного движения и потому стал центром политического объединения всей земли. Деятельность Аскольда, по-видимому, ограничивалась ограждением внешней безопасности Киевской области: из летописи не видно, чтобы он покорил какое-либо из окольных племен, от которых оборонял своих полян, хотя слова Фотия о Росе, возгордившемся порабощением окрестных племен, как будто намекают на это.

Первым делом Олега в Киеве летопись выставляет расширение владений, собирание восточного славянства под своею властью. Летопись ведет это дело с подозрительной последовательностью, присоединяя к Киеву по одному племени ежегодно. Олег занял Киев в 882 г.; в 883 г. были покорены древляне, в 884 г. – северяне, в 885 г. – радимичи; после того длинный ряд лет оставлен пустым. Очевидно, это порядок летописных воспоминаний или соображений, а не самых событий.

К началу XI в. все племена восточных славян были приведены под руку киевского князя; вместе с тем племенные названия появляются все реже, заменяясь областными по именам главных городов. Расширяя свои владения, князья Киевские устанавливали в подвластных странах государственный порядок, прежде всего, разумеется, администрацию налогов.

Старые городовые области послужили готовым основанием административного деления земли. В подчиненных городовых областях по городам Чернигову, Смоленску и др. князья сажали своих наместников, посадников, которыми были либо их наемные дружинники, либо собственные сыновья и родственники. Эти наместники имели свои дружины, особые вооруженные отряды, действовали довольно независимо, стояли лишь в слабой связи с государственным центром, с Киевом, были такие же конинги, как и князь Киевский, который считался только старшим между ними и в этом смысле назывался «великим князем русским», в отличие от князей местных, наместников. Для увеличения важности киевского князя и эти наместники его в дипломатических документах величались «великими князьями». Так, по предварительному договору с греками 907 г., Олег потребовал «укладов» на русские города Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любеч и другие города, «по тем бо городом седяху велиции князи, под Олгом суще». Это были еще варяжские княжества, только союзные с Киевским: князь сохранял тогда прежнее военно-дружинное значение, не успев еще получить значения династического.

Генеалогическое пререкание, какое затеял под Киевом Олег, упрекая Аскольда и Дира за то, что они княжили в Киеве, не будучи князьями, «ни рода княжа», – притязание Олега, предупреждавшее ход событий, а еще вероятнее – такое же домышление самого составителя летописного свода. Некоторые из наместников, покорив то или другое племя, получали его от киевского князя в управление с правом собирать с него дань в свою пользу, подобно тому как на Западе в IX в. датские викинги, захватив ту или другую приморскую область империи Карла Великого, получали ее от франкских королей в лен, т. е. в кормление. Игорев воевода Свенельд, победив славянское племя улучей, обитавшее по Нижнему Днепру, получал в свою пользу дань не только с этого племени, но и с древлян, так что его дружина, отроки, жила богаче дружины самого Игоря.

Охрана торговых путей. Другою заботой киевских князей была поддержка и охрана торговых путей, которые вели к заморским рынкам. С появлением печенегов в южнорусских степях это стало очень трудным делом. Тот же император

Константин, описывая торговые плавания Руси в Царьград, ярко рисует затруднения и опасности, какие приходилось ей одолевать на своем пути. Собранный пониже Киева, под Витичевом, караван княжеских, боярских и купеческих лодок в июне отправлялся в путь. Днепровские пороги представляли ему первое и самое тяжелое препятствие.

Вы знаете, что между Екатеринославом и Александровском, там, где Днепр делает большой и крутой изгиб к востоку, он на протяжении 70 верст пересекается отрогами Авратынских возвышенностей, которые и заставляют его делать этот изгиб. Отроги эти принимают здесь различные формы. По берегам Днепра рассеяны огромные скалы в виде отдельных гор. Самые берега поднимаются отвесными утесами высотой до 35 саженей над уровнем воды и сжимают широкую реку; русло ее загромождается скалистыми островами и перегораживается широкими грядами камней, выступающих из воды заостренными или закругленными верхушками. Если такая гряда сплошь загораживает реку от берега до берега, это – *порог*; гряды, оставляющие проход судам, называются *заборами*. Ширина порогов по течению – до 150 саженей; один тянется даже на 350 саженей. Скорость течения реки вне порогов – не более 25 саженей в минуту, в порогах – до 150 саженей. Вода, ударяясь о камни и скалы, несется с шумом и широким волнением. Значительных порогов теперь считают до десяти, во времена Константина Багрянородного считалось до семи. Небольшие размеры русских однодеревок облегчали им прохождение порогов.

Днепровские пороги

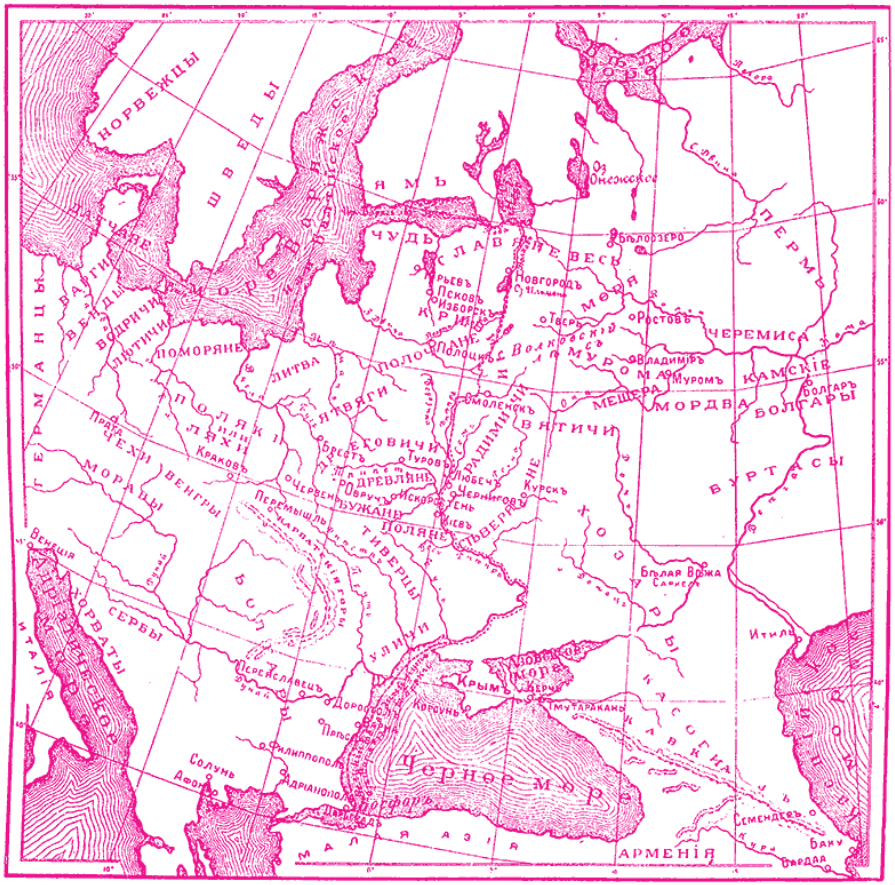
Мимо одних Русь, высадив челядь на берег, шестами проталкивала свои лодки, выбирая в реке вблизи берега места, где было поменьше камней. Перед другими, более опасными, она высаживала на берег и выдвигала в степь вооруженный отряд для охраны каравана от поджидавших его печенегов, вытаскивала из реки лодки с товарами и тащила их волоком или несла на плечах и гнала скованную челядь. Выбравшись благополучно из порогов и принесши благодарственные жертвы своим богам, она спускалась в днепровский лиман, отдыхала несколько дней на острове Св. Елевферия (ныне Березань), исправляла судовые снасти, готовясь к морскому плаванию, и, держась берега, направлялась к устьям Дуная, все время преследуемая печенегами. Когда волны прибивали лодки к берегу, руссы высаживались, чтобы защитить товарищей от подстерегавших их преследователей. Дальнейший путь от устьев Дуная был безопасен.

Читая подробное описание этих цареградских поездок Руси у императора, живо чувствуешь, как нужна была русской торговле вооруженная охрана при движении русских купцов к их заморским рынкам. Недаром Константин заканчивает свой рассказ замечанием, что это – мучительное плавание, исполненное невзгод и опасностей.

Оборона степных границ. Но, засаривая степные дороги русской торговли, кочевники беспокоили и степные границы

Русской земли. Отсюда третья забота киевских князей – ограждать и оборонять пределы Руси от степных варваров. С течением времени это дело становится даже господствующим в деятельности киевских князей вследствие все усиливавшегося напора степных кочевников.

Олег, по рассказу «Повести временных лет», как только утвердился в Киеве, начал города ставить вокруг него. Владимир, став христианином, сказал: «Худо, что мало городов около Киева», – и начал строить города по Десне, Трубежу, Стугне, Суле и другим рекам. Эти укрепленные пункты заселялись боевыми людьми, «мужами лучшими», по выражению летописи, которые вербовались из разных племен, славянских и финских, населявших русскую равнину. С течением времени эти укрепленные места соединялись между собою земляными валами и лесными засеками. Так, по южным и юго-восточным границам тогдашней Руси, на правой и левой стороне Днепра, выведены были в X и XI вв. ряды земляных окопов и сторожевых «застав», городков, чтобы сдерживать нападения кочевников. Все княжение Владимира Святого прошло в упорной борьбе с печенегами, которые раскинулись по обеим сторонам Нижнего Днепра восьмью ордами, делившимися каждая на пять колен.



Карта Русской земли в IX веке

Около половины X в., по свидетельству Константина Багрянородного, печенеги кочевали на расстоянии одного дня пути от Руси, т. е. от Киевской области. Если Владимир строил города по р. Стугне (правый приток Днепра), значит, укрепленная южная степная граница Киевской земли шла по этой реке на расстоянии не более одного дня пути от Киева. В начале XI в. встречаем указание на успех борьбы Руси со степью. В1006–1007 гг. через Киев проезжал немецкий миссионер Бруно, направляясь к печенегам для проповеди Евангелия. Он остановился погостить у князя Владимира, которого в письме к императору Генриху II называет сеньором Руссов (senior Ruzorum).

Князь Владимир уговаривал миссионера не ездить к печенегам, говоря, что у них он не найдет душ для спасения, а скорее сам погибнет позорною смертью. Князь не мог уговорить Бруно и вызвался проводить его со своей дружиной (cum exercitu) до границ своей земли, «которые он со всех сторон оградил

крепким частоколом на весьма большом протяжении по причине скитающихся около них неприятелей». В одном месте князь Владимир провел немцев воротами чрез эту линию укреплений и, остановившись на сторожевом степном холме, послал сказать им: «Вот я довел вас до места, где кончается моя земля и начинается неприятельская». Весь этот путь от Киева до укрепленной границы пройден был в два дня.

Мы заметили выше, что в половине X в. линия укреплений по южной границе шла на расстоянии одного дня пути от Киева. Значит, в продолжение полувековой упорной борьбы при Владимире, Русь успела пробиться в степь на один день пути, т. е. передвинуть укрепленную границу на линию реки Роси, где преемник Владимира Ярослав «поча ставити городы», населяя их пленными ляхами. Так первые киевские князья продолжали начавшуюся еще до них деятельность вооруженных торговых городов Руси, поддерживая сношения с приморскими рынками, охраняя торговые пути и границы Руси от степных ее соседей.

Население и пределы Русской земли в XI в. Описавши деятельность первых киевских князей, сведем ее результаты, бросим беглый взгляд на состояние Руси около половины XI в. Своим мечом первые киевские князья очертили довольно широкий круг земель, политическим центром которых был Киев. Население этой территории было довольно пестрое. В состав его постепенно вошли не только все восточные славянские племена, но и некоторые из финских: чудь прибалтийская, весь белозерская, меря ростовская и мурома по Нижней Оке. Среди этих инородческих племен рано появились русские города. Так, среди прибалтийской чуди при Ярославе возник Юрьев (Дерпт), названный так по христианскому имени Ярослава; еще раньше являются правительственные русские средоточия среди финских племен на востоке, среди муромы, мери и веси, – Муром, Ростов и Белозерск. Ярослав построил еще на берегу Волги город, названный по его княжескому имени Ярославлем.

Русская территория, таким образом, простиралась от Ладожского озера до устьев реки Роси, правого притока Днепра, и Ворсклы или Пела, левых притоков; с востока на запад она шла от устья Клязьмы, на которой при Владимире Мономахе возник город Владимир (Залесский), до области верховьев Западного Буга, где еще раньше, при Владимире Святом, возник другой город – Владимир (Волынский). Страна древних хорватов Галиция была в X и XI вв. спорным краем, переходившим между Польшей и Русью из рук в руки. Нижнее течение реки Оки, которая была восточной границею Руси, и низовья южных рек – Днепра, Восточного Буга и Днестра – находились, по-видимому, вне

власти киевского князя. В стороне Русь удерживала еще за собой старую колонию Тьмуторокань, связь с которой поддерживалась водными путями по левым притокам Днепра и рекам Азовского моря.

Андрей Боголюбский

Войска Андрея Боголюбского, после взятия приступом и разграбления Киева, уводят из города пленных.
Из Царственного летописца

Обращаясь к изучению политических следствий русской колонизации Верхнего Поволжья, будем постоянно помнить, что мы изучаем самые ранние и глубокие основы государственного порядка, который предстанет пред нами в следующем периоде. Я теперь же укажу эти основы, чтобы вам удобнее было следить за тем, как они вырабатывались и закладывались в подготовлявшийся новый порядок. Во-первых, государственный центр Верхнего Поволжья, долго блуждавший между Ростовом, Суздалем, Владимиром и Тверью, наконец утверждается на реке Москве. Потом, в лице московского князя, получает полное выражение новый владетельный тип, созданный усилиями многочисленных удельных князей Северной Руси. Это князь-вотчинник, наследственный оседлый землевладелец, сменивший своего южного предка, князя-родича, подвижного очередного соправителя Русской земли. Этот новый владетельный тип и стал коренным и самым деятельным элементом в составе власти московского государя. Переходим к обзору фактов, в которых медленно и постепенно проявлялись обе основы и новый политический тип, а потом и новый государственный центр.

Политические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья начали обнаруживаться уже при сыне того суздальского

князя, в княжение которого шел усиленный ее прилив, при Андрее Боголюбском. Сам этот князь Андрей является крупною фигурой, на которой наглядно отразилось действие колонизации. Отец его, Юрий Долгорукий, один из младших сыновей Мономаха, был первый в непрерывном ряду князей Ростовской области, которая при нем и обособилась в отдельное княжество: до того времени это чудское захолустье служило прибавкой к южному княжеству Переяславскому. Здесь, на севере, кажется, и родился князь Андрей в 1111 г.

Это был настоящий северный князь, истый суздалец-залешанин по своим привычкам и понятиям, своему политическому воспитанию. На севере прожил он большую половину своей жизни, совсем не видавши юга. Отец дал ему в управление Владимир на Клязьме, маленький, недавно возникший суздальский пригород, и там Андрей прокняжил далеко за тридцать лет своей жизни, не побывав в Киеве. Южная, как и северная, летопись молчит о нем до начала шумной борьбы, которая завязалась между его отцом и двоюродным братом Изяславом Волынским с 1146 г. Андрей появляется на юге впервые не раньше 1149 г., когда Юрий, восторжествовав над племянником, уселся на киевском столе. С тех пор и заговорила об Андрее Южная Русь, и южнорусская летопись сообщает несколько рассказов, живо рисующих его физиономию.

Андрей скоро выделился из толпы тогдашних южных князей особенностями своего личного характера и своих политических отношений. Он в боевой удали не уступал своему удалому сопернику Изяславу, любил забываться в разгаре сечи, заноситься в самую опасную свалку, не замечал, как с него сбивали шлем. Все это было очень обычно на юге, где постоянные внешние опасности и усобицы развивали удальство в князьях, но совсем не было обычно умение Андрея быстро отрезвляться от воинственного опьянения. Тотчас после горячего боя он становился осторожным, благоразумным политиком, осмотрительным распорядителем. У Андрея всегда все было в порядке и наготове; его нельзя было захватить врасплох; он умел не терять головы среди общего переполоха. Привычкой ежеминутно быть настороже и всюду вносить порядок он напоминал своего деда – Владимира Мономаха.

Несмотря на свою боевую удаль, Андрей не любил войны и после удачного боя первый подступал к отцу с просьбой мириться с побитым врагом. Южнорусский летописец с удивлением отмечает в нем эту черту характера, говоря: «Не величав был Андрей на ратный чин», т. е. не любил величаться боевой доблестью, но ждал похвалы лишь от Бога. Точно так же Андрей

совсем не разделял страсти своего отца к Киеву, был вполне равнодушен к *матери городов русских* и ко всей Южной Руси. Когда в 1151 г. Юрий был побежден Изяславом, он плакал горькими слезами, жалея, что ему приходится расстаться с Киевом. Дело было к осени. Андрей сказал отцу: «Нам теперь, батюшка, здесь делать больше нечего, уйдем-ка отсюда затепло» (пока тепло). По смерти Изяслава, в 1154 г. Юрий прочно уселся на киевском столе и просидел до самой смерти в 1157 г. Самого надежного из своих сыновей, Андрея, он посадил у себя под рукою в Вышгороде близ Киева, но Андрею не жилось на юге. Не спросившись отца, он тихонько ушел на свой родной суздальский север, захватив с собой из Вышгорода принесенную из Греции чудотворную икону Божьей Матери, которая стала потом главной святыней Суздальской земли под именем Владимирской.

Один позднейший летописный свод так объясняет этот поступок Андрея: «Смущался князь Андрей, видя нестроение своей братии, племянников и всех сродников своих: вечно они в мятеже и волнении, все добиваясь великого княжения Киевского, ни у кого из них ни с кем мира нет, и оттого все княжения запустели, а со стороны степи все половцы выпленили; скорбел об этом много князь Андрей в тайне своего сердца и, не сказавшись отцу, решился уйти к себе в Ростов и Суздаль – там-де поспокойнее».

По смерти Юрия на киевском столе сменилось несколько князей и, наконец, уселся сын Юрьева соперника, Андреев двоюродный племянник Мстислав Изяславич Волынский. Андрей, считая себя старшим, выждал удобную минуту и послал на юг с сыном суздальское ополчение, к которому там присоединились полки многих других князей, недовольных Мстиславом. Союзники взяли Киев копьем и на щит, приступом, и разграбили его (1169). Победители, по рассказу летописца, не щадили ничего в Киеве, ни храмов, ни жен, ни детей. Были тогда в Киеве на всех людях стон и туга, скорбь неутешная и слезы непрестанные. Но Андрей, взяв Киев своими полками, не поехал туда сесть на стол отца и деда. Киев был отдан младшему Андрееву брату Глебу. Андреевич, посадивши дядю в Киеве, с полками своими ушел домой к отцу на север «с честью и славою великою», – замечает северный летописец, и «с проклятием», – добавляет летописец южный.

Новые черты междукняжеских отношений. Никогда еще не бывало такой беды с матерью городов русских. Разграбление Киева своими было резким проявлением его упадка, как земского и культурного средоточия. Видно было, что политическая жизнь текла параллельно с народной и даже вслед за нею, по ее руслу.

Северный князь только что начинал ломать южные княжеские понятия и отношения, унаследованные от отцов и дедов, а глубокий перелом в жизни самой земли уже чувствовался больно, разрыв народности обозначился кровавой полосой, отчуждение между северными переселенцами и покинутой ими южной родиной было уже готовым фактом. За 12 лет до киевского погрома 1169 г., тотчас по смерти Юрия Долгорукого, в Киевской земле избивали приведенных им туда суздальцев по городам и по селам.

По смерти брата Глеба, Андрей отдал Киевскую землю своим смоленским племянникам Ростиславичам. Старший из них, Роман, сел в Киеве, младшие его братья, Давид и Мстислав, поместились в ближайших городах. Сам Андрей носил звание великого князя, живя на своем суздальском севере. Но Ростиславичи раз показали неповиновение Андрею, и тот послал к ним посла с грозным приказанием: «Не ходишь ты, Роман, в моей воле со своей братией, так пошел вон из Киева, ты, Мстислав, вон из Белгорода, а ты, Давид, вон из Вышгорода; ступайте все в Смоленск и делитесь там как знаете». В первый раз великий князь, названый отец для младшей братии, обращался так не по-отечески и не по-братски со своими родичами. Эту перемену в обращении с особенной горечью почувствовал младший и лучший из Ростиславичей, Мстислав Храбрый. Он в ответ на повторенное требование Андрея остриг бороду и голову Андрееву послу и отпустил его назад, велев сказать Андрею: «Мы до сих пор признавали тебя отцом своим по любви; но если ты посылаешь к нам с такими речами не как к князьям, а как к подручникам и простым людям, то делай, что задумал, а нас Бог рассудит». Так в первый раз произнесено было в княжеской среде новое политическое слово «подручник», т. е. впервые сделана была попытка заменить неопределенные, полюбовные родственные отношения князей по старшинству обязательным подчинением младших старшему, политическим их подданством наряду с простыми людьми.

Обособление Суздальского великокняжения. Таков ряд необычных явлений, обнаружившихся в отношениях Андрея Боголюбского к Южной Руси и другим князьям. До сих пор звание старшего великого князя нераздельно соединено было с обладанием старшим киевским столом. Князь, признанный старшим среди родичей, обыкновенно садился в Киеве. Князь, сидевший в Киеве, обыкновенно признавался старшим среди родичей: таков был порядок, считавшийся правильным. Андрей впервые отделил старшинство от места: заставив признать себя великим князем всей Русской земли, он не покинул своей

Суздальской волости и не поехал в Киев, сесть на стол отца и деда. Известное словцо Изяслава о голове, идущей к месту, получило неожиданное применение: наперекор обычному стремлению младших голов к старшим местам, теперь старшая голова добровольно остается на младшем месте.

Таким образом, княжеское старшинство, оторвавшись от места, получило личное значение, и как будто мелькнула мысль придать ему авторитет верховной власти. Вместе с этим изменилось и положение Суздальской области среди других областей Русской земли, и ее князь стал в небывалое к ней отношение. До сих пор князь, который достигал старшинства и садился на киевском столе, обыкновенно покидал свою прежнюю волость, передавая ее по очереди другому владельцу. Каждая княжеская волость была временным, очередным владением известного князя, оставаясь родовым, не личным достоянием. Андрей, став великим князем, не покинул своей Суздальской области, которая вследствие того утратила родовое значение, получив характер личного неотъемлемого достояния одного князя, и таким образом вышла из круга русских областей, владеемых по очереди старшинства.

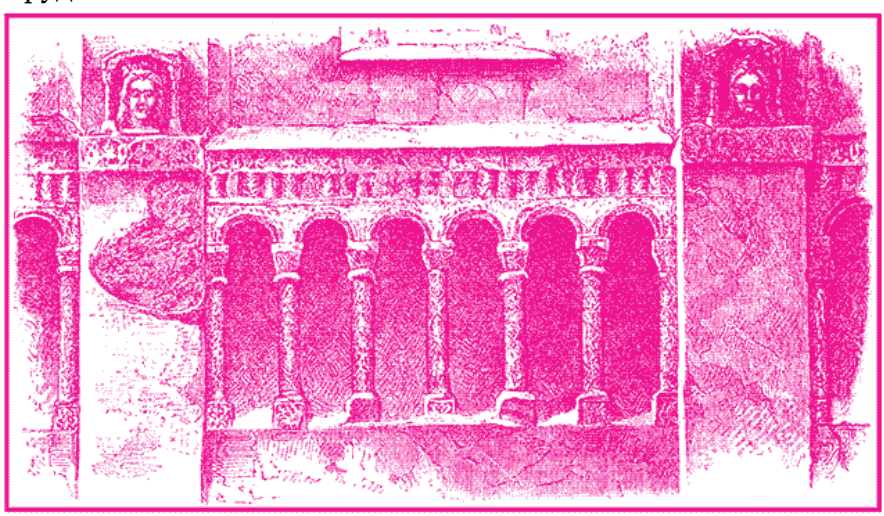
Нищелюбие Андрея Боголюбского.
Из Царственного летописца

Таков ряд новых явлений, обнаружившихся в деятельности Андрея по отношению к Южной Руси и к другим князьям: эта деятельность была попыткой произвести переворот в политическом строе Русской земли. Так взглянули на ход дел и древние летописцы, отражая в своем взгляде впечатление современников Андрея Боголюбского. По их взгляду, со времени этого князя великое княжение, дотоле единое Киевское, разделилось на две части: князь Андрей со своей Северной Русью отделился от Руси Южной, образовал другое великое княжение, Суздальское, и сделал город Владимир великокняжеским столом для всех князей.

Отношения Андрея к родичам, городам и дружине. Рассматривая события, происшедшие в Суздальской земле при Андрее и следовавшие за его смертью, мы встречаем признаки

другого переворота, совершавшегося во внутреннем строе самой Суздальской земли. Князь Андрей и дома, в управлении своей собственной волостью, действовал не по-старому. По обычаю, заводившемуся с распадением княжеского рода на линии и с прекращением общей очереди владения, старший князь известной линии делил управление принадлежавшею этой линии областью с ближайшими младшими родичами, которых сажал вокруг себя по младшим городам этой области. Но в Ростовской земле среди переселенческого брожения все обычаи и отношения колебались и путались.

Юрий Долгорукий предназначал Ростовскую землю младшим своим сыновьям, и старшие города Ростов с Суздалем заранее, не по обычаю, на том ему крест целовали, что примут к себе меньших его сыновей, но по смерти Юрия позвали к себе старшего сына Андрея. Тот, со своей стороны, благоговейно чтил память своего отца и, однако, вопреки его воле пошел на зов нарушителей крестного целования. Но он не хотел делиться доставшейся ему областью с ближайшими родичами и погнал из Ростовской земли своих младших братьев как соперников, у которых перехватил наследство, а вместе с ними, кстати, прогнал и своих племянников. Коренные области старших городов в Русской земле управлялись, как мы знаем, двумя аристократиями, служилой и промышленной, которые имели значение правительственных орудий или советников, сотрудников князя.



Резной пояс на стенах Суздальского собора. *XII в.*

Служилая аристократия состояла из княжеских дружинников, бояр, промышленная – из верхнего слоя неслужилого населения старших городов, который носил название лучших, или лепших,

мужей и руководил областными обществами посредством демократически составленного городского веча. Вторая аристократия, впрочем, выступает в XII в. больше оппозиционной соперницей, чем сотрудницей князя. Обе эти аристократии встречаем и в Ростовской земле уже при Андреевом отце Юрии, но Андрей не поладил с обоими этими руководящими классами суздальского общества. По заведенному порядку он должен был сидеть и править в старшем городе своей волости при содействии и по соглашению с его вечем.

В Ростовской земле было два таких старших вечевых города: Ростов и Суздаль. Андрей не любил ни того, ни другого города и стал жить в знакомом ему смолоду маленьком пригороде Владимире на Клязьме, где не были в обычае вечевые сходки, сосредоточил на нем все свои заботы, укреплял и украшал, сильно устроил его, по выражению летописи, выстроил в нем великолепный соборный храм Успения, «чудную Богородицу златоверхую», в котором поставил привезенную им с юга чудотворную икону Божией Матери. Расширяя этот город, Андрей наполнил его, по замечанию одного летописного свода, «купцами хитрыми, ремесленниками и рукодельниками всякими». Благодаря этому пригород Владимир при Андрее превзошел богатством и населенностью старшие города своей области. Такое необычное перенесение княжеского стола из старших городов в пригород сердило ростовцев и суздальцев, которые роптали на Андрея, говоря: «Здесь старшие города Ростов да Суздаль, а Владимир – наш пригород».

Точно так же не любил Андрей и старшей отцовой дружины. Он даже не делил с боярами своих развлечений, не брал их с собой на охоту, велел им, по выражению летописи, «особно утеху творити, где им годно», а сам ездил на охоту лишь с немногими отроками, людьми младшей дружины. Наконец, желая властвовать без раздела, Андрей погнал из Ростовской земли вслед за своими братьями и племянниками и передних мужей отца своего, т. е. больших отцовых бояр. Так поступал Андрей, по замечанию летописца, желая быть самовластцем всей Суздальской земли. За эти необычные политические стремления Андрей и заплатил жизнью. Он пал жертвой заговора, вызванного его строгостью. Андрей казнил брата своей первой жены, одного из знатных слуг своего двора, Кучковича. Брат казненного с другими придворными составил заговор, от которого и погиб Андрей в 1174 г.

Личность князя Андрея. От всей фигуры Андрея веет чем-то новым; но едва ли эта новизна была добрая. Князь Андрей был суровый и своенравный хозяин, который во всем поступал по-

своему, а не по старине и обычаю. Современники заметили в нем эту двойственность, смесь силы со слабостью, власти с капризом. «Такой умник во всех делах, – говорит о нем летописец, – такой доблестный, князь Андрей погубил свой смысл невоздержанием», т. е. недостатком самообладания. Проявив в молодости на юге столько боевой доблести и политической рассудительности, он потом, живя сиднем в своем Боголюбове, наделал немало дурных дел. Собирал и посылал большие рати грабить то Киев, то Новгород, раскидывал паутину властолюбивых козней по всей Русской земле из своего темного угла, на Клязьме. Повести дела так, чтобы 400 новгородцев, на Белоозере, обратили в бегство семитысячную суздальскую рать, потом организовать такой поход на Новгород, после которого новгородцы продавали пленных суздальцев втрое дешевле овец, – все это можно было сделать и без Андреева ума.

Прогнав из Ростовской земли больших отцовых бояр, он окружил себя такой дворней, которая, в благодарность за его барские милости, отвратительно его убила и разграбила его дворец. Он был очень набожен и нищелюбив, настроил много церквей в своей области, перед заутреней сам зажигал свечи в храме, как заботливый церковный староста, велел развозить по улицам пищу и питье для больных и нищих. Отечески нежно любил свой город Владимир, хотел сделать из него другой Киев, даже с особым, вторым русским митрополитом, построил в нем известные Золотые Ворота и хотел неожиданно открыть их к городскому празднику Успения Божией Матери, сказав боярам: «Вот сойдутся люди на праздник и увидят ворота». Но известка не успела высохнуть и укрепиться к празднику, и, когда народ собрался на праздник, ворота упали и накрыли 12 зрителей. Взмолился князь Андрей к иконе Пресвятой Богородицы: «Если Ты не спасешь этих людей, я, грешный, буду повинен в их смерти». Подняли ворота, и все придавленные ими люди оказались живы и здоровы. И город Владимир был благодарен своему попечителю: гроб убитого князя разрыдавшиеся владимирцы встретили причитанием, в котором слышится зародыш исторической песни о только что угасшем богатыре.

Со времени своего побега из Вышгорода, в 1155 г., Андрей, в продолжение почти 20-летнего безвыездного сидения в своей волости, устроил в ней такую администрацию, что тотчас по смерти его там наступила полная анархия. Всюду происходили грабежи и убийства, избивали посадников, тиунов и других княжеских чиновников, и летописец с прискорбием упрекает убийц и грабителей, что они делали свои дела напрасно, потому что где закон, там и обид, несправедливостей много.

Никогда еще на Руси ни одна княжеская смерть не сопровождалась такими постыдными явлениями. Их источник надобно искать в дурном окружении, какое создал себе князь Андрей своим произволом, неразборчивостью к людям, пренебрежением к обычаям и преданиям. В заговоре против него участвовала даже его вторая жена, родом из камской Болгарии, мстившая ему за зло, какое причинил Андрей ее родине. Летопись глухо намекает, как плохо слажено было общество, в котором вращался Андрей. «Ненавидели князя Андрея свои домашние, – говорит она, – и была брань лютая в Ростовской и Суздальской земле».

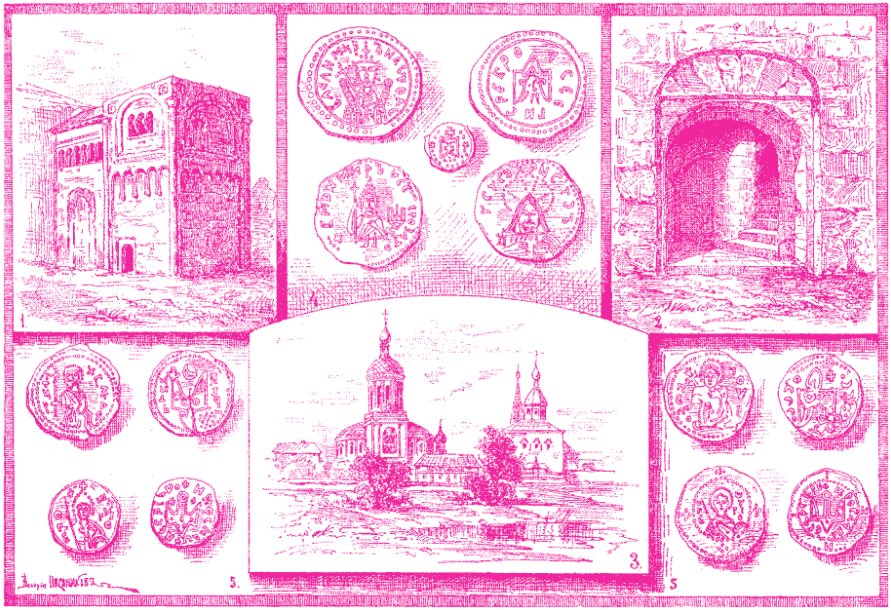
Современники готовы были видеть в Андрее проводника новых государственных стремлений. Но его образ действий возбуждает вопрос, руководился ли он достаточно обдуманными началами ответственного самодержавия или только инстинктами самодурства. В лице князя Андрея великоросс впервые выступал на историческую сцену, и это выступление нельзя признать удачным. В трудные минуты этот князь способен был развить громадные силы и разменялся на пустяки и ошибки в спокойные, досужие годы. Не все в образе действий Андрея было случайным явлением, делом его личного характера, исключительного темперамента. Можно думать, что его политические понятия и правительственные привычки в значительной мере были воспитаны общественной средой, в которой он вырос и действовал. Этой средой был пригород Владимир, где Андрей провел большую часть своей жизни. Суздальские пригороды составляли тогда особый мир, созданный русской колонизацией, с отношениями и понятиями, каких не знали в старых областях Руси. События, следовавшие за смертью Андрея, ярко освещают этот мир.

Усобица после его смерти. По смерти Андрея в Суздальской земле разыгралась усобица, по происхождению своему очень похожая на княжеские усобицы в старой Киевской Руси. Случилось то, что часто бывало там: младшие дяди заспорили со старшими племянниками. Младшие братья Андрея, Михаил и Всеволод, поссорились со своими племянниками, детьми их старшего брата, давно умершего, с Мстиславом и Ярополком Ростиславичами.

Таким образом, местному населению открылась возможность выбора между князьями. Старшие города Ростов и Суздаль с боярами Ростовской земли позвали Андреевых племянников, но город Владимир, недавно ставший великокняжеским стольным городом, позвал к себе братьев Андрея, Михаила и Всеволода: из этого и вышла усобица. В борьбе сначала одержали верх

племянники и сели: старший – в старшем городе области Ростове, младший – во Владимире. Но потом Владимир поднялся на племянников и на старшие города и опять призвал к себе дядей, которые на этот раз восторжествовали над соперниками, и разделили между собой Суздальскую землю, бросив старшие города и рассевшись по младшим, во Владимире и Переяславле. По смерти старшего дяди, Михаила, усобица возобновилась между младшим Всеволодом, которому присягнули владимирцы и переяславцы, и старшим племянником Мстиславом, за которого опять стали ростовцы с боярами. Мстислав проиграл дело, разбитый в двух битвах, под Юрьевом и на реке Колокше. После того Всеволод остался один хозяином в Суздальской земле. Таков был ход суздальской усобицы, длившейся два года (1174–1176).

Но по ходу своему эта северная усобица не во всем была похожа на южные: она осложнилась явлениями, каких не заметно в княжеских распрях на юге. В областях Южной Руси местное неслужилое население обыкновенно довольно равнодушно относилось к княжеским распрям. Боролись, собственно, князья и их дружины, а не земли, не целые областные общества, боролись Мономаховичи с Ольговичами, а не Киевская или Волынская земля с Черниговской, хотя областные общества волей или неволей вовлекались в борьбу князей и дружин. Напротив, в Суздальской земле местное население приняло деятельное участие в ссоре своих князей. За дядей стоял прежний пригород Владимир, недавно ставший стольным городом великого князя. Племянников дружно поддерживали старшие города земли Ростов и Суздаль, которые действовали даже энергичнее самих князей, обнаруживали чрезвычайное ожесточение против Владимира. В других областях старшие города присвояли себе право выбирать на вече посадников для своих пригородов. Ростовцы во время усобицы также говорили про Владимир: «Это наш пригород: сожжем его либо пошлем туда своего посадника; там живут наши холопы-каменщики». Ростовцы, очевидно, намекали на ремесленников, которыми Андрей населил Владимир. Но и этот пригород Владимир не действовал в борьбе одиноко: к нему примыкали другие пригороды Суздальской земли. «А с переяславцы, – замечает летописец, – имяхуть володимирцы едино сердце». И третий новый городок, Москва, тянул в ту же сторону и только из страха перед князьями-племянниками не решился принять открытое участие в борьбе.



1. Остатки терема Андрея Боголюбского в Боголюбове.

2. Всход на лестницу терема *(место убиения князя Андрея указывают за каменным столпом, поддерживающим свод).*

3. Общий вид Боголюбова.

4–5. Серебряные и золотые монеты, обращавшиеся на Руси до конца XII в.

Земская вражда не ограничивалась даже старшими городами и пригородами: она шла глубже, захватывала все общество сверху донизу. На стороне племянников и старших городов стала и вся старшая дружина Суздальской земли; даже дружина города Владимира, в числе 1500 человек, по приказу ростовцев примкнула к старшим городам и действовала против князей, которых поддерживали горожане Владимира. Но если старшая дружина даже в пригородах стояла на стороне старших городов, то низшее население самих старших городов стало на стороне пригородов. Когда дяди в первый раз восторжествовали над племянниками, суздальцы явились к Михаилу и сказали: «Мы, князь, не воевали против тебя с Мстиславом, а были с ним одни наши бояре; так ты не сердись на нас и ступай к нам». Это говорили, очевидно, депутаты от простонародья города Суздаля. Значит, все общество Суздальской земли разделилось в борьбе горизонтально, а не вертикально: на одной стороне стали обе местные аристократии, старшая дружина и верхний слой неслужилого населения старших городов, на другой – их низшее население вместе с пригородами.

На такое социальное разделение прямо указал один из

участников борьбы, дядя Всеволод. Накануне битвы под Юрьевом он хотел уладить дело без кровопролития и послал сказать племяннику Мстиславу: «Если тебя, брат, привела старшая дружина, то ступай в Ростов, там мы и помиримся; тебя ростовцы привели и бояре, а меня с братом Бог привел да владимирцы с переяславцами».

Древняя икона с изображением преславного чуда Знамения Божией Матери

Иван III

Великий князь Иоанн III Васильевич.
Гравюра XVI в.

Обратимся к изучению третьего периода нашей истории. Он начинается с половины XV в., точнее говоря, со вступления Ивана III на великокняжеский стол в 1462 г., и продолжается до начала XVII в. (1613), когда на московском престоле является новая династия. Я назвал этот период временем Московской Руси, или

Великорусского государства.

Главные явления. Северная Русь, дотоле разбитая на самостоятельные местные миры, объединяется под одной государственной властью, носителем которой является московский государь, но он правит при содействии нового класса, вокруг него образовавшегося, – боярства. Основой народного хозяйства в этом государстве остается, по-прежнему, земледельческий труд вольного крестьянина, работающего на государственной или частной земле. Но государственная земля все более переходит в руки нового военного класса, создаваемого государством, и вместе с тем все более стесняется свобода крестьянского труда, заменяясь хозяйственной зависимостью крестьянина от служилого землевладельца. Таковы главные явления, которые в этом периоде нам предстоит изучить.

Прежде всего, попытаемся выяснить основной, так сказать центральный, факт, от которого шли или к которому сводились все эти явления. Что дает нам право положить грань нового периода на половине XV в.? С этого времени происходят важные перемены в Русской земле, и все эти перемены идут от Московского государства и от московского государя, который правил этим государством. Вот главные действующие силы, которые в продолжение полутораста лет этого периода ставят Русскую землю в новое положение. Но когда Иван III наследовал на московском столе своему отцу, в Русской земле еще не было ни Московского государства в тех границах, которые оно имело в конце XVI в., ни московского государя с тем политическим значением, с каким он является 100 лет спустя. Оба этих фактора еще не были готовы в 1462 г., оба являются результатами медленного и трудного процесса, совершающегося в этот самый период. Чтобы лучше понять появление этих факторов, надобно представить себе политическое положение Русской земли около половины XV в.

Русская земля в половине XV в. Весь почти север нашей равнины с северо-западным ее углом к Финскому заливу составлял область вольного Новгорода Великого, к которой на юго-западе, со стороны Ливонии, примыкала маленькая область другого вольного города, Пскова. Вся Западная Русь, т. е. Белоруссия вместе с частью Великороссии, областью Смоленской и Русь Малая с соседними краями нынешних великорусских губерний – Курской, Орловской, даже с частями Тульской и Калужской входили в состав Литовско-Польского государства. За Тулой и Рязанской землей начиналось обширное степное пространство, тянувшееся до берегов Черного, Азовского и Каспийского морей, на котором оседлому населению Руси не

удавалось основаться прочно и где господствовали татары, гнездившиеся в Крыму и на Нижней Волге. На востоке, за Средней и Верхней Волгой, господствовали татары Казанского царства, отделившиеся от Золотой Орды в первой половине XV в., затем вятчане, мало слушавшиеся московского князя, хотя Вятка числилась в его владениях, и разные инородцы Пермской земли. Собственно центральное пространство равнины представляло кучу больших и малых княжеств, среди которых находилось и княжество Московское.

Московское княжество. Обозначим в общих чертах его границы. Северная часть нынешней Московской губернии, именно Клинский уезд, принадлежала еще Тверскому княжеству. Далее на север и северо-восток, за Волгой, московские владения соприкасались или перемежались с владениями новгородскими, ростовскими, ярославскими, простираясь до слияния Сухоны и Юга. С юго-западной стороны граница с Литвой шла по Угре, в Калужской губернии; Калуга находилась на юго-западной окраине Московского княжества, а она всего в 170 верстах от Москвы. Средним течением Оки, между Калугой и Коломной, Московское княжество граничило с великим княжеством Рязанским, а нижнее течение Оки, от устья Цны, и течение Волги от Нижнего до устья Суры и Ветлуги отделяло его от мордвы и черемисы, находившихся под властью казанских татар. Этот стесненный юго-западный угол территории и был головной частью княжества, передовым его оплотом, указывавшим, в какие стороны были обращены его боевые силы: здесь находилось их средоточие.

Город Москва в половине XV в. лежал вблизи трех окраин княжества: на севере, верстах в 80, начиналось княжество Тверское, самое враждебное Москве из русских княжеств; на юге, верстах в 100, по берегу Средней Оки шла сторожевая линия против самого беспокойного врага – татар; на западе, верстах в 100 с чем-нибудь, за Можайском в Смоленской области стояла Литва, самый опасный из врагов Москвы. С северной, западной и южной сторон неприятельским полкам достаточно было немногих переходов, чтобы дойти до Москвы.

Итак, Русская земля распадалась на множество мелких и крупных политических миров, независимых друг от друга, и среди этих миров Московское княжество было далеко не самым крупным: Литовское княжество, по большинству населения состоявшее из Руси, и область Новгорода Великого были гораздо обширнее его. Раздробленная внутри Русская земля распадалась на две половины по своему внешнему политическому положению: юго-западная половина была под властью соединенных Польши и

Литвы, северо-восточная – платила дань хану Золотой Орды. Значит, положение Русской земли в половине XV в. можно определить двумя чертами: политическое порабощение извне и политическое раздробление внутри. На всем пространстве нашей равнины, где только обитала Русь, кроме Вятки, не было деревни, которая не находилась бы под чуждым иноземным игом.

Политический состав Восточной Руси. В такой обстановке Иван III продолжал дело своих предшественников – великих князей Московских. Еще до него, на протяжении полутора столетий, мы наблюдали в истории Северной Руси два параллельных процесса: собирание земли и сосредоточение власти, постепенное территориальное расширение вотчины московских князей за счет других княжеств и постепенное материальное усиление великого князя Московского на счет удельных. Как ни были велики успехи, достигнутые Москвой, ни тот, ни другой из этих процессов далеко еще не был доведен до конца, когда Иван III вступил на стол отца и деда.

Территориальное собирание Руси Москвой не подвинулось еще настолько, чтобы захватить все самостоятельные местные миры, какие существовали в Центральной и Северной Руси. Эти миры, ждавшие своей очереди быть поглощенными Москвой, по их политическому устройству можно разделить на два разряда: то были или вольные города (Новгород, Псков, Вятка), или княжества. Последние принадлежали двум княжеским линиям – старого Святослава Черниговского и Всеволода III Суздальского – и образовали четыре группы удельных княжеств с особым великим князем во главе каждой: то были княжества Рязанское, Ростовское, Ярославское и Тверское. С другой стороны, ни Иван III, ни его старший сын Василий не были единственными властителями Московского княжества, делили обладание им с ближайшими родичами, удельными московскими князьями, и власть великого князя не разрослась еще настолько, чтобы превратить этих удельных владетелей в простых подданных московского государя.

В. Верещагин. **Государь великий князь Иван III Васильевич**

К. Лебедев. **Обручение малолетнего Ивана III с тверской княжной Марией в 1445 году**

Великий князь пока поднимался над удельными не объемом власти, а только количеством силы, пространством владений и суммой доходов. У Ивана III было четыре удельных брата и

двоюродный удельный дядя Михаил Верейский; у Василия III также было четыре брата. Отношения между ними по-прежнему определялись договорами, и здесь встречаем все прежние определения, повторяются знакомые нам формулы княжеских отношений, давно уже не соответствовавшие действительности. Договаривающиеся стороны продолжают притворяться, будто не замечая совершившихся перемен, как будто между ними все оставалось по-старому, хотя Иван III по пустому поводу пригрозил тюрьмой сыну Михаила Верейского и отнял у старика-дяди удел за побег этого сына в Литву.

Перемена в московском собирании Руси. Иван III продолжал старое дело территориального собирания Руси, но уже не по-старому. В удельное время территориальные приобретения московских князей носили характер или захватов, или частных хозяйственных сделок с соседними князьями. Местные общества еще не принимали заметного деятельного участия в этом территориальном объединении Руси, хотя по временам и проявлялось их нравственное тяготение к Москве. С половины XV в. становится заметно прямое вмешательство самих местных обществ в дело.

Можно заметить, что не везде одни и те же классы местных обществ обнаруживают открытое влечение к Москве. В Новгороде московская партия состояла преимущественно из простонародья с несколькими боярами, стоявшими во главе его; эта сторона ищет управы на своевольную новгородскую знать у московского великого князя. В княжеской Руси, напротив, высшие служилые классы общества тяготеют к Москве, соблазняясь выгодами службы у богатого и сильного князя. Так, в Твери еще задолго до последнего удара, нанесенного ей Москвой, местные бояре и рядовые служилые люди начали переходить на московскую службу. Когда Иван III только еще собирался в поход на Тверь за ее союз с Литвой, многие тверские бояре и дети боярские стали покидать своего князя и толпами переходить в Москву; даже два тверских удельных князя перешли тогда на московскую службу. Когда Иван III подступил к Твери (1485), новая толпа тверских князей и бояр переехала в московский лагерь и била челом Ивану на службу. Тверской летописец называет этих перелетов крамольниками и считает их главными виновниками падения Тверского княжества. По замечанию другого летописца, Иван взял Тверь изменой боярскою.

То же самое явление повторилось и в другом великом княжестве – Рязанском. Это княжество присоединено было к Москве при Ивановом преемнике в 1517 г. Но задолго до этого московский государь имел там опору в главном рязанском

боярине Коробьине, который и подготовил низложение своего князя. Далее, союз князей, образовавшийся под рукою московского государя из ближних и дальних его родичей еще в удельные века, теперь расширился и скрепился новыми интересами, усилившими авторитет московского государя. Прежде в этом союзе, завязавшемся по воле хана, заметно было действие преимущественно материальной силы или случайных, временных отношений. Союзные князья большею частью становились под руку московского государя, уступая его материальному давлению и его влиянию в Орде или движимые патриотическими побуждениями, по которым некоторые из них соединились с Димитрием Донским против Твери и Мамая. Теперь этот союз расширился под действием новой связи, входящей в его состав, – интереса религиозного. Действие этого интереса обнаруживается среди православных князей, подвластных Литве.

С половины XIII столетия в соседстве с Юго-Западной Русью начинает подниматься княжество Литовское. В XIII и XIV вв. литовские князья постепенно подчиняют себе разъединенные и опустошенные княжества Западной Руси. Эта Русь со своими князьями не оказывала особенно упорного сопротивления Литве, которая освобождала ее от татарской неволи. С тех пор начинается могущественное культурное и политическое влияние Западной Руси на Литву. Уже к концу XIV в. Литва – и по составу населения, и по складу жизни – представляла из себя больше русское, чем литовское, княжество. Но в 1386 г. литовский великий князь Ягелло (Яков), воспитанный в православии своею матерью, рожденной княжной Тверской Юлианией, женился на наследнице Польского королевства Ядвиге и принял католичество. Этот династический союз Литвы и Польши завязал роковой для соединенного государства религиозно-политический узел. С тех пор началась при содействии польско-литовского правительства католическая пропаганда в Западной Руси. Пропаганда эта особенно усилилась во второй половине XV в., когда Литвой правил сын Ягелло, Казимир IV. Православное русское общество оказывало стойкое противодействие католическим миссионерам. В Западной Руси начиналось сильное брожение, «замятия великая» между католиками и православными. «Все наше православное христианство хотят окрестить, – писали оттуда, – за это наша Русь вельми ся с Литвою не любят».

Увлекаемые этим религиозным движением, и православные князья Западной Руси, еще не утратившие прежней самостоятельности в своих владениях под легкою властью

великого князя Литовского, начали один за другим приставать к Москве как к своему религиозному центру. Те из них, которые могли присоединиться к Москве со своими владениями по их близости к московским границам, принимали условия зависимости, выработавшиеся в Москве для добровольно поддавшихся удельных князей. Они делались постоянными и подчиненными союзниками московского государя, обязывались служить ему, но сохраняли при себе дворы, дружины и не только оставались или становились вотчинниками своих владений, но и пользовались в них административными правами, держали свое особое управление.

В такое положение становились передававшиеся Москве владельцы мелких княжеств по Верхней Оке, потомки св. Михаила Черниговского, князья Белевские, Новосильские, Воротынские, Одоевские и другие. Примеру их последовали потомки Всеволода III, князья Черниговский и Новгород-Северский, сын Ивана Андреевича Можайского и внук Шемяки. Отцы их, когда их дело в борьбе с Василием Темным было проиграно, бежали в Литву и там получили обширные владения по Десне, Семи, Сожу и Днепру с городами Черниговом и Новгород-Северским. Отец одного и дед другого были злейшими недругами Василия Темного, своего двоюродного брата, а сын и внук, стоя за православие, забыли наследственную вражду и стали подчиненными союзниками Васильева сына. Так московский союз князей, расширяясь, превращался в военную гегемонию Москвы над союзными князьями.

Приобретения Ивана III и Василия III. Таковы новые явления, которые замечаются в территориальном собирании Руси Москвой с половины XV в. Сами местные общества начинают открыто обращаться к Москве, увлекая за собой и свои правительства или увлекаемые ими. Благодаря этому тяготению московское собирание Руси получило иной характер и ускоренный ход. Теперь оно перестало быть делом захвата или частного соглашения, а сделалось национально-религиозным движением. Достаточно короткого перечня территориальных приобретений, сделанных Москвой при Иване III и его сыне Василии, чтобы видеть, как ускорилось это политическое объединение Руси.

С половины XV в. и вольные города со своими областями, и княжества быстро входят в состав московской территории. В 1463 г. все князья Ярославские, великий с удельными, били Ивану III челом о принятии их на московскую службу и отказались от своей самостоятельности. В 1470-х годах покорен был Новгород Великий с его обширной областью в Северной Руси. В 1472 г.

приведена была под руку московского государя Пермская земля, в части которой (по р. Вычегде) начало русской колонизации положено было еще в XIV в., во времена св. Стефана Пермского. В 1474 г. князья Ростовские продали Москве остававшуюся за ними половину Ростовского княжества; другая половина еще раньше была приобретена Москвой. Эта сделка сопровождалась вступлением князей Ростовских в состав московского боярства. В 1485 г. без боя присягнула Ивану III осажденная им Тверь. В 1489 г. окончательно покорена Вятка. В 1490-х годах князья Вяземские и целый ряд мелких князей Черниговской линии – Одоевские, Новосильские, Воротынские, Мезецкие, а также упомянутые сыновья московских беглецов, князья Черниговский и Северский, все со своими владениями, захватывавшими восточную полосу Смоленской и большую часть Черниговской и Северской земель, признали над собой верховную власть московского государя. В княжение Иванова преемника присоединены были к Москве в 1510 г. Псков с его областью, в 1514 г. – Смоленское княжество, захваченное Литвой в начале XV в., в 1517 г. – княжество Рязанское; наконец, в 1517–1523 гг. княжества Черниговское и Северское включены были в число непосредственных владений Москвы. Когда северский князь Шемячич выгнал своего черниговского соседа и товарища по изгнанию из его владений, а потом и сам попал в московскую тюрьму. При восшествии Ивана III на великокняжеский стол московская территория едва ли заключала в себе более 15 тысяч квадратных миль. Приобретения Ивана III и его сына увеличили эту территорию по меньшей мере тысяч на 40 квадратных миль.

Идея национального государства. Вместе с расширением дипломатической сцены изменяется и программа внешней политики. Эта перемена тесно связана с одной идеей, пробуждающейся в московском обществе около этого времени, – идеей национального государства. Эта идея требует тем большего внимания с нашей стороны, чем реже приходится нам отмечать прямое участие идей в образовании фактов нашей древней истории. Сознание или, скорее, чувство народного единства Русской земли – не новый факт XV–XVI вв.: это дело Киевской Руси XI–XII вв. В то время оно выражалось не столько в сознании характера и исторического назначения народа, сколько в мысли о Русской земле как общем отечестве. Трудно сказать, какое действие оказали на нее тревоги удельных веков. Но она, несомненно, тлела в народе, питаемая церковными и другими связями. Разрыв русской народности на две половины, юго-западную и северо-восточную, удельное дробление последней, иноземное иго – эти неблагоприятные условия едва ли могли

содействовать прояснению мысли о народном единстве, однако были способны пробудить или поддержать смутную потребность в нем.

Я веду речь не об этой потребности, а об идее национального государства, о стремлении к политическому единству на народной основе. Эта идея возникает и усиленно разрабатывается, прежде всего, в московской правительственной среде по мере того, как Великороссия объединялась под московской властью. Любопытно следить, в каком виде и с какою степенью понимания дела проявлялась эта идея, которая не могла не оказать влияние на ход жизни Московского княжества. Видно, во-первых, что она вырабатывается под давлением изменявшихся внешних сношений московского великого князя. Потому первой провозвестницей ее является московская дипломатия Иванова времени, и уже отсюда, из государева дворца и кремлевской канцелярии, она проникает в московское общество.

А. Кившенко. **Иван III разрывает ханскую грамоту и басму перед татарскими послами**

Прежде столкновения московских великих князей с их русскими соседями затрагивали только местные интересы и чувства москвича, тверича, рязанца, разъединявшие их друг с другом. Боролась Москва с Тверью, Рязанью. Теперь борются Русь с Польшей, Швецией, немцами. Прежние войны Москвы – усобицы русских князей; теперь это борьба народов. Внешние отношения

Москвы к иноплеменным соседям получают одинаковое общее значение для всего великорусского народа. Они не разъединяли, а сближали его местные части в сознании общих интересов и опасностей и поселяли мысль, что Москва – общий сторожевой пост, откуда следят за этими интересами и опасностями, одинаково близкими и для москвича, и для тверича, для всякого русского.

Внешние дела Москвы усиленно вызывали мысль о народности, о народном государстве. Эта мысль должна была

положить свой отпечаток и на общественное сознание московских князей. Они вели свои дела во имя своего фамильного интереса. Но равнодушие или молчаливое сочувствие, с каким местные общества относились к московской уборке их удельных князей, открытое содействие высшего духовенства, усилия Москвы в борьбе с поработителями народа – все это придавало эгоистической работе московских собирателей земли характер народного дела, патриотического подвига. А совпадение их земельных стяжений с пределами Великороссии, волей-неволей заставляло их слить свой династический интерес с народным благом, выступить борцами за веру и народность. Вобрав в состав своей удельной вотчины всю Великороссию и принужденный действовать во имя народного интереса, московский государь стал заявлять требование, что все части Русской земли должны войти в состав этой вотчины. Объединявшаяся Великороссия рождала идею народного государства, но не ставила ему пределов, которые в каждый данный момент были случайностью, раздвигаясь с успехами московского оружия и с колонизационным движением великорусского народа.

Ее выражение в политике Ивана III. Вот эта идея все настойчивее начинает пробиваться в московских дипломатических бумагах со времени Ивана III. Приведу из них несколько, может быть, не самых выразительных черт. Иван III два раза воевал со своим литовским соседом, великим князем Александром, сыном Казимира IV. Обе войны вызваны были одинаковым поводом – переходом мелких князей Черниговской земли на московскую службу. Первая война началась тотчас по смерти Казимира, в 1492 г., и прервалась в 1494 г. Женитьба Александра на дочери Ивановой не помешала второй войне (1500–1503), когда переход служилых князей из Литвы возобновился в усиленной степени. Посредником между враждующими сторонами явился приехавший в Москву посол от Папы и венгерского короля Владислава, старшего брата Александрова.

В то же время (1501) Александр Литовский был избран, по смерти другого брата, Яна Альбрехта, и на польский престол. Посол жаловался в Москве на то, что московский государь захватывает вотчины у Литвы, на которые он не имеет никакого права. Московское правительство возражало на эту жалобу: «Короли Венгерский и Литовский объявляют, что хотят стоять против нас за свою вотчину; но они что называют своей вотчиной? Не те ли города и волости, с которыми русские князья пришли к ним служить или которые наши люди у Литвы побрали? Папе, надеемся, хорошо известно, что короли

Владислав и Александр – вотчичи Польского королевства да Литовской земли от своих предков, а Русская земля – от наших предков из старины наша вотчина. Папа положил бы себе то на разум, гораздо ли короли поступают, что не за свою вотчину воевать с нами хотят». По этой дипломатической диалектике вся Русская земля, а не одна только великорусская ее половина объявлена была вотчиной московского государя. Это же заявление повторено было Москвой и по заключении перемирия с Александром в 1503 г., когда литовский великий князь стал жаловаться на московского за то, что тот не возвращает ему захваченных у Литвы земель, говоря, что ему, Александру, жаль своей вотчины. «А мне, – возражал Иван, – разве не жаль своей вотчины, Русской земли, которая за Литвой, – Киева, Смоленска и других городов?»

Во время мирных переговоров в 1503 г. московские бояре от имени Ивана III упрямо твердили польско-литовским послам: «Ано и не то одно наша отчина, кои городы и волости ныне за нами: и вся Русская земля из старины от наших прародителей наша отчина». В то же время Иван III объявлял в Крыму, что у Москвы с Литвою прочного мира быть не может, пока московский князь не воротит своей отчины, всей Русской земли, что за Литвой, что борьба будет перемежаться только перемириями для восстановления сил, чтобы перевести дух. Эта мысль о государственном единстве Русской земли из исторического воспоминания теперь превращается в политическое притязание, которое Москва и спешила заявить во все стороны как свое неотъемлемое право.

Войны с Польшей. Таковы были два ближайших следствия, вышедшие из указанного основного факта. Благодаря новым территориальным приобретениям московских князей, 1) изменилось внешнее положение Московского княжества; 2) усложнились задачи внешней московской политики, которая теперь, когда Великая Русь образовала единое политическое целое, поставила на очередь вопрос о политическом объединении всей Русской земли. Из этого вопроса вышла вековая борьба двух соседних славянских государств – Руси и Польши.

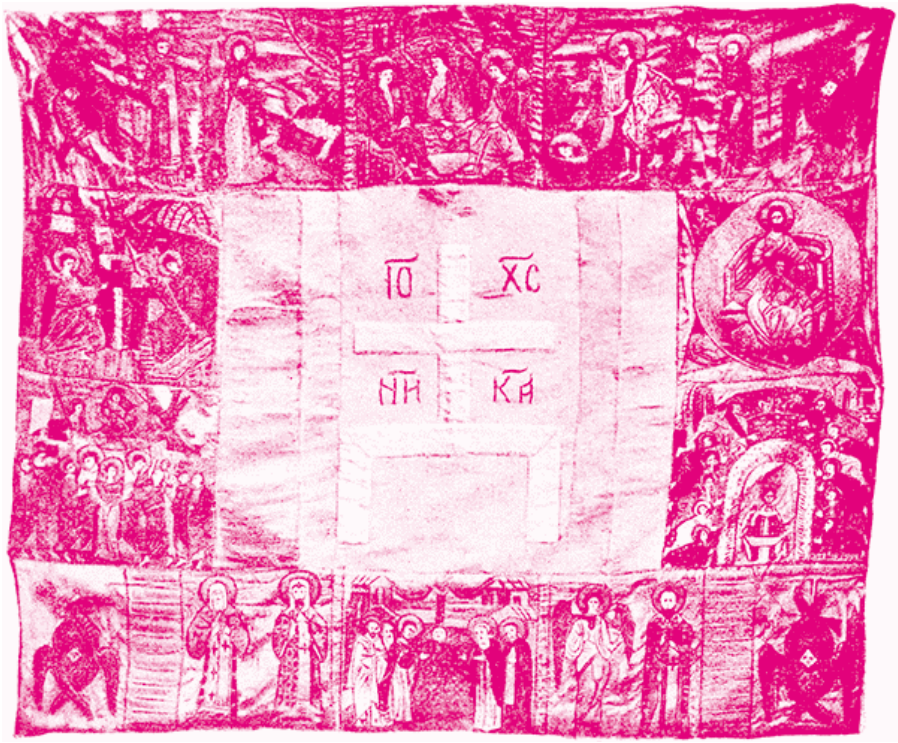
Простой перечень войн Москвы с Польшей – Литвой при Иване III и его двух ближайших преемниках показывает, сколько тяжелого исторического предвидения было в его крымском заявлении. Две войны при нем самом, две при его сыне Василии, одна война в правление Васильевой вдовы Елены, при Иване IV война с Ливонией, сопровождавшаяся продолжительной войной, точнее говоря, двумя войнами с Польшей, поглотившими около 20 лет его царствования. Из 90 лет (1492–1582) не менее 40 ушло

на борьбу с Литвой – Польшей.

Софья Палеолог. Иван был женат два раза. Первая жена его была сестра его соседа, великого князя Тверского, Марья Борисовна. По смерти ее (1467) Иван стал искать другой жены, подальше и поважнее. Тогда в Риме проживала сирота-племянница последнего византийского императора Софья Фоминична Палеолог. Несмотря на то что греки, со времени Флорентийской унии, сильно уронили себя в русских православных глазах, и Софья жила так близко к ненавистному Папе, в таком подозрительном церковном обществе, Иван III, одолев в себе религиозную брезгливость, выписал царевну из Италии и женился на ней в 1472 г.

Эта царевна, известная тогда в Европе своей редкой полнотой, привезла в Москву очень тонкий ум и получила здесь весьма большое значение. Бояре XVI в. приписывали ей все неприятные им нововведения, какие с того времени появились при московском дворе. Внимательный наблюдатель московской жизни барон Герберштейн, два раза приезжавший в Москву послом германского императора при Ивановом преемнике, наслушавшись боярских толков, замечает о Софье в своих «Записках», что это была женщина необыкновенно хитрая, имевшая большое влияние на великого князя, который по ее внушению сделал многое. Ее влиянию приписывали даже решимость Ивана III сбросить с себя татарское иго. В боярских россказнях и суждениях о царевне нелегко отделить наблюдение от подозрения или преувеличения, руководимого недоброжелательством.

Софья могла внушить лишь то, чем дорожила сама, и что понимали и ценили в Москве. Она могла привезти сюда предания и обычаи византийского двора, гордость своим происхождением, досаду, что идет замуж за татарского данника. В Москве ей едва ли нравилась простота обстановки и бесцеремонность отношений при дворе, где самому Ивану III приходилось выслушивать, по выражению его внука, «многие поносные и укоризненные слова» от строптивых бояр. Но в Москве и без нее не у одного Ивана III было желание изменить все эти старые порядки, столь не соответствовавшие новому положению московского государя, а Софья с привезенными ею греками, видавшими и византийские, и римские виды, могла дать ценные указания, как и по каким образцам ввести желательные перемены.



Пелена, шитая великой княгиней Софией Фоминичной в 1498 г.

Хранится в ризнице Троице-Сергиевой лавры

Ей нельзя отказать во влиянии на декоративную обстановку и закулисную жизнь московского двора, придворные интриги и личные отношения. Но на политические дела она могла действовать только внушениями, вторившими тайным или смутным помыслам самого Ивана. Особенно понятливо могла быть воспринята мысль, что она, царевна, своим московским замужеством делает московских государей преемниками византийских императоров со всеми интересами православного Востока, какие держались за этих императоров. Потому Софья ценилась в Москве и сама себя ценила не столько как великая княгиня Московская, сколько как царевна Византийская.

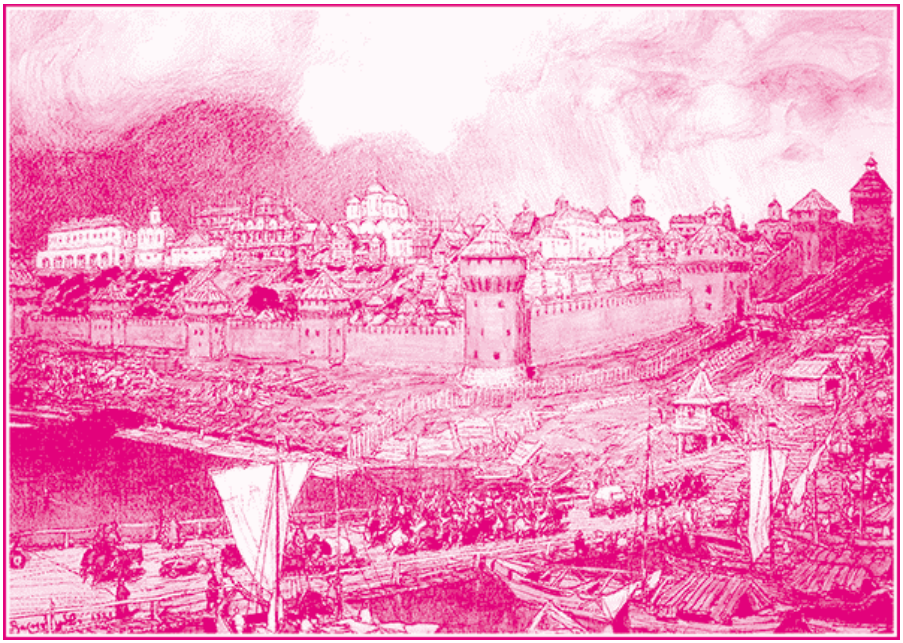
В Троицком Сергиевом монастыре хранится шелковая пелена, шитая руками этой великой княгини, которая вышила на ней и свое имя. Пелена эта вышита в 1498 г. В 26 лет замужества Софье, кажется, пора уже было забыть про свое девичество и прежнее византийское звание. Однако в подписи на пелене она все еще величает себя «царевною царегородскою», а не великой княгиней Московской. И это было недаром: Софья, как царевна, пользовалась в Москве правом принимать иноземные посольства.

Таким образом, брак Ивана и Софьи получал значение политической демонстрации, которою заявляли всему свету, что царевна, как наследница павшего Византийского дома, перенесла его державные права в Москву как в новый Царьград, где и разделяет их со своим супругом.

Новые титулы. Почувствовав себя в новом положении и еще рядом с такой знатной женой, наследницей византийских императоров, Иван нашел тесной и некрасивой прежнюю кремлевскую обстановку, в какой жили его невзыскательные предки. Вслед за царевной из Италии выписаны были мастера, которые построили Ивану новый Успенский собор, Грановитую палату и новый каменный дворец на месте прежних деревянных хором. В то же время в Кремле при дворе стал заводиться тот сложный и строгий церемониал, который сообщал такую чопорность и натянутость придворной московской жизни.

Точно так же, как у себя дома, в Кремле, среди придворных слуг своих, Иван начал выступать более торжественной поступью и во внешних сношениях, особенно с тех пор, как, само собою, без бою, при татарском же содействии, свалилось с плеч ордынское иго, тяготевшее над Северо-Восточной Русью два столетия (1238–1480). В московских правительственных, особенно дипломатических, бумагах с той поры является новый, более торжественный язык, складывается пышная терминология, незнакомая московским дьякам удельных веков.

Между прочим, для едва воспринятых политических понятий и тенденций не замедлили подыскать подходящее выражение в новых титулах, какие появляются в актах при имени московского государя. Это целая политическая программа, характеризующая не столько действительное, сколько искомое положение. В основу ее положены те же два представления, извлеченные московскими правительственными умами из совершавшихся событий, и оба этих представления – политические притязания. Это мысль о московском государе как о национальном властителе всей Русской земли и мысль о нем как о политическом и церковном преемнике византийских императоров. Много Руси оставалось за Литвой и Польшей, и, однако, в сношениях с западными дворами, не исключая и литовского, Иван III впервые отважился показать европейскому политическому миру притязательный титул государя всея Руси, прежде употреблявшийся лишь в домашнем обиходе, актах внутреннего управления, и в договоре 1494 г. даже заставил литовское правительство формально признать этот титул.



А. Васнецов. **Кремль при Иване III**

После того как спало с Москвы татарское иго, в сношениях с неважными иностранными правителями, например с ливонским магистром, Иван III титулует себя «царем всея Руси». Этот термин, как известно, есть сокращенная южнославянская и русская форма латинского слова «цесарь», или, по старинному написанию, «цезарь», как от того же слова, по другому произношению, «кесарь» произошло немецкое «Kaiser». Титул царя в актах внутреннего управления при Иване III иногда, при Иване IV обыкновенно соединялся со сходным по значению титулом самодержца – это славянский перевод византийского императорского титула. Оба термина в Древней Руси значили не то, что стали значить потом, выражали понятие не о государе с неограниченной внутренней властью, а о властителе, не зависимом ни от какой сторонней внешней власти, никому не платящем дани. На тогдашнем политическом языке оба этих термина противополагались тому, что мы разумеем под словом «вассал». Памятники русской письменности до татарского ига иногда и русских князей называют царями, придавая им этот титул в знак почтения, не в смысле политического термина. Царями по преимуществу Древняя Русь до половины XV в. звала византийских императоров и ханов Золотой Орды, наиболее известных ей независимых властителей, и Иван III мог принять этот титул, только перестав быть данником хана. Свержение ига устраняло политическое к тому препятствие, а брак с Софьей

давал на то историческое оправдание: Иван III мог теперь считать себя единственным оставшимся в мире православным и независимым государем, какими были византийские императоры, и верховным властителем Руси, бывшей под властью ордынских ханов.

Усвоив эти новые пышные титулы, Иван нашел, что теперь ему не пригоже называться в правительственных актах просто по-русски Иваном, государем великим князем, а начал писаться в церковной книжной форме: «Иоанн, Божиею милостию государь всея Руси». К этому титулу как историческое его оправдание привешивается длинный ряд географических эпитетов, обозначавших новые пределы Московского государства: «Государь всея Руси и великий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Пермский, и Югорский, и Болгарский, и иных», т. е. земель. Почувствовав себя и по политическому могуществу, и по православному христианству, наконец, и по брачному родству преемником павшего дома византийских императоров, московский государь нашел и наглядное выражение своей династической связи с ними: с конца XV в. на его печатях появляется византийский герб – двуглавый орел.

Генеалогия Рюрика. Тогда мыслили не идеями, а образами, символами, обрядами, легендами, т. е. идеи развивались не в логические сочетания, а в символические действия или предполагаемые факты, для которых искали оправдания в истории. К прошлому обращались не для объяснения явлений настоящего, а для оправдания текущих интересов, подыскивали примеры для собственных притязаний.

Московским политикам начала XVI в. мало было брачного родства с Византией: хотелось породниться и по крови, притом с самым корнем или мировым образцом верховной власти – самим Римом. В московской летописи того века появляется новое родословие русских князей, ведущее их род прямо от императора Римского. По-видимому, в начале XVI в. составилось сказание, будто Август, кесарь Римский, обладатель всей вселенной, когда стал изнемогать, разделил вселенную между братьями и сродниками своими и брата своего Пруса посадил на берегах Вислы-реки по реку, называемую Неман, что и доныне по имени его зовется Прусской землей, «а от Пруса четырнадцатое колено – великий государь Рюрик».

Московская дипломатия делала из этого сказания практическое употребление: в 1563 г. бояре царя Ивана, оправдывая его царский титул в переговорах с польскими послами, приводили словами летописи эту самую генеалогию

московских Рюриковичей.

Идея Божественного происхождения власти. Изложенные подробности, не все одинаково важные сами по себе, все любопытны как своего рода символы политического мышления, выражение усиленной работы политической мысли, какая началась в московских государственных умах при новых условиях положения. В новых титулах и церемониях, какими украшала или обставляла себя власть, особенно в генеалогических и археологических легендах, какими она старалась осветить свое прошлое, сказывались успехи ее политического самосознания. В Москве чувствовали, что значительно выросли, и искали исторической и даже богословской мерки для определения своего роста. Все это вело к попытке вникнуть в сущность верховной власти, ее основания, происхождение и назначение.

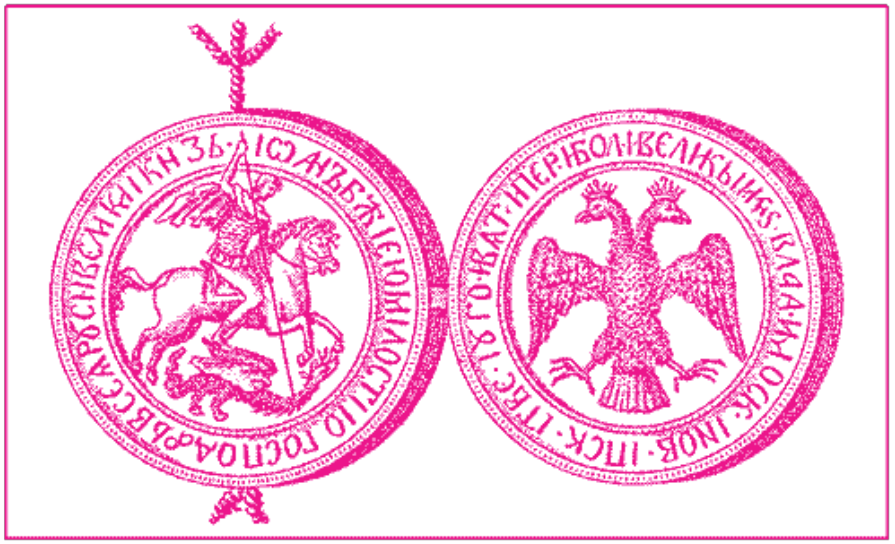
Увидев себя в новом положении, московский государь нашел недостаточным прежний источник своей власти, каким служила отчина и дедина, т. е. преемство от отца и деда. Теперь он хотел поставить свою власть на более возвышенное основание, освободить ее от всякого земного юридического источника. Идея Божественного происхождения верховной власти была нечужда и предкам Ивана III. Но никто из них не выражал этой идеи так твердо, как он, когда представлялся к тому случай.

В 1486 г. некий немецкий рыцарь Поппель, странствуя по малоизвестным в Европе отдаленным краям, каким-то образом попал в Москву. Вид столицы неведомого Московского государства поразил его как политическое и географическое открытие. На католическом Западе знали преимущественно Русь Польско-Литовскую, и многие даже не подозревали существования Руси Московской. Воротясь домой, Поппель рассказывал германскому императору Фридриху III, что за Польско-Литовской Русью есть еще другая Русь, Московская, не зависимая ни от Польши, ни от татар, государь которой будет, пожалуй, посильнее и побогаче самого короля Польского. Удивленный таким неожиданным известием, император послал Поппеля в Москву просить у Ивана руки одной из его дочерей для своего племянника и, в вознаграждение за это, предложить московскому князю королевский титул. Иван благодарил за любезное предложение, но в ответ на него велел сказать послу: «А что ты нам говорил о королевстве, то мы Божиею милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, а поставление имеем от Бога, как наши прародители, так и мы. Молим Бога, чтобы нам и детям нашим дал довеку так быть, как мы теперь государи на своей земле, а поставления как прежде ни от кого не хотели, так и теперь не хотим». Подобно деду, царь

Иван в беседе с польско-литовскими послами, жалуясь на то, что король Сигизмунд-Август не признает его титулов и прав, ими выражаемых, говорил, что эти права даны ему Богом и ни в чьем признании не нуждаются.

Вотчина и государство. Таковы успехи, достигнутые московским политическим самосознанием путем столь разнообразных усилий. Объединение Великороссии повело к мысли о соединении всей Руси под одною властью и к стремлению придать этой власти не только всероссийское, но и вселенское значение. Но во имя чего объединили Великороссию и хотели объединить всю Русь? Иван III настойчиво заявлял, и его преемники повторяли, что вся Русская земля – их отчина. Значит, новый союз, образуемый объединявшейся Великороссией, подводился под старую политическую форму: ни из чего не видно, чтобы Иван III понимал отчину как-нибудь иначе, не так, как понимали эту форму его удельные предки. Но общественные союзы имеют свою природу, требующую соответственных ей политических форм. В удельной вотчине, где свободные обыватели находились к князю во временных договорных отношениях, ежеминутно способных порваться, князь был собственником только территории, земельного пространства с хозяйственными угодьями. Страна, населенная целым народом, для которого она стала отечеством, соединившись под одною властью, не могла оставаться вотчинной собственностью носителей этой власти.

В Москве заявляли притязание на всю Русскую землю как на целый народ во имя государственного начала, а обладать ею хотели как отчиной на частном удельном праве. В этом состояло внутреннее противоречие того объединительного дела, которое с таким видимым успехом довершали Иван III и его преемник. Иван III, первый из московских князей громко объявлявший всю Русскую землю своей вотчиной, кажется, чувствовал это противоречие и искал из него выхода, усиливаясь согласовать свою вотчинную власть с требованиями изменившегося положения. Увидев себя государем целого православного народа, он сознавал, хотя и смутно, те новые обязанности, какие ложились на него как на поставленного свыше блюстителя народного блага. Мысль об этом мелькнула при одном случае, о котором, впрочем, узнаем далеко не из первого источника.

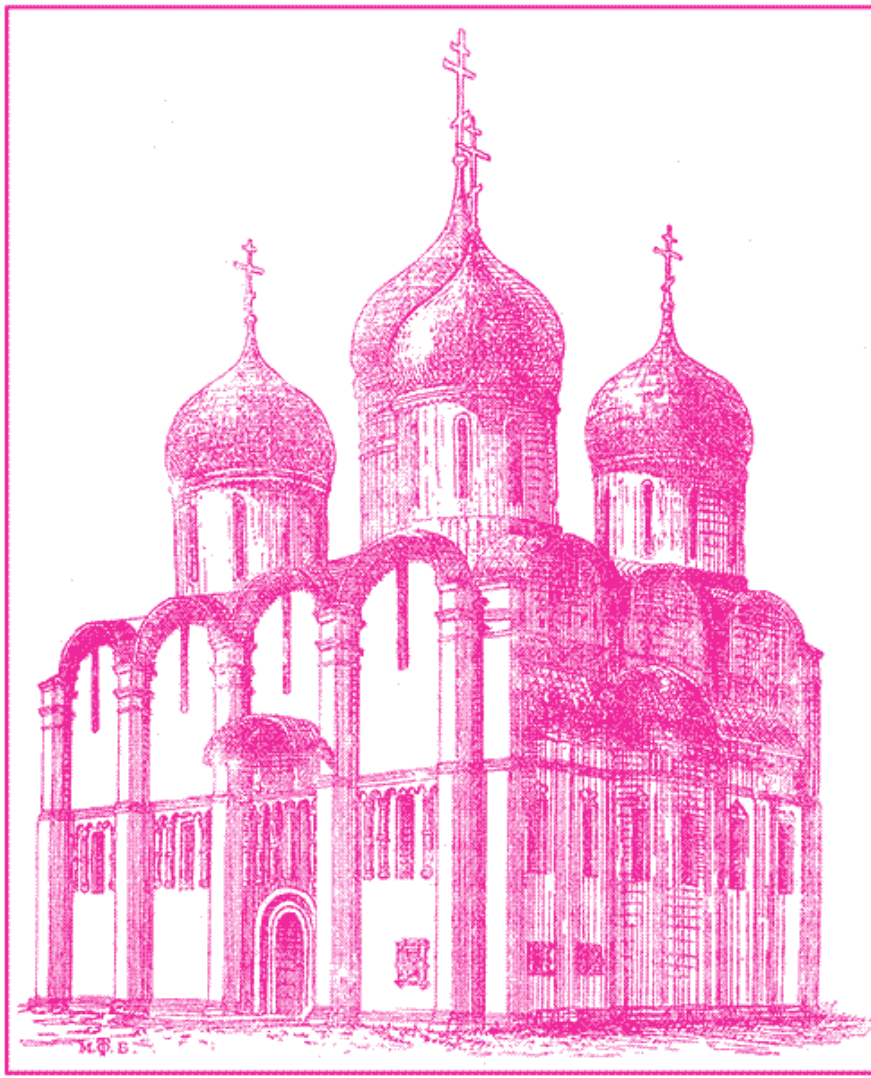


Печать Государственная малая (так называемая Двойная Кормчая) великого князя Иоанна III Васильевича.

Эта печать была привешена к договорной грамоте 16 июня 1504 г., заключенной по приказанию великого князя Иоанна Васильевича между детьми его, великим князем Василием Ивановичем и князем Юрием Ивановичем, в знак дружбы и согласия

В 1491 г. по договору Иван велел своим удельным братьям послать их полки на помощь своему крымскому союзнику, хану Менгли-Гирею. Удельный князь Андрей Углицкий не послушался, не послал своих полков. В Москве сначала смолчали и, когда князь Андрей приехал в столицу, приняли его ласково, но потом неожиданно схватили и посадили в тюрьму. Митрополит по долгу сана ходатайствовал перед великим князем за арестованного; но Иван отказался дать ему свободу, говоря, что этот князь и раньше несколько раз злоумышлял против него. «Да это бы еще ничего, – добавил Иван, – но, когда я умру, он будет искать великого княжения под внуком моим, и если даже не добудет княжения, то смутит детей моих, и станут они воевать друг с другом, а татары будут Русскую землю бить, жечь и пленить и дань опять наложат, и кровь христианская польется по-прежнему, и все мои труды останутся напрасны, и вы по-прежнему будете рабами татар». Так повествует Татищев в своем летописном своде, не указывая, откуда заимствовал слова великого князя. Во всяком случае, с тех пор как был обеспечен успех московского собирания Руси, в Иване III, его старшем сыне и внуке начинают бороться вотчинник и государь, самовластный хозяин и носитель верховной государственной власти. Это колебание между двумя началами или порядками обнаруживалось в решении важнейших вопросов,

поставленных самым этим собиранием, – порядке преемства власти, ее объеме и форме. Ход политической жизни объединенной Великороссии более чем на столетие испорчен был этим колебанием, приведшим государство к глубоким потрясениям, а династию собирателей – к гибели.



Успенский собор Московского Кремля

Престолонаследие. Мы уже знаем, как еще до Ивана фактическим, не юридическим путем устанавливался в московском княжеском доме порядок преемства великокняжеской власти в прямой нисходящей линии. Все зависело от обстоятельств и хана. Но обстоятельства и воля хана обыкновенно складывались в пользу такого порядка, и образовали обычай, в

силу которого великое княжение уже с Димитрия Донского стало не только московской отчиной, но именно отчиной старшего сына московского великого князя. Василий Темный, столько потерпевший в борьбе за этот порядок, придумал средство упрочить его, еще при своей жизни назначив старшего своего сына Ивана великим князем-соправителем. Иван хотел последовать примеру отца и старшего сына своего от первой жены, Ивана, так же назначил своим соправителем. Но соправитель умер, оставив сына Димитрия, когда и у Софьи подрастал сын Василий.

У Ивана III получились две нисходящие и равносильные линии: представитель старшей (внук) на одно колено был ниже представителя младшей (сын). Бояре, по нелюбви к Софье, были за внука. Софья с сыном завела темную придворную интригу, которая открылась, и рассерженный Иван решил назначить соправителем и наследником внука. Но он не довольствовался простым изъявлением своей воли: недавний обычай назначать наследника, предварительно объявив его соправителем, он хотел освятить торжественным церковным венчанием избранника на великое княжение.

Из византийских коронационных обрядников выбрали подходящие церемонии, дополнили их подходящими к случаю подробностями и составили «чин» поставления Димитрия Ивановича на великое княжение, дошедший до нас в современной рукописи. Венчание происходило в Успенском соборе в 1498 г. Великий князь-дед возложил на великого князя-внука шапку, венец и бармы, оплечье, широкий отложной воротник. Во время венчания митрополит, обращаясь к деду, называл его «преславным царем самодержцем». Торжественная минута вызвала в московском князе потребность оглянуться назад и призвать старину, историю, в оправдание нового порядка престолонаследия – в прямой нисходящей линии.

Обратясь к митрополиту, Иван сказал: «Отец митрополит! Божиим изволением от наших прародителей, великих князей, старина наша оттоле и до сих мест: отцы наши, великие князья, сыновьям своим старшим давали великое княжение; и я было сына своего первого, Ивана, при себе благословил великим княжением; но Божиею волей сын мой Иван умер; у него остался сын первый, Димитрий, и я его теперь благословляю при себе и после себя великим княжением Владимирским, Московским и Новгородским, и ты бы его, отец, на великое княжение благословил».

По прямому смыслу этих слов Иван решил при назначении преемника держаться прямой нисходящей линии в самом строгом

смысле слова. Торжественное церковное венчание, освящавшее такой порядок престолонаследия, можно считать тогдашней формой издания основных законов. Такие законы, и впереди всех закон о престолонаследии, были особенно необходимы в момент превращения непомерно расширившейся вотчины Даниловичей в Московское государство. Государство тем и отличается от вотчины, что в нем воля вотчинника уступает место государственному закону. Но Иван сам же нарушил свое столь торжественное установление. Софья успела поправить свои дела: венчанный внук был разжалован и заключен под стражу, а сын пожалован и посажен на великое княжение «самодержцем». «Разве я не волен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжение», – сказал однажды Иван по другому случаю; здесь в нем говорил своенравный хозяин-вотчинник, а не государь, которым издан первый Судебник.

Та же мысль о произвольном выборе преемника между нисходящими выражена и в договоре, заключенном между Василием и Юрием, старшими сыновьями Ивана III, еще при его жизни и по его воле. Отец благословляет великим княжеством сына, которого хочет, невзирая на старшинство. Преемником Ивана III дан был пример, которому они следовали с печальным постоянством, – одной рукой созидать, а другой разрушать свое создание, пока не разрушили созданного ими государства.

Расширение власти великого князя. Такое же колебание заметно и в определении объема и формы верховной власти. Усиленная работа политической мысли повела не к одному лишь накоплению новых украшений вокруг великого князя и его титула; от этой работы оставались и некоторые практические осадки. Новое значение верховной власти, постепенно уясняясь, отражалось не только на придворном церемониале, но и на государственном праве.

Иван III в своем завещании довел это усиление до небывалых размеров. Старшему своему сыну и наследнику великого княжения он одному завещал более 60 городов с уездами или целых земель с городами и пригородами, а четырем удельным его братьям, всем вместе, было дано не более 30 городов, притом большею частью малозначительных. Теперь великий князь Московский стал гораздо богаче и сильнее всех удельных своих родичей, вместе взятых. Это было практическое средство, к которому прибегали и предшественники Ивана III для обеспечения политического преобладания старшего наследника. Иван III и здесь сделал важное нововведение, в котором сказалось действие государственных идей, усиленно проникавших в сознание московского государя. Усиливая материальное

преобладание старшего сына, великого князя, он в своей духовной дал ему и существенные политические преимущества над младшими удельными братьями. В этом отношении духовная Ивана есть первый акт своего рода в истории нашего государственного права: в нем видим попытку определить состав верховной власти.

Перечислю эти политические преимущества, данные великому князю над удельными.

1) До сих пор все князья-сонаследники, совместно по долям или участкам, владели городом Москвой, собирали с нее дань и пошлины, прямые и косвенные налоги; в духовной Ивана III важнейшие статьи финансового управления столицей, торговые пошлины и сборы с торговых помещений предоставлены одному великому князю, который только выдавал из них по 100 рублей (не менее 10 тысяч рублей на наши деньги) в год каждому из удельных своих братьев.

2) До сих пор удельные князья творили суд и расправу по всем делам каждый в своем участке столицы и в принадлежавших ему подмосковных селах; по духовной Ивана III, суд по важнейшим уголовным делам во всей Москве и в подмосковных станах, доставшихся в удел братьям, принадлежал исключительно великому князю.

3) До сих пор каждый владетельный князь, великий, как и удельные, бил или мог бить свою монету, и в наших нумизматических кабинетах вы найдете много экземпляров удельной монеты XIV и XV вв.; по духовной Ивана III, право чеканить монету предоставлено было одному великому князю Московскому.

4) До сих пор, согласно с удельным порядком владения, удельные князья могли располагать своими вотчинами в завещаниях по личному усмотрению. Димитрий Донской впервые ввел некоторое ограничение в это право, постановив в своей духовной, что удельный князь, умирая бессыновным, не мог никому завещать свой удел, который по смерти бессыновного владельца делился между оставшимися братьями по усмотрению матери. В духовной Ивана III это ограничение направлено исключительно в пользу великого князя: выморочный удел весь, без раздела, переходил к последнему. Часть удела, выделенная княгине-вдове «на прожиток», оставалась в ее пользовании только до ее смерти, «до живота», а потом также отходила к великому князю.

Вред удельного владения. Видим, что духовная Ивана III определяет верховную власть великого князя только с одной стороны – по отношению к князьям удельным.

А. Васнецов. **Двор удельного князя**

Великий князь, прежде превосходивший удельных родичей только размерами своих владений, количеством материальных средств, теперь сосредоточил в своем лице и наибольшее количество политических прав. Преемник Ивана III вступал на великокняжеский стол более государем, чем сам Иван. Удельные братья, в первую половину Иванова княжения еще способные наделать больших хлопот великому князю, потом являются перед ним бессильными и бесправными владетелями. Они беднели и падали все более, вели хищническое управление в своих уделах и все-таки нуждались, не были в состоянии нести расходы на татар, занимали деньги у кого и сколько могли, иногда по 2 рубля на соль, и не платили процентов, умирали в больших долгах, возлагая уплату их на великого князя, которому отказывали свои уделы. В таких чертах рисуется их хозяйственное положение в их духовных грамотах.

Еще печальнее было положение удельных братьев великого князя Василия. Они иногда помышляли о побеге в Литву, но, по обнаружении замысла, униженно ходатайствовали о прощении через митрополита, монахов, московских бояр, называли себя холопами великого князя, своего «государя». С ними и не стеснялись в Москве ни при Иване, ни при Василии. Они знали, что за ослушание и за крамолу по одному доносу, даже только по подозрению, их ждет московская тюрьма. Но удельное право формально признавали оба этих великих князя. Они заключали с

удельными договоры на старых условиях, как с независимыми владетелями, только обязывая их быть неотступными от великих князей «никуда ни к кому никоторыми делы», ни с кем не заключать договоров, вообще не сноситься без ведома великих князей и под их детьми, своими племянниками, великих княжеств не подыскивать. По-прежнему действуют личные обязательства вместо закона. Однако, безопасные сами по себе, по своей политической и нравственной слабости, неспособные и своих уделов устроить, не то чтобы царством править, как отозвался о своих удельных братьях великий князь Василий, они не перестали быть вредными при тогдашнем ходе дел и при складе общества того времени. Удельные предания были еще слишком свежи и кружили слабые удельные головы при всяком удобном случае.

Удельный князь был крамольник если не по природе, то по положению. За него цеплялась всякая интрига, заплетавшаяся в сбродной придворной толпе. В московском Кремле от него ежеминутно ожидали смуты. Всего более боялись его побега за границу, в Литву, хотя эта опасность была, может быть, лучшим средством освободить государство от этих, ни на что не пригодных, остатков безнарядной старины, как это средство избавило Василия Темного от его злейших врагов, князей Можайского и Шемячича.

Формальное, т. е. притворное, признание удельного права, не соответствовавшее действительным отношениям, внося фальшь в государственную жизнь, мешало московским государям уяснить себе и проводить одно из основных начал государственного порядка – единство, цельность верховной власти. Печальный опыт отца и свой собственный заставил Ивана III тревожно задуматься над мыслью о такой власти. Московский посланец от его имени говорил в Вильне его дочери, великой княгине Литовской: «Слыхал я, каково было нестроение в Литовской земле, коли было государей много, а и в нашей земле, слыхала ты, каково было нестроение при моем отце, а после отца – каковы были дела и у меня с братьями, надеюсь, слыхала же, а иное и сама помнишь».

Взгляд общества на государя. До конца XV в. это отношение отличалось простотой удельного времени, и еще не заметно было следов того почитания, своего рода культа, которым впоследствии был окружен московский государь. В 1480 г., во время нашествия хана Ахмата, Иван III, постояв с полками на Оке, покинул армию и воротился в Москву. Столица была в смятении; горожане сносили в Кремль свои пожитки, ожидая татарской осады. Увидев возвращавшегося великого князя, они подступили к нему с жалобами и говорили ему, по свидетельству летописи: «Когда ты, государь, княжишь над нами в мирное время, тогда нас

много понапрасну обременяешь поборами, а теперь сам, рассердив хана, не заплатив ему выхода, нас же выдаешь татарам». Престарелый ростовский архиепископ Вассиан встретил великого князя еще более резкими упреками, начал «зло говорить ему», называя его «бегуном», трусом и грозя, что на нем взыщется кровь христианская, которая прольется от татар.

Московский Кремль в XVI в.

Приведем еще эпизод из княжения Иванова преемника. И в это время еще не исчезли прежние простые отношения подданных к государю. Тогда в Москве заподозрили по доносу в злом умысле государева брата, удельного дмитровского князя Юрия, и решили дождаться его приезда в столицу, чтобы арестовать его. Узнав об этом, Юрий обратился к волоколамскому игумену преподобному Иосифу, жалуясь ему, что в Москве слушают наветников, и прося игумена съездить в Москву походатайствовать за него перед великим князем. Иосиф уговаривал удельного князя не противиться великому: «Преклони главу твою пред помазанником Божиим и покорись ему».

Юрий отвечал на это: «Будь мне вместо отца родного; я по твоему наставлению не буду против государя, готов все терпеть от него, даже самую смерть, только съезди к нему». Иосиф послал к великому князю двух старцев своего монастыря. Не соблюдая обычных правил вежливости, не поздоровавшись и не спросив о здоровье игумена, Василий встретил посланных сердитыми словами: «Зачем пришли, какое вам до меня дело?» Тогда один из старцев начал наставительно пенять великому князю, что государю не подобает так выходить из себя, не разузнав наперед,

в чем дело, а следует расспросить хорошенько и выслушать с кротостью и смирением.

Великий князь смутился, встал и, улыбаясь, сказал: «Ну, простите, старцы, я пошутил». Затем, сняв шапку, он поклонился старцам и спросил о здоровье игумена. Тогда уже пошла речь о деле, и великий князь уважил ходатайство Иосифа, помирился с братом. Это было до 1515 г., когда умер Иосиф. Так еще в начале XVI в. по временам проявлялись простые удельные отношения подданных к своему государю; но эти отношения исчезали быстро вместе с последними уделами.

Уже при Иване III, еще более при Василии, верховная власть окружала себя тем ореолом, который так резко отделил московского государя от всего остального общества. Посол императора Германского Герберштейн, наблюдавший Москву при Василии, замечает, что этот великий князь докончил то, что начал его отец, и властью своею над подданными превосходит едва ли не всех монархов на свете. Он добавляет, что в Москве говорят про великого князя: «Воля государева – Божия воля, государь – исполнитель воли Божией». Когда москвичей спрашивают о каком-нибудь неизвестном им или сомнительном деле, они отвечают затверженными выражениями: «Мы того не знаем, знает то Бог да великий государь». По словам Герберштейна, они даже величали своего государя ключником и постельничим Божиим, применяя язык московского двора к столь возвышенным отношениям. Так уже ко времени Василиева преемника, Ивана IV, в Москве был готов тот кодекс политических понятий, которым так долго жила потом Московская Русь.

Таким образом, идея государственного объединения всей Русской земли, национального значения московского государя, свыше возложенного на него полномочия блюсти народное благо, – эти идеи вместе с первыми попытками установить состав верховной власти, единой и неделимой, надобно признать значительными успехами для московских умов того времени. Впрочем, значение этих успехов ограничилось бы историей понятий, если бы они не сопровождались соответственным движением общественного и государственного порядка.

Мы видели, как, вследствие политического объединения Великороссии, изменились и состав и настроение московского боярства. Эта перемена неизбежно должна была изменить и добрые отношения, существовавшие между московским государем и его боярством в удельные века.

Отношение бояр к великому князю в удельные века. Эта перемена отношений была неизбежным последствием того же

самого процесса, которым были созданы власть московского государя и его новое боярство. В удельные века боярин ехал на службу в Москву, ища здесь служебных выгод. Эти выгоды росли для служилого человека вместе с успехами его хозяина. Это устанавливало единство интересов между обеими сторонами. Вот почему московские бояре во весь XIV в. дружно помогали своему государю в его внешних делах и усердно радели ему во внутреннем управлении. Тесная связь, задушевность отношений между обеими сторонами яркой чертой проходят по московским памятникам того века.

Великий князь Семен Гордый пишет, обращаясь в духовной к своим младшим братьям с предсмертными наставлениями: «Слушали бы вы во всем отца нашего, владыки Алексея, да старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам». Еще задушевнее выступают эти отношения в написанной современником биографии великого князя Димитрия Донского, который и великокняжеским столом был обязан своим боярам. Обращаясь к своим детям, великий князь говорил: «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте по их службе, без воли их ничего не делайте». Обратившись затем к самим боярам, великий князь в сочувственных словах напомнил им, как он работал вместе с ними в делах внутренних и внешних, как они укрепляли княжение, как стали страшны недругам Русской земли. Между прочим, Димитрий сказал своим сотрудникам: «Я всех вас любил и в чести держал, веселился с вами, с вами и скорбел, и вы назывались у меня не боярами, а князьями земли моей».

Перемена отношений. Эти добрые отношения и стали расстраиваться с конца XV в. Новые, титулованные бояре шли в Москву не за новыми служебными выгодами, а большею частью с горьким чувством сожаления об утраченных выгодах удельной самостоятельности. Теперь только нужда и неволя привязывали новое московское боярство к Москве, и оно не могло любить этого нового места своего служения. Разошедшись в интересах, обе стороны еще более разошлись в политических чувствах, хотя эти чувства выходили из одного источника. Одни и те же обстоятельства, с одной стороны, поставили московского великого князя на высоту национального государя с широкой властью, с другой – навязали ему правительственный класс с притязательными политическими вкусами и стремлениями и со стеснительной для верховной власти сословной организацией.

Почувствовав себя в сборе вокруг московского Кремля, титулованные бояре стали смотреть на себя, как не смели смотреть московские бояре удельного времени. Почувствовав себя государем объединенной Великой Руси, великий князь

Московский с трудом переносил и прежние свои отношения к боярам как вольным слугам по договору, и совсем не мог ужиться с новыми их притязаниями на раздел власти. Одна и та же причина – объединение Великороссии – сделала московскую верховную власть менее терпеливой и уступчивой, а московское боярство – более притязательным и заносчивым.

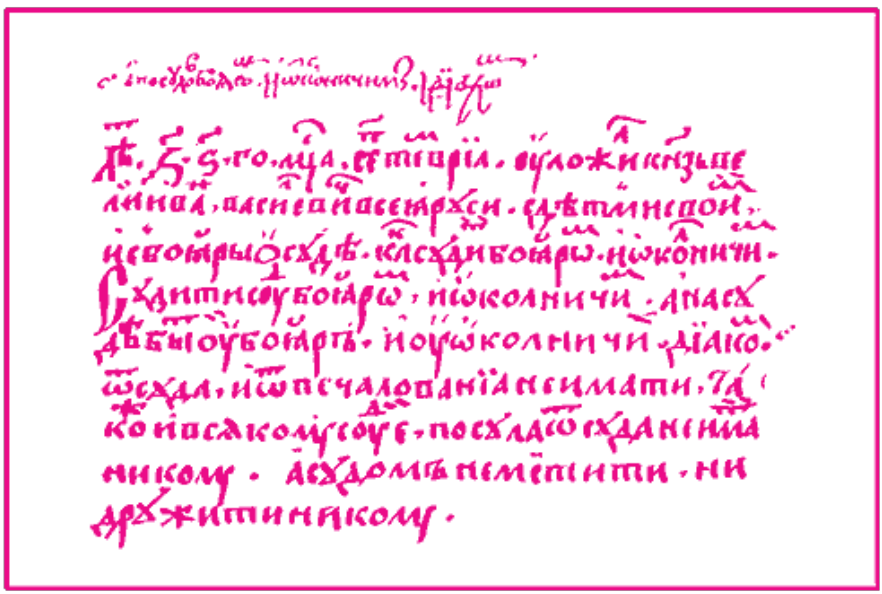
Таким образом, одни и те же исторические обстоятельства разрушили единство интересов между обеими политическими силами, а разъединение интересов расстроило гармонию их взаимных отношений. Отсюда и вышел ряд столкновений между московским государем и его боярами. Эти столкновения вносят драматическое оживление в монотонную и церемонную жизнь московского двора того времени и производят впечатление политической борьбы московского государя с его непокорным боярством. Впрочем, это была довольно своеобразная борьба, как по приемам борцов, так и по руководившим ею побуждениям. Отстаивая свои притязания, бояре не поднимались открыто против своего государя, не брали в руки оружия, даже не вели дружной политической оппозиции против него. Столкновения разрешались обыкновенно придворными интригами и опалами, немилостями, происхождение которых иногда трудно разобрать. Это скорее придворная вражда, иногда довольно молчаливая, чем открытая политическая борьба, скорее пантомима, чем драма.

Столкновения. Эти столкновения с особенной силой обнаруживались два раза, и каждый раз по одинаковому поводу – по вопросу о престолонаследии. Иван III, как мы знаем, сперва назначил своим наследником внука Димитрия и венчал его на великое княжение, а потом развенчал, назначив преемником сына своего от второй жены, Василия. В этом семейном столкновении боярство стало за внука и противодействовало сыну из нелюбви к его матери и к принесенным ею византийским понятиям и внушениям, тогда как на стороне Василия оказались все малые, худые служилые люди. Столкновение доходило до сильного раздражения с обеих сторон, вызвало шумные ссоры при дворе, резкие выходки со стороны бояр, – кажется, даже что-то похожее на крамолу. По крайней мере, сын Василия, царь Иван, жаловался после, что бояре на его отца вместе с племянником последнего, Димитрием, «многие пагубные смерти умышляли», даже самому государю-деду «многие поносные и укоризненные слова говорили». Но как шло дело, чего именно добивались бояре, в подробностях это остается не совсем ясным. Только через год после венчания Димитрия (1499) пострадали за противодействие Василию знатнейшие московские бояре: князю Семену Ряполовскому-Стародубскому отрубили голову, а его сторонников

– князя И. Ю. Патрикеева с сыном Василием, знаменитым впоследствии старцем Вассианом Косым, насильно постригли в монашество.

Неясность причины разлада. Во всех этих столкновениях, прорывавшихся в продолжение трех поколений, можно разглядеть поводы, их вызывавшие, но побуждения, руководившие ссорившимися сторонами, питавшие взаимную неприязнь, не высказываются достаточно внятно ни той, ни другой стороной.

Иван III глухо жаловался на неуступчивость, строптивость своих бояр. Отправляя в Польшу послов, вскоре после дела о наследнике, Иван, между прочим, давал им такое наставление: «Смотрите, чтобы во всем между вами гладко было, пили бы бережно, не допьяна, и во всем бы себя берегли, а не поступали бы так, как князь Семен Ряполовский высокоумничал с князем Василием, сыном Ивана Юрьевича (Патрикеева)».



Из Судебника Иоанна III (1497 г.)

Иван Никитич Берсень-Беклемишев и Максим Грек

Древний образ преподобного Максима Грека

Несколько явственнее выступают чувства и стремления оппозиционной боярской знати в княжение Василия. До нас дошел от того времени памятник, вскрывающий политическое настроение боярской стороны, – это отрывок следственного дела об думном человеке Иване Никитиче Берсене-Беклемишеве (1525). Берсень, далеко не принадлежавший к первостепенной знати, был человек упрямый, неуступчивый. В то время проживал в Москве вызванный с Афона для перевода с греческого Толковой Псалтири ученый монах Максим Грек. Это был человек образованный, знакомый с католическим Западом и его наукой,

учившийся в Париже, Флоренции и Венеции. Он привлек к себе любознательных людей из московской знати, которые приходили к нему побеседовать и поспорить «о книгах и цареградских обычаях», так что Максимова келья в подмосковном Симоновом монастыре стала похожа на ученый клуб.

Любопытно, что наиболее обычными гостями Максима были все люди из оппозиционной знати: между ними встречаем и князя Андрея Холмского, двоюродного племянника опального боярина, и В. М. Тучкова, сына боярина Тучкова, наиболее грубившего Ивану III, по свидетельству Грозного. Но самым близким гостем и собеседником Максима был Иван Никитич Берсень, с которым он часто и подолгу сиживал с глазу на глаз.

Берсень находился в это время в немилости и удалении от двора, оправдывая свое колючее прозвище (*берсень* – крыжовник). Иван Никитич раз в Думе что-то резко возразил государю при обсуждении вопроса о Смоленске. Великий князь рассердился и выгнал его из совета, сказав: «Пошел, смерд, вон, ты мне не надобен». В беседах с Максимом Берсень и изливал свои огорченные чувства, в которых можно видеть отражение политических дум тогдашнего боярства.

Передам их беседы, как они записаны были на допросах. Это очень редкий случай, когда мы можем подслушать интимный политический разговор в Москве XVI в.

Беседы Берсеня с Максимом Греком. Опальный советник, конечно, очень раздражен. Он ничем не доволен в Московском государстве: ни людьми, ни порядками. «Про здешние люди есми молвил, что ныне в людях правды нет». Всего более недоволен он своим государем и не хочет скрывать своего недовольства перед иноземцем.

«Вот, – говорил Берсень старцу Максиму, – у вас в Царьграде цари теперь басурманские, гонители; настали для вас злые времена, и как-то вы с ними перебиваетесь?» – «Правда, – отвечал Максим, – цари у нас нечестивые, однако в церковные дела у нас они не вступаются». – «Ну, – возразил Берсень, – хоть у вас цари и нечестивые, да ежели так поступают, стало быть, у вас еще есть Бог».

И как бы в оправдание проглоченной мысли, что в Москве уже нет Бога, опальный советник пожаловался Максиму на московского митрополита, который, в угоду государю, не ходатайствует по долгу сана за опальных, и вдруг, давая волю своему возбужденному пессимизму, Берсень обрушился и на своего собеседника: «Да вот и тебя, господин Максим, взяли мы со Св. Горы, а какую пользу от тебя получили?» – «Я – сиротина, – отвечал Максим обидчиво, – какой же от меня и пользе быть?» –

«Нет, – возразил Берсень, – ты человек разумный и мог бы нам пользу принести, и пригоже нам было тебя спрашивать, как государю землю свою устроить, как людей награждать и как митрополиту вести себя». – «У вас есть книги и правила, – сказал Максим, – можете и сами устроиться».

Берсень хотел сказать, что государь в устроении своей земли не спрашивал и не слушал разумных советов и потому строил ее неудовлетворительно. Это «несоветие», «высокоумие», кажется, всего больше огорчало Берсеня в образе действия великого князя Василия. Он еще снисходительно относился к Васильеву отцу. Иван III, по его словам, был добр и до людей ласков, а потому и Бог помогал ему во всем; он любил «встречу», возражение против себя. «А нынешний государь, – жаловался Берсень, – не таков: людей мало жалует, упрям, встречи против себя не любит и раздражается на тех, кто ему встречу говорит».

Итак, Берсень очень недоволен государем; но это недовольство совершенно консервативного характера. С недавнего времени старые московские порядки стали шататься, и шатать их стал сам государь – вот на что особенно жаловался Берсень. При этом он излагал целую философию политического консерватизма.

«Сам ты знаешь, – говорил он Максиму, – да и мы слыхали от разумных людей, что которая земля перестанавливает свои обычаи, та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи нынешний великий князь переменил: так какого же добра и ждать от нас?» Максим возразил, что Бог наказывает народы за нарушение Его заповедей, но что обычаи царские и земские переменяются государями по соображению обстоятельств и государственных интересов. «Так-то так, – возразил Берсень, – а все-таки лучше старых обычаев держаться, людей жаловать и стариков почитать; а ныне государь наш, запершись сам-третей у постели, всякие дела делает».

Этой переменой обычаев Берсень объясняет внешние затруднения и внутренние неурядицы, какие тогда переживала Русская земля. Первой виновницей этого отступничества от старых обычаев, сеятельницей этой измены родной старине Берсень считает мать великого князя. «Как пришли сюда греки, – говорил он Максиму, – так земля наша и замешалась, а до тех пор земля наша Русская в мире и тишине жила. Как пришла сюда мать великого князя, великая княгиня Софья, с вашими греками, так и пошли у нас нестроения великие, как и у вас в Царегороде при ваших царях». Максим Грек счел долгом заступиться за землячку и возразил: «Великая княгиня Софья с обеих сторон была роду великого – по отцу царского роду царегородского, а по

матери – великого дуксуса Феррарийского Италийской страны». – «Господин! какова бы она ни была, да к нашему нестроению пришла», – так заключил Берсень свою беседу.

Итак, если Берсень точно выражал взгляды современного ему оппозиционного боярства, оно было недовольно нарушением установленных обычаем правительственных порядков, недоверием государя к своим боярам. Тем, что рядом с Боярской думой он завел особый интимный кабинет из немногих доверенных лиц, с которыми предварительно обсуждал и даже предрешал государственные вопросы, подлежавшие восхождению в Боярскую думу. Берсень не требует никаких новых прав для боярства, а только отстаивает старые обычаи, нарушаемые государем; он – оппозиционный консерватор, противник государя, потому что стоит против вводимых государем перемен.

Знатные москвичи, знатный русский воин и знатный татарский воин *(справа).*

Гравюра XVI в.

Иван Грозный

Иоанн IV Грозный.
По рисунку XVI в.

Детство. Царь Иван родился в 1530 г. От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский, московский ум. Но обстоятельства, среди которых протекло детство Ивана, рано испортили этот ум, дали ему неестественное, болезненное развитие. Иван рано осиротел – на четвертом году лишился отца, а на восьмом потерял и мать. Он с детства видел себя среди

чужих людей. В душе его рано и глубоко врезалось и всю жизнь сохранялось чувство сиротства, брошенности, одиночества, о чем он твердил при всяком случае: «Родственники мои не заботились обо мне». Отсюда его робость, ставшая основной чертой его характера. Как все люди, выросшие среди чужих, без отцовского призора и материнского привета, Иван рано усвоил себе привычку ходить оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое недоверие к людям.

В детстве ему часто приходилось испытывать равнодушие или пренебрежение со стороны окружающих. Он сам вспоминал после в письме к князю Курбскому, как его с младшим братом Юрием в детстве стесняли во всем, держали как убогих людей, плохо кормили и одевали, ни в чем воли не давали, все заставляли делать насильно и не по возрасту. В торжественные, церемониальные случаи – при выходе или приеме послов – его окружали царственной пышностью, становились вокруг него с раболепным смирением, а в будни те же люди не церемонились с ним, порой баловали, порой дразнили. Играют они, бывало, с братом Юрием в спальне покойного отца, а первенствующий боярин князь И. В. Шуйский развалится перед ними на лавке, обопрется локтем о постель покойного государя, их отца, и ногу на нее положит, не обращая на детей никакого внимания, ни отеческого, ни даже властительного. Горечь, с какою Иван вспоминал об этом 25 лет спустя, дает почувствовать, как часто и сильно его сердили в детстве. Его ласкали как государя и оскорбляли как ребенка.

Но в обстановке, в какой шло его детство, он не всегда мог тотчас и прямо обнаружить чувство досады или злости, сорвать сердце. Эта необходимость сдерживаться, дуться в рукав, глотать слезы питала в нем раздражительность и затаенное, молчаливое озлобление против людей, злость со стиснутыми зубами. К тому же он был испуган в детстве. В 1542 г., когда правила партия князей Бельских, сторонники князя И. Шуйского ночью врасплох напали на стоявшего за их противников митрополита Иоасафа. Владыка скрылся во дворце великого князя. Мятежники разбили окна у митрополита, бросились за ним во дворец и на рассвете вломились с шумом в спальню маленького государя, разбудили и напугали его.

Влияние боярского правления. Безобразные сцены боярского своеволия и насилий, среди которых рос Иван, были первыми политическими его впечатлениями. Они превратили его робость в нервную пугливость, из которой с летами развилась наклонность преувеличивать опасность, образовалось то, что

называется страхом с великими глазами. Вечно тревожный и подозрительный, Иван рано привык думать, что окружен только врагами, и воспитал в себе печальную наклонность высматривать, как плетется вокруг него бесконечная сеть козней, которою, чудилось ему, стараются опутать его со всех сторон. Это заставляло его постоянно держаться настороже; мысль, что вот-вот из-за угла на него бросится недруг, стала привычным, ежеминутным его ожиданием. Всего сильнее работал в нем инстинкт самосохранения. Все усилия его бойкого ума были обращены на разработку этого грубого чувства.

Ранняя развитость и возбуждаемость. Как все люди, слишком рано начавшие борьбу за существование, Иван быстро рос и преждевременно вырос. В 17–20 лет, при выходе из детства, он уже поражал окружающих непомерным количеством пережитых впечатлений и передуманных мыслей, до которых его предки не додумывались и в зрелом возрасте. В 1546 г., когда ему было 16 лет, среди ребяческих игр он, по рассказу летописи, вдруг заговорил с боярами о женитьбе, да говорил так обдуманно, с такими предусмотрительными политическими соображениями, что бояре расплакались от умиления, что царь так молод, а уж так много подумал, ни с кем не посоветовавшись, от всех утаившись. Эта ранняя привычка к тревожному уединенному размышлению «про себя, втихомолку», надорвала мысль Ивана, развила в нем болезненную впечатлительность и возбуждаемость.

Иван рано потерял равновесие своих духовных сил, уменье направлять их, когда нужно, разделять их работу или сдерживать одну противодействием другой, рано привык вводить в деятельность ума участие чувства. О чем бы он ни размышлял, он подгонял, подзадоривал свою мысль страстью. С помощью такого самовнушения он был способен разгорячить свою голову до отважных и высоких помыслов, раскалить свою речь до блестящего красноречия. И тогда с его языка или из-под его пера, как от горячего железа под молотком кузнеца, сыпались искры острот, колкие насмешки, меткие словца, неожиданные обороты. Иван – один из лучших московских ораторов и писателей XVI в., потому что был самый раздраженный москвич того времени. В сочинениях, написанных под диктовку страсти и раздражения, он больше заражает, чем убеждает, поражает жаром речи, гибкостью ума, изворотливостью диалектики, блеском мысли. Но это фосфорический блеск, лишенный теплоты, это не вдохновение, а горячка головы, нервическая прыть, следствие искусственного возбуждения.

Читая письма царя к князю Курбскому, поражаешься быстрой сменой в авторе самых разнообразных чувств: порывы великодушия и раскаяния, проблески глубокой задушевности чередуются с грубой шуткой, жестким озлоблением, холодным презрением к людям. Минуты усиленной работы ума и чувства сменялись полным упадком утомленных душевных сил, и тогда от всего его остроумия не оставалось и простого здравого смысла. В эти минуты умственного изнеможения и нравственной опущенности он способен был на затеи, лишенные всякой сообразительности.

Изображение Иоанна IV Васильевича в молодые годы, приведенное в рукописи «Казанский летописец», хранящейся в Академии наук в Петербурге

Быстро перегорая, такие люди со временем, когда в них слабеет возбуждаемость, прибегают обыкновенно к искусственному средству, вину, и Иван в годы опричнины, кажется, не чуждался этого средства. Такой нравственной неровностью, чередованием высоких подъемов духа с самыми постыдными падениями, объясняется и государственная деятельность Ивана. Царь совершил или задумывал много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этим наделал еще больше поступков, которые сделали его предметом ужаса и отвращения для современников и последующих поколений. Разгром Новгорода по одному подозрению в измене, московские казни, убийство сына и митрополита Филиппа, безобразия с опричниками в Москве и в Александровской слободе, – читая обо всем этом, подумаешь, что это был зверь от природы.

Нравственная неуравновешенность. Но он не был таким. По природе или воспитанию он был лишен устойчивого нравственного равновесия и, при малейшем житейском затруднении, охотнее склонялся в дурную сторону. От него ежеминутно можно было ожидать грубой выходки: он не умел сладить с малейшим неприятным случаем. В 1577 г., на улице в завоеванном ливонском городе Кокенгаузене, он благодушно беседовал с пастором о любимых своих богословских предметах, но едва не приказал его казнить, когда тот неосторожно сравнил Лютера с апостолом Павлом, ударил пастора хлыстом по голове и ускакал со словами: «Поди ты к черту со своим Лютером».

В другое время он велел изрубить присланного ему из Персии слона, не хотевшего стать перед ним на колена. Ему недоставало внутреннего, природного благородства. Он был восприимчивее к дурным, чем к добрым, впечатлениям. Он принадлежал к числу тех недобрых людей, которые скорее и охотнее замечают в других слабости и недостатки, чем дарования или добрые качества. В каждом встречном он, прежде всего, видел врага. Всего труднее было приобрести его доверие. Для этого таким людям надобно ежеминутно давать чувствовать, что их любят и уважают, всецело им преданы, и, кому удавалось уверить в этом царя Ивана, тот пользовался его доверием до излишества. Тогда в нем вскрывалось свойство, облегчающее таким людям тягость постоянно напряженного злого настроения, – это привязчивость. Первую жену свою он любил какой-то особенно чувствительной, недомостроевской любовью. Так же безотчетно он привязывался к Сильвестру и Адашеву, а потом и к Малюте Скуратову. Это соединение привязчивости и недоверчивости выразительно сказалось в духовной Ивана, где он дает детям наставление, «как людей любить и жаловать и как их беречься». Эта двойственность характера и лишала его устойчивости. Житейские отношения больше тревожили и злили его, чем заставляли размышлять.

Но в минуты нравственного успокоения, когда он освобождался от внешних раздражающих впечатлений и оставался наедине с самим собой, со своими задушевными думами, им овладевала грусть, к какой способны только люди, испытавшие много нравственных утрат и житейских разочарований. Кажется, ничего не могло быть формальнее и бездушнее духовной грамоты древнего московского великого князя с ее мелочным распорядком движимого и недвижимого имущества между наследниками. Царь Иван и в этом стереотипном акте выдержал свой лирический характер. Эту духовную он начинает возвышенными богословскими размышлениями и продолжает такими задушевными словами:

«Тело изнемогло, болезнует дух, раны душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы исцелил меня; ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого, утешающих я не нашел, заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь». Бедный страдалец, царственный мученик – подумаешь, читая эти жалобно-скорбные строки, а этот страдалец, года за два до того, ничего не расследовав, по одному подозрению, так, зря, бесчеловечно и безбожно разгромил большой древний город с целою областью, как никогда не громили никакого русского города татары. В самые злые минуты он умел подниматься до этой искусственной задушевности, крокодилова плача.

В разгар казней входит он в московский Успенский собор. Митрополит Филипп встречает его, готовый по долгу сана печаловаться, ходатайствовать за несчастных, обреченных на казнь. «Только молчи, – говорил царь, едва сдерживаясь от гнева, – одно тебе говорю – молчи, отец святой, молчи и благослови нас». – «Наше молчание, – отвечал Филипп, – грех на душу твою налагает и смерть наносит». – «Ближние мои, – скорбно возразил царь, – встали на меня, ищут мне зла; какое тебе дело до наших царских предначертаний!» Описанные свойства царя Ивана сами по себе могли бы послужить только любопытным материалом для психолога, скорее для психиатра, скажут иные: ведь так легко нравственную распущенность, особенно на историческом расстоянии, признать за душевную болезнь и под этим предлогом освободить память мнимобольных от исторической ответственности. К сожалению, одно обстоятельство сообщило описанным свойствам значение, гораздо более важное, чем какое обыкновенно имеют психологические курьезы, появляющиеся в людской жизни, особенно такой обильной всякими душевными курьезами, как русская: Иван был царь.

Черты его личного характера дали особое направление его политическому образу мыслей, а его политический образ мыслей оказал сильное, притом вредное, влияние на его политический образ действий, испортил его.

Ранняя мысль о власти. Иван рано и много, раньше и больше, чем бы следовало, стал думать своей тревожной мыслью о том, что он государь Московский и всея Руси. Скандалы боярского правления постоянно поддерживали в нем эту думу, сообщали ей тревожный, острый характер. Его сердили и обижали, выталкивали из дворца и грозили убить людей, к которым он привязывался, пренебрегая его детскими мольбами и слезами. У него на глазах выказывали непочтение к памяти его отца, может быть, дурно отзывались о покойном в присутствии

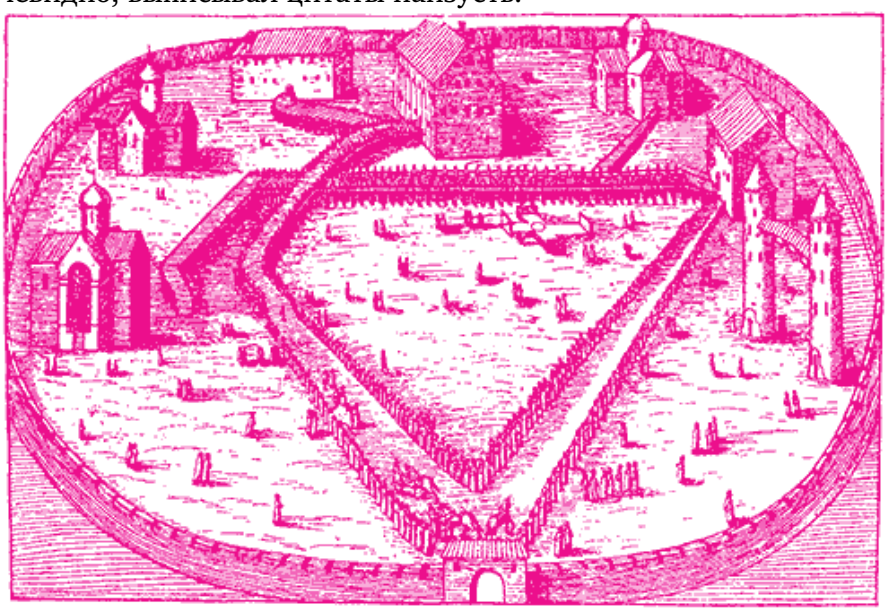
сына. Но этого сына все признавали законным государем. Ни от кого не слышал он и намека на то, что его царственное право может подвергнуться сомнению, спору. Каждый из окружающих, обращаясь к Ивану, называл его великим государем; каждый случай, его тревоживший или раздражавший, заставлял его вспоминать о том же и с любовью обращаться к мысли о своем царственном достоинстве как к политическому средству самообороны.

Ивана учили грамоте, вероятно, так же, как учили его предков, как вообще учили грамоте в Древней Руси, заставляя твердить Часослов и Псалтырь с бесконечным повторением задов, прежде пройденного. Изречения из этих книг затверживались механически, на всю жизнь врезывались в память. Кажется, детская мысль Ивана рано начала проникать в это механическое зубрение Часослова и Псалтыря. Здесь он встречал строки о царе и царстве, помазаннике Божием, нечестивых советниках, блаженном муже, который не ходит на их совет, и т. п. С тех пор как стал Иван понимать свое сиротское положение и думать об отношениях своих к окружающим, эти строки должны были живо затрагивать его внимание. Он понимал эти библейские афоризмы по-своему, прилагая их к себе, к своему положению. Они давали ему прямые и желанные ответы на вопросы, какие возбуждались в его голове житейскими столкновениями, подсказывали нравственное оправдание тому чувству злости, какое вызывали в нем эти столкновения. Легко понять, какие быстрые успехи в изучении Святого Писания должен был сделать Иван, применяя к своей экзегетике такой нервный, субъективный метод, изучая и толкуя слово Божие под диктовку раздраженного, капризного чувства. С тех пор книги должны были стать любимым предметом его занятий.

От Псалтыря он перешел к другим частям Писания, перечитал много, что мог достать из тогдашнего книжного запаса, вращавшегося в русском читающем обществе. Это был самый начитанный москвич XVI в. Недаром современники называли его «словесной мудрости ритором». О богословских предметах он любил беседовать, особенно за обеденным столом, и имел, по словам летописи, особливую остроту и память от Божественного Писания. Раз в 1570 г. он устроил в своих палатах торжественную беседу о вере с пастором польского посольства, чехом-евангеликом Рокитой, в присутствии посольства, бояр и духовенства. В пространной речи он изложил протестантскому богослову обличительные пункты против его учения и приказал ему защищаться «вольно и смело», без всяких опасений, внимательно и терпеливо выслушал защитительную речь пастора

и после написал на нее пространное опровержение, до нас дошедшее.

Этот ответ царя местами отличается живостью и образностью. Мысль не всегда идет прямым логическим путем, натолкнувшись на трудный предмет, туманится или сбивается в сторону, но порой обнаруживает большую диалектическую гибкость. Тексты Писания не всегда приводятся кстати, но очевидна обширная начитанность автора не только в Писании и отеческих творениях, но и в переводных греческих хронографах, тогдашних русских учебниках всеобщей истории. Главное, что читал он особенно внимательно, было духовного содержания; везде находил он и отмечал одни и те же мысли и образы, которые отвечали его настроению, вторили его собственным думам. Он читал и перечитывал любимые места, и они неизгладимо врезывались в его память. Не менее иных нынешних записных ученых, Иван любил пестрить свои сочинения цитатами кстати и некстати. В первом письме к князю Курбскому он на каждом шагу вставляет отдельные строки из Писания, иногда выписывает подряд целые главы из ветхозаветных пророков или апостольских посланий и очень часто без всякой нужды искажает библейский текст. Это происходило не от небрежности в списывании, а оттого, что Иван, очевидно, выписывал цитаты наизусть.



Александровская слобода

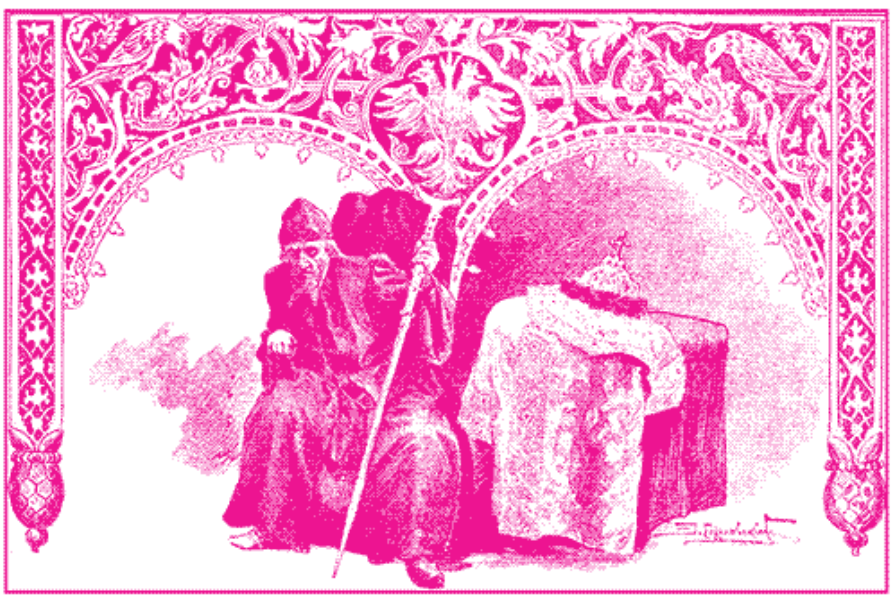
Идея власти. Так рано зародилось в голове Ивана политическое размышление – занятие, которого не знали его московские предки ни среди детских игр, ни в деловых заботах

зрелого возраста. Кажется, это занятие шло втихомолку, тайком от окружающих, которые долго не догадывались, в какую сторону направлена встревоженная мысль молодого государя, и, вероятно, не одобрили бы его усидчивого внимания к книгам, если бы догадались. Вот почему они так удивились, когда в 1546 г. шестнадцатилетний Иван вдруг заговорил с ними о том, что он задумал жениться. Но прежде женитьбы он хочет поискать прародительских обычаев, как прародители его, цари и великие князья и сродник его, Владимир Всеволодович Мономах, на царство, на великое княжение садились. Пораженные неожиданностью дум государя, бояре, прибавляет летописец, удивились, что государь так молод, а уж прародительских обычаев поискал.

Первым помыслом Ивана при выходе из правительственной опеки бояр было принять титул царя и венчаться на царство торжественным церковным обрядом. Политические думы царя вырабатывались тайком от окружающих, как тайком складывался его сложный характер. Впрочем, по его сочинениям можно с некоторой точностью восстановить ход его политического самовоспитания. Его письма к князю Курбскому – наполовину политические трактаты о царской власти и наполовину полемические памфлеты против боярства и его притязаний. Попробуйте бегло перелистать его первое длинное-предлинное послание – оно поразит вас видимой пестротой и беспорядочностью своего содержания, разнообразием книжного материала, кропотливо собранного автором и щедрой рукой рассыпанного по этим нескончаемым страницам. Чего тут нет, каких имен, текстов и примеров! Длинные и короткие выписки из Святого Писания и отцов Церкви, строки и целые главы из ветхозаветных пророков – Моисея, Давида, Исаии; новозаветных церковных учителей – Василия Великого, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста; образы классической мифологии и эпоса – Зевс, Аполлон, Антенор, Эней – рядом с библейскими именами Иисуса Навина, Гедеона, Авимелеха, Иевффая, бессвязные эпизоды из еврейской, римской, византийской истории и даже из истории западноевропейских народов со средневековыми именами Зинзириха Вандальского, готов, савроматов, французов, вычитанными из хронографов, и, наконец, порой невзначай брошенная черта из русской летописи. И все это, перепутанное, переполненное анахронизмами, с калейдоскопической пестротой, без видимой логической последовательности всплывает и исчезает перед читателем, повинуясь прихотливым поворотам мысли и воображения автора. Вся эта, простите за выражение, «ученая каша» сдобрена богословскими или политическими

афоризмами, настойчиво подкладываемыми, и порой посолена тонкой иронией или жестким, иногда метким, сарказмом. «Какая хаотическая память, набитая набором всякой всячины», – подумаешь, перелистав это послание. Недаром князь Курбский назвал письмо Ивана «бабьей болтовней», где тексты Писания переплетены с речами о женских телогреях и о постелях.

Но вникните пристальнее в этот пенистый поток текстов, размышлений, воспоминаний, лирических отступлений, и вы без труда уловите основную мысль, которая красной нитью проходит по всем этим, видимо, столь нестройным страницам. С детства затверженные автором любимые библейские тексты и исторические примеры все отвечают на одну тему – все говорят о царской власти, ее Божественном происхождении, государственном порядке, отношениях к советникам и подданным, гибельных следствиях разновластия и безначалия. «Несть власти, аще не от Бога. Всяка душа властем предержащим да повинуется. Горе граду, им же градом мнози обладают» и т. п.



Э. Соколовский. **Иван Грозный в монашеском облачении**

Упорно вчитываясь в любимые тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей на свою гору, отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников Божиих – Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих образах он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отражение

своего блеска или перенести на себя самого отблеск их света и величия. Понятно, что он залюбовался собой, что его собственная особа в подобном отражении представилась ему озаренною блеском и величием, какого и не чуяли на себе его предки, простые московские князья-хозяева.

Иван IV был первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника Божия. Это было для него политическим откровением, и с той поры его царственное *я* сделалось для него предметом набожного поклонения. Он сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал целое богословие политического самообожания в виде ученой теории своей царской власти. Тоном вдохновенного свыше и вместе с обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире врагу своему, Стефану Баторию, коля ему глаза его избирательной властью: «Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по Божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению».

Недостаток практической ее разработки. Однако из всех этих усилий ума и воображения царь вынес только простую, голую идею царской власти без практических выводов, каких требует всякая идея. Теория осталась не разработанной в государственный порядок, политическую программу. Увлеченный враждой и воображаемыми страхами, он упустил из виду практические задачи и потребности государственной жизни и не умел приладить своей отвлеченной теории к местной исторической действительности. Без этой практической разработки его возвышенная теория верховной власти превратилась в каприз личного самовластия, исказилась в орудие личной злости, безотчетного произвола. Потому стоявшие на очереди практические вопросы государственного порядка остались неразрешенными.

В молодости, начав править государством, царь с избранными своими советниками повел смелую внешнюю и внутреннюю политику. Целью ее было, с одной стороны, добиться берега Балтийского моря и войти в непосредственные торговые и культурные сношения с Западной Европой, а с другой – привести в порядок законодательство и устроить областное управление, создать местные земские миры, призвать их к участию не только в местных судебно-административных делах, но и в деятельности центральной власти. Земский собор, впервые созванный в 1550 г., развиваясь и входя обычным органом в состав управления, должен был укрепить в умах идею земского царя взамен удельного вотчинника. Но царь не ужился со своими советниками. При подозрительном и болезненно-возбужденном

чувстве власти, он считал добрый прямой совет посягательством на свои верховные права, несогласие со своими планами – знаком крамолы, заговора и измены. Удалив от себя добрых советников, он отдался одностороннему направлению своей мнительной политической мысли, везде подозревавшей козни и крамолы, и неосторожно возбудил старый вопрос об отношении государя к боярству – вопрос, которого он не в состоянии был разрешить, и которого потому не следовало возбуждать.

Дело заключалось в исторически сложившемся противоречии, несогласии правительственного положения и политического настроения боярства с характером власти и политическим самосознанием московского государя. Этот вопрос был неразрешим для московских людей XVI в. Потому надобно было до поры до времени заминать его, сглаживая вызвавшее его противоречие средствами благоразумной политики. Иван хотел разом разрубить вопрос, обострив самое противоречие, своей односторонней политической теорией поставив его ребром, как ставят тезисы на ученых диспутах, принципиально, но непрактично.

Усвоив себе чрезвычайно исключительную и нетерпеливую, чисто отвлеченную идею верховной власти, он решил, что не может править государством, как правили его отец и дед, при содействии бояр, но, как иначе он должен править, этого он и сам не мог уяснить себе. Превратив политический вопрос о порядке в ожесточенную вражду с лицами, бесцельную и неразборчивую резню, он своей опричниной внес в общество страшную смуту, а сыноубийством подготовил гибель своей династии. Между тем успешно начатые внешние предприятия и внутренние реформы расстроились. Они были брошены недоконченными по вине неосторожно обостренной внутренней вражды.

Отсюда понятно, почему этот царь двоился в представлении современников, переживших его царствование. Так, один из них, описав славные деяния царя до смерти царицы Анастасии, продолжает: «А потом – словно страшная буря, налетевшая со стороны, смутила покой его доброго сердца, и я не знаю, как перевернула его многомудренный ум в нрав свирепый, и стал он мятежником в собственном государстве». Другой современник, характеризуя грозного царя, пишет, что это был «муж чудного рассуждения, в науке книжного почитания доволен и многоречив, зело ко ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен, на рабы, от Бога данные ему, жестосерд, на пролитие крови дерзостен и неумолим, множество народа от мала и до велика при царстве своем погубил, многие города свои попленил и много иного содеял над рабами своими; но этот же царь Иван и много

доброго совершил, воинство свое весьма любил и на нужды его из казны своей неоскудно подавал».

Боярское правление. По смерти Василия, в малолетство его сына, требовавшее продолжительной опеки, власть надолго попала в руки бояр. Теперь они могли распорядиться государством по-своему, осуществить свои политические идеалы и согласно с ними перестроить государственный порядок. Но они не пытались строить никакого нового государственного порядка. Разделившись на партии князей Шуйских и Бельских, бояре повели ожесточенные усобицы друг с другом из личных или фамильных счетов, а не за какой-либо государственный порядок. В продолжение десяти лет со смерти правительницы Елены (1538) они вели эти усобицы, и это десятилетие прошло не только бесплодно для политического положения боярства, но и уронило его политический авторитет в глазах русского общества. Все увидели, какая анархическая сила это боярство, если оно не сдерживается сильной рукой; но причина его разлада с государем и на этот раз не выяснилась.

Переписка царя с Курбским. В царствование Грозного, когда возобновилось столкновение, обе ссорившиеся стороны имели случай высказать яснее свои политические взгляды и объяснить причины взаимного нелюбья. В 1564 г. боярин князь А. М. Курбский, сверстник и любимец царя Ивана, герой Казанской и Ливонской войн, командуя московскими полками в Ливонии, проиграл там одну битву и, боясь царского гнева за эту ли неудачу или за связь с павшими Сильвестром и Адашевым, убежал к польскому королю, покинув в Дерпте, где был воеводой, свою жену с малолетним сыном. Он принял деятельное участие в польской войне против своего царя и отечества. Но беглый боярин не хотел молча расстаться со своим покинутым государем: с чужбины, из Литвы, он написал резкое, укоризненное, «досадительное» послание Ивану, укоряя его в жестоком обращении с боярами.

Царь Иван, сам «словесной мудрости ритор», как его звали современники, не хотел остаться в долгу у беглеца и отвечал ему длинным оправдательным посланием, «широковещательным и многошумящим», как назвал его князь Курбский, на которое последний возражал. Переписка с длинными перерывами шла в 1564–1579 гг. Князь Курбский написал всего четыре письма, царь Иван – два; но его первое письмо составляет по объему больше половины всей переписки (62 из 100 страниц по изданию Устрялова). Кроме того, Курбский написал в Литве обвинительную «Историю князя великого Московского», т. е. царя Ивана, где также выражал политические воззрения своей

боярской братии. Так обе стороны как бы исповедались друг другу, и можно было бы ожидать, что они полно и откровенно высказали свои политические воззрения, т. е. вскрыли причины взаимной неприязни. Но и в этой полемике, веденной обеими сторонами с большим жаром и талантом, не находим прямого и ясного ответа на вопрос об этих причинах, и она не выводит читателя из недоумения. Письма князя Курбского наполнены преимущественно личными или сословными упреками и политическими жалобами; в «Истории» он высказывает и несколько общих политических и исторических суждений.

П. Соколов. **Иван Грозный и Семен Курбский**

Суждения Курбского. Свою «Историю царя Ивана» он начинает заунывным раздумьем: «Много раз докучали мне вопросом: как все это приключилось от столь доброго прежде и прекрасного царя, для отечества пренебрегавшего своим здоровьем, понесшего тяжкие труды и беды в борьбе с врагами Креста Христова и от всех пользовавшегося доброй славой? И много раз, со вздохом и слезами молчал я на этот вопрос, – не хотелось отвечать; наконец, вынужден был сказать хоть что-нибудь об этих происшествиях и так отвечал на учащенные вопросы: если бы рассказывать сначала и по порядку, много пришлось бы мне писать о том, как в предобрый русских князей род посеял дьявол злые нравы, особенно злыми их женами-чародейками, как это было и у израильских царей, более же всего – теми, которые взяты были из иноплеменников». Значит, во взгляде на ближайшее московское прошлое и князь Курбский

стоит на точке зрения Берсеня, видит корень зла в царевне Софье, за которой следовала такая же иноземка Елена Глинская, мать царя. Впрочем, и без того как-то предобрый некогда русских князей род выродился в московский, «этот ваш издавна кровопийственный род», как выразился Курбский в письме к царю. «Обычай у московских князей издавна, – пишет он в “Истории”, – желать братий своих крови и губить их, убогих, ради и окаянных вотчин, несытства ради своего».

Попадаются у Курбского и политические суждения, похожие на принципы, теорию. Он считает нормальным только такой государственный порядок, который основан не на личном усмотрении самовластия, а на участии «синклита», боярского совета, в управлении; чтобы вести государственные дела успешно и благочинно, государю необходимо советоваться с боярами. Царю подобает быть главой, а мудрых советников своих любить, «яко свои уды», – так выражает Курбский правильные, благочинные отношения царя к боярам. Вся его «История» построена на одной мысли – о благотворном действии боярского совета. Царь правил мудро и славно, пока был окружен доброродными и правдивыми советниками.

Герб князя Курбского

Впрочем, государь должен делиться своими царскими думами не с одними великородными и правдивыми советниками – князь Курбский допускает и народное участие в управлении, стоит за пользу и необходимость земского собора. В своей «Истории» он высказывает такой политический тезис: «Если царь и почтен царством, но не получил от Бога каких-либо дарований, он должен искать доброго и полезного совета не только у своих советников, но и у всенародных человек. Потому что дар духа дается не по богатству внешнему и не по могуществу власти, но по правоте душевной». Под этими «всенародными человеками»

Курбский мог разуметь только собрание людей, призываемых для совета из разных сословий, от всей земли: келейные совещания с отдельными лицами едва ли ему были желательны. Вот почти и все политические воззрения Курбского.

Князь стоит за правительственное значение боярского совета и за участие земского собора в управлении. Но он мечтает о вчерашнем дне, запоздал со своими мечтами. Ни правительственное значение боярского совета, ни участие земского собора в управлении не были уже в то время идеалами, не могли быть политическими мечтами. Боярский совет и земский собор были уже в то время политическими фактами: первый – фактом очень старым, а второй – явлением еще недавним, и оба – фактами, хорошо знакомыми нашему публицисту. Искони государи Русские и Московские думали о всяких делах, законодательствовали со своими боярами. В 1550 г. созван был и первый Земский собор, и князь Курбский должен был хорошо помнить это событие, когда царь обратился за советом ко «всенародным человекам», простым земским людям. Итак, князь Курбский стоит за существующие факты; его политическая программа не идет за пределы действующего государственного порядка: он не требует ни новых прав для бояр, ни новых обеспечений для их старых прав, вообще не требует перестройки наличного государства. В этом отношении он разве только немного идет дальше своего предшественника И. Н. Берсеня-Беклемишева и, резко осуждая московское прошлое, ничего не умеет придумать лучше этого прошлого.

Возражения царя. Теперь послушаем другую сторону. Царь Иван пишет менее спокойно и складно. Раздражение теснит его мысль множеством чувств, образов и помыслов, которых он не умеет уложить в рамки последовательного и спокойного изложения. Новая фраза, навернувшаяся кстати, заставляет его повертывать речь в другую сторону, забывая главную мысль, не договаривая начатого. Поэтому нелегко уловить его основные мысли и тенденции в этой пене нервной диалектики. Разгораясь, речь его становится жгучей. «Письмо твое принято, – пишет царь, – и прочитано внимательно. Яд аспида у тебя под языком, и письмо твое наполнено медом слов, но в нем горечь полыни. Так ли привык ты, христианин, служить христианскому государю? Ты пишешь вначале, чтобы разумевал тот, кто обретается противным православию и совесть прокаженную имеет. Подобно бесам, от юности моей вы поколебали благочестие и Богом данную мне державную власть себе похитили». Это возражение – основной мотив в письмах царя.

Мысль о похищении царской власти боярами больше всего и

возмущает Ивана. Он возражает не на отдельные выражения князя Курбского, а на весь политический образ мыслей боярства, защитником которого выступил Курбский. «Ведь ты, – пишет ему царь, – в своей бесосоставной грамоте твердишь все одно и то же, переворачивая “разными словесы”, и так, и этак, любезную тебе мысль, чтобы рабам помимо господ обладать властью», – хотя в письме Курбского ничего этого не было написано. «Это ли, – продолжает царь, – совесть прокаженная, чтобы царство свое в своей руке держать, а рабам своим не давать властвовать? Это ли противно разуму – не хотеть быть обладаему своими рабами? Это ли православие пресветлое – быть под властью рабов?» Все рабы и рабы, и никого больше, кроме рабов.

Курбский толкует царю о мудрых советниках, синклите, а царь не признает никаких мудрых советников, для него не существует никакого синклита, а есть только люди, служащие при его дворе, дворовые холопы. Он знает одно: что «земля правится Божиим милосердием и родителей наших благословением, а потом нами, своими государями, а не судьями и воеводами, не ипатами и стратигами». Все политические помыслы царя сводятся к одной идее – мысли о самодержавной власти.

Самодержавие для Ивана не только нормальный, свыше установленный государственный порядок, но и исконный факт нашей истории, идущий из глубины веков. «Самодержавства нашего начало – от святого Владимира; мы родились и выросли на царстве, своим обладаем, а не чужое похитили; русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и вельможи». Царь Иван был первый, кто высказал на Руси такой взгляд на самодержавие. Древняя Русь не знала такого взгляда, не соединяла с идеей самодержавия внутренних и политических отношений, считая самодержцем только властителя, независимого от внешней силы. Царь Иван обратил первый внимание на эту внутреннюю сторону верховной власти и глубоко проникся своим новым взглядом: через все свое длинное-предлинное первое послание проводит он эту идею, оборачивая одно слово, по его собственному признанию, «семо и овамо», то туда, то сюда. Все его политические идеи сводятся к одному этому идеалу, образу самодержавного царя, не управляемого ни «попами», ни «рабами». «Како же самодержец наречется, аще не сам строит?» Многовластие – безумие.

Этой самодержавной власти Иван дает Божественное происхождение и указывает ей не только политическое, но и высокое религиозно-нравственное назначение: «Тщусь со усердием людей на истину и на свет наставить, да познают единого истинного Бога, в Троице славимого, и от Бога данного

им государя, а от междоусобных браней и строптивого жития да отстанут, коими царства разрушаются; ибо если царю не повинуются подвластные, то никогда междоусобные брани не прекратятся». Столь возвышенному назначению власти должны соответствовать многоразличные свойства, требуемые от самодержца. Он должен быть осмотрителен, не иметь ни зверской ярости, ни бессловесного смирения, должен карать татей и разбойников, быть и милостивым, и жестоким, милостивым к добрым и жестоким к злым: не то он и не царь. «Царь – гроза не для добрых, а для злых дел; хочешь не бояться власти – делай добро, а делаешь зло – бойся, ибо царь не зря носит меч, а для кары злых и для ободрения добрых». Никогда у нас до Петра Великого верховная власть в отвлеченном самосознании не поднималась до такого отчетливого, по крайней мере, до такого энергического выражения своих задач. Но когда дело дошло до практического самоопределения, этот полет политической мысли кончился крушением.

Вся философия самодержавия у царя Ивана свелась к одному простому заключению: «Жаловать своих холопей мы вольны и казнить их вольны же». Для подобной формулы вовсе не требовалось такого напряжения мысли. Удельные князья приходили к тому же заключению без помощи возвышенных теорий самодержавия и даже выражались почти теми же словами: «Я, князь такой-то, волен, кого жалую, кого казню». Здесь и в царе Иване, как некогда в его деде, вотчинник торжествовал над государем.

Характер переписки. Такова политическая программа царя Ивана. Столь резко и своеобразно выраженная идея самодержавной власти, однако, не развивается у него в определенный разработанный политический порядок; из нее не извлекаются практические последствия. Царь нигде не говорит, согласен ли его политический идеал с существующим государственным устройством или требует нового, может ли, например, его самодержавная власть действовать об руку с наличным боярством, только изменив его политические нравы и привычки, или должна создать совсем иные орудия управления. Можно только почувствовать, что царь тяготится своим боярством. Но против самодержавия, как его тогда понимали в Москве, самодержавия, идущего от св. Владимира, не восставало прямо и боярство. Бояре признавали самодержавную власть московского государя, как ее создала история. Они только настаивали на необходимости и пользе участия в управлении другой политической силы, созданной той же историей, – боярства и даже призывали в помощь обеим этим силам третью –

земское представительство. Несправедливо было со стороны царя обвинять бояр и в самоволии «попа-невежи» Сильвестра и «собаки» Адашева. Иван мог пенять за это только на самого себя, потому что сам дал неподобающую власть этим людям, к боярству и не принадлежавшим, сделал их временщиками.

Из-за чего же шел спор? Обе стороны отстаивали существующее. Чувствуется, что они как будто не вполне понимали друг друга, что какое-то недоразумение разделяло обоих спорщиков. Это недоразумение заключалось в том, что в их переписке столкнулись не два политических образа мыслей, а два политических настроения; они не столько полемизируют друг с другом, сколько исповедуются один другому. Курбский так прямо и назвал царское послание исповедью, насмешливо заметив, что, не будучи пресвитером, не считает себя достойным и краем уха послушать царской исповеди. Каждый из них твердит *свое* и плохо слушает противника. «За что ты бьешь нас, верных слуг своих?» – спрашивает князь Курбский. «Нет, – отвечает ему царь Иван, – русские самодержцы изначала сами владеют своими царствами, а не бояре и не вельможи». В такой простейшей форме можно выразить сущность знаменитой переписки.

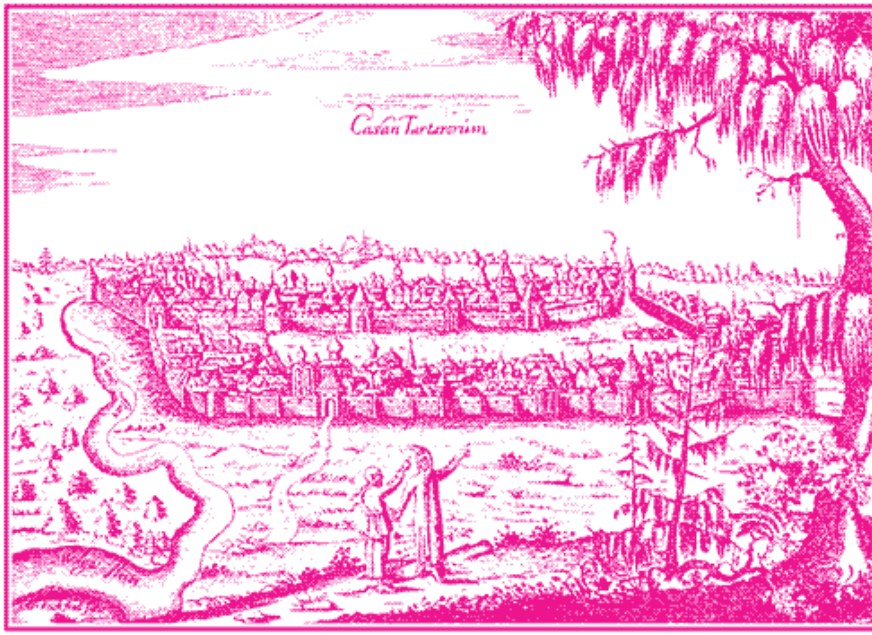
А. Васнецов. **Москва при Иване Грозном. Красная площадь**

Но, плохо понимая один другого и свое настоящее положение, оба противника доспорились до предвидения будущего, до пророчества и – предсказали друг другу обоюдную

гибель. В послании 1579 г., напомнив царю гибель Саула с его царским домом, Курбский продолжает: «…не губи себя и дому твоего… облитые кровью христианской, исчезнут вскоре со всем домом». Курбский представлял свою родовитую братию каким-то избранным племенем, на котором почиет особое благословение, и колол глаза царю затруднением, какое он сам себе создал, перебив и разогнав «сильных во Израиле», богоданных воевод своих, и оставшись с худородными «воеводишками», которые пугаются не только появления неприятеля, но и шелеста листьев, колеблемых ветром. На эти попреки царь ответил исторической угрозой: «Когда бы вы были чада Авраамовы, то и дела творили бы Авраамовы; но может Бог и из камней воздвигнуть чад Аврааму». Эти слова написаны были в 1564 г., в то самое время, когда царь задумывал смелое дело – подготовку нового правящего класса, который должен был прийти на смену ненавистному боярству.

Династическое происхождение разлада. Итак, обе споривше стороны были недовольны друг другом и государственным порядком, в котором действовали, которым даже руководили. Но ни та, ни другая сторона не могла придумать другого порядка, который бы соответствовал ее желаниям, потому что все, чего желали они, уже практиковалось или было испробовано. Если, однако, они спорили и враждовали друг с другом, это происходило оттого, что настоящей причиной раздора был не вопрос о государственном порядке. Политические суждения и упреки высказывались лишь в оправдание обоюдного недовольства, шедшего из другого источника. Раздор с особенной силой обнаруживался два раза и по одинаковому поводу – вопросу о наследнике престола: государь назначал одного, бояре хотели другого. Так разлад обеих сторон имел, собственно, не политический, а династический источник.

Дело шло не о том, как править государством, а о том, кто будет им править. И здесь с обеих сторон сказались преломленные ходом дел привычки удельного времени. Тогда боярин выбирал себе князя, переезжая от одного княжеского двора к другому. Теперь, когда уехать из Москвы стало некуда или неудобно, бояре хотели выбирать между наследниками престола, когда представлялся случай. Свое притязание они могли оправдывать отсутствием закона о престолонаследии.



Вид Казани в XVII в.

Из книги XVII века «Описание путешествия в Московию» Адама Олеария

Здесь им помог сам московский государь. Сознав себя национальным государем всея Руси, он на половину своего самосознания остался удельным вотчинником и не хотел ни поступиться кому-либо своим правом предсмертного распоряжения вотчиной, ни законом ограничить своей личной воли: «Кому хочу, тому и дам княжество». Стороннее вмешательство в эту личную волю государя трогало его больнее, чем мог трогать какой-либо общий вопрос о государственном порядке. Отсюда обоюдное недоверие и раздражение. Но когда приходилось выражать эти чувства устно или письменно, затрагивались и общие вопроси, и тогда обнаруживалось, что действовавший государственный порядок страдал противоречиями, частично отвечал противоположным интересам, никого вполне не удовлетворяя. Эти противоречия и вскрылись в опричнине, в которой царь Иван искал выхода из неприятного положения.

Обстоятельства, подготовившие опричнину. Изложу наперед обстоятельства, при которых явилась эта злополучная опричнина.

Едва вышедши из малолетства, еще не имея 20 лет, царь Иван с необычайной для его возраста энергией принялся за дела правления. Тогда, по указаниям умных руководителей царя:

митрополита Макария и священника Сильвестра, из боярства, разбившегося на враждебные кружки, выдвинулось и стало около престола несколько дельных, благомыслящих и даровитых советников – «избранная рада». Так князь Курбский называет этот совет, очевидно получивший фактическое господство в Боярской думе, вообще в центральном управлении. С этими доверенными людьми царь и начал править государством.

В этой правительственной деятельности, обнаруживающейся с 1550 г., смелые внешние предприятия шли рядом с широкими и хорошо обдуманными планами внутренних преобразований. В 1550 г. был созван первый Земский собор, на котором обсуждали, как устроить местное управление, и решили пересмотреть и исправить старый Судебник Ивана III и выработать новый, лучший порядок судопроизводства. В 1551 г. созван был большой церковный собор, которому царь предложил обширный проект церковных реформ, имевший целью привести в порядок религиозно-нравственную жизнь народа. В 1552 г. было завоевано царство Казанское, и, тотчас после того, начали вырабатывать сложный план местных земских учреждений, которыми предназначено было заменить коронных областных управителей – «кормленщиков»: вводилось земское самоуправление. В 1558 г. начата была Ливонская война с целью пробиться к Балтийскому морю и завязать непосредственные сношения с Западной Европой, попользоваться ее богатой культурой. Во всех этих важных предприятиях, повторяю, Ивану помогали сотрудники, которые сосредоточивались около двух лиц, особенно близких к царю, – священника Сильвестра и Алексея Адашева, начальника Челобитного приказа, по-нашему – статс-секретаря у принятия прошений на высочайшее имя.

Разные причины – частью домашние недоразумения, частью несогласие в политических взглядах – охладили царя к его избранным советникам. Разгоравшаяся неприязнь их к родственникам царицы, Захарьиным, повела к удалению от двора Адашева и Сильвестра, а случившуюся при таких обстоятельствах в 1560 г. смерть Анастасии царь приписал огорчениям, какие потерпела покойная от этих дворцовых дрязг. «Зачем вы разлучили меня с моей женой? – болезненно спрашивал Иван Курбского в письме к нему 18 лет спустя после этого семейного несчастия. – Только бы у меня не отняли юницы моей, кроновых жертв (боярских казней) не было бы». Наконец, бегство князя Курбского, ближайшего и самого даровитого сотрудника, произвело окончательный разрыв. Нервный и одинокий, Иван потерял нравственное равновесие, всегда шаткое у нервных людей, когда они остаются одинокими.

Отъезд царя из Москвы и его послания. При таком настроении царя в московском Кремле случилось странное, небывалое событие. Раз в конце 1564 г. там появилось множество саней. Царь, ничего никому не говоря, собрался со всей своей семьей и с некоторыми придворными куда-то в дальний путь, захватил с собой утварь, иконы и кресты, платье и всю свою казну и выехал из столицы. Видно было, что это ни обычная богомольная, ни увеселительная поездка царя, а целое переселение. Москва оставалась в недоумении, не догадываясь, что задумал хозяин. Побывав у Троицы, царь со всем багажом остановился в Александровской слободе (ныне это Александров – уездный город Владимирской губернии).

Отсюда через месяц по отъезде царь прислал в Москву две грамоты. В одной, описав беззакония боярского правления в свое малолетство, он клал свой государев гнев на все духовенство и бояр, всех служилых и приказных людей, поголовно обвиняя их в том, что они о государе, государстве и обо всем православном христианстве не радели, от врагов их не обороняли. Напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и земли государевы, а духовенство покрывало виновных, защищало их, ходатайствуя за них пред государем. И вот царь, гласила грамота, «от великой жалости сердца», не стерпев всех этих измен, покинул свое царство и пошел поселиться где-нибудь, где ему Бог укажет. Это как будто отречение от престола с целью испытать силу своей власти в народе.

Московскому простонародью, купцам и всем тяглым людям столицы царь прислал другую грамоту, которую им прочитали всенародно на площади. Здесь царь писал, чтобы они сомнения не держали, что царской опалы и гнева на них нет. Все замерло, столица мгновенно прервала свои обычные занятия: лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли. В смятении и ужасе город завопил, прося митрополита, епископов и бояр ехать в слободу, бить челом государю, чтобы он не покидал государства. При этом простые люди кричали, чтобы государь вернулся на царство оборонять их от волков и хищных людей, а за государских изменников и лиходеев они не стоят и сами их истребят.

Возвращение царя. В слободу отправилась депутация из высшего духовенства, бояр и приказных людей с архиепископом Новгородским Пименом во главе, сопровождаемая многими купцами и другими людьми, которые шли бить челом государю и плакаться, чтобы государь правил, как ему угодно, по всей своей государской воле. Царь принял земское челобитье, согласился воротиться на царство, «паки взять свои государства», но на

условиях, которые обещал объявить после. Через несколько времени, в феврале 1565 г., царь торжественно воротился в столицу и созвал Государственный совет из бояр и высшего духовенства. Его здесь не узнали: небольшие серые проницательные глаза погасли, всегда оживленное и приветливое лицо осунулось и высматривало нелюдимо, на голове и в бороде от прежних волос уцелели только остатки. Очевидно, два месяца отсутствия царь провел в страшном душевном состоянии, не зная, чем кончится его затея. В совете он предложил условия, на которых принимал обратно брошенную им власть. Условия эти состояли в том, чтобы ему на изменников своих и ослушников опалы класть, а иных и казнить, имущество их брать на себя в казну, чтобы духовенство, бояре и приказные люди все это положили на его государевой воле, ему в том не мешали. Царь как будто выпросил себе у Государственного совета полицейскую диктатуру – своеобразная форма договора государя с народом!

Указ об опричнине. Для расправы с изменниками и ослушниками царь предложил учредить опричнину. Это был особый двор, какой образовал себе царь, с особыми боярами, с особыми дворецкими, казначеями и прочими управителями, дьяками, всякими приказными и дворовыми людьми, с целым придворным штатом. Летописец усиленно ударяет на это выражение «особной двор», на то, что царь приговорил все на этом дворе «учинити себе особно». Из служилых людей он отобрал в опричнину тысячу человек, которым в столице на посаде за стенами Белого города, за линией нынешних бульваров, отведены были улицы (Пречистенка, Сивцев Вражек, Арбат и левая от города сторона Никитской) с несколькими слободами до Новодевичьего монастыря; прежние обыватели этих улиц и слобод из служилых и приказных людей были выселены из своих домов на другие улицы московского посада.

На содержание этого двора, «на свой обиход» и своих детей, царевичей Ивана и Федора, он выделил из своего государства до 20 городов с уездами и несколько отдельных волостей, в которых земли розданы были опричникам, а прежние землевладельцы выведены были из своих вотчин и поместий и получали земли в неопричных уездах. До 12 тысяч этих выселенцев зимой с семействами шли пешком из отнятых у них усадеб на отдаленные пустые поместья, им отведенные. Эта выделенная из государства опричная часть не была цельная область, сплошная территория, составилась из сел, волостей и городов, даже только частей иных городов, рассеянных там и сям, преимущественно в центральных и северных уездах (Вязьма, Козельск, Суздаль, Галич, Вологда, Старая Руса, Каргополь и др.; после взята в опричнину Торговая

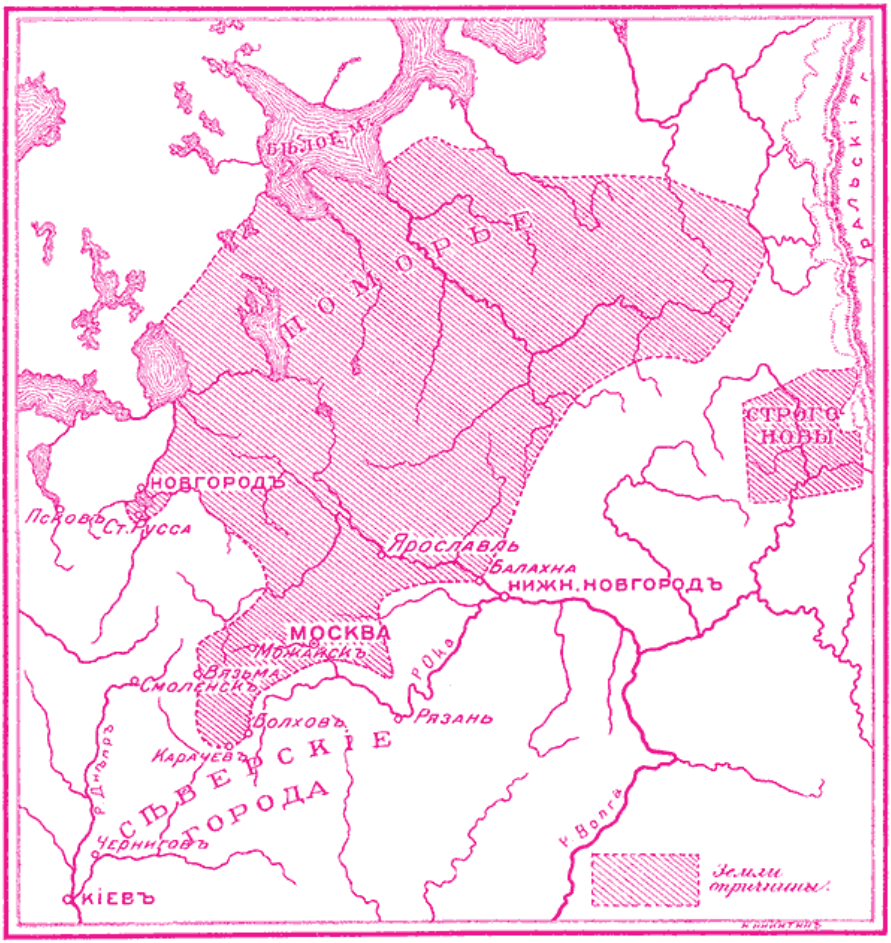
сторона Новгорода). «Государство же свое Московское», т. е. всю остальную землю, подвластную московскому государю, с ее воинством, судом и управой, царь приказал ведать и всякие дела земские делать боярам, которым велел быть «в земских», и эта половина государства получила название *земщины*. Все центральные правительственные учреждения, оставшиеся в земщине, приказы, должны были действовать по-прежнему, «управу чинить по старине», обращаясь по всяким важным земским делам в думу земских бояр, которая правила земщиной, докладывая государю только о военных и важнейших земских делах.

Ф. Бухгольц. **Бояре умоляют Ивана Грозного не оставлять царство**

Так все государство разделилось на две части – земщину и опричнину; во главе первой осталась Боярская дума, во главе второй непосредственно стал сам царь, не отказываясь и от верховного руководительства думой земских бояр. «За подъем же свой», т. е. на покрытие издержек по выезду из столицы, царь взыскал с земщины, как бы за служебную командировку по ее делам, подъемные деньги – 100 тысяч рублей (около 6миллионов рублей на наши деньги). Так изложила старая летопись не дошедший до нас «указ об опричнине», по-видимому, заранее заготовленный еще в Александровской слободе и прочитанный на заседании Государственного совета в Москве. Царь спешил. Не медля, на другой же день после этого заседания, пользуясь предоставленным ему полномочием, он принялся на изменников

своих опалы класть, а иных – казнить, начав с ближайших сторонников беглого князя Курбского; в один этот день шестеро из боярской знати были обезглавлены, а седьмой посажен на кол.

Жизнь в слободе. Началось устроение опричнины. Прежде всего, сам царь, как первый опричник, поторопился выйти из церемонного, чинного порядка государевой жизни, установленного его отцом и дедом. Он покинул свой наследственный кремлевский дворец, перевезся на новое укрепленное подворье, которое велел построить себе где-то среди своей опричнины, между Арбатом и Никитской. В то же время приказал своим опричным боярам и дворянам ставить себе в Александровской слободе дворы, где им предстояло жить, а также здания правительственных мест, предназначенных для управления опричниной. Скоро он и сам поселился там же, а в Москву стал приезжать «не на великое время». Так возникла среди глухих лесов новая резиденция – опричная столица с дворцом, окруженным рвом и валом, со сторожевыми заставами по дорогам. В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря. Он подобрал три сотни самых отъявленных опричников, которые составили братию, сам принял звание игумена, а князя Афанасия Вяземского облек в сан келаря. Царь покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами, сочинил для них общежительный устав, сам с царевичами по утрам лазил на колокольню звонить к заутрене, в церкви читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки. После обедни, за трапезой, когда веселая братия объедалась и опивалась, царь за аналоем читал поучения отцов Церкви о посте и воздержании. Потом он одиноко обедал сам, после обеда любил говорить о законе, дремал или шел в застенок присутствовать при пытке заподозренных.



Карта, показывающая земли Московского государства, отошедшие в опричнину

Опричнина и земщина. Опричнина, при первом взгляде на нее, особенно при таком поведении царя, представляется учреждением, лишенным всякого политического смысла. В самом деле, объявив в послании всех бояр изменниками и расхитителями земли, царь оставил управление землей в руках этих изменников и хищников. Но и у опричнины был свой смысл, хотя и довольно печальный. В ней надо различать территорию и цель. Слово «опричнина» в XVI в. было уже устарелым термином, который тогдашняя московская летопись перевела выражением «особной двор». Не царь Иван выдумал это слово, заимствованное из старого удельного языка. В удельное время так назывались особые выделенные владения, преимущественно те, которые отдавались в полную собственность княгиням-вдовам, в отличие от данных в пожизненное пользование, от прожитков. Опричнина

царя Ивана была дворцовое хозяйственно-административное учреждение, заведовавшее землями, отведенными на содержание царского двора.

Сам царь Иван смотрел на учрежденную им опричнину как на свое частное владение, на особый двор или удел, который он выделил из состава государства; он предназначал после себя земщину старшему своему сыну как царю, а опричнину – младшему как удельному князю. Есть известие, что во главе земщины был поставлен крещеный татарин, пленный казанский царь Едигер-Симеон.

Позднее, в 1574 г., царь Иван венчал на царство другого татарина, касимовского хана Санн-Булата, в крещении Симеона Бекбулатовича, дав ему титул государя великого князя всея Руси. Переводя этот титул на наш язык, можно сказать, что Иван назначал того и другого Симеона председателями думы земских бояр. Симеон Бекбулатович правил царством два года, потом его сослали в Тверь. Все правительственные указы писались от имени этого Симеона как настоящего всероссийского царя, а сам Иван довольствовался скромным титулом государя князя, даже не великого, а просто князя Московского, не всея Руси. Он ездил к Симеону на поклон, как простой боярин и в челобитных своих к Симеону величал себя князем Московским Иванцом Васильевым, который бьет челом «со своими детишками», с царевичами. Можно думать, что здесь не все – политический маскарад. Царь Иван противопоставлял себя как князя Московского удельного государю всея Руси, стоявшему во главе земщины.

Выставляя себя особым, опричным князем Московским, Иван как будто признавал, что вся остальная Русская земля составляла ведомство совета, состоявшего из потомков ее бывших властителей, князей великих и удельных, из которых состояло высшее московское боярство, заседавшее в земской думе. После Иван переименовал опричнину во двор, бояр и служилых людей опричных – в бояр и служилых людей дворовых. У царя в опричнине была своя дума, «свои бояре»; опричной областью управляли особые приказы, однородные со старыми земскими. Дела общегосударственные, как бы сказать, имперские, вела с докладом царю земская дума. Но иные вопросы царь приказывал обсуждать всем боярам, земским и опричным, и «бояре обои» ставили общее решение.

Назначение опричнины. Но, спрашивается, зачем понадобилась эта реставрация или эта пародия удела? Учреждению с такой обветшалой формой и с таким архаичным названием царь указал небывалую дотоле задачу: опричнина получила значение политического убежища, куда хотел укрыться

царь от своего крамольного боярства. Мысль, что он должен бежать от своих бояр, постепенно овладела его умом, стала его безотвязной думой.

В духовной своей, написанной около 1572 г., царь пресерьезно изображает себя изгнанником, скитальцем. Здесь он пишет: «По множеству беззаконий моих распростерся на меня гнев Божий, изгнан я боярами, ради их самовольства, из своего достояния и скитаюсь по странам». Ему приписывали серьезное намерение бежать в Англию. Итак, опричнина явилась учреждением, которое должно было ограждать личную безопасность царя. Ей указана была политическая цель, для которой не было особого учреждения в существовавшем московском государственном устройстве. Цель эта состояла в том, чтобы истребить крамолу, гнездившуюся в Русской земле, преимущественно в боярской среде.

Опричнина получила назначение высшей полиции по делам государственной измены. Отряд в тысячу человек, зачисленный в опричнину и потом увеличенный до 6 тысяч, становился корпусом дозорщиков внутренней крамолы. Малюта Скуратов, т. е. Григорий Яковлевич Плещеев-Бельский, родич святого митрополита Алексия, был как бы шефом этого корпуса, а царь выпросил себе у духовенства, бояр и всей земли полицейскую диктатуру для борьбы с этой крамолой. Как специальный полицейский отряд опричнина получила особый мундир: у опричника были привязаны к седлу собачья голова и метла – это были знаки его должности, состоявшей в том, чтобы выслеживать, вынюхивать и выметать измену и грызть государевых злодеев-крамольников. Опричник ездил весь в черном с головы до ног, на вороном коне в черной же сбруе, потому современники прозвали опричнину «тьмой кромешной», говорили о ней: «…яко нощь, темна». Это был какой-то орден отшельников, подобно инокам, от земли отрекшихся и с землей боровшихся, как иноки борются с соблазнами мира.

Самый прием в опричную дружину обставлен был не то монастырской, не то конспиративной торжественностью. Князь Курбский в своей «Истории царя Ивана» пишет, что царь со всей Русской земли собрал себе «человеков скверных и всякими злостьми исполненных». Он обязал их страшными клятвами не знаться не только с друзьями и братьями, но и с родителями, а служить единственно ему и на этом заставлял их целовать крест. Припомним при этом, что я сказал о монастырском чине жизни, какой установил Иван в слободе для своей избранной опричной братии.

Противоречие в строе государства. Таково было

происхождение и назначение опричнины. Но, объяснив ее происхождение и назначение, все-таки довольно трудно понять ее политический смысл. Легко видеть, как и для чего она возникла, но трудно уяснить себе, как могла она возникнуть, как могла прийти царю самая мысль о таком учреждении. Ведь опричнина не отвечала на политический вопрос, стоявший тогда на очереди, не устраняла затруднения, которым была вызвана. Затруднение создавалось столкновениями, какие возникали между государем и боярством. Источником этих столкновений были не противоречивые политические стремления обеих государственных сил, а одно противоречие в самом политическом строе Московского государства. Государь и боярство не расходились друг с другом непримиримо в своих политических идеалах, в планах государственного порядка, а только натолкнулись на одну несообразность в установившемся уже государственном порядке, с которой не знали что делать.

Что такое было на самом деле Московское государство в XVI веке? Это была абсолютная монархия, но с аристократическим управлением, т. е. правительственным персоналом. Не было политического законодательства, которое определяло бы границы верховной власти, но был правительственный класс с аристократической организацией, которую признавала сама власть. Эта власть росла вместе, одновременно и даже об руку с другой политической силой, ее стеснявшей. Таким образом, характер этой власти не соответствовал свойству правительственных орудий, посредством которых она должна была действовать. Бояре возомнили себя властными советниками государя всея Руси в то самое время, когда этот государь, оставаясь верным воззрению удельного вотчинника, согласно с древнерусским правом, пожаловал их как дворовых слуг своих в звание холопов государевых. Обе стороны очутились в таком неестественном отношении друг к другу, которого они, кажется, не замечали, пока оно складывалось, и с которым не знали что делать, когда его заметили. Тогда обе стороны почувствовали себя в неловком положении и не знали, как из него выйти. Ни боярство не умело устроиться и устроить государственный порядок без государевой власти, к какой оно привыкло, ни государь не знал, как без боярского содействия управиться со своим царством в его новых пределах. Обе стороны не могли ни ужиться одна с другой, ни обойтись друг без друга. Не умея ни поладить, ни расстаться, они попытались разделиться – жить рядом, но не вместе. Таким выходом из затруднения и была опричнина.

Мысль о смене боярства дворянством. Но такой выход не

устранял самого затруднения. Оно заключалось в неудобном для государя политическом положении боярства как правительственного класса, его стеснявшего. Выйти из затруднения можно было двумя путями: надобно было или устранить боярство как правительственный класс и заменить его другими, более гибкими и послушными орудиями управления, или разъединить его, привлечь к престолу наиболее надежных людей из боярства и с ними править, как и правил Иван в начале своего царствования. Первого он не мог сделать скоро, второго не сумел или не захотел сделать. В беседах с приближенными иноземцами царь неосторожно признавался в намерении изменить все управление страной и даже истребить вельмож. Но мысль преобразовать управление ограничилась разделением государства на земщину и опричнину, а поголовное истребление боярства осталось нелепой мечтой возбужденного воображения: мудрено было выделить из общества и истребить целый класс, переплетавшийся разнообразными бытовыми нитями со слоями, под ним лежавшими.

Н. Неврев. **Опричники**

Точно так же царь не мог скоро создать другой правительственный класс взамен боярства. Такие перемены требуют времени, навыка: надобно, чтобы правящий класс привык к власти, и чтобы общество привыкло к правящему классу. Но, несомненно, царь подумывал о такой замене и в своей опричнине видел подготовку к ней. Эту мысль он вынес из детства, неурядицы боярского правления. Она же побудила его

приблизить к себе и А. Адашева, взяв его, по выражению царя, из палочников, «от гноища», и учинив с вельможами в чаянии от него прямой службы. Так Адашев стал первообразом опричника. С образом мыслей, господствовавшим потом в опричнине, Иван имел случай познакомиться в самом начале своего царствования. В 1537 г. или около того выехал из Литвы в Москву некто Иван Пересветов, причитавший себя к роду героя-инока Пересвета, сражавшегося на Куликовом поле. Этот выходец был авантюрист-кондотьери (глава наемной дружины в Италии. – *Прим. ред.*), служивший в наемном польском отряде трем королям – польскому, венгерскому и чешскому. В Москве он потерпел от больших людей, потерял «собинку», нажитое службой имущество, и в 1548 или 1549 г. подал царю обширную челобитную. Это резкий политический памфлет, направленный против бояр, в пользу «воинов», т. е. рядового военно-служилого дворянства, к которому принадлежал сам челобитчик.

Автор предостерегает царя Ивана от «ловления» со стороны ближних людей, без которых он не может «ни часу быти»; другого такого царя во всей подсолнечной не будет, лишь бы только Бог соблюл его от «ловления вельмож». Вельможи у царя худы, крест целуют, да изменяют; царь междоусобную войну «на свое царство пущает», назначая их управителями городов и волостей, а они от крови и слез христианских «богатеют и ленивеют». Кто приближается к царю вельможеством, а не воинской заслугой или другой какой мудростью, тот – чародей и еретик, у царя счастие и мудрость отнимает, того жечь надо. Автор считает образцовым порядок, заведенный царем Махмет-Салтаном, который возведет правителя высоко, «да и пхнет его взашею надол», приговаривая: не умел в доброй славе жить и верно государю служить. Государю пристойно со всего царства доходы собирать себе в казну, из казны воинам сердце веселить, к себе их припускать близко и во всем им верить.

Застенок в России

Челобитная как будто была писана передним числом в оправдание опричнины: так ее идеи были на руку «худородным кромешникам», и сам царь не мог не сочувствовать направлению мыслей Пересветова. Он писал одному из опричников – Васюку Грязному: «По грехам нашим учинилось, и нам того как утаить, что отца нашего и наши бояре учали нам изменять, и мы вас, страдников, приближали, ожидая от вас службы и правды». Эти опричные страдники, худородные люди из рядового дворянства, и должны были служить теми «чадами Авраама из камня», о которых писал царь князю Курбскому. Так, по мысли царя Ивана, дворянство должно было сменить боярство как правящий класс в виде опричника. В конце XVII в. эта смена, как увидим, и совершилась, только в иной форме, не столь ненавистной.

Бесцельность опричнины. Во всяком случае, избирая тот или другой выход, предстояло действовать против политического положения целого класса, а не против отдельных лиц. Царь поступил наоборот. Заподозрив все боярство в измене, он бросился на заподозренных, вырывая их поодиночке, но оставил класс во главе земского управления. Не имея возможности сокрушить неудобный для него правительственный строй, он стал истреблять отдельных подозрительных или ненавистных ему лиц. Опричники ставились не на место бояр, а против бояр; они могли быть по самому назначению своему не правителями, а только палачами земли. В этом состояла политическая бесцельность опричнины; вызванная столкновением, причиной которого был порядок, а не лица, она была направлена против лиц, а не против

порядка. В этом смысле и можно сказать, что опричнина не отвечала на вопрос, стоявший на очереди. Она могла быть внушена царю только неверным пониманием положения боярства, как и своего собственного положения. Она была в значительной мере плодом чересчур пугливого воображения царя. Иван направлял ее против страшной крамолы, будто бы гнездившейся в боярской среде и грозившей истреблением всей царской семьи. Но действительно ли так страшна была опасность?

Политическая сила боярства и помимо опричнины была подорвана условиями, прямо или косвенно созданными московским собиранием Руси. Возможность дозволенного, законного отъезда, главной опоры служебной свободы боярина, ко времени царя Ивана уже исчезла: кроме Литвы, отъехать было некуда, единственный уцелевший удельный князь Владимир Старицкий договорами обязался не принимать ни князей, ни бояр и никаких людей, отъезжавших от царя.

Служба бояр из вольной стала обязательной, невольной. Местничество лишало класс способности к дружному совместному действию. Поземельная перетасовка важнейших служилых князей, производившаяся при Иване III и его внуке посредством обмена старинных княжеских вотчин на новые, перемещала князей Одоевских, Воротынских, Мезецких с опасных окраин, откуда они могли завести сношения с заграничными недругами Москвы, куда-нибудь на Клязьму или Верхнюю Волгу, в чужую им среду, с которой у них не было никаких связей. Знатнейшие бояре правили областями, но так, что своим управлением приобретали себе только ненависть народа.

Так, боярство не имело под собой твердой почвы ни в управлении, ни в народе, ни даже в своей сословной организации, и царь должен был знать это лучше самих бояр. Серьезная опасность грозила при повторении случая 1553 г., когда многие бояре не хотели присягать ребенку, сыну опасно больного царя, имея в виду возвести на престол удельного Владимира, дядю царевича. Едва перемогавшийся царь прямо сказал присягнувшим боярам, что, в случае своей смерти, он предвидит судьбу своего семейства при царе-дяде.

Это – участь, обычно постигавшая принцев-соперников в восточных деспотиях. Собственные предки царя Ивана, князья Московские, точно так же расправлялись со своими родичами, становившимися им поперек дороги; точно так же расправился и сам царь Иван со своим двоюродным братом Владимиром Старицким. Опасность 1553 г. не повторилась. Но опричнина не предупреждала этой опасности, а скорее усиливала ее.

В 1553 г. многие бояре стали на сторону царевича, и

династическая катастрофа могла не состояться. В 1568 г., в случае смерти царя, едва ли оказалось бы достаточно сторонников у его прямого наследника: опричнина сплотила боярство инстинктивно – чувством самосохранения.

Суждения о ней современников. Без такой опасности боярская крамола не шла далее помыслов и попыток бежать в Литву: ни о заговорах, ни о покушениях со стороны бояр не говорят современники. Но если бы и существовала действительно мятежная боярская крамола, царю следовало действовать иначе: он должен был направлять свои удары исключительно на боярство, а он бил не одних бояр и даже не бояр преимущественно. Князь Курбский в своей «Истории», перечисляя жертвы Ивановой жестокости, насчитывает их свыше 400. Современники-иностранцы считали даже за 10 тысяч.

Совершая казни, царь Иван, по набожности, заносил имена казненных в *помянники* (синодики), которые рассылал по монастырям для поминовения душ покойных с приложением поминальных вкладов. Эти помянники – очень любопытные памятники; в некоторых из них число жертв возрастает до 4 тысяч. Но боярских имен в этих мартирологах сравнительно немного. Зато сюда заносились перебитые массами и совсем не повинные в боярской крамоле дворовые люди, подьячие, псари, монахи и монахини – «скончавшиеся христиане мужеского, женского и детского чина, имена коих Ты сам, Господи, веси», как заунывно причитает синодик после каждой группы избиенных массами. Наконец, очередь дошла и до самой «тьмы кромешной»: погибли ближайшие опричные любимцы царя – князь Вяземский и Басмановы, отец с сыном. Глубоко пониженным, сдержанно-негодующим тоном повествуют современники о смуте, какую внесла опричнина в умы, непривычные к таким внутренним потрясениям. Они изображают опричнину как социальную усобицу. «Воздвигнул царь, – пишут они, – крамолу междоусобную, в одном и том же городе одних людей на других напустил, одних опричными назвал, своими собственными учинил, а прочих земщиною наименовал и заповедал своей части другую часть людей насиловать, смерти предавать и домы их грабить. И была туга и ненависть на царя в миру, и кровопролитие, и казни учинились многие».

Один наблюдательный современник изображает опричнину какой-то непонятной политической игрой царя. Всю державу свою, как топором, пополам рассек и этим всех смутил, так, «божиими людьми играя, став заговорщиком против самого себя». Царь захотел в земщине быть государем, а в опричнине остаться вотчинником, удельным князем. Современники не могли уяснить

себе этого политического двуличия. Но они поняли, что опричнина, выводя крамолу, вводила анархию, оберегая государя, колебала самые основы государства. Направленная против воображаемой крамолы, она подготовляла действительную. Наблюдатель, слова которого я сейчас привел, видит прямую связь между Смутным временем, когда он писал, и опричниной, которую помнил: «Великий раскол земли всей сотворил царь, и это разделение, думаю, было прообразом нынешнего всеземского разгласия».

Такой образ действий царя мог быть следствием не политического расчета, а исказившегося политического понимания. Столкнувшись с боярами, потеряв к ним всякое доверие после болезни 1553 г. и особенно после побега князя Курбского, царь преувеличил опасность, испугался: «…за себя есми стал». Тогда вопрос о государственном порядке превратился для него в вопрос о личной безопасности, и он, как не в меру испугавшийся человек, закрыв глаза, начал бить направо и налево, не разбирая друзей и врагов. Значит, в направлении, какое дал царь политическому столкновению, много виноват его личный характер, который потому и получает некоторое значение в нашей государственной истории.

Значение царя Ивана. Таким образом, положительное значение царя Ивана в истории нашего государства далеко не так велико, как можно было бы думать, судя по его замыслам и начинаниям, по шуму, какой производила его деятельность. Грозный царь больше задумывал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и нервы своих современников, чем на современный ему государственный порядок.

Жизнь Московского государства и без Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него и после него. Но без него это устроение пошло бы легче и ровнее, чем оно шло при нем и после него. Важнейшие политические вопросы были бы разрешены без тех потрясений, какие были им подготовлены. Важнее отрицательное значение этого царствования. Царь Иван был замечательный писатель, пожалуй, даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец.

Одностороннее, себялюбивое и мнительное направление его политической мысли при его нервной возбужденности лишило его практического такта, политического глазомера, чутья действительности, и, успешно предприняв завершение государственного порядка, заложенного его предками, он, незаметно для себя самого, кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка. Карамзин преувеличил очень немного, поставив царствование Ивана – одно из прекраснейших по началу

– по конечным его результатам наряду с монгольским игом и бедствиями удельного времени. Вражде и произволу царь жертвовал и собой, и своей династией, и государственным благом. Его можно сравнить с тем ветхозаветным слепым богатырем, который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели.

Большая государственная печать Ивана Грозного

Царь Федор

Царь Феодор Иоаннович.
С изображения XVI в., хранящегося в Московском Историческом музее

Начало Смуты. Но прежде чем совершилось это воцарение, Московское государство испытало страшное потрясение, поколебавшее самые глубокие его основы. Оно и дало первый и очень болезненный толчок движению новых понятий, недоставáвших государственному порядку, построенному угасшею династией. Это потрясение совершилось в первые годы XVII в. и известно в нашей историографии под именем Смуты или Смутных времен, по выражению Котошихина. Русские люди, пережившие это тяжелое время, называли его, и именно последние его годы, «великой разрухой Московского государства».

Признаки Смуты стали обнаруживаться тотчас после смерти последнего царя старой династии, Федора Ивановича. Смута прекращается с того времени, когда земские чины, собравшиеся в Москве в начале 1613 г., избрали на престол родоначальника

новой династии, царя Михаила. Значит, Смутным временем в нашей истории можно назвать 14–15 лет с 1598 по 1613 г. 14 лет в этой эпохе «смятения» Русской земли считает и современник, келарь Троицкого монастыря Авраамий Палицын, автор сказания об осаде поляками Троицкого Сергиева монастыря. Прежде чем перейти к изучению IV периода, мы должны остановиться на происхождении и значении этого потрясения. Откуда пошла эта Смута или эта «московская трагедия» (tragoedia moscovitica), как выражались о ней современники-иностранцы. Вот фабула этой трагедии.

Конец династии. Грозный царь Иван Васильевич года за два до своей смерти, в 1581 г., в одну из дурных минут, какие тогда часто на него находили, прибил свою сноху за то, что она, будучи беременной, при входе свекра в ее комнату оказалась слишком запросто одетой. «Simplici veste induta», – как объясняет дело иезуит Антоний Поссевин, приехавший в Москву три месяца спустя после события и знавший его по горячим следам. Муж побитой, наследник отцова престола царевич Иван, вступился за обиженную жену, а вспыливший отец печально удачным ударом железного костыля в голову, положил сына на месте. Царь Иван едва не помешался с горя по сыну, с неистовым воплем вскакивал по ночам с постели, хотел отречься от престола и постричься; однако, как бы то ни было, вследствие этого несчастного случая преемником Грозного стал второй его сын, царевич Федор.

Царь Федор. Поучительное явление в истории старой московской династии представляет этот последний ее царь Федор. Калитино племя, построившее Московское государство, всегда отличалось удивительным умением обрабатывать свои житейские дела, страдало фамильным избытком заботливости о земном. И это самое племя, погасая, блеснуло полным отрешением от всего земного, вымерло царем Федором Ивановичем, который, по выражению современников, всю жизнь «избывал мирской суеты и докуки, помышляя только о небесном».

Царь Феодор Иоаннович оповещает митрополита и бояр о кончине отца.

Из Александро-Невской рукописи

Польский посол Сапега так описывает Федора: «Царь мал ростом, довольно худощав, с тихим, даже подобострастным, голосом, простодушным лицом, ум имеет скудный или, как я слышал от других и заметил сам, не имеет никакого, ибо, сидя на престоле во время посольского приема, он не переставал улыбаться, любуясь то на свой скипетр, то на державу». Другой современник, швед Петрей, в своем описании Московского

государства (1608–1611) также замечает, что царь Федор от природы был почти лишен рассудка, находил удовольствие только в духовных предметах, часто бегал по церквам трезвонить в колокола и слушать обедню. Отец горько упрекал его за это, говоря, что он больше похож на пономарского, чем на царского, сына. В этих отзывах, несомненно, есть некоторое преувеличение, чувствуется доля карикатуры.

Набожная и почтительная к престолу мысль русских современников пыталась сделать из царя Федора знакомый и любимый ею образ подвижничества особого рода. Нам известно, какое значение имело и каким почетом пользовалось в Древней Руси юродство Христа ради. Юродивый, блаженный, отрешался от всех благ житейских, не только от телесных, но и от духовных удобств и приманок, почестей, славы, уважения и привязанности со стороны ближних. Мало того, он делал боевой вызов этим благам и приманкам. Нищий и бесприютный, ходя по улицам босиком, в лохмотьях, поступая не по-людски, по-уродски, говоря неподобные речи, презирая общепринятые приличия, он старался стать посмешищем для неразумных и как бы издевался над благами, которые люди любят и ценят, и над самими людьми, которые их любят и ценят.

В таком смирении до самоуничижения Древняя Русь видела практическую разработку высокой заповеди о блаженстве нищих духом, которым принадлежит Царствие Божие. Эта духовная нищета в лице юродивого являлась ходячей мирской совестью, «лицевым» в живом образе обличением людских страстей и пороков, и пользовалась в обществе большими правами, полной свободой слова. Сильные мира сего, вельможи и цари, сам Грозный, терпеливо выслушивали смелые, насмешливые или бранчивые речи блаженного уличного бродяги, не смея дотронуться до него пальцем. И царю Федору придан был русскими современниками этот привычный и любимый облик. Это был в их глазах блаженный на престоле, один из тех нищих духом, которым подобает Царство Небесное, а не земное, которых церковь так любила заносить в свои Святцы, в укор грязным помыслам и греховным поползновениям русского человека.

«Благоюродив бысть от чрева матери своея и ни о чем попечения не имея, токмо о душевном спасении», – так отзывается о Федоре близкий ко двору современник князь И. М. Катырев-Ростовский. По выражению другого современника, в царе Федоре «мнишество было с царствием соплетено без раздвоения, и одно служило украшением другому». Его называли «освятованным царем», свыше предназначенным к святости, к венцу небесному. Словом, в келье или пещере, пользуясь

выражением Карамзина, царь Федор был бы больше на месте, чем на престоле.

И в наше время царь Федор становился предметом поэтической обработки: так, ему посвящена вторая трагедия драматической трилогии графа Алексея Толстого. И здесь изображение царя Федора очень близко к его древнерусскому образу; поэт, очевидно, рисовал портрет блаженного царя с древнерусской летописной его иконы. Тонкой чертой проведена по этому портрету и наклонность к благодушной шутке, какою древнерусский блаженный смягчал свои суровые обличения. Но сквозь внешнюю набожность, какой умилялись современники в царе Федоре, у Алексея Толстого ярко проступает нравственная чуткость. Это вещий простачок, который бессознательным, таинственно озаренным чутьем умел понимать вещи, каких никогда не понять самым большим умникам. Ему грустно слышать о партийных раздорах, вражде сторонников Бориса Годунова и князя Шуйского; ему хочется дожить до того, когда все будут сторонниками лишь одной Руси, хочется помирить всех врагов, и на сомнения Годунова в возможности такой общегосударственной мировой горячо возражает: «Ни, ни!/ Ты этого, Борис, не разумеешь!/ Ты ведай там, как знаешь, государство,/ Ты в том горазд, а здесь я больше смыслю,/ Здесь надо ведать сердце человека». В другом месте он говорит тому же Годунову: «Какой я царь? Меня во всех делах/ И с толку сбить, и обмануть не трудно,/ В одном лишь только я не обманусь:/ Когда меж тем, что бело иль черно,/ Избрать я должен – яне обманусь».

Не следует выпускать из виду исторической подкладки назидательных или поэтических изображений исторического лица современниками или позднейшими писателями. Царевич Федор вырос в Александровской слободе, среди безобразия и ужасов опричнины. Рано по утрам отец, игумен шутовского слободского монастыря, посылал его на колокольню звонить к заутрене. Родившись слабосильным от начавшей прихварывать матери Анастасии Романовны, он рос безматерним сиротой в отвратительной опричной обстановке и вырос малорослым и бледнолицым недорослком, расположенным к водянке, с неровной, старчески медленной походкой от преждевременной слабости в ногах. Так описывает царя, когда ему шел 32-й год, видевший его в 1588–1589 гг. английский посол Флетчер.

В лице царя Федора династия вымирала воочию. Он вечно улыбался, но безжизненной улыбкой. Этой грустной улыбкой, как бы молившей о жалости и пощаде, царевич оборонялся от капризного отцовского гнева. Рассчитанное жалостное выражение лица со временем, особенно после страшной смерти старшего

брата, в силу привычки превратилось в невольную автоматическую гримасу, с которой Федор и вступил на престол. Под гнетом отца он потерял свою волю, но сохранил навсегда заученное выражение забитой покорности. На престоле он искал человека, который стал бы хозяином его воли: умный шурин Годунов осторожно встал на место бешеного отца.

Изображение царя Феодора Иоанновича на Царь-пушке

Борис Годунов

Царь Борис Феодорович Годунов

Регентство. Умирая, царь Иван торжественно признал своего «смирением обложенного» преемника неспособным к управлению государством и назначил ему в помощь правительственную комиссию, как бы сказать, регентство из нескольких наиболее приближенных вельмож. В первое время по смерти Грозного наибольшей силой среди регентов пользовался родной дядя царя по матери Никита Романович Юрьев; но вскоре болезнь и смерть его расчистили дорогу к власти другому опекуну, шурину царя Борису Годунову.

Пользуясь характером царя и поддержкой сестры-царицы, он постепенно оттеснил от дел других регентов и сам стал править государством именем зятя. Его мало назвать премьер-министром; это был своего рода диктатор или, как бы сказать, соправитель. Царь, по выражению Котошихина, учинил его над государством своим во всяких делах правителем, сам предавшись «смирению и на молитву». Так громадно было влияние Бориса на царя и на дела. По словам князя Катырева-Ростовского, он захватил такую власть, «яко же и самому царю во всем послушну ему быти». Он окружался царственным почетом, принимал иноземных послов в своих палатах с величавостью и блеском настоящего потентата, «не меньшею честию пред царем от людей почтен бысть».

Он правил умно и осторожно, и четырнадцатилетнее царствование Федора было для государства временем отдыха от погромов и страхов опричнины. «Умилосердился Господь, – пишет тот же современник, – на людей Своих и даровал им благополучное время, позволил царю державствовать тихо и безмятежно, и все православное христианство начало утешаться и жить тихо и безмятежно». Удачная война со Швецией не нарушила этого общего настроения.

Но в Москве начали ходить самые тревожные слухи. После царя Ивана остался младший сын Димитрий, которому отец, по старинному обычаю московских государей, дал маленький удел, город Углич с уездом. В самом начале царствования Федора, для предупреждения придворных интриг и волнений, этот царевич со своими родственниками по матери Нагими был удален из Москвы. В Москве рассказывали, что этот семилетний Димитрий, сын пятой венчанной жены царя Ивана (не считая невенчанных), следовательно, царевич сомнительной законности с канонической точки зрения, выйдет весь в батюшку времен опричнины, и что этому царевичу грозит большая опасность со стороны тех близких к престолу людей, которые сами метят на престол в очень вероятном случае бездетной смерти царя Федора. И вот, как бы в оправдание этих толков, в 1591 г. по Москве разнеслась весть, что удельный князь Димитрий среди бела дня зарезан в Угличе, и что убийцы были тут же перебиты поднявшимися горожанами, так что не с кого стало снять показаний при следствии.

П. Свиньин. **Терем царевича Димитрия в Угличе**

Следственная комиссия, посланная в Углич во главе с князем В. И. Шуйским, тайным врагом и соперником Годунова, вела дело бестолково или недобросовестно, тщательно расспрашивала о побочных мелочах и позабыла разведать важнейшие обстоятельства, не выяснила противоречий в показаниях, вообще страшно запутала дело. Она постаралась, прежде всего, уверить себя и других, что царевич не зарезан, а зарезался сам в припадке падучей болезни, попавши на нож, которым играл с детьми. Поэтому угличане были строго наказаны за самовольную расправу с мнимыми убийцами. Получив такое донесение комиссии, патриарх Иов, приятель Годунова, при его содействии и возведенный два года назад в патриарший сан, объявил соборне, что смерть царевича приключилась судом Божиим. Тем дело пока и кончилось.

В январе 1598 г. умер царь Федор. После него не осталось никого из Калитиной династии, кто бы мог занять опустевший престол. Присягнули было вдове покойного, царице Ирине; но она постриглась. Итак, династия вымерла не чисто, не своею смертью. Земский собор под председательством того же патриарха Иова избрал на царство правителя Бориса Годунова.

На престоле. Борис и на престоле правил так же умно и осторожно, как прежде, стоя у престола при царе Федоре. По своему происхождению он принадлежал к большому, хотя и не первостепенному боярству. Годуновы – младшая ветвь старинного и важного московского боярского рода, шедшего от выехавшего из Орды в Москву при Калите мурзы Чета. Старшая ветвь того же

рода, Сабуровы, занимала видное место в московском боярстве. Но Годуновы поднялись лишь недавно, в царствование Грозного, и опричнина, кажется, много помогла их возвышению.

Борис был посаженым отцом на одной из многочисленных свадеб царя Ивана во время опричнины, притом он стал зятем Малюты Скуратова-Бельского, шефа опричников. Женитьба царевича Федора на сестре Бориса еще более укрепила его положение при дворе. До учреждения опричнины в Боярской думе не встречаем Годуновых; они появляются в ней только с 1573 г.; зато со смерти Грозного они посыпались туда, и все в важных званиях бояр и окольничих. Но сам Борис не значился в списках опричников и тем не уронил себя в глазах общества, которое смотрело на них, как на отверженных людей, «кромешников», – так острили над ними современники, играя синонимами «опричь» и «кроме».

В. Медведев. **Патриарх Иов и московский народ просят Бориса Годунова на царство**

Борис начал царствование с большим успехом, даже с блеском, и первыми действиями на престоле вызвал всеобщее одобрение. Современные витии кудревато писали о нем, что он своей политикой внутренней и внешней «зело прорассудительное к народам мудроправство показа». В нем находили «велемудрый и многорассудный разум», называли его мужем зело чудным и сладкоречивым и строительным вельми, о державе своей многозаботливым. С восторгом отзывались о наружности и личных качествах царя, писали, что «никто бе ему от царских синклит подобен в благолепии лица его и в рассуждении ума его». Хотя и замечали с удивлением, что это был первый в России «бескнижный государь», «грамотичного учения не сведый до мала от юности, яко ни простым буквам навычен бе». Но, признавая, что он наружностью и умом всех людей превосходил и много похвального учинил в государстве, был светлодушен, милостив и нищелюбив, хотя и неискусен в военном деле, находили в нем и некоторые недостатки: он цвел добродетелями и мог бы древним царям уподобиться, если бы зависть и злоба не омрачили этих добродетелей. Его упрекали в ненасытном властолюбии и в наклонности доверчиво слушать наушников и преследовать без разбора оболганных людей, за что и восприял он возмездие. Считая себя малоспособным к ратному делу и не доверяя своим воеводам, царь Борис вел нерешительную, двусмысленную внешнюю политику, не воспользовался ожесточенной враждой Польши со Швецией, что давало ему возможность союзом с королем Шведским приобрести от Польши Ливонию.

Главное его внимание обращено было на устройство внутреннего порядка в государстве, «исправление всех нужных царству вещей», по выражению келаря А. Палицына, и в первые два года царствования, замечает келарь, «Россия цвела всеми благами». Царь крепко заботился о бедных и нищих, расточал им милости, но жестоко преследовал злых людей и такими мерами приобрел огромную популярность, «всем любезен бысть». В устроении внутреннего государственного порядка он даже обнаруживал необычную отвагу. Борис готов был на меру, имевшую упрочить свободу и благосостояние крестьян: он, по-видимому, готовил указ, который бы точно определил повинности и оброки крестьян в пользу землевладельцев. Это – закон, на который не решалось русское правительство до самого освобождения крепостных крестьян.

Толки и слухи про Бориса. Так начал царствовать Борис.

Однако, несмотря на многолетнюю правительственную опытность, милости, какие он щедро расточал по воцарении всем классам, правительственные способности, которым в нем удивлялись, популярность его была непрочна. Борис принадлежал к числу тех злосчастных людей, которые и привлекали к себе, и отталкивали от себя, – привлекали видимыми качествами ума и таланта, отталкивали незримыми, но чуемыми недостатками сердца и совести. Он умел вызывать удивление и признательность, но никому не внушал доверия; его всегда подозревали в двуличии и коварстве и считали на все способным. Несомненно, страшная школа Грозного, которую прошел Годунов, положила на него неизгладимый печальный отпечаток.

Еще при царе Федоре у многих составился взгляд на Бориса, как на человека умного и деловитого, но на все способного, не останавливающегося ни перед каким нравственным затруднением. Внимательные и беспристрастные наблюдатели, как дьяк Иван Тимофеев, автор любопытных записок о Смутном времени, характеризуя Бориса, от суровых порицаний прямо переходит к восторженным хвалам. И только недоумевает, откуда бралось у него все, что он делал доброго, было ли это даром природы или делом сильной воли, умевшей до времени искусно носить любую личину. Этот «рабоцарь», царь из рабов, представлялся загадочною смесью добра и зла, игроком, у которого чашки на весах совести постоянно колебались. При таком взгляде не было подозрения и нарекания, которого народная молва не была бы готова повесить на его имя. Он и хана Крымского под Москву подводил, и доброго царя Федора с его дочерью, ребенком Федосьей, своей родной племянницей, уморил, и даже собственную сестру, царицу Александру, отравил; и бывший земский царь, полузабытый ставленник Грозного Семен Бекбулатович, ослепший под старость, ослеплен все тем же Б. Годуновым. Он же, кстати, и Москву жег, тотчас по убиении царевича Димитрия, чтобы отвлечь внимание царя и столичного общества от углицкого злодеяния. Б. Годунов стал излюбленной жертвой всевозможной политической клеветы. Кому же, как не ему, убить и царевича Димитрия? Так решила молва, и на этот раз неспроста.

Незримые уста понесли по миру эту роковую для Бориса молву. Говорили, что он не без греха в этом темном деле, что это он подослал убийц к царевичу, чтобы проложить себе дорогу к престолу. Современные летописцы рассказывали об участии Бориса в деле, конечно, по слухам и догадкам. Прямых улик у них, понятно, не было и быть не могло: властные люди в подобных случаях могут и умеют прятать концы в воду. Но в

летописных рассказах нет путаницы и противоречий, какими полно донесение углицкой следственной комиссии. Летописцы верно понимали затруднительное положение Бориса и его сторонников при царе Федоре: оно побуждало бить, чтобы не быть побитым. Ведь Нагие не пощадили бы Годуновых, если бы воцарился углицкий царевич. Борис отлично знал по самому себе, что люди, которые ползут к ступенькам престола, не любят и не умеют быть великодушными. Одним разве летописцы возбуждают некоторое сомнение: это – неосторожная откровенность, с какою ведет себя у них Борис. Они взваливают на правителя не только прямое и деятельное участие, но как будто даже почин в деле.

Неудачные попытки отравить царевича, совещания с родными и приспными о других средствах извести Димитрия, неудачный первый выбор исполнителей, печаль Бориса о неудаче, утешение его Клешниным, обещающим исполнить его желание, – все эти подробности, без которых, казалось бы, могли обойтись люди, столь привычные к интриге. С таким мастером своего дела, как Клешнин, всем обязанный Борису и являющийся руководителем углицкого преступления, не было нужды быть столь откровенным: достаточно было прозрачного намека, молчаливого внушительного жеста, чтобы быть понятым. Во всяком случае, трудно предположить, чтобы это дело сделалось без ведома Бориса. Оно было подстроено какой-нибудь чересчур услужливой рукой, которая хотела сделать угодное Борису, угадывая его тайные помыслы, а еще более – обеспечить положение своей партии, державшейся Борисом.

Прошло семь лет – семь безмятежных лет правления Бориса. Время начинало стирать углицкое пятно с Борисова лица. Но со смертью царя Федора подозрительная народная молва оживилась. Пошли слухи, что и избрание Бориса на царство было нечисто, что, отравив царя Федора, Годунов достиг престола полицейскими уловками, которые молва возводила в целую организацию. По всем частям Москвы и по всем городам разосланы были агенты, даже монахи из разных монастырей, подбивавшие народ просить Бориса на царство «всем миром»; даже царица-вдова усердно помогала брату, тайно деньгами и льстивыми обещаниями соблазняя стрелецких офицеров действовать в пользу Бориса. Под угрозой тяжелого штрафа за сопротивление полиция в Москве сгоняла народ к Новодевичьему монастырю челом бить и просить у постригшейся царицы ее брата на царство. Многочисленные пристава наблюдали, чтобы это народное челобитье приносилось с великим воплем и слезами, и многие, не имея слез наготове, мазали себе глаза слюнями, чтобы отклонить от себя палки приставов. Когда царица подходила к

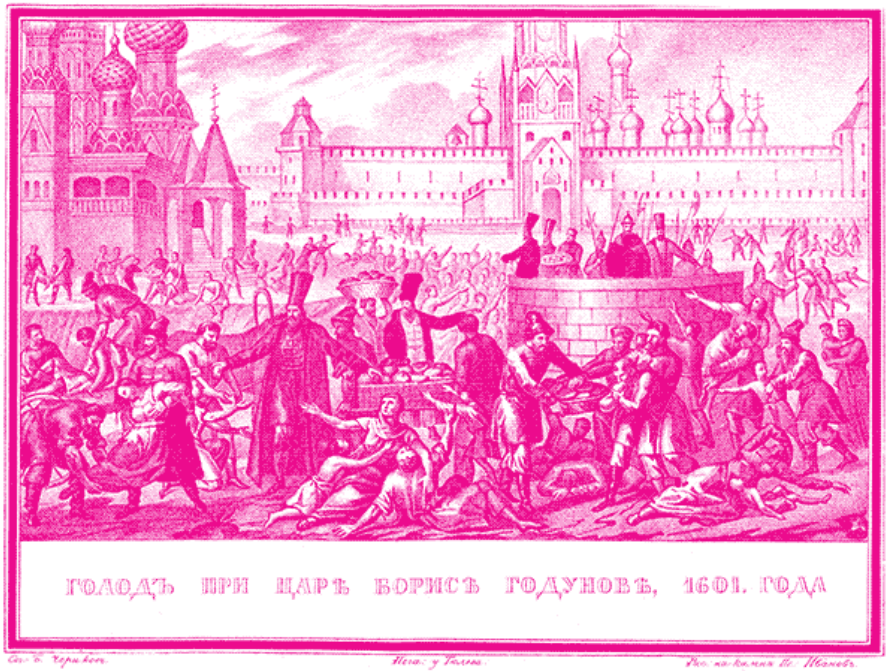
окну кельи, чтобы удостовериться во всенародном молении и плаче, по данному из кельи знаку весь народ должен был падать ниц на землю. Не успевших или не хотевших это сделать пристава пинками в шею сзади заставляли кланяться в землю, и все, поднимаясь, завывали, точно волки. От неистового вопля расседались утробы кричавших, лица багровели от натуги, приходилось затыкать уши от общего крика. Так повторялось много раз. Умиленная зрелищем такой преданности народа, царица, наконец, благословила брата на царство. Горечь этих рассказов, может быть преувеличенных, резко выражает степень ожесточения, какое Годунов и его сторонники постарались поселить к себе в обществе.

Царь Борис законным путем земского соборного избрания вступил на престол и мог стать основателем новой династии, как по своим личным качествам, так и по своим политическим заслугам. Но бояре, много натерпевшиеся при Грозном, теперь, при выборном царе из своей братии, не хотели довольствоваться простым обычаем, на котором держалось их политическое значение при прежней династии. Они ждали от Бориса более прочного обеспечения этого значения, т. е. ограничения его власти формальным актом, «чтобы он государству по предписанной грамоте крест целовал», как говорит известие, дошедшее от того времени в бумагах историка XVIII в. Татищева. Борис поступил с обычным своим двоедушием: он хорошо понимал молчаливое ожидание бояр, но не хотел ни уступить, ни отказать прямо, и вся затеянная им комедия упрямого отказа от предлагаемой власти была только уловкой с целью уклониться от условий, на которых эта власть предлагалась. Бояре молчали, ожидая, что Годунов сам заговорит с ними об этих условиях, крестоцеловании, а Борис молчал и отказывался от власти, надеясь, что Земский собор выберет его без всяких условий. Борис перемолчал бояр и был выбран без всяких условий.

Н. Некрасов. **Борис Годунов рассматривает карту, по которой учится его сын**

Это была ошибка Годунова, за которую он со своей семьей жестоко поплатился. Он сразу дал этим чрезвычайно фальшивую постановку своей власти. Ему следовало всего крепче держаться за свое значение земского избранника, а он старался пристроиться к старой династии по вымышленным завещательным распоряжениям. Соборное определение смело уверяет, будто Грозный, поручая Борису своего сына Федора, сказал: «По его преставлении тебе приказываю и царство сие». Как будто Грозный предвидел и гибель царевича Димитрия, и бездетную смерть Федора. И царь Федор, умирая, будто «вручил царство свое» тому же Борису. Все эти выдумки – плод приятельского усердия патриарха Иова, редактировавшего

соборное определение. Борис был не наследственный вотчинник Московского государства, а народный избранник, начинал особый ряд царей с новым государственным значением. Чтобы не быть смешным или ненавистным, ему следовало и вести себя иначе, а не пародировать погибшую династию с ее удельными привычками и предрассудками.



ГОЛОДЪ ПРИ ЦАРѢ БОРИСѢ ГОДУНОВѢ, 1601. ГОДА

Большие бояре с князьями Шуйскими во главе были против избрания Бориса, опасаясь, по выражению летописца, что «быти от него людям и себе гонению». Надобно было рассеять это опасение, и некоторое время большое боярство, кажется, ожидало этого. Один сторонник царя Василия Шуйского, писавший по его внушению, замечает, что большие бояре, князья Рюриковичи, сродники по родословцу прежних царей Московских и достойные их преемники, не хотели избирать царя из своей среды, а отдали это дело на волю народа, так как и без того они были при прежних царях велики и славны не только в России, но и в дальних странах. Но это величие и славу надобно было обеспечить от произвола, не признающего ни великих, ни славных, а обеспечение могло состоять только в ограничении власти избранного царя, чего и ждали бояре. Борису следовало взять на себя почин в деле, превратив при этом Земский собор из случайного должностного собрания в постоянное народное представительство, идея которого уже бродила в московских умах при Грозном, и созыва которого требовал сам Борис, чтобы быть всенародно избранным. Это примирило бы с ним оппозиционное

боярство и – кто знает? – отвратило бы беды, постигшие его с семьей и Россию, сделав его родоначальником новой династии. Но «проныр лукавый», при недостатке политического сознания, перехитрил самого себя.

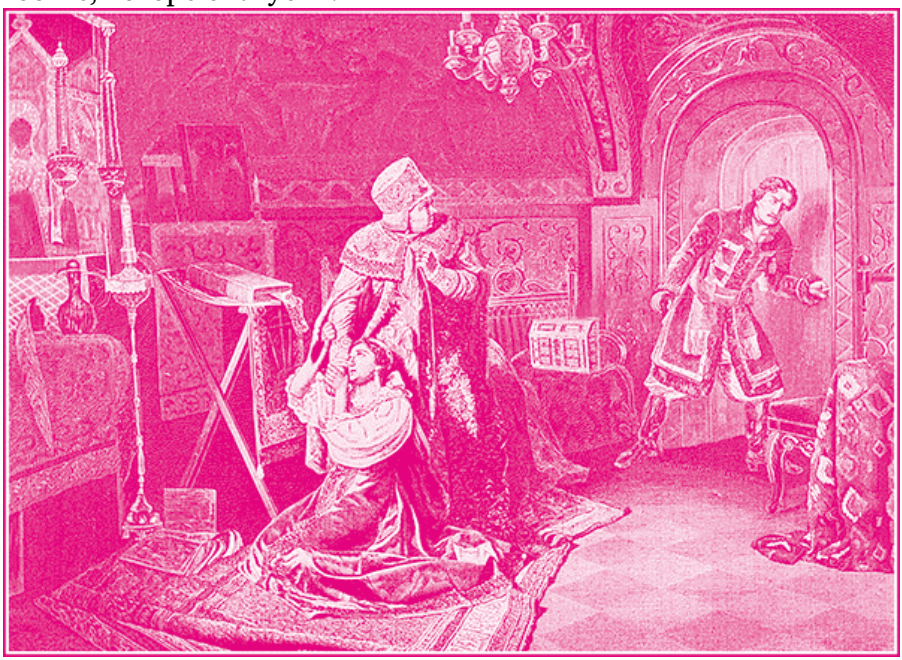
Когда бояре увидали, что их надежды обмануты, что новый царь расположен править так же самовластно, как правил Иван Грозный, они решили тайно действовать против него. Русские современники прямо объясняют несчастья Бориса негодованием чиноначальников всей Русской земли, от которых много напастных зол на него восстало. Чуя глухой ропот бояр, Борис принял меры, чтобы оградить себя от их козней. Была сплетена сложная сеть тайного полицейского надзора, в котором главную роль играли боярские холопы, доносившие на своих господ, и выпущенные из тюрем воры, которые, шныряя по московским улицам, подслушивали, что говорили о царе, и хватали каждого, сказавшего неосторожное слово.

Донос и клевета быстро стали страшными общественными язвами: доносили друг на друга люди всех классов, даже духовные; члены семейств боялись говорить друг с другом; страшно было произнести имя царя – сыщик хватал и доставлял в застенок. Доносы сопровождались опалами, пытками, казнями и разорением домов. «Ни при одном государе таких бед не бывало», по замечанию современников. С особенным озлоблением накинулся Борис на значительный боярский кружок с Романовыми во главе, в которых, как в двоюродных братьях царя Федора, видел своих недоброжелателей и соперников. Пятерых Никитичей, их родных и приятелей с женами, детьми, сестрами, племянниками разбросали по отдаленным углам государства, а старшего Никитича, будущего патриарха Филарета, при этом еще и постригли, как и жену его.

Наконец, Борис совсем обезумел, хотел знать домашние помыслы, читать в сердцах и хозяйничать в чужой совести. Он разослал всюду особую молитву, которую во всех домах за трапезой должны были произносить при заздравной чаше за царя и его семейство. Читая эту лицемерную и хвастливую молитву, проникаешься сожалением, до чего может потеряться человек, хотя бы и царь. Всеми этими мерами Борис создал себе ненавистное положение. Боярская знать с вековыми преданиями скрылась по подворьям, усадьбам и дальним тюрьмам. На ее место повылезли из щелей неведомые «Годуновы со товарищи» и завистливой шайкой окружили престол, наполнили двор. На место династии стала родня, главой которой явился земский избранник, превратившийся в мелкодушного полицейского труса. Он спрятался во дворце, редко выходил к народу и не принимал

сам челобитных, как это делали прежние цари. Всех подозревая, мучась воспоминаниями и страхами, он показал, что всех боится, как вор, ежеминутно опасающийся быть пойманным, по удачному выражению одного жившего тогда в Москве иностранца.

Наконец, в 1604 г. пошел самый страшный слух. Года три уже в Москве шептали про неведомого человека, называвшего себя царевичем Димитрием. Теперь разнеслась громкая весть, что агенты Годунова промахнулись в Угличе, зарезали подставного ребенка, а настоящий царевич жив и идет из Литвы добывать прародительский престол. Замутились при этих слухах умы у русских людей, и пошла Смута. Царь Борис умер весной 1605 г., потрясенный успехами Самозванца, который, воцарившись в Москве, вскоре был убит.



Н. Шаховский. **Семейство Годуновых**

Лжедимитрий I

Лжедимитрий I.
С прижизненного изображения Луки Килиена

Самозванство. Так подготовлялась и началась Смута. Как вы видите, она была вызвана двумя поводами: насильственным и таинственным пресечением старой династии и потом искусственным ее воскрешением в лице первого самозванца. Насильственное и таинственное пресечение династии было первым толчком к Смуте.

Пресечение династии есть, конечно, несчастье в истории монархического государства; нигде, однако, оно не сопровождалось такими разрушительными последствиями, как у нас. Погаснет династия, выберут другую, и порядок

восстанавливается; при этом обыкновенно не появляются самозванцы, или на появившихся не обращают внимания, и они исчезают сами собою. А у нас, с легкой руки первого Лжедимитрия, самозванство стало хронической болезнью государства: с тех пор чуть не до конца XVIII в. редкое царствование проходило без самозванца, а при Петре, за недостатком такового, народная молва настоящего царя превратила в самозванца. Итак, ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы сами по себе послужить достаточными причинами Смуты; были какие-либо другие условия, которые сообщили этим событиям такую разрушительную силу. Этих настоящих причин Смуты надобно искать под внешними поводами, ее вызвавшими.

Скрытые причины Смуты открываются при обзоре событий Смутного времени в их последовательном развитии и внутренней связи. Отличительной особенностью Смуты является то, что в ней последовательно выступают все классы русского общества, и выступают в том самом порядке, в каком они лежали в тогдашнем составе русского общества, как были размещены по своему сравнительному значению в государстве на социальной лествице чинов. На вершине этой лествицы стояло боярство; оно и начало Смуту.

В гнезде наиболее гонимого Борисом боярства с Романовыми во главе, по всей вероятности, и была высижена мысль о самозванце. Винили поляков, что они его подстроили; но он был только испечен в польской печке, а заквашен в Москве. Недаром Борис, как только услыхал о появлении Лжедмитрия, прямо сказал боярам, что это их дело, что они подставили самозванца. Этот неведомый кто-то, воссевший на московский престол после Бориса, возбуждает большой анекдотический интерес.

Его личность доселе остается загадочной, несмотря на все усилия ученых разгадать ее. Долго господствовало мнение, идущее от самого Бориса, что это был сын галицкого мелкого дворянина Юрий Отрепьев, в иночестве Григорий. Не буду рассказывать о похождениях этого человека. Упомяну только, что в Москве он служил холопом у бояр Романовых и у князя Черкасского, потом принял монашество, за книжность и составление похвалы московским чудотворцам взят был к патриарху в книгописцы и здесь вдруг с чего-то начал говорить, что он, пожалуй, будет и царем на Москве. Ему предстояло за это заглохнуть в дальнем монастыре; но какие-то сильные люди прикрыли его, и он бежал в Литву в то самое время, когда обрушились опалы на романовский кружок. Тот, кто в Польше назвался царевичем Димитрием, признавался, что ему

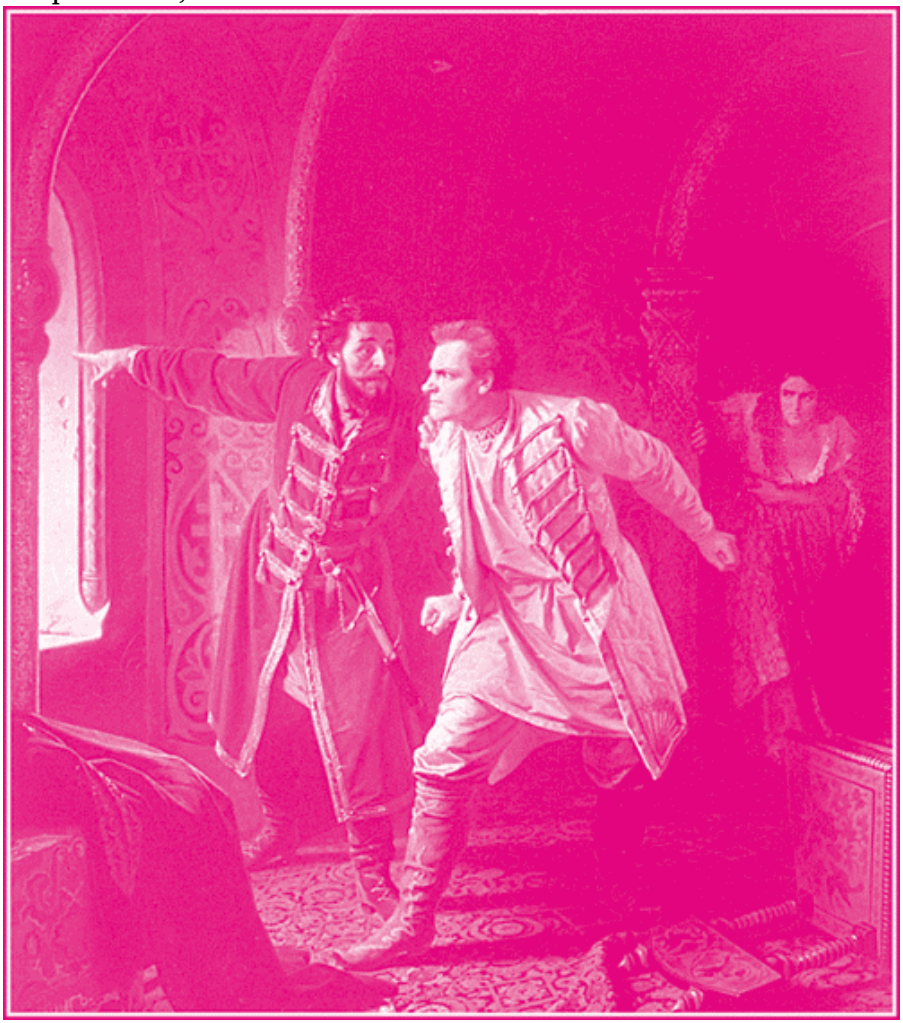
покровительствовал В. Щелкалов, большой дьяк, тоже подвергавшийся гонению от Годунова. Трудно сказать, был ли первым самозванцем этот Григорий или кто другой, что, впрочем, менее вероятно.

Но для нас важна не личность самозванца, а его личина, роль, им сыгранная. На престоле московских государей он был небывалым явлением. Молодой человек, роста ниже среднего, некрасивый, рыжеватый, неловкий, с грустно-задумчивым выражением лица, он в своей наружности вовсе не отражал своей духовной природы. Богато одаренный, с бойким умом, легко разрешавшим в Боярской думе самые трудные вопросы, живым, даже пылким темпераментом, в опасные минуты доводившим его храбрость до удальства, податливый на увлечения, он был мастер говорить, обнаруживал и довольно разнообразные знания. Он совершенно изменил чопорный порядок жизни старых московских государей и их тяжелое, угнетательное отношение к людям, нарушал заветные обычаи священной московской старины, не спал после обеда, не ходил в баню, со всеми обращался просто, обходительно, не по-царски.

Он тотчас показал себя деятельным управителем, чуждался жестокости, сам вникал во все, каждый день бывал в Боярской думе, сам обучал ратных людей. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе, хотя в Москве кое-кто подозревал и открыто обличал его в самозванстве. Лучший и преданный его слуга П. Ф. Басманов под рукой признавался иностранцам, что царь – не сын Ивана Грозного, но его признают царем потому, что присягали ему, и потому еще, что лучшего царя теперь и не найти.

Но сам Лжедимитрий смотрел на себя совсем иначе: он держался как законный, природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении; никто из близко знавших его людей не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Он был убежден, что и вся земля смотрит на него точно так же. Дело о князьях Шуйских, распространявших слухи о его самозванстве, свое личное дело, он отдал на суд всей земли и для того созвал Земский собор, первый собор, приблизившийся к типу народно-представительского, с выборными от всех чинов или сословий. Смертный приговор, произнесенный этим собором, Лжедимитрий заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство. Царь, сознававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво, а Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейно в застенке, а потом переморил бы их по тюрьмам. Но, как сложился в Лжедимитрии

такой взгляд на себя, это остается загадкой столько же исторической, сколько и психологической.



К. Вениг. **Последние минуты Григория Отрепьева. Самозванец и Басманов в утро 17 мая.** *1879 г.*

Как бы то ни было, но он не усидел на престоле, потому что не оправдал боярских ожиданий. Он не хотел быть орудием в руках бояр, действовал слишком самостоятельно, развивал свои особые политические планы, во внешней политике даже очень смелые и широкие, хлопотал поднять против турок и татар все католические державы с православной Россией во главе. По временам он ставил на вид своим советникам в Думе, что они ничего не видали, ничему не учились, что им надо ездить за границу для образования, но это он делал вежливо, безобидно.

Всего досаднее было для великородных бояр приближение к

престолу мнимой незнатной родни царя и его слабость к иноземцам, особенно к католикам. В Боярской думе, рядом с одним князем Мстиславским, двумя князьями Шуйскими и одним князем Голицыным, в звании бояр сидело целых пятеро каких-нибудь Нагих, а среди окольничих значились три бывших дьяка. Еще более возмущали не одних бояр, но и всех москвичей своевольные и разгульные поляки, которыми новый царь наводнил Москву. В записках польского гетмана Жолкевского, принимавшего деятельное участие в московских делах Смутного времени, рассказана одна небольшая сцена, разыгравшаяся в Кракове, выразительно изображающая положение дел в Москве.

В самом начале 1606 г. туда приехал от Лжедимитрия посол Безобразов известить короля о вступлении нового царя на московский престол. Справив посольство по чину, Безобразов мигнул канцлеру в знак того, что желает поговорить с ним наедине. Назначенному выслушать его пану сообщил данное ему князьями Шуйскими и Голицыными поручение – попенять королю за то, что он дал им в цари человека низкого и легкомысленного, жестокого, распутного мота, недостойного занимать московский престол и не умеющего прилично обращаться с боярами. Они-де не знают, как от него отделаться, и уж лучше готовы признать своим царем королевича Владислава. Очевидно, большая знать в Москве что-то затевала против Лжедимитрия и только боялась, как бы король не заступился за своего ставленника.

Своими привычками и выходками, особенно легким отношением ко всяким обрядам, отдельными поступками и распоряжениями, заграничными сношениями Лжедимитрий возбуждал против себя в различных слоях московского общества множество нареканий и неудовольствий, хотя вне столицы, в народных массах популярность его не ослабевала заметно.

Однако главная причина его падения была другая. Ее высказал коновод боярского заговора, составившегося против Самозванца, князь В. И. Шуйский. На собрании заговорщиков накануне восстания он откровенно заявил, что признал Лжедимитрия только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали, только при этом разделили работу между собою: романовский кружок сделал первое дело, а титулованный кружок с князем В. И. Шуйским во главе исполнил второй акт. Те и другие бояре видели в самозванце свою ряженую куклу, которую, подержав до времени на престоле, потом выбросили на задворки. Однако заговорщики не надеялись на успех восстания без обмана.

Всего больше роптали на самозванца из-за поляков; но бояре не решались поднять народ на Лжедимитрия и на поляков вместе, а разделили обе стороны и 17 мая 1606 г. вели народ в Кремль с криком: «Поляки бьют бояр и государя». Их цель была окружить Лжедимитрия будто для защиты и убить его.

А. Бучкури. **Смерть Самозванца**

Василий Шуйский

Царь Василий Иванович Шуйский.
С изображения XVII в.

Воцарение. После царя-самозванца на престол вступил князь В. И. Шуйский, царь-заговорщик. Это был пожилой, 54-летний боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся, прошедший огонь и воду, видавший и плаху и не попробовавший ее только по милости Самозванца, против которого он исподтишка действовал, большой охотник до наушников и сильно побаивавшийся колдунов.

Свое царствование он открыл рядом грамот, распубликованных по всему государству, и в каждом из этих

манифестов заключалось, по меньшей мере, по одной лжи. Так, в записи, на которой он крест целовал, он писал: «Поволил он крест целовать на том, что ему никого смерти не предавать, не осудя истинным судом с боярами своими». На самом деле, как сейчас увидим, целуя крест, он говорил совсем не то. В другой грамоте, писанной от имени бояр и разных чинов людей, читаем, что, по низложении Гришки Отрепьева, Освященный собор, бояре и всякие люди избирали государя «всем Московским государством» и избрали князя Василия Ивановича, всея Руси самодержца. Акт говорит ясно о соборном избрании царя, но такого избрания не было.

Правда, по низвержении Самозванца, бояре думали, как бы сговориться со всей землей и вызвать в Москву из городов всяких людей, чтобы «по совету выбрать государя такого, который бы всем был люб». Но князь Василий боялся городовых, провинциальных избирателей и сам посоветовал обойтись без земского собора. Его признали царем келейно немногие сторонники из большого титулованного боярства, а на Красной площади имя его прокричала преданная ему толпа москвичей, которых он поднял против Самозванца и поляков; даже и в Москве, по летописцу, многие не ведали про это дело. В третьей грамоте от своего имени новый царь не побрезговал лживым или поддельным польским показанием о намерении Самозванца перебить всех бояр, а всех православных крестьян обратить «в люторскую и латынскую веру».

Тем не менее воцарение князя Василия составило эпоху в нашей политической истории. Вступая на престол, он ограничил свою власть и условия этого ограничения официально изложил в разосланной по областям записи, на которой он целовал крест при воцарении.

Подкрестная запись. Запись слишком сжата, неотчетлива, производит впечатление спешного чернового наброска. В конце ее царь дает всем православным христианам одно общее клятвенное обязательство судить их «истинным, праведным судом», по закону, а не по усмотрению. В изложении записи это условие несколько расчленено. Дела о наиболее тяжких преступлениях, караемых смертью и конфискацией имущества преступника, царь обязуется вершить непременно «с бояры своими», т. е. с Думой, и при этом отказывается от права конфисковать имущество у братьи и семьи преступника, не участвовавших в преступлении. Вслед за тем царь продолжает: «Да и доводов (доносов) ложных мне не слушать, а сыскивать всякими сысками накрепко и ставить с очей на очи», а за ложный донос по сыску наказывать, смотря по вине, взведенной на оболганного. Здесь речь идет как будто о

деяниях менее преступных, которые разбирались одним царем, без Думы, и точнее определяется понятие истинного суда. Так, запись, по-видимому, различает два вида высшего суда: царя с Думой и единоличный суд царя. Запись оканчивается условием особого рода: царь обязуется «без вины опалы своей не класти». Опала, немилость государя, падала на служилых людей, которые чем-либо вызывали его недовольство. Она сопровождалась соответственными неисправности опального или государеву недовольству служебными лишениями, временным удалением от двора, «пресветлых очей» государя, понижением чина или должности, даже имущественной карой, отобранием поместья или городского подворья. Здесь государь действовал уже не судебной, а дисциплинарной властью, охраняющей интересы и порядок службы. Как выражение хозяйской воли государя, опала не нуждалась в оправдании и, при старомосковском уровне человечности, подчас принимала формы дикого произвола, превращаясь из дисциплинарной меры в уголовную кару: при Грозном одно сомнение в преданности долгу службы могло привести опального на плаху.

Царь Василий дал смелый обет, которого потом, конечно, не исполнил, опаляться только за дело, за вину, а для разыскания вины необходимо было установить особое дисциплинарное производство.

Характер и происхождение подкрестной записи. Запись, как видите, очень односторонняя. Все обязательства, принятые на себя царем Василием по этой записи, направлены были исключительно к ограждению личной и имущественной безопасности подданных от произвола сверху. Но они не касались прямо общих оснований государственного порядка, не изменяли и даже не определяли точнее значения, компетенции и взаимного отношения царя и высших правительственных учреждений. Царская власть ограничивалась советом бояр, вместе с которым она действовала и прежде; но это ограничение связывало царя лишь в судных делах, в отношении к отдельным лицам. Впрочем, происхождение подкрестной записи было сложнее ее содержания: она имела свою закулисную историю.

Б. Чориков. **Царь Василий Шуйский вступает в монашество**

Летописец рассказывает, что царь Василий, тотчас по своем провозглашении, пошел в Успенский собор и начал там говорить, чего искони веков в Московском государстве не важивалось: «Целую крест всей земле на том, что мне ни над кем ничего не делати без собору, никакого дурна». Бояре и всякие люди говорили царю, чтобы он на том креста не целовал, потому что в Московском государстве того не повелось; но он никого не послушал. Поступок Василия показался боярам революционной выходкой. Царь призывал к участию в своей царской судной расправе не Боярскую думу, исконную сотрудницу государей в делах суда и управления, а Земский собор, недавнее учреждение, изредка созываемое для обсуждения чрезвычайных вопросов государственной жизни. В этой выходке увидели небывалую новизну, попытку поставить Собор на место Думы, переместить центр тяжести государственной жизни из боярской среды в народное представительство. Править с Земским собором решался царь, побоявшийся воцариться с его помощью.

Но и царь Василий знал, что делал. Обязавшись пред товарищами накануне восстания против Самозванца править «по общему совету» с ними, подкинутый земле кружком знатных бояр, он являлся царем боярским, партийным, вынужденным смотреть из чужих рук. Он, естественно, искал земской опоры для своей некорректной власти и в Земском соборе надеялся найти противовес Боярской думе. Клятвенно обязуясь перед всей землей не карать без собора, он рассчитывал избавиться от боярской опеки, стать земским царем и ограничить свою власть учреждением, к тому непривычным, т. е. освободить ее от всякого действительного ограничения.

Подкрестная запись в том виде, как она была обнародована, является плодом сделки царя с боярами. По предварительному негласному уговору царь делил свою власть с боярами во всех делах законодательства, управления и суда. Отстояв свою Думу против Земского собора, бояре не настаивали на обнародовании всех вынужденных ими у царя уступок: с их стороны было даже неблагоразумно являть всему обществу, как чисто удалось им ощипать своего старого петуха. Подкрестная запись усиленно отмечала значение Боярской думы только как полномочной сотрудницы царя в делах высшего суда. В то время высшему боярству только это и было нужно. Как правительственный класс, оно делило власть с государями в продолжение всего XVI в.; но отдельные лица из его среды много терпели от произвола верховной власти при царях Иване и Борисе.

Теперь, пользуясь случаем, боярство и спешило устранить этот произвол, оградить частные лица, т. е. самих себя, от повторения испытанных бедствий, обязав царя призывать к участию в политическом суде Боярскую думу, в уверенности, что правительственная власть и впредь останется в его руках в силу обычая.

Политическое значение подкрестной записи. При всей неполноте своей, подкрестная запись царя Василия есть новый, дотоле небывалый акт в московском государственном праве. Это – первый опыт построения государственного порядка на основе формально ограниченной верховной власти. В состав этой власти вводился элемент, или, точнее, акт, совершенно изменявший ее характер и постановку. Мало того, что царь Василий ограничивал свою власть: крестной клятвой он еще скреплял ее ограничение и являлся не только выборным, но и присяжным царем. Присяга отрицала в самом существе личную власть царя прежней династии, сложившуюся из удельных отношений государя-хозяина: разве домохозяева присягают своим слугам и постояльцам?

Вместе с тем царь Василий отказывался от трех прерогатив, в которых наиболее явственно выражалась эта личная власть царя. То были: 1) «опала без вины», царская немилость без достаточного повода, по личному усмотрению; 2) конфискация имущества у непричастной к преступлению семьи и родни преступника – отказом от этого права упразднялся старинный институт политической ответственности рода за родичей; 3)чрезвычайный следственно-полицейский суд по доносам, с пытками и оговорами, но без очных ставок, свидетельских показаний и других средств нормального процесса.

Эти прерогативы составляли существенное содержание власти московского государя, выраженное изречениями деда и внука, словами Ивана III: «кому хочу, тому и дам княжение», и словами Ивана IV: «жаловать своих холопей вольны мы, и казнить их вольны же». Клятвенно стряхивая с себя эти прерогативы, Василий Шуйский превращался из государя холопов в правомерного царя подданных, правящего по законам.

Лжедмитрий II

Лжедмитрий II (Вор).
С изображения конца XVII в.

Второй слой правящего класса вступает в Смуту. Но боярство, как правительственный класс, в продолжение Смуты не действовало единодушно, раскололось на два слоя: от первостепенной знати заметно отделяется среднее боярство, к которому примыкают столичное дворянство и приказные дельцы, дьяки. Этот второй слой правящего класса деятельно вмешивается в Смуту с воцарением Василия. Среди него и выработался другой план государственного устройства, тоже основанный на ограничении верховной власти, но гораздо шире захватывавший политические отношения сравнительно с подкрестной записью царя Василия. Акт, в котором изложен этот план, составлен был при следующих обстоятельствах.

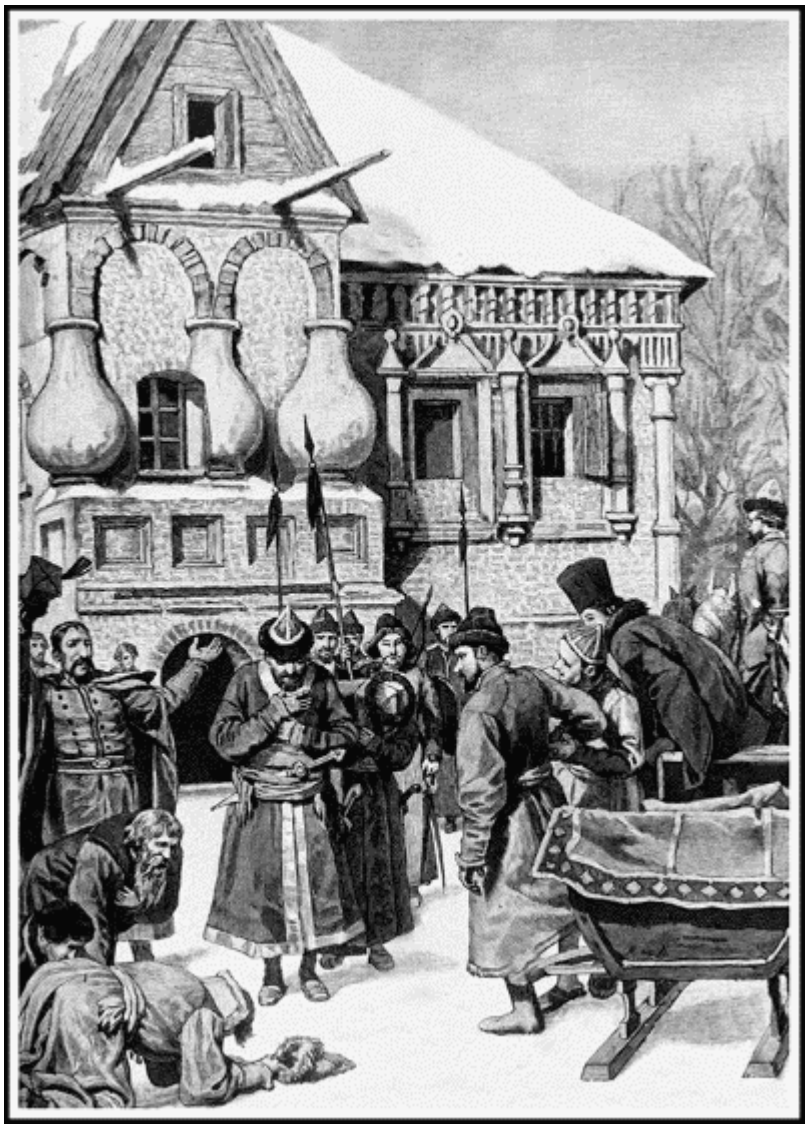
Царем Василием мало кто был доволен. Главными причинами недовольства были некорректный путь В. Шуйского к

престолу и его зависимость от кружка бояр, его избравших и игравших им как ребенком, по выражению современника. Недовольны наличным царем – стало быть, надобен самозванец: самозванство становилось стереотипной формой русского политического мышления, в которую отливалось всякое общественное недовольство. И слухи о спасении Лжедмитрия I, т. е. о втором самозванце, пошли с первых минут царствования Василия, когда второго Лжедмитрия еще не было и в заводе. Во имя этого призрака уже в 1606 г. поднялись против Василия Северская земля и заокские города с Путивлем, Тулой и Рязанью во главе. Мятежники, пораженные под Москвой царскими войсками, укрылись в Туле и оттуда обратились к пану Мнишку в его мастерскую русского самозванства с просьбой выслать им какого ни на есть человека с именем царевича Дмитрия.

Лжедмитрий II, наконец, нашелся и, усиленный польско-литовскими и казацкими отрядами, летом 1608 г. стоял в подмосковном селе Тушине, подводя под свою воровскую руку самую сердцевину Московского государства, междуречье Оки – Волги. Международные отношения еще более осложнили ход московских дел. Стоит вспомнить о вражде, шедшей тогда между Швецией и Польшей из-за того, что у выборного короля Польского Сигизмунда III отнял наследственный шведский престол его дядя Карл IX. Так как второго самозванца хотя и негласно, но довольно явно поддерживало польское правительство, то царь Василий обратился за помощью против тушинцев к Карлу IX. Переговоры, веденные племянником царя князем Скопиным-Шуйским, окончились посылкой вспомогательного шведского отряда под начальством генерала Делагарди, за что царь Василий принужден был заключить вечный союз со Швецией против Польши и пойти на другие тяжкие уступки. На такой прямой вызов Сигизмунд отвечал открытым разрывом с Москвой и осенью 1609 г. осадил Смоленск.

В тушинском лагере у Самозванца служило много поляков под главным начальством князя Рожинского, который был гетманом в тушинском стане. Презираемый и оскорбляемый своими польскими союзниками, царек в мужицком платье и на навозных санях едва ускользнул в Калугу из-под бдительного надзора, под каким его держали в Тушине. После того Рожинский вступил в соглашение с королем, который звал его поляков к себе под Смоленск. Русские тушинцы вынуждены были последовать их примеру и выбрали послов для переговоров с Сигизмундом об избрании его сына Владислава на московский престол. Посольство состояло из боярина М. Г. Салтыкова, из нескольких дворян столичных чинов и из полудюжины крупных дьяков

московских приказов. В этом посольстве не встречаем ни одного ярко знатного имени. Но в большинстве это были люди не худых родов.



Н. Дмитриев-Оренбургский.

Прибытие второго Самозванца (Тушинского вора) в Калугу после бегства из Тушина

Заброшенные личным честолюбием или общей смутой в бунтовской полурусский-полупольский тушинский стан, они, однако, взяли на себя роль представителей Московского государства Русской земли. Это была с их стороны узурпация, не дававшая им никакого права на земское признание их фиктивных

полномочий. Но это не лишает их дела исторического значения. Общение с поляками, знакомство с их вольнолюбивыми понятиями и нравами расширило политический кругозор этих русских авантюристов, и они поставили королю условием избрания его сына в цари не только сохранение древних прав и вольностей московского народа, но и прибавку новых, какими этот народ еще не пользовался. Но это же общение, соблазняя москвичей зрелищем чужой свободы, обостряло в них чувство религиозных и национальных опасностей, какие она несла с собою: Салтыков заплакал, когда говорил перед королем о сохранении православия. Это двойственное побуждение сказалось в предосторожностях, какими тушинские послы старались обезопасить свое отечество от призываемой со стороны власти, иноверной и иноплеменной.

Царь Михаил Романов

Благочестивый Государь, Царь и Великий Князь Михаил Феодорович, всея великия России Самодержец.

С прижизненного изображения

Выборный царь. Пришлось выбирать царя Земским собором. Но соборное избрание по самой новизне дела не считалось достаточным оправданием новой государственной власти, вызывало сомнения, тревогу. Соборное определение об избрании Бориса Годунова предвидит возражение людей, которые скажут про избирателей: «Отделимся от них, потому что они сами себе поставили царя». Кто скажет такое слово, того соборный акт называет неразумным и проклятым.

В одном очень распространенном памфлете 1611 г. рассказывается, как автору его в чудесном видении было поведано, что сам Господь укажет, кому владеть Российским государством. Если же поставят царя по своей воле, «навеки не будет царь». В продолжение всей Смуты не могли освоиться с мыслью о выборном царе. Думали, что выборный царь – не царь. Настоящим, законным царем может быть только прирожденный, наследственный государь из потомства Калиты, и выборного царя старались пристроить к этому племени всякими способами, юридическим вымыслом, генеалогической натяжкой, риторическим преувеличением.

Бориса Годунова, по его избрании, духовенство и народ торжественно приветствовали как наследственного царя, «здравствоваша ему на его государеве вотчине», а Василий Шуйский, формально ограничивший свою власть, в официальных актах писался «самодержцем», как титуловались природные московские государи. При такой неподатливости мышления в руководящих кругах появление выборного царя на престоле должно было представляться народной массе не следствием политической необходимости, хотя и печальной, а чем-то похожим на нарушение законов природы: выборный царь был для нее такой же несообразностью, как выборный отец, выборная мать. Вот почему в понятие об «истинном» царе простые умы не могли, не умели уложить ни Бориса Годунова, ни Василия Шуйского, а тем паче польского королевича Владислава. В них видели узурпаторов, тогда как один призрак природного царя в лице пройдохи неведомого происхождения успокаивал династически-легитимные совести и располагал к доверию.

Смута и прекратилась только тогда, когда удалось найти царя, которого можно было связать родством, хотя и не прямым, с угасшей династией. Царь Михаил утвердился на престоле не столько потому, что был земским всенародным избранником, сколько потому, что доводился племянником последнему царю прежней династии. Сомнение в народном избрании, как в достаточно правомерном источнике верховной власти, было немаловажным условием, питавшим Смуту, а это сомнение вытекало из укоренившегося в умах убеждения, что таким источником должно быть только вотчинное преемство в известной династии.

Потому это неуменье освоиться с идеей выборного царя можно признать производной причиной Смуты, вышедшей из только что изложенной основной.

Избрание. Вожди земского и казацкого ополчения, князья Пожарский и Трубецкой, разослали по всем городам государства

повестки, призывавшие в столицу духовные власти и выборных людей из всех чинов для земского совета и государского избрания. В самом начале 1613 г. стали съезжаться в Москву выборные всей земли. Мы потом увидим, что это был первый, бесспорно всесословный, Земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей. Когда выборные съехались, был назначен трехдневный пост, которым представители Русской земли хотели очиститься от грехов Смуты перед совершением такого важного дела.

По окончании поста начались совещания. Первый вопрос, поставленный на соборе, выбирать ли царя из иноземных королевских домов, решили отрицательно, приговорили: ни польского, ни шведского королевича, ни иных немецких вер и ни из каких неправославных государств на Московское государство не выбирать, как и «Маринкина сына». Этот приговор разрушал замыслы сторонников королевича Владислава. Но выбрать и своего природного русского государя было нелегко. Памятники, близкие к тому времени, изображают ход этого дела на соборе не светлыми красками. Единомыслия не оказалось. Было большое волнение; каждый хотел по своей мысли делать, каждый говорил за своего; одни предлагали того, другие этого, все разноречили; придумывали, кого бы выбрать, перебирали великие роды, но ни на ком не могли согласиться и так потеряли немало дней. Многие вельможи и даже невельможи подкупали избирателей, засылали с подарками и обещаниями.

По избрании Михаила соборная депутация, просившая инокиню-мать благословить сына на царство, на упрек ее, что московские люди «измалодушествовались», отвечала, что теперь они «наказались», проучены, образумились и пришли в соединение. Соборные происки, козни и раздоры совсем не оправдывали благодушного уверения соборных послов. Собор распался на партии между великородными искателями, из которых более поздние известия называют князей Голицына, Мстиславского, Воротынского, Трубецкого, М. Ф. Романова. Сам, скромный по отечеству и характеру, князь Пожарский тоже, говорили, искал престола и потратил немало денег на происки. Наиболее серьезный кандидат по способностям и знатности, князь В. В. Голицын, был в польском плену, князь Мстиславский отказывался; из остальных выбирать было некого.

Московское государство выходило из страшной Смуты без героев; его выводили из беды добрые, но посредственные люди. Князь Пожарский был не Борис Годунов, а Михаил Романов – не князь Скопин-Шуйский. При недостатке настоящих сил, дело решалось предрассудком и интригой. В то время как собор

разбивался на партии, не зная, кого выбрать, в него вдруг пошли одно за другим «писания», петиции за Михаила от дворян, больших купцов, от городов Северской земли и даже от казаков; последние и решили дело. Видя слабосилие дворянской рати, казаки буйствовали в освобожденной ими Москве, делали, что хотели, не стесняясь временным правительством Трубецкого, Пожарского и Минина. Но в деле царского избрания они заявили себя патриотами, решительно восстали против царя из чужеземцев. Они намечали, «примеривали» настоящих русских кандидатов: ребенка, сына Вора тушинского, и Михаила Романова, отец которого Филарет был ставленник обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого и провозглашен патриархом в подмосковном лагере второго. Главная опора самозванства, казачество, естественно, хотело видеть на престоле московском или сына своего тушинского царя, или сына своего тушинского патриарха. Впрочем, сын Вора был поставлен на конкурс несерьезно, больше из казацкого приличия, и казаки не настаивали на этом кандидате, когда Земский собор отверг его.

Сам по себе и Михаил, 16-летний мальчик, ничем не выдававшийся, мог иметь мало видов на престол, и, однако, на нем сошлись такие враждебные друг другу силы, как дворянство и казачество. Это неожиданное согласие отразилось и на соборе. В самый разгар борьбы партий какой-то дворянин из Галича, откуда производили первого самозванца, подал на соборе письменное мнение, в котором заявлял, что ближе всех по родству к прежним царям стоит М. Ф. Романов, а потому его и надобно выбрать в цари. Против Михаила были многие члены собора, хотя он давно считался кандидатом и на него указывал еще патриарх Гермоген, как на желательного преемника царя В. Шуйского. Письменное мнение галицкого городового дворянина раздражило многих. Раздались сердитые голоса: кто принес такое писание, откуда? В это время из рядов выборных выделился донской атаман и, подошедши к столу, также положил на него писание. «Какое это писание ты подал, атаман?» – спросил его князь Д. М. Пожарский. «О природном царе Михаиле Федоровиче», – отвечал атаман. Этот атаман будто бы и решил дело. «Прочетше писание атаманское и бысть у всех согласен и единомыслен совет», – как пишет один бытописатель.

А. Кившенко. **Избрание Михаила Федоровича на царство**

Царь Михаил Феодорович

Михаила провозгласили царем. Но это было лишь предварительное избрание, только наметившее соборного кандидата. Окончательное решение предоставили непосредственно всей земле. Тайно разослали по городам верных людей выведать мнение народа, кого хотят государем на Московское государство. Народ оказался уже достаточно подготовленным. Посланные возвратились с донесением, что у всех людей, от мала и до велика, та же мысль: быть государем М.

Ф. Романову, а опричь его никак никого на государство не хотеть. Это секретно-полицейское дознание, соединенное, может быть, с агитацией, стало для собора своего рода избирательным плебисцитом.

В торжественный день, в Неделю православия, первое воскресенье Великого поста, 21февраля 1613 г., были назначены окончательные выборы. Каждый чин подавал особое письменное мнение, и во всех мнениях значилось одно имя – Михаила Федоровича. Тогда несколько духовных лиц вместе с боярином посланы были на Красную площадь, и не успели они с Лобного места спросить собравшийся во множестве народ, кого хотят в царя, как все закричали: «Михаила Федоровича!».

Романовы. Так соборное избрание Михаила было подготовлено и поддержано на соборе и в народе целым рядом вспомогательных средств: предвыборной агитацией с участием многочисленной родни Романовых, давлением казацкой силы, негласным дознанием в народе, выкриком столичной толпы на Красной площади. Но все эти избирательные приемы имели успех потому, что нашли опору в отношении общества к фамилии. Михаила вынесла не личная или агитационная, а фамильная популярность. Он принадлежал к боярской фамилии, едва ли не самой любимой тогда в московском обществе.

Романовы – недавно обособившаяся ветвь старинного боярского рода Кошкиных. Давно, еще при великом князе Иване Даниловиче Калите, выехал в Москву из «Прусския земли», как гласит родословная, знатный человек, которого в Москве прозвали Андреем Ивановичем Кобылой. Он стал видным боярином при Московском дворе. От пятого сына его, Федора Кошки, и пошел «Кошкин род», как он зовется в наших летописях. Кошкины блистали при Московском дворе в XIV и XV вв. Это была единственная нетитулованная боярская фамилия, которая не потонула в потоке новых титулованных слуг, нахлынувших к московскому двору с половины XV в. Среди князей Шуйских, Воротынских, Мстиславских Кошкины умели удержаться в первом ряду боярства. В начале XVI в. видное место при дворе занимал боярин Роман Юрьевич Захарьин, шедший от Кошкина внука Захария. Он и стал родоначальником новой ветви этой фамилии – Романовых. Сын Романа Никита, родной брат царицы Анастасии, – единственный московский боярин XVI в., оставивший на себе добрую память в народе: его имя запомнила народная былина, изображая его в своих песнях о Грозном благодушным посредником между народом и сердитым царем.

Из шести сыновей Никиты особенно выдавался старший, Федор. Это был очень добрый и ласковый боярин, щеголь и очень

любознательный человек. Англичанин Горсей, живший тогда в Москве, рассказывает в своих записках, что этот боярин непременно хотел выучиться по-латыни, и по его просьбе Горсей составил для него «Латинскую грамматику», написав в ней латинские слова русскими литерами. Популярность Романовых, приобретенная личными их качествами, несомненно, усилилась от гонения, какому подверглись Никитичи при подозрительном Годунове. А. Палицын даже ставит это гонение в число тех грехов, за которые Бог покарал землю Русскую Смутой. Вражда с царем Василием и связи с Тушином доставили Романовым покровительство и второго Лжедимитрия и популярность в казацких таборах. Так двусмысленное поведение фамилии в смутные годы подготовило Михаилу двустороннюю поддержку, и в земстве и в казачестве.

Но всего больше помогла Михаилу на соборных выборах родственная связь Романовых с прежней династией. В продолжение Смуты русский народ столько раз неудачно выбирал новых царей, и теперь только то избрание казалось ему прочно, которое падало на лицо, хотя как-нибудь связанное с прежним царским домом. В царе Михаиле видели не соборного избранника, а племянника царя Федора, природного, наследственного царя. Современный хронограф прямо говорит, что Михаила просили на царство «сродственного его ради союза царских искр». Недаром Авраамий Палицын зовет Михаила «избранным от Бога прежде его рождения», а дьяк И. Тимофеев в непрерывной цепи наследственных царей ставил Михаила прямо после Федора Ивановича, игнорируя и Годунова, и Шуйского, и всех самозванцев. И сам царь Михаил в своих грамотах обычно называл Грозного своим дедом.

Трудно сказать, насколько помог избранию Михаила ходивший тогда слух, будто царь Федор, умирая, устно завещал престол своему двоюродному брату Федору, отцу Михаила. Но бояр, руководивших выборами, должно было склонять в пользу Михаила еще одно удобство, к которому они не могли быть равнодушны. Есть известие, будто бы Ф. И. Шереметев писал в Польшу князю Голицыну: «Миша-де Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден». Шереметев, конечно, знал, что престол не лишит Михаила способности зреть и молодость его не будет перманентна. Но другие качества обещали показать, что племянник будет второй дядя, напоминая его умственной и физической хилостью, выйдет добрым, кротким царем, при котором не повторятся испытания, пережитые боярством в царствование Грозного и Бориса. Хотели выбрать не способнейшего, а удобнейшего. Так явился родоначальник новой

династии, положивший конец Смуте.

Герб бояр Романовых.

Посередине герба – красный гриф (полуорел, полулев) на серебряном поле.

Герб этот, представляющий герб Ливонии с обратными цветами (серебряный гриф на красном поле), стал семейным гербом Романовых после блестящих побед, одержанных Никитой Романовичем Захарьиным (братом царицы Анастасии) в Ливонии, согласно обычаю, установившемуся на Западе, по которому зачастую победители брали себе гербы побежденных

Царь Алексей Михайлович

Царь и великий князь Алексей Михайлович

Нам остается взглянуть на людей, стоявших во главе русского общества XVII в. Это необходимо для полноты наблюдения. Из противоположных течений, волновавших русское общество, одно отталкивало его к старине, а другое увлекало вперед, в темную

даль неведомой чужбины. Эти противоположные влияния рождали и распространяли в обществе смутные чувства и настроения. Но в отдельных людях, становившихся впереди общества, эти чувства и стремления уяснялись, превращались в сознательные идеи и становились практическими задачами. Притом такие представительные, типические лица помогут нам полнее изучить состав жизни, их воспитавшей. В таких лицах цельно собирались и выпукло проступали такие интересы и свойства их среды, которые терялись в ежедневном обиходе, спорадически бродя по заурядным людям, разбросанными и бессильными случайностями. Я остановлю ваше внимание только на немногих людях, шедших во главе преобразовательного движения, которым подготовлялось дело Петра. В их идеях и в задачах, ими поставленных, всего явственнее обнаруживаются существенные результаты этой подготовки. То были идеи и задачи, которые прямо вошли в преобразовательную программу Петра как завет его предшественников.

Первое место между этими предшественниками принадлежит, бесспорно, отцу преобразователя. В этом лице отразился первый момент преобразовательного движения, когда вожди его еще не думали разрывать со своим прошлым и ломать существующее. Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении.

Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины. Это было у нас единственное поколение, так думавшее: так не думали прежде и перестали думать потом. Люди прежних поколений боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которым не хотели расставаться, как со святыней; после у нас стали охотно пренебрегать этим заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у Запада. Царь Алексей и его сверстники не менее предков дорожили своей православной стариной. Но некоторое время они были уверены, что можно щеголять в немецком кафтане, даже смотреть на иноземную потеху, «комедийное действо», и при этом сохранить в неприкосновенности те чувства и понятия, какие необходимы, чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить пост в Крещенский сочельник до звезды.

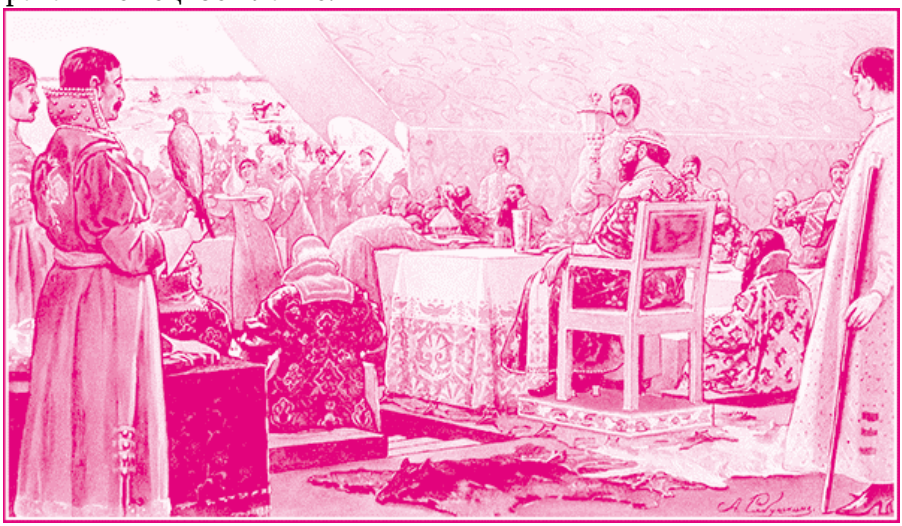
Царь Алексей родился в 1629 г. Он прошел полный курс древнерусского образования, или словесного учения, как тогда говорили. По заведенному порядку тогдашней педагогики, на шестом году его посадили за букварь, нарочно для него составленный патриаршим дьяком по заказу дедушки, патриарха Филарета. Это был известный древнерусский букварь с титлами, заповедями, кратким катехизисом и т. д.

Учил царевича, как это было принято при Московском дворе, дьяк одного из московских приказов. Через год перешли от азбуки к чтению Часовника, месяцев через пять – к Псалтырю, еще через три принялись изучать Деяния апостолов, через полгода стали учить писать, на девятом году певчий дьяк, т. е. регент дворцового хора, начал разучивать Охтой (Октоих), нотную богослужебную книгу, от которой месяцев через восемь перешли к изучению «страшного пения», т. е. церковных песнопений Страстной седмицы, особенно трудных по своему напеву. И лет десяти царевич был готов, прошел весь курс древнерусского гимназического образования. Он мог бойко прочесть в церкви Часы и не без успеха петь с дьячком на клиросе по крюковым нотам стихиры и каноны. При этом он до мельчайших подробностей изучил чин церковного богослужения, в чем мог поспорить с любым монастырским и даже соборным уставщиком. Царевич прежнего времени, вероятно, на этом бы и остановился.

Но Алексей воспитывался в иное время, у людей которого настойчиво стучалась в голову смутная потребность ступить дальше, в таинственную область эллинской и даже латинской мудрости, мимо которой, боязливо чураясь и крестясь, пробегал благочестивый русский грамотей прежних веков. Немец со своими нововымышленными хитростями, уже забравшийся в ряды русских ратных людей, проникал и в детскую комнату государева дворца. В руках ребенка Алексея была уже «потеха», конь немецкой работы и немецкие «карты», картинки, купленные в Овощном ряду за 3 алтына 4 деньги (рубля полтора на наши деньги), и даже детские латы, сделанные для царевича мастером-немчином Петром Шальтом.

Когда царевичу было лет 11–12, он обладал уже маленькой библиотекой, составившейся преимущественно из подарков дедушки, дядек и учителя, заключавшей в себе томов 13. Большею частью это были книги Священного Писания и богослужебные; но между ними находились уже «Грамматика», печатанная в Литве, «Космография» и в Литве же изданный какой-то «Лексикон». К тому же главным воспитателем царевича был боярин Б. И. Морозов, один из первых русских бояр, сильно пристрастившийся к западноевропейскому. Он ввел в учебную

программу царевича прием наглядного обучения, знакомил его с некоторыми предметами посредством немецких гравированных картинок; он же ввел и другую, еще более смелую новизну в московский государев дворец – одел цесаревича Алексея и его брата в немецкое платье.



А. Рябушкин. **Пир царя Алексея Михайловича с ближними боярами в отъезжем поле.** *1897 г.*

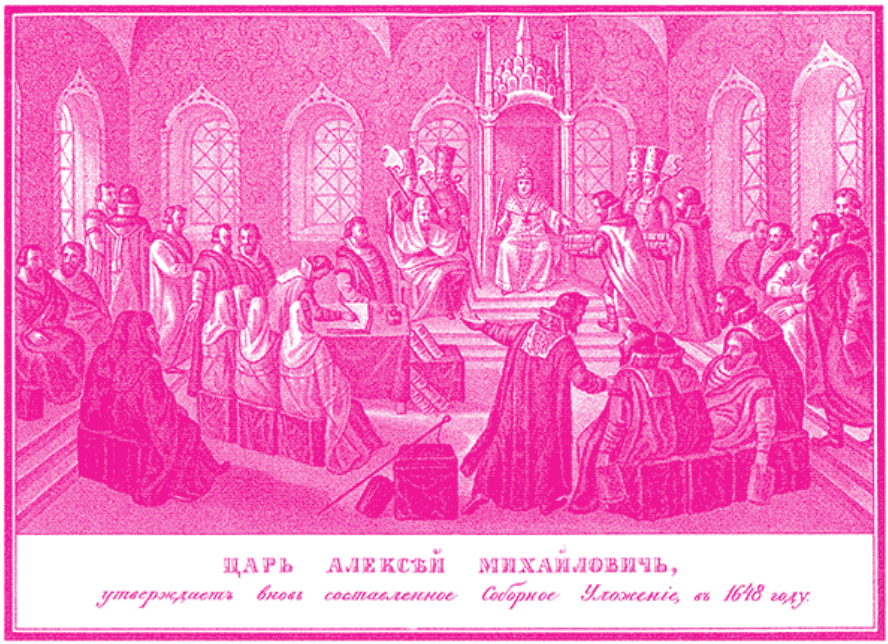
В зрелые годы царь Алексей представлял в высшей степени привлекательное сочетание добрых свойств верного старине древнерусского человека с наклонностью к полезным и приятным новшествам. Он был образцом набожности, того чинного, точно размеренного и твердо разученного благочестия, над которым так много и долго работало религиозное чувство Древней Руси. С любым иноком мог он поспорить в искусстве молиться и поститься. В Великий и Успенский пост, по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам, царь кушал раз в день, и кушанье его состояло из капусты, груздей и ягод – все без масла; по понедельникам, средам и пятницам во все посты он не ел и не пил ничего. В церкви он стоял иногда часов по пяти и по шести сряду, клал по тысяче земных поклонов, а в иные дни и по полторы тысячи. Это был истовый древнерусский богомолец, стройно и цельно соединявший в подвиге душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства. Эта набожность оказывала могущественное влияние и на государственные понятия, и на житейские отношения Алексея.

Сын и преемник царя, пользовавшегося ограниченною властью, но сам вполне самодержавный властелин, царь Алексей крепко держался того выспреннего взгляда на царскую власть, какой выработало старое московское общество. Предание

Грозного звучит в словах царя Алексея: «Бог благословил и предал нам, государю, править и рассуждать люди своя на востоке и на западе, и на юге и на севере вправду». Но сознание самодержавной власти в своих проявлениях смягчалось набожной кротостью, глубоким смирением царя, пытавшегося не забыть в себе человека.

В царе Алексее нет и тени самонадеянности, того щекотливого и мнительного, обидчивого властолюбия, которым страдал Грозный. «Лучше слезами, усердием и низостью (смирением) перед Богом промысел чинить, чем силой и славой (надменностью)», – писал он одному из своих воевод. Это соединение власти и кротости помогало царю ладить с боярами, которым он, при своем самодержавии, уступал широкое участие в управлении. Делиться с ними властью, действовать с ними об руку было для него привычкой и правилом, а не жертвой или досадной уступкой обстоятельствам. «А мы, великий государь, – писал он князю Никите Одоевскому в 1652 г., – ежедневно просим у Создателя и у Пречистой Его Богоматери и у всех святых, чтобы Господь Бог даровал нам, великому государю, и вам, боярам, с нами единодушно люди Его световы управить вправду всем ровно».

Сохранилась весьма характерная в своем роде записочка царя Алексея, коротенький конспект того, о чем предполагалось говорить на заседании Боярской думы. Этот документ показывает, как царь готовился к думским заседаниям: он не только записал, какие вопросы предложить на обсуждение бояр, но и наметил, о чем говорить самому, как решить тот или другой вопрос. Кое о чем он навел справки, записал цифры. Об ином он еще не составил мнения, и не знает, как выскажутся бояре. О другом он имеет нерешительное мнение, от которого откажется, если станут возражать. Зато по некоторым вопросам он составил твердое суждение и будет упорно за него стоять в совете: это именно вопросы простой справедливости и служебной добросовестности.



Б. Чориков. **Царь Алексей Михайлович утверждает вновь составленное Соборное Уложение в 1648 г.**

Астраханский воевода, по слухам, уступил калмыкам православных пленников, ими захваченных. Царь решил написать ему «с грозою и с милостию», а если слух оправдается, казнить его смертью или, по меньшей мере, отсечь руку и сослать в Сибирь. Эта записочка всего нагляднее рисует простоту и прямоту отношений царя к своим советникам, равно и внимательность к своим правительственным обязанностям.

Общественные нравы и понятия в иных случаях перемогали добрые свойства и влечения царя. Властный человек в Древней Руси так легко забывал, что он не единственный человек на свете, и не замечал рубежа, до которого простирается его воля и за которым начинаются чужое право и общеобязательное приличие. Древнерусская набожность имела довольно ограниченное поле действия, поддерживала религиозное чувство, но слабо сдерживала волю. От природы живой, впечатлительный и подвижный, Алексей страдал вспыльчивостью, легко терял самообладание и давал излишний простор языку и рукам. Однажды, в пору уже натянутых отношений к Никону, царь, возмущаемый высокомерием патриарха, из-за церковного обряда поссорился с ним в церкви в Великую пятницу и выбранил его обычной тогда бранью московских сильных людей, не исключая и самого патриарха, обозвав Никона «мужиком, сыном».

В другой раз, в любимом своем монастыре Саввы

Сторожевского, который он недавно отстроил, царь праздновал память святого основателя монастыря и обновление обители в присутствии патриарха Антиохийского Макария. На торжественной заутрене чтец начал чтение из Жития святого обычным возгласом: «Благослови, отче!» Царь вскочил с кресла и закричал: «Что ты говоришь, мужик, сын: “Благослови, отче”? Тут патриарх; говори: “Благослови, владыко!”» В продолжение службы царь ходил среди монахов и учил их читать то-то, петь так-то. Если они ошибались, с бранью поправлял их, вел себя уставщиком и церковным старостой. Он зажигал и гасил свечи, снимал с них нагар, во время службы не переставал разговаривать со стоявшим рядом приезжим патриархом, был в храме, как дома, как будто на него никто не смотрел.

Ни доброта природы, ни мысль о достоинстве сана, ни усилия быть набожным и порядочным ни на вершок не поднимали царя выше грубейшего из его подданных. Религиозно-нравственное чувство разбивалось о неблаговоспитанный темперамент, и даже добрые движения души получали непристойное выражение. Вспыльчивость царя чаще всего возбуждалась встречей с нравственным безобразием, особенно с поступками, в которых обнаруживались хвастовство и надменность. Кто на похвальбе ходит, всегда посрамлен бывает: таково было житейское наблюдение царя. В 1660 г. князь Хованский был разбит в Литве и потерял почти всю свою двадцатитысячную армию. Царь спрашивал в Думе бояр, что делать. Боярин И. Д. Милославский, тесть царя, не бывавший в походах, неожиданно заявил, что если государь пожалует его, даст ему начальство над войском, то он скоро приведет пленником самого короля Польского. «Как ты смеешь, – закричал на него царь, – ты, страдник, худой человечишка, хвастаться своим искусством в деле ратном! Когда ты ходил с полками, какие победы показал над неприятелем?» Говоря это, царь вскочил, дал старику пощечину, надрал ему бороду и, пинками вытолкнув его из палаты, с силой захлопнул за ним двери. На хвастуна или озорника царь вспылит, пожалуй, даже пустит в дело кулаки, если виноватый под руками, и уж непременно обругает вволю. Алексей был мастер браниться тою изысканною бранью, какой умеет браниться только негодующее и незлопамятное русское добродушие.

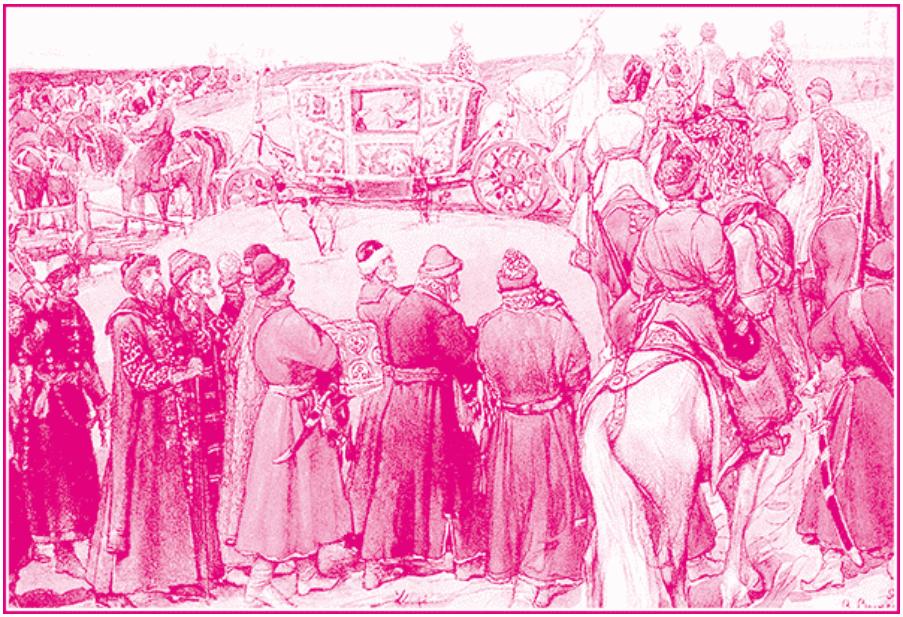
Казначей Саввина Сторожевского монастыря, отец Никита, выпивши, подрался со стрельцами, стоявшими в монастыре, прибил их десятника (офицера) и велел выбросить за монастырский двор стрелецкое оружие и платье. Царь возмутился этим поступком, «до слез ему стало, во мгле ходил», по его собственному признанию. Он не утерпел и написал грозное

письмо буйному монаху. Характерен самый адрес послания: «От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Русии – врагу Божию и богоненавистцу и христопродавцу и разорителю чудотворцева дому и единомысленнику сатанину, врагу проклятому, ненадобному шпыню и злому пронырливому злодею казначею Миките». Но прилив царственного гнева разбивался о мысль, никогда не покидавшую царя, что на земле никто не безгрешен перед Богом, что на Его суде все равны, и цари и подданные: в минуты сильнейшего раздражения Алексей ни в себе, ни в виноватом подданном старался не забыть человека. «Да и то себе ведай, сатанин ангел, – писал царь в письме к казначею, – что одному тебе да отцу твоему диаволу годна и дорога твоя здешняя честь, а мне, грешному, здешняя честь, аки прах, и дороги ли мы перед Богом с тобою и дороги ли наши высокосердечные мысли, доколе Бога не боимся». Самодержавный государь, который мог сдуть с лица земли отца Микиту, как пылинку, пишет далее, что он сам со слезами будет милости просить у чудотворца преподобного Саввы, чтобы оборонил его от злонравного казначея. «На оном веке рассудит нас Бог с тобою, а опричь того мне нечем от тебя оборониться». При доброте и мягкости характера, это уважение к человеческому достоинству в подданном производило обаятельное действие на своих и чужих, и заслужило Алексею прозвание «тишайшего царя».

Иностранцы не могли надивиться тому, что этот царь, при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, не посягнул «ни на чье имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь» (слова австрийского посла Мейерберга). Дурные поступки других тяжело действовали на него, всего более потому, что возлагали на него противную ему обязанность наказывать за них. Гнев его был отходчив, проходил минутной вспышкой, не простираясь далее угроз и пинков, и царь первый шел навстречу к потерпевшему с прощением и примирением, стараясь приласкать его, чтобы не сердился. Страдая тучностью, царь раз позвал немецкого «дохтура» открыть себе кровь. Почувствовав облегчение, он, по привычке делиться всяким удовольствием с другими, предложил и своим вельможам сделать ту же операцию. Не согласился на это один боярин Стрешнев, родственник царя по матери, ссылаясь на свою старость. Царь вспылил и прибил старика, приговаривая: «Твоя кровь дороже, что ли, моей? Или ты считаешь себя лучше всех?» Но скоро царь и не знал, как задобрить обиженного, какие подарки послать ему, чтобы не сердился, забыл обиду.

Алексей любил, чтобы вокруг него все были веселы и довольны. Всего невыносимее была ему мысль, что кто-нибудь им

недоволен, ропщет на него, что он кого-нибудь стесняет. Он первый начал ослаблять строгость заведенного при Московском дворе чопорного этикета, делавшего столь тяжелыми и натянутыми придворные отношения. Он нисходил до шутки с придворными, ездил к ним запросто в гости, приглашал их к себе на вечерние пирушки, поил, близко входил в их домашние дела. Уменье входить в положение других, понимать и принимать к сердцу их горе и радость было одною из лучших черт в характере царя. Надобно читать его утешительные письма к князю Николаю Одоевскому по случаю смерти его сына и к Ордин-Нащокину по поводу побега его сына за границу. Надобно читать эти задушевные письма, чтобы видеть, на какую высоту деликатности и нравственной чуткости могла поднять даже неустойчивого человека эта способность проникаться чужим горем. В 1652 г. сын князя Николая Одоевского, служившего тогда воеводой в Казани, умер от горячки почти на глазах у царя. Царь написал старику-отцу, чтобы утешить его, и, между прочим, писал: «И тебе бы, боярину нашему, через меру не скорбеть, а нельзя, чтобы не поскорбеть и не поплакать, и поплакать надобно, только в меру, чтобы Бога не прогневить». Автор письма не ограничился подробным рассказом о неожиданной смерти и обильным потоком утешений отцу. Окончив письмо, он не утерпел, еще приписал: «Князь Никита Иванович! Не горюй, а уповай на Бога и на нас будь надежен». В 1660 г. сын Ордин-Нащокина, молодой человек, подававший большие надежды, которому иноземные учителя вскружили голову рассказами о Западной Европе, бежал за границу. Отец был страшно сконфужен и убит горем, сам уведомил царя о своем несчастии и просил отставки. Царь умел понимать такие положения и написал отцу задушевное письмо, в котором защищал его от него самого. Между прочим он писал: «Просишь ты, чтобы дать тебе отставку; с чего ты взял просить об этом? Думаю, что от безмерной печали. И что удивительного в том, что надурил твой сын? От малоумия так поступил. Человек он молодой, захотелось посмотреть на мир Божий и его дела; как птица полетает туда и сюда и, налетавшись, прилетает в свое гнездо, так и сын ваш припомнит свое гнездо и свою духовную привязанность и скоро к вам воротится».



В. Васнецов. **Выезд царя Алексея Михайловича на охоту**

Царь Алексей Михайлович был добрейший человек, славная русская душа. Я готов видеть в нем лучшего человека Древней Руси, по крайней мере, не знаю другого древнерусского человека, который производил бы более приятное впечатление – но только не на престоле. Это был довольно пассивный характер. Природа или воспитание было виною того, что в нем развились преимущественно те свойства, которые имеют такую цену в ежедневном житейском обиходе, вносят столько света и тепла в домашние отношения. Но при нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии. Он любил людей и желал им всякого добра, потому что не хотел, чтобы они своим горем и жалобами расстраивали его тихие личные радости. В нем, если можно так выразиться, было много того нравственного сибаритства, которое любит добро, потому что добро вызывает приятные ощущения. Но он был мало способен и мало расположен что-нибудь отстаивать или проводить, как и с чем-либо долго бороться. Рядом с даровитыми и честными дельцами он ставил на важные посты людей, которых сам ценил очень низко. Наблюдатели непредубежденные, но и непристрастные выносили несогласимые впечатления, из которых слагалось такое общее суждение о царе, что это был добрейший и мудрейший государь, если бы не слушался дурных и глупых советников.

А. Рябушкин. **Выезд на соколиную охоту при царе Алексее Михайловиче**

В царе Алексее не было ничего боевого. Всего менее имел он охоты и способности двигать вперед, понукать и направлять людей, хотя и любил подчас собственноручно «смирить», т. е. отколотить неисправного или недобросовестного слугу. Современники, даже иностранцы, признавали в нем богатые природные дарования; восприимчивость и любознательность помогли ему приобрести замечательную по тому времени

начитанность не только в божественном, но и в мирском писании. О нем говорили, что он «навычен многим философским наукам»; дух времени, потребности минуты также будили в нем мысль, задавали новые вопросы.

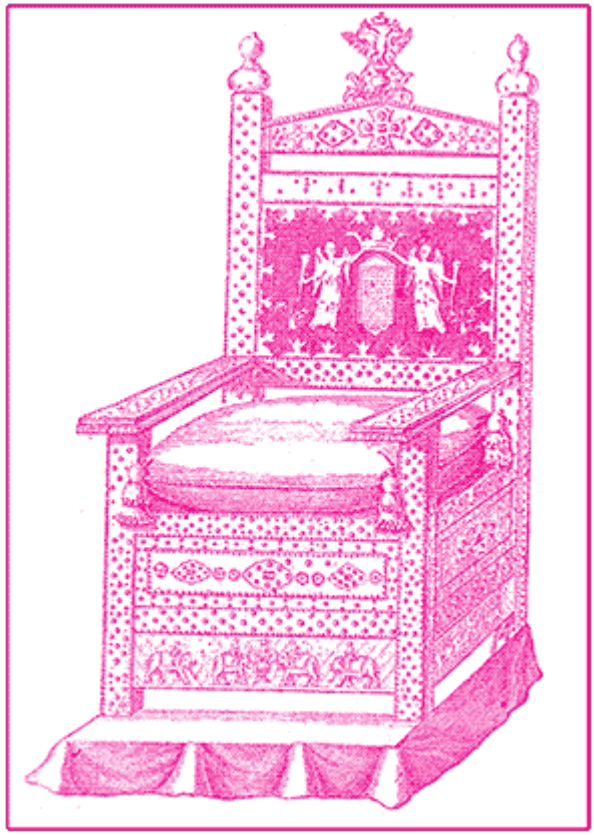
Это возбуждение сказалось в литературных наклонностях царя Алексея. Он любил писать и писал много, больше, чем кто-либо из древнерусских царей после Грозного. Он пытался изложить историю своих военных походов, делал даже опыты в стихотворстве: сохранилось несколько написанных им строк, которые могли казаться автору стихами. Всего больше оставил он писем к разным лицам. В этих письмах много простодушия, веселости, подчас задушевной грусти, и просвечивает тонкое понимание ежедневных людских отношений, меткая оценка житейских мелочей и заурядных людей, но не заметно ни тех смелых и бойких оборотов мысли, ни той иронии – ничего, чем так обильны послания Грозного. У царя Алексея все мило, многоречиво, иногда живо и образно, но вообще все сдержанно, мягко, тускло и немного сладковато. Автор, очевидно, человек порядка, а не идей и увлечения, готового расстроить порядок во имя идеи; он готов был увлекаться всем хорошим, но ничем исключительно, чтобы ни в себе, ни вокруг себя не разрушить спокойного равновесия. Склад его ума и сердца с удивительной точностью отражался в его полной, даже тучной фигуре, с низким лбом, белым лицом, обрамленным красивой бородой, пухлыми румяными щеками, русыми волосами, кроткими чертами лица и мягкими глазами.

Этому-то царю пришлось стоять в потоке самых важных внутренних и внешних движений. Разносторонние отношения, старинные и недавние, шведские, польские, крымские, турецкие, западнорусские, социальные, церковные, как нарочно, в это царствование обострились. Они встретились и перепутались, превратились в неотложные вопросы и требовали решения, не соблюдая своей исторической очереди. И над всеми ними как общий ключ к их решению стоял основной вопрос: оставаться ли верным родной старине, или брать уроки у чужих? Царь Алексей разрешил этот вопрос по-своему: чтобы не выбирать между стариной и новшествами, он не разрывал с первой и не отворачивался от последних. Привычки, родственные и другие отношения привязывали его к стародумам. Нужды государства, отзывчивость на все хорошее, личное сочувствие тянули его на сторону умных и энергических людей, которые во имя народного блага хотели вести дела не по-старому. Царь и не мешал этим новаторам, даже поддерживал их, но только до первого раздумья, до первого энергичного возражения со стороны стародумов.

Увлекаемый новыми веяниями, царь во многом отступал от старозаветного порядка жизни, ездил в немецкой карете, брал с собой жену на охоту, водил ее и детей на иноземную потеху, «комедийные действа» с музыкой и танцами, поил допьяна вельмож и духовника на вечерних пирушках, причем «немчин в трубы трубил и в органы играл».

Он дал детям учителя, западнорусского ученого монаха, который повел преподавание дальше Часослова, Псалтыря и Октоиха, учил царевичей языкам латинскому и польскому.

Но царь Алексей не мог стать во главе нового движения и дать ему определенное направление, отыскать нужных для того людей, указать им пути и приемы действия. Он был не прочь срывать цветки иноземной культуры, но не хотел марать рук в черной работе ее посева на русской почве. Несмотря, однако, на свой пассивный характер, на свое добродушно-нерешительное отношение к вопросам времени, царь Алексей много помог успеху преобразовательного движения. Своими часто беспорядочными и непоследовательными порывами к новому, своим уменьем все сглаживать и улаживать, он приручил пугливую русскую мысль к влияниям, шедшим с чужой стороны. Он не дал руководящих идей для реформы, но помог выступить первым реформаторам с их идеями, дал им возможность почувствовать себя свободно, проявить свои силы и открыл им довольно просторную дорогу для деятельности: не дал ни плана, ни направления преобразованиям, но создал преобразовательное настроение.



Трон царя Алексея Михайловича

Петр Великий

Император Петр Великий

Младенчество. Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 г. Он был четырнадцатое дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от его второго брака – с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья была взята из семьи западника А. С. Матвеева, дом которого был убран по-европейски, и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме воспитателя; притом и до нее заморские новизны проникали уже на царицыну половину, в детские комнаты кремлевского дворца.

Как только Петр стал помнить себя, он был окружен в своей детской иноземными вещами; все, во что он играл, напоминало ему немца. Некоторые из этих заморских игрушек особенно обращают на себя наше внимание: двухлетнего Петра забавляли музыкальными ящиками, «цимбальцами» и «большими

цимбалами» немецкой работы; в его комнате стоял даже какой-то «клевикорд» с медными зелеными струнами. Все это живо напоминает нам придворное общество царя Алексея, столь падкое на иноземные художественные вещи. С летами детская Петра наполняется предметами военного дела. В ней появляется целый арсенал игрушечного оружия, и в некоторых мелочах этого детского арсенала отразились тревожные заботы взрослых людей того времени. Так, в детской Петра довольно полно представлена была московская артиллерия, встречаем много деревянных пищалей и пушек с лошадками.

На четвертом году Петр лишился отца. При царе Федоре, сыне Милославской, положение матери Петра с ее родственниками и друзьями стало очень затруднительно. Другие люди всплыли наверх, овладели делами. Царь Алексей был женат два раза, следовательно, оставил после себя две клики родственников и свойственников, которые насмерть злобствовали одна против другой, ничем не брезгуя в ожесточенной вражде. Милославские осилили Нарышкиных и самого сильного человека их стороны, Матвеева, не замедлили убрать подальше на север, в Пустозерск. Молодая царица-вдова отступила на задний план, стала в тени.

Придворный учитель. Не раз можно слышать мнение, будто Петр был воспитан не по-старому, иначе и заботливее, чем воспитывались его отец и старшие братья. В ответ на это мнение люди первой половины XVIII в., еще по свежему преданию рассказывая о том, как Петра учили грамоте, дают понять, что по крайней мере до десяти лет Петр рос и воспитывался, пожалуй, даже более по-старому, чем его старшие братья, чем даже его отец. Рассказ записан неким Крекшиным, младшим современником Петра, лет 30 трудолюбиво, но довольно неразборчиво собиравшим всякие известия, бумаги, слухи и предания о благоговейно чтимом им преобразователе. Рассказ Крекшина любопытен если не как документально достоверный факт, то как нравоописательная картинка.

По старорусскому обычаю, Петра начали учить с пяти лет. Старший брат и крестный отец Петра, царь Федор, не раз говаривал куме-мачехе, царице Наталье: «Пора, государыня, учить крестника». Царица просила кума найти учителя кроткого, смиренного, Божественное Писание ведущего. Как нарочно, выбор учителя решен был человеком, от которого слишком пахло благочестивой стариной, боярином Федором Прокофьевичем Соковниным. Дом Соковниных был убежищем староверья: они придерживались раскола. Две родные сестры Соковнина – Феодосья Морозова и княгиня Авдотья Урусова – еще при царе

Алексее запечатлели мученичеством свое древнее благочестие: царь подверг их суровому заключению в земляной Боровской тюрьме за упрямую привязанность к старой вере и к протопопу Аввакуму. Другой брат этих боярынь – Алексей – впоследствии сложил голову на плахе за участие в заговоре против Петра во имя благочестивой старины. Федор Соковнин и указал царю на мужа кроткого и смиренного, всяких добродетелей исполненного, в грамоте и Писании искусного: то был Никита Моисеев, сын Зотов, подьячий из приказа Большого Прихода (ведомства неокладных сборов).

Рассказ о том, как Зотов введен был в должность придворного учителя, дышит такой древнерусской простотой, что не оставляет сомнения в характере зотовской педагогики. Соковнин привез Зотова к царю и, оставив в передней, отправился с докладом. Вскоре из комнат царя вышел дворянин и спросил: «Кто здесь Никита Зотов?» Будущий придворный учитель так оробел, что в беспамятстве не мог тронуться с места, и дворянин должен был взять его за руку. Зотов просил повременить немного, чтобы дать ему прийти в себя. Отстоявшись, он перекрестился и пошел к царю, который пожаловал его к руке и проэкзаменовал в присутствии Симеона Полоцкого. Ученый воспитатель царя одобрил чтение и письмо Зотова; тогда Соковнин повез аттестованного учителя к царице-вдове. Та приняла его, держа Петра за руку, и сказала: «Знаю, что ты доброй жизни и в Божественном Писании искусен; вручаю тебе моего единственного сына». Зотов залился слезами и, дрожа от страха, повалился к ногам царицы со словами: «Недостоин я, матушка-государыня, принять такое сокровище». Царица пожаловала его к руке и велела на следующее утро начать учение. На открытие курса пришли царь и патриарх, отслужили молебен с водосвятием, окропили святой водой нового спудея (так называли учащихся духовных учебных заведений – *Прим. ред.*) и, благословив, посадили за азбуку. Зотов поклонился своему ученику в землю и начал курс своего учения, причем тут же получил и гонорар: патриарх дал ему сто рублей (с лишком тысячу рублей на наши деньги), государь пожаловал ему двор, произвел во дворяне, а царица-мать прислала две пары богатого верхнего и исподнего платья и «весь убор», в который, по уходе государя и патриарха, Зотов тут же и перерядился. Крекшин отметил и день, когда началось обучение Петра, – 12 марта 1677 г., следовательно, Петру не исполнилось и пяти лет. Выслушав этот рассказ, и не говорите, что Зотов мог посвятить своего ученика в новую науку, обучить его каким-нибудь «еллинским и латинским борзостям».

К. Лебедев. **Царевич Петр Алексеевич и дьяк Зотов**

Учение. По словам Котошихина, для обучения царевичей выбирали из приказных подьячих – «учительных людей тихих и небражников». Что Зотов был учительный человек, тихий, за это ручается только что приведенный рассказ; но, говорят, он не вполне удовлетворял второму требованию, любил выпить. Впоследствии Петр назначил его князем-папой, президентом шутовской коллегии пьянства.

Историки Петра иногда винят Зотова в том, что он не оказал воспитательного, развивающего влияния на своего ученика. Но ведь Зотова позвали во дворец не воспитывать, а просто учить грамоте, и он, может быть, передал своему ученику курс древнерусской грамотной выучки если не лучше, то и не хуже многих предшествовавших ему придворных учителей-грамотеев. Он начал, разумеется, со «словесного учения», т. е. прошел с Петром азбуку, Часослов, Псалтырь, даже Евангелие и Апостол; все пройденное по древнерусскому педагогическому правилу взято было назубок. Впоследствии Петр свободно держался на клиросе, читал и пел своим негустым баритоном не хуже любого дьячка; говорили даже, что он мог прочесть наизусть Евангелие и Апостол. Так учился царь Алексей; так начинали учение и его старшие сыновья.

Но простым обучением грамотному мастерству не ограничилось преподавание Зотова. Очевидно, новые веяния

коснулись и этого импровизированного педагога из приказа Большого Прихода. Подобно воспитателю царя Алексея Морозову, Зотов применял прием наглядного обучения. Царевич учился охотно и бойко. На досуге он любил слушать разные рассказы и рассматривать книжки с «кунштами», картинками. Зотов сказал об этом царице, и та велела ему выдать «исторические книги», рукописи с рисунками из дворцовой библиотеки, и заказала живописного дела мастерам в Оружейной палате несколько новых иллюстраций. Так составилась у Петра коллекция «потешных тетрадей», в которых были изображены золотом и красками города, здания, корабли, солдаты, оружие, сражения и «истории лицевыя с прописьми», иллюстрированные повести и сказки с текстами. Все эти тетради, писанные самым лучшим мастерством, Зотов разложил в комнатах царевича. Заметив, когда Петр начинал утомляться книжным чтением, Зотов брал у него из рук книгу и показывал ему эти картинки, сопровождая обзор их пояснениями. При этом он, как пишет Крекшин, касался и русской старины, рассказывал царевичу про дела его отца, царя Ивана Грозного, восходил и к более отдаленным временам, Димитрия Донского, Александра Невского и даже до самого Владимира. Впоследствии Петр очень мало имел досуга заниматься русской историей, но не терял интереса к ней, придавал ей большое значение для народного образования и много хлопотал о составлении популярного учебника по этому предмету. Кто знает? Быть может, во всем этом сказывалась память об уроках Зотова. И на том подьячему спасибо!

События 1682 г. Едва минуло Петру десять лет, как начальное обучение его прекратилось, точнее, прервалось. Царь Федор умер 27 апреля 1682 г. За смертью его последовали известные бурные события: провозглашение Петра царем мимо старшего брата Ивана; интриги царевны Софьи и Милославских, вызвавшие страшный стрелецкий мятеж в мае того года; избиение бояр; установление двоевластия и провозглашение Софьи правительницей государства. Наконец, шумное раскольничье движение с буйными выходками старообрядцев 5 июля в Грановитой палате.

Петр I в селе Измайлове.
Гравюра с картины Мясоедова

Петр, бывший очевидцем кровавых сцен стрелецкого мятежа, вызвал удивление твердостью, какую сохранил при этом: стоя на Красном крыльце подле матери, он, говорят, не изменился в лице, когда стрельцы подхватывали на копья Матвеева и других его сторонников. Но майские ужасы 1682 г. неизгладимо врезались в его памяти. Он понял в них больше, чем можно было предполагать по его возрасту. Через год 11-летний Петр по развитости показался иноземному послу 16-летним юношей. Старая Русь тут встала и вскрылась перед Петром со всей своей многовековой работой и ее плодами. Когда огражденный грозой палача и застенка кремлевский дворец превратился в большой сарай, и по нему бегали и шарили одурелые стрельцы, отыскивая Нарышкиных, а потом буйствовали по всей Москве, пропивая добычу, взятую из богатых боярских и купеческих домов, то духовенство молчало, творя волю мятежников, благословляя двоевластие. Бояре и дворяне попрятались, и только холопы боярские вступились за попранный порядок. Напрасно стрельцы заманивали их обещанием свободы, громили Холопий приказ, рвали и разбрасывали по площади кабалы и другие крепости. Холопы унимали мятежников, грозя им: «Лежать вашим головам на площади; до чего вы добунтуетесь? Русская земля велика, вам с ней не совладать». Холопы, которых в боярской столице было вдвое больше стрельцов, ждали только знака от своих господ на усмирение мятежников и не дождались. От общественных сил, считавшихся опорами государственного порядка, Петр отвернулся

прежде, чем мог сообразить, как обойтись без них и чем их заменить.

С тех пор московский Кремль ему опротивел и был осужден на участь заброшенной барской усадьбы со своими древностями, запутанными дворцовыми хоромами и доживавшими в них свой век царевнами, тетками и сестрами, двумя Михайловными и семью Алексеевными, и с сотнями их певчих, крестовых дьяков и «всяких верховых чинов».

Петр в Преображенском. События 1682 г. окончательно выбили царицу-вдову из московского Кремля и заставили ее уединиться в Преображенском, любимом подмосковном селе царя Алексея. Этому селу суждено было стать временной царской резиденцией, станционным двором на пути к Петербургу. Здесь царица с сыном, удаленная от всякого участия в управлении, по выражению современника князя Б. И. Куракина, «жила тем, что давано было от рук царевны Софии», нуждалась и принуждена была принимать тайком денежную помощь от патриарха Троицкого монастыря и ростовского митрополита. Петр, опальный царь, выгнанный сестриным заговором из родного дворца, рос в Преображенском на просторе.

Силой обстоятельств он слишком рано предоставлен был самому себе, с десяти лет перешел из учебной комнаты прямо на задворки. Легко можно себе представить, как мало занимательного было для мальчика в комнатах матери: он видел вокруг себя печальные лица, отставных придворных, слышал все одни и те же горькие или озлобленные речи о неправде и злобе людской, про падчерицу и ее злых советчиков. Скука, какую должен был испытывать здесь живой мальчик, надо думать, и выжила его из комнат матери на дворы и в рощи села Преображенского.

С 1683 г., никем не руководимый, он начал здесь продолжительную игру, какую сам себе устроил и которая стала для него школой самообразования, а играл он в то, во что играют все наблюдательные дети в мире, в то, о чем думают и говорят взрослые. Современники приписывали природной склонности пробудившееся еще в младенчестве увлечение Петра военным делом. Темперамент подогревал эту охоту и превратил ее в страсть. Толки окружающих о войсках иноземного строя, может быть, и рассказы Зотова об отцовых войнах, дали с летами юношескому спорту определенную цель, а острые впечатления мятежного 1682 г. вмешали в дело чувство личного самосохранения и мести за обиды. Стрельцы дали незаконную власть царевне Софье: надо завести своего солдата, чтобы оборониться от своевольной сестры.

По сохранившимся дворцовым записям можно следить за занятиями Петра, если не за каждым шагом его в эти годы. Здесь видим, как игра с летами разрастается и осложняется, принимая все новые формы и вбирая в себя разнообразные отрасли военного дела. Из кремлевской Оружейной палаты к Петру в Преображенское таскают разные вещи, преимущественно оружие, из его комнат выносят на починку то сломанную пищаль, то прорванный барабан. Вместе с образом Спасителя Петр берет из Кремля и столовые часы с арапом, и карабинец винтовой немецкий, то и дело требует свинца, пороха, полковых знамен, бердышей (широкие длинные топоры с изогнутым лезвием в виде полумесяца на длинной рукоятке, использовавшиеся русскими пехотинцами в XV–XVII вв. – *Прим. ред.*), пистолей; дворцовый кремлевский арсенал постепенно переносился в комнаты Преображенского дворца. При этом Петр ведет чрезвычайно непоседный образ жизни, вечно в походе. То он в селе Воробьеве, то в Коломенском, то у Троицы, то у Саввы Сторожевского, рыщет по монастырям и дворцовым подмосковным селам, и в этих походах за ним всюду возят, иногда на нескольких подводах, его оружейную казну. Следя за Петром в эти годы, видим, с кем он водится, кем окружен, во что играет; не видим только, садился ли он за книгу, продолжались ли его учебные занятия. В 1688 г. Петр забирает из Оружейной палаты вместе с калмыцким седлом «глебос большой». Зачем понадобился этот глобус – неизвестно; только, должно быть, он был предметом довольно усиленных занятий не совсем научного характера, так как вскоре его выдали для починки часовому мастеру. Затем вместе с потешной обезьяной высылают ему какую-то «книгу огнестрельную».

Потешные. Таская нужные для потехи вещи из кремлевских кладовых, Петр набирал около себя толпу товарищей своих потех. У него был под руками обильный материал для этого набора. По заведенному обычаю, когда московскому царевичу исполнялось пять лет, к нему из придворной знати назначали в слуги, в стольники и спальники породистых сверстников, которые становились его «комнатными людьми». Прежние цари жили широким и людным хозяйством. Для любимой соколиной потехи царя Алексея на царских дворах содержали больше 3 тысяч соколов, кречетов и других охотничьих птиц, а для их ловли и корма – больше 100 тысяч голубиных гнезд. Для ловли, выучки и содержания тех птиц в «сокольничьем пути», т. е. ведомстве, служило больше 200 человек сокольников и кречетников. В конюшенном ведомстве числилось свыше 40 тысяч лошадей, к которым приставлено было чиновных людей, столповых приказчиков, конюхов стремянных, задворных, стряпчих, стадных

и разных ремесленников больше 600 человек. Это были большею частью все люди породою «честные», не простые, были пожалованы денежным жалованьем и платьем погодно и поместьями и вотчинами, «пили и ели царское». Со смерти царя Алексея в этих ведомствах осталось мало дела или не стало никакого. Больным царю Федору и царевичу Ивану было трудно выезжать из дворца часто, а царевнам – некуда и непристойно. Петр терпеть не мог соколиной охоты и любил бегать пешком или ездить запросто, на чем ни попало.

Этому праздному придворному и дворцовому люду Петр и задал более серьезную работу. Он начал верстать в свою службу молодежь из своих спальников и дворовых конюхов, а потом сокольников и кречетников, образовав из них две роты, которые прибором охотников из дворян и других чинов, даже из боярских холопов, развились в два батальона, человек по 300 в каждом. Они и получили название *потешных*. Не думайте, что это были игрушечные, шуточные солдаты. Играл в солдаты царь, а товарищи его игр служили и за свою потешную службу получали жалованье, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином. «Пожалован я, – читаем в одной челобитной, – в ваш, великих государей, чин, в потешные конюхи». Набор потешных производился официальным, канцелярским порядком. Так, в 1686 г. Конюшенному приказу предписано было выслать к Петру в Преображенское 7 придворных конюхов для записи в потешные пушкари. В числе этих потешных рано является и Александр Данилович Меншиков, сын придворного конюха, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по замечанию князя Б. Куракина. Впрочем, потом в потешные стала поступать и знатная молодежь. Так, в 1687 г. с толпой конюхов поступили И. И. Бутурлин и князь М. М. Голицын, будущий фельдмаршал, который за малолетством записался в «барабанную науку», как говорит дворцовая запись. С этими потешными Петр и поднял в Преображенском неугомонную возню, построил потешный двор, потешную съезжую избу для управления командой, потешную конюшню, забрал из Конюшенного приказа упряжь под свою артиллерию. Словом, игра обратилась в целое учреждение с особым штатом, бюджетом, с «потешной казной». Играя в солдаты, Петр хотел сам быть настоящим солдатом и такими же сделать участников своих игр, одел их в темно-зеленый мундир, дал полное солдатское вооружение, назначил штаб-офицеров, обер-офицеров и унтер-офицеров из своих комнатных людей, все «изящных фамилий», и в рощах Преображенского чуть не ежедневно подвергал команду строгой солдатской выучке, причем сам проходил все солдатские

чины, начиная с барабанщика. Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе построена была «регулярным порядком потешная фортеция», городок Плесбурх, который осаждали с мортирами и со всеми приемами осадного искусства. Во всех этих воинских экзерциях, требовавших технического знания, Петр едва ли мог обойтись одними доморощенными сведениями.

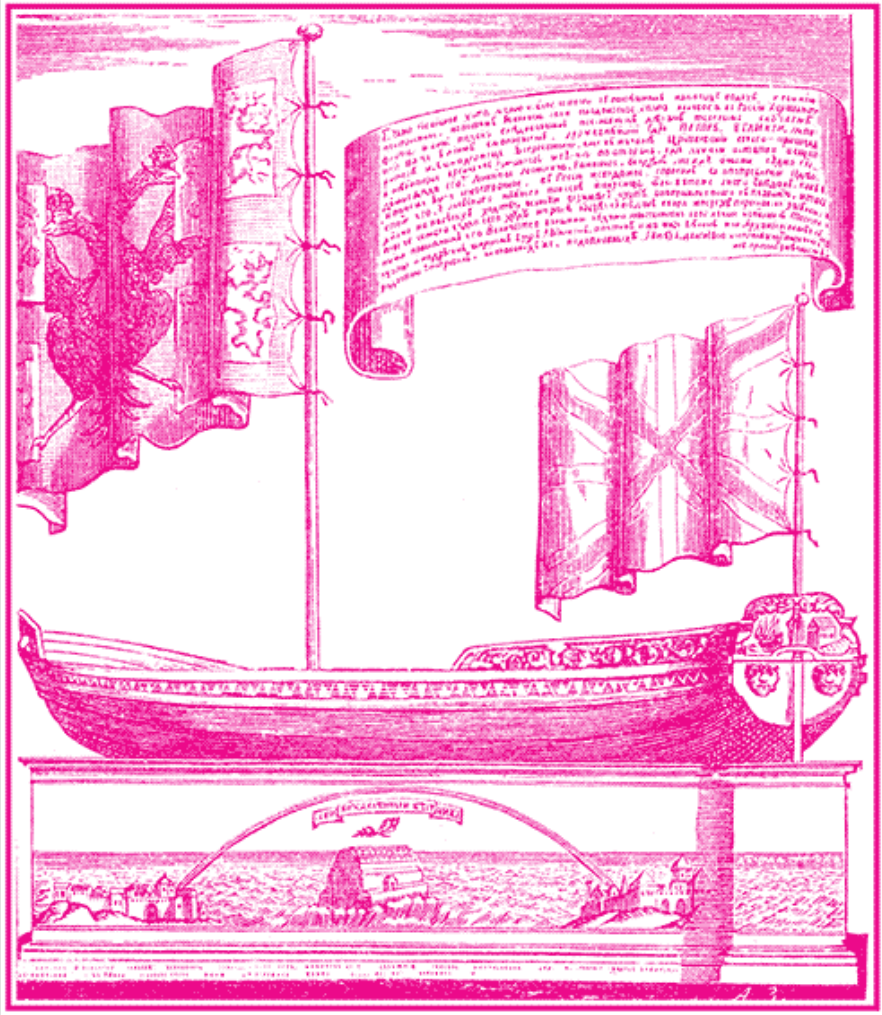
Петр I занимается воинским преобразованием в селе Преображенском. 1687 год

По соседству с Преображенским давно уже возник заманчивый и своеобразный мирок, на который искоса посматривали из Кремля руководители Московского государства: то была Немецкая слобода. При царе Алексее она особенно населилась военным людом: тогда вызваны были из-за границы для командования русскими полками иноземного строя пара генералов, до сотни полковников и бесчисленное количество офицеров.

Сюда и обратился Петр за новыми потехами и воинскими хитростями, каких не умел придумать со своими потешными. В 1684 г. иноземный мастер Зоммер показывал ему гранатную стрельбу, любимую его потеху впоследствии. Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устройства потешной команды. По крайней мере в начале 1690-х годов, когда потешные батальоны развернулись уже в два регулярных полка, поселенных в селах Преображенском и Семеновском и от них получивших свои названия, полковники, майоры, капитаны были почти все иноземцы и только сержанты – из русских. Но главным командиром обоих полков был поставлен русский, Автамон

Головин, «человек гораздо глупый, но знавший солдатскую экзерцицию», как отзывается о нем тогдашний семеновец и свояк Петра, помянутый князь Куракин.

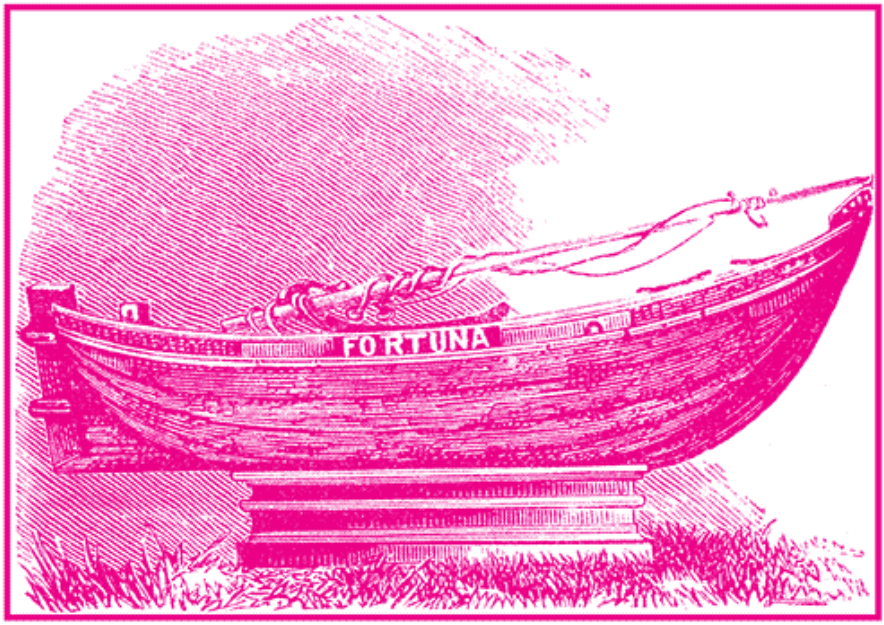
Вторичная школа. Страсть к иноземным диковинам привела Петра ко вторичной выучке, незнакомой прежним царевичам. По рассказу самого Петра, в 1687 г. князь Я. Ф. Долгорукий, отправляясь послом во Францию, в разговоре с царевичем сказал, что у него был инструмент, которым «можно брать дистанции или расстояния, не доходя до того места», да жаль – украли. Петр просил князя купить ему этот инструмент во Франции, и в следующем году Долгорукий привез ему астролябию. Не зная, что с ней делать, Петр прежде всего обратился, разумеется, ко всеведущему немцу-«дохтуру». Тот сказал, что и сам не знает, но сыщет знающего человека. Петр с «великою охотою» велел найти такого человека, и доктор скоро привез голландца Тиммермана. Под его руководством Петр «гораздо с охотою» принялся учиться арифметике, геометрии, артиллерии и фортификации. До нас дошли учебные тетради Петра с задачами, им решенными, и объяснениями, написанными его же рукой. Из этих тетрадей, прежде всего, видим, как плохо обучен был Петр грамоте. Он пишет невозможно, не соблюдает правил тогдашнего правописания, с трудом выводит буквы, не умеет разделять слов. Пишет слова по выговору, между двумя согласными то и дело подозревает твердый знак: «всегъда, сътърелять, възяфъ». Он плохо вслушивается в непонятные ему математические термины: сложение (additio) он пишет то «адицое», то «водицыя». И сам учитель был не бойкий математик; в тетрадях встречаем задачи, им самим решенные, и в задачах на умножение он не раз делает ошибки. Но те же тетради дают видеть степень охоты, с какой Петр принялся за математику и военные науки. Он быстро прошел арифметику, геометрию, артиллерию и фортификацию, овладел астролябией, изучил строение крепостей, умел вычислять полет пушечного ядра.



Измайловский ботик

С этим Тиммерманом, осматривая в селе Измайлове амбары деда Никиты Ивановича Романова, Петр нашел завалявшийся английский бот, который, по рассказу самого Петра, послужил родоначальником русского флота, пробудил в нем страсть к мореплаванию, повел к постройке флотилии на Переяславском озере, а потом под Архангельском. Но у прославленного «дедушки русского флота» были безвестные боковые родичи, о которых Петр не счел нужным упомянуть. Еще в 1687 г., за год или больше до находки бота, Петр таскал из Оружейной казны «корабли малые», вероятно, старые отцовские модели кораблей, оставшиеся от постройки «Орла» на Оке; даже еще раньше, в 1686 г., по дворцовым записям, в селе Преображенском строились потешные суда. Вспомним, что правительство царя Алексея много

хлопотало о заведении флота; для Петра это дело было наследственным преданием.



«Fortuna» – ботик Петра I на Переяславском озере

Нравственный рост Петра. Изложенные черты детства и юности Петра дают возможность восстановить ранние моменты его духовного роста. До десяти лет он проходит совершенно древнерусскую выучку мастерству церковной грамоты. Но эта выучка шла среди толков и явлений совсем не древнерусского характера. С десяти лет кровавые события, раздражающие впечатления вытолкнули Петра из Кремля, сбили его с привычной колеи древнерусской жизни, связали для него старый житейский порядок с самыми горькими воспоминаниями и дурными чувствами, рано оставили его одного с военными игрушками и зотовскими кунштами[*Кунштъ Яган* – актер-комедиант времен Петра Великого. *Кунст* – искусство (*нем.*).]. Во что он играл в кремлевской своей детской, это теперь он разыгрывал на дворах и в рощах села Преображенского уже не с заморскими куклами, а с живыми людьми и с настоящими пушками, без плана и руководства, окруженный своими спальниками и конюхами. И так продолжалось до 17-летнего возраста. Он оторвался от понятий, лучше сказать, от привычек и преданий кремлевского дворца, которые составляли политическое миросозерцание старорусского царя, его государственную науку, а новых на их место не являлось, взять их было негде и выработать было не из чего. Обучение, начатое с зотовской указкой и рано прерванное по

обстоятельствам, потом возобновилось, но уже под другим руководством и в ином направлении.

Старшие братья Петра переходили от подьячих, обучавших их церковной грамоте, к воспитателю, который кое-как все же знакомил воспитанников с политическими и нравственными понятиями, шедшими далее обычного московского кругозора, говорил о гражданстве, о правлении, о государе и его обязанностях к подданным. Петру не досталось такого учителя: место Симеона Полоцкого или Ртищева для него заступил голландский мастер со своими математическими и военными науками, с выучкой столь же мастеровой, технической, как зотовская, только с другим содержанием. Прежде, при Зотове, была занята преимущественно память; теперь вовлечены были в занятия еще глаз, сноровка, сообразительность; разум, сердце оставались праздными по-прежнему. Понятия и наклонности Петра получили крайне одностороннее направление. Вся политическая мысль его была поглощена борьбой с сестрой и Милославскими; все гражданское настроение его сложилось из ненавистей и антипатий к духовенству, боярству, стрельцам, раскольникам; солдаты, пушки, фортеции, корабли заняли в его уме место людей, политических учреждений, народных нужд, гражданских отношений. Необходимая для каждого мыслящего человека область понятий об обществе и общественных обязанностях, гражданская этика, долго, очень долго оставалась заброшенным углом в духовном хозяйстве Петра. Он перестал думать об обществе раньше, нежели успел сообразить, чем мог быть для него.

Правление царицы Натальи. Между тем царевна Софья со своим новым «голантом» Шакловитым построила было новый стрелецкий умысел, против брата и мачехи. В августе 1689 г., за полночь, внезапно разбуженный, Петр ускакал в лес и оттуда к Троице, бросив мать и беременную жену. Это был с ним едва ли не единственный случай крайнего испуга, показавший, каких ужасов привык он ожидать со стороны сестры. Замысел не удался. Троевластное правление, которому насмешливо удивлялись за границей, но которым все были довольны дома, кроме села Преображенского, кончилось: «третье зазорное лицо», как называл Петр Софью в письме к брату Ивану, заперли в монастырь. Царь Иван остался выходным, церемониальным царем; Петр продолжал свои потехи. Власть перешла от падчерицы к мачехе. Но царица Наталья, по отзыву князя Куракина, «была править некапабель (неспособна. – *Прим. ред.*), ума малого». Дела правления распределились между ее присными. Лучший из них, князь Б. А. Голицын, ловко проведший последнюю кампанию против

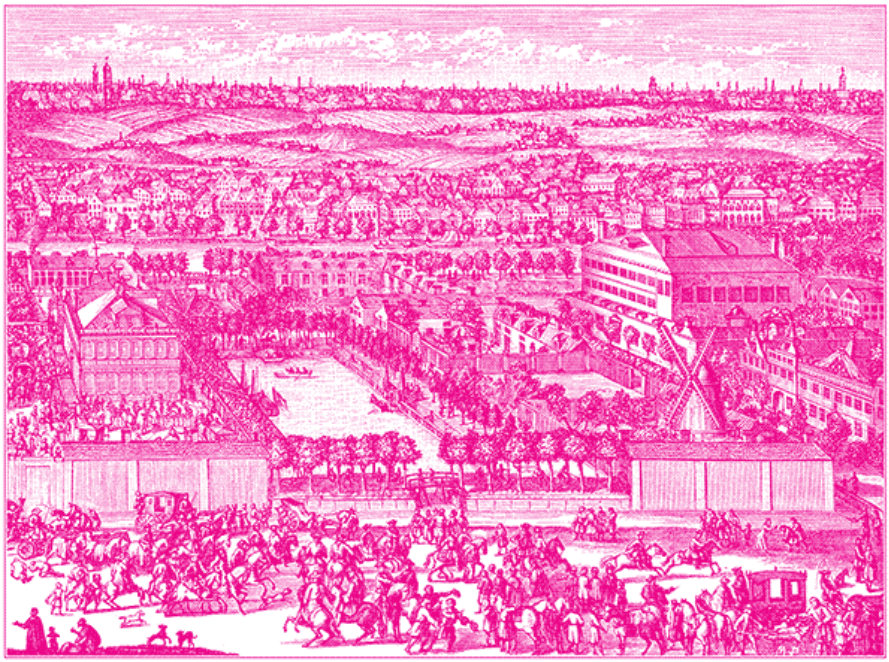
царевны, был человек умный и образованный, говорил по-латыни, но «пил непрестанно» и, правя Казанским дворцом почти неограниченно, разорил Поволжье.

О двух других временщиках, брате царицы Льве Нарышкине и свойственнике обоих царей по бабушке Тихоне Стрешневе, тот же современник говорит, что первый был человек очень недалекий и пьяный, взбалмошный, делавший добро «без резону, по бизарии своего гумору». Второй – тоже человек недалекий, но лукавый и злой, «интригант дворовый». Эти люди и повели «правление весьма непорядочное», с обидами и судейскими неправдами; началось «мздоимство великое и кража государственная». Они вертели Боярской думой; бояре первых домов остались «без всякого повоира и в консилии или палате токмо были спектакулями». Родовитый князь Куракин возмущен этим падением первых фамилий, особенно княжеских, их унижением перед какими-то Нарышкиными, Стрешневыми, «господами самого низкого и убогого шляхетства», а брак Петра привел ко двору более чем три десятка Лопухиных обоего пола, встреченных здесь дружной ненавистью, главы которых, приказные доки, были «люди злые, скупые ябедники, умов самых низких». Правящей среде вполне под стать было московское общество, служилое и приказное, проявлявшее себя рядом скандалов.

В записках окольничего Желябужского, близкого наблюдателя и участника московских дел в те годы, длинной вереницей проходят бояре, дворяне, дьяки думные и простые, судившиеся, пытанные и разнообразно наказанные разжалованием, кнутом, батогами, ссылкой, конфискацией, лишением жизни за разные преступления и проступки, брань во дворце, «неистовые слова» про государя, женоубийство, оскорбление девичьей чести, подделку документов, кражу казенных золотых с участием жены министра Т. Стрешнева. Так, князь Лобанов-Ростовский, владевший несколькими сотнями крестьянских дворов, разбоем отбил царскую казну на Троицкой дороге, за то был бит кнутом и, однако, лет через 6, в Кожуховском походе шел капитаном Преображенского полка. В этом придворном обществе напрасно искать деления на партии старую и новую, консервативную и прогрессивную: боролись дикие инстинкты и нравы, а не идеи и направления.

Компания Петра. В такой обстановке очутился Петр по низложении Софьи. Впечатления, шедшие отсюда, не привлекали его внимания к правительственным и общественным делам, и он вполне отдался своим привычным занятиям, весь ушел в «марсовы потехи». Это теснее сблизило его с Немецкой слободой: оттуда вызывал он генералов и офицеров для строевого и

артиллерийского обучения своих потешных, для руководства маневрами, часто сам туда ездил запросто, обедал и ужинал у старого служаки генерала Гордона и у других иноземцев.

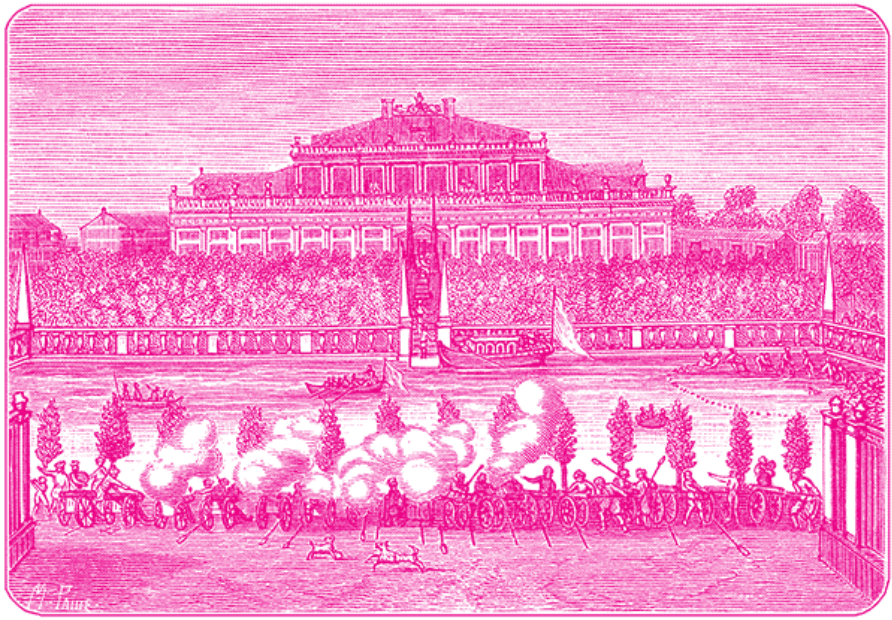


Немецкая слобода.
С гравюры Генриха де Витта. Начало XVIII в.

Слободские знакомства расширили первоначальную «кумпанию» Петра. К комнатным стольникам и спальникам, к потешным конюхам и пушкарям присоединились бродяги с Кокуя. Рядом с бомбардиром «Алексашкой» Меншиковым, человеком темного происхождения, невежественным, едва умевшим подписать свое имя и фамилию, но шустрым и сметливым, а потом всемогущим «фаворитом», стал Франц Яковлевич Лефорт, авантюрист из Женевы, пустившийся за тридевять земель искать счастья и попавший в Москву, невежественный немного менее Меншикова, но человек бывалый, веселый говорун, вечно жизнерадостный, преданный друг, неутомимый кавалер в танцевальной зале, неизменный товарищ за бутылкой, мастер веселить и веселиться, устроить пир на славу с музыкой, с дамами и танцами, – словом, душа-человек или «дебошан французский», как суммарно характеризует его князь Куракин, один из царских спальников в этой компании. Иногда здесь появлялся и степенный шотландец, пожилой, осторожный и аккуратный генерал Патрик Гордон, наемная сабля, служившая в семи ордах семи царям, по выражению нашей былины.

Если иноземцев принимали в компанию, как своих, русских, то двое русских играли в ней роли иноземцев. То были потешные генералиссимусы: князь Ф. Ю. Ромодановский и И. И. Бутурлин. Первый носил имя Фридриха, был главнокомандующий новой солдатской армией, королем Пресбургским, облеченным обширными полицейскими полномочиями. Он являлся начальником розыскного Преображенского приказа, министром кнута и пыточного застенка, «собою видом как монстра, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому, пьян по вся дни», но по-собачьи преданный Петру. Второй – король польский или, по своей столице, царь Семеновский, командир старой, преимущественно стрелецкой, армии, «человек злорадный и пьяный и мздоимливый».

Обе армии ненавидели одна другую заправской, не потешной ненавистью, разрешавшейся настоящими, не символическими драками. Эта компания была смесь племен, наречий, состояний. Чтобы видеть, как в ней объяснялись друг с другом, достаточно привести две строчки из русского письма, какое Лефорт написал Петру французскими буквами в 1696 г., двадцать лет спустя по прибытии в Россию: «Slavou Bogh sto ti prechol sdorova ou gorrod voronets. Daj Boc ifso dobro sauersit i che Moscva sdorovou buit (здорову быть)». Но ведь и сам Петр в письмах к Меншикову делал русскими буквами такие немецкие надписи: «мейн либсте камарат, мейн бест фринт», а архангельского воеводу Ф. М. Апраксина величал в письмах просто иностранным алфавитом: «Min Her Geuverneur Archangel». В компании обходились без чинов: раз Петр сильно упрекнул этого Апраксина за то, что тот писал «с зельными чинами, чего не люблю, а тебе можно знать для того, что ты нашей компании, как писать». Эта компания постепенно и заменила Петру домашний очаг.



Дом Лефорта в Немецкой слободе.
С гравюры Генриха де Витта

Брак Петра с Евдокией Лопухиной был делом интриги Нарышкиных и Тихона Стрешнева: неумная, суеверная и вздорная, Евдокия была совсем не пара своему мужу. Согласие держалось, только пока он и она не понимали друг друга, а свекровь, невзлюбившая невестку, ускорила неизбежный разлад. По своему образу жизни Петр часто и надолго отлучался из дома; это охлаждало, а охлаждение учащало отлучки. При таких условиях у Петра сложилась жизнь какого-то бездомного, бродячего студента. Он ведет усиленные военные экзерциции. Сам изготовляет и пускает замысловатые и опасные фейерверки, производит смотры и строевые учения. Он предпринимает походы, большие маневры с примерными сражениями, оставляющими после себя немало раненых, даже убитых. Сам испытывает новые пушки, один, без мастеров и плотников, строит на Яузе речную яхту со всей отделкой. Он берет у Гордона или через него выписывает из-за границы книги по артиллерии, учится, наблюдает, все пробует. Он расспрашивает иноземцев о военном деле и о делах европейских, и при этом обедает и ночует где придется: то у кого-нибудь в Немецкой слободе, чаще на полковом дворе в Преображенском у сержанта Буженинова, всего реже – дома, только по временам приезжает пообедать к матери.

Однажды в 1691 г. Петр напросился к Гордону обедать, ужинать и даже ночевать. Гостей набралось 85 человек. После

ужина все гости расположились на ночлег по-бивачному, вповалку, а на другой день все двинулись обедать к Лефорту. Последний, нося чины генерала и адмирала, был, собственно, министром пиров и увеселений, и в построенном для него на Яузе дворце компания по временам запиралась дня на три, по словам князя Куракина, «для пьянства, столь великого, что невозможно описать, и многим случалось от того умирать». Уцелевшие от таких побоищ с «Ивашкой Хмельницким» хворали по нескольку дней; только Петр поутру просыпался и бежал на работу, как ни в чем не бывало.

Значение потех. Воинские потехи занимали Петра до 24-го года его жизни среди частых попоек с компанией и поездок в Александровскую слободу, в Переяславль и Архангельск. С летами игра незаметно теряла характер детской забавы и становилась серьезным делом: это потому, что и в детстве она была очень похожа на серьезное дело, о котором думали старшие современники Петра. Вместе с царем росло и все незрелое, что его окружало, и пушки, и люди. Толпы потешных превращались в настоящие регулярные полки с иностранными офицерами; из игрушечных пушек и пушкарей вышли настоящая артиллерия и заправские артиллеристы. Напрасно Гордон, сведущий руководитель потешных походов, в своем дневнике называет их военным балетом: в этих походах, как и во флотилии на Переяславском озере, видимо бесцельной и смешной, вырабатывались кадры формировавшейся армии и будущего флота.

Потехи имели немаловажное учебное значение. Трехнедельные маневры под Кожуховом, на берегу реки Москвы, в 1694 г., в которые, по свидетельству участника князя Куракина, едва ли, впрочем, непреувеличенному, введено было до 30 тысяч человек, велись по плану, серьезно разработанному при содействии того же Гордона. О них была составлена целая книга с чертежами станов, обозов и боев. Князь Куракин говорит об этих экзерциях, что они весьма содействовали обучению солдатства, а о Кожуховском походе замечает, что едва ли какой монарх в Европе может учинить лучше того, прибавляя, однако, что тогда «убито с 24 персоны пыжами и иными случаи и ранено с 50». Правда, сам Петр об этой последней своей потехе писал, что под Кожуховом у него, кроме игры, ничего на уме не было, но эта игра стала предвестницей настоящего дела, каким были Азовские походы 1695 и 1696 гг. Они оправдали эту игру, показав ее практическую пользу. Азов взят был с помощью артиллерии, подготовленной потешными экзерциями, и флота, в одну зиму построенного на реке Воронеже под непосредственным

руководством Петра, запасшегося необходимыми для того знаниями на Переяславской верфи, и с помощью мастеров, там же им выученных.

Петр в Германии. В 1697 г. 25-летний Петр увидел, наконец, Западную Европу, о которой ему так много толковали его друзья и знакомые из Немецкой слободы, куда съездить уговаривал его Лефорт. Впрочем, мысль о поездке на Запад рождалась сама собою из всей обстановки и направления деятельности Петра. Он был окружен пришельцами с Запада, учился их мастерствам, говорил их языком, в письмах своих, даже к матери, уже в 1689 г. подписывался «Petius», лучшую галеру воронежского флота, им самим построенную, назвал «Principium». Проходя сухопутную и морскую службу, он принял за правило первому обучаться всякому новому делу, чтобы показать пример, и обучать других. Командируя десятки молодежи в заграничную выучку, он, естественно, должен был командировать и себя самого туда же. Он ехал за границу не как любознательный и досужий путешественник, чтобы полюбоваться диковинами чужой культуры, а как рабочий, желавший спешно ознакомиться с недоставшими ему надобными мастерствами: он искал на Западе техники, а не цивилизации.

На заграничных письмах его явилась печать с надписью: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую». На эту цель рассчитана была обстановка поездки. Он зачислил себя под именем Петра Михайлова в свиту торжественного посольства, отправлявшегося к европейским дворам по поводу шедшей тогда коалиционной борьбы с Турцией, чтобы скрепить прежние или завязать новые дружественные отношения с западноевропейскими государствами. Но это была открытая цель посольства. Великие послы – Лефорт, Головин и думный дьяк Возницын – получили еще негласную инструкцию сыскать за границей на морскую службу капитанов добрых, «которые б сами в матросах бывали, а службою дошли чина, а не по иным причинам», таких же поручиков и кучу всевозможных мастеров, «которые делают на кораблях всякое дело».

Волонтерам, посланным в чужие края, предписывалось «знать чертежи или карты морские, компас и прочие признаки морские». Также они должны были владеть судном как в бою, так и в простом шествии, знать все снасти или инструменты, к тому надлежащие, искать всяческого случая быть на море во время боя, непременно запастись от морских начальников свидетельством о достаточной подготовке к делу. При возврате в Москву, привести с собою по два искусных мастера морского дела с уплатой расходов из казны по исполнении подряда. Кто из дворян обучит

морскому делу за границей своего дворового человека, получит за него из казны 100 рублей (около тысячи рублей на наши деньги). Отправляя 19 дворян в Венецию, московская грамота 1697 г. извещала дожа, что их царское намерение «во Европе присмотреться новым воинским искусствам и поведениям». Но из дневника князя Б. И. Куракина, бывшего в числе этих дворян, видим, что они учились там математике, части астрономии, навтике, механике, фортификации, оборонительной и наступательной, и много плавали. Великое посольство со своей многочисленной свитой под прикрытием дипломатического поручения было одной из снаряжавшихся тогда в Москве экспедиций на Запад с целью все нужное там высмотреть, вызнать, перенять европейское мастерство, сманить европейского мастера.

Волонтер посольства Петр Михайлов, как только попал за границу, принялся доучиваться артиллерии. В Кенигсберге учитель его, прусский полковник, дал ему аттестат, в котором, выражая удивление быстрым успехам ученика в артиллерии, свидетельствовал, что означенный Петр Михайлов всюду за осторожного, благоискусного, мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и художника признаваем и почитаем быть может. На пути в Голландию, в городке Коппенбурге, ужин, которым угостили знатного путника курфюрстины Ганноверская и Бранденбургская, был, как бы сказать, первым выездом Петра в большой европейский свет.

Сначала растерявшись, Петр скоро оправился, разговорился, очаровал хозяек, перепоил их со свитой по-московски, признался, что не любит ни музыки, ни охоты, а любит плавать по морям, строить корабли и фейерверки. Он показал свои мозолистые руки, участвовал в танцах, причем московские кавалеры приняли корсеты своих немецких дам за их ребра, приподнял за уши и поцеловал 10-летнюю принцессу, будущую мать Фридриха Великого, испортив ей всю прическу. Испытательные смотрины, устроенные московскому диву двумя звездами немецкого дамского мира, сошли довольно благополучно, и принцессы потом, конечно, не скупились на россказни о вынесенном впечатлении. Они нашли в Петре много красоты, обилие ума, излишество грубости, неуменье есть опрятно и свели оценку на двусмыслицу: это-де государь очень хороший и вместе очень дурной, полный представитель своей страны. Все это можно было написать, не выезжая из Ганновера в Коппенбург или недели за две до коппенбургского ужина.

Петр в Голландии и Англии. Сообразно со своими наклонностями, Петр спешил ближе ознакомиться с Голландией

и Англией, с теми странами Западной Европы, в которых особенно была развита военно-морская и промышленная техника. Опередив посольство с немногими спутниками, Петр с неделю работал простым плотником на частной верфи в местечке Саардаме среди кипучего голландского кораблестроительства, нанимая каморку у случайно встреченного им кузнеца, которого знал по Москве. Между делом он осматривал фабрики, заводы, лесопильни, сукновальни, навещая семьи голландских плотников, уехавших в Москву. Однако красная фризовая куртка и белые холщовые штаны голландского рабочего не укрыли Петра от досадливых разоблачений, и скоро ему не стало прохода в Саардаме от любопытных зевак, собиравшихся посмотреть на царя-плотника. Лефорт с товарищами приехал в Амстердам 16 августа 1697 г. 17августа были в комедии, 19-го присутствовали на торжественном обеде от города с фейерверком, а 20-го Петр, съездив ночью в Саардам за своими инструментами, перебрался со спутниками прямо на верфь Ост-Индской голландской компании. Там, амстердамский бургомистр Витзен, или «Вицын», человек бывалый в Москве, выхлопотал Петру разрешение поработать. Все волонтеры посольства, посланные учиться, «розданы были по местам», как писал Петр в Москву, рассованы на разные работы «по охоте». 11 человек с самим царем и А. Меншиковым пошли на Ост-Индскую верфь плотничать, из остальных 18 – кто к парусному делу, кто в матросы, кто мачты делать.

Въезд русского посольства в Амстердам в 1697 г.
С гравюры Мушерона

Для Петра на верфи заложили фрегат, который делали «наши люди», и недель через 9 спустили на воду. Петр целый день на работе, но и в свободное время редко сидит дома, все осматривает, всюду бегает. В Утрехте, куда он поехал на свидание с королем Английским и штатгальтером Голландским Вильгельмом Оранским, Витзен должен был провожать его всюду. Петр слушал лекции профессора анатомии Рюйша, присутствовал при операциях и, увидав в его анатомическом кабинете превосходно препарированный труп ребенка, который улыбался, как живой, не утерпел и поцеловал его. В Лейдене он заглянул в анатомический театр доктора Боэргава, медицинского светила того времени, и, заметив, что некоторые из русской свиты выказывают отвращение к мертвому телу, заставил их зубами разрывать мускулы трупа.

Петр постоянно в движении, осматривает всевозможные редкости и достопримечательности, фабрики, заводы, кунсткамеры, госпитали, воспитательные дома, военные и торговые суда, влезает на обсерваторию, принимает у себя или посещает иноземцев, ездит к корабельным мастерам. Поработав месяца четыре в Голландии, Петр узнал, «что подобало доброму плотнику знать», но, недовольный слабостью голландских мастеров в теории кораблестроения, в начале 1698 г. отправился в Англию для изучения процветавшей там корабельной архитектуры. Он был радушно встречен королем, подарившим ему свою лучшую новенькую яхту. В Лондоне побывал в Королевском обществе наук, где видел «всякие дивные вещи», и перебрался неподалеку на Королевскую верфь в городок Дептфорд, чтобы довершить свои познания в кораблестроении и из простого плотника стать ученым мастером. Отсюда он ездил в Лондон, в Оксфорд, особенно часто в Вулич, где в лаборатории наблюдал приготовление артиллерийских снарядов и «отведывал метания бомб».

Петр I в кабинете голландского собирателя редкостей Вильде

В Портсмуте он осматривал военные корабли, тщательно замечая число пушек и калибр их, вес ядер. У острова Байта для него дано было примерное морское сражение. Юрнал (поденная записка. – *Прим. ред.*) заграничного путешествия изо дня в день отмечает занятия, наблюдения и посещения Петра с товарищами. Бывали в театре, заходили в «костелы», однажды принимали английских епископов, которые посидели с полчаса и уехали, призывали к себе женщину-великана, четырех аршин ростом, и под ее горизонтально вытянутую руку Петр прошел, не нагибаясь, ездили на обсерваторию, обедали у разных лиц и приезжали домой «веселы», не раз бывали в Тауэре, привлекавшем своим монетным двором и политической тюрьмой, «где английских честных людей сажают за караул», и раз заглянули в парламент. Сохранилось особое сказание об этом «скрытном» посещении, очевидно Верхней палаты, где Петр видел короля на троне и всех вельмож королевства на скамьях. Выслушав прения с помощью переводчика, Петр сказал своим русским спутникам: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду; вот чему надо учиться у англичан». Изредка Юрнал отмечает: «Были дома и веселились довольно», т. е. пили целый день за полночь. Есть документ, освещающий это домашнее времяпровождение.

Петр Великий в матросской одежде в Саардаме

В Дептфорде Петру со свитой отвели помещение в частном доме близ верфи, оборудовав его по приказу короля, как подобало для такого высокого гостя. Когда, после трехмесячного жительства, царь и его свита уехали, домовладелец подал, куда следовало, счет повреждений, произведенных уехавшими гостями. Ужас охватывает, когда читаешь эту опись, едва ли преувеличенную. Полы и стены были заплеваны, запачканы следами веселья, мебель поломана, занавески оборваны, картины на стенах прорваны, так как служили мишенью для стрельбы, газоны в саду так затоптаны, словно там маршировал целый полк в железных сапогах. Всех повреждений было насчитано на 350 фунтов стерлингов, до 5 тысяч рублей на наши деньги по тогдашнему отношению московского рубля к фунту стерлингов. Видно, что, пустившись на Запад за его наукой, московские ученики не подумали, как держаться в тамошней обстановке.

Зорко следя там за мастерствами, они не считали нужным всмотреться в тамошние нравы и порядки, не заметили, что у себя в Немецкой слободе они знались с отбросами того мира, с которым теперь встретились лицом к лицу в Амстердаме и

Лондоне. Вторгнувшись в непривычное им порядочное общество, всюду оставляли здесь следы своих москворецких обычаев, заставлявшие мыслящих людей недоумевать: неужели это властные просветители своей страны? Такое именно впечатление вынес из беседы с Петром английский епископ Бернет. Петр одинаково поразил его своими способностями и недостатками, даже пороками, особенно грубостью, и ученый английский иерарх не совсем набожно отказывается понять неисповедимые пути Провидения, вручившего такому необузданному человеку безграничную власть над столь значительною частью света.

Возвращение. Но Петру было не до впечатления, оставляемого им в Западной Европе, когда он, наняв в Голландии до 900 человек всевозможных мастеров, от вице-адмирала до корабельного повара, истратив на заграничную поездку не менее 2 1/2 миллиона рублей на наши деньги, в мае 1698 г. спешил в Вену, а оттуда, в июле, внезапно отказавшись от поездки в Италию, поскакал в Москву по вестям о новом заговоре сестры и о стрелецком бунте. Можно представить себе, с каким запасом впечатлений, собранных за 15 месяцев заграничного пребывания, возвращался Петр домой. Попав в Западную Европу, он поспешил, прежде всего, забежать в мастерскую ее культуры и не хотел, по-видимому, идти никуда больше, по крайней мере, оставался рассеянным, безучастным зрителем, когда ему показывали другие стороны европейской жизни. Возвращаясь в Россию, Петр должен был представлять себе Европу в виде шумной и дымной мастерской с машинами, кораблями, верфями, фабриками, заводами.

Тотчас по приезде в Москву он принялся за жестокий розыск нового стрелецкого мятежа, на много дней погрузился в раздражающие занятия со своими старыми недругами, вновь поднятыми мятежной сестрой. Это воскресило в нем детские впечатления 1682 г. Ненавистный образ сестры с ее родственниками и друзьями, Милославскими и Шакловитыми, опять восстал в его нервном воображении со всеми ужасами, каких он привык ожидать с этой стороны. Недаром Петр был совершенно вне себя во время этого розыска и в пыточном застенке, как тогда рассказывали, не утерпев, сам рубил головы стрельцам.

А затем Петр почти без передышки должен был приняться за другое, еще более тяжелое дело: через два года по возвращении из-за границы, началась Северная война. Торопливая и подвижная, лихорадочная деятельность, сама собой начавшаяся в ранней молодости, теперь продолжалась по необходимости и не прерывалась почти до конца жизни, до 50-летнего возраста.

Северная война – с ее тревогами, с поражениями в первое время и с победами потом – окончательно определила образ жизни Петра и сообщила направление, установила темп его преобразовательной деятельности. Он должен был жить изо дня в день, поспевать за быстро несшимися мимо него событиями, спешить навстречу возникавшим ежедневно новым государственным нуждам и опасностям, не имея досуга перевести дух, одуматься, сообразить наперед план действий. И в Северной войне Петр выбрал себе роль, соответствовавшую привычным занятиям и вкусам, усвоенным с детства, впечатлениям и познаниям, вынесенным из-за границы. Это не была роль ни государя-правителя, ни боевого генерала-главнокомандующего.

Петр не сидел во дворце, подобно прежним царям, рассылая всюду указы, направляя деятельность подчиненных; но он редко становился и во главе своих полков, чтобы водить их в огонь, подобно своему противнику Карлу XII. Впрочем, Полтава и Гангуд навсегда останутся в военной истории России светлыми памятниками личного участия Петра в боевых делах на суше и на море. Предоставляя действовать во фронте своим генералам и адмиралам, Петр взял на себя менее видную техническую часть войны. Он оставался обычно позади своей армии, устроял ее тыл, набирал рекрутов, составлял планы военных движений, строил корабли и военные заводы, заготовлял амуницию, провиант и боевые снаряды, все запасал, всех ободрял, понукал, бранился, дрался, вешал, скакал из одного конца государства в другой, был чем-то вроде генерал-фельдцейхмейстера, генерал-провиантмейстера и корабельного обер-мастера. Такая безустанная деятельность, продолжавшаяся почти три десятка лет, сформировала и укрепила понятия, чувства, вкусы и привычки Петра. Петр отлился односторонне, но рельефно, вышел тяжелым и вместе вечно подвижным, холодным, но ежеминутно готовым к шумным взрывам – точь-в-точь как чугунная пушка его петрозаводской отливки.

Его наружность, привычки, образ жизни и мыслей, характер. Петр Великий по своему духовному складу был один из тех простых людей, на которых достаточно взглянуть, чтобы понять их.

Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой головой выше любой толпы, среди которой ему приходилось когда-либо стоять. Христосуясь на Пасху, он постоянно должен был нагибаться до боли в спине. От природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать ножом кусок сукна

на лету. В свое время я уже говорил о династической хилости мужского потомства патриарха Филарета. Первая жена царя Алексея не осилила этого недостатка фамилии. Зато Наталья Кирилловна оказала ему энергичный отпор. Петр уродился в мать и особенно походил на одного из ее братьев, Федора. У Нарышкиных живость нервов и бойкость мысли были фамильными чертами. Впоследствии из среды их вышел ряд остряков, а один успешно играл роль шута-забавника в салоне Екатерины II.

Карл Моор. **Портрет Петра I.** *1717 г.*

Одиннадцатилетний Петр был живым, красивым мальчиком, как описывает его иноземный посол, представлявшийся в 1683 г. ему и его брату Ивану. Между тем как царь Иван в Мономаховой шапке, нахлобученной на самые глаза, опущенные вниз и ни на кого не смотревшие, сидел мертвенной статуей на своем серебряном кресле под образами, рядом с ним, на таком же кресле, в другой Мономаховой шапке, сооруженной по случаю двоецария, Петр смотрел на всех живо и самоуверенно, и ему не сиделось на месте. Впоследствии это впечатление портилось следами сильного нервного расстройства, причиной которого был либо детский испуг во время кровавых кремлевских сцен 1682 г., либо слишком часто повторявшиеся кутежи, надломившие здоровье еще не окрепшего организма, а вероятно, то и другое вместе. Очень рано, уже на двадцатом году, у него стала трястись голова и на красивом круглом лице, в минуты раздумья или внутреннего волнения, появлялись безобразившие его судороги. Все это вместе с родинкой на правой щеке и привычкой на ходу широко размахивать руками делало его фигуру всюду заметной. В 1697 г. в саардамской цирюльне по этим приметам, услужливо сообщенным земляками из Москвы, сразу узнали русского царя в плотнике из Московии, пришедшем побриться. Непривычка следить за собой и сдерживать себя сообщала его большим блуждающим глазам резкое, иногда даже дикое выражение, вызывавшее невольную дрожь в слабонервном человеке.

Чаще всего встречаются два портрета Петра. Один написан в 1698 г. в Англии, по желанию короля Вильгельма III, Кнеллером. Здесь Петр с длинными вьющимися волосами весело смотрит своими большими круглыми глазами. Несмотря на некоторую слащавость кисти, художнику, кажется, удалось поймать неуловимую веселую, даже почти насмешливую мину лица, напоминающую сохранившийся портрет бабушки Стрешневой. Другой портрет написан голландцем Карлом Моором в 1717 г., когда Петр ездил в Париж, чтобы ускорить окончание Северной войны и подготовить брак своей 8-летней дочери Елизаветы с 7-летним французским королем Людовиком XV.

Парижские наблюдатели в том году изображают Петра повелителем, хорошо разучившим свою повелительную роль, с тем же проницательным, иногда диким взглядом, и вместе политиком, умевшим приятно обойтись при встрече с нужным человеком. Петр тогда уже настолько сознавал свое значение, что пренебрегал приличиями: при выходе из парижской квартиры спокойно садился в чужую карету, чувствовал себя хозяином всюду, на Сене, как на Неве. Не таков он у К. Моора. Усы, точно

наклеенные, здесь заметнее, чем у Кнеллера. В складе губ и, особенно в выражении глаз, как будто болезненном, почти грустном, чуется усталость: думаешь, вот-вот человек попросит позволения отдохнуть немного. Собственное величие придавило его; нет и следа ни юношеской самоуверенности, ни зрелого довольства своим делом. При этом надобно вспомнить, что этот портрет изображает Петра, приехавшего из Парижа в Голландию, в Спа, лечиться от болезни, спустя 8 лет его похоронившей.

Готфрид Кнеллер. **Портрет Петра I**. *1698 г.*

Петр был гостем у себя дома. Он вырос и возмужал на дороге и на работе под открытым небом. Лет под 50, удосужившись оглянуться на свою прошлую жизнь, он увидел бы, что он вечно куда-нибудь едет. В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец – от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. Многолетнее безустанное движение развило в нем подвижность, потребность в постоянной перемене мест, в быстрой смене впечатлений. Торопливость стала его привычкой.

Он вечно и во всем спешил. Его обычная походка, особенно при понятном размере его шага, была такова, что спутник с трудом поспевал за ним вприпрыжку. Ему трудно было долго усидеть на месте: на продолжительных пирах он часто вскакивал со стула и выбегал в другую комнату, чтобы размяться. Эта подвижность делала его в молодых летах большим охотником до танцев. Он был обычным и веселым гостем на домашних праздниках вельмож, купцов, мастеров, много и недурно танцевал, хотя не проходил методически курса танцевального искусства, а перенимал его «с одной практики» на вечерах у Лефорта. Если Петр не спал, не ехал, не пировал или не осматривал чего-нибудь, он непременно что-нибудь строил. Руки его были вечно в работе, и с них не сходили мозоли. За ручной труд он брался при всяком представлявшемся к тому случае. В молодости, когда он еще многого не знал, осматривая фабрику или завод, он постоянно хватался за наблюдаемое дело. Ему трудно было оставаться простым зрителем чужой работы, особенно для него новой: рука инстинктивно просилась за инструмент; ему все хотелось сработать самому.

Охота к рукомеслу развила в нем быструю сметливость и сноровку: зорко вглядевшись в незнакомую работу, он мигом усвоял ее. Ранняя наклонность к ремесленным занятиям, к технической работе обратилась у него в простую привычку, в безотчетный позыв: он хотел узнать и усвоить всякое новое дело, прежде чем успевал сообразить, на что оно ему понадобится. С летами он приобрел необъятную массу технических познаний. Уже в первую заграничную его поездку немецкие принцессы из разговора с ним вывели заключение, что он в совершенстве знал до 14 ремесл. Впоследствии он был как дома в любой мастерской, на какой угодно фабрике. По смерти его, чуть не везде, где он бывал, рассеяны были вещицы его собственного изделия: шлюпки, стулья, посуда, табакерки и т. п. Дивиться можно, откуда только брался у него досуг на все эти бесчисленные безделки.

Успехи в рукомесле поселили в нем большую уверенность в

ловкости своей руки: он считал себя и опытным хирургом, и хорошим зубным врачом. Бывало, близкие люди, заболевшие каким-либо недугом, требовавшим хирургической помощи, приходили в ужас при мысли, что царь проведает об их болезни и явится с инструментами, предложит свои услуги. Говорят, после него остался целый мешок с выдернутыми им зубами – памятник его зубоврачебной практики. Но выше всего ставил он мастерство корабельное. Никакое государственное дело не могло удержать его, когда представлялся случай поработать топором на верфи. До поздних лет, бывая в Петербурге, он не пропускал дня, чтобы не завернуть часа на два в Адмиралтейство. И он достиг большого искусства в этом деле; современники считали его лучшим корабельным мастером в России. Он был не только зорким наблюдателем и опытным руководителем при постройке корабля: он сам мог сработать корабль с основания до всех технических мелочей его отделки. Он гордился своим искусством в этом мастерстве и не жалел ни денег, ни усилий, чтобы распространить и упрочить его в России. Из него, уроженца континентальной Москвы, вышел истый моряк, которому морской воздух нужен был, как вода рыбе. Этому воздуху вместе с постоянной физической деятельностью он сам приписывал целебное действие на свое здоровье, постоянно колеблемое разными излишествами.

Отсюда же, вероятно, происходил и его несокрушимый, истинно матросский аппетит. Современники говорят, что он мог есть всегда и везде; когда бы ни приехал он в гости, до или после обеда, он сейчас готов был сесть за стол. Вставая рано, часу в пятом, он обедал в 11–12 часов и, по окончании последнего блюда, уходил соснуть. Даже на пиру в гостях он не отказывал себе в этом сне и, освеженный им, возвращался к собеседникам, снова готовый есть и пить.

Печальные обстоятельства детства и молодости, выбившие Петра из старых, чопорных порядков кремлевского дворца, пестрое и невзыскательное общество, которым он потом окружил себя, самое свойство любимых занятий, заставлявших его поочередно браться то за топор, то за пилу или токарный станок, то за нравоисправительную дубинку, при подвижном, непоседном образе жизни, сделали его заклятым врагом всякого церемониала. Петр ни в чем не терпел стеснений и формальностей. Этот властительный человек, привыкший чувствовать себя хозяином всегда и всюду, конфузился и терялся среди торжественной обстановки, тяжело дышал, краснел и обливался потом, когда ему приходилось на аудиенции, стоя у престола в парадном царском облачении, в присутствии двора выслушивать высокопарный

вздор от представлявшегося посланника.

Будничную жизнь свою он старался устроить возможно проще и дешевле. Монарха, которого в Европе считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видали в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных собственной женой или дочерьми.

Дома, встав с постели, он принимал в простом стареньком халате из китайской нанки (бумажная ткань. – *Прим. ред.*), выезжал или выходил в незатейливом кафтане из толстого сукна, который не любил менять часто; летом, выходя недалеко, почти не носил шляпы; ездил обыкновенно на одноколке или на плохой паре и в таком кабриолете, в каком, по замечанию иноземца-очевидца, не всякий московский купец решился бы выехать. В торжественных случаях, когда, например, его приглашали на свадьбу, он брал экипаж напрокат у щеголя сенатского генерал-прокурора Ягужинского.

В домашнем быту Петр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека, не любил просторных и высоких зал и за границей избегал пышных королевских дворцов. Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, было душно среди гор в узкой немецкой долине. Странно одно. Выросши на вольном воздухе, привыкнув к простору во всем, он не мог жить в комнате с высоким потолком. И когда попадал в такую, приказывал делать искусственный низкий потолок из полотна. Вероятно, тесная обстановка детства наложила на него эту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он жил в маленьком и стареньком деревянном домишке, не стоившем, по замечанию того же иноземца, и 100 талеров. В Петербурге Петр построил себе также небольшие дворцы, зимний и летний, с тесными комнатками: «Царь не может жить в большом доме», – замечает этот иноземец.

Бросив кремлевские хоромы, Петр вывел и натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. При нем во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с Петербургским; недаром Петр сравнивал себя с этим королем и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде сотни тысяч рублей, при Петре не превышали 60 тысяч в год. Обычная прислуга царя состояла из 10–12 молодых дворян, большею частью незнатного происхождения, называвшихся денщиками. Петр не любил ни ливрей, ни дорогого шитья на платьях. Впрочем, в последние годы Петра у второй его царицы был многочисленный и блестящий двор, устроенный на немецкий

лад и не уступавший в пышности любому двору тогдашней Германии. Тяготясь сам царским блеском, Петр хотел окружить им свою вторую жену, может быть, для того чтобы заставить окружающих забыть ее слишком простенькое происхождение.

Ту же простоту и непринужденность вносил Петр и в свои отношения к людям. В обращении с другими у него мешались привычки старорусского властного хозяина с замашками бесцеремонного мастерового. Придя в гости, он садился где ни попало, на первое свободное место; когда ему становилось жарко, он, не стесняясь, при всех скидал с себя кафтан. Когда его приглашали на свадьбу маршалом, т. е. распорядителем пира, он аккуратно и деловито исполнял свои обязанности; распорядившись угощением, он ставил в угол свой маршальский жезл и, обратившись к буфету, при всех брал жаркое с блюда прямо руками. Привычка обходиться за столом без ножа и вилки поразила и немецких принцесс за ужином в Коппенбурге.

Петр вообще не отличался тонкостью в обращении, не имел деликатных манер. На заведенных им в Петербурге зимних ассамблеях, среди столичного бомонда, поочередно съезжавшегося у того или другого сановника, царь запросто садился играть в шахматы с простыми матросами. Вместе с ними он пил пиво и из длинной голландской трубки тянул их махорку, не обращая внимания на танцевавших в этой или соседней зале дам.

После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр, по обыкновению, или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив. Он любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную беседу за стаканом венгерского, в которой и сам принимал участие, ходя взад и вперед по комнате, не забывая своего стакана, и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляя «пить штраф», опорожнить бокала три вина или одного «орла» (большой ковш), чтобы «лишнего не врал и не задирал».

Н. Дмитриев-Оренбургский.
Ассамблея при Петре Великом. Потчевание провинившегося гостя кубком «Большого Орла»

На этих досужих товарищеских беседах щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз – это было еще до дела царевича Алексея – на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез. Место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий

на себе милости государя, – все это – создание его государевых рук; как вспомнил он все это да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» – добавил он. – «Как на кого? – возразил Петр, – у меня есть наследник-царевич». – «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак! – заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове, – этого при всех не говорят».

Ассамблея при Петре I

Привыкнув поступать во всем прямо и просто, он и от других, прежде всего, требовал дела, прямоты и откровенности и терпеть не мог уверток. Неплюев рассказывает в своих записках, что, воротившись из Венеции, по окончании выучки, он сдал экзамен самому царю и поставлен был смотрителем над строившимися в Петербурге судами, почему видался с Петром почти ежедневно. Неплюеву советовали быть расторопным и особенно всегда говорить царю правду. Раз, подгуляв на именинах, Неплюев проспал и явился на работу, когда царь был уже там. В испуге Неплюев хотел бежать домой, и сказаться больным. Но передумал и решился откровенно покаяться в своем грехе. «А я уже, мой друг, здесь», – сказал Петр. – «Виноват, государь, – отвечал Неплюев, – вчера в гостях засиделся». Ласково взяв его за плечи так, что тот дрогнул и едва удержался на ногах, Петр сказал: «Спасибо, малый, что говоришь правду; Бог простит: кто Богу не грешен, кто бабушке не внук? А теперь поедем на родины».

Приехали к плотнику, у которого родила жена. Царь дал роженице 5 гривен и поцеловался с ней, велев то же сделать и Неплюеву, который дал ей гривну. «Эй, брат, вижу, ты даришь не по-заморски», – сказал Петр, засмеявшись. – «Нечем мне дарить много, государь: дворянин я бедный, имею жену и детей, и когда бы не ваше царское жалованье, то, живучи здесь, и есть было бы нечего». Петр расспросил, сколько за ним душ крестьян и где у него поместье. Плотник поднес гостям по рюмке водки на деревянной тарелке. Царь выпил и закусил пирогом с морковью. Неплюев не пил и отказался было от угощения, но Петр сказал: «Выпей, сколько можешь, не обижай хозяев» и, отломив ему кусок пирога, прибавил: «На, закуси, это родная, не итальянская пища». Но, добрый по природе как человек, Петр был груб как царь, не привыкший уважать человека ни в себе, ни в других; среда, нам уже знакомая, в которой он вырос, и не могла воспитать в нем этого уважения.

Природный ум, лета, приобретенное положение прикрывали потом эту прореху молодости; но порой она просвечивала и в поздние годы. Любимец Алексашка Меншиков в молодости не раз испытывал на своем продолговатом лице силу петровского кулака. На большом празднестве один иноземный артиллерист, назойливый болтун, в разговоре с Петром расхвастался своими познаниями, не давая царю выговорить слова. Петр слушал-слушал хвастуна, наконец, не вытерпел и, плюнув ему прямо в лицо, молча отошел в сторону. Простота обращения и обычная веселость делали иногда обхождение с ним столь же тяжелым, как и его вспыльчивость или находившее на него по временам дурное расположение духа, выражавшееся в известных его судорогах. Приближенные, чуя грозу при виде этих признаков, немедленно звали Екатерину, которая сажала Петра и брала его за голову, слегка ее почесывая. Царь быстро засыпал, и все вокруг замирало, пока Екатерина неподвижно держала его голову в своих руках. Часа через два он просыпался бодрым, как ни в чем не бывало. Но и независимо от этих болезненных припадков, прямой и откровенный Петр не всегда бывал деликатен и внимателен к положению других, и это портило непринужденность, какую он вносил в свое общество. В добрые минуты он любил повеселиться и пошутить, но часто его шутки шли через край, становились неприличны или жестоки.

В торжественные дни летом в своем Летнем саду перед дворцом, в дубовой рощице, им самим разведенной, он любил видеть вокруг себя все высшее общество столицы. Он охотно беседовал со светскими чинами о политике, с духовными – о церковных делах, сидя за простыми столиками на деревянных

садовых скамейках и усердно потчуя гостей, как радушный хозяин. Но его хлебосольство порой становилось хуже Демьяновой ухи. Привыкнув к простой водке, он требовал, чтобы ее пили и гости, не исключая дам. Бывало, ужас пронимал участников и участниц торжества, когда в саду появлялись гвардейцы с ушатами сивухи, запах которой широко разносился по аллеям, причем часовым приказывалось никого не выпускать из сада. Особо назначенные для того майоры гвардии обязаны были потчевать всех за здоровье царя, и счастливым считал себя тот, кому удавалось какими-либо путями ускользнуть из сада. Только духовные власти не отвращали лиц своих от горькой чаши и весело сидели за своими столиками; от иных далеко отдавало редькой и луком. На одном из празднеств проходившие мимо иностранцы заметили, что самые пьяные из гостей были духовные, к великому удивлению протестантского проповедника, никак не воображавшего, что это делается так грубо и открыто.

В 1721 г. на свадьбе старика-вдовца князя Ю. Ю. Трубецкого, женившегося на 20-летней Головиной, когда подали большое блюдо со стаканами желе, Петр велел отцу невесты, большому охотнику до этого лакомства, как можно шире раскрыть рот, и принялся совать ему в горло кусок за куском, даже сам раскрывал ему рот, когда тот разевал его недостаточно широко. В то же время, за другим столом, дочь хозяина, пышная богачка и модница княжна Черкасская, стоя за стулом своего брата, хорошо образованного молодого человека, бывшего дружкой на свадьбе отца, по знаку сидевшей тут императрицы, принималась щекотать его. А тот ревел, как теленок, которого режут, при дружном хохоте всего общества, самого изящного в тогдашнем Петербурге.

Такой юмор царя сообщал тяжелый характер увеселениям, какие он завел при своем дворе. К концу Северной войны составился значительный календарь собственно придворных ежегодных праздников, в который входили викториальные торжества, а с 1721 г. к ним присоединилось ежегодное празднование Ништадтского мира. Но особенно любил Петр веселиться по случаю спуска нового корабля: новому кораблю он был рад, как новорожденному детищу. В тот век пили много везде в Европе, не меньше, чем теперь, а в высших кругах, особенно придворных, пожалуй, даже больше. Петербургский двор не отставал от своих заграничных образцов.

Бережливый во всем, Петр не жалел расходов на попойки, какими вспрыскивали новосооруженного пловца. На корабль приглашалось все высшее столичное общество обоего пола. Это были настоящие морские попойки, те, к которым идет или от которых идет поговорка, что пьяным по колено море. Пьют,

бывало, до тех пор, пока генерал-адмирал старик Апраксин начнет плакать-разливаться горючими слезами, что вот он, на старости лет, остался сиротою круглым, без отца, без матери. А военный министр, светлейший князь Меншиков, свалится под стол, и прибежит с дамской половины его испуганная княгиня Даша отливать и оттирать бездыханного супруга. Но пир не всегда заканчивался так просто. За столом вспылит на кого-нибудь Петр и, раздраженный, убежит на дамскую половину, запретив собеседникам расходиться до его возвращения, и солдата приставит к выходу. Пока Екатерина не успокаивала расходившегося царя, не укладывала его и не давала ему выспаться, все сидели по местам, пили и скучали.

Заключение Ништадтского мира праздновалось семидневным маскарадом. Петр был вне себя от радости, что кончил бесконечную войну, и, забывая свои годы и недуги, пел песни, плясал по столам. Торжество совершалось в здании Сената. Среди пира Петр встал из-за стола и отправился на стоявшую у берега Невы яхту соснуть, приказав гостям дожидаться его возвращения. Обилие вина и шума на этом продолжительном торжестве не мешало гостям чувствовать скуку и тягость от обязательного веселья по наряду, даже со штрафом за уклонение (50 рублей, около 400 рублей на наши деньги). Тысяча масок ходила, толкалась, пила, плясала целую неделю, и все были рады-радешеньки, когда дотянули служебное веселье до указанного срока.

Эти официальные празднества были тяжелы, утомительны. Но еще хуже были увеселения, тоже штатные и непристойные до цинизма. Трудно сказать, что было причиной этого, потребность ли в грязном рассеянии после черной работы или непривычка обдумывать свои поступки. Петр старался облечь свой разгул с сотрудниками в канцелярские формы, сделать его постоянным учреждением. Так возникла Коллегия пьянства, или «сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор». Он состоял под председательством натбольшего шута, носившего титул князя-папы, или «Всешумнейшего и Всешутейшего патриарха московского, кокуйского и всея Яузы». При нем был конклав 12 кардиналов, отъявленных пьяниц и обжор, с огромным штатом таких же епископов, архимандритов и других духовных чинов, носивших прозвища, которые никогда, ни при каком цензурном уставе не появятся в печати. Петр носил в этом соборе сан протодьякона и сам сочинил для него устав, в котором обнаружил не менее законодательной обдуманности, чем в любом своем регламенте. В этом уставе определены были до мельчайших подробностей чины избрания и постановления папы и

рукоположения на разные степени пьяной иерархии.

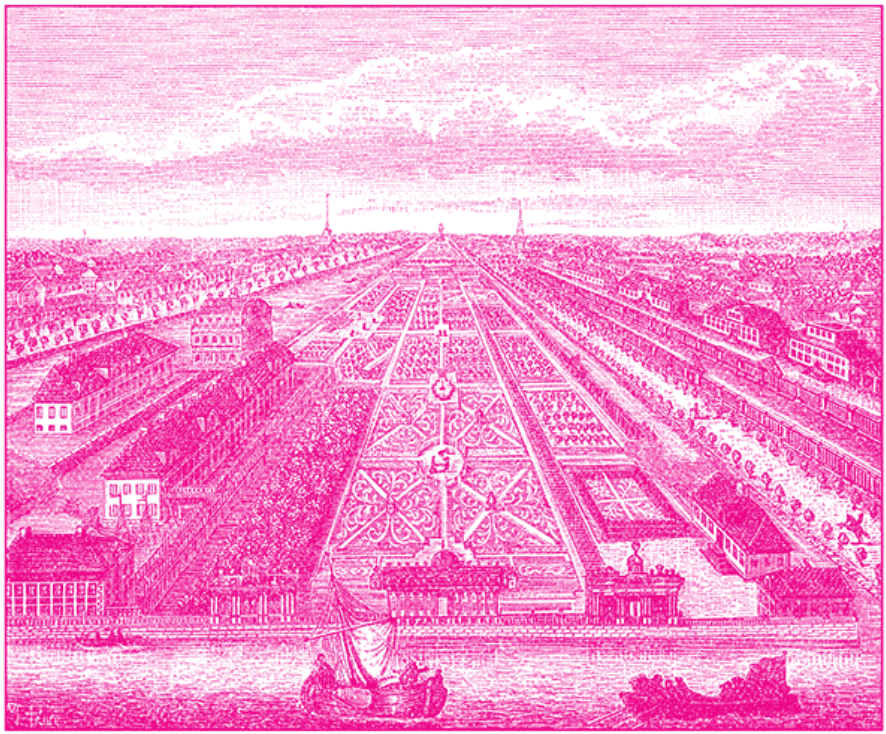
Первейшей заповедью ордена было напиваться каждодневно и не ложиться спать трезвыми. У собора, целью которого было славить Бахуса питием непомерным, был свой порядок пьянодействия, «служения Бахусу и честнаго обхождения с крепкими напитками», свои облачения, молитвословия и песнопения, были даже всешутейшие матери-архиерейши и игуменьи. Как в древней церкви спрашивали крещаемого: «Веруеши ли?», так в этом соборе новопринимаемому члену давали вопрос: «Пиеши ли?» Трезвых грешников отлучали от всех кабаков в государстве; инакомудрствующих еретиков-пьяноборцев предавали анафеме. Одним словом, это была неприличнейшая пародия церковной иерархии и церковного богослужения, казавшаяся набожным людям пагубой души, как бы вероотступлением, противление коему – путь к венцу мученическому.

Бывало, на Святках компания человек в 200, в Москве или Петербурге, на нескольких десятках саней, на всю ночь до утра, пустится по городу «славить». Во главе процессии – шутовской патриарх в своем облачении, с жезлом и в жестяной митре. За ним сломя голову скачут сани, битком набитые его сослужителями, с песнями и свистом. Хозяева домов, удостоенных посещением этих славельщиков, обязаны были угощать их и платить за славление; «Пили при этом страшно», – замечает современный наблюдатель. Или, бывало, на первой неделе Великого поста его всешутейшество со своим собором устроит покаянную процессию: в назидание верующим выедут на ослах и волах или в санях, запряженных свиньями, медведями и козлами, в вывороченных полушубках.

Маскарад в Москве в 1722 г. по случаю празднования Ништадтского мира

Раз на Масленице в 1699 г., после одного пышного придворного обеда, царь устроил служение Бахусу. Патриарх, князь-папа Никита Зотов, знакомый уже нам бывший учитель царя, пил и благословлял преклонявших перед ним колена гостей, осеняя их сложенными накрест двумя чубуками, подобно тому как делают архиереи дикирием и трикирием; потом с посохом в руке «владыка» пустился в пляс. Один только из присутствовавших на обеде, да и то иноземный посол, не вынес зрелища этой одури и ушел от православных шутов. Иноземные наблюдатели готовы были видеть в этих безобразиях политическую и даже народно-воспитательную тенденцию, направленную будто бы против русской церковной иерархии и даже самой церкви, а также против порока пьянства: царь-де старался сделать смешным то, к чему хотел ослабить привязанность и уважение; доставляя народу случай позабавиться, пьяная компания приучала его соединять с отвращением к грязному разгулу презрение к предрассудкам. Трудно взвесить долю правды в этом взгляде; но все же это – скорее оправдание, чем объяснение.

Петр играл не в одну церковную иерархию или в церковный обряд. Предметом шутки он делал и собственную власть, величая князя Ф. Ю. Ромодановского королем, государем, «вашим пресветлым царским величеством», а себя – «всегдашним рабом и холопом Piter'om» или просто по-русски Петрушкой Алексеевым. Очевидно, здесь больше настроения, чем тенденции. Игривость досталась Петру по наследству от отца, который тоже любил пошутить, хотя и остерегался быть шутом. У Петра и его компании было больше позыва к дурачеству, чем дурацкого творчества. Они хватали формы шутовства откуда ни попало, не щадя ни преданий старины, ни народного чувства, ни собственного достоинства, как дети в играх пародируют слова, отношения, даже гримасы взрослых, вовсе не думая их осуждать или будировать. В пародии церковных обрядов глумились не над церковью, даже не над церковной иерархией как учреждением: просто срывали досаду на класс, среди которого видели много досадных людей. Можно не дивиться крайней беззаботности о последствиях, о впечатлении от оргий. Хотя Петр жаловался, что ему приходится иметь дело не с одним бородачом, как его отцу, а с тысячами, но с этой стороны можно было ждать больше неприятностей, чем опасностей.



Летний сад и дворец в Петровское время. *С гравюры 1716 г.*

К большинству тогдашней иерархии был приложим укор, обращенный противниками нововведений на последнего патриарха Адриана, что он живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии для клобука белого, затем и не обличает. Серьезнее был ропот в народе, среди которого уже бродила молва о царе-антихристе. Но и с этой стороны надеялись на охранительную силу кнута и застенка, а об общественной стыдливости в тогдашних правящих сферах имели очень слабое помышление. Да и народные нравы если не оправдывают, то частью объясняют эти непристойные забавы. Кому неизвестна русская привычка в веселую минуту пошутить над церковными предметами, украсить праздное балагурство священным изречением? Известно также отношение народной легенды к духовенству и церковному обряду. В этом повинно само духовенство: строго требуя наружного исполнения церковного порядка, пастыри не умели внушить должного к нему уважения, потому что сами недостаточно его уважали. И Петр был не свободен от этой церковно-народной слабости. Он был человек набожный, скорбел о невежестве русского духовенства, расстройстве церкви, чтил и знал церковный обряд, вовсе не для шутки любил в праздники становиться на клиросе в ряды своих

певчих и пел своим сильным голосом. И, однако же, включил в программу празднования Ништадтского мира в 1721 г. непристойную свадьбу князя-папы, старика Бутурлина, со старухой, вдовой его предшественника Никиты Зотова, приказав обвенчать их в присутствии двора при торжественно-шутовской обстановке в Троицком соборе.

Какую политическую цель можно найти в этой непристойности, как и в ящике с водкой, формат которого напоминал пьяной коллегии евангелие? Здесь не тонкий или лукавый противоцерковный расчет политиков, а просто грубое чувство властных гуляк, вскрывавшее общий факт, глубокий упадок церковного авторитета. При господстве монашества, унизившем более духовенство, дело церковно-пастырского воспитания нравственного чувства в народе превратилось в полицию совести.

Но Петр от природы не был лишен средств создать себе более приличные развлечения. Он, несомненно, был одарен здоровым чувством изящного, тратил много хлопот и денег, чтобы доставать хорошие картины и статуи в Германии и Италии: он положил основание художественной коллекции, которая теперь помещается в петербургском Эрмитаже. Он имел вкус особенно к архитектуре. Об этом говорят увеселительные дворцы, которые он построил вокруг своей столицы и для которых выписывал за дорогую цену с Запада первоклассных мастеров, вроде, например, знаменитого в свое время Леблона, «прямой диковины», как называл его сам Петр, сманивший его у французского двора за громадное жалованье. Построенный этим архитектором петергофский дворец Монплезир, со своим кабинетом, украшенным превосходной резной работой, с видом на море и тенистыми садами, вызывал заслуженные похвалы от посещавших его иностранцев. Правда, незаметно, чтобы Петр был любителем классического стиля: он искал в искусстве лишь средства для поддержания легкого, бодрого расположения духа; упомянутый его петергофский дворец украшен был превосходными фламандскими картинами, изображавшими сельские и морские сцены, большею частью забавные.

Привыкнув жить кое-как, в черной работе, Петр, однако, сохранил уменье быть неравнодушным к иному ландшафту, особенно с участием моря. Он бросал большие деньги на загородный дворец с искусственными террасами, каскадами, хитрыми фонтанами, цветниками и т. п.

Он обладал сильным эстетическим чутьем; только оно развивалось у Петра несколько односторонне, сообразно с общим направлением его характера и образа жизни. Привычка вникать в

подробности дела, работа над техническими деталями создала в нем геометрическую меткость взгляда, удивительный глазомер, чувство формы и симметрии.

Ему легко давались пластические искусства, нравились сложные планы построек. Но он сам признавался, что не любит музыки, и с трудом переносил на балах игру оркестра.

По временам на шумных увеселительных собраниях Петровой компании слышались и серьезные разговоры. Чем шире развертывались дела войны и реформы, тем чаще Петр со своими сотрудниками задумывался над смыслом своих деяний. Эти беседы любопытны не столько взглядами, какие в них высказывались, сколько тем, что позволяют ближе всмотреться в самих собеседников, в их побуждения и отношения, и притом смягчают впечатление их нетрезвой и беспорядочной обстановки. Сквозь табачный дым и звон стаканов пробивается политическая мысль, освещающая этих дельцов с другой, более привлекательной стороны.

Раз в 1722 г., в веселую минуту, под влиянием стаканов венгерского, Петр разговорился с окружавшими его иностранцами о тяжелых первых годах своей деятельности, когда ему приходилось разом заводить регулярное войско и флот, насаждать в своем праздном, грубом народе науки, чувства храбрости, верности, чести. Сначала все это стоило ему страшных трудов, но это теперь, слава Богу, миновало, и он может быть спокойнее, что надобно много трудиться, чтобы хорошо узнать народ, которым управляешь. Это были, очевидно, давние, привычные помыслы Петра; едва ли не он сам начал продолжавшуюся и после него обработку легенды о своей творческой деятельности. Если верить современникам, эта легенда у него стала даже облекаться в художественную форму девиза, изображающего ваятеля, который высекает из грубого куска мрамора человеческую фигуру и почти до половины окончил свою работу.

Значит, к концу Шведской войны Петр и его сотрудники сознавали, что достигнутые военные успехи и исполненные реформы еще не завершают их дела, и их занимал вопрос, что предстоит еще сделать. Татищев в своей «Истории Российской» передает рассказ об одной застольной беседе, слышанной, очевидно, от собеседников. Дело было в 1717 г., когда блеснула надежда на скорое окончание тяжкой войны. Сидя за столом, на пиру, со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, его делах в Польше, затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон.

Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца,

говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоем порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подошедши к князю Я. Ф. Долгорукому, не боявшемуся спорить с царем в Сенате, и, став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен; а теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду». Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю».

Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь говорил так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом – твой отец. Три главные дела у царей: первое – внутренняя расправа и правосудие; это ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело – военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать: конец войны прямо нам это покажет. Третье дело – устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что умные государи умеют и умных советников выбирать, и верность их наблюдать. Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить». Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: «Благий рабе верный! Вмале был еси мне верен, над многими тя поставлю». «Меншикову и другим сие весьма было прискорбно –

так заканчивает свой рассказ Татищев, – и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели».

Петербург при Петре Великом

Петр прожил свой век в постоянной и напряженной физической деятельности, вечно вращаясь в потоке внешних впечатлений, и потом развил в себе внешнюю восприимчивость, удивительную наблюдательность и практическую сноровку. Но он не был охотник до досужих общих соображений; во всяком деле ему легче давались подробности работы, чем ее общий план; он лучше соображал средства и цели, чем следствия; во всем он был больше делец, мастер, чем мыслитель. Такой склад его ума отразился и на его политическом и нравственном характере. Петр вырос в среде, совсем неблагоприятной для политического развития. То были семейство и придворное общество царя Алексея, полные вражды, мелких интересов и ничтожных людей. Придворные интриги и перевороты были первоначальной политической школой Петра. Злоба сестры выбросила его из царской обстановки и оторвала от сросшихся с ней политических понятий. Этот разрыв сам по себе не был большой потерей для Петра.

Политическое сознание кремлевских умов XVII в. представляло беспорядочный хлам, составившийся частью из унаследованных от прежней династии церемониальных ветошей и вотчинных привычек, частью из политических вымыслов и двусмыслиц, мешавших первым царям новой династии понять свое положение в государстве. Несчастье Петра было в том, что он остался без всякого политического сознания, с одним смутным и бессодержательным ощущением, что у его власти нет границ, а есть только опасности. Эта безграничная пустота сознания долго ничем не наполнялась. Мастеровой характер усвоенных с детства занятий, ручная черная работа мешали размышлению, отвлекали мысль от предметов, составляющих необходимый материал политического воспитания, и в Петре вырастал правитель без правил, одухотворяющих и оправдывающих власть, без элементарных политических понятий и общественных сдержек. Недостаток суждения и нравственная неустойчивость при гениальных способностях и обширных технических познаниях резко бросались в глаза и заграничным наблюдателям 25-летнего Петра, и им казалось, что природа готовила в нем скорее хорошего плотника, чем великого государя. С детства плохо направленный нравственно и рано испорченный физически, невероятно грубый по воспитанию и образу жизни, бесчеловечный по ужасным обстоятельствам молодости, он при этом был полон энергии, чуток и наблюдателен по природе. Этими природными качествами несколько сдерживались

недостатки и пороки, навязанные ему средой и жизнью.

Уже в 1698 г. английский епископ Бернет заметил, что Петр с большими усилиями старается победить в себе страсть к вину. Как ни мало был Петр внимателен к политическим порядкам и общественным нравам Запада, он при своей чуткости не мог не заметить, что тамошние народы воспитываются и крепнут не кнутом и застенком, а жестокие уроки, данные ему под первым Азовом, под Нарвой и на Пруте, постепенно указывали ему на его политическую неподготовленность, и по мере этого начиналось и усиливалось его политическое самообразование. Он стал понимать крупные пробелы своего воспитания и вдумываться в понятия, вовремя им не продуманные, о государстве, народе, о праве и долге, о государе и его обязанностях. Он умел свое чувство царственного долга развить до самоотверженного служения, но не мог уже отрешиться от своих привычек. И если несчастья молодости помогли ему оторваться от кремлевского политического жеманства, то он не сумел очистить свою кровь от единственного крепкого направителя московской политики, инстинкта произвола.

До конца он не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Впрочем, нельзя слишком винить его за это: с трудом понимал это и мудрый политик и советник Петра, Лейбниц, думавший и, кажется, уверявший Петра, что в России тем лучше можно насадить науки, чем меньше она к тому подготовлена. Вся преобразовательная его деятельность направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения: он надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, верил в возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые берега. Потому, радея о народе, он до крайности напрягал его труд, тратил людские средства и жизни безрасчетно, без всякой бережливости.

Петр был честный и искренний человек, строгий и взыскательный к себе, справедливый и доброжелательный к другим. Но по направлению своей деятельности он больше привык обращаться с вещами, рабочими орудиями, чем с людьми. А потому и с людьми обращался, как с рабочими орудиями, умел пользоваться ими, быстро угадывал, кто на что годен. Но не умел и не любил входить в их положение, беречь их силы, не отличался нравственной отзывчивостью своего отца. Петр знал людей, но не умел или не всегда хотел понимать их. Эти особенности его характера печально отразились на его семейных отношениях. Великий знаток и устроитель своего государства, Петр плохо знал один уголок его – свой собственный дом, свою семью, где он

бывал гостем. Он не ужился с первой женой, имел причины жаловаться на вторую и совсем не поладил с сыном, не уберег его от враждебных влияний, что привело к гибели царевича и подвергло опасности самое существование династии.

Так Петр вышел непохож на своих предшественников, хотя между ними и можно заметить некоторую генетическую связь, историческую преемственность ролей и типов. Петр был великий хозяин, всего лучше понимавший экономические интересы, всего более чуткий к источникам государственного богатства. Подобными хозяевами были и его предшественники, цари старой и новой династий; но те были хозяева-сидни, белоручки, привыкшие хозяйничать чужими руками, а из Петра вышел подвижной хозяин-чернорабочий, самоучка, царь-мастеровой.

Впечатление смерти Петра. Очевидцы, свои и чужие, описывают проявления скорби, даже ужаса, вызванные вестью о смерти Петра. В Москве, в соборе и по всем церквам, по донесению высокочиновного наблюдателя, за панихидой «такой учинился вой, крик, вопль слезный, что нельзя женщинам больше того выть и горестно плакать, и воистину такого ужаса народного от рождения моего я николи не видал и не слыхал». Конечно, здесь была своя доля стереотипных, церемониальных слез: так хоронили любого из московских царей. Но понятна и непритворная скорбь, замеченная даже иноземцами, в войске и во всем народе. Все почувствовали, что упала сильная рука, как-никак, но поддерживавшая порядок, а вокруг себя видели так мало прочных опор порядка, что поневоле шевелился тревожный вопрос: что-то будет дальше? Под собой, в народной массе, реформа имела ненадежную, зыбкую почву.

Отношение народа к Петру. Во все продолжение преобразовательной работы Петра народ оставался в тягостном недоумении, не мог уяснить себе хорошенько, что такое делается на Руси и куда направляется эта деятельность: ни происхождение, ни цели реформы не были ему достаточно понятны. Реформа с самого начала вызвала глухое противодействие в народной массе тем, что была обращена к народу только двумя самыми тяжелыми своими сторонами: 1) она довела принудительный труд народа на государство до крайней степени напряжения и 2) представлялась народу непонятной ломкой вековечных обычаев, старинного уклада русской жизни, освященных временем народных привычек и верований.

Этими сторонами реформа и возбудила к себе несочувственное и подозрительное отношение народной массы. Своеобразную окраску сообщали этому отношению два впечатления, вынесенные народом из событий XVII в. Тогда народ

в Московском государстве видел очень много странных вещей: сначала перед ним прошел ряд самозванцев, незаконных правительств, которые действовали по-старому, иногда удачно подделываясь под настоящую привычную власть. Потом перед глазами народа потянулся ряд законных правителей, которые действовали совершенно не по-старому, хотели разрушить заветный гражданский и церковный порядок, поколебать родную старину, ввести немца в государство, антихриста в церковь. Под влиянием этих двух впечатлений и складывалось народное отношение к Петру и его реформе. Народ по-своему взглянул на деятельность Петра. Из этого взгляда постепенно развились две легенды о Петре, в которых всего резче выразилось отношение народа к реформе, которыми даже в значительной степени определились ее ход и результаты: одна легенда гласила, что Петр – самозванец, а другая, что он – антихрист.

Сказание о царе-самозванце. Когда стали обнаруживаться признаки глухого и упорного противодействия реформе со стороны народа, Петр для подавления его учредил тайную полицию, Преображенский приказ, названный так по имени подмосковного села, где впервые возникло это учреждение. От этого приказа до нас дошло немало любопытных дел, которые служат материалом для изучения народного настроения при Петре. Эти канцелярские бумаги наглядно представляют нам возникновение и развитие обеих легенд. Та и другая имела свою историю, прошла известный ряд моментов в своем поэтическом движении, представляя притом редкий вид народного творчества, пропущенного сквозь фильтр тайной полиции. Первоначальную мысль, основной мотив легенды о самозванстве Петра подсказали те наблюдения, которые поразили народ с самого начала царствования Петра.

Петр, прежде всего, дал народу почувствовать свою деятельность новыми государственными тягостями. Государственные тягости не были новостью для народа: их больно чувствовали и в XVII в., но тогда за них винили не самого царя, а его правительственные орудия. Царь сидел где-то далеко и высоко над народом, редко являлся перед ним и был окружен в народном представлении ослепительным ореолом неземного величия. Все, что делалось непопулярного в государстве, приписывалось тому средостению, какое отделяло царя от простых подданных, т. е. боярскому и приказному правительству. Петр впервые спустился с заоблачной высоты, на которой скрывались его предшественники, вошел в непосредственное соприкосновение с народом, стал перед ним, каким был, перестал быть для народа политическим мифом, каким представлялись

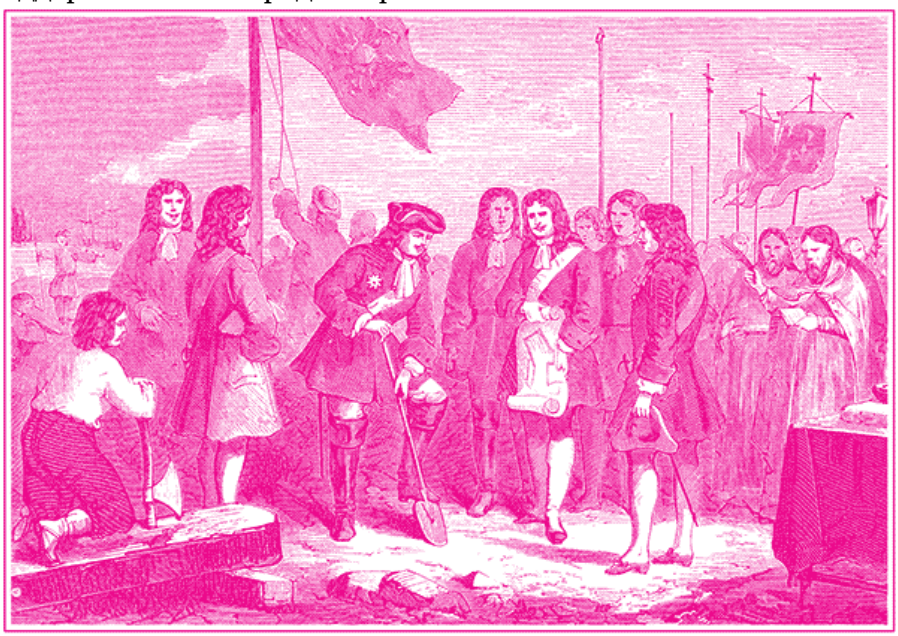
ему прежние цари. Народный ропот теперь и направился прямо против царя. Петр явился перед народом простым человеком, совсем земным царем.

Но какой это был странный царь! Он предстал перед народом с таким непривычным обликом, такими небывалыми манерами и принадлежностями, не в короне и не в порфире, а с топором в руках и трубкой в зубах, работал, как матрос, одевался и курил, как немец, пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский офицер. При виде такого необычного царя, совсем непохожего на прежних благочестивых московских государей, народ невольно задавал себе вопрос: да подлинный ли это царь? В этом вопросе и лег зародыш легенды о самозванстве царя.

Сторожа у городских ворот выполняют указ Петра о ношении платья западного образца. *Гравюра XVIII в.*

Вопрос вызвал усиленную работу народного ума, точнее, народной фантазии. Бумаги Преображенского приказа дают возможность проследить все фазы народного воображения, развивавшего легенду из указанного зерна. Народные жалобы растили это зерно, питали фантазию. Прежде всего народная мысль остановилась на самом вопросе. Пошли народные толки, подслушанные полицией. Крестьяне жаловались: «Как Бог его нам на царство наслал, так мы и светлых дней не видали; тягота на мир, рубли да полтины да подводы; отдыха нашей братье крестьянству нет». Сын боярский, подслушавший этот ропот, вторил крестьянину своими сословными горями: «Какой он царь? Всю нашу братию на службу выволок, а людей наших и крестьян в

рекруты побрал! Никуда от него не уйдешь, все на плотах распропали (на морских постройках); и как это его не убьют? Как бы убили его, так бы и служба миновалась, и черни стало бы легче». Солдатские жены развивали свою особую консервативную публицистику: «Какой он царь! Мужей наших в солдаты побрал, всех крестьян с дворами разорил, а нас с детьми осиротил и век плакать заставил». – «Какой он царь! – подхватывал холоп, – он враг, оморок мирской; однако сколько ему по Москве ни скакать, а быть ему без головы». – «Мироед! – вопияли другие. – Весь мир переел, все переводит добрые головы; только на него, кутилку, переводу нет». Этому хоровому всесословному протесту сам Петр помог перейти от вопроса о его загадочной личности к ответу, поддержал полет народной фантазии.



Закладка крепости Санкт-Петербурга

Царь вел странный образ жизни и делал странные дела: переказнил стрельцов, сестру и жену запер в монастырь, сам все возился и пьянствовал в Преображенском с иноземцами, после нарвского поражения колокола стал снимать с церквей и переливать в пушки. Монах грозил: все-де это даром не пройдет, не добром кончится все это. Отсюда и извлекли ответ на поставленный вопрос. Прежде всего, поспешили догадаться, что царя немцы испортили; нервность и вспыльчивость Петра поддерживали догадку. «Немцы обошли его: час добрый найдет – все хорошо, а в иной час так и рвет и мечет: вот уж и на Бога наступил, с церквей колокола снимает». Притом заговорило

раздраженное национальное чувство под гнетом непрекращающегося наплыва и влияния иноземцев. Но все это не давало удовлетворительного ответа на главный вопрос: казалось невероятным, каким образом мог явиться на Руси такой царь, хоть и порченый, который не дорожит народными обычаями и верованиями.

Здесь наступает вторая фаза в развитии легенды. На вопрос является ответ, тоже в виде вопроса: да русский ли он? «Он сын немки», – говорили одни. – «Да Лаферта», – подсказывали другие. Так и додумались до сказания о самозванстве Петра: царица родила девочку, которую подменили немчонком. Однажды полиция подслушала на портомойне в Москве такую политическую беседу: крестьяне все измучены, все на государя встали и возопияли: какой он царь! Родился от немки беззаконной; он подмененный, подкидыш; как царица Наталья Кирилловна отходила сего света, и в то число она говорила ему: ты-де не сын мой, ты подменный; вот велит носить немецкое платье – знатно, что от немки родился.

От этого соображения и отправляется легенда в своем дальнейшем развитии, по-своему связывая явления времени. Поездка Петра за границу указала ей направление и облегчила движение. Петр начал заводить новшества: бороды брить, платье немецкое вводить, царицу свою, Авдотью Федоровну, отставил, немку Монсову взял, проклятый табак курить велел – все по возвращении из чужих краев. Эта поездка к нехристям и послужила путеводной нитью для народной фантазии.

Вероятно, до русского общества дошли слухи, что шведский король Карл XII, покидая в 1700 г. Швецию для борьбы с Петром и его союзниками, оставил дома сестру свою, Ульрику-Элеонору, которая впоследствии, по смерти брата, стала его преемницей. Слыхали также, что в Риге шведское начальство в 1697 г. наделало Петру каких-то неприятностей, не пустило его осмотреть рижские укрепления. Народная фантазия воспользовалась этим, чтобы отлить слухи в целое сказание. Петр поехал за границу – это так; да Петр ли воротился из-за границы? В ответ на этот вопрос уже к 1704 г. сложилась такая сказка. Как государь с ближними людьми был за морем, ходил он по немецким землям и пришел в Стекольное царство (Стокгольм). А то Стекольное царство в немецкой земле держит девица, и та девица над государем надругалась, ставила его на горячую сковороду да, сняв его с тое сковороды, велела бросить в темницу. И как та девица была именинница, стали ей говорить ее князья и бояре: пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя. Она им сказала: подите посмотрите, коли он еще

жив валяется, я его для вас выпущу. Те, посмотря, сказали ей: «Томен, государыня». – «Ну, коли томен, так вы его выньте». И они, его вынув, отпустили. Пришел он к нашим боярам, а они, перекрестясь, сделали бочку, набили в нее гвоздья да в тое бочку хотели его, государя, положить. Уведал про то стрелец и, прибежав к государю, сказал: «Царь-государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобою чинится». И он, государь, встал и вышел, а стрелец лег на его место. Пришли бояре да того стрельца, с постели схватя, положили в тое бочку и бросили в море. Легенда в первое время не договаривала до конца, не знала, что сталось дальше с государем. Но потом к сказанию прицепили и конец, стали говорить в народе: это не наш государь, это немчин; наш государь в немцах в бочку закован да в море пущен. Вскоре по смерти Петра эта сказка изменилась: Петра считали погибшим при жизни и воскресили по смерти. Новая редакция гласила, что царствовавший государь был немчин, а настоящий царь освободился из немецкого плена, именно освободил его обманом русский купец, бывший в Стекольном царстве. Рассказчик добавлял: «И как это государь до сей поры не объявится в своем государстве?»

Сказание о царе-антихристе. Легенда о самозванстве Петра, вся построенная на тягловых мотивах, очевидно, сложилась в тяглой среде, особенно в той массе, которая, быв дотоле свободной от податей, больно была захвачена указами о новых налогах и службах. Другая легенда, о Петре-антихристе, возникла или была разработана в церковном обществе, взволнованном новшествами Никона, и сплелась из других мотивов. Преобразовательная деятельность Петра представлялась народу прямым продолжением того непонятного и бесцельного посягательства со стороны правительства на чистоту родной веры и родных обычаев, какое началось при царе Алексее. Новое иноземное платье, брадобритье и тому подобные новшества затрагивали религиозные воззрения древнерусского общества. В конце 1699 г. последовала новость, еще более тревожная, чем немецкое платье или табак: изменен был русский православный календарь, велено вести летосчисление от Рождества Христова, а не от сотворения мира и новый год праздновать не 1 сентября, по-церковному, а 1 января, как делалось у неправославных. Это новшество уж прямо вторгалось в церковный порядок.

Люди, и без того встревоженные латинобоязнью никоновского времени, теперь еще сильнее встрепенулись на защиту старой веры. В полиции и на улице при Петре происходили иногда очень странные сцены. Раз в 1703 г. один нижегородец, простой посадский человек Андрей Иванов, пришел

в Москву с изветом, т. е. с доносом, – на кого бы вы думали? – на самого государя, что-де он, государь, веру православную разрушает, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть. Во всем этом обличить государя и пришел он, Андрей Иванов. В 1705 г. в Ярославле Димитрий, митрополит Ростовский, в воскресный день идучи к себе из собора, встретился с двумя еще нестарыми бородачами, которые спросили его, как им быть: велено брить бороды, а им пусть лучше головы отсекут, чем бороды обреют. «А что отрастет, отсеченная ли голова или сбритая борода?» – переспросил владыка. В дом к митрополиту сошлось много лучших горожан, и начался диспут о бороде, об опасности брад обритая для душевного спасения, ибо сбрить бороду – значит потерять образ и подобие Божие.

Ученому владыке пришлось написать целый трактат об образе и подобии Божием в человеке. Вопрос о брадобритии разгорелся до народной агитации: в разных городах разбрасывались подметные письма, призывавшие православных восстать за бороду. Люди более серьезного образа мыслей не могли довольствоваться распространявшимся в темной массе сказанием о самозванстве Петра и искали более глубокого источника его непонятных и опасных нововведений. Поддразнивая пугливую совесть пустяками вроде брадобрития или безобразиями пьяного собора, Петр вызывал тревожные суеверные толки о конечной гибели благочестия, о последних временах и о необходимости вольного страдания ради спасения души.

Эти толки, обращаясь на их виновника, и породили легенду о царе-антихристе. Мы встречаем ее в Москве в одном следственном деле уже 1700 г. Некто Талицкий, книгописец, значит, человек сравнительно образованный, составил для распространения в народе тетради о последнем времени и о пришествии в мир антихриста в лице государя. Тамбовский архиерей до слез умилялся этими тетрадями, а боярин князь Хованский плакался Талицкому на самого себя, что был ему послан мучения венец, да он его потерял, согласившись обрить себе бороду, а потом приняв шутовское поставление в митрополиты известного всепьянейшего собора. Но особенно широкое распространение получила легенда на олонецком и заонежском Севере, в краю, наиболее тронутом расколом, куда бежало от гонений множество подвижников древнего благочестия еще при царе Алексее. Уже к концу XVII в. эти беглецы в своем фанатизме выработали в борьбе с «еретической церковью» и «антихристовым государством» страшную форму вольного страдания за благочестие – самосожжение массами. По одному

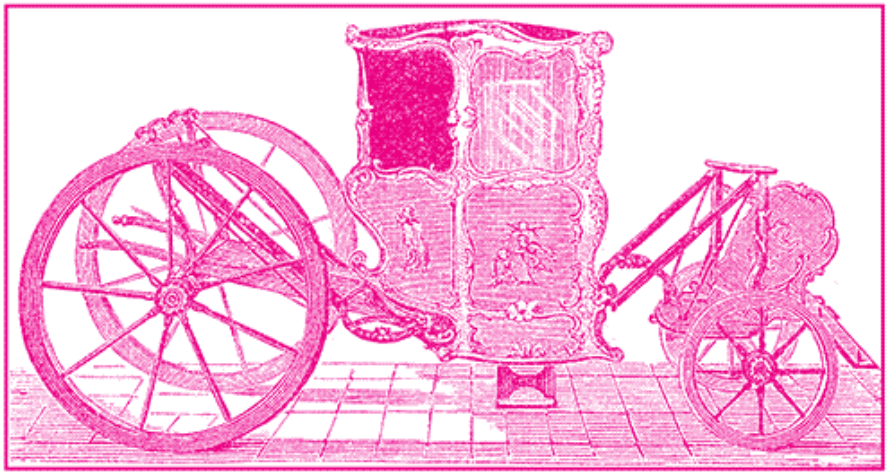
идущему от того времени староверческому сочинению, насчитывали более 20 тысяч самосожженцев, сгоревших в 1675–1691 гг. На глухом поморском Севере, наполненном лесами, все известия, приходившие из Центральной Руси, отражались в искривленном виде: напуганная фантазия превращала их в чудовищные призраки.

В одном погосте Олонецкого уезда раз священник и дьячок, вышедшие из церкви после литургии, разговорились о том, что делается на белом свете. Дьячок сказал: «Вот ныне велят летопись (летосчисление) вести от Рождения Христова и платье носить венгерское». Священник прибавил: «И я слыхал в волости, что у Великого поста неделя будет убавлена, а после Фоминой учнут в середы и пятки весь год молоко есть». Имея в виду последнее средство спасения поморцев, самосожжение, дьячок сказал: «Как пришлют эти указы к нам в погост, и будут люди по лесам жить и гореть, и я пойду с ними в леса жить и гореть». Священник прибавил: «Возьми и меня с собой; знать, житье ныне к концу приходит». Дело относится к 1704 г.

Петр Великий

В том же году ладожский стрелец, возвращаясь домой из Новгорода, повстречался с неведомым старцем, который завел с ним такую беседу: «Ныне службы частые; какое ныне христианство! Ныне вера все по-новому: вот у меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут». Когда зашла речь про государя, старец продолжал: «Какой он нам, христианам, государь! Он не государь, а латыш, поста не соблюдает. Он льстец (обманщик), антихрист, рожден от нечистой девицы. Что он головой запрометывает и ногой запинается, и то, знамо, его нечистый дух ломает. Он и стрельцов переказнил за то, что они его еретичество знали, а стрельцы прямые христиане были, не бусурмане. Вот

солдаты – так те все бусурмане, поста не соблюдают; ныне все стали иноземцы, все в немецком платье ходят да в кудрях (париках) и бороду бреют». Стрелец по долгу службы заступился за государя и заметил, что Петр – царь, от царского племени. Но старец возразил: «У него мать нешто царица? Она еретица была, все девок родила». Старец был поморский подвижник древнего благочестия, спасавшийся в лесах. На вопрос стрельца, откуда он, старец отвечал: «Я из Заонежья, из лесов; ко мне летом и дороги нет, а есть только зимой, и то на лыжах». В этом рассказе живо вскрывается настроение умов в Северном Поморье.



Карета Петра I

В 1708 г. ту же легенду встречаем и на юге, в Белгородском уезде (Курской губернии). Два священника разговорились, и один сказал: «Бог знает, что у нас в царстве стало. Вся наша Украина от податей пропала; такие подати стали – уму непостижные, а вот теперь и до нашей братии священников дошло, начали брать с бань, изб, пчел, чего отцы и прадеды не слыхивали; никак, в нашем царстве государя нет?» Этот священник в церковном молитвословии вычитал сведение, что антихрист родится от недоброй связи, жены скверной и девицы мнимой, от колена Данова. Он и задумался над тем, что это за колено Даново и где это родится антихрист, уж не на Руси ли? Однажды пришел к нему отставной прапорщик Белгородского полка Аника Акимыч Попов, человек убогий, промышлявший грамотным промыслом, учивший ребят грамоте. Священник и сообщил ему свое недоумение насчет антихриста: «В миру у нас ныне тяжело стало, а в книгах писано, что скоро родится антихрист от племени Данова». Аника Акимыч подумал и ответил: «Антихрист уже есть; у нас в царстве не государь царствует, а антихрист. Знай себе:

Даново племя – это царское племя, а ведь государь родился не от первой жены, от второй; так и стало, что он родился от недоброй связи, потому что законная жена бывает только первая». Так и пошло сказание о царе-антихристе.

Значение обоих сказаний для реформы. Оба этих сказания, разумеется, ставили народ в самое неблагоприятное отношение к реформе и много вредили ее успеху. Народное внимание было обращено не на те образовательные интересы, которым старался удовлетворить преобразователь, а на те противоцерковные и противонародные замыслы, какие чудились суеверной мысли в его деятельности. При таком отуманенном настроении реформа представлялась народу чем-то чрезвычайно тяжелым, темным. Немногие в народе, видавшие царя на работе, могли оказать лишь слабое противодействие темным толкам и пересудам.

До нас дошли и такие сказания, которые показывают, какое чарующее впечатление преобразователь мог производить на массу своей личностью, своей работой. Один крестьянин Олонецкого края, передавая сказания о Петре, о том, как он бывал на Севере, как он работал, заключил свой рассказ словами: «Вот царь так царь! Даром хлеба не ел, пуще мужика работал». Но такое впечатление досталось в удел только немногим из народа, кто мог наблюдать Петра в его настоящем рабочем виде или кто способен был под оболочкой жестокой власти почуять внутренне нравственную силу, которою приводилась в движение эта видимо беспорядочная и порой опрометчивая деятельность. Один из прибыльщиков (Иван Филиппов) в записке, поданной самому Петру, обронил меткий о нем отзыв, которому может позавидовать историк, – назвал его «многомысленной и беспокойной главой», умеющей понимать того, кто ищет «правды, а народу оборону». Но фантазия народного множества, которому кнут и монах очертили дозволенные пределы мышления, нарядила Петра в самые постылые образы, какие нашлись в хламе ее представлений. Эти легенды питали и нравственно освящали порожденное государственными тягостями и немецкими новшествами общее недовольство всех сословий, о котором говорят свои и чужие наблюдатели, что оно к концу царствования достигло крайнего предела. Однако открытого восстания не ждали, за недостатком вождя и в расчете на рабскую покорность народа. Боевые мятежные силы, какие были налицо, израсходовались на прежние бунты – стрелецкие, астраханский, булавинский.

Разоруженную тяжбу с властью народ перенес теперь в высший суд мирской совести. Вскоре по смерти Петра, стрельцы-раскольники рассказывали: «Когда государь преставлялся, он сам

про себя говорил: “Еще бы мне жить было, да мир меня проклял”». О великих трудах и замыслах Петра на пользу народа в ходячих народных толках не было и помину. Реформа пронеслась над народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой.

Среди своих сотрудников. Мы привыкли представлять себе Петра Великого более дельцом, чем мыслителем. Таким обыкновенно видали его и современники. Жизнь Петра так сложилась, что давала ему мало досуга заранее и неторопливо обдумывать план действий, а темперамент мало внушал и охоты к тому. Спешность дел, неуменье, иногда и невозможность выжидать, подвижность ума, необычайно быстрая наблюдательность – все это приучило Петра задумывать без раздумья, без колебания решаться, обдумывать дело среди самого дела и, чутко угадывая требования минуты, на ходу соображать средства исполнения. В деятельности Петра все эти моменты, так отчетливо различаемые досужим размышлением и как бы рассыпающиеся при раздумье, шли дружно вместе, точно вырастая один из другого, с органически-жизненной неразделимостью и последовательностью. Петр является перед наблюдателем в вечном потоке разнообразных дел, в постоянно деловом общении с множеством людей, среди непрерывной смены впечатлений и предприятий; всего труднее вообразить его наедине с самим собою, в уединенном кабинете, а не в людной и шумной мастерской.

Это не значит, что у Петра не было тех общих руководящих понятий, из которых составляется образ мыслей человека. Только у Петра этот образ мыслей выражался несколько по-своему, не как подробно обдуманный план действий или запас готовых ответов на всевозможные запросы жизни, а являлся случайной импровизацией, мгновенной вспышкой постоянно возбужденной мысли, ежеминутно готовой отвечать на всякий запрос жизни при первой с ним встрече. Мысль его вырабатывалась на мелких подробностях, текущих вопросах практической деятельности, мастеровой, военной, правительственной. Он не имел ни досуга, ни привычки к систематическому размышлению об отвлеченных предметах, а воспитание не развило в нем и наклонности к этому. Но когда среди текущих дел ему встречался такой предмет, он своей прямой и здоровой мыслью составлял о нем суждение так же легко и просто, как его зоркий глаз схватывал структуру и назначение впервые встреченной машины. Но у него всегда были наготове две основы его образа мыслей и действий, прочно заложенные еще в ранние годы под неуловимыми для нас влияниями: это – неослабное чувство долга и вечно напряженная

мысль об общем благе отечества, в служении которому и состоит этот долг. На этих основах держался и его взгляд на свою царскую власть, совсем непривычный древнерусскому обществу, но бывший начальным, исходным моментом его деятельности и вместе основным ее регулятором. В этом отношении древнерусское политическое сознание испытывало в лице Петра Великого крутой перелом, решительный кризис.

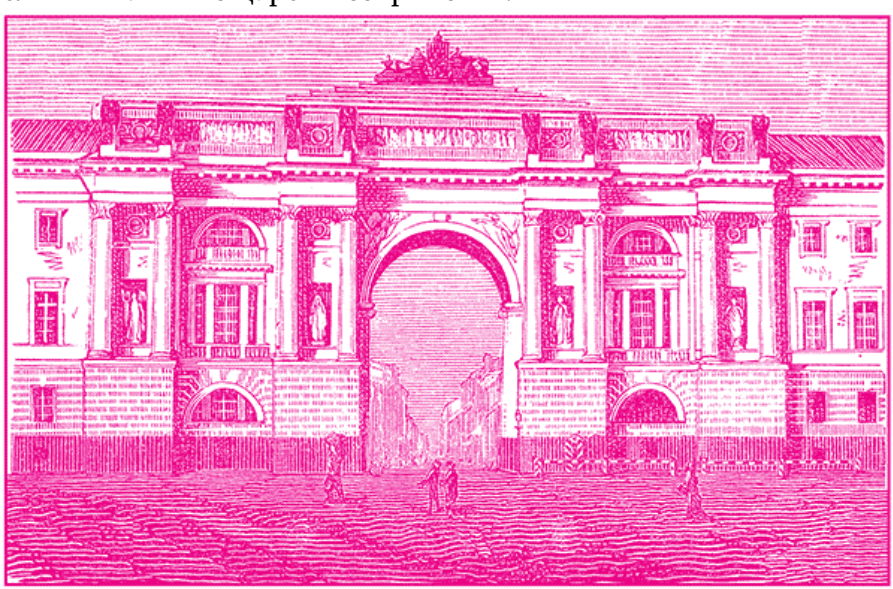
Ближайшие предшественники Петра, московские цари новой династии, родоначальник которой сел на московский престол не по отцовскому завещанию, а по всенародному избранию, конечно, не могли видеть в управляемом ими государстве только свою вотчину, как смотрели на него государи прежней династии. Та династия построила государство из своего частного удела и могла думать, что государство для нее существует, а не она для государства, подобно тому как дом существует для хозяина, а не наоборот. Избирательное происхождение новой династии не допускало такого удельного взгляда на государство, составлявшего основу политического сознания государей Калитина племени. Соборное избрание дало царям нового дома новое основание и новый характер их власти. Земский собор просил Михаила на царство, а не Михаил просил царство у Земского собора. Следовательно, царь необходим для государства, и хотя государство существует не для государя, но без него оно существовать не может.

Идеей власти как основы государственного порядка, суммой полномочий, вытекающих из этого источника, исчерпывалось все политическое содержание понятия о государе. Власть исполняет свое назначение, если только не бездействует, независимо от качества действия. Назначение власти – править, а править – значит приказывать и взыскивать. Как исполнить указ – это дело исполнителей, которые и отвечают перед властью за исполнение. Царь может спросить совета у ближайших исполнителей, своих советников, даже у советных людей всей земли, Земского собора. Это его добрая воля и много-много требование правительственного обычая или политического приличия. Дать совет, подать мнение о деле, когда его спрашивают, – это не политическое право Боярской думы или Земского собора, а их верноподданническая обязанность.

Так понимали и так практиковали свою власть первые цари новой династии. По крайней мере, так понимал и практиковал ее второй из них, царь Алексей, который даже не повторил тех неопределенных, никогда не обнародованных и ничем политически не обеспеченных обязательств, на которых целовал крест боярам – только боярам, а не Земскому собору, – его отец. И

с 1613 по 1682 г. никогда – ни в Боярской думе, ни на Земском соборе – не возникало вопроса о пределах верховной власти, потому что все политические отношения устанавливались на основе, положенной избирательным собором 1613 г. Сами просили на царство, сами давайте и средства царствовать – такова основная нота в грамотах новоизбранного царя Михаила к собору.

Конечно, и по происхождению нового царственного дома, и по общему значению власти в христианском обществе христианская мысль и в составе московского самодержавия XVII в. могла найти идею долга царя как блюстителя общенародного блага и идею если не юридической, то нравственной его ответственности не только перед Богом, но и перед землей. А здравый смысл указывал, что власть не может быть сама себе ни целью, ни оправданием и становится непонятной, как скоро перестает исполнять свое назначение – служить народному благу. Все это, вероятно, чувствовали и московские цари XVII в., особенно такой благодушный и набожный носитель власти, как царь Алексей Михайлович. Но они слабо давали чувствовать все это своим подданным, окруженные в своем дворце тяжелой церемониальной пышностью, при тогдашних, сказать мягко, суровых нравах и приемах управления, являясь перед народом земными богами в неземном величии каких-то царей Ассирийских.



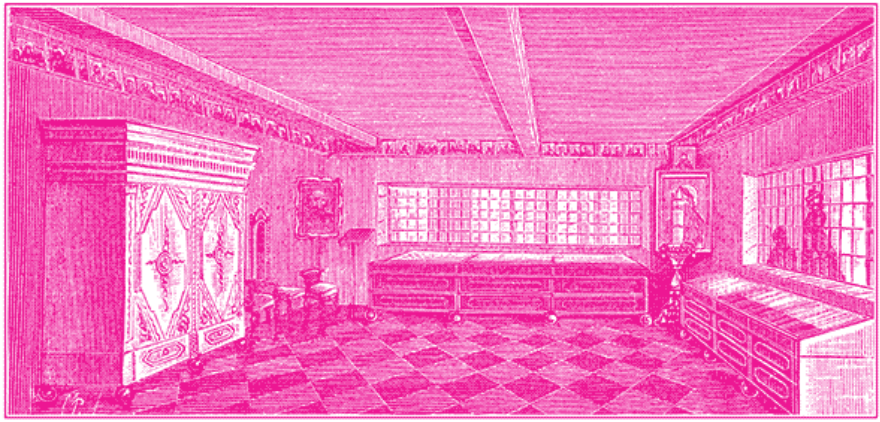
Сенат и Синод в Санкт-Петербурге

Тот же благожелательный царь Алексей, может быть, и сознавал одностороннюю постановку своей власти; но у него

недоставало сил пробиться сквозь накопившуюся веками и плотно окутавшую его толщу условных понятий и обрядностей, чтобы вразумительно показать народу и другую, оборотную, сторону власти. Это и лишало московских государей XVII в. того нравственно-воспитательного влияния на управляемое общество, которое составляет лучшее назначение и высшее качество власти. Своим образом правления, чувствами, какие они внушали управляемым, они значительно дисциплинировали их поведение, сообщали им некоторую наружную выдержку, но слабо смягчали их нравы и еще слабее проясняли их политические и общественные понятия.

В деятельности Петра Великого впервые ярко проявились именно эти народно-воспитательные свойства власти, едва заметно мерцавшие и часто совсем погасавшие в его предшественниках. Трудно сказать, под какими сторонними влияниями или каким внутренним процессом мысли, удалось Петру перевернуть в себе политическое сознание московского государя изнанкой на лицо. Только он в составе верховной власти всего яснее понял и особенно живо почувствовал «долженства», обязанности царя, которые сводятся, по его словам, к «двум необходимым делам правления»: распорядку, внутреннему благоустройству, и обороне, внешней безопасности государства.

В этом и состоит благо отечества, общее благо родной земли, русского народа или государства – понятия, которые Петр едва ли не первый у нас усвоил и выражал со всею ясностью первичных, простейших основ общественного порядка. Самодержавие – средство для достижения этих целей. Нигде и никогда не покидала Петра мысль об отечестве; в радостные и скорбные минуты она ободряла его и направляла его действия, и о своей обязанности служить отечеству, чем только можно, он говорил просто, без пафоса, как о деле серьезном, но естественном и необходимом. В 1704 г. русские войска взяли Нарву, смыв позор первого поражения. На радостях Петр говорил находившемуся в походе сыну Алексею, как необходимо ему, наследнику, для обеспечения торжества над врагом следовать примеру отца, не бояться ни труда, ни опасностей. «Ты должен любить все, что служит ко благу и чести отечества, не щадить трудов для общего блага; а если советы мои разнесет ветер, я не признаю тебя своим сыном».

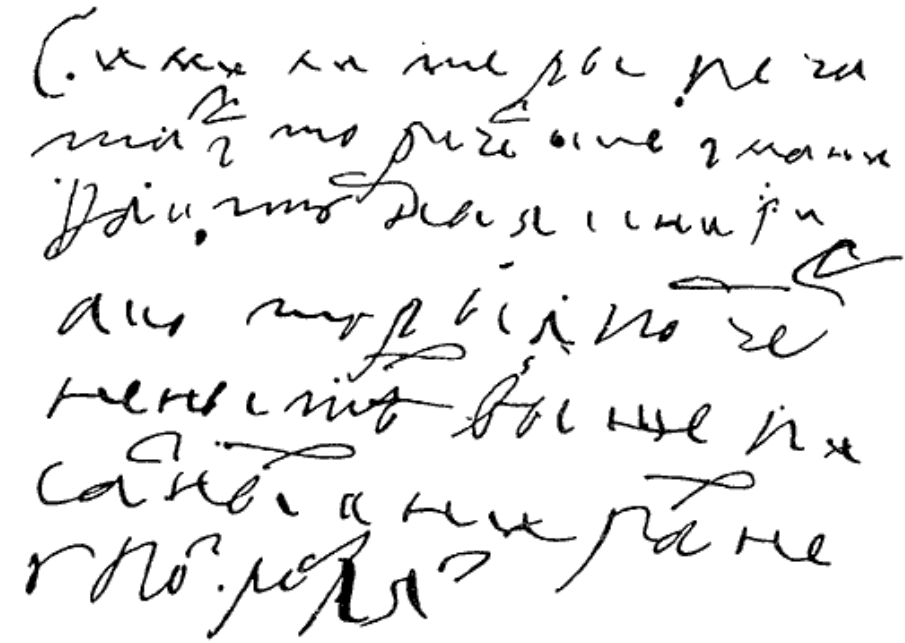


Убранство домика Петра Великого в Петербурге

Впоследствии, когда возникла опасность исполнить эту угрозу, Петр писал царевичу: «За мое отечество и людей моих я живота своего не жалел и не жалею; как могу тебя, непотребного, пожалеть? Ты ненавидишь дела мои, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю». Однажды какой-то знатный господин улыбнулся, видя, с каким усердием Петр, любя дуб, как корабельное дерево, сажал желуди по Петергофской дороге: «Глупый человек, – сказал ему Петр, заметив его улыбку и догадавшись о ее значении, – ты думаешь, не дожить мне до матерых дубов? Да я ведь не для себя тружусь, а для будущей пользы государства». В конце жизни, больным отправившись в дурную погоду осматривать работы на Ладожском канале и усилив болезнь этой поездкой, он говорил лейб-медику Блюментросту: «Болезнь упряма, природа знает свое дело; но и нам надлежит пещись о пользе государства, пока силы есть». Соответственно характеру власти изменилась и ее обстановка: вместо кремлевских палат, пышных придворных обрядов и нарядов – плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице, простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился бы показаться на столичной улице; на самом – простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопаными чулками – все платье, по выражению князя Щербатова, писателя Екатеринина века, «было так просто, что и беднейший человек ныне того носить не станет».

Жить для пользы и славы государства и отечества, не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага – такое сочетание понятий было не вполне ясно для обычного сознания древнерусского человека и мало привычно для его обиходной житейской практики.

Он понимал служение государству и обществу как службу по назначению правительства или по мирскому выбору, смотрел на это как на повинность или как на средство для устройства личного и семейного благополучия. Он знал, что слово Божие заповедует любить ближнего, как самого себя, полагать душу свою за *други своя*. Но под ближними он разумел, прежде всего, своих семейных и родных, как самых близких из ближних; а *другами своими* считал, пожалуй, и всех людей, но только как отдельных людей, а не как общества, в которые они соединены.



Автограф Петра Великого

В минуты всенародного бедствия, когда опасность грозила всем и каждому, он понимал обязанность и мог чувствовать в себе готовность умереть за отечество, потому что, защищая всех, он защищал и самого себя, как каждый из всех, защищая себя, защищал и его. Он понимал общее благо как частный интерес каждого, а не как общий интерес, которому должно жертвовать частным интересом каждого. А Петр именно и не понимал частного интереса, не совпадающего с общим, не понимал возможности замкнуться в кругу частных, домашних дел.

«Что вы делаете дома? – с недоумением спрашивал он иногда окружающих. – Я не знаю, как без дела дома быть», т. е. без дела общественного, государственного. «Горько нам! Он наших нужд не знает, – жаловались на него в ответ на это люди, утомленные его служебными требованиями, постоянно отрывавшими их от домашних дел, – как бы присмотрел он хорошенько за своим

домом да увидел, что либо дров не хватает, либо другого чего, так бы и узнал, что мы дома делаем». Вот это трудное для древнерусского ума понятие об общем благе и усиливался выяснить ему своим примером, своим взглядом на власть и ее отношение к народу и государству Петр Великий.

Этот взгляд служил общей основой законодательства Петра и выражался всенародно в указах и уставах как руководящее правило его деятельности. Но особенно любил Петр высказывать свои взгляды и руководящие идеи в откровенной беседе с приближенными, компании своих «друзей», как он называл их. Ближайшие исполнители должны были знать прежде и лучше других, с каким распорядителем имеют дело и чего он от них ждет и требует. То была столь памятная в нашей истории компания сотрудников, которых подобрал себе преобразователь, – довольно пестрое общество, в состав которого входили и русские, и иноземцы, люди знатные и худородные, даже безродные, очень умные и даровитые и самые обыкновенные, но преданные и исполнительные. Многие из них, даже большинство, и притом самые видные и заслуженные дельцы, были многолетние и ближайшие сотрудники Петра: князь Ф. Ю. Ромодановский, князь М. М. Голицын, Т. Стрешнев, князь Я. Ф. Долгорукий, князь Меншиков, графы Головины, Шереметев, П. Толстой, Брюс, Апраксин. С ними он начинал свое дело; они шли за ним до последних лет Шведской войны, иные пережили Ништадтский мир и самого преобразователя.

Князь Ф. Ю. Ромодановский

Другие, как граф Ягужинский, барон Шафиров, барон Остерман, Волынский, Татищев, Неплюев, Миних, постепенно вступали в редевшие ряды на место раньше выбывших князя Б. Голицына, графа Ф. А. Головина, Шеина, Лефорта, Гордона. Петр набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний. Кто пришел юнгой на португальском корабле, как генерал-полицеймейстер новой столицы Девиер, кто пас свиней в Литве, как рассказывали про первого генерал-прокурора Сената Ягужинского, кто был сидельцем в лавочке, как вице-канцлер Шафиров, кто из русских дворовых людей, как архангельский вице-губернатор, изобретатель гербовой бумаги, Курбатов, кто, как Остерман, был сын вестфальского пастора.

Все эти люди вместе с князем Меншиковым, когда-то, как гласила молва, торговавшим пирогами по московским улицам, встречались в обществе Петра с остатками русской боярской знати. Иноземцы и люди новые, из русских, понимая дело Петра или нет, делали его, не входя в его оценку, по мере сил и усердия, по личной преданности преобразователю или по расчету. Из родовитых людей большинство не сочувствовало ни ему самому, ни его делу. Они были тоже люди преобразовательного направления, только не такого, какое дал реформе Петр. Они желали, чтобы реформа шла так, как повели было ее цари Алексей, Федор и царевна Софья, когда, по выражению князя Б. Куракина, Петрова свояка, «политес восставлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского и в экипажах, и в домовном строении, и в уборах, и в столах», с науками греческого и латинского языка, риторикой и священной философией, учеными киевскими старцами. Вместо того они видели политес с манеру голландского, матросского, с нешляхетскими науками – артиллерией, навтикой, фортификацией, с заграничными инженерами, механиками да с безграмотным и безродным Меншиковым, который всеми ими, родословными боярами, командует, которому даже сам фельдмаршал Б. П. Шереметев вынужден искательно писать: «Как прежде всякую милость получал через тебя, так и ныне у тебя милости прошу».

Граф П. И. Ягужинский

Нелегко было сладить столь разнохарактерный набор в дружную компанию для общей деятельности. Петру досталась трудная задача не только подыскивать годных людей для исполнения своих предприятий, но и воспитывать самих исполнителей. Неплюев впоследствии говорил Екатерине II: «Мы, Петра Великого ученики, проведены им сквозь огонь и воду». Но в этой суровой школе применялись не одни только суровые воспитательные приемы. Посредством раннего и прямого общения Петр приобрел большое уменье распознавать людей даже по одной наружности, редко ошибался в выборе, верно угадывал, кто на что годен. Но, за исключением иностранцев, да и то не всех, люди, подобранные им для своего дела, не становились на указанные им места готовыми дельцами. Это был добротный, но сырой материал, нуждавшийся в тщательной обработке. Подобно своему вождю, они учились на ходу, среди самого дела. Им нужно было все показать, растолковать наглядным опытом, собственным примером, за всяким присмотреть, каждого проверить, иного ободрить, другому дать хорошую острастку, чтоб не дремал, а смотрел в оба.

Притом Петру нужно было приручать их к себе, стать к ним в

простые и прямые отношения, чтобы личной к ним близостью вовлечь в эти отношения их нравственное чувство, по крайней мере, чувство некоторой стыдливости, хотя бы только перед ним одним. И, таким образом, получить возможность действовать не только на ощущение официального страха должностного холопа, но и на совесть как не лишнюю подпорку гражданского долга или, по крайней мере, общественного приличия. В этом отношении, что касается долга и приличия, большинство русских сотрудников Петра вышло из старого русского быта с большими недочетами, а в западноевропейской культуре, при первом знакомстве с нею, им больше всего пришлась по вкусу ее последняя прикладная часть, что ласкала чувства и возбуждала аппетиты. Из этой встречи старых пороков с новыми соблазнами вышла такая нравственная неурядица, которая заставляла многих неразборчивых людей думать, что реформа несет только крушение добрых старых обычаев и ничего лучшего принести не может.

Эта неурядица особенно ярко проявлялась в злоупотреблениях по службе. Свояк Петра князь Б. Куракин в записках о первых годах его царствования рассказывает, что, после семилетнего правления царевны Софьи, веденного «во всяком порядке и правосудии», когда «торжествовало довольство народное», наступило «непорядочное» правление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось «мздоимство великое и кража государственная, что доныне (писано в 1727 г.) продолжается с умножением, а вывести сию язву трудно». Петр жестоко и безуспешно боролся с этой язвой. Многие из видных дельцов с Меншиковым впереди были за это под судом и наказаны денежными взысканиями. Сибирский губернатор князь Гагарин повешен, петербургский вице-губернатор Корсаков пытан и публично высечен кнутом, два сенатора тоже подвергнуты публичному наказанию, вице-канцлер барон Шафиров снят с плахи и отправлен в ссылку, один следователь по делам о казнокрадстве расстрелян.

Про самого князя Я. Долгорукова, сенатора, считавшегося примером неподкупности, Петр говорил, что и князь Яков Федорович «не без причины». Петр ожесточался, видя, как вокруг него играют в закон, по его выражению, словно в карты, и со всех сторон подкапываются «под фортецию правды». Есть известие, что однажды в Сенате, выведенный из терпения этой повальной недобросовестностью, он хотел издать указ вешать всякого чиновника, укравшего хоть настолько, сколько нужно на покупку веревки. Тогда блюститель закона, «око государево», генерал-прокурор Ягужинский встал и сказал: «Разве ваше величество

хотите царствовать один, без слуг и без подданных? Мы все воруем, только один больше и приметнее другого».

Человек снисходительный, доброжелательный и доверчивый, Петр в такой среде стал проникаться недоверием к людям и приобрел наклонность думать, что их можно обуздывать только «жесточью». Он не раз повторял Давидово слово, что *всяк человек есть ложь*, приговаривая: «Правды в людях мало, а коварства много». Такой взгляд отразился и на его законодательстве, столь щедром на жестокие угрозы. Впрочем, дурных людей не переведешь. Раз в кунсткамере он говорит своему лейб-медику Арескину: «Я велел губернаторам собирать монстры (уродов) и присылать к тебе; прикажи заготовить шкафы. Если бы я захотел присылать к тебе монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило; пускай шляются они во всенародной кунсткамере: между людьми они более приметны».

Петр сам сознавал, как трудно очистить столь испорченную атмосферу одной грозой закона, как бы суров он ни был, и вынужден был нередко прибегать к более прямым и коротким способам действия. В письме к непобедимому упрямцу-сыну он писал: «Сколько раз я тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал!» То же «отеческое наказание», как назван в манифесте об отрешении царевича от престолонаследия такой способ исправления, в отличие от «ласки и укоризненного выговора», Петр применял и к своим сподвижникам. Нерасторопным губернаторам, которые в ведении своих дел «зело раку последуют», он назначал последний срок с угрозой, что потом станет уж «не словом, но руками с оными поступать».

В этой ручной политической педагогике нередко появлялась в руках Петра его знаменитая дубинка, о которой так долго помнили и так много рассказывали по личному опыту или со слов испытавших ее на себе отцов русские люди XVIII в. Петр признавал в ней большие педагогические способности и считал ее своей неизменной помощницей в деле политического воспитания своих сотрудников, хотя знал, как трудна ее задача при неподатливости наличного воспитательного материала. Воротясь из Сената, вероятно, после крупного объяснения с сенаторами, и гладя увивающуюся около него любимую свою собачку Лизету, он говорил: «Когда бы упрямцы так же слушались меня в добром деле, как послушна мне Лизета, я не гладил бы их дубиною; собачка догадливее их, слушается и без побой, а в тех заматерелое упрямство». Это упрямство, как спица в глазу, не давало покоя Петру. Занимаясь в токарной и довольный своей работой, он спросил своего токаря Нартова: «Каково я точу?» –

«Хорошо, ваше величество!» – «Так-то, Андрей, кости я точу долотом изрядно, а вот упрямцев обточить дубиной не могу».

Князь А. Д. Меншиков

С царской дубинкой близко знаком был и светлейший князь Меншиков, даже, пожалуй, ближе других сподвижников Петра. Этот даровитый делец занимал совершенно исключительное положение в кругу сотрудников преобразователя. Человек темного происхождения, «породы самой низкой, ниже шляхетства», по выражению князя Б. Куракина, едва умевший расписаться в получении жалованья и нарисовать свое имя и фамилию, почти сверстник Петра, сотоварищ его воинских потех в Преображенском и корабельных занятий на голландских верфях, Меншиков, по отзыву того же Куракина, в милости у царя

«до такого градуса взошел, что все государство правил, почитай, и был такой сильный фаворит, что разве в римских гисториях находят». Он отлично знал царя, быстро схватывал его мысли, исполнял самые разнообразные его поручения, даже по инженерной части, которой совсем не понимал, был чем-то вроде главного начальника его штаба, успешно, иногда с блеском, командовал в боях. Смелый, ловкий и самоуверенный, он пользовался полным доверием царя и беспримерными полномочиями, отменял распоряжения его фельдмаршалов, не боялся противоречить ему самому и оказал Петру услуги, которых он никогда не забывал. Но никто из сотрудников не огорчал его больше, чем этот «мейн липсте фринт» (мой любимый друг) или «мейн герцбрудер» (мой сердечный брат), как называл его Петр в письмах к нему. Данилыч любил деньги, и ему нужно было много денег. Сохранились счета, по которым с конца 1709 по 1711 г. он издержал лично на себя 45 тыс. руб., т. е. около 400 тыс. на наши деньги. И он не стеснялся в средствах добывать деньги, как показывают известия о его многочисленных злоупотреблениях. Бедный преображенский сержант впоследствии имел состояние, которое современники определяли в 150 тыс. руб. поземельного дохода (около 1 300 тыс. на наши деньги), не считая драгоценных каменьев на 1 1/2 млн руб. (около 13 млн) и многомиллионных вкладов в заграничных банках. Петр не был скуп для заслуженного любимца. Но такое богатство едва ли могло составиться из одних царских щедрот да из барышей Беломорской компании моржового промысла, в которой князь состоял пайщиком.

А.П. Волынский

«Зело прошу, – писал ему Петр в 1711 г. по поводу его мелких хищений в Польше, – зело прошу, чтобы вы такими малыми прибытками не потеряли своей славы и кредита». Меншиков и старался исполнить эту просьбу царя, только уж слишком буквально: избегал «малых прибытков», предпочитая им большие.

Через несколько лет следственная комиссия по делу о злоупотреблениях князя сделала на него начет более 1 млн руб. (около 10 млн на наши деньги). Петр сложил значительную часть этого начета. Но такая нечистота на руку выводила его из терпения. Царь предостерегал князя: «Не забывай, кто ты был и из чего сделал я тебя тем, каков ты теперь». В конце своей жизни, прощая ему новые вскрывшиеся хищения, он говорил всегдашней его заступнице, императрице: «Меншиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой; если не исправится, быть ему без головы». Кроме заслуг, чистосердечного раскаяния и ходатайства Екатерины, в таких случаях выручала Меншикова из беды и царская дубинка, покрывавшая забвением грех наказанного.

Но и царская дубинка о двух концах: исправляя грешника одним концом, она другим роняла его во мнении общества. Петру

нужны были дельцы с авторитетом, которых бы уважали и слушались подчиненные; а какое уважение мог внушать битый царем начальник? Петр надеялся устранить это деморализующее действие своей исправительной дубинки, делая из нее строго келейное употребление в своей токарной. Нартов рассказывает, что он часто видел, как здесь государь знатных чинов людей потчевал за вины дубинкою, как они после того с веселым видом выходили в другие комнаты и в тот же день приглашаемы были к государеву столу, чтобы посторонние ничего не заметили. Не всякий виноватый удостаивался дубинки: она была знаком известной близости, доверия к наказуемому. Потому испытавшие такое наказание вспоминали о нем без горечи, как о милости, даже когда считали себя наказанными незаслуженно.

А. П. Волынский после рассказывал, как во время Персидского похода, на Каспийском море Петр, по наговорам недругов, прибил его, бывшего тогда астраханским губернатором, тростью, заменявшей дубинку в ее отсутствие, и только императрица «до больших побой милостиво довести не изволила». «Но, – добавлял рассказчик, – государь изволил наказать меня, как милостивый отец сына, своею ручкою, и назавтра сам всемилостивейше изволил в том обмыслиться, что вины моей в том не было, милосердуя, раскаялся и паки изволил меня принять в прежнюю свою высокую милость». Петр наказывал так лишь тех, кем дорожил и кого надеялся исправить этим средством. На доклад об одном корыстном поступке все того же Меншикова Петр отвечал: «Вина не малая, да прежние заслуги больше ее», подверг князя денежному взысканию, а в токарной прибил его дубиной при одном Нартове и выпроводил со словами: «В последний раз дубина; впредь смотри, Александр, берегись!»

Но когда добросовестный делец ошибался, делал невольный промах и ждал грозы, Петр спешил утешить его как утешают в несчастье, умаляя неудачу. В 1705 г. Б. Шереметев испортил порученную ему стратегическую операцию в Курляндии против Левенгаупта и был в отчаянии. Петр взглянул на дело просто, как на «некоторый несчастливый случай», и писал фельдмаршалу: «Не извольте о бывшем несчастии печальны быть, понеже всегдашняя удача многих людей ввела в пагубу, но забывать и паче людей ободривать».

Б.П. Шереметев

Петр не успел стряхнуть с себя дочиста древнерусского человека с его нравами и понятиями даже тогда, когда воевал с ними. Это сказывалось не только в отеческой расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например, в надежде искоренить заблуждения в народе, выгоняя кнутом бесов из ложнобеснующихся – «хвост-де кнута длиннее хвоста бесовского», или в способе лечения зубов у жены своего камердинера Полубоярова. Камердинер жаловался Петру, что жена с ним неласкова, ссылаясь на зубную боль. – «Хорошо, я полечу ее». Считая себя достаточно опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубоврачебный прибор и зашел к камердинерше в отсутствие мужа. «У тебя, слышал я, зуб болит?» – «Нет, государь, я здорова». – «Неправда, ты трусишь». Та, оробев, признала у себя болезнь, и Петр выдернул у нее здоровый зуб, сказав: «Помни, что жена да боится своего мужа, иначе будет без зубов». – «Вылечил!» – с усмешкой заметил он мужу, воротившись во дворец.

П.А. Толстой

При уменье Петра обращаться с людьми, когда нужно, властно или запросто, по-царски или по-отечески, келейные поучения вместе с продолжительным общением в трудах, горях и радостях устанавливали известную близость отношений между ним и его сотрудниками. А участливая простота, с какою он входил в частные дела близких людей, придавала этой близости отпечаток задушевной короткости. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр, по обыкновению, или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив. Любил и вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную, умную беседу и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче – ссор ибрани. Провинившегося тотчас наказывали, заставляли пить штраф – опорожнить бокала три вина или одного «орла» (большой ковш), чтоб «лишнего не врал и не задирал».

П. Толстой долго помнил, как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся чересчур неосторожно расхваливать Италию. Ему и в другой раз пришлось пить штраф, только уже за излишнюю осторожность. Некогда, в 1682 г., как агент царевны

Софьи и Ивана Милославского, он сильно замешался в стрелецкий бунт и едва удержал голову на плечах, но вовремя покаялся, получил прощение, умом и заслугами вошел в милость и стал видным дельцом, которым Петр очень дорожил. Однажды на пирушке у корабельных мастеров, подгуляв и разблагодушествовавшись, гости принялись запросто выкладывать царю, что у каждого лежало на дне души. Толстой, незаметно уклонившийся от стаканов, сел у камелька, задремал, точно во хмелю, опустил голову и даже снял парик, а между тем, покачиваясь, внимательно прислушивался к откровенной болтовне собеседников царя. Петр, по привычке ходивший взад и вперед по комнате, заметил уловку хитреца и, указывая на него присутствующим, сказал: «Смотрите, повисла голова – как бы с плеч не свалилась». – «Не бойтесь, ваше величество, – отвечал вдруг очнувшийся Толстой, – она вам верна и на мне тверда». – «А! Так он только притворился пьяным, – продолжал Петр, – поднесите-ка ему стакана три доброго флина (гретого пива с коньяком и лимонным соком), – так он поравняется с нами и так же будет трещать по-сорочьи». И, ударяя его ладонью по плеши, продолжал: «Голова, голова! Кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел».

Франц Лефорт

Щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум. Флотского лейтенанта Мишукова Петр очень любил и ценил за знание морского дела и ему первому из русских доверил целый фрегат. Раз – это было еще до дела царевича Алексея – на пиру в Кронштадте, сидя за столом возле государя, Мишуков, уже порядочно выпивший, задумался и вдруг заплакал. Удивленный государь с участием спросил, что с ним. Мишуков откровенно и во всеуслышание объяснил причину своих слез: место, где сидят они, новая столица, около него построенная, балтийский флот, множество русских моряков, наконец, сам он, лейтенант Мишуков, командир фрегата, чувствующий, глубоко чувствующий на себе милости государя, – все это создание его государевых рук; как вспомнил он все это да подумал, что здоровье его, государя, все слабеет, так и не мог удержаться от слез. «На кого ты нас покинешь?» – добавил он. – «Как на кого? – возразил Петр, – у меня есть наследник – царевич». – «Ох, да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка; но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак! – заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове, – того при всех не говорят».

Участники этих досужих товарищеских бесед уверяют, что самодержавный государь, тогда как бы исчезал в веселом госте или радушном хозяине, хотя мы, зная рассказы про вспыльчивость Петра, скорее расположены думать, что благодушные его собеседники должны были чувствовать себя подобно путешественникам, любующимся видами с вершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости, и грозные вспышки. В 1698 г. на пиру у Лефорта Петр едва не заколол шпагой генерала Шеина, вспылив на него за торговлю офицерскими местами в своем полку. Лефорт, удержавший раздраженного царя, поплатился за это раной. Однако, несмотря на подобные случаи, видно, что гости на этих собраниях все-таки чувствовали себя весело и непринужденно. Корабельные мастера и флотские офицеры, подбадриваемые радушным потчеванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались, клялись ему в своей любви и усердии, за что получали соответственные выражения признательности.

Частное, не официальное обхождение с Петром облегчалось

одной новостью, заведенной еще во время потех в Преображенском и вместе со всеми потехами превратившейся незаметно в прямое дело. Верный рано усвоенному правилу, что руководитель должен прежде и лучше руководимых знать дело, в котором он ими руководит. И вместе с тем, желая показать собственным примером, как надо служить, Петр, заводя регулярно армию и флот, сам проходил сухопутную и морскую службу с низших чинов. Он был барабанщиком в роте Лефорта, бомбардиром и капитаном, дослужился до генерал-лейтенанта и даже до полного генерала. При этом он позволял производить себя в высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского.

Н. Каразин. **Петр I экзаменует учеников, возвратившихся из-за границы**

Современники описывают торжественное пожалование Петра в вице-адмиралы за морскую победу при Гангуте в 1714 г., где он в чине контр-адмирала командовал авангардом и взял в плен командира шведской эскадры Эреншильда с его фрегатом и несколькими галерами. Среди полного собрания Сената восседал на троне князь-кесарь. Позван был контр-адмирал, от которого князь-кесарь принял письменный рапорт о победе. Рапорт был прочитан всему Сенату. Следовали устные вопросы победителю и другим участникам победы. Затем сенаторы держали совет. В заключение контр-адмирал, «в рассуждении верно оказанные и храбрые службы отечеству», единогласно провозглашен вице-адмиралом. Однажды, на просьбу нескольких военных о повышении их чинами, Петр не шутя отвечал: «Постараюсь, только как заблагорассудит князь-кесарь. Видите, я и о себе

просить не смею, хотя отечеству с вами послужил верно; надо выбрать удобный час, чтоб его величество не прогневать; но что ни будет, я за вас ходатай, хоть и рассердится; помолимся прежде Богу, авось, дело сладится».

Стороннему наблюдателю все это могло показаться пародией, шуткой, если не шутовством. Петр любил мешать шутку с серьезным, дело с бездельем; только у него обыкновенно выходило при этом так, что безделье превращалось в дело, а не наоборот. У него ведь и регулярная армия незаметно выросла из шуточных полков, в которые он играл в Преображенском и Семеновском. Нося армейские и флотские чины, он действительно служил, точно исполнял служебные обязанности и пользовался служебными правами, получал и расписывался в получении присвоенного чину жалованья, причем говаривал:

«Эти деньги – мои собственные; я их заслужил и могу употреблять, как хочу; но с государственными доходами надо поступать осторожно: в них я должен дать отчет Богу».

Службой Петра по армии и флоту с ее кесарским чинопроизводством создавалась форма обращения, упрощавшая и облегчавшая отношения царя к окружающим. В застольной компании, в частных, внеслужебных делах, обращались к сослуживцу, товарищу по полку или фрегату, «басу» (корабельному мастеру) или капитану Петру Михайлову, как звался царь по морской службе. Становилась возможна доверчивая близость без панибратства. Дисциплина не колебалась, напротив, получала опору во внушительном примере: опасно было шутить службой, когда ею не шутил сам Петр Михайлов.

В своих воинских инструкциях Петр предписывал капитану с солдатами «братства не иметь», не брататься: это повело бы к поблажке, распущенности. Обращение самого Петра с окружающими не могло повести к такой опасности: в нем было слишком много царя для того. Близость к нему упрощала обхождение с ним, могла многому научить добросовестного и понятливого человека; но она не баловала, а обязывала, увеличивала ответственность приближенного. Он высоко ценил талант и заслугу и много грехов прощал даровитым и заслуженным сотрудникам. Но ни за какие таланты и заслуги не ослаблял он требований долга. Напротив, чем выше ценил он дельца, тем взыскательнее был к нему, и тем доверчивее полагался на него, требуя не только точного исполнения своих распоряжений, но, где нужно, и действий на свой страх, по собственному соображению и почину, строго предписывая, чтобы в донесениях ему отнюдь не было привычного «как изволишь».

Никого из своих сотрудников не уважал он больше эрестферского и гумельсгофского победителя шведов Б. Шереметева, встречал и провожал его, по выражению очевидца, не как подданного, а как гостя-героя; но и тот нес на себе всю тяжесть служебного долга. Предписав осторожному и медлительному, к тому же не совсем здоровому фельдмаршалу ускоренный марш в 1704 г., Петр не дает ему покоя своими письмами, настойчиво требуя: «Иди днем и ночью, а если так не учинишь, не изволь на меня впредь пенять». Сотрудники Петра хорошо понимали смысл такого предостережения. Потом, когда Шереметев, не зная, что делать, за неимением инструкций, отвечал на запрос царя, что, согласно указу, никуда идти не смеет, Петр с укоризненной иронией писал ему, что он похож на слугу, который, видя, что хозяин его тонет, не решается его спасать, пока не справится, прописано ли у него в наемном контракте вытаскивать из воды утопающего хозяина. К другим генералам, в случае их неисправности, Петр обращался уже без всякой иронии, с суровой прямотой. В 1705 г., задумав нападение на Ригу, он запретил пропускать туда Двиной товары. Князь Репнин по недоразумению пропустил лес и получил от Петра письмо с такими словами: «Herr, сегодня получил я ведомость о вашем толь худом поступке, за что можешь шеею заплатить; впредь же, аще единая щепа пройдет, ей-Богом клянусь, без головы будешь».

Зато и умел Петр ценить своих сподвижников. Он уважал в них столько же таланты и заслуги, сколько и нравственные качества, особенно преданность, и это уважение считал одною из первейших обязанностей государя. За своим обеденным столом он пивал тост «за здравие тех, кто любит Бога, меня и отечество», и сыну вменял в непременную обязанность любить верных советников и слуг, будут ли они свои или чужие.

Князь Ф. Ю. Ромодановский, страшный начальник тайной полиции, «князь-кесарь» в шуточной компанейской иерархии, «собою видом как монстра, нравом злой тиран», по отзыву современников, или просто «зверь», как величал его сам Петр в минуты недовольства им, не отличался особенно выдающимися способностями, только «любил пить непрестанно и других поить да ругаться»; но он был предан Петру, как никто другой, и за то пользовался его безмерным доверием и, наравне с фельдмаршалом Б. П. Шереметевым, имел право входить в кабинет Петра без доклада – преимущество, которое не всегда имел даже сам «полудержавный властелин» Меншиков. Уважение к заслугам своих сотрудников иногда получало у Петра задушевно-теплое выражение. Раз, в разговоре с лучшими своими

генералами, Шереметевым, М. Голицыным и Репниным, о славных полководцах Франции, он с одушевлением сказал: «Слава Богу, дожил я до своих Тюреннов, только вот Сюллия у себя еще не вижу». Генералы поклонились и поцеловали у царя руку, а он поцеловал их в лоб.

Своих сподвижников Петр не забывал и на чужбине. В 1717 г., осматривая укрепления Намюра в обществе офицеров, отличившихся в войне за Испанское наследство, Петр был чрезвычайно доволен их беседой, сам рассказывал им об осадах и сражениях, в которых участвовал, и с сияющим от радости лицом сказал коменданту: «Словно я нахожусь теперь в отечестве, среди своих друзей и офицеров». Вспомнив раз о покойном Шереметеве (умер в 1719 г.), Петр, вздохнув, с грустным предчувствием сказал окружающим: «Нет уже Бориса Петровича, скоро не будет и нас; но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России». Незадолго до своей смерти он мечтал соорудить памятники своим покойным военным сподвижникам – Лефорту, Шеину, Гордону, Шереметеву, говоря о них: «Сии мужи верностию и заслугами вечные в России монументы». Ему хотелось поставить эти памятники в Александро-Невском монастыре под сению древнего святого князя, Невского героя. Рисунки памятников были уже отправлены в Рим к лучшим скульпторам, но, за смертию императора, дело не состоялось.

Воспитывая себе дельцов самым обхождением с ними, требованиями служебной дисциплины, собственным примером, наконец, уважением к таланту и заслуге, Петр хотел, чтобы его сотрудники ясно видели, во имя чего он требует от них таких усилий, и хорошо понимали как его самого, так и дело, которое вели по его указаниям, хотя бы только понимали, если уж не могли в душе сочувствовать ни ему самому, ни его делу. Да и самое это дело было настолько серьезно само по себе и так чувствительно всех задевало, что поневоле заставляло над ним задумываться. «Трехвременная жестокая школа», как называл Петр длившуюся три школьных семилетия Шведскую войну, приучала всех проходивших ее учеников, как и самого учителя, ни на минуту не выпускать из виду тяжелых задач, какие она ставила на очередь, отдавать себе отчет в ходе дел, подсчитывать добытые успехи, запоминать и соображать полученные уроки и допущенные ошибки.

В досужие часы, иногда и за пиршественным столом, в возбужденном и приподнятом настроении по случаю какого-нибудь радостного события, в обществе Петра и завязывались беседы о таких предметах, к каким редко обращаются в минуты отдыха много занятые люди. Современники записали почти

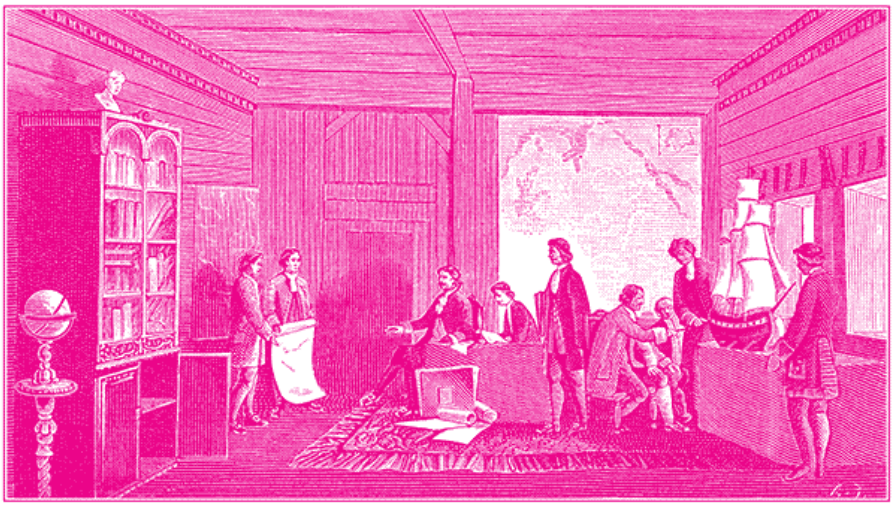
только монологи самого царя, который обыкновенно и заводил эти разговоры. Но едва ли где еще можно найти более явственное выражение того, о чем хотел Петр заставить думать и как настроить свое общество. Содержание бесед было довольно разнообразно: говорили о Библии, мощах, безбожниках, народных суевериях, Карле XII, заграничных порядках. Иногда среди собеседников заходила речь и о предметах, более им близких, практических, о начале и значении того дела, которое они делали, планах будущего, что им предстоит еще сделать. Тут-то и сказывалась в Петре та скрытая духовная сила, которая поддерживала его деятельность и обаянию которой волей-неволей подчинялись его сотрудники. Видим, как война и возбуждаемая ею реформа поднимала их, напрягала мысль, воспитывала политическое сознание.

Петр, особенно к концу царствования, очень интересовался прошлым своего отечества, заботился о собирании и сохранении исторических памятников, говорил ученому Феофану Прокоповичу: «Когда же мы увидим полную историю России?», неоднократно заказывал написать общедоступное руководство по русской истории. Изредка мимоходом вспоминал он в беседах, как начиналась его деятельность, и раз в этих воспоминаниях мелькнула древняя русская летопись. Казалось бы, какое участие могла принять в его деятельности эта летопись? Но в деловом уме Петра каждое приобретаемое знание, каждое набегающее впечатление получало практическую обработку.

Он начинал эту деятельность под гнетом двух наблюдений, вынесенных им из знакомства с положением России, как только он начал понимать его. Он видел, что Россия лишена тех средств внешней силы и внутреннего благосостояния, какие дают просвещенной Европе знание и искусство; видел также, что шведы и турки с татарами лишали ее самой возможности заимствовать эти средства, отрезав ее от европейских морей: «Разумным очам, – как он писал сыну, – к нашему нелюбозрению добрый задернули завес и со всем светом коммуникацию пресекли». Вывести Россию из этого двойного затруднения, пробиться к европейскому морю и установить непосредственное общение с образованным миром, сдернуть с русских глаз наброшенную на них неприятелем завесу, мешающую им видеть то, что им хочется видеть, – это была первая, хорошо выясненная и твердо поставленная цель Петра.

Однажды, в присутствии графа Шереметева и генерал-адмирала Апраксина, Петр рассказывал, что в ранней молодости он читал летопись Нестора и оттуда узнал, как Олег посылал на судах войско под Царьград. С этих пор запало в нем желание

сделать то же против врагов христианства, вероломных турок, и отомстить им за обиды, какие они вместе с татарами наносили России. Эта мысль окрепла в нем, когда во время поездки в Воронеж в 1694 г., за год до первого Азовского похода, обозревая течение Дона, он увидел, что этой рекой, взяв Азов, можно выйти в Черное море, и решил завести в пригодном месте кораблестроение. Точно так же первое посещение города Архангельска породило в нем охоту завести и там строение судов для торговли и морских промыслов. «И вот теперь, – продолжал он, – когда при помощи Божией у нас есть Кронштадт и Петербург, а вашей храбростью завоеваны Рига, Ревель и другие приморские города, строящимися у нас кораблями мы можем защищаться от шведов и других морских держав. Вот почему, друзья мои, полезно государю путешествовать по своей земле и замечать, что может служить к пользе и славе государства». В конце жизни, осматривая работы на Ладожском канале и довольный их ходом, он говорил строителям: «Видим, как Невой ходят к нам суда из Европы; а когда кончим вот этот канал, увидим, как нашей Волгой придут торговать в Петербург и азиаты».



Корабль «Предестинация», построенный Петром в Воронеже в 1698–1700 гг.

С гравюры Схонбека. 1701 г.

А. Моравов. **Прорытие Ладожского канала**

План канализации России был одною из ранних и блестящих идей Петра, когда это дело было еще новостью и на Западе. Он мечтал, пользуясь речной сетью России, соединить все моря, примыкающие к русской равнине, и таким образом сделать Россию торговой и культурной посредницей между двумя мирами, Западом и Востоком, Европой и Азией. Вышневолоцкая система, замечательная по остроумному подбору вошедших в нее рек и озер, осталась единственным законченным при Петре опытом осуществления задуманного грандиозного плана. Он смотрел еще дальше, за пределы русской равнины, за Каспий, куда посылал экспедицию князя Бековича-Черкасского, между прочим, с целью разведать и описать сухой и водный, особенно водный, путь в Индию. За несколько дней до смерти, вспомнил он давнюю свою мысль об отыскании дороги в Китай и Индию Ледовитым океаном. Уже страдая предсмертными припадками, он спешил написать инструкцию Камчатской экспедиции Беринга, которая должна была расследовать, не соединяется ли Азия на северо-востоке с Америкой, – вопрос, на который давно уже и настойчиво обращал внимание Петра Лейбниц. Передавая документ Апраксину, он говорил: «Нездоровье заставило меня сидеть дома; на днях я вспомнил, о чем думал давно, но чему другие дела мешали, – о дороге в Китай и Индию. В последнюю поездку мою за границу ученые люди там говорили мне, что

найти эту дорогу возможно. Но будем ли мы счастливее англичан и голландцев? Распорядись за меня, Федор Матвеевич, все исполнить по пунктам, как написано в этой инструкции».

Чтобы быть умелой посредницей между Азией и Европой, России, естественно, надлежало не только знать первую, но и обладать знаниями и искусствами последней. На беседах, разумеется, заходила речь и об отношении к Европе, к иноземцам, приходившим оттуда в Россию. Этот вопрос давно, чуть не весь XVII век, занимал русское общество. Петра, с первых лет царствования по извержении Софьи, сильно осуждали за привязанность к иноземным обычаям и к самим иноземцам. В Москве и Немецкой слободе много было толков о почестях, с какими Петр в 1699 г. хоронил Гордона и Лефорта. Он ежедневно навещал больного Гордона, оказавшего ему большие услуги в Азовских походах и во второй стрелецкий мятеж 1697 г., сам закрыл глаза покойнику и поцеловал его в лоб; при погребении, бросив землю на опущенный в могилу гроб, Петр сказал предстоящим: «Я даю ему только горсть земли, а он мне дал целое пространство с Азовом». Еще с большей горестью хоронил Петр Лефорта: сам шел за его гробом, обливался слезами, слушая надгробную проповедь реформатского пастора, восхвалявшего заслуги покойного адмирала, и прощался с ним в последний раз с сокрушением, вызвавшим крайнее удивление присутствовавших иностранцев; а на похоронном обеде сделал целую сцену русским боярам. Они не особенно скорбели о смерти царского любимца, и некоторые из них, пользуясь минутной отлучкой царя, пока накрывали поминальный стол, спешили убраться из дома, но на крыльце наткнулись на возвращавшегося Петра. Он рассердился и, воротив их в зал, приветствовал речью, в которой говорил, что понимает их побег, что они боятся выдать себя, не надеясь выдержать за столом притворную печаль. «Какие ненавистники! Но я научу вас почитать достойных людей. Верность Франца Яковлевича пребудет в сердце моем, доколе я жив, и по смерти понесу ее с собою в могилу!» Но Гордон и Лефорт были исключительные иностранцы: Петр ценил их за преданность и заслуги, как потом ценил Остермана за таланты и знания. С Лефортом он был связан еще личной дружбой и преувеличивал достоинства «дебошана французского», как назвал его князь Б. Куракин; готов был даже признать его начинателем своей военной реформы. «Он начал, а мы довершили», – говаривал о нем Петр впоследствии (за то и пошел в народе слух, что Петр был сын «Лаферта да немки беззаконной», подкинутый царице Наталье). Но к иностранцам вообще Петр относился разборчиво и без увлечения. В первые годы деятельности, заводя новые дела

военные и промышленные, он не мог обойтись без них как инструкторов, сведущих людей, каких не находил между своими, но при первой возможности старался заменять их русскими. Уже в манифесте 1705 г. он прямо признается, что дорого стоившими наемными офицерами «желаемого не возмогли достигнуть», и предписывает более строгие условия приема их на русскую службу. Паткуль сидел в крепости за растрату денег, назначенных на русское войско; а с наемным австрийским фельдмаршалом Огильви, человеком деловитым, но «дерзновенником и досадителем», как называл его Петр, он кончил тем, что приказал его арестовать и потом «с неприязнью» отослать обратно.

Столь же расчетливо было отношение Петра и к иноземным обычаям, как оно сказывалось в беседах. Раз, при шутливом столкновении с князем-кесарем из-за длинного бешмета, в каком Ромодановский приехал в Преображенское, Петр сказал, обращаясь к присутствовавшим гвардейцам и знатным господам: «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов; они не могли ни работать хорошо ружьем, ни маршировать. Для того-то велел я Лефорту пообрезать сперва зипуны и зарукавья, а потом сделать новые мундиры по европейскому обычаю. Старая одежда больше похожа на татарскую, чем на сродную нам легкую славянскую; не годится являться на службу в спальном платье». Петру же приписывали и обращенные к боярам слова о брадобритии, отвечающие обычному тону его речи и образу мыслей: «Наши старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в Царство Небесное, хотя оно отверсто для всех честных людей, с бородами ли они или без бород, с париками или плешивые». Петр видел только дело приличия, удобства или суеверия в том, чему старорусское общество придавало значение религиозно-национального вопроса, и ополчался не столько против самых обычаев русской старины, сколько против суеверных представлений, с ними соединенных, и упрямства, с каким их отстаивали.

Это старорусское общество, так ожесточенно обвинявшее Петра в замене добрых старых обычаев дурными новыми, считало его беззаветным западником, который предпочитает все западноевропейское русскому не потому, что оно лучше русского, а потому, что оно не русское, а западноевропейское. Ему приписывали увлечения, столь мало сродные его рассудительному характеру. По случаю учреждения в Петербурге ассамблей, очередных увеселительных собраний в знатных домах, кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры светского обхождения. Петр, видавший Париж, возразил: «Хорошо перенимать у французов науки и художества, и я бы

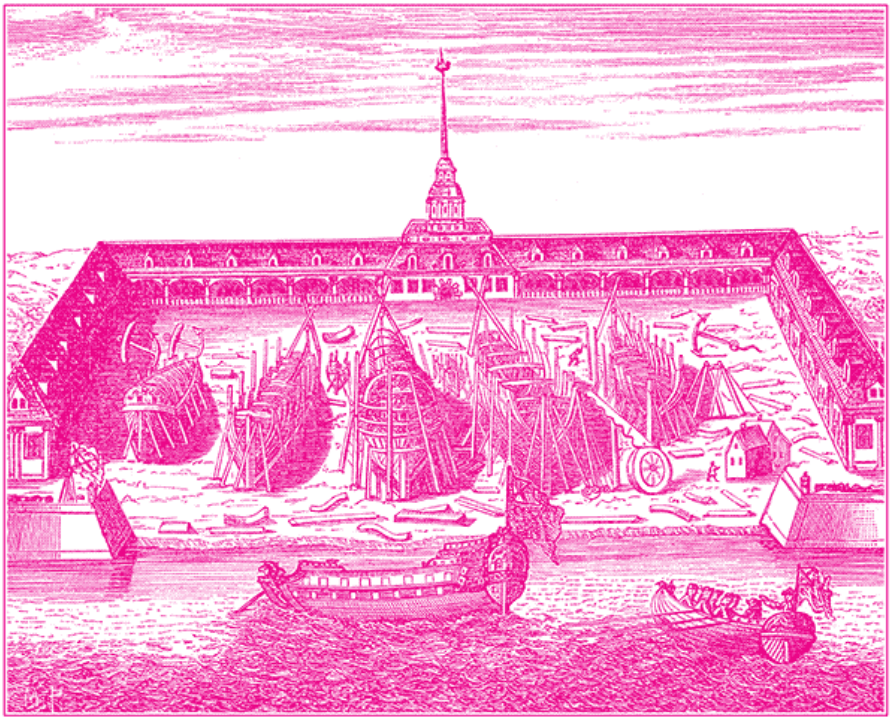
хотел видеть это у себя; а в прочем Париж воняет». Он знал, что хорошо в Европе, но никогда не обольщался ею, и то хорошее, что удалось перенять оттуда, считал не ее благосклонным даром, а милостью Провидения. В одной собственноручной программе празднования годовщины Ништадтского мира он предписывал возможно сильнее выразить мысль, что иностранцы всячески старались не допустить нас до света разума, да проглядели, точно в глазах у них помутилось, и он признавал это чудом Божиим, содеянным для русского народа. «Сие пространно развести надлежит, – гласила программа, – чтоб сенсу (смыслу) было довольно». Предание донесло отзвук одной беседы Петра с приближенными об отношении России к Западной Европе, когда он будто бы сказал: «Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом».

В чем сущность реформы, что она сделала и что ей предстоит еще сделать? Эти вопросы все более занимали Петра по мере того, как облегчалась тяжесть Шведской войны. Военные опасности всего более ускоряли движение реформы. Поэтому главное ее дело было военное, «чем мы от тьмы к свету вышли и, прежде незнаемые в свете, ныне почитаемы стали», – как писал Петр сыну в 1715 г. А что дальше? На одной беседе, живо рисующей отношения Петра к сотрудникам и сотрудников друг к другу, на этот вопрос пришлось отвечать князю Я. Ф. Долгорукому, самому правдивому законоведу своего времени, нередко смело споривше му с Петром в Сенате. За эти споры Петр иногда досадовал на Долгорукого, но всегда уважал его. Раз, воротившись из Сената, он говорил о князе: «Князь Яков в Сенате прямой мне помощник: он судит дельно и мне не потакает, без краснобайства режет прямо правду, несмотря на лицо».

В 1717 г. блеснула, наконец, надежда на скорое окончание тяжелой войны, чего Петр желал нетерпеливо: в Голландии открылись предварительные переговоры о мире со Швецией и был назначен конгресс на Аландских островах. В этом году раз, сидя за столом, на пиру со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, его делах в Польше, затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоем порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подошедши к князю Я. Ф. Долгорукому и став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и

так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду».

Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь начал так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом – твой отец. Три главные дела у царей: первое – внутренняя расправа и правосудие; это – ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело – военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать; конец твоей войны прямо нам это покажет. Третье дело – устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что мудрые государи умеют и умных советников выбирать, и верность их наблюдать.



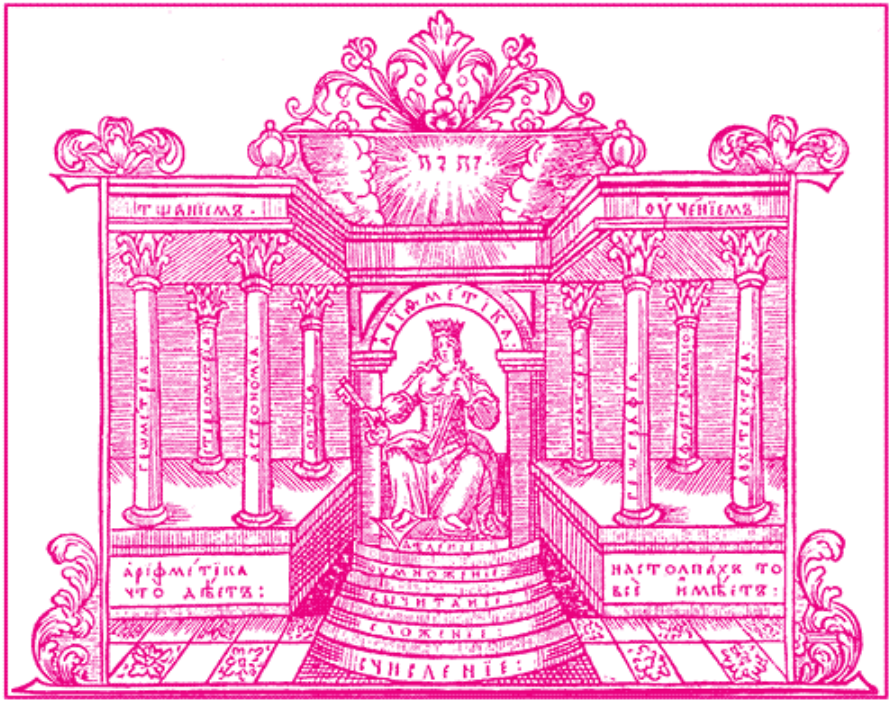
Адмиралтейство. *С гравюры 1716 г.*

Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить».

Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: «Благий рабе верный! Вмале был еси мне верен, над многими тя поставлю». «Меншикову и другим сие весьма было прискорбно, – так заканчивает свой рассказ Татищев, – и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели». Скоро представился и удобный к тому случай. В 1718 г. следственное дело о царевиче вскрыло предосудительные сношения с ним одного из князей Долгоруких и дерзкие слова его о царе. Беда потерять доброе имя грозила фамилии. Но энергическое оправдательное письмо старшего в роде, князя Якова, к Петру, уваженное царем, помогло провинившемуся избавиться от розыска, фамилии от бесчестья носить звание «злодейского рода».

Петра занимало не соперничество с отцом, не счеты с прошедшим, а результаты настоящего, оценка своей деятельности. Он одобрил все, сказанное на пиру князем Яковом, согласился, что на ближайшей очереди реформы стало устройство внутренней расправы, обеспечение правосудия. Отдавая предпочтение в этом деле отцу, князь Долгорукий имел в

виду его законодательство, особенно Уложение. Как практический законовед, он лучше многих понимал и значение этого памятника для своего времени, и его устарелость во многом для настоящего. Но и Петр не хуже Долгорукого сознавал это, и сам возбудил вопрос об этом задолго до беседы 1717 г., еще в 1700 г. приказав пересмотреть и пополнить Уложение новоизданными узаконениями, а потом, в 1718 г., вскоре после описанной беседы, предписал свести русское Уложение со шведским. Но ему не удалось это дело, как не удавалось оно и после него целое столетие. Князь Долгорукий не договаривал, говорил не все, что, по мысли Петра, было нужно. Законодательство – только часть предстоявшего дела. Пересмотр Уложения заставил обратиться к шведскому законодательству, в надежде найти там готовые нормы, выработанные наукой и опытом европейского народа. Так было и во всем. Для удовлетворения домашних нужд спешили воспользоваться произведениями знания и опыта европейских народов, готовыми плодами чужой работы. Но не все же брать готовые плоды чужого знания и опыта, теории и техники, того, что Петр называл «науками и искусствами». Это значило бы вечно жить чужим умом, «подобно молодой птице в рот смотреть», по выражению Петра. Необходимо пересадить самые корни на свою почву, чтобы они дома производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духовной и материальной силы европейских народов. Это была всегдашняя мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы. Она нигде и никогда не выходила у него из головы. Осматривая «вонючий» Париж, он думал, о том, как бы видеть у себя такой же расцвет наук и искусств. Рассматривая проект своей Академии наук, он при Блументросте, Брюсе и Остермане говорил Нартову, составлявшему проект Академии художеств: «Надлежит притом быть департаменту художеств, а паче механическому; желание мое – насадить в столице сей рукомеслие, науки и художества вообще».



М. Пневский. **Аллегория математики.** *Заставка к «Арифметике» И. Магницкого. 1703 г.*

Война мешала решительному приступу к исполнению этой мысли. Да и самая эта война была предпринята с целью открыть прямые и свободные пути к тем же источникам и средствам. Мысль эта росла в уме Петра по мере того, как перед его глазами начинал светиться желанный конец войны. Передавая Апраксину в начале января 1725 г. инструкцию Камчатской экспедиции, написанную уже слабеющей рукой, он признался, что это его давняя мысль, что, «ограда отечество безопасностию от неприятеля, надлежит стараться находить славу государству чрез искусство и науки». Беспокойно заботясь о будущем, нередко говоря о своих недугах и возможности скорой смерти, Петр едва ли надеялся прожить две жизни, чтобы по окончании войны исполнить и это второе свое великое дело. Но он верил, что оно будет сделано, если не им, то его преемниками, и эту веру высказал как в словах – если только они были сказаны – о нескольких десятках лет русской нужды в Западной Европе, так и по другому случаю.

В 1724 г. лейб-медик Блументрост просил отправлявшегося, по поручению Петра, в Швецию Татищева подыскивать там ученых для Академии наук, открытие которой он подготовлял как будущий ее президент. «Напрасно ищете семян, – возразил

Татищев, – когда самой почвы для посева еще не приготовлено». Вслушавшись в этот разговор, Петр, по мысли которого учреждалась Академия, отвечал Татищеву такою притчей. Некий дворянин хотел у себя в деревне мельницу построить, а воды у него не было. Тогда, видя обильные водой озера и болота у соседей, он начал, с их согласия, канал в свою деревню копать и материал для мельницы заготовлять, и хотя при жизни не успел этого к концу привести, но дети, жалея отцовых издержек, поневоле продолжали и доканчивали дело отца. Эта крепкая вера поддерживалась в Петре и со стороны таким славным ученым, как Лейбниц, давно предлагавшим ему и учреждение высшей ученой коллегии в С.-Петербурге с многосложными научными и практическими задачами, и исследование границ между Азией и Америкой, и широкие планы водворения наук и художеств в России с раскинутой по всей стране сетью академий, университетов, гимназий и, главное, с надеждой на полный успех этого дела. На взгляд Лейбница, это не беда, что здесь недоставало ни научных преданий и навыков, ни учебных пособий и вспомогательных учреждений, что Россия в этом отношении – белый лист бумаги, по выражению философа, или непочатое поле, где надо все водить вновь. Это даже лучше, потому что, заводя все вновь, можно избегнуть недостатков и ошибок, каких наделала Европа, потому что при возведении нового здания скорее можно достигнуть совершенства, чем при исправлении и перестройке старого.

Трудно сказать, кем была внушена или как возникла в уме Петра мысль о круговороте наук, тесно связанная с его просветительными помыслами. Мысль эта высказана в приписке к черновому письму, которое Лейбниц писал Петру в 1712 г.; но в письме, посланном к царю, эта приписка опущена. «Провидение, – писал философ в этой приписке, – по-видимому, хочет, чтобы наука обошла кругом весь земной шар и теперь перешла в Скифию, и потому избрало ваше величество орудием, так как Вы можете и из Европы и из Азии взять лучшее и усовершенствовать то, что сделано в обеих частях света». Может быть, эту мысль Лейбниц высказывал Петру в личной беседе с ним. Нечто похожее на ту же мысль как бы вскользь высказано и в одном сочинении славянского патриота Юрия Крижанича: после многих народов древнего и нового мира, поработавших на поприще наук, очередь дошла, наконец, и до славян. Но это сочинение, писанное в Сибири при царе Алексее, едва ли было известно Петру.

Как бы то ни было, в одной превосходной беседе с сотрудниками, Петр изложил ту же мысль по-своему. Кстати, воспользовавшись ею, чтобы дать почувствовать некоторым из

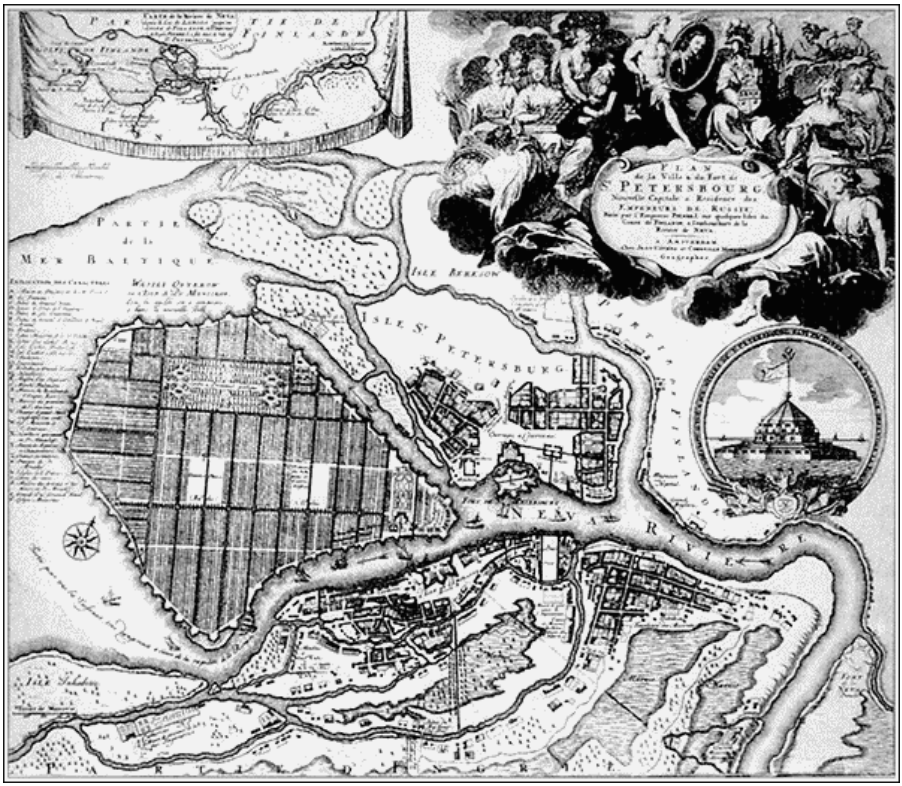
собеседников, что ему слышен идущий вокруг него шепот не о пользе, даже не о бесполезности наук, а о прямом вреде их. В 1714 г., празднуя спуск военного корабля в Петербурге, царь был в самом веселом расположении духа и за столом на палубе, среди приглашенного на пир высшего общества, много говорил об успешном ходе русского кораблестроения. Между прочим, он обратился с целой речью прямо к сидевшим около него старым боярам, которые видели мало проку в опытности и знаниях, приобретенных русскими министрами и генералами, искренне преданными реформе. Надобно иметь в виду, что речь изложена бывшим на торжестве немцем, брауншвейгским резидентом Вебером, который всего месяца два как приехал в Петербург и едва ли был в состоянии уловить и точно передать ее оттенки, хотя и называет ее самой глубокомысленной и остроумной из всех речей, им слышанных от царя. Читая его изложение, легко заметить, что некоторым мыслям царя он дал свою окраску и свое толкование.

«Кому из вас, братцы мои, хоть бы во сне снилось лет 30 тому назад, – так начал царь, – что мы с вами здесь, у Остзейского моря, будем плотничать и в одежде немцев, в завоеванной у них же нашими трудами и мужеством стране, построим город, в котором вы живете, что мы доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови, таких сынов, побывавших в чужих странах и возвратившихся домой столь смышлеными, что увидим у себя такое множество иноземных художников и ремесленников, доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государи? Историки полагают колыбель всех знаний в Греции, откуда, по превратности времен, они были изгнаны, перешли в Италию, а потом распространились было и по всем австрийским землям, но невежеством наших предков были приостановлены и не проникли далее Польши; а поляки, равно как и все немцы, пребывали в таком же непроходимом мраке невежества, в каком мы пребываем доселе, и только непомерными трудами правителей своих открыли глаза и усвоили себе прежние греческие искусства, науки и образ жизни. Теперь очередь приходит до нас, если только вы поддержите меня в моих важных предприятиях, будете слушаться без всяких отговорок и привыкнете свободно распознавать и изучать добро и зло. Это передвижение наук я приравниваю к обращению крови в человеческом теле, и сдается мне, что со временем они оставят теперешнее свое местопребывание в Англии, Франции и Германии, продержатся несколько веков у нас и затем снова возвратятся в истинное отечество свое – в Грецию. Покамест советую вам помнить

латинскую поговорку: “Ora et labora” (молись и трудись) и твердо надеяться, что, может быть, еще на нашем веку вы пристыдите другие образованные страны и вознесете на высшую степень славу Русского имени». – «Да, да, правда!» – отвечали царю старые бояре, в глубоком молчании слушавшие его слова. И, заявив ему, что они готовы и будут делать все, что он им повелит, снова обеими руками ухватились за любезные им стаканы, предоставляя царю рассудить в глубине его собственных помышлений, насколько успел он убедить их и насколько мог надеяться достигнуть конечной цели своих диких предприятий.

Император Петр Великий в 1716 г.

Рассказчик придал этой беседе иронический эпилог. Петр огорчился бы, даже, пожалуй, сказал бы боярам другую, менее возвышенную и ласковую речь, если бы заметил, что они отнеслись к его словам так безучастно, себе на уме, как это представил иноземец. Ему известно было, как судили об его реформе в России и за границей, и эти суждения болезненно отзывались в его душе. Он знал, что там и здесь очень многие видели в его реформе насильственное дело, которое он мог вести, только пользуясь своей неограниченной и жестокой властью и привычкой народа слепо ей повиноваться. Стало быть, он не европейский государь, а азиатский деспот, повелевающий рабами, а не гражданами. Такой взгляд оскорбляет его, как незаслуженная обида. Он столько сделал, чтобы придать своей власти характер долга, а не произвола; думал, что на его деятельность иначе и нельзя смотреть, как на служение общему благу народа, а не как на тиранию. Он так старательно устранял все унизительное для человеческого достоинства в отношениях подданного к государю, еще в самом начале столетия запретил писаться уменьшительными именами, падать перед царем на колени, зимою снимать шапки перед дворцом, рассуждая так об этом: «К чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое? Менее низости, больше усердия к службе и верности ко мне и государству – таков почет, подобающий царю».



План Санкт-Петербурга, составленный при Петре I

Он устроил столько госпиталей, богаделен и училищ, «народ свой во многих воинских и гражданских науках обучил», в *Воинских статьях* запретил бить солдата, писал наставление всем принадлежащим к русскому войску, «каковой ни есть веры или народа они суть, между собою христианскую любовь иметь», внушал «с противниками церкви с кротостью и разумом поступать по Апостолу, а не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением», говорил, что Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос, – и он первый на Руси стал это писать и говорить, – а его считали жестоким тираном, азиатским деспотом.

Об этом не раз заводил он речь с приближенными и говорил с жаром, с порывистой откровенностью: «Знаю, что меня считают тираном. Иностранцы говорят, что я повелеваю рабами. Это неправда: не знают всех обстоятельств. Я повелеваю подданными, повинующимися моим указам; эти указы содержат в себе пользу, а не вред государству. Надобно знать, как управлять народом. Английская вольность здесь не у места, как к стене горох. Честный и разумный человек, усмотревший что-либо вредное или придумавший что полезное, может говорить мне прямо без

боязни. Вы сами тому свидетели. Полезное я рад слушать и от последнего подданного. Доступ ко мне свободен, лишь бы не отнимали у меня времени бездельем. Недоброхоты мои и отечеству, конечно, мной недовольны. Невежество и упрямство всегда ополчались на меня с той поры, как задумал я ввести полезные перемены и исправить грубые нравы. Вот кто настоящие тираны, а не я. Я не усугубляю рабства, обуздывая озорство упрямых, смягчая дубовые сердца, не жестокосердствую, переодевая подданных в новое платье, заводя порядок в войске и в гражданстве и приучая к людскости, не тиранствую, когда правосудие осуждает злодея на смерть. Пускай злость клевещет: совесть моя чиста. Бог мне судья! Неправые толки в свете разносит ветер».

Защищая царя от обвинения в жесткости, любимый токарь его Нартов пишет: «Ах, если бы многие знали то, что известно нам, дивились бы снисхождению его. Если бы когда-нибудь случилось философу разбирать архиву тайных дел его, вострепетал бы он от ужаса, что соделывалось против сего монарха».

Эта «архива» уже разбирается и все яснее обнаруживает, по какой раскаленной почве шел Петр, ведя реформу со своими сотрудниками. Все вокруг него роптало на него, и этот ропот, начинаясь во дворце, в семье царя, широко расходился оттуда по всей Руси, по всем классам общества, проникая в глубь народной массы. Сын жаловался, что отец окружен злыми людьми, сам очень жесток, не жалеет человеческой крови, желал смерти отцу, и духовник прощал ему это грешное желание. Сестра, царевна Марья, плакалась на бесконечную войну, великие подати, разорение народное, и «ее милостивое сердце снедала печаль от воздыханий народных».

Ростовский архиерей Досифей, лишенный сана по делу о бывшей царице Евдокии, говорил на Соборе архиереям: «Посмотрите, что у всех на сердцах, извольте пустить уши в народ, что в народе говорят». А в народе говорили про царя, что он враг народа, оморок мирской, подкидыш, антихрист, бог знает, чего не говорили про него. Роптавшие жили надеждой, авось либо царь скоро умрет, либо народ поднимется на него; сам царевич признался, что готов был стать к заговору против отца. Петр слышал этот ропот, знал толки и козни, против него направленные, и говорил: «Страдаю, а все за отечество; желаю ему полезного, но враги пакости мне делают демонские». Он знал также, что было и на что роптать: народные тягости все увеличивались, десятки тысяч рабочих гибли от голода и болезней на работах в Петербурге, Кронштоте, на Ладожском канале, войска терпели великую нужду, все дорожало, торговля

падала.

По целым неделям Петр ходил мрачный, открывая все новые злоупотребления и неудачи. Он понимал, что донельзя, до боли напрягает народные силы, но раздумье не замедляло дела. Никого не щадя, всего менее – себя, он все шел к своей цели, видя в ней народное благо: так хирург, скрепя сердце, подвергает мучительной операции своего пациента, чтобы спасти его жизнь. Зато по окончании Шведской войны первое, о чем заговорил Петр с сенаторами, просившими его принять титул императора, это – «стараться о пользе общей, от чего народ получит облегчение».

Узнавая людей и вещи, как они есть, привыкнув к дробной, детальной работе над крупными делами, за всем следя сам и всех уча собственным примером, он выработал в себе вместе с быстрым глазомером тонкое чутье естественной, действительной связи вещей и отношений, живое, практическое понимание того, как делаются дела на свете, какими силами и с какими усилиями поворачивается тяжелое колесо истории, то поднимая, то опуская судьбы человеческие. Оттого неудача не приводила его в уныние, а удача не внушала самонадеянности. Это, когда нужно, ободряло, а порой отрезвляло и сотрудников. Рассказывали, что, после поражения под Нарвой, он говорил: «Знаю, что шведы еще будут бить нас; пусть бьют; но они выучат и нас бить их самих; когда же ученье обходится без потерь и огорчений?» Он не обольщался ни успехами, ни надеждами. В последние годы жизни, лечась олонецкими целебными водами, он говорил своему лейб-медику: «Врачую тело свое водами, а подданных – примерами; в том и другом исцеление вижу медленное; все решит время».

Он ясно видел все трудности своего положения, в котором из 13 правителей 12 опустили бы руки, и, в самую тяжелую пору своей жизни, во время следствия над царевичем, описывал судьбу Толстому с сострадательной изобразительностию стороннего наблюдателя: «Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. От сестры (Софьи) был гоним до зела: она была хитра и зла. Монахине (первой жене) несносен: она глупа. Сын меня ненавидит: он упрям». Но Петр поступал в политике, как на море. Вся его бурная деятельность, как в миниатюре, изобразилась в одном эпизоде из его морской службы. В июле 1714 г., за несколько дней до победы при Гангуте, крейсируя со своей эскадрой между Гельсингфорсом и Аландскими островами, он был в темную ночь застигнут страшною бурей. Все пришли в отчаяние, не зная, где берег. Петр с несколькими матросами бросился в шлюпку, не слушая офицеров, которые на коленях умоляли его не подвергать себя такой опасности, сам взялся за

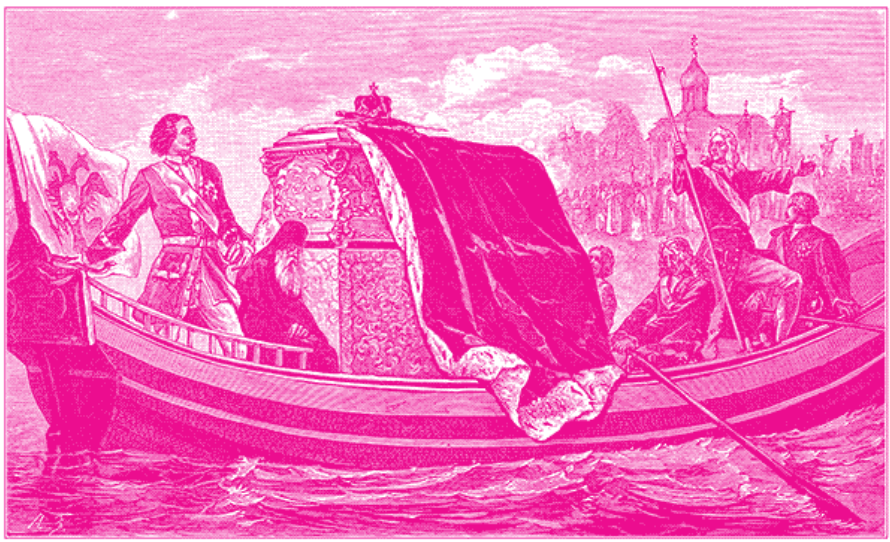
руль, в борьбе с волнами, встряхнул опускавших руки гребцов грозным окриком: «Чего боитесь? Царя везете! С нами Бог!», благополучно достиг берега, развел огонь, чтобы показать путь эскадре, согрел сбитнем полумертвых гребцов, а сам, весь мокрый, лег и, покрывшись парусиной, заснул у костра под деревом.

Неослабное чувство долга, мысль, что этот долг – неуклонно служить общему благу государства и народа, беззаветное мужество, с каким подобает проходить это служение, – таковы основные правила той школы, проводившей своих учеников сквозь огонь и воду, о которой говорил Неплюев Екатерине II. Эта школа способна была воспитывать не один страх грозной власти, но и обаяние нравственного величия. Рассказы современников дают только смутно почувствовать, как это делалось; а делалось, кажется, довольно просто, как бы само собой, действием неуловимых впечатлений.

Неплюев рассказывает, как он с товарищами в 1720 г., по окончании заграничной выучки, держал экзамен перед самим царем, в полном собрании Адмиралтейской коллегии. Неплюев ждал представления царю, как Страшного суда. Когда дошла до него очередь на экзамене, Петр сам подошел к нему и спросил: «Всему ли ты научился, для чего был послан?» Тот отвечал, что старался по всей своей возможности, но не может похвалиться, что всему научился, и, говоря это, стал на колени. «Трудиться надобно, – сказал на это царь и, оборотив к нему ладонью правую руку, прибавил: – Видишь, братец, я и царь, да у меня на руках мозоли, а все для того – показать вам пример и хотя бы под старость видеть себе достойных помощников и слуг Отечеству. Встань, братец, и дай ответ, о чем тебя спросят, только не робей; что знаешь, сказывай, а чего не знаешь, так скажи».

Царь остался доволен ответами Неплюева и потом, ближе узнав его на корабельных постройках, отзывался о нем: «В этом малом путь будет». Петр заметил дипломатические способности в 27-летнем поручике галерного флота и в следующем же году прямо назначил его на трудный пост резидента в Константинополе. При отпуске в Турцию Петр поднял упавшего ему в ноги со слезами Неплюева и сказал: «Не кланяйся, братец! Я вам от Бога приставник, и должность моя – смотреть, чтобы недостойному не дать, а у достойного не отнять. Будешь хорошо служить, не мне, а более себе и Отечеству добро сделаешь, а буде худо, так я истец, ибо Бог того от меня за всех вас востребует, чтоб злому и глупому не дать места вред делать. Служи верой и правдой; вначале Бог, а по Нем и я должен буду не оставить. Прости, братец! – прибавил царь, поцеловав Неплюева в лоб. –

Приведет ли Бог свидеться?» Они уже не свиделись. Этот умный и неподкупный, но суровый и даже жесткий служака, получив в Константинополе весть о смерти Петра, отметил в своих записках: «Ей-ей, не лгу, был более суток в беспамятстве; да иначе мне и грешно бы было: сей монарх Отечество наше привел в сравнение с прочими, научил нас узнавать, что и мы люди». После, пережив шесть царствований и дожив до седьмого, он, по отзыву его друга Голикова, не переставал хранить беспредельное почитание к памяти Петра Великого и имя его не иначе произносил, как священное, и почти всегда со слезами.

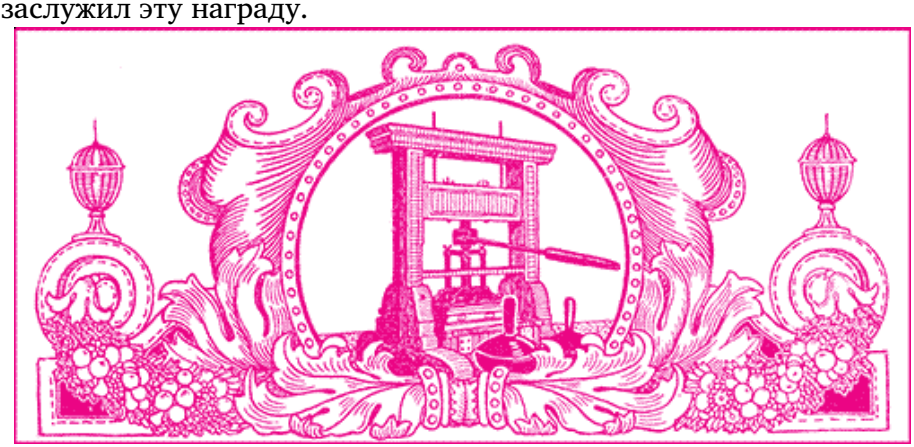


Перенесение Петром I мощей Александра Невского в Петербург в 1723 г.

Впечатление, какое производил Петр на окружающих своим обращением, своими ежедневными суждениями о текущих делах, взглядом на свою власть и на свое отношение к подданным, замыслами и заботами о будущем своего народа, самыми затруднениями и опасностями, с которыми ему приходилось бороться, – всей своею деятельностью и всем своим образом мыслей, трудно передать выразительнее того, как передал его Нартов. «Мы, бывшие сего великого государя слуги, воздыхаем и проливаем слезы, слыша иногда упреки жестокосердию его, которого в нем не было. Когда бы многие знали, что претерпевал, что сносил и какими уязвляем был горестями, то ужаснулись бы, колико снисходил он слабостям человеческим и прощал преступления, не заслуживающие милосердия; и хотя нет более Петра Великого с нами, однако дух его в душах наших живет, и мы, имевшие счастие находиться при сем монархе, умрем верными ему и горячую любовь нашу к земному Богу погребем

вместе с собою. Мы без страха возглашаем об отце нашем для того, что благородному бесстрашию и правде учились от него».

Нартов, подобно Неплюеву, как близкий человек, стоял под непосредственным влиянием Петра. Но деятельность преобразователя так захватывала общее внимание, ее побуждения были так открыты и так нравственно убедительны, что ее впечатление из тесного круга приближенных пробивалось в глубь общества, заставляло даже простые и грешные, но непредубежденные души понимать и чувствовать, чему она учила, и бояться царя, по удачному выражению Феофана Прокоповича, не только за гнев его, но и за совесть. Петру едва ли приходилось слышать о себе суждения, подобные высказанному Нартовым: он не любил этого. Но его должно было глубоко утешить предсмертное письмо некоего Ивана Кокошкина, полученное им в 1714 г. и сохранившееся в его бумагах. Лежа на смертном одре, этот Кокошкин страшится предстать пред лицом Божиим, не принесши чистого покаяния пресветлому монарху, покуда еще грешная душа с телом не разлучилась, и не получив прощения в своих грехах по службе: состоял он при рекрутских наборах в Твери и от тех рекрутских наборов брал себе взятки, кто что приносил; да он же, Иван Кокошкин, ему, государю, виновен; оговоренного в воровстве человека отдал в рекруты за своих крестьян. Великая награда государю стать заочно предсмертным судьею совести своего подданного. Петр Великий полностью заслужил эту награду.



Печатный станок Петра Великого

Екатерина I

Екатерина I, императрица Всероссийская

Эпоха 1725–1762 гг. Обращаюсь к изложению событий, следовавших за смертью Петра. Время от 1725 до 1762 г. составляет особую эпоху, отличающуюся некоторыми новыми явлениями в нашей государственной жизни, хотя основы ее остаются прежние. Эти явления обнаруживаются тотчас по смерти

преобразователя и стоят в тесной связи с некоторыми последствиями его деятельности. Мы знаем, как скудны были образовательные средства, созданные реформой, как ненадежны были подобранные Петром дельцы, которым он мог завещать продолжение своего дела, как мало сочувствия привлек он к этому делу в народе и даже в высшем обществе. Все это не внушало надежды, что после Петра реформа будет продолжена и завершена с энергией и в духе начинателя; но явления, которые нам предстоит наблюдать, превзошли самые худшие опасения. Впрочем, не будем опережать хода событий, произносить над ними приговора, пока они сами себя не осудят.

Престолонаследие. Прежде всего, как и подобает в государстве с абсолютной властью, судьба русского престола оказала решительное действие на ход дел, и действие, несогласное с духом и планами преобразователя. Надобно припомнить преемство верховной власти после Петра. В минуту его смерти царствовавший дом распадался на две линии – императорскую и царскую: первая шла от императора Петра, вторая от его старшего брата, царя Ивана. От Петра I престол перешел к его вдове императрице Екатерине I, от нее – к внуку преобразователя, Петру II, от него – к племяннице Петра I, дочери царя Ивана Анне, герцогине Курляндской, от нее – к ребенку Ивану Антоновичу, сыну ее племянницы Анны Леопольдовны Брауншвейгской, дочери Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбургской, родной сестры Анны Ивановны, от низложенного ребенка Ивана – к дочери Петра I Елизавете, от нее – к ее племяннику, сыну другой дочери Петра I, герцогини Голштинской, Анне, к Петру III, которого низложила его жена Екатерина II.

Никогда в нашей стране, да, кажется, и ни в каком другом государстве, верховная власть не переходила по такой ломаной линии. Так ломал эту линию политический путь, каким эти лица достигали власти: все они попадали на престол не по какому-либо порядку, установленному законом или обычаем, а случайно, путем дворцового переворота или придворной интриги. Виною того был сам преобразователь. Своим законом 5 февраля 1722 г., как видели мы, он отменил оба порядка престолонаследия, действовавшие прежде, и завещание, и соборное избрание, заменив то и другое личным назначением, усмотрением царствующего государя. Этот злополучный закон вышел из рокового сцепления династических несчастий. По привычному и естественному порядку наследования престол после Петра

переходил к его сыну от первого брака, царевичу Алексею, грозившему разрушить дело отца. Спасая свое дело, отец во имя его пожертвовал и сыном, и естественным порядком престолонаследия. Сыновья от второго брака, Петр и Павел, умерли в младенчестве. Оставался малолетний внук, сын погибшего царевича, естественный мститель за отца. При вероятной возможности смерти деда до совершеннолетия внука, опеку, значит, власть, могла получить которая-либо из двух бабушек. Одна – прямая, озлобленная разводка, монахиня, сама себя расстригшая, Евдокия Федоровна, урожденная Лопухина, ненавистница всяких нововведений. Другая – боковая, привенчанная, иноземка, простая мужичка темного происхождения, жена сомнительной законности в глазах многих, и, достанься ей власть, она, наверное, отдаст свою волю первому любимцу царя и первому казнокраду в государстве князю Меншикову.

Можно представить себе душевное состояние Петра, когда, свалив с плеч Шведскую войну, он на досуге стал заглядывать в будущее своей империи. Усталый, опускаясь со дня на день и от болезни, и сознания своей небывалой славы и заслуженного величия, Петр видел вокруг себя пустыню, а свое дело на воздухе. Он не находил для престола надежного лица, для реформы надежной опоры ни в сотрудниках, которым знал цену, ни в основных законах, которых не существовало, ни в самом народе, у которого отнята была вековая форма выражения своей воли, Земский собор, а вместе и самая воля. Петр остался с глазу на глаз со своей безграничной властью и по привычке в ней искал выхода, предоставив исключительно ей назначение преемника. Редко самовластие наказывало само себя так жестоко, как в лице Петра этим законом 5 февраля. Один указ Петра гласил, что всуе законы писать, если их не исполнять. И закон 5 февраля был всуе написан, потому что не был исполнен самим законодателем. Целые годы Петр колебался в выборе преемника и, уже накануне смерти, лишившись языка, успел только написать: «Отдайте все…», а кому – ослабевшая рука не дописала явственно. Лишив верховную власть правомерной постановки и бросив на ветер свои учреждения, Петр этим законом погасил и свою династию как учреждение: остались отдельные лица царской крови без определенного династического положения. Так престол был отдан на волю случая и стал его игрушкой.

С тех пор, в продолжение нескольких десятилетий, ни одна смена на престоле не обходилась без замешательства, кроме разве одной: каждому воцарению предшествовала придворная смута, негласная интрига или открытый государственный удар. Вот

почему время со смерти Петра I до воцарения Екатерины II можно назвать *эпохой дворцовых переворотов*. Дворцовые перевороты у нас в XVIII в. имели очень важное политическое значение, которое выходило далеко за пределы дворцовой сферы, затрагивало самые основы государственного порядка. Одна черта, яркой нитью проходящая через весь ряд этих переворотов, сообщала им такое значение. Когда отсутствует или бездействует закон, политический вопрос обыкновенно решается господствующей силой. В XVIII в. у нас такой решающей силой является гвардия, привилегированная часть созданной Петром регулярной армии. В царствование Анны к петровским гвардейским полкам, Преображенскому и Семеновскому, прибавились два новых, Измайловский и Конногвардейский. Ни одна почти смена на русском престоле в означенный промежуток времени не обошлась без участия гвардии; можно сказать, что гвардия делала правительства, чередовавшиеся у нас в эти 37 лет, и уже при Екатерине I заслужила у иностранных послов кличку «янычар». Сделаем краткий обзор этих переворотов.

Воцарение. Петр умер 28 января 1725 г., не назначив себе преемника. Однако люди, которым предстояло распорядиться брошенной короной, не остались без указания, как поступить. Как ни туманно изложен устав 5 февраля, он заключал в себе и свое толкование, сопоставляя распоряжение Петра о престолонаследии с его же указом о единонаследии, как основанным на одинаковых соображениях и началах. А в этом указе установлен порядок наследования не только по завещанию, но и по закону, именно: при отсутствии сыновей наследует старшая из дочерей. Но старшая дочь Петра Анна, при обручении с герцогом Голштинским в 1724 г., в брачном договоре, под присягой отказалась вместе с женихом от русского престола за себя и за свое потомство. Законное наследство переходило ко второй дочери Петра – Елизавете. Ни на каком основании в очередь наследования не могла стать вдова императора: по указу 1714 г., как и по исконному русскому праву наследования, вдова-мать при детях обеспечивается и может опекать несовершеннолетних наследников, но не наследует. Однако, в исполнение закона, последовало то, что всего более ему противоречило.

Дело в том, что остатки родовитой знати, князья Голицыны, Долгорукие, верные старому обычаю престолонаследия, признавали законным наследником великого князя Петра, единственного уцелевшего мужчину в царском доме. Но знать чиновная, выведенная Петром I, – Меншиков, Толстой и много других были решительно против этого наследника, воцарение

которого им, врагам его отца, царевича Алексея, как и самой Екатерине, грозило великими бедами. Для них дело было не в праве и законности, а в том, чья возьмет: проиграй они – им ссылка или из-под кнута каторга, а Екатерине с дочерьми – монастырь. Из страха ли перед внуком другой бабушки или по проснувшемуся властолюбию, Екатерина хотела сама царствовать, а не опекать и видела соперниц в своих дочерях. Она торопила все более изнемогавшего царя с замужеством обеих царевен, чтобы вовремя удалить соперниц со сцены. Отец хотел устроить им, как дочерям могущественного европейского потентата и притом редким красавицам и умницам, по депешам иноземных послов, возможно блестящие династические партии. Прочил их за самых видных принцев крови, за Французского, Испанского, Прусского, рассылая их портреты и в Версаль, и в Мадрид. Этот аукцион царственных невест запутывал и затруднял Петру решение и без того тяжкого вопроса о престолонаследии. Когда близость его смерти стала очевидна, Меншиков и Толстой пустили в ход все пружины агитации за себя и за Екатерину. Всего важнее было приобрести войско, особенно гвардию, что было нетрудно: гвардия была вполне предана своему творцу и любила его походную жену-солдатку. Впрочем, обещаны были денежные награды, облегчены служебные тяготы, уплачено недоданное жалованье, приняты меры предосторожности. Простившись с безмолвным уже царем, гвардейские офицеры отведены были Меншиковым к царице и с рыданиями поклялись ей скорее умереть у ее ног, чем допустить на престол кого-либо другого. Все было обработано расторопно и толково, в то время как противная сторона сидела сложа руки.

Ночью на 28 января 1725 г., когда Петр лежал в предсмертной агонии, сенаторы и другие сановники собрались во дворце для совещания о преемнике. Спорили долго, искали воли умиравшего императора всюду, только не там, где можно было ее найти, не в законе 5 февраля, призвали кабинет-секретаря Макарова, спрашивали у него, нет ли чего на этот счет, и получили отрицательный ответ. Сторонники великого князя предлагали противникам сделку – возвести его на престол с тем, чтобы до его совершеннолетия правила Екатерина с Сенатом; но изворотливый Толстой с большой диалектикой возражал на это. При этих прениях в углу залы совещания каким-то образом очутились офицеры гвардии, неизвестно кем и зачем сюда призванные. Подобно хору античной драмы, не принимая прямого участия в развертывавшейся на сцене игре, а только как бы размышляя вслух, они до неприличия откровенно выражали свои суждения о ходе совещания, заявляя, что разобьют головы

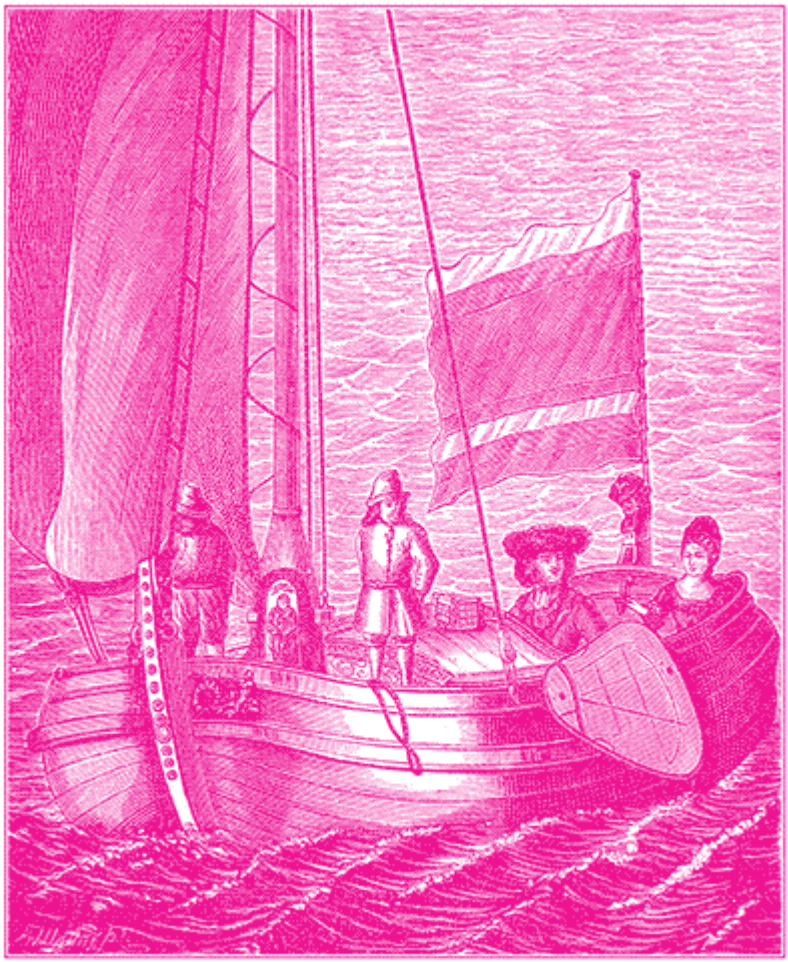
старым боярам, если они пойдут против их матери Екатерины.

Жан-Марк Натье. **Портрет императрицы Екатерины I**

Вдруг раздался с площади барабанный бой: оказалось, что перед дворцом выстроены были под ружьем оба гвардейских полка, тоже неизвестно, кем и зачем сюда вызванные из казарм. Князь Репнин, президент Военной коллегии, сердито спросил: «Кто смел, без моего ведома, привести сюда полки? Разве я не фельдмаршал?» Бутурлин, командир Семеновского полка, отвечал Репнину, что полки призвал он, Бутурлин, по воле

императрицы, которой все подданные обязаны повиноваться, «не исключая и тебя», добавил он внушительно. При гвардейском содействии искомая воля императора единодушно, без пререканий была найдена в короновании Екатерины, совершившемся в 1724 г.; этим-де актом она назначена наследницей престола в силу закона 5 февраля; ее Сенат и провозгласил самодержавной императрицей. Отменив закон его толкованием, Сенат в манифесте от себя, а также от Синода и генералитета, вовсе и не участвовавших в сенатском совещании, объявлял о воцарении Екатерины не как о своем избирательном акте, а только как об истолкованной Сенатом воле покойного государя. Он удостоил свою супругу короною и помазанием; того для объявляется во всенародное известие, дабы все о том ведали и ей, самодержице Всероссийской, верно служили. О Земском соборе, в котором прежде видели основной источник права, когда государство оставалось без государя, теперь не было и помина: недавнее прошлое успело стать давно забытой стариной, хотя еще сам Петр был избран на престол чем-то вроде Земского собора. При Петре не принято было говорить о Земском соборе, и только чудак Посошков сделал Петру запоздалое напоминание о созыве всех чинов для составления нового Уложения. Во все короткое царствование Екатерины правительство заботливо ласкало гвардию.

В официальной газете не раз появлялись правительственные сообщения о том, как правительство печется о гвардии. Императрица на смотрах в своей палатке из собственных рук угощала вином гвардейских офицеров. Под таким прикрытием Екатерина процарствовала с лишком два года благополучно и даже весело. Она мало занималась делами, которые плохо понимала, вела беспорядочную жизнь, привыкнув, несмотря на свою болезненность и излишнюю полноту, засиживаться до пяти часов утра на пирушках среди близких людей, распустила управление, в котором, по словам одного посла, все думают лишь о том, как бы украсть, и в последний год жизни истратила на свои прихоти до 6 1/2 миллиона рублей на наши деньги. Между тем недовольные за кулисами на тайных сборищах пили здоровье обойденного великого князя, а тайная полиция каждый день вешала неосторожных болтунов. Такие слухи шли к европейским дворам из Петербурга.



Петр I и Екатерина I, катающиеся на шняве по Неве. *С гравюры Зубова*

Петр II

Император Петр II

Воцарение Петра II было подготовлено новой придворной интригой не без участия гвардии. Екатерина с Меншиковым и другими своими приверженцами, конечно, желала оставить престол после себя одной из своих дочерей; но, по общему мнению, единственным законным наследником Петра Великого являлся его внук великий князь Петр. Грозил раздор между сторонниками племянника и теток, между двумя семьями Петра I

от обеих его жен – вечный источник смут в государстве, где царский двор представлял подобие крепостной барской усадьбы. Хитроумный Остерман предложил способ помирить ощетинившиеся друг на друга стороны – женить 12-летнего племянника на 17-летней тетке Елизавете, а для оправдания брака в столь близком родстве не побрезговал такими библейскими соображениями о первоначальном размножении рода человеческого, что даже Екатерина I стыдливо прикрыла рукой этот проект. Иностранные дипломаты при русском дворе придумали мировую поумнее: Меншиков изменяет своей партии, становится за внука и уговаривает императрицу назначить великого князя наследником с условием жениться на дочери Меншикова – девице, года на два моложе тетки Елизаветы.

В 1727 г., когда Екатерина незадолго до своей смерти опасно занемогла, для решения вопроса о ее преемнике во дворце собрались члены высших правительственных учреждений: Верховного тайного совета, возникшего при Екатерине, Сената, Синода, и президенты коллегий, но приглашены были на совещание и майоры гвардии, как будто гвардейские офицеры составляли особенную государственную корпорацию, без участия которой нельзя было решить такого важного вопроса. Это верховное совещание решительно предпочло внука обеим дочерям Петра. С трудом согласилась Екатерина назначить этого внука своим преемником. Рассказывали, что всего за несколько дней до смерти она решительно объявила Меншикову о своем желании передать престол дочери своей, Елизавете, и скрепя сердце уступила противной стороне, только когда ей поставили на вид, что иначе не ручаются за возможность для нее доцарствовать спокойно.

Перед самой смертью спешно составлено было завещание, подписанное Елизаветой вместо больной матери. Этот «тестамент» должен был примирить враждебные стороны, приверженцев обоих семейств Петра I. К престолонаследию призывались поочередно четыре лица: великий князь-внук, цесаревны Анна и Елизавета и великая княжна Наталья (сестра Петра II), каждое лицо со своим потомством, со своими «десцендентами»; каждое следующее лицо наследует предшественнику в случае его беспотомственной смерти. В истории престолонаследия это завещание – ничего не значащий акт. После Петра II, который и без него считался законным наследником, престол замещался в таком порядке, какого не сумел бы предвидеть самый дальновидный тестамент. Но это завещание имеет свое место в истории русского законодательства о престолонаследии, вносит в него если не новую норму, то

новую тенденцию. Пользуясь законом Петра I, оно имело целью восполнить пустоту, образованную этим самым законом, делало первую попытку установить постоянный законный порядок престолонаследия, создать настоящий основной закон государства: само завещание определяет себя как основной закон, имеющий навсегда остаться в силе, никогда не подлежащий отмене.

Потому тестамент, прочитанный в торжественном собрании царской фамилии и высших государственных учреждений 7 мая 1727 г., на другой день по смерти Екатерины I, можно признать предшественником закона 5 апреля 1797 г. о преемстве престола. Для истории русской законодательной мысли не будет лишним заметить, что тестамент Екатерины I был составлен находившимся тогда в Петербурге министром герцога Голштинского Бассевичем.

Верховный тайный совет. Домашние политические воспоминания и заграничные наблюдения будили в правящих кругах если не мысль об общественной свободе, то хоть помыслы о личной безопасности. Воцарение Екатерины казалось благоприятным моментом для того, чтобы оградить себя от произвола, упрочить свое положение в управлении надежными учреждениями. Провозглашенная Сенатом не совсем законно, под давлением гвардии, Екатерина искала опоры в людях, близких к престолу в минуту смерти Петра. Здесь пуще всего боялись усиления меншиковского нахальства, и с первых же дней нового царствования пошли толки о частых сборищах сановной знати, князей Голицыных, Долгоруких, Репниных, Трубецких, графов Апраксиных; цель этих сходок – будто бы добиться большого влияния в правлении, чтобы царица ничего не решала без Сената.

Сам Сенат, почувствовав себя правительством, спешил запастись надежной опорой и, тотчас по смерти Петра, пытался присвоить себе командование гвардией. Наблюдательный французский посол Кампредон, уже в январе 1726 г., доносил своему двору, что большая часть вельмож в России стремится умерить деспотическую власть императрицы. И, не дожидаясь, пока вырастет и воцарится великий князь Петр, внук преобразователя, люди, рассчитывающие получить впоследствии влиятельное участие в правлении, постараются устроить его по образцу английского. Но и сторонники Екатерины думали о мерах самообороны: уже в мае 1725 г. пошел слух о намерении учредить при кабинете царицы из интимных неродовитых друзей ее с Меншиковым во главе тесный совет, который, стоя выше Сената, будет решать самые важные дела. Кабинетский совет и явился, только не с тем составом и характером. При жизни Петра

не был докопан Ладожский канал. В конце 1725 г. Миних, его копавший, потребовал у Сената 15 тысяч солдат для довершения дела. В Сенате поднялись горячие прения. Меншиков высказался против требования Миниха, находя такую работу вредной и не подходящей для солдат. Другие настаивали на посылке как самом дешевом способе кончить полезную работу, завещанную Петром Великим. Когда сенаторы-оппоненты вдоволь наговорились, Меншиков встал и прекратил спор неожиданным заявлением, что как бы ни решил Сенат, но по воле императрицы в нынешнем году ни один солдат не будет послан на канал. Сенаторы обиделись и зароптали, негодуя, зачем князь заставил их без толку спорить так долго, вместо того чтобы в самом начале дела этим заявлением предупредить прения, и почему один он пользуется привилегией знать волю императрицы. Некоторые грозили, что перестанут ездить в Сенат. По столице пошел слух, что недовольные вельможи думают возвести на престол великого князя Петра, ограничив его власть. Толстой уладил ссору сделкой с недовольными, следствием которой явился Верховный тайный совет, учрежденный указом 8 февраля 1726 г. Этим учреждением хотели успокоить оскорбленное чувство старой знати, устраняемой от верховного управления неродовитыми выскочками.

А. Шарлеман. **Император Петр II в Петербурге**

Верховный тайный совет составился из шести членов; пятеро из них с иноземцем Остерманом принадлежали к новой знати (Меншиков, Толстой, Головкин, Апраксин), но шестым был

принят самый видный представитель родовитого боярства – князь Д. М. Голицын. По указу 8 февраля Верховный тайный совет – не совсем новое учреждение: он составился из действительных тайных советников, которые, как «первые министры», по должности своей и без того имели частые тайные советы о важнейших государственных делах, состоя сенаторами, а трое, Меншиков, Апраксин и Головкин, еще и президентами главных коллегий: Военной, Морской и Иностранной. Устраняя неудобства такого «многодельства», указ превращал их частые совещания в постоянное присутственное место с освобождением от сенаторских обязанностей.

Члены Совета подали императрице «мнение» в нескольких пунктах, которое было утверждено как регламент нового учреждения. Сенат и коллегии ставились под надзор Совета, но оставались при старых своих уставах; только дела особо важные, в них не предусмотренные или подлежащие высочайшему решению, т. е. требующие новых законов, они должны были со своим мнением передавать в Совет. Значит, Сенат сохранял распорядительную власть в пределах действующего закона, лишаясь власти законодательной. Совет действует под председательством самой императрицы и нераздельно с верховной властью, есть не «особливая коллегия», а как бы расширение единоличной верховной власти в коллегиальную форму. Далее, регламент постановлял никаким указам прежде не выходить, пока они в Тайном совете «совершенно не состоятся», не будут запротоколированы и императрице «для апробации» прочтены.

В этих двух пунктах – основная мысль нового учреждения; все остальное – только технические подробности, ее развивающие. В этих пунктах: 1) верховная власть отказывалась от единоличного действия в порядке законодательства, и этим устранялись происки, подходы к ней тайными путями, временщичество, фаворитизм в управлении; 2) проводилось ясное различие между законом и простым распоряжением по текущим делам, между актами, сменение которых лишало управление характера закономерности. Теперь никакое важное дело не могло быть доложено императрице помимо Верховного тайного совета, никакой закон не мог быть обнародован без предварительного обсуждения и решения в Верховном тайном совете.

Иноземным послам при русском дворе этот Совет казался первым шагом к перемене формы правления. Но изменялась не форма, а сущность правления, характер верховной власти: сохраняя свои титулы, она из личной воли превращалась в государственное учреждение. Впрочем, в некоторых актах

исчезает и титул самодержицы. Кто-то, однако, испугался, догадавшись, к чему идет дело, и указ следующего, 1727-го, года, как будто разъясняя основную мысль учреждения, затемняет ее оговорками, второстепенными подробностями, даже прямыми противоречиями. Так, повелевая всякое дело законодательного характера наперед вносить в Совет для обсуждения и обещания ни от кого не принимать по таким делам «партикулярных доношений», указ вскользь оговаривался: «Разве от нас кому партикулярно и особливо что учинить повелено будет».

Эта оговорка разрушала самое учреждение. Но почин был сделан; значение Верховного тайного совета как будто росло. Завещание Екатерины I вводило его в состав регентства при ее малолетнем преемнике и усвояло ему полную власть самодержавного государя. Однако со всей этой властью Совет оказался совершенно бессилен перед капризами дурного мальчика-императора и перед произволом его любимцев. Сказавшаяся при Екатерине I потребность урегулировать верховную власть должна была теперь усилиться в порядочных людях из родовой знати, так много ждавших от Петра II и так обидно обманувшихся.

Анна Иоанновна

Императрица Анна Иоанновна в коронационном платье

Императрица Анна и ее двор. Движение 1730 г. ровно ничего не дало для народной свободы. Может быть, оно дало толчок политической мысли дворянства. Правда, политическое возбуждение в этом сословии не погасло и после неудачи верховников; но оно под действием царствования Анны значительно преломилось, получило совсем другое направление. Это царствование – одна из мрачных страниц нашей истории, и наиболее темное пятно на ней – сама императрица. Рослая и тучная, с лицом более мужским, чем женским, черствая по природе и еще более очерствевшая при раннем вдовстве среди

дипломатических козней и придворных приключений в Курляндии, где ею помыкали, как русско-прусско-польской игрушкой, она, имея уже 37 лет, привезла в Москву злой и малообразованный ум с ожесточенной жаждой запоздалых удовольствий и грубых развлечений.

Выбравшись случайно из бедной митавской трущобы на широкий простор безотчетной русской власти, она отдалась празднествам и увеселениям, поражавшим иноземных наблюдателей мотовской роскошью и безвкусием. В ежедневном обиходе она не могла обойтись без шутих-трещоток, которых разыскивала чуть не по всем углам империи: они своей неумолкаемой болтовней угомоняли в ней едкое чувство одиночества, отчуждения от своего отечества, где она должна всего опасаться. Большим удовольствием для нее было унизить человека, полюбоваться его унижением, потешиться над его промахом, хотя она и сама однажды повелела составить Св[ященный] Синод в числе 11 членов из двух равных половин – великороссийской и малороссийской.

Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезенных из Митавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении. Этот сбродный налет состоял из «клеотур» двух сильных патронов: «канальи курляндца», умевшего только разыскивать породистых собак, как отзывались о Бироне, и другого канальи, лифляндца, подмастерья и даже конкурента Бирону в фаворе, графа Левенвольда, обер-шталмейстера, человека лживого, страстного игрока и взяточника. При разгульном дворе, то и дело увеселяемом блестящими празднествами, какие мастерил другой Левенвольд, обер-гофмаршал, перещеголявший злокачественностью и своего брата, вся эта стая кормилась досыта и веселилась до упаду на доимочные деньги, выколачиваемые из народа. Недаром двор при Анне обходился в пять-шесть раз дороже, чем при Петре I, хотя государственные доходы не возрастали, а скорее убавлялись. «При неслыханной роскоши двора, в казне, – писали послы, – нет ни гроша, а потому никому ничего не платят».

Церемониальная процессия на Соборной площади в день коронации Анны Иоанновны

Между тем управление велось без всякого достоинства. Верховный тайный совет был упразднен, но и Сенат с расширенным составом не удержал прежнего первенствующего значения. Над ним стал в 1731 г. трехчленный Кабинет министров, творение Остермана, который и сел в нем полновластным и негласным вдохновителем своих ничтожных товарищей: князя Черкасского и канцлера Головкина. Кабинет – не то личная контора императрицы, не то пародия Верховного тайного совета: он обсуждал важнейшие дела законодательства, а также выписывал зайцев для двора и просматривал счета за кружева для государыни. Как непосредственный и безответственный орган верховной воли, лишенный всякого юридического облика, Кабинет путал компетенцию и делопроизводство правительственных учреждений, отражая в себе закулисный ум своего творца и характер темного царствования. Высочайшие манифесты превратились в афиши непристойного самовосхваления и в травлю русской знати перед народом.

Казнями и крепостями изводили самых видных русских вельмож – Голицыных и целое гнездо Долгоруких. Тайная розыскная канцелярия, возродившаяся из закрытого при Петре II Преображенского приказа, работала без устали, доносами и пытками поддерживая должное уважение к предержащей власти и охраняя ее безопасность. Шпионство стало наиболее поощряемым государственным служением. Все казавшиеся опасными или неудобными подвергались изъятию из общества, не исключая и архиереев; одного священника даже посадили на кол. Ссылали

массами, и ссылка получила утонченно-жестокую разработку. Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось свыше 20 тысяч человек; из них более 5 тысяч было таких, о которых нельзя было сыскать никакого следа, куда они сосланы. Зачастую ссылали без всякой записи в надлежащем месте и с переменою имен ссыльных, не сообщая о том даже Тайной канцелярии: человек пропадал без вести.

Между тем народное, а с ним и государственное хозяйство расстраивалось. Торговля упала: обширные поля оставались необработанными по пяти и по шести лет; жители пограничных областей от невыносимого порядка военной службы бежали за границу, так что многие провинции «точно войною или мором опустошены», – как писали иноземные наблюдатели. Источники казенного дохода были крайне истощены, платежные силы народа изнемогли: в 1732 г. по смете ожидалось дохода от таможенных и других косвенных налогов до 2/2 миллиона рублей, а собрано было всего лишь 187 тысяч. На многомиллионные недоимки и разбежались глаза у Бирона.

Под стать невзгодам, какими тогда посетила Россию природа, неурожаям, голоду, повальным болезням, пожарам, устроена была доимочная облава на народ. Снаряжались вымогательные экспедиции; неисправных областных правителей ковали в цепи, помещиков и старост в тюрьмах морили голодом до смерти, крестьян били на правеже и продавали у них все, что попадалось под руку. Повторялись татарские нашествия, только из отечественной столицы. Стон и вопль пошел по стране. В разных классах народа толковали: «Бирон и Миних великую силу забрали, и все от них пропали, овладели всем у нас иноземцы; тирански собирая с бедных подданных слезные и кровавые подати, употребляют их на объедение и пьянство; русских крестьян считали хуже собак; пропащее наше государство! Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет; какое ныне житье за бабой?»

Народная ненависть к немецкому правительству росла, но оно имело надежную опору в русской гвардии. В первый же год царствования ее подкрепили третьим пехотным полком, сформированным из украинской мелкошляхетской милиции. В подражание старым полкам Петра I, новый был назван Измайловским – по подмосковному селу, где любила жить Анна. Полковником назначен был помянутый молодец обер-шталмейстер Левенвольд, и ему же поручили набрать офицеров в полк из лифляндцев, эстляндцев, курляндцев и иных наций иноземцев, между прочим, и из русских. Это была уже прямая угроза всем русским, наглый вызов национальному чувству.

Подпирая собой иноземное иго, гвардия услужила бироновщине и во взыскании недоимок: гвардейские офицеры ставились во главе вымогательных отрядов. Любимое детище Петра, цвет созданного им войска – гвардеец явился жандармом и податным палачом пришлого проходимца. Лояльными гвардейскими штыками покрывались ужасы, каких наделали разнузданные народным бессилием пришельцы. Еще при самом начале немецких неистовств польский посол, прислушиваясь к толкам про немцев в народе, выразил секретарю французского посольства опасение, как бы русские не сделали теперь с немцами того же, что они сделали с поляками при Лжедмитрии. «Не беспокойтесь, – возразил Маньян, – тогда у них не было гвардии». Дорого заплатила дворянская гвардия за свое всеподданнейшее прошение 25 февраля 1730 г. о восстановлении самодержавия и за великолепный обед, данный за это императрицей гвардейским офицерам 4 апреля того же года, удостоив их при этом чести обедать вместе с ними. Немцы показали этой гвардии изнанку восстановленного ею русского самодержавия.

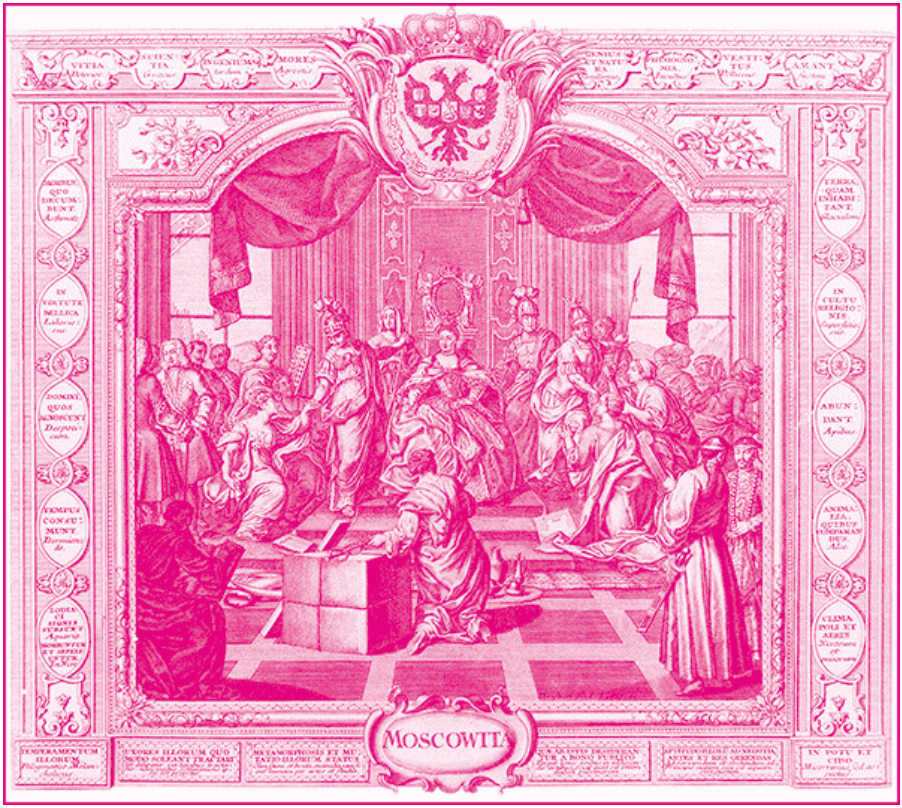
Внешняя политика. Бирон с креатурами своими не принимал прямого, точнее, открытого участия в управлении: он ходил крадучись, как тать, позади престола. Над кучей бироновских ничтожеств высились настоящие заправилы государства – вице-канцлер Остерман и фельдмаршал Миних. Им предстояло все усиливавшийся ропот на худое ведение внутренних дел заглушить шумными внешними успехами, а немецкое правительство русской императрицы из Митавы даже обязано было для собственной безопасности поддержать свой престиж в России и в Европе. Этого и немудрено было добиться, умело позируя между Францией и Австрией, во взаимной вражде одинаково заискивавшими у России с ее превосходным петровским войском, которого еще не успели вполне расстроить. Таким знатокам дипломатического и военного искусства, как Остерман и Миних, представились два прекрасных случая показать, насколько лучше умеют они вести дела, чем доморощенные русские неучи и лентяи.

В 1733 г. умер король Польский Август II, непутный союзник Петра I, и надобно было поддержать его сына в борьбе за польский престол против французского кандидата, старого Станислава Лещинского. В 1697 г. достаточно было в подобном случае придвинуть еще не устроенное русское войско к литовской границе, чтобы доставить этому Августу II торжество над французским принцем. Теперь ввели в глубь Польши целую регулярную армию в 50 тысяч под командой лучшего из генералов-иноземцев, да и то не немца, а шотландца Ласси,

любимца солдат. Но в Петербурге предприятие было так плохо подготовлено, а присланный улаживать дела в Польше закадычный друг Остермана, бездельник обер-шталмейстер Левенвольд, поставил русское войско в такое невыносимое положение, что 42 месяца осаждали укрывший за своими стенами Станислава Данциг. Под ним сменивший Ласси, Миних сам уложил более 8 тысяч русских солдат. Во время польской войны друзья Остермана австрийцы не ввели в Польшу ни одного солдата на помощь союзным русским войскам. А когда Франция объявила Австрии войну за Польшу и со своими союзниками отняла у нее Неаполь, Сицилию, Лотарингию и почти всю Ломбардию, всемогущий и славный петербургский дипломат двинул к Рейну того же Лесси с 20-тысячным корпусом, и тем выручил свою жалкую и предательскую союзницу. По связи с польской войной и по поводу крымских набегов в 1735 г. начали войну с Турцией. Надеялись в союзе с Персией и той же Австрией припугнуть турок легкой и быстрой кампанией, чтобы сгладить неприятное впечатление отказа от прикаспийских завоеваний Петра Великого, удержать Турцию от вмешательства в польские дела и освободиться от тягостных условий договора на Пруте 1711 г.

Обремененный всеми высшими военными должностями, подмываемый честолюбивыми вожделениями и окрыляемый мечтаниями, Миних также желал этой войны, чтобы освежить свою боевую славу, несколько поблекшую под Данцигом. И действительно, русские войска добились громких успехов: сделаны были три опустошительные вторжения в главное татарское гнездо, в непроницаемый дотоле Крым, взяты Азов, Очаков, после Ставучанской победы в 1739 г. заняты Хотин, Яссы и здесь отпраздновано покорение Молдавского княжества. Герой войны Миних широко расправил крылья. Ввиду турецкой войны в Брянске на реке Десне завели верфь и на ней ускоренно строили суда, которые, спустившись Днепром в Черное море, должны были действовать против Турции. Суда строились по системе тяп-ляп и, по окончании войны, признаны были никуда не годными. Однако, по взятии Очакова в 1737 г., Миних хвастливо писал, что на этой флотилии, взорвав днепровские пороги, он в следующем году выйдет в Черное море и пойдет прямо в устья Днестра, Дуная и далее в Константинополь. Надеялись, что все турецкие христиане поднимутся, как один человек, и стоит только высадить в Босфоре тысяч двадцать с несуществовавших русских кораблей, чтобы заставить султана бежать из Стамбула. На австро-русско-турецком конгрессе в Немирове 1737 г. Россия потребовала у турок всех татарских земель от Кубани до устьев

Дуная с Крымом включительно и независимости Молдавии и Валахии.



Анна Ивановна в окружении придворных

Война стоила страшно дорого. В степи, Крыму и под турецкими крепостями уложено было до 100 тысяч солдат, истрачено много миллионов рублей; показали миру чудеса храбрости своих войск, но кончили тем, что отдали дело во враждебные руки французского посла в Константинополе Вильнева, ума непервоклассного, по отзыву русского резидента. Но он превосходно распорядился интересами России, заключил мир в Белграде (сентябрь 1739 г.) и подсчитал такие главные итоги всех русских усилий, жертв и побед: Азов уступается России, но без укреплений, которые должны быть срыты; Россия не может иметь на Черном море ни военных, ни даже торговых кораблей; султан отказался признать императорский титул русской императрицы. Вот к чему свелись и брянская флотилия, и крымские экспедиции, и штурм Очакова, и Ставучаны, и воздушный полет Миниха в Константинополь. Вильневу за такие услуги России предложен был вексель в 15 тысяч талеров, от которого, впрочем, тот великодушно отказался – до окончания

всего дела, и Андреевский орден, а его сожительница получила бриллиантовый перстень. Россия не раз заключала тяжелые мирные договоры; но такого постыдно смешного договора, как Белградский 1739 г., ей заключать еще не доводилось и авось не доведется. Вся эта дорогая фанфаронада была делом первоклассных талантов тогдашнего петербургского правительства, дипломатических дел мастера Остермана и такого же военных дел мастера Миниха с их единоплеменниками и русскими единомышленниками. Однако их заслуги перед Россией щедро вознаграждались. Остерман, например, по разнообразным своим должностям вплоть до генерал-адмирала получал не менее 100 тысяч рублей на наши деньги.

А. Рябушкин. **Императрица Анна Иоанновна в Петергофском зверинце на охоте; при ней герцог Бирон и обер-егермейстер Волынский**

Движение против немцев. Горючий материал негодования, обильно копившийся 10 лет, тлел незаметно. Ему мешали разгораться привычное почтение к носителям верховной власти, исполнение некоторых шляхетских желаний 1730 г. и нечто похожее на политический стыд: сами же надели на себя это ярмо. Но смерть Анны развязала языки, а оскорбительное регентство

Бирона толкало к действию. Гвардия зашумела; офицеры, сходясь на улицах с солдатами, громко плакались им, что регентство дали Бирону мимо родителей императора, а солдаты бранили офицеров, зачем не зачинают. Капитан Бровцын, на Васильевском острову, собрал толпу солдат и с ними горевал, что регентом назначен Бирон. Увидел это кабинет-министр Бестужев-Рюмин, креатура регента, и, превратив себя в городового, погнался с обнаженной шпагой за Бровцыным, который едва успел укрыться в доме Миниха.

Подполковник Пустошкин, вспомнив 1730 год, подговорил многих, и в том числе гвардейских офицеров, подать челобитную от российского шляхетства о назначении регентом принца-отца. Пустошкин хотел провести свою просьбу через кабинет-министра князя Черкасского, одного из шляхетских вождей 1730 г., а тот выдал его Бирону. Офицеры толковали о регенте, не трогая императора-ребенка; нижним чинам была понятнее более простая и радикальная мысль о самом престоле. При сыне герцога Брауншвейгского, кто ни будь регентом, господство все равно останется в руках немцев. На престоле надобно лицо, которое обошлось бы без регента и без немцев. Озлобление на немцев расшевелило национальное чувство; эта новая струя в политическом возбуждении постепенно поворачивает умы в сторону дочери Петра. Идучи от присяги императору-ребенку, гвардейские солдаты толковали о цесаревне Елизавете.

Один гвардейский капрал в этот день говорил своим товарищам: «А не обидно ли? Вот чего император Петр I в Российской империи заслужил: коронованного отца дочь государыня-цесаревна отставлена». Возбуждение гвардейских кружков сообщалось и низшим слоям, с ними соприкасавшимся. Когда манифест о воцарении Ивана Антоновича и о регентстве Бирона был прислан в Шлиссельбург, в канцелярию Ладожского канала, один писарь оказался навеселе. Окружающие советовали ему привести себя для присяги в порядок, но он возразил: «Не хочу – я верую Елизавет-Петровне». Самые скромные чины хотели иметь свои политические верования. Так был подготовлен ночной гвардейский переворот 25 ноября 1741 г., который возвел на престол дочь Петра I.

Этот переворот сопровождался бурными патриотическими выходками, неистовым проявлением национального чувства, оскорбленного господством иноземцев: врывались в дома, где жили немцы, и порядочно помяли даже канцлера Остермана и самого фельдмаршала Миниха. Гвардейские офицеры потребовали у новой императрицы, чтобы она избавила Россию от немецкого ига. Она дала отставку некоторым немцам. Гвардия

осталась недовольна, требуя поголовного изгнания всех немцев за границу. В Финляндском походе (тогда шла война со Швецией) в лагере под Выборгом против немцев поднялся открытый бунт гвардии, усмиренный только благодаря энергии генерала Кейта, который, схватив первого попавшегося бунтовщика, приказал сейчас же позвать священника, чтобы приготовить солдата к расстрелянию.

В. Якоби. **Шуты при дворе Анны Иоанновны**

Елизавета I

Императрица Елизавета Петровна

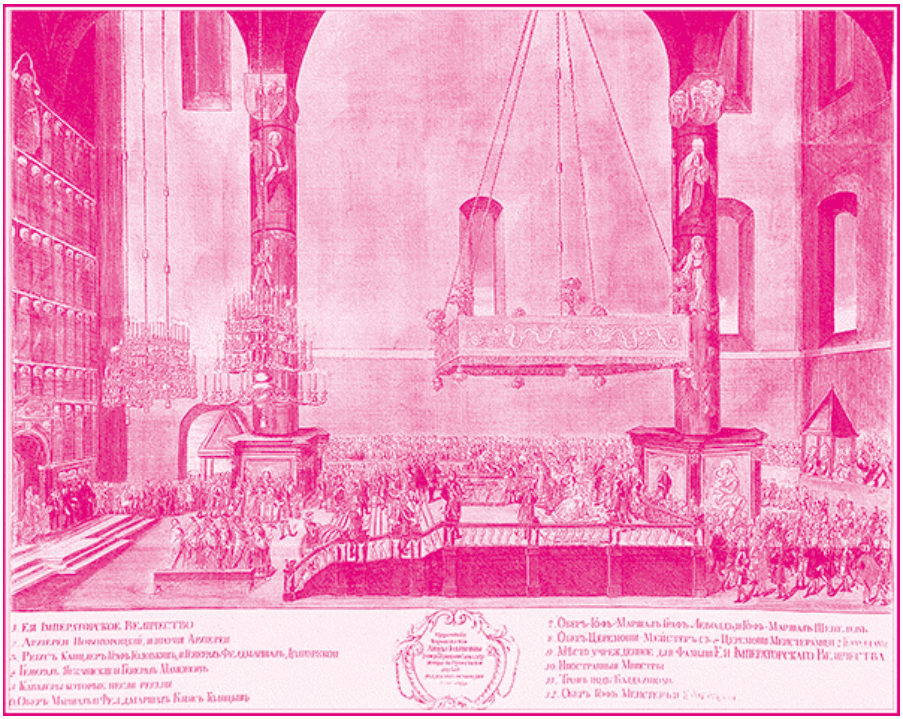
Дальнейшие смены на престоле. Когда в январе 1730 г. простудился и опасно заболел Петр II, временщики, князь Алексей Долгорукий и его сын Иван, любимец императора-мальчика, решили удержать власть в своих руках посредством обмана. Они собрали фамильный совет, на котором князь

Алексей предложил принять подложное завещание умиравшего императора, передававшее верховную власть его невесте княжне Екатерине, дочери князя Алексея. Другой Долгорукий, поумнее, – фельдмаршал князь Василий Владимирович усомнился в удаче этой нелепой затеи. Князь Алексей возражал, что он, напротив, вполне уверен в успехе дела, и, в оправдание своей уверенности, сказал: «Ведь ты, князь Василий, в Преображенском полку подполковник, а князь Иван – майор, да и в Семеновском против того спорить будет некому». Значит, придворные люди, всего ближе стоявшие к престолу, тогда уже привыкали думать, что ни в каком важном политическом деле нельзя обойтись без участия гвардии, что, напротив, успех такого дела обеспечен, как скоро его поддерживают гвардейские офицеры.

По смерти Петра II Верховный тайный совет неожиданно, помимо всякой очереди и без ведома других высших учреждений, избрал на престол дочь царя Ивана, вдову-герцогиню Курляндскую Анну, ограничив ее власть. Предприятие, как увидим, пало вследствие вмешательства гвардейских офицеров и дворянства. Усыпленная Тайной канцелярией и 10-летним русским безмолвием, Анна до совершеннолетия своего преемника, двухмесячного ребенка, накануне своей смерти (17 октября 1740 г.), назначила Бирона регентом с самодержавными полномочиями. Это был грубый вызов русскому чувству национальной чести, смущавший самого Бирона. «Небось», – ободрила его Анна, умирая. Но немцы, после десятилетнего господства своего при Анне, озлобившего русских, усевшись около русского престола, точно голодные кошки около горшка с кашей, и достаточно напитавшись, начали на сытом досуге грызть друг друга. Миних, пообедав и любезно просидев вечер 8 ноября 1740 г. у регента, ночью с дворцовыми караульными офицерами и солдатами Преображенского полка, командиром которого состоял, арестовал Бирона в постели. Причем солдаты, порядком поколотив его и засунув ему в рот носовой платок, завернули его в одеяло и снесли в караульню, а оттуда, в накинутой сверх ночного белья солдатской шинели, отвезли в Зимний дворец, откуда потом отправили с семейством в Шлиссельбург. Анна Леопольдовна, мать императора, провозгласила себя правительницей государства, и тогда правительство совсем расстроилось. Остерман интригами оттер Миниха от власти, а Анна, принцесса совсем дикая, сидевшая по целым дням в своих комнатах неодетой и непричесанной, была на ножах со своим супругом Антоном Ульрихом Брауншвейгским, генералиссимусом русских войск, в мыслительной силе не желавшим отставать от своей супруги.

Пользуясь слабостью правительства и своей популярностью, особенно в гвардейских казармах, цесаревна Елизавета, дочь Петра I, в ночь на 25 ноября 1741 г. с гренадерской ротой Преображенского полка произвела новый переворот с характерными подробностями. Горячо помолившись Богу и дав обет во все царствование не подписывать смертных приговоров, Елизавета, в кирасе поверх платья, только без шлема, и с крестом в руке вместо копья, без музыки, но со своим старым учителем музыки Шварцем, явилась новой Палладой в казармы Преображенского полка. Она напомнила подготовленным уже гренадерам, чья она дочь, стала на колени и, показывая крест тоже коленопреклоненным гренадерам, сказала: «Клянусь умереть за вас; клянетесь ли вы умереть за меня?» Получив утвердительный ответ, она повела их в Зимний дворец, без сопротивления проникла в спальню правительницы и разбудила ее словами: «Пора вставать, сестрица!» – «Как, это вы, сударыня?!» – спросила Анна спросонья и была арестована самой цесаревной, которая, расцеловав низвергаемого ребенка-императора, отвезла мать в свой дворец. Принц-отец, разбуженный в своей спальне, растерянно сидел на постели; гренадеры завернули его в одеяло, как Бирона год назад, снесли вниз и отвезли вслед за женой во дворец Елизаветы. Туда же собрали и важнейших деятелей павшего правительства, в том числе и Миниха с Остерманом, сильно помятых солдатами при аресте, а вслед за арестантами стеклись к новой императрице ее приверженцы, заждавшиеся своей правительственной очереди. Восторженно приветствуемая народом и гвардией, Елизавета в тот же день перебралась в очищенный Зимний дворец. Так удачной ночной феерией разогнан был курляндско-брауншвейгский табор, собравшийся на берегах Невы дотрепывать верховную власть, завещанную Петром Великим своей империи.

По воцарении Елизаветы, когда патриотические языки развязались, церковные проповедники с безопасной отвагой говорили, что немецкие правители превратили преобразованную Петром Россию в торговую лавку, даже в вертеп разбойников. Во всяком случае, Брауншвейг-Люнебург не стал родоначальником новой русской династии, а попал с престола в русскую крепость, уступив свое место Голштейн-Готторпу. Тогда в России дворец и крепость стояли рядом, поддерживая друг друга и обмениваясь жильцами. Преемник и племянник Елизаветы – герцог Голштинский Петр III – воцарился без замешательства, но через полгода был низвержен своей женой, ставшей во главе гвардейских полков.



Коронация Елизаветы Петровны

Гвардия и дворянство. Таким образом, повторю, почти все правительства, сменявшиеся со смерти Петра I до воцарения Екатерины II, были делом гвардии. С ее участием в 37 лет при дворе произошло пять-шесть переворотов. Петербургская гвардейская казарма явилась соперницей Сената и Верховного тайного совета, преемницей московского Земского собора. Это участие гвардейских полков в решении вопроса о престоле имело очень важные политические последствия; прежде всего оно оказало сильное действие на политическое настроение самой гвардии. Сначала послушное орудие в руках своих вожаков, Меншикова, Бутурлина, она потом хотела быть самостоятельной двигательницей событий, вмешивалась в политику по собственному почину; дворцовые перевороты стали для нее приготовительной политической школой. Но тогдашняя гвардия не была только привилегированной частью русского войска, оторванной от общества: она имела влиятельное общественное значение, была представительницей целого сословия, из среды которого почти исключительно комплектовалась.

В гвардии служил цвет того сословия, слои которого, прежде разобщенные, при Петре I объединились под общим названием дворянства или шляхетства, и по законам Петра она была обязательной военной школой для этого сословия. Политические

вкусы и притязания, усвоенные гвардией благодаря участию в дворцовых делах, не оставались в стенах петербургских казарм, но распространялись оттуда по всем дворянским углам, городским и деревенским. Эту политическую связь гвардии с сословием, стоявшим во главе русского общества, и опасные последствия, какие отсюда могли произойти, живо чувствовали властные петербургские дельцы того времени. Когда, по смерти императрицы Анны, регентом стал Бирон, в гвардии быстро распространился ропот против курляндского авантюриста, постыдным путем достигшего такой власти. Бирон жаловался на строптивость гвардии, обзывал ее янычарами и видел корень зла именно в ее сословном составе, с досадой говорил: «Зачем это в гвардии рядовые из дворян? Их можно перевести офицерами в армейские полки, а на их место набрать гвардию из простого народа». Это опасение быть раскассированными по армейским полкам всего более и подняло гвардейцев против Бирона, побудив их в 1740 г. идти за Минихом.

Е. Лансере. **Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе.** *1905 г.*

Поэтому, одновременно с дворцовыми переворотами и под их очевидным влиянием, и в настроении дворянства обнаруживаются важные перемены: 1) благодаря политической роли, какая ходом придворных дел была навязана гвардии и так охотно ею разучена, среди дворянства установился такой притязательный взгляд на свое значение в государстве, какого у него не было заметно прежде; 2) при содействии этого взгляда и обстоятельств, его установивших, изменялись и положение

дворянства в государстве, и его отношения к другим классам общества.

Политическое настроение высшего класса. Деятельность Петра во всем русском обществе пробудила непривычную и усиленную работу политической мысли. Переживали столько неожиданных положений, встречали и воспринимали столько невиданных явлений, такие неиспытанные впечатления ложились на мысль, что и неотзывчивые умы стали задумываться над тем, что творилось в государстве. Излагая народные толки при Петре и про Петра, я указывал, как оживленно пересуживали самые простые люди текущие явления, далекие от их ежедневного кругозора. Но странные явления, которые так возбуждали общее внимание, не прекращались и после Петра.

Древняя Русь никогда не видала женщин на престоле, а по смерти преобразователя на престол села женщина, да еще неведомо откуда взявшаяся иноземка. Эта новость вызвала в народе много недоразумений, печальных или забавных. Так, во время присяги императрице-вдове некоторые простачки в Москве отказались присягать, говоря: «Если женщина стала царем, так пусть женщины ей и крест целуют». Это возбуждение политической мысли прежде и сильнее всего должно было обнаружиться в высшем классе, дворянстве, ближе других сословий стоявшем к государственным делам, как привычное орудие правительства. Но это оживление неодинаково проявилось в различных слоях сословия. Между тем как в рядовом дворянстве, беспощадно выгоняемом из захолустных усадеб в полки и школы, мысль изощрялась на изобретении способов, как бы отбыть от науки и службы, в верхних слоях, особенно в правительственной среде, умы усиленно работали над более возвышенными предметами. Здесь еще уцелели остатки старой боярской знати, образовавшие довольно тесный кружок немногих фамилий.

Из общего политического возбуждения здесь выработалась своего рода политическая программа, сложился довольно определенный взгляд на порядок, какой должен быть установлен в государстве. Различные условия помогали более раннему и углубленному напряжению политической мысли в этом родовитом и вместе высокочиновном слое дворянства. Прежде всего, здесь еще не успели погаснуть некоторые политические предания, шедшие из XVII в. А в XVIII в. московское боярство сделало несколько попыток ограничить верховную власть. Одну из них, предпринятую при царе Федоре и едва не удавшуюся, помнили еще и по смерти Петра старики, входившие в состав этой знати. Да и сам Петр, как ни мало это на него похоже, своей

областной децентрализацией, этими восьмью губернскими царствами 1708 г. с полномочными проконсулами во главе их, мог только освежить воспоминание о великородных наместниках, задуманных в боярском проекте 1681 г.

С другой стороны, произвол Петра, его пренебрежение к породе подогревали эти воспоминания. Мы уже знаем, что последние десятилетия XVII в., особенно время правления царицы Натальи, отмечены были современниками как начальная эпоха падения первых знатнейших фамилий и возвышения людей из «самого низкого и убогого шляхетства». При Петре эти люди стали первыми вельможами, «большими господами государства». В головах, заучивавших наизусть десятки поколений своих занумерованных родословных предков, антагонизм старой и новой знати преображал свежие предания прошедшего в светлые мечты будущего. Прожектеры Петра I не могли заметно повлиять на политическое сознание русского общества. Их проекты не оглашались, обсуждали преимущественно вопросы практического характера, финансовые, промышленные, полицейские, не касаясь основ государственного порядка, из европейских уставов выбирали только то, что «приличествует токмо самодержавию». Нельзя преувеличивать и действия на русские умы политической литературы, компилятивной и переводной, печатной и рукописной, накопившейся при Петре I. Одобряя чтение Пуффендорфа, Гуго Гроция, Татищев сетует на распространение таких вредных писателей, как Гоббс, Локк, Боккалини, итальянский либерал и сатирик XVI–XVII вв., который в своем сочинении, изображая парнасский суд Аполлона и ученых мужей над властителями мира, представляет, как все государи, к великой досаде ученого судилища, присоединяются к принцу московскому, признавшемуся в своей ненависти к наукам и просвещению. Ходячие и безвредные для русского читателя идеи западноевропейской публицистики о происхождении государств, об образах правления, о власти государей изложены Ф. Прокоповичем в «Правде воли монаршей», но этой краткой энциклопедии государственного права, при всем интересе вызвавшего ее вопроса, в 4 года не раскупили и 600 экземпляров.

Большую долю брожения, хотя и в ограниченной сфере действия, вносило в политическое настроение высшего класса ближайшее знакомство с политическими порядками и общественными нравами Западной Европы, какое приобреталось людьми этого класса путем учебных и дипломатических посылок за границу. Как ни тускло представлялись пониманию русского наблюдателя порядки заграничной жизни, все же он не мог на некоторых из них не остановить удивленного внимания. Он ехал

за границу с воспитанной всем складом русского быта мыслью, что без уставно-церковной подтяжки и полицейского страха невозможны никакая благопристойность, никакой общественный порядок. И вот петровский делец Толстой отмечает в своем дневнике, что «венецианe» живут весело и ни в чем друг друга не зазирают. Ни от кого, ни в чем никакого страха никто не имеет, всякий делает по своей воле, кто что хочет, но живут во всяком покое, без обиды и без тягостных податей.

Вещи еще удивительнее заметил во Франции другой петровский делец, Матвеев, сын просвещенного воспитателя матери Петра: «Никто из вельмож ни малейшей причины, ни способа не имеет даже последнему в том королевстве учинить какого озлобления или нанесть обиду… Король, кроме общих податей, хотя самодержавный государь, никаких насилований не может, особливо ни с кого взять ничего, разве по самой вине, по истине рассужденной от парламента… Дети их (французской знати) никакой косности, ни ожесточения от своих родителей, ни от учителей не имеют, но в прямой воле и смелости воспитываются и без всякой трудности обучаются своим наукам». Люди, живущие по своей воле и не пожирающие друг друга, вельможи, не смеющие никого обидеть, самодержец, не могущий ничего взять со своих подданных без определения парламента, дети, успешно обучающиеся без побоев, – все это были невозможные нелепости для тогдашнего московского ума, способные вести только к полной анархии. И все эти нелепые невозможности русский наблюдатель видел воочию, как ежедневные обиходные факты или правила, нарушение которых считалось скандалом.

Царствование. Императрица Елизавета царствовала двадцать лет, с 25 ноября 1741 г. по 25 декабря 1761 г. Царствование ее было не без славы, даже не без пользы. Молодость ее прошла не назидательно. Ни строгих правил, ни приятных воспоминаний не могла царевна вынести из беспризорной второй семьи Петра, где первые слова, какие выучивался произносить ребенок, были «тятя», «мама», «солдат». Мать спешила, как можно скорее сбыть дочерей замуж, чтобы, в случае смерти их отца, не иметь в них соперниц по престолонаследию. Подрастая, Елизавета казалась барышней, получившей воспитание в девичьей. Всю жизнь она не хотела знать, когда нужно вставать, одеваться, обедать, ложиться спать. Большое развлечение доставляли ей свадьбы прислуги: она сама убирала невесту к венцу и потом из-за двери любовалась, как веселятся свадебные гости. В обращении она была то чересчур проста и ласкова, то из пустяков выходила из себя и бранилась, кто бы ни попадался, лакей или царедворец, самыми неудачными

словами, а фрейлинам доставалось и больнее.

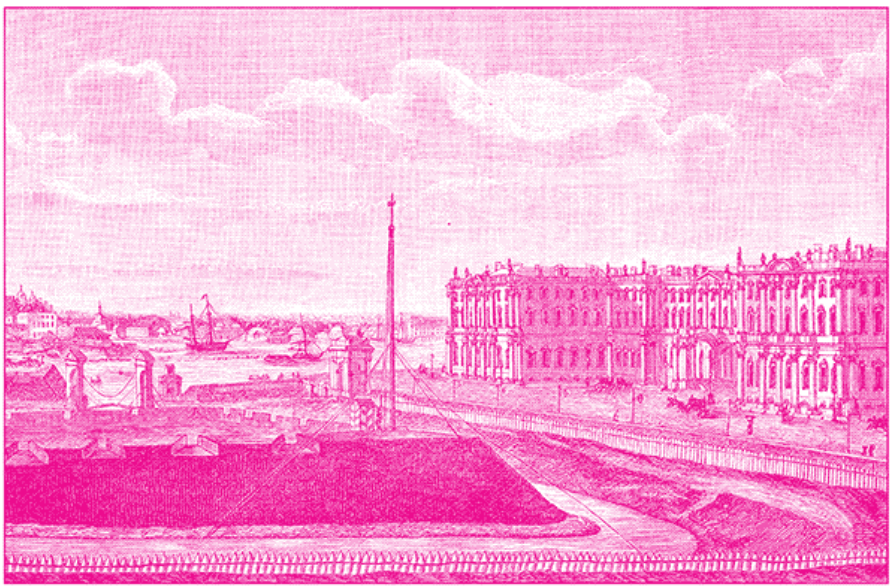
Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспиталась среди новых европейских веяний и преданий благочестивой отечественной старины. То и другое влияние оставило на ней свой отпечаток. Она умела совместить в себе понятия и вкусы обоих. От вечерни она шла на бал, а с бала поспевала к заутрене, благоговейно чтила святыни и обряды Русской церкви, выписывала из Парижа описания придворных версальских банкетов и фестивалей, до страсти любила французские спектакли и до тонкости знала все гастрономические секреты русской кухни.

Послушная дочь своего духовника отца Дубянского и ученица французского танцмейстера Рамбура, она строго соблюдала посты при своем дворе, так что гастроному канцлеру А. П. Бестужеву-Рюмину только с разрешения константинопольского патриарха дозволено было не есть грибного, и во всей империи никто лучше императрицы не мог исполнить менуэта и русской пляски. Религиозное настроение согревалось в ней эстетическим чувством. Невеста всевозможных женихов на свете, от французского короля до собственного племянника, при императрице Анне спасенная Бироном от монастыря и герцогской саксен-кобургмейнингенской трущобы, она отдала свое сердце придворному певчему из черниговских казаков. Ее дворец превратился в музыкальный дом. Выписывали и малороссийских певчих, и итальянских певцов, а чтобы не нарушить цельности художественного впечатления, те и другие совместно пели и обедню и оперу. Двойственностью воспитательных влияний объясняются приятные или неожиданные противоречия в характере и образе жизни Елизаветы.

Живая и веселая, но не спускавшая глаз с самой себя, при этом крупная и стройная, с красивым круглым и вечно цветущим лицом, она любила производить впечатление. И, зная, что к ней особенно идет мужской костюм, она установила при дворе маскарады без масок, куда мужчины обязаны были приезжать в полном женском уборе, в обширных юбках, а дамы – в мужском придворном платье.

Наиболее законная из всех преемников и преемниц Петра I, но поднятая на престол мятежными гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего великого отца, строила дворцы в двадцать четыре часа и в двое суток проезжала тогдашний путь от Москвы до Петербурга, исправно платя за каждую загнанную лошадь. Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования. Она побеждала первого стратега того времени, Фридриха Великого, брала Берлин,

уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа. Но с правления царевны Софьи никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоминания. При двух больших коалиционных войнах, изнурявших Западную Европу, казалось, Елизавета со своей 300-тысячной армией могла стать вершительницей европейских судеб. Карта Европы лежала перед ней в ее распоряжении, но она так редко на нее заглядывала, что до конца жизни была уверена в возможности проехать в Англию сухим путем; и она же основала первый настоящий университет в России – Московский.



Новый Зимний дворец, построенный в конце царствования Елизаветы Петровны.

С акварели Бенуа. XIX в.

Ленивая и капризная, пугавшаяся всякой серьезной мысли, питавшая отвращение ко всякому деловому занятию, Елизавета не могла войти в сложные международные отношения тогдашней Европы и понять дипломатические хитросплетения своего канцлера Бестужева-Рюмина. Но в своих внутренних покоях она создала себе особое политическое окружение из приживалок и рассказчиц, сплетниц. В их главе стоял интимный солидарный кабинет, где премьером была Мавра Егоровна Шувалова, жена известного нам изобретателя и прожектера, а членами состояли Анна Карловна Воронцова, урожденная Скавронская, родственница императрицы, и какая-то просто Елизавета Ивановна, которую так и звали «министром иностранных дел». «Все дела через нее государыне подавали», – замечает

современник. Предметами занятий этого кабинета были россказни, сплетни, наушничества, всякие каверзы и травля придворных друг против друга, доставлявшая Елизавете великое удовольствие. Это и были «сферы» того времени; отсюда раздавались важные чины и хлебные места; здесь вершились крупные правительственные дела. Эти кабинетные занятия чередовались с празднествами. Смолоду Елизавета была мечтательна и, еще будучи великой княжной, раз в очарованном забытье подписала деловую хозяйственную бумагу вместо своего имени словами «Пламень огн…».

Вступив на престол, она хотела осуществить свои девические мечты в волшебную действительность; нескончаемой вереницей потянулись спектакли, увеселительные поездки, куртаги, балы, маскарады, поражавшие ослепительным блеском и роскошью до тошноты. Порой весь двор превращался в театральное фойе. Изо дня в день говорили только о французской комедии, итальянской комической опере и ее содержателе Локателли, интермеццах и т. п.

Но жилые комнаты, куда дворцовые обитатели уходили из пышных зал, поражали теснотой, убожеством обстановки, неряшеством. Двери не затворялись, в окна дуло; вода текла по стенным обшивкам, комнаты были чрезвычайно сыры. У великой княгини Екатерины в спальне в печи зияли огромные щели; близ этой спальни в небольшой каморе теснилось 17 человек прислуги; меблировка была так скудна, что зеркала, постели, столы и стулья по надобности перевозили из дворца во дворец, даже из Петербурга в Москву, ломали, били и в таком виде расставляли по временным местам. Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете; она оставила после себя в гардеробе с лишком 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных счетов и недостроенный громадный Зимний дворец, уже поглотивший с 1755 по 1761 г. более 10 миллионов рублей на наши деньги.

Незадолго до смерти ей очень хотелось пожить в этом дворце; но она напрасно хлопотала, чтобы строитель Растрелли поспешил отделать хотя бы только ее собственные жилые комнаты. Французские галантерейные магазины иногда отказывались отпускать во дворец новомодные товары в кредит. При всем том в ней, не как в ее курляндской предшественнице, где-то там глубоко под толстой корой предрассудков, дурных привычек и испорченных вкусов еще жил человек, порой прорывавшийся наружу: то в обете перед захватом престола никого не казнить смертью и в осуществившем этот обет указе 17 мая 1744 г., фактически отменившем смертную казнь в России, то в

неутверждении свирепой уголовной части Уложения, составленной в Комиссии 1754 г. и уже одобренной Сенатом, с изысканными видами смертной казни, то в недопущении непристойных ходатайств Синода о необходимости отказаться от данного императрицей обета, то, наконец, в способности плакать от несправедливого решения, вырванного происками того же Синода.

Елизавета была умная и добрая, но беспорядочная и своенравная русская барыня XVIII в., которую, по русскому обычаю, многие бранили при жизни и, тоже по русскому обычаю, все оплакали по смерти.

Петр III

Г.-Х. Гроот. **Император Петр III**

Не оплакало ее только одно лицо, потому что было не русское и не умело плакать: это – назначенный ею самой наследник престола – самое неприятное из всего неприятного, что оставила после себя императрица Елизавета. Этот наследник, сын старшей Елизаветиной сестры, умершей вскоре после его рождения, герцог Голштинский, известен в нашей истории под именем Петра III.

По странной игре случая в лице этого принца совершилось загробное примирение двух величайших соперников начала

XVIII в. Петр III был сын дочери Петра I и внук сестры Карла XII. Вследствие этого владельцу маленького герцогства Голштинского грозила серьезная опасность стать наследником двух крупных престолов, шведского и русского. Сначала его готовили к первому и заставляли учить лютеранский катехизис, шведский язык и латинскую грамматику. Но Елизавета, вступив на русский престол и желая обеспечить его за линией своего отца, командировала майора Корфа с поручением, во что бы ни стало взять ее племянника из Киля и доставить в Петербург. Здесь голштинского герцога Карла-Петра-Ульриха преобразили в великого князя Петра Федоровича и заставили изучать русский язык и православный катехизис. Но природа не была к нему так благосклонна, как судьба: вероятный наследник двух чужих и больших престолов, он по своим способностям не годился и для своего собственного маленького трона.

Он родился и рос хилым ребенком, скудно наделенным способностями. В чем не догадалась отказать неблагосклонная природа, то сумела отнять у него нелепая голштинская педагогия. Рано став круглым сиротой, Петр, в Голштинии, получил никуда негодное воспитание под руководством невежественного придворного, который грубо обращался с ним, подвергал унизительным и вредным для здоровья наказаниям, даже сек принца. Унижаемый и стесняемый во всем, он усвоил себе дурные вкусы и привычки, стал раздражителен, вздорен, упрям и фальшив, приобрел печальную наклонность лгать, с простодушным увлечением веруя в свои собственные вымыслы, а в России приучился еще напиваться. В Голштинии его так плохо учили, что в Россию он приехал 14-летним круглым неучем и даже императрицу Елизавету поразил своим невежеством.

Быстрая смена обстоятельств и программ воспитания вконец сбила с толку и без того некрепкую его голову. Принужденный учиться то тому, то другому без связи и порядка, Петр кончил тем, что не научился ничему, а несходство голштинской и русской обстановки, бессмыслие кильских и петербургских впечатлений совсем отучили его понимать окружающее. Развитие его остановилось раньше его роста; в лета мужества он оставался тем же, чем был в детстве, вырос, не созрев. Его образ мыслей и действий производил впечатление чего-то удивительно недодуманного и недоделанного. На серьезные вещи он смотрел детским взглядом, а к детским затеям относился с серьезностью зрелого мужа. Он походил на ребенка, вообразившего себя взрослым; на самом деле это был взрослый человек, навсегда оставшийся ребенком. Уже будучи женат, в России, он не мог расстаться со своими любимыми куклами, за которыми его не раз

заставали придворные посетители.

Форма голштинских войск при Петре III

Сосед Пруссии по наследственному владению, он увлекался военной славой и стратегическим гением Фридриха II. Но так как в его миниатюрном уме всякий крупный идеал мог поместиться, только разбившись на игрушечные мелочи, то это воинственное увлечение повело Петра только к забавному пародированию прусского героя, к простой игре в солдатики. Он не знал и не хотел знать русской армии. И так как для него были слишком велики настоящие, живые солдаты, то он велел наделать себе солдатиков восковых, свинцовых и деревянных и расставлял их в своем кабинете на столах с такими приспособлениями, что если дернуть за протянутые по столам шнурки, то раздавались звуки, которые казались Петру похожими на беглый ружейный огонь.

Бывало, в табельный день он соберет свою дворню, наденет нарядный генеральский мундир и произведет парадный смотр своим игрушечным войскам, дергая за шнурки и с наслаждением вслушиваясь в батальные звуки. Раз Екатерина, вошедшая к мужу, была поражена представившимся ей зрелищем. На веревке, протянутой с потолка, висела большая крыса. На вопрос Екатерины, что это значит, Петр сказал, что крыса совершила уголовное преступление, жесточайше наказуемое по военным законам: она забралась на картонную крепость, стоявшую на столе, и съела двух часовых из крахмала. Преступницу поймали, предали военно-полевому суду и приговорили к смертной казни через повешение. Елизавета приходила в отчаяние от характера и поведения племянника и не могла провести с ним четверти часа без огорчения, гнева и даже отвращения. У себя в комнате, когда заходила о нем речь, императрица заливалась слезами и жаловалась, что Бог дал ей такого наследника. С ее набожного языка срывались совсем не набожные отзывы о нем: «проклятый племянник», «племянник мой урод, черт его возьми!» Так рассказывает Екатерина в своих записках. По ее словам, при дворе считали вероятным, что Елизавета в конце жизни согласилась бы, если бы ей предложили выслать племянника из России, назначив наследником его 6-летнего сына Павла. Но ее фавориты, задумывавшие такой шаг, не отважились на него и, перевернувшись по-придворному, принялись заискивать милости у будущего императора.

Не подозревая миновавшей беды, напутствуемый зловещими отзывами тетки, этот человек наизнанку, у которого спутались понятия добра и зла, вступил на русский престол. Он и здесь сохранил всю узость и мелочность мыслей и интересов, в которых был воспитан и вырос. Ум его, голштински тесный, никак не мог расшириться в географическую меру нечаянно доставшейся ему беспредельной империи. Напротив, на русском престоле Петр стал еще более голштинцем, чем был дома. В нем с особенной силой заговорило качество, которым скупая для него природа наделила его с беспощадной щедростью: это была трусость, соединявшаяся с легкомысленной беспечностью.

Он боялся всего в России, называл ее проклятой страной. Он сам выражал убеждение, что в ней ему непременно придется погибнуть, но нисколько не старался освоиться и сблизиться с ней, ничего не узнал в ней и всего чуждался. Она пугала его, как пугаются дети, оставшиеся одни в обширной пустой комнате. Руководимый своими вкусами и страхами, он окружил себя обществом, какого не видали даже при Петре I, столь неразборчивым в этом отношении, создал себе собственный

мирок, в котором и старался укрыться от страшной ему России. Он завел особую голштинскую гвардию из всякого международного сброда, но только не из русских своих подданных: то были большею частию сержанты и капралы прусской армии, «сволочь, – по выражению княгини Дашковой, – состоявшая из сыновей немецких сапожников».

Считая для себя образцом армию Фридриха II, Петр старался усвоить себе манеры и привычки прусского солдата, начал выкуривать непомерное количество табаку и выпивать непосильное множество бутылок пива, думая, что без этого нельзя стать «настоящим бравым офицером». Вступив на престол, Петр редко доживал до вечера трезвым и садился за стол обыкновенно навеселе. Каждый день происходили пирушки в этом голштинском обществе, к которому по временам присоединялись блуждающие кометы – заезжие певицы и актрисы. В этой компании император, по свидетельству Болотова, близко его видавшего, говаривал «такой вздор и такие нескладицы», что сердце обливалось кровью у верноподданных от стыда пред иностранными министрами. То вдруг начнет он развивать невозможные преобразовательные планы, то с эпическим воодушевлением примется рассказывать о небывало победоносном своем походе на цыганский табор под Килем, то просто разболтает какую-нибудь важную дипломатическую тайну. На беду, император чувствовал влечение к игре на скрипке, считая себя совершенно серьезно виртуозом, и подозревал в себе большой комический талант, потому что довольно ловко выделывал разные смешные гримасы, передразнивал священников в церкви и нарочно заменил при дворе старинный русский поклон французским приседанием, чтобы потом представлять неловкие книксены пожилых придворных дам. Одна умная дама, которую он забавлял своими гримасами, отозвалась о нем, что он совсем непохож на государя.

В его царствование было издано несколько важных и дельных указов, каковы были, например, указы об упразднении Тайной канцелярии, о позволении бежавшим за границу раскольникам воротиться в Россию с запрещением преследовать за раскол. Эти указы внушены были не отвлеченными началами веротерпимости или ограждения личности от доносов, а практическими расчетами людей, близких к Петру, – Воронцовых, Шуваловых и других, которые, спасая свое положение, хотели царскими милостями упрочить популярность императора. Из таких же соображений вышел и указ о вольности дворянства. Но сам Петр мало заботился о своем положении и скоро успел вызвать своим образом действий единодушный ропот в обществе.

Он как будто нарочно старался вооружить против себя все классы, и, прежде всего, духовенство. Он не скрывал, напротив, задорно щеголял своим пренебрежением к церковным православным обрядам, публично дразнил русское религиозное чувство, в придворной церкви во время богослужения принимал послов, ходя взад и вперед, точно у себя в кабинете, громко разговаривал, высовывал язык священнослужителям, раз на Троицын день, когда все опустились на колени, с громким смехом вышел из церкви. Новгородскому архиепископу Димитрию Сеченову, первоприсутствующему в Синоде, дан был приказ «очистить русские церкви», т. е. оставить в них только иконы Спасителя и Божией Матери и вынести остальные, русским священникам обрить бороды и одеваться, как лютеранские пасторы. Исполнением этих приказов повременили, но духовенство и общество всполошились: люторы надвигаются! Особенно раздражено было черное духовенство за предпринятую Петром III секуляризацию церковных недвижимых имуществ. Управлявшая ими Коллегия экономии, прежде подведомственная Синоду, теперь поставлена была в прямую зависимость от Сената. Ей предписано было отдать крестьянам все церковные земли и с теми, какие они пахали на монастыри и архиереев. А из собираемых с церковных вотчин доходов назначить на содержание церковных учреждений ограниченные штатные оклады. Эту меру Петр не успел привести в исполнение; но впечатление было произведено. Гораздо опаснее было раздражение гвардии, этой щекотливой и самоуверенной части русского общества. С самого вступления на престол Петр старался всячески рекламировать свое безграничное поклонение Фридриху II. Он при всех набожно целовал бюст короля, во время одного парадного обеда во дворце при всех стал на колени перед его портретом.

Тотчас по воцарении он облекся в прусский мундир и носил чаще прусский орден. Пестрый и антично узенький прусский мундир был введен и в русской гвардии, заменив собой старый просторный темно-зеленый кафтан, данный ей Петром I. Считая себя военным подмастерьем Фридриха, Петр III старался ввести строжайшую дисциплину и в немного распущенных русских войсках. Каждый день происходили экзерциции. Ни ранг, ни возраст не освобождали от маршировки. Сановные люди, давно не видавшие плаца да к тому же успевшие запастись подагрой, должны были подвергнуться военно-балетной муштровке прусских офицеров и проделывать все военные артикулы. Фельдмаршал, бывший генерал-прокурор Сената, старик князь Никита Трубецкой, по своему званию подполковника гвардии,

должен был являться на учение и маршировать вместе с солдатами. Современники не могли надивиться, как времена переменились, как, по выражению Болотова, «ныне больные и небольные и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют и так же хорошохонько топчут и месят грязь, как и солдаты». Что было всего обиднее – сбродной голштинской гвардии Петр отдавал во всем предпочтение перед русской, называя последнюю янычарами. А в русской внешней политике хозяйничал прусский посланник, всем распоряжавшийся при дворе Петра.

Прусский вестовщик до воцарения, пересылавший Фридриху II в Семилетнюю войну сведения о русской армии, Петр на русском престоле стал верноподданным прусским министром. Перед возмущенным чувством оскорбленного национального достоинства опять восстал ненавистный призрак второй бироновщины, и это чувство подогревалось еще боязнью, что русская гвардия будет раскассирована по армейским полкам, чем ей грозил уже Бирон. К тому же все общество чувствовало в действиях правительства шатость и каприз, отсутствие единства мысли и определенного направления. Всем было очевидно расстройство правительственного механизма. Все это вызвало дружный ропот, который из высших сфер переливался вниз и становился всенародным. Языки развязались, как бы не чувствуя страха полицейского; на улицах открыто и громко выражали недовольство, без всякого опасения порицая государя. Ропот незаметно сложился в военный заговор, а заговор повел к новому перевороту.

Форма голштинских войск при Петре III

Екатерина II

Императрица Екатерина II

Переворот 28 июня 1762 г. Лицом, во имя которого было предпринято движение, стала императрица, успевшая приобрести широкую популярность, особенно в гвардейских полках. Император дурно жил с женой, грозил развестись с ней и даже заточить в монастырь, а на ее место поставить близкую ему особу,

племянницу канцлера графа Воронцова. Екатерина долго держалась в стороне, терпеливо перенося свое положение и не входя в прямые сношения с недовольными. Но сам Петр вызвал ее к действию. Чтобы переполнить чашу русского огорчения и довести всенародный ропот до открытого взрыва, император заключил мир (24 апреля 1762 г.) с тем самым Фридрихом, который при Елизавете приведен был в отчаяние русскими победами. Теперь Петр отказался не только от завоеваний, даже от тех, которые уступал сам Фридрих, от Восточной Пруссии, не только заключил с ним мир, но присоединил свои войска к прусским, чтобы действовать против австрийцев, недавних русских союзников. Русские скрежетали зубами от досады, замечает Болотов. За парадным обедом 9 июня, по случаю подтверждения этого мирного договора, император провозгласил тост за императорскую фамилию. Екатерина выпила свой бокал сидя. На вопрос Петра, почему она не встала, она отвечала, что не считала этого нужным, так как императорская фамилия вся состоит из императора, из нее самой и их сына, наследника престола. «А мои дяди, принцы Голштинские?» – возразил Петр и приказал стоявшему у него за креслом генерал-адъютанту Гудовичу подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово. Но, опасаясь, как бы Гудович при передаче не смягчил этого неучтивого слова, Петр сам выкрикнул его через стол во всеуслышание. Императрица расплакалась. В тот же вечер приказано было арестовать ее, что, впрочем, не было исполнено по ходатайству одного из дядей Петра, невольных виновников этой сцены.

С этого времени Екатерина стала внимательнее прислушиваться к предложениям своих друзей, какие делались ей, начиная с самой смерти Елизаветы. Предприятию сочувствовало множество лиц высшего петербургского общества, большею частью лично обиженных Петром. Таков был граф Никита Панин, елизаветинский дипломат и воспитатель великого князя наследника Павла; такова была 19-летняя дама княгиня Дашкова, сестра фаворитки, имевшая через мужа большие связи в гвардии. Сочувствовал делу и архиепископ Новгородский Димитрий Сеченов, который по своему сану, разумеется, не мог принять прямого участия в заговоре. Но всего больше помогал делу втихомолку малороссийский гетман и президент Академии наук граф Кирилл Разумовский, богач, за щедрость чрезвычайно любимый в своем гвардейском Измайловском полку.

Настоящими дельцами предприятия была гвардейская офицерская молодежь, преображенцы Пассек и Бредихин, измайловцы Ласунский и братья Рославлевы, конногвардейцы

Хитрово и унтер-офицер Потемкин. Центром, около которого соединялись эти офицеры, служило целое гнездо братьев Орловых. Из него особенно выдавались двое: Григорий и Алексей. Силачи, рослые и красивые, ветреные и отчаянно-смелые, мастера устраивать по петербургским окраинам попойки и кулачные бои насмерть, они были известны во всех полках как идолы тогдашней гвардейской молодежи. Старший из них, Григорий, артиллерийский офицер, давно был в сношениях с императрицей, которые искусно скрывались. Заговорщики делились на четыре отделения, во главе которых стояли особые вожди, собиравшиеся для совещаний. Впрочем, не было обычного конспиративного ритуала: ни правильных собраний, ни рассчитанных приемов пропаганды; не заметно и подробно разработанного плана действий. Да в этом и не было надобности: гвардия давно была так воспитана целым рядом дворцовых переворотов, что не нуждалась в особой подготовке к подобному предприятию, лишь бы было популярное лицо, во имя которого всегда можно было поднять полки. Накануне переворота Екатерина считала на своей стороне до 40 офицеров и до 10 тысяч солдат гвардии. Переворот не был нечаянным: его все ждали. Всего за неделю до него, среди все усиливавшегося волнения, по улицам столицы ходили толпы народа, особенно гвардейцев, и почти въявь «ругали» государя. Впечатлительные наблюдатели считали часы в ожидании взрыва. Разумеется, к Петру шли доносы, а тот, веселый и беззаботный, не понимая серьезности положения, ни на что не обращал внимания и продолжал ветреничать в Ораниенбауме, не принимая никаких мер предосторожности, даже сам, как деятельный заговорщик против самого себя, раздувал тлевший огонь.

Окончив бесполезно для России одну войну, Петр затевал другую, еще менее полезную, разорвав с Данией, чтобы возвратить отнятый ею у Голштинии Шлезвиг. Воинственно двигая силы Русской империи на маленькую Данию для восстановления целости родной Голштинии, Петр в то же время ратовал за свободу совести в России. Синоду 25июня дан был указ, предписывавший равенство христианских вероисповеданий, необязательность постов, неосуждение грехов против седьмой заповеди, «ибо и Христос не осуждал», отобрание в казну всех монастырских крестьян; в заключение указ требовал от Синода непререкаемого исполнения всех мероприятий императора. Сумасбродные распоряжения Петра побуждали верить самым невероятным слухам. Так, рассказывали, что он хочет развести всех придворных дам с их мужьями и перевенчать с другими по своему выбору, а для примера – развестись с собственной женой и жениться на Елизавете Воронцовой, что, впрочем, могло

случиться. Становится понятным общее молчаливое соглашение, во что бы ни стало избавиться от такого самодержца. Выжидали только благоприятного случая, и его подготовлял сам Петр своей датской войной. Гвардия с огорчением ожидала приказа выступать в поход за границу, и приезд государя в Петербург на проводы Панин считал удобным моментом для переворота.

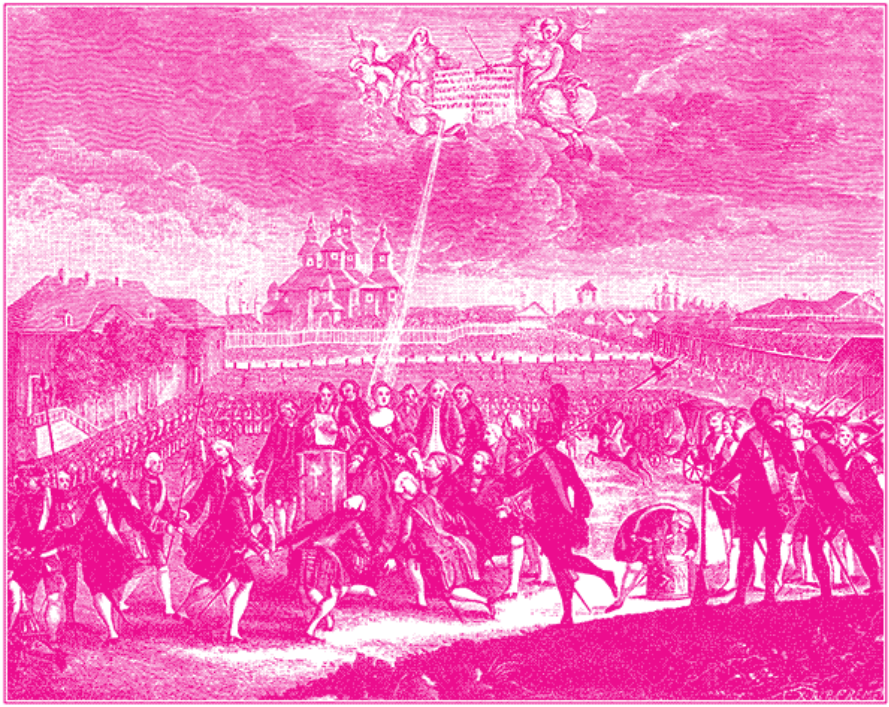
Но взрыв был ускорен случайным обстоятельством. К Пассеку вбежал встревоженный преображенский капрал с вопросом, скоро ли свергнут императора, и с известием, что императрица погибла; тревога солдат вызвана была слухами, какие распускали про Екатерину сами заговорщики. Пассек выпроводил солдата, уверив его, что ничего подобного не случилось, а тот бросился к другому офицеру, не принадлежавшему к заговору, и сказал ему то же самое, прибавив, что был уже у Пассека. Этот офицер донес о слышанном по начальству, и 27 июня Пассек был арестован. Арест его поднял на ноги всех заговорщиков, испугавшихся, что арестованный может выдать их под пыткой. Ночью решено было послать Алексея Орлова за Екатериной, которая жила в Петергофе в ожидании дня именин императора (29 июня).

Рано утром 28 июня А. Орлов вбежал в спальню к Екатерине и сказал, что Пассек арестован. Кое-как одевшись, императрица села с фрейлиной в карету Орлова, поместившегося на козлах, и была привезена прямо в Измайловский полк. Давно подготовленные солдаты по барабанному бою выбежали на площадь и тотчас присягнули, целуя руки, ноги, платье императрицы. Явился и сам полковник граф К. Разумовский. Затем, в предшествии приводившего к присяге священника с крестом в руке, двинулись в Семеновский полк, где повторилось то же самое. Во главе обоих полков, сопровождаемая толпой народа, Екатерина поехала в Казанский собор, где на молебне ее возгласили самодержавной императрицей. Отсюда она отправилась в новоотстроенный Зимний дворец и застала там уже в сборе Сенат и Синод, которые беспрекословно присоединились к ней и присягнули. К движению примкнули конногвардейцы и преображенцы с некоторыми армейскими частями и в числе свыше 14 тысяч окружили дворец, восторженно приветствуя обходившую полки Екатерину; толпы народа вторили войскам.

Без возражений и колебаний присягали и должностные лица, и простые люди, все, кто ни попадал во дворец, всем тогда открытый. Все делалось как-то само собой, точно чья-то незримая рука заранее все приладила, всех согласила и вовремя оповестила. Сама Екатерина, видя, как радушно все ее приветствовали, ловили ее руку, объясняла это единодушие народным характером движения: все приняли в нем добровольное

участие, чувствовали себя в нем самостоятельными деятелями, а не полицейскими куклами или любопытными зрителями. Между тем наскоро составили и раздавали народу краткий манифест, который возвещал, что императрица, по явному и нелицемерному желанию всех верных подданных, вступила на престол, став на защиту Православной Русской церкви, русской победной славы и внутренних порядков, совсем ниспроверженных.

Вечером 28 июня Екатерина, во главе нескольких полков, верхом, в гвардейском мундире старого петровского покроя и в шляпе, украшенной зеленой дубовой веткой, с распущенными длинными волосами, рядом с княгиней Дашковой, тоже верхом и в гвардейском мундире, двинулась в Петергоф, куда в тот день должен был приехать из Ораниенбаума император со свитой, чтобы обедать в Монплезире, петергофском павильоне, где помещалась Екатерина. С большим придворным обществом Петр подъехал к Монплезиру – он оказался пустым. Обшарили весь сад – нигде ее нет! Узнали, что императрица рано утром тайком уехала в Петербург. Все растерялись в недоумении. Три сановника, в том числе канцлер Воронцов, догадываясь, в чем дело, вызвались ехать в Петербург разузнать, что там делается, и усовестить императрицу. Екатерина всенародно уверяла после, что им велено было даже убить ее в случае надобности. Разведчики, приехав в Петербург, присягнули императрице и не воротились. Получив кое-какие известия из Петербурга, в Петергофе принялись рассылать адъютантов и гусар по всем дорогам к столице, писать приказы, давать советы, как поступить. Решено было захватить Кронштадт, чтобы оттуда действовать на столицу, пользуясь морскими силами. Но когда император со свитой приблизился к крепости, оттуда было объявлено, что по нему будут стрелять, если он не удалится. У Петра не хватало духа, чтобы по совету Миниха спрыгнуть на берег или плыть к Ревелю, а оттуда в Померанию и стать во главе русской армии, находившейся за границей. Петр забился в низ галеры и среди рыданий сопровождавших экспедицию придворных дам поплыл назад в Ораниенбаум.

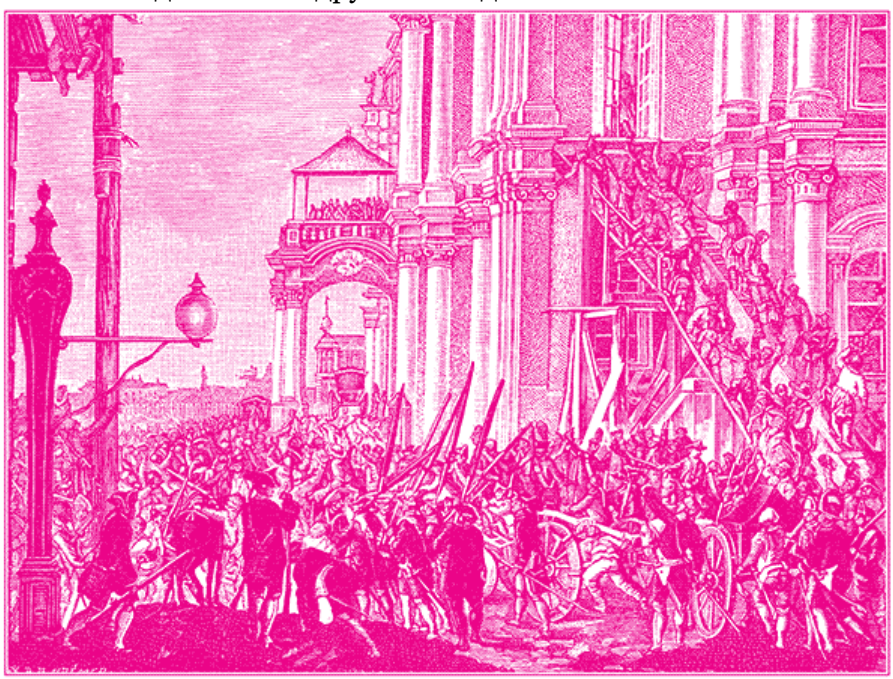


Присяга Измайловского полка Екатерине II.
С оригинального рисунка Кестнера

Попытка вступить в переговоры с императрицей не удалась; предложение помириться и разделить власть осталось без ответа. Тогда Петр принужден был собственноручно переписать и подписать присланный ему Екатериной акт якобы «самопроизвольного» клятвенного отречения от престола. Когда Екатерина со своими полками утром 29 июня заняла Петергоф, а Петр дал увезти себя туда из Ораниенбаума, его с трудом защитили от раздраженных солдат. В Петергофском дворце от непосильных потрясений с ним сделался обморок. Несколько времени спустя, когда пришел Панин, Петр бросился к нему, ловил его руки, прося его ходатайства, чтобы ему было позволено удержать при себе четыре особенно дорогие ему вещи: скрипку, любимую собаку, арапа и Елизавету Воронцову. Ему позволили удержать три первые вещи, а четвертую отослали в Москву и выдали замуж за Полянского.

Случайный гость русского престола, он мелькнул падучей звездой на русском политическом небосклоне, оставив всех в недоумении, зачем он на нем появлялся. Бывшего императора удалили в Ропшу, загородную мызу, подаренную ему императрицей Елизаветой, а Екатерина на другой день торжественно вступила в Петербург.

Так кончилась эта революция, самая веселая и деликатная из всех нам известных, не стоившая ни одной капли крови, настоящая дамская революция. Но она стоила очень много вина: в день въезда Екатерины в столицу, 30 июня, войскам были открыты все питейные заведения; солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, бочонки, во что ни попало, водку, пиво, мед, шампанское. Три года спустя в Сенате еще производилось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их «за растащенные при благополучном ее величества на императорский престол восшествии виноградные напитки солдатством и другими людьми».



Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая войсками.

С рисунка Кестнера

Дело 28 июня, завершая собою ряд дворцовых переворотов XVIII в., не во всем было на них похоже. И оно было исполнено посредством гвардии; но его поддержало открыто выразившееся сочувствие столичного населения, придавшее ему народную окраску. Притом оно носило совсем иной политический характер. В 1725, 1730 и 1741 гг. гвардия установляла или восстановляла привычную верховную власть в том или другом лице, которое вожди ее представляли ей законным наследником этой власти. В 1762 г. она выступала самостоятельной политической силой, притом не охранительной, как прежде, а революционной,

низвергая законного носителя верховной власти, которому сама недавно присягала. К возмущенному национальному чувству примешивалось в ней самодовольное сознание, что она создает и дает отечеству свое правительство, хоть и незаконное, но которое лучше законного поймет и соблюдет его интересы.

Объясняя гвардейский энтузиазм, проявившийся в перевороте, Екатерина вскоре писала, что последний гвардейский солдат смотрел на нее как на дело рук своих. И в ответ на эту революционную лояльность своей гвардии Екатерина поспешила заявить, что узурпация может стать надежным залогом государственного порядка и народного благоденствия. Когда в Петербурге улеглось движение, поднятое переворотом, излишества уличного патриотического ликования покрыты были торжественным актом, изъяснившим смысл совершившихся событий. Обнародован был второй, «обстоятельный» манифест от 6 июля. Это – и оправдание захвата, и исповедь, и обличение павшего властителя, и целая политическая программа. С беспощадной откровенностью разоблачаются преступные или постыдные деяния и злоумышления бывшего императора, которые, по уверению манифеста, должны были привести к мятежу, цареубийству и гибели государства. Видя отечество, гибнущее, и вняв «присланным от народа избранным верноподданным», императрица отдала себя или на жертву за любезное отечество, или на избавление его от угрожавших опасностей.

В лице низложенного императора манифест обличал и бичевал не злосчастную случайность, а самый строй Русского государства. «Самовластие, – гласил манифест, – не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственно бывает причиною». Никогда русская власть с высоты престола так откровенно не вещала своему народу такой печальной истины, что венец государственного здания, в коем он обитает, своим непрочным построением всегда грозит разрушить самое здание. В предотвращение этого бедствия императрица «наиторжественнейше» обещала своим императорским словом узаконить такие государственные установления, которые «и в потомки» предохранили бы целость империи и самодержавной власти, а верных слуг отечества вывели бы «из уныния и оскорбления».

Но и у этого переворота, так весело и дружно разыгравшегося, был свой печальный и ненужный эпилог. В Ропше Петра поместили в одной комнате, воспретив выпускать его не только в сад, но и на террасу. Дворец окружен был

гвардейским караулом. Приставники обращались с узником грубо; но главный наблюдатель Алексей Орлов был с ним ласков, занимал его, играл с ним в карты, ссужал его деньгами. С самого приезда в Ропшу Петру нездоровилось. Вечером того же 6 июля, когда был подписан манифест, Екатерина получила от А. Орлова записку, писанную испуганной и едва ли трезвой рукой. Можно было понять лишь одно: в тот день Петр за столом заспорил с одним из собеседников; Орлов и другие бросились их разнимать, но сделали это так неловко, что хилый узник оказался мертвым. «Не успели мы разнять, а его уже и не стало; сами не помним, что делали». Екатерина, по ее словам, была тронута, даже поражена этой смертью. Но, писала она месяц спустя, «надо идти прямо – на меня не должно пасть подозрение». Вслед за торжественным манифестом 6 июля по церквам читали другой, от 7 июля, печальный, извещавший о смерти впавшего в прежестокую колику бывшего императора и приглашавший молиться «без злопамятствия» о спасении души почившего. Его привезли прямо в Александро-Невскую лавру и там скромно похоронили рядом с бывшей правительницей Анной Леопольдовной. Весь Сенат просил Екатерину не присутствовать при погребении.

Значение переворотов. Читая манифест 6 июля, чувствуем, что стоим на каком-то важном переломе русской жизни. Он сулил нечто новое или дотоле не удававшееся, именно закономерное государство. Оглянемся несколько назад, чтобы видеть, как мало такое государство было подготовлено, как мысль о нем, вспыхивая по временам, скоро гасла. До конца XVI в. мы наблюдали Русское государство, державшееся еще на основах вотчинного порядка, в котором государство считалось не народным союзом, а фамильным достоянием государя, подданный знал только свои обязанности, не имея законом обеспеченных прав. Казалось, Смутное время должно было очистить государство от последних остатков этого порядка. Народ своими силами вышел из безурядицы, избрал новую династию, которая не строила государства, как ее предшественница, и не могла считать его своей вотчиной. Он показал, что способен стать деятельным участником государственного строения, перестал служить простым строительным материалом.

Действительно, после Смуты наблюдаем в московской государственной жизни два течения, из которых одно промывало себе новое земское русло, хотя другое тянуло к покинутым приказным берегам. Но по мере удаления от своего источника, новая струя постепенно наклонялась к старой, и к концу XVII в. слилась с нею. Вместе с новой династией оживали прежние вотчинные понятия и привычки. Родоначальник новой династии в

своих правительственных актах старался показать народу, что видит в себе не народного избранника, а племянника царя Федора и в этом родстве полагает истинную основу своей власти. Народная самодеятельность, вызванная Смутой, правда, закреплялась во всесословном Земском соборе; но в то же время падало его естественное основание, местное земское самоуправление, и сам Земский собор не отлился в твердое постоянное учреждение, скоро утратил свой первоначальный всесословный состав и, наконец, замер, заметенный вихрем петровской реформы.

Петр I своими понятиями и стремлениями близко подошел к идее правового государства. Он видел цель государства в добре общем, народном благе, не в династическом интересе, а средство для ее достижения – в законности, крепком хранении «прав гражданских и политических». Свою власть он считал не своей наследственной собственностью, а должностью царя, свою деятельность – служением государству. Но обстоятельства и привычки помешали ему привести свое дело в полное согласие с собственными понятиями и намерениями. Обстоятельства вынуждали его работать больше в области политики, чем права, а от предшественников он унаследовал два вредных политических предрассудка – веру в творческую мощь власти и уверенность в неистощимости народных сил и народного терпения. Он не останавливался ни перед чьим правом, ни перед какой народной жертвой. Став преобразователем в европейском духе, он сберег в себе слишком много московского, допетровского царя, не считался ни с правосознанием народа, ни с народной психологией и надеялся искоренить вековой обычай, водворить новое понятие так же легко, как изменял покрой платья или ширину фабричного сукна. Вводя все насильственно, даже общественную самодеятельность вызывая принуждением, он строил правомерный порядок на общем бесправии, и потому в его правомерном государстве рядом с властью и законом не оказалось всеоживляющего элемента, свободного лица, гражданина.

Петру не удалось укрепить свою идею государства в народном сознании, а после него она погасла и в правительственных умах. Законным преемникам Петра, его внуку и дочери, была недоступна его государственная идея. Остальные смены приносили на престол нечаянных властителей, даже инородцев, которые не могли видеть в России не только своей вотчины, но и своего отечества. Государство замкнулось во дворце. Правительства, охранявшие власть даже не как династическое достояние, а просто как захват, которого не умели

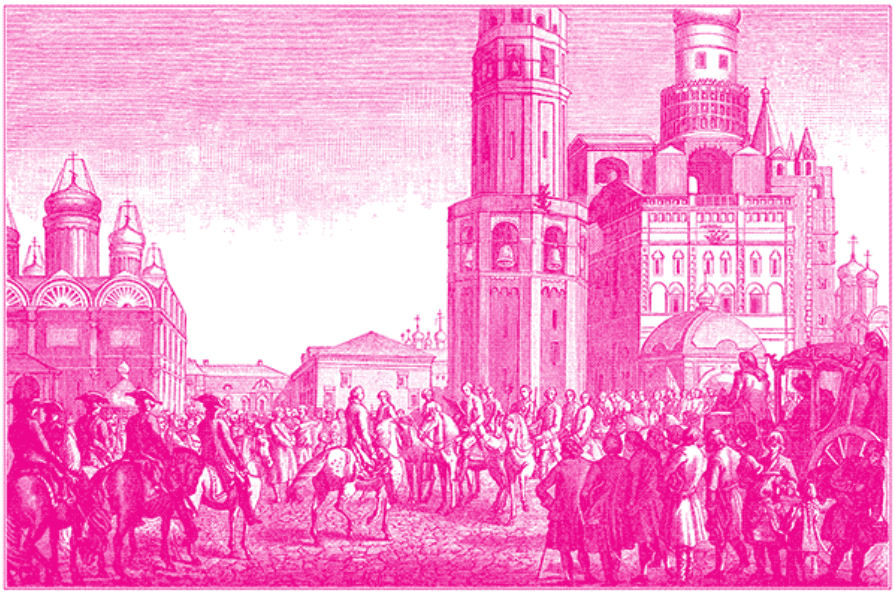
оправдать перед народом, нуждались не в народной, а в военно-полицейской опоре.

Но мутная волна дворцовых переворотов, фаворов и опал своим прибоем постепенно наносила вокруг престола нечто похожее на правящий класс с пестрым социальным составом, но с однофасонным складом понятий и нравов. Это была только новая формация военно-служилого класса, давно действовавшего при дворе московских государей-вотчинников под командой бояр. В опричнине Грозного этот класс получил яркую политическую окраску – как полицейский охранный корпус, направленный против боярской и земской крамолы. В XVII в. верхний слой его, столичное дворянство, поглощая в себя остатки боярства, становился на его место в управлении, а при Петре Великом, преобразованный в гвардию и приправленный дозой иностранцев, сверх того предназначался стать проводником западной культуры и военной техники. Государство не скупилось на вознаграждение дворянства за его административные и военные заслуги, увеличивало податное бремя народа на содержание дворян, роздало им огромное количество государственных земель и даже закрепостило за ними до двух третей сельского населения.

Наконец, после Петра дворянство во всем своем составе через гвардию делает случайные правительства, освобождается от обязательной службы и с новыми правами становится господствующим сословием, держащим в своих руках и управление, и народное хозяйство. Так формировалось это сословие из века в век, перелицовываясь по нуждам государства и по воспринимаемым попутно влияниям. К моменту воцарения Екатерины II оно составило народ в политическом смысле слова, и при его содействии дворцовое государство преемников Петра Первого получило вид государства сословно-дворянского. Правовое народное государство было еще впереди и не близко.

Основной факт эпохи. Манифест Екатерины II от 6 июля 1762 г. возвестил о новой силе, имевшей впредь направлять государственную жизнь России. Доселе единственным двигателем этой жизни, признанным в единственном основном законе империи, в уставе Петра Великого о престолонаследии, была всевластная воля государя, личное усмотрение. Екатерина объявила в манифесте, что самодержавное самовластие само по себе, без случайной, необязательной узды добрых и человеколюбивых качеств есть зло, пагубное для государства. Торжественно были обещаны законы, которые указывали бы всем государственным учреждениям пределы их деятельности. Как проводилось в государственную жизнь возвещенное начало законности, – в этом интерес царствования Екатерины II и ее

преемников; как случилось, что именно Екатерине II пришлось возвестить это начало, – в этом интерес ее личности, ее судьбы и характера.



Коронование Екатерины II. Объявление глашатаями народу о торжестве коронования.

С гравюры Калпашникова, сделанной с картины де Велли

Происхождение. Июньский переворот 1762 г. сделал Екатерину II самодержавной русской императрицей. С самого начала XVIII в. носителями верховной власти у нас были люди, либо необычайные, как Петр Великий, либо случайные. Таковы были его преемники и преемницы, даже те из них, кого назначала на престол в силу закона Петра I, предыдущая случайность, как было с ребенком Иваном VI и с Петром III. Екатерина II замыкает собою ряд этих исключительных явлений нашего во всем не упорядоченного XVIII в.: она была последней случайностью на русском престоле и провела продолжительное и необычайное царствование, создала целую эпоху в нашей истории. Далее пойдут уже царствования по законному порядку и в духе установившегося обычая.

Вид Штеттинского замка, в котором родилась Екатерина II

Екатерина по матери принадлежала к Голштейн-Готторпскому княжескому роду, одному из многочисленных княжеских родов Северной Германии, а по отцу – к другому тамошнему же и еще более мелкому владетельному роду – Ангальт-Цербстскому. Отец Екатерины, Христиан Август из Цербст-Горнбургской линии Ангальтского дома, подобно многим своим соседям, мелким северогерманским князьям, состоял на службе у прусского короля. Он был полковым командиром, комендантом, а потом губернатором города Штеттина. Неудачно баллотировался в курляндские герцоги и кончил свою экстерриториальную службу прусским фельдмаршалом, возведенный в это звание по протекции русской императрицы Елизаветы.

В Штеттине и родилась у него (21 апреля 1729 г.) дочь Софья Августа, наша Екатерина. Таким образом, эта принцесса соединяла в своем лице два мелких княжеских дома Северо-Западной Германии. Эта Северо-Западная Германия представляла в XVIII в. любопытный во многих отношениях уголок Европы. Здесь средневековый немецкий феодализм донашивал тогда сам себя, свои последние династические регалии и генеалогические предания. С бесконечными фамильными делениями и подразделениями, принцами Брауншвейг-Люнебургскими и Брауншвейг-Вольфенбюттельскими, Саксен-Гомбургскими, Саксен-Кобургскими, Саксен-Готскими и Саксен-Кобург-Готскими, Мекленбург-Шверинскими и Мекленбург-Стрелицкими, Шлезвиг-Голштейнскими, Голштейн-Готторпскими и Готторп-Эйтинскими, Ангальт-Дессаускими, Ангальт-Цербстскими и Цербст-

Дорнбургскими, – это был запоздалый феодальный муравейник, суетливый и в большинстве бедный, донельзя переродившийся и перессорившийся, копошившийся в тесной обстановке со скудным бюджетом и с воображением, охотно улетавшим за пределы тесного родного гнезда. В этом кругу все жило надеждами на счастливый случай, расчетами на родственные связи и заграничные конъюнктуры, на желанные сплетения неожиданных обстоятельств. Потому здесь всегда сберегались в потребном запасе маленькие женихи, которые искали больших невест, и бедные невесты, тосковавшие по богатым женихам, наконец, наследники и наследницы, дожидавшиеся вакантных престолов. Понятно, такие вкусы воспитывали политических космополитов, которые думали не о родине, а о карьере и для которых родина была везде, где удавалась карьера. Здесь жить в чужих людях было фамильным промыслом, служить при чужом дворе и наследовать чужое – династическим заветом.

Вот почему этот мелкокняжеский мирок получил в XVIII в. немаловажное международное значение: отсюда не раз выходили маленькие принцы, игравшие иногда крупные роли в судьбах больших европейских держав, в том числе и России. Мекленбург, Брауншвейг, Голштиния, Ангальт-Цербст поочередно высылали и к нам таких политических странников-чужедомов в виде принцев, принцесс и простых служак на жалованье. Благодаря тому что одна из дочерей Петра Великого вышла за герцога Голштинского, этот дом получил значение и в нашей истории.

Родичи Екатерины по матери, прямые и боковые, с самого начала XVIII в. либо служили на чужбине, либо путем браков искали престолов на стороне. Дед ее (по боковой линии) Фридрих Карл, женатый на сестре Карла XII Шведского, в начале Северной войны сложил голову в одном бою, сражаясь в войсках своего шурина. Один ее двоюродный дядя, сын этого Фридриха Карла, герцог Карл Фридрих женился на старшей дочери Петра I Анне и имел неудачные виды на шведский престол. Зато сына его, Карла Петра Ульриха, родившегося в 1728 г. и рождением своим похоронившего мать, шведы в 1742 г., при окончании неудачной войны с Россией, избрали в наследники шведского престола, чтобы этой любезностью задобрить его тетку, русскую императрицу, и смягчить условия мира; но Елизавета уже перехватила племянника для своего престола, а вместо него навязала шведам не без ущерба для русских интересов другого голштинского принца – Адольфа Фридриха, родного дядю Екатерины, которого русское правительство прежде проводило уже в герцоги Курляндские.

Другой родной дядя Екатерины из Голштинских – Карл – был

объявлен женихом самой Елизаветы, когда она была еще цесаревной, и только скорая смерть принца помешала ему стать ее мужем. Ввиду таких фамильных случаев, один старый каноник в Брауншвейге мог, не напрягая своего пророческого дара, сказать матери Екатерины: «На лбу вашей дочери я вижу по крайней мере три короны». Мир уже привыкал видеть в мелком немецком княжье головы, которых ждали чужие короны, остававшиеся без своих голов.

Екатерина родилась в скромной обстановке прусского генерала из мелких немецких князей и росла резвой, шаловливой, даже бедовой девочкой, любившей попроказить над старшими, особенно надзирательницами, щегольнуть отвагой перед мальчиками и умевшей не смигнуть, когда трусила. Родители не отягощали ее своими воспитательными заботами. Отец ее был усердный служака, а мать, Иоанна Елизавета, – неуживчивая и непоседная женщина, которую так и тянуло на ссору и кляузу, ходячая интрига, воплощенное приключение; ей было везде хорошо, только не дома. На своем веку она исколесила чуть не всю Европу, побывала в любой столице, служила Фридриху Великому по таким дипломатическим делам, за которые стеснялись браться настоящие дипломаты, чем заслужила большой респект у великого короля. И незадолго до воцарения дочери, она умерла в Париже в очень стесненном положении, потому что Фридрих скупо оплачивал услуги своих агентов.

Екатерина могла только благодарить судьбу за то, что мать редко бывала дома. В воспитании детей штеттинская комендантша придерживалась простейших правил, и Екатерина сама потом признавалась, что за всякий промах приучена была ждать материнских пощечин. Ей не исполнилось и 15 лет, когда в нее влюбился один из ее голштинских дядей, состоявший на саксонской, а потом на прусской службе, и даже добился от племянницы согласия выйти за него замуж. Но чисто голштинская встреча благоприятных обстоятельств разрушила эту раннюю идиллию и отвела ангальт-цербстскую принцессу от скромной доли прусской полковницы или генеральши, чтобы оправдать пророчество брауншвейгского каноника, доставив ей не три, а только одну корону, но зато стоившую десяти немецких.

Во-первых, императрица Елизавета, несмотря на позднейшие увлечения своего шаткого сердца, до конца жизни хранила нежную память о своем так рано умершем голштинском женихе. Она и оказывала внимание его племяннице с матерью, посылая им безделки вроде своего портрета, украшенного бриллиантами в 18 тыс. тогдашних рублей (не менее 100 тыс. нынешних). Такие подарки служили семье штеттинского губернатора, а потом

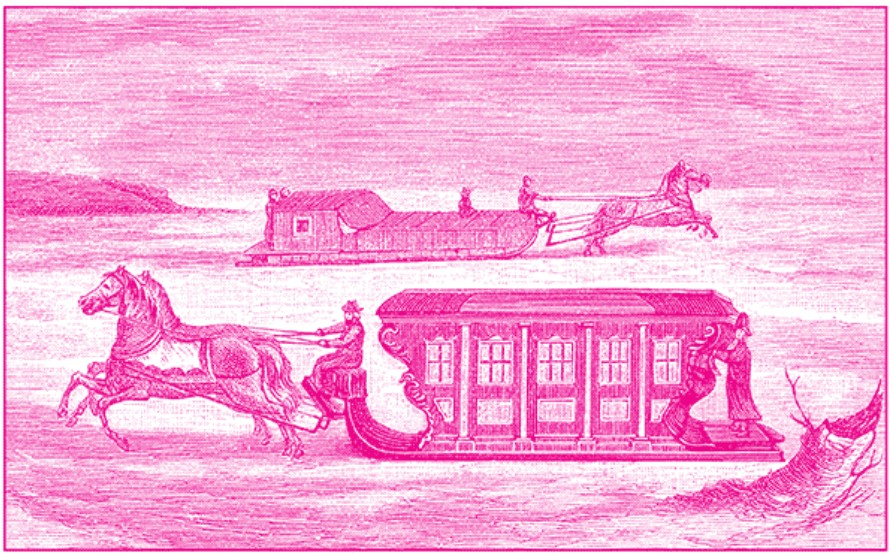
прусского фельдмаршала немалым подспорьем в ненастные дни жизни. А затем Екатерине много помогла ее фамильная незначительность.

В то время Петербургский двор искал невесты для наследника русского престола, и дальновидные петербургские политики советовали Елизавете направить поиски к какому-нибудь скромному владетельному дому, потому что невестка крупного династического происхождения, пожалуй, не будет оказывать должного послушания и почтения императрице и своему мужу. Наконец, в числе сватов, старавшихся пристроить Екатерину в Петербурге, было одно довольно значительное лицо в тогдашней Европе – сам король Прусский Фридрих II. После разбойничьего захвата Силезии у Австрии он нуждался в дружбе Швеции и России, и думал упрочить ее женитьбой наследников обеих этих держав. Елизавете очень хотелось женить своего племянника на прусской принцессе, но Фридриху жаль было расходовать свою сестру на русских варваров, и он наметил ее за шведского наследника упомянутого выше ставленника Елизаветы из Голштинских, Адольфа Фридриха, для подкрепления своей дипломатической агентуры в Стокгольме. А за русского наследника хотел испоместить дочь своего верного фельдмаршала, бывшего штеттинского губернатора, рассчитывая создать из нее тоже надежного агента в столице страшной для него империи. Он сам признается в своих записках с большим самодовольством, что брак Петра и Екатерины – его дело, его идея, что он считал его необходимым для государственных интересов Пруссии и в Екатерине он видел лицо, наиболее пригодное для их обеспечения со стороны Петербурга. Все это и решило выбор Елизаветы, несмотря на то или, скорее, между прочим, потому, что невеста по матери приходилась троюродной сестрой своему жениху.

Елизавета считала голштинскую родню своей семьей и видела в этом браке свое семейное дело. Оставалось успокоить отца, строгого лютеранина старой ортодоксальной школы, не допускавшего мысли о переходе дочери в греческую ересь, но его убедили, что религия у русских почти что лютеранская и даже почитание святых у них не приемлется. Помыслы 14-летней Екатерины шли навстречу тонким расчетам великого короля. В ней рано проснулся фамильный инстинкт: по ее признанию, уже с 7 лет у нее в голове начала бродить мысль о короне, разумеется чужой, а когда принц Петр Голштинский стал наследником русского престола, она «во глубине души предназначала себя ему», потому что считала эту партию самой значительной из всех возможных; позднее она откровенно признается в своих записках,

что, по приезде в Россию, русская корона ей больше нравилась, чем особа ее жениха. Когда (в январе 1744 г.) из Петербурга пришло к матери в Цербст приглашение немедленно ехать с дочерью в Россию, Екатерина уговорила родителей решиться на эту поездку. Мать даже обиделась за своего влюбленного брата, которому Екатерина уже дала слово. «А мой брат Георг, что он скажет?» – укоризненно спросила мать. «Он только может желать моего счастья», – отвечала дочь, покраснев.

И вот, окутанные глубокой тайной, под чужим именем, точно собравшись на недоброе дело, мать с дочерью спешно пустились в Россию и в феврале представились в Москве Елизавете. Весь политический мир Европы дался диву, узнав о таком выборе русской императрицы. Тотчас по приезде к Екатерине приставили учителей закона Божия, русского языка и танцев – это были три основные предмета высшего образования при национально-православном и танцевальном дворе Елизаветы.



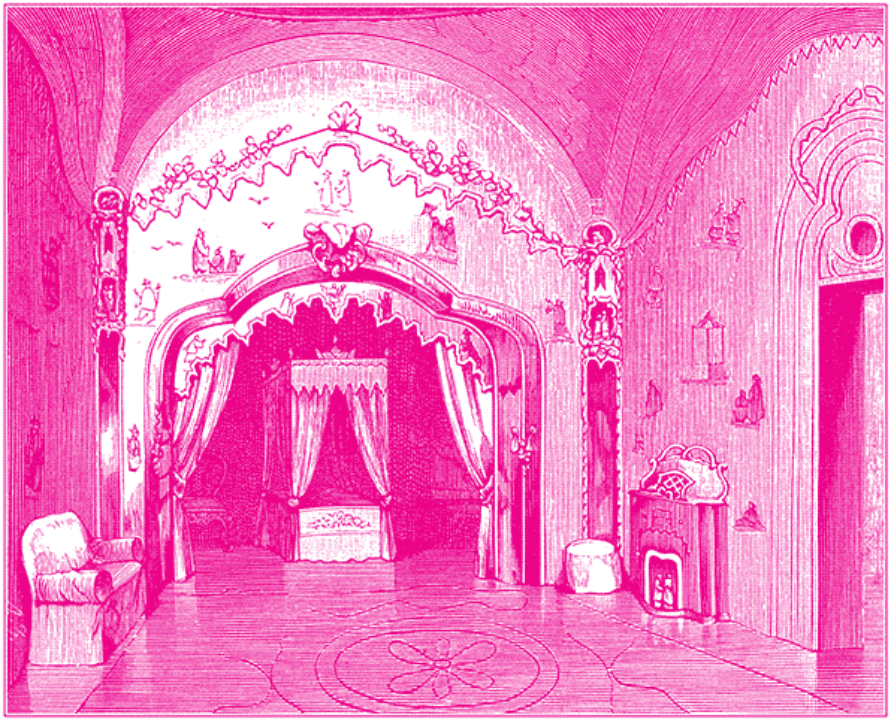
Придворные дорожные экипажи екатерининского времени

Еще не освоившись с русским языком, заучив всего несколько расхожих фраз, Екатерина затвердила, «как попугай», составленное для нее исповедание веры и, месяцев через пять по приезде в Россию, при обряде присоединения к православию произнесла это исповедание в дворцовой церкви внятно и громко, нигде не запнувшись; ей дано было православное имя Екатерины Алексеевны в честь матери-императрицы. Это было первое торжественное ее выступление на придворной сцене, вызвавшее общее одобрение и даже слезы умиления у зрителей, но сама она,

по замечанию иноземного посла, не проронила слезинки и держалась настоящей героиней. Императрица пожаловала новообращенной граф и складень бриллиантовый в несколько сот тысяч рублей. На другой день, 29 июня 1744 г., чету обручили, а в августе 1745 г. обвенчали, отпраздновав свадьбу 10-дневными торжествами, перед которыми померкли сказки Востока.

Двор Елизаветы. Екатерина приехала в Россию совсем бедной невестой. Она сама потом признавалась, что привезла с собой всего дюжину сорочек, да три-четыре платья, и то сшитые на вексель, присланный из Петербурга на путевые издержки; у нее не было даже постельного белья. Этого было очень мало, чтобы жить прилично при русском дворе, где во время одного дворцового пожара у Елизаветы сгорела только частица ее гардероба – до 4 тыс. платьев. Свои дворцовые наблюдения и впечатления тех лет Екатерина вспоминала потом с самодовольным спокойствием человека, издалека оглядывающегося на пройденную грязную дорогу.

Дворец представлял не то маскарад с переодеванием, не то игорный дом. Дамы меняли костюмы по два, по три раза в день, императрица – даже до пяти раз, почти никогда не надевая два раза одного и того же платья. С утра до вечера шла азартная игра на крупные суммы среди сплетен, подпольных интриг, пересудов, наушничества и флирта, флирта без конца. По вечерам сама императрица принимала деятельное участие в игре. Карты спасали придворное общежитие: другого общего примиряющего интереса не было у этих людей, которые, ежедневно встречаясь во дворце, сердечно ненавидели друг друга. Говорить прилично между собою им было не о чем. Показать свой ум они умели только во взаимном злословии. Заводить речь о науке, искусстве или о чем-либо подобном остерегались, будучи круглыми невеждами; половина этого общества, по словам Екатерины, наверное, еле умела читать и едва ли треть умела писать. Это была мундирная придворная лакейская, нравами и понятиями мало отличавшаяся от ливрейной, несмотря на присутствие в ее среде громких старофамильных имен, титулованных и простых.



Спальня Екатерины II в Ораниенбаумском дворце

Когда играл фаворит граф А. Разумовский, сам держа банк и нарочно проигрывая, чтобы поддержать славу тороватого барина, статс-дамы и другие придворные крали у него деньги; действительный тайный советник и президент Вотчинной коллегии, министр своего рода князь Одоевский однажды тысячи полторы в шляпе перетаскал, отдавая краденые деньги в сенях своему слуге. С этими сановниками и поступали, как с лакеями. Жена самого бойкого государственного дельца при Елизавете – графа П. И. Шувалова – служила молебны, когда ее муж возвращался с охоты того же Разумовского не высеченный добродушным фаворитом, который бывал буен, когда напивался.

Екатерина рассказывает, что раз на празднике в Ораниенбауме Петр III на глазах у дипломатического корпуса и сотни русских гостей высек своих любимцев: шталмейстера Нарышкина, генерал-лейтенанта Мельгунова и тайного советника Волкова. Полоумный самодержец поступал со своими сановными фаворитами, как пьяный фаворит умной самодержицы мог поступить с любым придворным сановником. Тон придворной жизни давала сама императрица. Символизируя размеры и богатство своей империи, она являлась на публичных выходах в огромных фижмах и усыпанная брильянтами, ездила к Троице молиться во всех русских орденах, тогда существовавших. В

будничном обиходе дворца царили неряшество и каприз; ни порядок придворной жизни, ни комнаты, ни выходы дворца не были устроены толково и уютно; случалось, навстречу иноземному послу, являвшемуся во дворец на аудиенцию, выносили всякий сор из внутренних покоев. Придворные дамы во всем должны были подражать императрице, но ни в чем не превосходить ее. Осмелившиеся родиться красивее ее и одеться изящнее, неминуемо шли на ее гнев. За эти качества она раз при всем дворе срезала ножницами «прелестное украшение из лент» на голове у обер-егермейстерши Нарышкиной. Раз ей понадобилось обрить свои белокурые волосы, которые она красила в черный цвет. Сейчас приказ всем придворным дамам обрить головы. С плачем расставались они со своими прическами, заменяя их безобразными черными париками. А то однажды, раздраженная неладами своих четырех фаворитов, она, в первый день Пасхи, разбранила всех своих 40 горничных, дала нагоняй певчим и священнику, испортила всем пасхальное настроение. Любя веселье, она хотела, чтобы окружающие развлекали ее веселым говором, но беда – обмолвиться при ней, хотя одним словом, о болезнях, покойниках, прусском короле, Вольтере, красивых женщинах, науках, и все большею частью осторожно молчали. Елизавета с досадой бросала на стол салфетку и уходила.

Положение Екатерины при дворе. Екатерина ехала в Россию с мечтой о короне, а не о семейном счастье. Но, в первое время по приезде, она поддалась было иллюзии счастливого будущего: ей казалось, что великий князь любит ее даже страстно. Императрица говорила, что любит ее почти больше, чем великого князя, осыпала ее ласками и подарками, из которых самые маленькие были в 10–15 тыс. руб.

Но она скоро отрезвилась, почувствовав опасности, какими грозил ей двор, где образ мыслей был, переводя возможно мягче ее выражение, низкий и испорченный (lache et corrompue). Почва затряслась под ее ногами. Раз у Троицы сидят они с женихом на окне и смеются. Вдруг из комнат императрицы выбегает ее лейб-медик Лесток и объявляет молодой чете: «Скоро ваше веселье кончится». Потом, обратившись к Екатерине, он продолжал: «Укладывайте ваши вещи; вы скоро отправитесь в обратный путь домой!» Оказалось, что мать Екатерины перессорилась с придворными, замешалась в интригу французского уполномоченного, маркиза Шетарди, и Елизавета решилась выслать неугомонную губернаторшу с дочерью за границу. Ее потом и выслали, только без дочери. При этой опасности нежданной разлуки жених дал понять невесте, что расстался бы с

нею без сожаления. «Со своей стороны, я, – прибавляет она как бы в отместку, – зная его свойства, и я не пожалела бы его, но к русской короне я не была так равнодушна». Незадолго до свадьбы она раздумалась над своим будущим. Сердце не предвещало ей счастья; замужество сулило ей одни неприятности. «Одно честолюбие меня поддерживало, – добавляет она, припоминая эти дни много после в своих записках, – в глубине души моей было я не знаю, что такое, что ни на минуту не оставляло во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь своего, сделаюсь самодержавной русской императрицей». Это предчувствие помогало ей не замечать или терпеливо переносить многочисленные терния, которыми был усыпан ее жизненный путь.

После свадьбы 16-летняя вещая мечтательница вступила в продолжительную школу испытаний. Серо и черство началась ее семейная жизнь с 17-летним вечным недорослком. Впрочем, самые тяжкие уроки шли не со стороны мужа. С ним она еще кое-как, с грехом пополам уживалась. Он играл в свои куклы и солдаты, наделав глупостей, обращался за советом к жене, и та выручала его, выдавал с головой в ее затруднениях. То принимался обучать ее ружейным приемам и ставить на караул, то ругал ее, когда проигрывал ей в карты. Он поверял ей свои амурные делишки с ее фрейлинами и горничными, нисколько не интересовался ее мыслями и чувствами и предоставлял ей заниматься вдоволь своими слезами и книгами. Так изо дня в день, через длинный ряд лет, тянулась супружеская жизнь, в которой царило полное равнодушие друг к другу, чуть не дружеское взаимное безучастие супругов, не имевших ничего общего, даже обоюдной ненависти. Хотя они жили под одной кровлей и носили звание жены и мужа – не самый высокий, зато довольно привычный сорт семейного счастья в тех кругах.

Настоящей тиранкой Екатерины была «дорогая тетушка». Елизавета держала ее, как дикую птицу в клетке, не позволяла ей выходить без спросу на прогулку, даже сходить в баню и переставить мебель в своих комнатах, иметь чернила и перья. Окружающие не смели говорить с ней вполголоса; к родителям она могла посылать только письма, составленные в Коллегии иностранных дел; следили за каждым ее шагом, каждое слово подслушивалось и переносилось императрице с наговорами и вымыслами; сквозь замочные скважины подсматривали, что она делает одна в своих комнатах. Люди из прислуги, которым она оказывала доверие или внимание, тотчас изгонялись из дворца. Раз, по оскорбительному доносу, ее заставили говеть в неурочное время только для того, чтобы через духовника выяснить ее

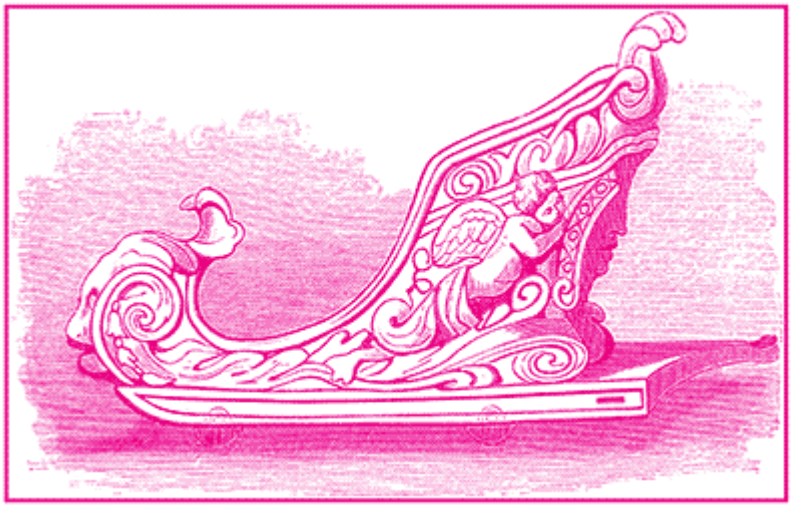
отношения к красивому лакею, с которым она обменялась несколькими словами через залу в присутствии рабочих. И чтобы живее дать ей почувствовать, что для набожного двора нет ничего святого, именем императрицы ей запретили долго плакать по умершем отце на том основании, что он не был королем: не велика-де потеря.

До поздних лет Екатерина не могла без сердечного возмущения вспомнить о таком бессердечии. Ласки и безумно щедрые подарки чередовались с более частыми грубыми выговорами, которые были тем обиднее, что нередко пересылались через лакеев; делая это лично, Елизавета доходила до исступления, грозившего побоями. «Не проходило дня, – пишет Екатерина, – чтобы меня не бранили и не ябедничали на меня». После одной из непристойных сцен, когда Елизавета наговорила «тысячу гнусностей», Екатерина поддалась было ужасному порыву: вошедшая к ней горничная застала ее с большим ножом в руке, который, к счастью, оказался так туп, что не одолел даже корсета.

Образ действий Екатерины. Это был минутный упадок духа перед невзгодами жизни. Но Екатерина явилась в Россию со значительной подготовкой ко всяким житейским невзгодам. В ранней молодости она многое видела. Родившись в Штеттине, она подолгу живала на попечении бабушки в Гамбурге, бывала в Брауншвейге, Киле и самом Берлине, где видела двор прусского короля. Все это помогло ей собрать обильный запас наблюдений и опытов, развило в ней житейскую сноровку, привычку распознавать людей, будило размышление. Может быть, эта житейская наблюдательность и вдумчивость при ее природной живости была причиной и ее ранней зрелости: в 14 лет она казалась уже взрослой девушкой, поражала всех высоким ростом и развитостью не по летам. Екатерина получила воспитание, которое рано освободило ее от излишних предрассудков, мешающих житейским успехам.

В то время Германия была наводнена французскими гугенотами, бежавшими из отечества после отмены Нантского эдикта Людовиком XIV. Эти эмигранты принадлежали большею частью к трудолюбивому французскому мещанству; они скоро захватили в свои руки городские ремесла в Германии и начинали овладевать воспитанием детей в высших кругах немецкого общества. Екатерину обучали закону Божию и другим предметам французский придворный проповедник патер Перар, ревностный служитель Папы, лютеранские пасторы Дове и Вагнер, которые презирали Папу, школьный учитель-кальвинист Лоран, который презирал и Лютера, и Папу. Когда же она приехала в Петербург,

наставником ее в греко-российской вере назначен был православный архимандрит Симон Тодорский, который со своим богословским образованием, довершенным в немецком университете, мог только равнодушно относиться и к Папе, и Лютеру, и Кальвину, всем вероисповедным делителям единой христианской истины. Можно понять, какой разнообразный запас религиозных миросозерцаний и житейских взглядов можно было набрать при столь энциклопедическом подборе вероучителей.



Катальная колясочка екатерининского времени.
С гравюры первой половины XIX в.

Это разнообразие, сливавшееся в бойкой 15-летней голове в хаотическое религиозное безразличие, очень пригодилось Екатерине, когда в ней, заброшенной к Петербургскому двору ангальт-цербст-голштинской судьбой и собственным честолюбием, по ее словам, среди непрерывных огорчений «только надежда или виды не на небесный венец, а именно на венец земной поддерживали дух и мужество». Для осуществления этих видов понадобились все наличные средства, какими ссудили ее природа и воспитание, и какие она приобрела собственными усилиями. В детстве ей твердили, и она сама знала с семи лет, что она очень некрасива, даже совсем дурнушка, но знала и то, что она очень умна. Поэтому недочеты наружности предстояло восполнять усиленной разработкой духовных качеств. Цель, с какой она ехала в Россию, дала своеобразное направление этой работе. Она решила, что для осуществления честолюбивой мечты, глубоко запавшей в ее душу, ей необходимо всем нравиться, прежде всего – мужу, императрице и народу. Эта задача сложилась уже в ее 15-летней голове в целый план, о котором она говорит приподнятым тоном, не без религиозного одушевления,

как об одном из важнейших дел своей жизни, совершавшемся не без воли Провидения.

План составлялся, по ее признанию, без чьего-либо участия, был плодом ее ума и души и никогда не выходил у нее из виду: «Все, что я ни делала, всегда клонилось к этому, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть». Для этого она не щадила ни своего ума, ни сердца, пуская в оборот все средства от искренней привязанности до простой угодливости. Задача облегчалась тем, что она хотела нравиться надобным людям независимо как от их достоинств, так и от своего внутреннего к ним отношения. Умные и добрые были благодарны ей за то, что она их понимает и ценит, а злые и глупые с удовольствием замечали, что она считает их добрыми и умными. Тех и других она заставляла думать о ней лучше, чем она думала о них. Руководясь такой тактикой, она обращалась со всеми как можно лучше, старалась снискать себе расположение всех вообще, больших и малых, или, по крайней мере, смягчить неприязнь людей, к ней не расположенных, поставила себе за правило думать, что она во всех нуждается, не держалась никакой партии, ни во что не вмешивалась, всегда показывала веселый вид, была предупредительна, внимательна и вежлива со всеми, никому не давая предпочтения, оказывала великую почтительность матушке, которой не любила, беспредельную покорность императрице, над которой смеялась, отличное внимание к мужу, которого презирала, – «одним словом, всеми средствами старалась снискать расположение публики», к которой одинаково причисляла и матушку, и императрицу, и мужа.

Л. *Ревон.* **Портрет великой княгини Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II**

Поставив себе за правило нравиться людям, с какими ей приходилось жить, она усваивала их образ действий, манеры, нравы и ничем не пренебрегала, чтобы хорошенько освоиться с обществом, в которое втолкнула ее судьба. Она вся превратилась, по ее словам, в зрителя, весьма страдательного, весьма скромного и даже видимо равнодушного, между тем прибегала к расспросам прислуги, обоими ушами слушала россказни словоохотливой камер-фрау, знавшей соблазнительную хронику всех придворных русских фамилий со времен Петра Великого и даже раньше, запаслась от нее множеством анекдотов, весьма пригодившихся ей для познания окружавшего ее общества, наконец, не брезгала даже подслушиванием. Во время продолжительной и тяжкой болезни, вскоре по приезде в Россию, Екатерина привыкла лежать

с закрытыми глазами. Думая, что она спит, приставленные к ней придворные женщины, не стесняясь, делились друг с другом россказнями, из которых она, не разрушая их заблуждения, узнавала много такого, чего никогда не узнала бы без такой уловки.

«Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили». По усвоенному ею способу нравиться, это значило и жить по-русски, т. е. как жили толкавшиеся перед ней русские придворные. В первое время, по ее словам, она «с головой окунулась» во все дрязги двора, где игра и туалет наполняли день, стала много заботиться о нарядах, вникать в придворные сплетни, азартно играть и сильно проигрываться. Наконец, заметив, что при дворе все любят подарки – от последнего лакея до великого князя-наследника, – принялась сорить деньги направо и налево. Стоило кому похвалить при ней что-нибудь, ей казалось уже стыдно этого не подарить. Назначенных ей на личные расходы 30 тыс. руб. не хватало, и она входила в долги, за что получала обидные выговоры от императрицы. Она занимала десятки тысяч даже с помощью английского посла, что уже было близко к политическому подкупу, и к концу жизни Елизаветы довела свой кредит до такого истощения, что не на что стало сшить платья к Рождеству. К тому времени по ее смете, не считая принятых ею на себя долгов матери, она задолжала свыше полумиллиона – не менее 3 1/2 млн руб. на наши деньги, – «страшная сумма, которую я выплатила по частям лишь по восшествии своем на престол». Она прилагала свое правило и к другой хорошо подмеченной ею особенности елизаветинского двора, где религиозное чувство сполна разменялось на церковные повинности, исполняемые за страх или из приличия, подчас не без чувствительности, но и без всякого беспокойства для совести.

С самого прибытия в Россию она прилежно изучала обряды Русской церкви, строго держала посты, много и усердно молилась, особенно при людях, даже иногда превосходя в этом желания набожной Елизаветы, но страшно сердя тем своего мужа. В первый год замужества Екатерина говела на первой неделе Великого поста. Императрица выразила желание, чтобы она попостилась и вторую неделю. Екатерина ответила ей просьбой, позволить ей есть постное все семь недель. Не раз заставали ее перед образами с молитвенником в руках.

Занятия. Как ни была она гибка, как ни гнулась под русские придворные нравы и вкусы, окружающие чувствовали и давали ей понять, что она им не ко двору, не их поля ягода. Ни придворные развлечения, ни осторожное кокетство с придворными кавалерами, ни долгие остановки перед зеркалом, ни

целодневная езда верхом, ни летние охотничьи блуждания с ружьем на плече по прибрежьям под Петергофом или Ораниенбаумом не заглушали чувства скуки и одиночества, просыпавшегося в ней в минуты раздумья. Покинуть родину для далекой страны, где надеялась найти второе отечество, и очутиться среди людей одичалых и враждебных, где слова по душе сказать не с кем и никого не приручишь никакой уживчивостью, – в таком положении минутами меркла светлая мечта честолюбия, которая завела ее в такую нелюдимую пустыню. В первое время Екатерина много плакала втихомолку. Но всегда готовая к борьбе и самообороне, она не хотела сдаваться и из уныния сделала средство самовоспитания, духовного закала. Всего больше боялась она показаться жалкой, беззащитной жертвой. Выходки императрицы возмущали ее как человека; пренебрежение со стороны мужа оскорбляло ее как жену и как женщину; самолюбие ее страдало, но из гордости она не показывала своих страдании, не жаловалась на свое унижение, чтобы не стать предметом обидного сострадания. Наедине она обливалась слезами, но тотчас тихонько утирала глаза и с веселым лицом выбегала к своим фрейлинам.

Настоящую, надежную союзницу в борьбе со скукой Екатерина встретила в книге. Но она не сразу нашла свою литературу. В Германии и в первое время по приезде в Россию она не обнаруживала особой охоты к чтению. Незадолго до свадьбы один образованный и уважаемый ею иностранец, опасаясь тлетворного влияния русского двора на ее ум, посоветовал ей читать серьезные книги, между прочим, «Жизнь Цицерона» и Монтескье «О причинах величия и упадка Римской республики». С большим трудом [она] достала эти книги в Петербурге, но прочла две страницы о Цицероне, потом принялась за Монтескье, который заставил ее задуматься, но, не будучи в состоянии читать последовательно, она стала зевать и, сказав, «вот хорошая книга», бросила ее, чтобы вернуться к нарядам.

Однако невыносимо бестолковая жизнь, какую устроила своей племяннице Елизавета, пошлая компания (linsipite compagnie), какой окружена была Екатерина, бессмысленные разговоры, которые она каждый день вокруг себя слышала, научили ее читать внимательнее, сделали для нее книгу убежищем от тоски и скуки. После свадьбы она, по ее словам, только и делала, что читала. «Никогда без книги и никогда без горя, но всегда без развлечений» – так очерчивает Екатерина свое тогдашнее времяпровождение. В шутливой эпитафии, которую она написала себе самой в 1778 г., она признается, что в течение

18 лет скуки и уединения (замужество) она имела достаточно времени, чтобы прочитать много книг. Сначала она без разбора читала романы. Потом ей попались под руку сочинения Вольтера, которые произвели решительный перелом в выборе ее чтения. Она не могла от них оторваться и не хотела, прибавляет она в письме к самому Вольтеру, читать ничего, что «не было так же хорошо написано и из чего нельзя было бы извлечь столько пользы».

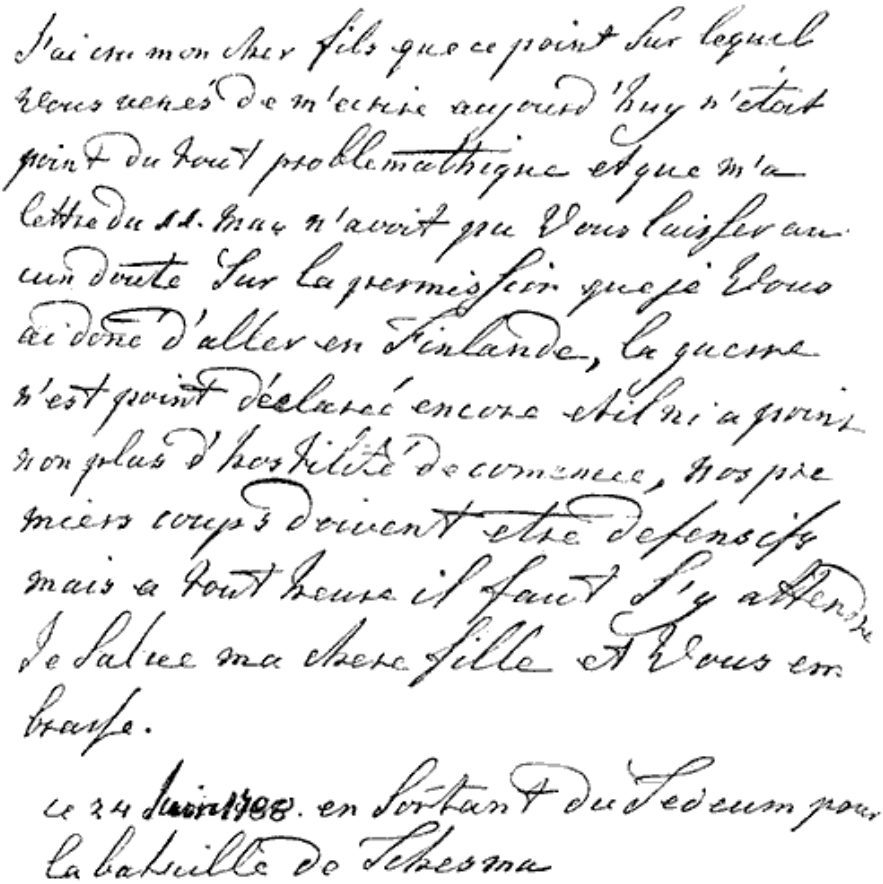
Но чтение не было для нее только развлечением. Потом она принимается за историю Германии, изданную в 1748 г. французским каноником Барром в 10 тяжеловесных томах, усидчиво прочитывая по одному тому в 8 дней, столь же регулярно изучает огромный, в четырех объемистых томах, философский словарь Бейля, прочитывая по тому в полгода. Трудно даже представить себе, как она справлялась с этим словарем, продираясь сквозь чащу ученых цитат, богословских и философских учений, не все в них понимая, и как производила в своей голове логическое размещение познаний, извлекаемых из источника в алфавитном беспорядке.

В то же время она прочитала множество русских книг, какие могла достать, не пугаясь очень трудных по неуклюжему изложению. Екатерина превращала свой спорт в регулярную работу, а работу любила доводить до крайнего напряжения сил. Она терпеливо коротала долгие часы в своей комнате за Барром или Бейлем, как летом в Ораниенбауме по целым утрам блуждала с ружьем на плече или по 13 часов в сутки скакала верхом. Ее не пугало переутомление. Словно она пробовала себя, делала смотр своим силам, физическим и умственным; ее как будто занимало в чтении не столько содержание читаемого, сколько упражнение внимания, гимнастика ума. И она изощрила свое внимание, расширила емкость своей мысли, без труда прочитала даже «Дух законов» Монтескье, вышедший в том же 1748 г., не швырнула его, зевая, со словами, что это «хорошая книга», как прежде поступила она с другой книгой того же писателя. А «Анналы» Тацита своей глубокой политической печалью произвели даже необыкновенный переворот в ее голове, заставив видеть многие вещи в черном свете и углубляться в интересы, которыми движутся явления, проносящиеся перед глазами.

Испытания и успехи. Но Екатерина не могла корпеть над своими учеными книгами спокойной академической отшельницей. Придворная политика, от которой ее ревниво и грубо отталкивали, задевала ее за живое, била прямо по чувству личной безопасности. Ее выписали из Германии с единственной целью добыть для русского престола запасного наследника на

всякий случай, при физической и духовной неблагонадежности штатного. Долго, целых 9 лет, не могла она исполнить этого поручения и за такое замедление потерпела немало горестей.

Впрочем, и рождение великого князя Павла (20 сентября 1754 г.) не заслужило ей приличного с ней обращения. Напротив, с ней стали поступать, как с человеком, исполнившим заказанное дело и ни на что более не нужным. Новорожденного как государственную собственность тотчас отобрали от матери и впервые показали ей только спустя 40 дней. Больную, заливавшуюся слезами и стонавшую, бросили одну без призора, в дурном помещении между дверьми и плохо затворявшимися окнами, не переменяли ей белья, не давали пить. В это время великий князь на радостях пил со своей компанией, едва повернувшись у жены, чтобы сказать ей, что ему некогда с ней оставаться. Императрица подарила Екатерине 100 тыс. руб. за рождение сына. «А мне, зачем ничего не дали?» – сказал страшно рассерженный Петр. Елизавета велела и ему дать столько же. Но в кабинете не оказалось ни копейки, и секретарь кабинета, ради бога, выпросил у Екатерины взаймы пожалованные ей деньги, чтобы передать их великому князю.



Факсимиле письма Екатерины II к великому князю Павлу Петровичу, написанного по-французски

Она старалась укрепить свое шаткое положение, всеми мерами и с заслуженным успехом приобретая сочувствие в обществе. Она хорошо говорила и даже порядочно писала по-русски; господствовавшая при дворе безграмотность извиняла ее промахи в синтаксисе и особенно в орфографии, где она в слове из трех букв делала четыре ошибки («исчо» – еще). В ней замечали большие познания о Русском государстве, какие редко встречались тогда среди придворного и правительственного невежества. По словам Екатерины, она, наконец, добилась того, что на нее стали смотреть, как на интересную и очень неглупую молодую особу. А иноземные послы, незадолго до Семилетней войны, писали про Екатерину, что теперь ее не только любят, но и боятся, и многие, даже те, кто находится в лучших отношениях к императрице, все-таки ищут случая под рукой угодить и великой княгине.

Граф А. П. Бестужев-Рюмин. Общественное мнение в России

и тогда, как всегда, было плохой опорой всякого политического положения. Екатерина искала более надежного союзника. Чрезвычайно пронырливый и подозрительный, непоколебимый в своих мнениях, упорный, деспотичный и мстительный, неуживчивый и часто мелочный, как характеризует его Екатерина, канцлер граф А. П. Бестужев-Рюмин резко выделялся из толпы придворных ничтожеств, какими окружала себя Елизавета. Заграничный выученик Петра Великого, много лет занимавший дипломатические посты за границей, Бестужев-Рюмин хорошо знал отношения европейских кабинетов. Потом – креатура Бирона в Кабинете министров императрицы Анны, присужденный к четвертованию, но помилованный после падения регента и из ссылки призванный к делам императрицей Елизаветой, он приобрел мастерство держаться при Петербургском дворе, в среде, лишенной всякой нравственной и политической устойчивости. Ум его, весь сотканный из придворных каверз и дипломатических конъюнктур, привык додумывать каждую мысль до конца, каждую интригу доплетать до последнего узла, всевозможных последствий. Раз составив мнение, он проводил его во что бы ни стало, ничего не жалея и никого не щадя. Он решил, что захватчивый король Прусский опасен для России, и не хотел идти ни на какие сделки с разбойничьим государством, каким тогда слыла в Европе Пруссия. Он и Екатерину встретил враждебно, видя в ней прусского агента.

Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин.
С гравированного портрета Бернигерота, написанного в 1755 г.

И этому врагу, от которого она ждала себе всякого зла, она первая протянула руку, подхваченную с недипломатической доверчивостью. И они стали друзьями, как люди, молчаливо понявшие друг друга и умевшие вовремя забыть, чего не следовало помнить, приберегая, однако, за пазухой камень друг против друга. Их сблизили общие враги и опасности. С императрицей начались болезненные припадки. В случае ее смерти, при императоре Петре III, настоящем прусском агенте,

Бестужеву грозила ссылка из-за Пруссии, Екатерине – развод и монастырь из-за Воронцовой. Личные и партийные вражды усугубляли опасность. В женские царствования XVIII в. фавориты заместили роль прежних цариц, приводивших ко двору свою родню, которая и мутила придворную жизнь. У дряхлевшей Елизаветы явился новейший молодой фаворит И. И. Шувалов, который поднял придворный курс своей фамилии с ее приверженцами. Они увеличили число врагов страшного и ненавистного канцлера, которыми и без того был полон двор; они стали недругами и Екатерины за ее дружбу с Бестужевым.

Оба друга насторожились и стали готовиться. Бестужев сочинил и сообщил Екатерине план, по которому она, в случае смерти Елизаветы, провозглашалась соправительницей своего мужа, а канцлер, оставаясь руководителем внешней политики, становился во главе гвардейских полков и всего военного управления, сухопутного и морского. Но соправительство с мужем обещало Екатерине быть не более удачным, чем было супружество. Она хотела полной, а не долевой власти, решилась, по ее словам, царствовать или погибнуть. «Или умру, или буду царствовать», – писала она своим друзьям. Она стала запасаться средствами и сторонниками, выпросила взаймы на подарки и подкупы 10 тыс. фунтов стерлингов у английского короля, обязавшись честным словом действовать в общих англо-русских интересах. Она стала помышлять о привлечении гвардии к делу в случае смерти Елизаветы, вступила в тайное соглашение об этом с гетманом К. Разумовским, командиром одного из гвардейских полков. Она вмешивалась исподтишка, при участии канцлера, в текущие политические дела.

Но Семилетняя война налетела вихрем на обоих заговорщиков; канцлер повалился. Екатерина удержалась на ногах. Бестужев-Рюмин привык соединять в своей вражде Пруссию и Францию, дружа Англии, а английская пенсия в 12 тыс. руб., подкрепляя 7-тысячный русский канцлерский оклад, подогревала его неостывавшее убеждение в единстве интересов России и Англии. Теперь международные отношения перевернулись: Франция очутилась на стороне врагов Пруссии, а Англия дружила Фридриху II. Бестужев не умел извернуться; Шуваловы подорвали доверие к нему Елизаветы, и в феврале 1758 г. он был арестован. Он и Екатерина успели сжечь опасные бумаги; но следствие вскрыло их секретные сношения, ее переписку с главнокомандующим русской армией, действовавшей против Фридриха, строго воспрещенное вмешательство в политику. Императрица была страшно раздражена. В обществе пошли толки, будто Екатерину собираются выслать из России.

«Надобно раздавить змею», – шептали Петру враги Екатерины. Придворные боялись говорить с ней, как опальной.

Непристойная выходка великого князя сделала ее положение еще более щекотливым. Около того времени она опять готовилась стать матерью. Шальной супруг по этому поводу высказал окружающим свое крайнее недоумение. Екатерина выпрямилась во весь свой рост и приготовилась к самообороне. На угрозу высылкой она отвечала встречным ходом, написала императрице по-русски решительное письмо с просьбой отпустить ее домой в Германию, так как жить в России, среди ненависти мужа и немилости императрицы, стало для нее невыносимо. Елизавета обещала поговорить с ней; но разговор заставил ждать себя томительно долго. Екатерина измучилась и исплакалась, похудела, наконец, сказалась больной и потребовала духовника. Встревоженный гофмаршал граф А. Шувалов привел докторов, но она объявила им, что, умирая, нуждается в духовной помощи, что душа ее в опасности, а телу врачи уж больше не нужны. Дубянский, духовник ее и императрицы, выслушав ее подробный рассказ о своем положении, мигом устроил дело. Через день, уже за полночь, Екатерину позвали. Фаворит советовал ей для успеха оказать императрице хоть маленькую покорность. Екатерина пошла и на большую. Она бросилась на колени перед Елизаветой и не встала, когда та попыталась поднять ее. «Вы хотите, чтобы я отпустила вас к родным? – сказала Елизавета со слезами на глазах, – но у вас дети». – «Они в ваших руках, и лучше для них ничего не может быть». – «Но как объяснить обществу эту высылку?» – возразила Елизавета. – «Ваше величество объявите, если найдете удобным, чем я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя». – «А чем вы будете жить у своих родных?» – «Чем жила перед тем, как вы удостоили взять меня сюда». Елизавета была сбита с позиции и, вторично велев Екатерине встать, в раздумье отошла в сторону, чтобы сообразить, что делать дальше. Вспомнив, что она пришла распекать великую княгиню, она принялась упрекать ее во вмешательстве не в свои дела, политику, попрекнула ее чрезмерной гордостью, напомнила, как четыре года назад она не хотела поклониться ей, императрице, как следует, и прибавила: «Вы воображаете, что никого нет умнее вас». Екатерина отвечала на все отчетливо и почтительно, а на последний упрек возразила, что если бы она так думала о себе, то не допустила бы себя до настоящего глупого положения. Во все это время великий князь поодаль шептался с графом Шуваловым. Уверенный, что Екатерине не выздороветь, он на радостях в этот самый день дал своей Воронцовой слово жениться на ней, как только овдовеет.

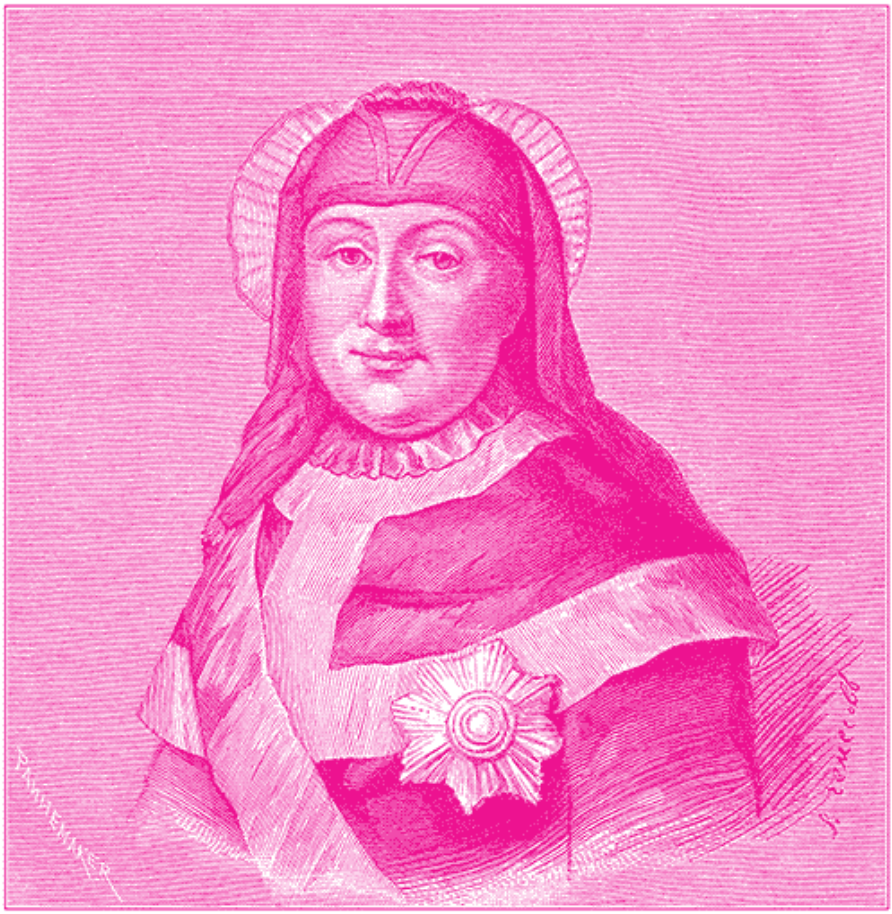
Теперь, вовлеченный в разговор, в досаде, что Екатерина вовсе не собирается умирать, он набросился на нее. Та отвечала твердо и сдержанно на его озлобленные и нелепые речи. Ходя взад и вперед по комнате, Елизавета все более смягчалась и, подошедши к Екатерине, доброжелательно вполголоса сказала ей: «У меня еще много о чем говорить с вами», и при этом дала ей понять, что не хочет говорить при свидетелях. «Я также не могу говорить, как ни сильно хочется мне открыть вам мое сердце и душу», – поспешила сказать Екатерина чуть слышно. Задушевный шепот дошел по назначению, тронул Елизавету; у нее навернулись слезы, и, чтобы скрыть свое волнение, «она отпустила нас» под предлогом позднего часа.

Так описывает сама Екатерина этот полуторачасовой томительный разговор. Две захватчицы престола сцепились, и будущая одолела. Ее же потом упрашивали не делать того, чем ей грозили, отказаться от мысли о возвращении в отечество, сильно-де печалившей императрицу и всех честных людей. Впечатление, вынесенное из разговора, Елизавета выразила окружающим в отзыве, что племянник ее – дурак, а великая княгиня очень умна.

При императоре Петре III. Так Екатерина с бою взяла свое положение и к концу царствования Елизаветы настолько его упрочила, что благополучно прошла сквозь все придворные превратности. Умея уступить печальным обстоятельствам, она примирилась с незавидным положением молодой брошенной жены, даже извлекла из этого положения свои выгоды. Супружеский раздор помог разъединению политической судьбы супругов: жена пошла своей дорогой.

Под конец жизни Елизавета совсем опустилась. Ежедневные занятия ее, по словам Екатерины, сделались сплошною цепью капризов, ханжества и распущенности. Нервы ее, развинченные мелкими раздражениями зависти и тщеславия, не давали ей покоя; ее мучила боязнь, как бы и ее не постигла участь, какую она сама устроила Анне Леопольдовне. Женщина без твердых правил и без всякого серьезного дела, но настолько умная, чтобы понимать нелепость своего положения, она впала в безысходную скуку, от которой спасалась только тем, что спала, сколько было возможно. В таком состоянии она могла уступить настойчивому представлению приближенных о необходимости изменить престолонаследие. При дворе одни думали о шестилетнем цесаревиче Павле с удалением из России обоих его родителей, другие хотели выслать только отца, видя в матери опору порядка; те и другие с тревогой ждали смерти Елизаветы, ничего не чая от ее племянника для России, кроме бедствий. В самой Елизавете эта тревога доходила минутами до ужаса, но, отвыкнув думать о

чем-либо серьезно, она колебалась, а фавориты не внушили ей решимости.



Екатерина II в траурном одеянии по императрице Елизавете Петровне.

Гравюра с рисунка Чемесова

Воцарился Петр III. С первых же дней его царствования с Екатериной стали обращаться презрительно. Но роль жертвы была уже ей знакома; французский посол Бретейль в своих депешах вел дневник ее исполнения. В начале апреля 1762 г. он писал: «Императрица старается вооружиться философией, хотя это и противно ее характеру». В другой депеше он сообщает: «Люди, видающие императрицу, говорят, что она неузнаваема, чахнет и, вероятно, скоро сойдет в могилу». Но она не сошла в могилу, но все время твердым, хотя и неслышным шагом шла по намеченному пути, подкрадываясь к престолу. Весь Петербург, приходя во дворец поклониться праху Елизаветы, видел Екатерину в глубоком трауре благоговейно стоящей у гроба

покойной. При погребении она усерднее всех исполняла похоронные обряды Русской церкви; и духовенство и народ были этим очень тронуты, и тем больше крепло их доверие к ней среди усиливавшегося ропота на безумства императора. По словам того же посла, она строго соблюдала все праздники и посты, все, к чему император относился так легкомысленно и к чему русские так неравнодушны. Тот же посол, вопреки апрельскому пророчеству о скорой смерти императрицы, в начале июня должен был написать, что императрица обнаруживает мужество, ее любят и уважают все в такой же степени, в какой ненавидят императора. Так воспользовалась Екатерина общим недовольством, особенно в гвардии, и со своими сообщниками произвела переворот, положивший конец шестимесячному царствованию Петра III.

Характер. Она родилась в неприветливой доле и рано спозналась с лишениями и тревогами, неразлучными с необеспеченным положением. Но из родной обстановки, бедной и тесной, судьба в ранней молодости бросала ее на широкие и шумные политические сцены, где действовали крупные люди и делались крупные дела. Здесь Екатерина видела много славы и власти, обилие блеска и богатства, встречала людей, которые всем рисковали для приобретения этого, подобно Фридриху II, видела и людей, которые путем риска добивались всего этого, подобно императрице Елизавете. Виденные примеры соблазняли, возбуждали аппетит честолюбия, побуждая напрягать все силы в эту сторону, а Екатерина от природы не была лишена качеств, из которых при надлежащей выработке выделываются таланты, необходимые для успеха на таком соблазнительном и скользком поприще.

В. Эриксен. **Екатерина II в Преображенском мундире на коне Бриллианте**

Екатерина выросла с мыслью, что ей самой надобно прокладывать себе дорогу, делать карьеру, вырабатывать качества, необходимые для этого, а замужество доставило ей отличную практику такой работы, не только указало цель ее честолюбию, но и сделало достижение этой цели вопросом личной безопасности. И она умело повела свою работу. С детства ей толковали, что она некрасива, и это рано заставило ее учиться искусству нравиться, искать в душе того, чего недоставало наружности. «Чтобы быть чем-нибудь на свете, – писала она, припоминая свои детские думы, – надобно иметь нужные для того качества; заглянем-ка хорошенько внутрь себя, имеются ли у нас такие качества, а если их нет, то разовьем их». И она открывала или развивала в себе свойства высокой житейской ценности,

отчетливое знание своего духовного инвентаря, самообладание без сухости, живость без возбуждения, гибкость без вертлявости, решительность без опрометчивости. Ее трудно было застать врасплох; она всегда была в полном сборе; частый смотр держал ее силы наготове, в состоянии мобилизации, и в житейских столкновениях она легко направляла их против людей и обстоятельств.

В обращении она пускала в ход бесподобное умение слушать, терпеливо и внимательно выслушивать всякий вздор, угадывать настроение, робкие или не находившие слов мысли собеседника и шла им на подмогу. Это подкупало, внушало доверие, располагало к откровенности; собеседник чувствовал себя легко и непринужденно, словно разговаривал сам с собой. К тому же, наперекор обычной наклонности людей замечать чужие слабости, чтобы пользоваться ими во вред другим, Екатерина предпочитала изучать сильные стороны других, которые при случае можно обратить в свою пользу, и умела указать их самому обладателю. Люди вообще не любят чужих поисков в своей душе, но не сердятся, даже бывают тронуты, когда в них открывают достоинства, особенно малозаметные для них самих. В этом умении дать человеку почувствовать, что есть в нем лучшего, – тайна неотразимого обаяния, какое, по словам испытавшей его на себе княгини Дашковой, Екатерина производила на тех, кому хотела нравиться, а она хотела нравиться всем и всегда, считая это своим ремеслом.

Усвоенная ею манера обхождения с людьми сослужила ей неоценимую службу в правительственной деятельности. Она обладала в высокой степени искусством, которое принято называть даром внушения, умела не приказывать, а подсказывать свои желания, которые во внушаемом уме незаметно перерождались в его собственные идеи и тем усерднее исполнялись. Наблюдательное обращение с людьми научило ее узнавать их коньки, и, посадив такого дельца на его конька, она предоставляла ему бежать, как мальчику верхом на палочке, и он бежал и бежал, усердно подстегивая самого себя. Она умела чужое самолюбие делать орудием своего честолюбия, чужую слабость обращать в свою силу. Своим обхождением она облагообразила жизнь русского двора, в прежние царствования походившего не то на цыганский табор, не то на увеселительное место. Заведен был порядок времяпровождения; не требовались строгие нравы, но обязательны были приличные манеры и пристойное поведение. Вежливая простота обхождения самой Екатерины даже с дворцовыми слугами была совершенным новшеством после обычной грубости прежнего времени. Только

под старость она стала слабеть, капризничать и прикрикивать, впрочем, всегда извиняясь перед обиженным с признанием, что становится нетерпеливой.

Как с людьми, точно так же поступала она и с обстоятельствами. Она старалась примениться ко всякой обстановке, в какую попадала, как бы она ни была противна ее вкусам и правилам. «Я, как Алкивиад, уживусь и в Спарте, и в Афинах», – говаривала она, любя сравнивать себя с героями древности. Но это, значит, поступаться своими местными привязанностями, даже нравственными убеждениями. Так что же? Она ведь была эмигрантка, добровольно променявшая природное отечество на политическое, чужбину, избранную поприщем деятельности. Любовь к отечеству была для нее воспоминанием детства, а не текущим чувством, не постоянным мотивом жизни. Ее происхождение мелкой принцессы Северной Германии, гибкость ее природы, наконец, дух века помогли ей отрешиться от территориального патриотизма. Из ангальт-цербстского лукошка ей было нетрудно подняться на космополитическую точку зрения, на которую садилась тогдашняя философская мысль Европы, а Екатерина сама признавалась, что «свободна от предрассудков, и от природы ума философского». При всем том она была слишком конкретный человек, слишком живо чувствовала свои реальные аппетиты, чтобы витать в заоблачной космополитической пустыне, довольствуясь голодной идеей всечеловечества. Ее манила земная даль, а не небесная высь. Оправдываясь в усвоении образа жизни русского двора, о котором она отзывалась как нельзя хуже, она писала в записках, что ставила себе за правило нравиться людям, с какими ей приходилось жить. Необходимость жить с людьми не по выбору заставила ее с помощью философского анализа пополнить это правило, чтобы спасти хоть тень нравственной независимости: среди чужих и противных людей жить по-ихнему, но думать по-своему.

Для Екатерины жить смолоду значило работать, а так как ее житейская цель состояла в том, чтобы уговорить людей помочь ей выбиться из ее темной доли, то ее житейской работой стала обработка людей и обстоятельств. По самому свойству этой работы она в других нуждалась гораздо больше, чем другие нуждались в ней. Притом судьба заставила ее долго вращаться среди людей, более сильных, но менее дальновидных, которые вспоминали о ней только тогда, когда она им надобилась. Потому она рано усвоила себе мысль, что лучшее средство пользоваться обстоятельствами и людьми – это плыть до времени по течению первых и служить не слепым, но послушным орудием в руках вторых. Она не раз отдавалась в чужие руки, но только для того,

чтобы ее донесли до желаемого ею места, до которого она не могла сама добраться. В этом житейском правиле – источник сильных и слабых свойств ее характера и деятельности. Применяясь к людям, чтобы приручить их, она и с их стороны ждала взаимности, расположения стать ручными. Людей упрямых, с неподатливым характером или готовых идти напролом она не любила; они и не подходили к ней или уходили от нее, так что ее победы над чужими душами облегчались нечувствительным для нее подбором субъектов. С другой стороны, она была способна к напряжению, усиленному, даже непосильному труду и потому себе и другим казалась сильнее самой себя. Но она больше привыкла работать над своими манерами и над способом обращения с людьми, чем над самой собой, своими чувствами и побуждениями; потому ее манеры и обращение с людьми были лучше ее чувств и побуждений. В ее мышлении было больше гибкости и восприимчивости, чем глубины и вдумчивости, больше выправки, чем творчества.

Недостаток нравственного внимания и самодеятельной мысли сбивали Екатерину с правильного пути развития, на который она была поставлена своей счастливой природой. Она рано поняла, что познание людей каждый должен начинать с самого себя. Екатерина принадлежала к числу довольно редких людей, умеющих взглянуть на себя со стороны, как говорится, объективно, как на любопытного прохожего. Она подмечала в себе слабости и недостатки с каким-то самодовольством, не прикрашивая их, называя настоящими именами, без малейшего угрызения совести, без всякого позыва к сожалению или раскаянию. Будучи 15 лет, она написала наскоро для одного образованного иностранца свой философский портрет. Спустя 13 лет она перечитала это свое изображение «философа в 15 лет» и была поражена, что в таком возрасте так уже хорошо знала все изгибы и тайники своей души. Это удивление и было каплей искусительного яда, попавшей в ее самопознание. Она не сводила глаз с любопытного прохожего, и на ее глазах он вырастал в обаятельный образ; природная гордость и закал души среди горестей делали для него невыносимой мысль быть несчастным; он являлся рыцарем чести и благородства и даже начинал перерождаться из женщины в мужчину. Екатерина пишет про себя в записках, что у нее ум и характер, «несравненно более мужской, чем женский», хотя при ней оставались все приятные качества женщины, достойной любви. Древо самопознания без достаточно нравственного удобрения дало нездоровый плод – самомнение.

В сочинениях Екатерины отразились и разнообразные интересы, и увлечения ее возбужденной мысли. Немка по

рождению, француженка по любимому языку и воспитанию, она занимает видное место в ряду русских писателей XVIII в. У нее были две страсти, с летами превратившиеся в привычки или ежедневные потребности, – читать и писать. В свою жизнь она прочитала необъятное количество книг. Уже в преклонные лета она признавалась своему секретарю Храповицкому, что читала книг по шести вдруг. Начитанность возбуждала ее литературную производительность. Она много писала по-французски и даже по-русски, хотя с ошибками, над которыми подшучивала. Обойтись без книги и пера ей было так же трудно, как Петру I без топора и токарного станка. Она признавалась, что не понимает, как можно провести день, «не измарав хотя одного листа бумаги». Недавно наша Академия наук издала ее сочинения в 12 объемистых томах. Она писала в самых разнообразных родах: детские нравоучительные сказки, педагогические инструкции, политические памфлеты, драматические пьесы, автобиографические записки, сотрудничала в журналах, переводила из Плутарха жизнь Алкивиада и даже составила «Житие Преподобного Сергия Радонежского». Когда у нее появились внуки, она принялась для них за русские летописи, заказывала выписки и справки профессору Чеботареву, графу Мусину-Пушкину и другим лицам и составила удобочитаемые записки по русской истории в частях с синхронистическими и генеалогическими таблицами. «Вы все твердите мне, что я пройдоха, – писала она Гримму, – а я вам скажу, что стала настоящей архивной крысой».

Летний дворец в Петербурге в XVIII в. *С гравюры Махаева. XVIII в.*

Ее сочинения не обнаруживают самобытного таланта. Но она была очень переимчива и так легко усвояла чужую идею, что присвояла ее себе. У нее то и дело слышны отзвуки и перепевы мадам Севинье, Вольтера, Монтескье, Мольера и т. п. Это особенно заметно в ее французских письмах, до которых она была большая охотница. Ее переписка с Вольтером и заграничным агентом бароном Гриммом – это целые тома. Она превосходно усвоила стиль и манеру своих образцов, современных французских писателей, особенно их изящное и остроумное балагурство. Содержание очень разнообразно, но тон везде одинаков, видимо непринужденный и изысканно-игривый, и таким тоном она пишет и о таинстве Евхаристии, и о политике, и о своем дворе, и о нездоровье комнатной собачки. В письмах слова значительно лучше мыслей.

Очень большое место в своей писательской деятельности Екатерина отводила драматургии. Она была главной поставщицей репертуара на театр в своем Эрмитаже, где она собирала избранное общество. Она писала пословицы или водевили, комедии, комические оперы, даже «Исторические представления из жизни Рюрика и Олега, подражание Шекспиру». «Олег» был сыгран на городском театре в Петербурге, по случаю мира с Турцией в Яссах (1791), с необычайной пышностью: на сцену выступало более 700 исполнителей и статистов. Бедный Храповицкий ночи просиживал, переписывая пьесы императрицы и сочиняя арии и куплеты к ее операм и водевилям, – сама Екатерина никак не могла сладить со стихами. В своих пьесах Екатерина изображала шведского короля, мартинистов, своих придворных. Трудно сказать, насколько сама она сказалась в своей драмомании. Правда, в ее характере и образе действий было много драматического движения.

Братья Алексей и Григорий Орловы

От природы веселая, она не могла обойтись без общества и сама признавалась, что любила быть на людях. В своем интимном кругу она была проста, любезна, шутлива, и все чувствовали себя около нее весело и непринужденно. Но она преображалась, выходя в приемную залу, принимала сдержанно-величественный вид, выступала медленно, некрупными шагами, встречала представлявшихся стереотипной улыбкой и несколько лукавым взглядом светло-серых глаз. Манера держаться отражалась и на всей деятельности, образуя вместе с ней цельный состав характера. В каком бы обществе ни вращалась Екатерина, что бы она ни делала, она всегда чувствовала себя как бы на сцене и потому слишком много делала напоказ. Задумав дело, она больше думала о том, что скажут про нее, чем о том, что выйдет из задуманного дела; обстановка и впечатление были для нее важнее самого дела и его последствий. Отсюда ее слабость к рекламе, шуму, лести, туманившей ее ясный ум и соблазнявшей ее холодное сердце. Она больше дорожила вниманием современников, чем мнением потомства; за то и ее при жизни ценили выше, чем стали ценить по смерти. Как она сама была вся созданием рассудка без всякого участия сердца, так и в ее деятельности больше эффекта, блеска, чем величия, творчества. Казалось, она желала, чтобы ее самое помнили дольше, чем ее деяния.

Положение на престоле. Вступая на престол, Екатерина поверхностно знала положение дел в империи, свои

правительственные средства и ожидавшие ее затруднения, а между тем она должна была сгладить впечатление переворота, путем которого вступила на престол, оправдать незаконное присвоение власти. В первые минуты по воцарении она не могла удержаться от упоения удачей, осуществившей давнюю мечту, которая в Штеттине или Цербсте могла казаться только ребяческим бредом. Но это упоение отравлялось мыслью о своей непрочности на престоле. Нередко среди придворного общества на нее набегало раздумье, и, при всем умении держать себя, она не могла скрыть своего тревожного настроения. Не все, даже участники переворота, остались им довольны, как недостаточно награжденные. Удача одних кружила головы другим, подстрекала к повторению, поддерживая ропот, а предлог для ропота был налицо.

Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала ее сыну, естественному наследнику отца. В гвардии бродили тревожные для Екатерины толки о возведении на престол Иванушки, как звали бывшего императора Ивана VI, также о том, зачем цесаревич Павел не коронован. В обществе поговаривали даже, что Екатерине для своего упрочения на престоле не мешало бы выйти замуж за бывшего императора. Екатерина виделась с ним вскоре по воцарении и приказала уговаривать его к пострижению в монашество. В гвардии составлялись кружки, «партии», впрочем, не успевавшие сложиться в заговор. Особенно встревожила Екатерину в 1764 г. полоумная попытка замотавшегося армейского подпоручика Мировича освободить Иванушку из Шлиссельбургской крепости и провозгласить императором – попытка, кончившаяся убийством помешавшегося в заточении узника, ужасной жертвы беззаконий, питомником которых был русский престол по смерти Петра I.

Немало хлопот и огорчений причиняли Екатерине и ее пособники, подготовившие и совершившие июньский переворот. Они чувствовали, как много обязана им Екатерина, и, разумеется, хотели пользоваться своим положением. Король Фридрих II был прав, когда много лет спустя говорил ехавшему в Петербург французскому послу Сегюру, что Екатерина была не столько виновницей, сколько орудием переворота. Эта слабая, молодая, одинокая в чужой земле, накануне развода и заточения, она отдалась в руки людей, хотевших ее спасти, и, после переворота, не могла еще ничем управлять.

Эти люди, теперь окружившие Екатерину, с пятерней пожалованных в графы братьев Орловых во главе, и спешили пожинать плоды «великого происшествия», как они называли июньское дело. Это были, по выражению иностранцев, все

закоренелые русаки, поражавшие недостатком образования и в этом отношении стоявшие ниже дельцов елизаветинского времени – Паниных, Шуваловых, Воронцовых. Привыкнув еще во время конспирации обращаться с Екатериной запросто, они не хотели отстать от этой привычки и после переворота.

В минуту смерти императрицы Елизаветы гвардейский капитан, муж княгини Дашковой, прислал сказать Екатерине: «Прикажи, мы тебя возведем на престол». Теперь эти люди готовы были сказать ей: «Мы тебя возвели на престол, так ты наша». Они не довольствовались полученными наградами, тем, что Екатерина раздала им до 18 тыс. душ крестьян и до 200 тыс. руб. (не менее 1 млн на наши деньги) единовременных дач, не считая пожизненных пенсий. Они осаждали императрицу, навязывали ей свои мнения и интересы, иногда прямо просили денег. В разговоре с послом Бретейлем она сравнивала себя с зайцем, которого поднимают и гонят что есть мочи, так донимают ее со всех сторон представлениями, не всегда разумными и честными. Екатерине приходилось ладить с этими людьми. Это было неприятно и неопрятно, но не особенно мудрено. Она пустила в ход свои обычные средства, неподражаемое умение терпеливо выслушивать и ласково отвечать, найтись в затруднительном случае.

В записках княгини Дашковой встречаем образчик искусства, с каким императрица пользовалась этими средствами. На четвертый день после переворота, когда обе дамы беседовали вдвоем, врывается к ним генерал-поручик И. И. Бецкой и, упав на колени, чуть не со слезами умоляет Екатерину сказать, кому она считает себя обязанной престолом. «Богу и избранию моих подданных», – отвечает Екатерина. «Так я не стою этого знака отличия», – восклицает Бецкой и хочет снять с себя Александровскую ленту. «Что это значит?» – спрашивает Екатерина. «Я несчастнейший из смертных, если ваше величество не признаете меня единственным виновником вашего воцарения! Не я ли подбивал к этому гвардейцев? Не я ли бросал деньги в народ?» Сначала смущенная, Екатерина скоро нашлась и сказала: «Я признаю, сколь многим я вам обязана, и так как я вам обязана короной, то кому, как не вам, поручить приготовление короны и всего, что я надену во время коронации? Отдаю в ваше распоряжение всех ювелиров империи». Бецкой вне себя от восторга раскланялся с дамами, которые долго не могли нахохотаться. Екатерине нужно было немного времени и терпения, чтобы ее сторонники успели образумиться и стали к ней в подобающие отношения.

Гораздо труднее было оправдать новое правительство в

глазах народа. Екатерина плохо знала положение этого народа до воцарения и имела очень мало средств узнать его. Русский двор при Елизавете стоял слишком далеко от России не только географически, но еще более нравственно. Вступив на престол, Екатерина скоро поняла, что там совсем неблагополучно: она замечала «признаки великого роптания на образ правления прошедших последних годов»; заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начинали присоединяться местами и помещичьи.

В 1763 г. в народе распространился подложный указ Екатерины, проникнутый сильным раздражением против дворянства, «пренебрегающего Божий закон и государственные права, изринувшего и из России вон выгнавшего правду». Далекие от столицы глубокие народные массы не испытывали на себе личного обаяния императрицы, довольствуясь темными слухами да простым фактом, какой можно было выразуметь из всенародных манифестов: был император Петр III, но жена-императрица свергла его и посадила в тюрьму, где он скоро умер. Эти массы, давно находившиеся в состоянии брожения, можно было успокоить только ощутительными для всех мерами справедливости и общей пользы.

Программа. Так Екатерина революционным захватом власти затянула сложный узел разнообразных интересов и ожиданий, указывавших ей направления деятельности. Чтобы сгладить впечатление захвата, Екатерине надобно было стать популярной в широких кругах народа, действуя наперекор предшественнику, поправляя, что было им испорчено. Предшественник ее оскорбил национальное чувство, презирая все русское, выдав Россию головой ее врагу. Екатерина обязана была действовать усиленно в национальном духе, восстановить попранную честь народа.

Прежнее правительство вооружило против себя всех своим бесцельным произволом; новое разумно либеральными мерами должно было упрочить законность в управлении, что и было обещано в июльском манифесте. Но Екатерина была возведена на престол дворянской гвардией, а дворянство не довольствовалось Законом о вольности дворянства, требовало расширения и укрепления своих прав как господствующего сословия. Гвардейско-дворянский голос был, разумеется, самым внушительным для верховной власти, сделанной движением 28 июня. Так популярная деятельность нового правительства должна была одновременно следовать направлению национальному, либеральному и сословно-дворянскому. Легко заметить, что эта тройственная задача страдала несогласимым внутренним противоречием. После закона 18 февраля дворянство стало

поперек всех народных интересов и даже преобразовательных потребностей государства.

Деятельность правительства в духе этого сословия не могла быть ни либеральна, ни национальна, т. е. не могла быть популярна. Притом либеральные реформы в духе идей века не могли найти в органах правительства, служащем классе достаточно ни подготовленных, ни сочувственных проводников и исполнителей: так чужды были эти идеи всем преданиям, понятиям и привычкам русского управления. По соображениям ли гибкой мысли, или по указаниям опыта и наблюдения – Екатерина нашла выход из неудобств своей программы. Не будучи в состоянии согласить противоречивые задачи и не решаясь пожертвовать которой-либо в пользу остальных, она разделила их, каждую проводила в особой сфере правительственной деятельности. Национальные интересы и чувства получили широкий размах во внешней политике, которой был дан полный ход. Предпринята была широкая реформа областного управления и суда по планам тогдашних передовых публицистов Западной Европы, но главным образом с туземной целью занять праздное дворянство и укрепить его положение в государстве и обществе.

Отведена была своя область и либеральным идеям века. На них строилась проектированная система законодательства. Они проводились как принципы в отдельных узаконениях, вводились в ежедневный оборот мнений, допускались, как украшение правительственного делопроизводства и общественной жизни, проводились в частных беседах им пратрицы, великосветских гостиных, литературе и даже школе как образовательное средство. Но деловое содержание текущего законодательства закрепляло туземные факты, сложившиеся еще до Екатерины, или осуществляло желания, заявленные преимущественно тем же дворянством, – факты и желания, совершенно чуждые распространяемым идеям. Тройственная задача развилась в такую практическую программу: строго национальная, смело патриотическая внешняя политика, благодушно-либеральные, возможно гуманные приемы управления, сложные и стройные областные учреждения с участием трех сословий; салонная, литературная и педагогическая пропаганда просветительных идей времени и осторожно, но последовательно консервативное законодательство с особенным вниманием к интересам одного сословия. Основную мысль программы можно выразить так: попустительное распространение идей века и законодательное закрепление фактов места.

Петербург при Екатерине II. Вид набережной Невы и дома князя Г. Г. Орлова

Очередные задачи внешней политики. Теперь сделаем обзор исполнения этой программы и начнем с внешней политики. Внешняя политика – самая блестящая сторона государственной деятельности Екатерины, произведшая наиболее сильное впечатление на современников и ближайшее потомство. Когда хотят сказать самое лучшее, что можно сказать об этом царствовании, говорят о победоносных войнах с Турцией, польских разделах, повелительном голосе Екатерины в международных отношениях Европы.

С другой стороны, внешняя политика была поприщем, на котором Екатерина всего удобнее могла завоевать народное расположение: здесь разрешались вопросы, понятные и сочувственные всему народу; поляк и татарин были для тогдашней Руси самые популярные недруги. Наконец, здесь не нужно было ни придумывать программы, ни искать возбуждений: задачи были готовы, прямо поставлены вековыми указаниями истории и настойчивее других требовали разрешения. Потому наибольшее внимание императрицы было обращено в эту сторону.

После Ништадтского мира, когда Россия твердой ногой стала на Балтийском море, на очереди оставались два вопроса внешней политики, один территориальный, другой национальный. Первый состоял в том, чтобы продвинуть южную границу государства до

его естественных пределов, до северной береговой линии Черного моря с Крымом и Азовским морем и до Кавказского хребта. Это восточный вопрос в тогдашней исторической своей постановке. Потом предстояло довершить политическое объединение русской народности, воссоединив с Россией оторванную от нее западную часть. Это вопрос западнорусский. По самому существу своему оба вопроса имели местное значение, возникли исторически из взаимных отношений соседних государств, притом не имели никакой исторической связи между собою. Потому для успешного их решения их следовало локализовать и разделить, т. е. разрешать без стороннего вмешательства, участия третьих, и разрешать не оба вместе, а тот и другой порознь. Но сплетение международных отношений и неумелость или заносчивость дельцов дали ходу дел иное направление.

Миролюбие. В первое время по воцарении Екатерина, слишком озабоченная упрочением своего шаткого положения, совсем не желала каких-либо осложнений в Европе и разделяла общую жажду покоя. Семилетняя война была на исходе; все участники ее крайне утомились и жестоко истратились. Екатерина не отступилась от мира с Пруссией, заключенного Петром III, отозвала свои войска из завоеванных ими прусских областей, прекратила приготовления к войне с Данией. Первое ознакомление с положением дел в империи также располагало Екатерину вести себя смирно.

При ее вступлении на престол, русская армия в Пруссии восьмой месяц не получала жалованья. На штатс-конторе числилось 17 млн долгу, не исполненных казной уплат, на один миллион больше годовой суммы государственных доходов, какую знал Сенат. Ежегодный дефицит в Семилетнюю войну дошел до 7 млн. Русский кредит пал: императрица Елизавета искала в Голландии занять 2 млн руб., и охотников на этот заем не оказалось. Флот, по словам Екатерины, был в упущении, армия в расстройстве, крепости развалились. Несколько позднее, в 1765 г., Екатерина произвела смотр Балтийскому флоту. Любимое детище Петра Великого предстало перед ней жалким сиротой: корабли наезжали друг на друга, ломали снасти, линейные никак не могли выстроиться в линию, при стрельбе не попадали в цель. Екатерина писала, что это «суда для ловли сельдей, а не военный флот», и признала, что у нас без меры много кораблей и на них людей, но нет ни флота, ни моряков. Откровенно и болтливо признавалась она в 1762 г. послу совсем не дружественной Франции, что ей нужно не менее пяти лет мира, чтобы привести свои дела в порядок, а пока она со всеми государями Европы ведет себя, как искусная кокетка. Но она ошиблась в своих

кавалерах.

Система графа Н. И. Панина. Польские дела до срока свели Екатерину с пути невмешательства. Ждали скорой смерти польского короля Августа III. Возникал обычно мутивший соседей Польши вопрос о новых королевских выборах. Для России было все равно, кто будет ангажирован на придуманную польской историей мольеровскую роль короля республики. По состоянию Речи Посполитой король, враждебный России, был для нее безвреден, дружественный – бесполезен; при том и другом ей одинаково приходилось добиваться своего подкупом и оружием. Но у Екатерины был кандидат, которого она хотела провести во что бы то ни стало. Это был Станислав Понятовский, фат (самодовольный франт, любящий рисоваться. – *Прим. ред.*), рожденный для будуара, а не для какого-либо престола: шага не мог ступить без красивого словца и глупого поступка.

Граф Н.И. Панин

Можно подозревать две главные причины настойчивости Екатерины. Во-первых, Станислав оставил Екатерине очень приятные по себе воспоминания в бытность свою в Петербурге еще при императрице Елизавете. Во-вторых, кандидатурой Станислава Екатерина доставляла себе немалое удовольствие вынудить у Фридриха II письмо с признанием, что присланные

ему астраханские арбузы для него бесконечно дорого получить от руки, раздающей короны. Причины, какие выставлялись открыто, не более уважительны.

Эта кандидатура повлекла за собою вереницу соблазнов и затруднений. Прежде всего, нужно было заготовить сотни тысяч червонных на подкуп торговавших отечеством польских магнатов с примасом, набольшим архиереем во главе. Потом поставить на польской границе 30 тыс. русского войска да держать наготове еще 50 тыс. для поддержания свободы и независимости республики. Наконец, пришлось круто поворотить весь курс внешней политики. До тех пор Россия держалась союза с Австрией, к которой в Семилетнюю войну присоединилась Франция. В первое время по воцарении, еще плохо понимая дела, Екатерина спрашивала мнения своих советников о мире с Пруссией, заключенном при Петре III. Советники не признали этого мира полезным для России и высказались за возобновление союза с Австрией. За это стоял и старый приятель Екатерины, возвращенный ею из ссылки, А. П. Бестужев-Рюмин, мнение которого она тогда особенно ценила. Чуть какое затруднение в делах – к нему идет собственноручная записочка: «Батюшка, Алексей Петрович! Пожалуй, помогай советами». Но около него стал дипломат помоложе, ученик и противник его системы, граф Н. И. Панин, воспитатель великого князя Павла. Он был не только за мир, но прямо за союз с Фридрихом, доказывая, что без его содействия ничего не добиться в Польше. Екатерина некоторое время крепилась: не хотелось ей продолжать ненавистную политику своего предшественника, быть союзницей короля, которого она в июльском манифесте всенародно обозвала злодеем России, но Панин одолел и надолго стал ближайшим сотрудником Екатерины во внешней политике.

Станислав Август Понятовский, король Польский

В это время Екатерина крепко веровала в дипломатические таланты Панина, но потом иногда не соглашалась с его мнениями, бывала недовольна его медлительным умом и нерешительным характером, но пользовалась им, как гибким истолкователем ее видов. Союзный договор с Пруссией был подписан 31 марта 1764 г., когда в Польше, по смерти короля Августа III, шла избирательная агитация. Но этот союз только входил составной частью в задуманную сложную систему международных отношений. Панин был дипломат нового склада, непохожий на Бестужева. Много лет, стоя на трудном посту посла

в Стокгольме, он приобрел познания и навык в дипломатических делах, но с умом не соединял трудолюбия своего учителя. По смерти его Екатерина жаловалась, что довольно помучилась с ним, как с лентяем, в первую турецкую войну. После работящего и практичного до цинизма Бестужева, дипломата мелочных средств и ближайших целей, Панин выступил в дипломатии провозвестником идей, принципов и, как досужий мыслитель, любил при нерешительном образе действий широко задуманные, смелые и сложные планы. Но он не любил изучать подробности их исполнения и условия их исполнимости. Это был дипломат-белоручка, и так как его широкие планы строились на призраке мира и любви между европейскими державами, то, при своем дипломатическом сибаритстве, он был еще и дипломат-идиллик, чувствительный и мечтательный до маниловщины.

Панин и стал проводником небывалой в Европе международной комбинации. Впрочем, не ему принадлежала первая мысль о ней. В 1764 г., незадолго до трактата 31 марта, русский посол в Копенгагене, Корф, представил императрице заявление, нельзя ли на севере образовать сильный союз держав, который можно было бы противопоставить южному, австро-франко-испанскому. Панин живо воспринял и разработал эту мысль. По его проекту северные некатолические государства, впрочем, со включением и католической Польши, соединялись для взаимной поддержки, защиты слабых сильными. Боевое назначение, прямое противодействие южному союзу лежало на главах северного союза, «активных» его членах – России, Пруссии и Англии. От государств второстепенных, «пассивных» членов, каковы Швеция, Дания, Польша, Саксония и другие мелкие государства, имевшие присоединиться к союзу, требовалось только, чтобы они, при столкновениях обоих союзов, не приставали к южному, оставались нейтральными. Это и была нашумевшая в свое время *северная система*.

Легко заметить ее неудобства. Трудно было действовать вместе и дружно государствам, столь разнообразно устроенным, как самодержавная Россия, конституционно-аристократическая Англия, солдатски-монархическая Пруссия и республикански-анархическая Польша. Кроме того, у членов союза было слишком мало общих интересов. Англии не было дела до европейского континента помимо ее торговых и колониальных отношений. Пруссия вовсе не была расположена защищать Саксонию, тянувшую к Австрии, даже хотела захватить ее, как захватила Силезию. Куча пассивных членов союза, опекаемых Англией, Россией и Пруссией, – дипломатическая телега, запряженная щукой, лебедем и раком. Фридрих II встретил план Панина

раздраженными или насмешливыми возражениями, твердил, что для него довольно русского союза, при котором он никого не боится, его никто не тронет и других союзников ему не нужно. Фридрих вообще был невысокого мнения о своем русском стороннике и писал, что у Панина нет верных представлений ни об интересах, ни о политике, ни о степени могущества европейских государей. Панин не мог переубедить короля, Англия также уклонилась от союза, и северная система не облеклась ни в какой международный акт (умерла еще до рождения, не родившись), оставшись простой тенденцией русского кабинета, одним из тех простодушно-русских дипломатических планов, о которых настоящие дипломаты говорят со снисходительной улыбкой.

Путевые впечатления. Вступив на престол, Екатерина хотела видеть народ, страну, столь дурно управляемую, взглянуть на ее жизнь вблизи, прямо, не из дворцовой дали и не по придворным россказням. С этой целью она предприняла в первые годы царствования ряд поездок. В 1763 г. ездила в Ростов и Ярославль, в 1764 г. посетила прибалтийские губернии, в 1765 г. проехала по Ладожскому каналу, который нашла прекрасным, но заброшенным, и, наконец, весной 1767 г. решилась посетить Азию, как она выражалась, т. е. проехать по Волге.

В сопровождении большой свиты (до двух тысяч человек) и всего дипломатического корпуса она села в Твери на барку и спустилась до Симбирска, откуда сухим путем вернулась в Москву. В эту поездку она собрала много поучительных наблюдений. Во-первых, она увидела, какой удобный материал для управления имеет она в своих подданных, как мало нужно сделать для этого народа, чтобы привлечь к себе его расположение: императрицу всюду встречали с неописуемым восторгом. Екатерина писала с дороги, что даже иноплеменников, т. е. иноземных послов, не раз прошибали слезы при виде народной радости, а в Костроме распоряжавшийся экспедицией граф Чернышев весь парадный обед проплакал, растроганный «благочинным и ласковым» обхождением местного дворянства. В Казани готовы были постелить себя вместо ковра под ноги императрицы, «а в одном месте по дороге, – писала Екатерина, – мужики свечи подавали, чтоб предо мною поставить, с чем их прогнали». Это был простонародный волжский ответ парижским философам, величавшим Екатерину «царскосельской Минервой».

Беглые путевые наблюдения могли внушить Екатерине немало правительственных соображений. Она встречала по пути города, «ситуацией прекрасные, а строением мерзкие». Народ по своей культуре был ниже окружающей его природы. «Вот я и в

Азии», – писала Екатерина Вольтеру из Казани. Этот город особенно поразил ее пестротой населения. «Это – особое царство, – писала она, – столько разных объектов, достойных внимания, а идей на 10 лет здесь набрать можно». Симбирск – город, самый жалкий, и все дома конфискованы за недоимки. Народ по Волге показался ей богатым и весьма сытым: все хлеб едят, и никто не жалуется; по городам цены высокие, а в деревнях прошлогодние немолоченые запасы в избытке; крестьяне крепятся продавать хлеб из боязни неурожая.

Преобразовательные начинания. Пока накоплявшиеся наблюдения еще не успели сложиться в цельный преобразовательный план, а внешняя политика не развлекала внимания, Екатерина спешила заштопать наиболее резкие прорехи управления, отмеченные в ее картине. Ввиду крестьянских волнений и толков указ, изданный на шестой день по воцарении, обнадеживал помещиков в ненарушимом обладании их имениями и крестьянами. Отменены были многие откупа и монополии. Для удешевления хлеба временно запрещен его вывоз за границу. Сбавлена казенная цена соли с 50 до 30 коп. за пуд, а для пополнения убыли соляного дохода Екатерина убавила на 300 тыс. руб. свое комнатное содержание в 1 млн, получавшееся из соляного же сбора. При этом императрица заявила Сенату, что, принадлежа сама государству, она считает и все свое его же принадлежностью и впредь не должно быть разницы между нею и его интересом. Сенаторы встали и со слезами на глазах благодарили «за столь благоразумные чувства», – добавляет Екатерина. Установлена была роспись доходов и расходов.

Екатерина настойчиво ограничивала применение пытки и конфискации имений у преступников, но не решалась отменить оба института законом. Издан был строгий манифест против взяточничества; петербургскому населению дано было назидательное зрелище сенатского обер-секретаря, поставленного у позорного столба на площади перед Сенатом с надписью на груди: «Преступник указов и мздоимец».

Введены новые штаты служащих и установлены пенсии; но на покрытие нового расхода повысили цену соли. Кара не миновала и маховика чиновничьей машины, распустившегося Сената: в 1763 г. ему сделан был строгий выговор «за междоусобное несогласие, вражду, ненависть» и партийность. Указание было при случае и на неприличие сенаторам заниматься винными откупами, чем они и с самим генерал-прокурором не брезгали. Окончено было трудное дело секуляризации населенных церковных имений, доставившее казне только в пределах

Великороссии 890 тыс. руб. чистого дохода за штатными расходами на церковные и благотворительные учреждения (указ 26 февраля 1764 г.). Наконец, в 1765 г. составлена была комиссия о государственном межевании, капитальном деле, не удавшемся при императрице Елизавете.

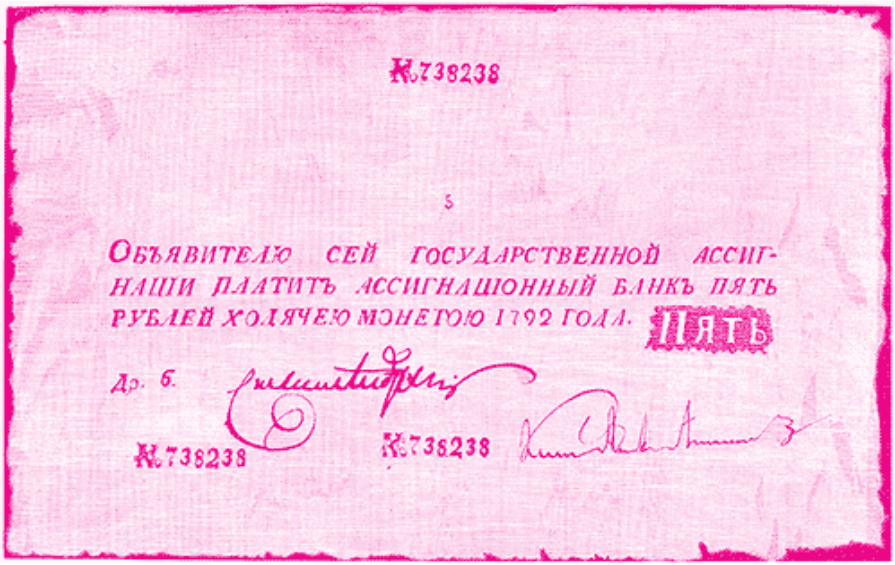
Эти меры первых трех лет должны были произвести благоприятное впечатление и даже практическое действие, облегчить несколько налоговую тяжесть, содействовать общему успокоению, внести некоторое оживление в застоявшееся правящее болото, дать острастку чиновнику, а что было всего важнее для Екатерины – внушить некоторое доверие к ее правительству. Сама она по своей привычке была очень довольна успехом принятых мер.

В одной ранней заметке она пишет, что торговля оживляется, монополии уничтожены, бунтовщики усмирены, работают и платят, правосудие более не продается, законы уважаются и исполняются, все судебные места вернулись к своим обязанностям и т. д.

Обмундирование русских войск в екатерининское время. Гвардейские офицеры

Проект императорского совета. Но все эти меры были только подробности, большею частью почти мелочи. В манифесте 6 июля обещана была общая реформа управления, возвещены государственные установления, которые неуклонно действовали бы в пределах закона. Между тем в центральном управлении

оставался очень заметный пробел: законодательная власть, сосредоточиваясь в одном лице государя, не имела никакого закономерного устроения; не было учреждения, которое воспособляло бы эту работу. Генерал-прокурору Сената принадлежала законодательная инициатива, но только казуальная, когда в пределах распорядительной и судебной компетенции Сената встречалось дело, требовавшее нового закона. Н. И. Панину, редактору июльского манифеста, Екатерина, вскоре по воцарении, поручила составить план недостающего учреждения. Панин представил доклад и проект манифеста об Императорском совете и о преобразовании Сената с разделением его на департаменты. Из этих двух учреждений устроялось новое верховное управление. Панин подвергает жестокой критике елизаветинское правление, в котором «действовала более сила персон, нежели власть мест государственных». Пользуясь домашним кабинетом императрицы, «безгласным и никакого образа государственного не имеющим местом», всеми делами безответственно вертели фавориты, временщики, случайные и шальные люди. Это напоминает Панину «те варварские времена», когда еще не было ни установленного правительства, ни письменных законов. Сколько можно понять тягучее, дипломатически неясное изложение Панина, его Императорский совет, разделенный на четыре департамента со статским секретарем во главе каждого, – чисто совещательное учреждение, нисколько не посягавшее на полноту верховной власти. В него поступают все дела, требующие новых законов, кроме восходящих на высочайшее усмотрение через Сенат, и подлежащими статс-секретарями разрабатываются в законопроекты, которые обсуждаются императорскими советниками и представляются на высочайшее утверждение.



Пятирублевый ассигнационный билет екатерининского времени

Совет – закономерное, гласным законом установленное учреждение с оформленным порядком делопроизводства; всякий новый закон исходит из него за монаршей подписью и контрассигнованный подлежащим статс-секретарем. Однако это не был прежний Верховный тайный совет, который, сливаясь с лицом монарха, становился участником законодательной власти. Сенат оставался независимым от нового Совета верховным учреждением. Совет по проекту манифеста – «то самое место, в котором мы об империи трудимся». Это законодательная мастерская, исполняющая подготовительную работу законодательства по надлежащей форме и порядку, чем бы «добрый государь при его великих трудах ограничивал себя в ошибках, свойственных человечеству». Верховная власть не ограничивалась, а только сдерживалась практически, самой организацией законодательного дела. В проекте Панина неясно и неумело предначертан будущий Государственный совет Сперанского, оказавшийся вполне безопасным политически. Екатерина подписала манифест (28 декабря 1762 г.) и назначила членов Совета, но потом впала в раздумье, кой с кем посоветовалась и похоронила дело.

Угадывая ли тайную мысль Екатерины, или по искреннему холопьему усердию придворного, особенно дальновидно высказался фельдцехмейстер Вильбуа. Он заявил, что законом установленный Совет со временем поднимет до значения соправителя, слишком приблизит подданного к государю и может

породить желание поделить с ним власть. Разум императрицы не нуждается ни в каком Совете, а только для облегчения тяжести восходящих к ней дел нужно разделить ее частный кабинет на департаменты, говоря проще, заменить государственных советников домашними секретарями. Осуществлена была только мысль Панина о разделении Сената на департаменты, но уже по другому проекту (15 декабря 1763 г.). Этим и ограничилась реформа центрального управления. Законодательная функция, оставшись неупорядоченной, пользовалась случайными или временными средствами. По отдельным вопросам Сенату предоставлялись законодательные полномочия или составлялись комиссии, а комиссии о правах дворянства с 1763 г. вместе со многими другими делами поручено было составить новый проект о разделении Сената на департаменты. С начала первой турецкой войны Екатерина стала созывать преимущественно по военным делам Совет, который скоро превратился в постоянный, оставаясь негласным.

Политические идеи. Она хотела вести чисто личную политику, не прикрываемую никаким рядом стоящим, хотя бы только совещательным, но законно оформленным и ответственным учреждением. В ближайшей к себе сфере управления она не допускала и тени права, могущей омрачить блеск ее попечительного самовластия. По ее мысли, задача права – руководить подчиненными органами управления; оно должно действовать, подобно солнечной теплоте в земной атмосфере: чем выше, тем слабее. Власть, не только неограниченная, но и неопределенная, лишенная всякого юридического облика, – это основной факт нашей государственной истории, сложившейся ко времени Екатерины. Она оберегала этот факт места от всяких попыток дать закономерный строй верховному управлению. Но она хотела прикрыть этот туземный факт идеями века. Обработка, какую эти идеи получили в ее уме, давала возможность столь трудного логически применения их. Еще до воцарения, видели мы, она сосредоточила свое прилежное чтение на историко-политической литературе и особенно на литературе просветительного направления. Экзотические поклонники и поклонницы этой литературы воспринимали ее неодинаково. Одни черпали из нее запас отвлеченных начал и радикальных приемов и, трактуя о строении человеческого общества, любили строить его на основаниях, выведенных из чистого разума и не испробованных в исторической действительности, а когда обращались к существующему, действительному обществу, находили его заслуживающим только полной ломки. Другие делали из этой литературы не питательное, а, так сказать,

вкусовое употребление, увлекались ее отвлеченными идеями и смелыми планами не как желательным житейским порядком, а просто как занимательными и пикантными изворотами отважной и досужей мысли.

Екатерина отнеслась к этой литературе осторожнее политических радикалов и серьезнее либеральных вертопрахов. Из этого обильного источника новых идей она старалась извлечь лишь то, что, говоря ее словами, «питало великие душевные качества человека честного, человека великого и героя» и что мешает пошлости помрачать «античный вкус к чести и доблести». Следы такого изучения и размышлений, им навеянных, сохранились в оставшихся после нее записках, выписках и мимолетных заметках на французском или русском языке. «Я желаю, я хочу лишь добра стране, куда Бог меня привел, – пишет она еще до воцарения, – слава страны – моя собственная слава; вот мой принцип; была бы очень счастлива, если бы мои идеи могли этому способствовать. Я хочу, чтобы страна и подданные были богаты, – вот принцип, от которого я отправляюсь. Власть без народного доверия ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным; этого легко достигнуть: примите за правило ваших действий, ваших уставов благо народа и справедливость, неразлучные друг с другом, – свобода, душа всех вещей! Без тебя все мертво. Я хочу, чтоб повиновались законам, а не рабов; хочу общей цели сделать людей счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости». Как напоминают эти заметки заветные институтские тетрадки дедовских времен, куда вписывались любимые стихотворения и первые девические мечты.

Но «принципы» Екатерины, при всем своем благодушном свободомыслии, имели для нее более деловое, образовательное значение. Они приучали ее размышлять о вопросах государственной и общественной жизни, уяснять себе основные понятия права и общежития; только по складу ли своего ума или по духу читаемой литературы, она придавала своим принципам не совсем обычный смысл. Для нее разум и его спутники – истина, правда, равенство, свобода – не были боевые начала, непримиримо борющиеся за господство над человечеством с преданием и его спутниками – ложью, неправдой, привилегией, рабством, – это такие же элементы общежития, как и их противники, только опрятнее и благороднее их. От создания мира эти благородные начала были в унижении; теперь пришло их господство. Они могут уживаться с началами другого порядка; всякое дело, какова бы ни была его цель, должно для своего успеха усвоить себе эти начала. «Самая грубая ошибка, – писала Екатерина Даламберу, – какую сделал иезуитский орден и какую

только может сделать какое бы то ни было учреждение, – это не основаться на принципах, которых бы не мог опровергнуть никакой разум, ибо истина несокрушима». Эти принципы – хорошее агитационное средство. «Когда правда и разум на нашей стороне, – читаем в одной ее записке, – должно выставлять их на глаза народу, сказать: такая-то причина привела меня к тому-то; разум должен говорить за необходимость, и будьте уверены, что он возьмет верх в глазах толпы».

Уменье соглашать в управлении начала разных порядков и есть политическая мудрость. Она внушала Екатерине замысловатые соображения. «Противно христианской религии и справедливости, – пишет она, – обращать в рабство людей, которые все родятся свободными. В некоторых странах Европы церковный собор освободил всех крестьян; такой переворот теперь в России не был бы средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упрямства и предрассудков. Но вот легкий способ – постановить освобождать крестьян при продаже имений; в 100 лет все или почти все земли меняют владельцев – и вот народ свободный». Или: наша империя нуждается в населении, потому едва ли полезно обращать в христианство инородцев, у которых господствует многоженство. «Хочу установить, чтобы мне из лести говорили правду: даже царедворец пойдет на это, увидев в этом путь к милости». При утилитарном взгляде на принципы с ними возможны сделки. «Я нашла, что в человеческой жизни честность выручала в затруднениях». Несправедливость допустима, если доставляет выгоду; непростительна только бесполезная несправедливость.

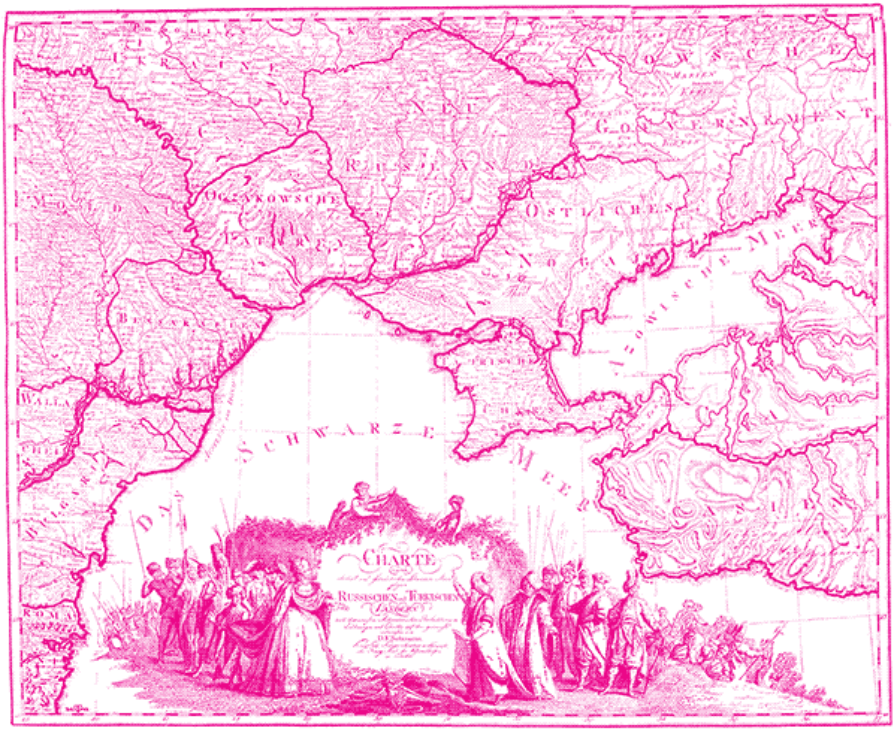
Видим, что чтение и размышление сообщили мысли Екатерины диалектическую гибкость, поворотливость в любую сторону, дало обильный запас сентенций, общих мест, примеров, но не дало никаких убеждений. У нее были стремления, мечты, даже идеалы, не убеждения, потому что признание истины не проникалось решимостью на ней строить нравственный порядок в себе и вокруг себя, без чего признание истины становится простым шаблоном мышления. Екатерина принадлежала к тем духовным конструкциям, которые не понимают, что такое убеждение и зачем оно нужно, когда есть соображение. Подобным недостатком страдал и ее слух: она терпеть не могла музыки, но от души смеялась, слушая в своем Эрмитаже комическую оперетку, в которой был положен на музыку кашель. Отсюда пестрота и совместная уживчивость ее политических взглядов и сочувствий. Под влиянием Монтескье она писала, что законы – самое большое добро, какое люди могут дать и получить; а следуя свободному непленному движению своей мысли, она думала, что

«снисхождение, примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, а политическая свобода даст душу всему».

Но, признавая в себе «отменно республиканскую душу», она считала наиболее пригодным для России образом правления самодержавие или деспотию, которых основательно не различала; разграничить эти виды одного и того же образа правления затрудняются и ученые публицисты. Она сама заботливо практиковала этот образ правления, хотя соглашалась, что может показаться чудным сочетание республиканского «закала души» с деспотической практикой. Но одинаково с деспотией у нее шла к России и аристократия. «Хотя я и свободна от предрассудков и от природы ума философского, я чувствую большую склонность чтить древние роды, страдаю, видя здесь некоторые из них в нищете; мне хочется их поднять». И она считала возможным поднять их, восстановив майорат, украшая старших в роде орденами, должностями, пенсиями, землями. Это не мешало ей признавать аристократический замысел верховников безрассудным делом.

Вольтер. *С портрета, написанного в 1764 г. Даузелом*

В ее емком уме укладывались предания немецкого феодализма рядом с привычками русского правления и политическими идеями просветительного века, и она пользовалась всеми этими средствами по своим наклонностям и соображениям. Она хвалилась, что, подобно Алкивиаду, уживется и в Спарте, и в Афинах. Она писала Вольтеру в 1765 г., что ее девиз – пчела, которая, летая с растения на растение, собирает мед для своего улья, но склад ее политических понятий скорее напоминает муравейник, чем улей.



Карта Крымского полуострова и соседних с ним земель во второй половине XVIII века

Значение царствования. Изложив главные явления царствования императрицы Екатерины II, попытаемся на основании результатов ее деятельности сделать ей историческую оценку. Значение известной исторической эпохи или исторического дельца всего лучше оценивается тем, насколько увеличились или уменьшились в эту эпоху под влиянием исторического деятеля народные средства. Средства, которыми располагает народ, бывают материальные либо нравственные; итак, [следует] разрешить вопрос, насколько увеличились или уменьшились материальные и нравственные средства Русского государства в царствование Екатерины?

Увеличение материальных средств. Во-первых, материальные средства увеличились в громадной пропорции. В царствование Екатерины государственная территория почти достигла своих естественных границ, как на юге, так и на западе. Из приобретений, сделанных на юге, было образовано три губернии – Таврическая, Херсонская и Екатеринославская, не считая возникшей тогда же земли Войска Черноморского. Из приобретений, сделанных на западе, со стороны Польши, было образовано 8 губерний, которые перечисляю в порядке с севера на

юг: Витебская, Курляндская, Могилевская, Виленская, Минская, Гродненская, Волынская и Брацлавская (нынешняя Подольская). Итак, из 50 губерний, на которые была разделена Россия, целых 11 были приобретены в царствование Екатерины. Эти материальные успехи являются еще в более осязательном виде, если мы сравним населенность страны в начале царствования и в конце его. В начале царствования Екатерины, в 1762 и 1763 гг., была произведена III ревизия; по расчету пропорции ревизских душ к общему количеству населения, последнего считалось по III ревизии 19–20 млн душ обоего пола и всех состояний. В конце царствования Екатерины, в 1796 г., была предпринята законченная уже преемником Екатерины V ревизия. По такому же расчету отношения ревизских душ к общему количеству населения, жителей в империи считалось не менее 34 млн.

Итак, количество населения в царствование Екатерины увеличилось на три четверти. Вместе с тем усилились и государственные финансовые средства; ход этого усиления наглядно представляется по ежегодным финансовым ведомостям за все время царствования. В 1762 г. Государственное казначейство считало всех государственных доходов 16 млн руб. По финансовой ведомости 1796 г., сумма государственных доходов простиралась до 68 1/2 млн. Итак, население государства в продолжение царствования почти удвоилось; сумма государственных доходов с лишком учетверилась. Значит, не только увеличилось количество плательщиков, но возвысились и государственные платежи, возвышение которых обыкновенно принимается за знак усиления производительности народного труда. Итак, материальные средства в царствование Екатерины чрезвычайно усилились.

Усиление социальной розни. Напротив, средства нравственные стали слабее. Нравственные средства, которыми располагает государство, сводятся к двум порядкам отношений. Во-первых, они состоят в единстве интересов, связывающих различные племенные и социальные составные части государства друг с другом; во-вторых, в способности руководящего класса руководить обществом. В свою очередь, эта способность зависит от юридической постановки руководящего класса в обществе, степени понимания им положения общества и степени политической подготовки руководить им. Эти нравственные средства государства в царствование Екатерины значительно пали. Прежде всего, усилилась рознь интересов племенных, составных частей государства. В пестрый состав населения этого государства польскими разделами введен был новый, чрезвычайно враждебный элемент, который не только не усилил,

не поднял, но значительно затруднил наличные силы государства. Прежде на западной окраине существовал один элемент, на который русское общество должно было тратить значительные усилия; этот элемент состоял в немецком населении завоеванных Петром Остзейских провинций. Теперь к этому элементу, который с трудом растворялся химически в составе русского населения, присоединился другой, может быть столь же неподатливый, – польское население завоеванных провинций Речи Посполитой. Польский элемент в старинных русских областях не составил бы ни малейшего затруднения для Русского государства, он исчез бы под влиянием первого благоприятного ветра с востока, но этот элемент стал силой благодаря тому, что в состав территории Русского государства, кроме юго-западных областей, введены были и некоторые части настоящей Польши. Зато одна из важных областей Юго-Западной Руси, связанная органически с остальными, – Галиция – очутилась за пределами Русского государства, усиливая разлад, внесенный в наши западные международные отношения.

Далее, усилилась рознь между социальными составными элементами коренного русского общества. Это усиление было следствием тех отношений, в какие поставлены были законодательством Екатерины два основных класса русского общества – дворянство и крепостное крестьянство. Чтобы объяснить происхождение и значение этой розни, необходимо припомнить ход нашей внутренней государственной жизни со времени Петра. Петр разрешил один ряд вопросов внутренней политики, которые все сводятся к одному – вопросу об устройстве государственного хозяйства в связи с поднятием производительности народного труда. Вся внутренняя деятельность Петра имела характер экономический; коренные основы юридического порядка при нем остались нетронутыми. Но законодательство Петра, устроив народную и государственную жизнь, оставило один важный политический пробел; этот пробел состоял в уничтожении установленного обычаем старого порядка престолонаследия. По закону 1722 г. назначение наследника предоставлено было личному усмотрению царствующего государя. Так как после Петра не осталось обычного наследника, то этот закон отдал престол на волю случая. С тех пор, благодаря указанному пробелу, на несколько десятилетий в государственном управлении водворился произвол лиц, господство случая, лучше сказать, водворилась воля случайных лиц. Среди этой борьбы случайностей разрушался и государственный порядок, завершенный Петром.

Этот порядок состоял в принудительной разверстке

государственных повинностей между всеми классами общества, в государственном прикреплении сословий. Благодаря действию случая, одно сословие получило возможность несколько раз распорядиться престолом и начало превращаться из простого правительственного орудия в правящий класс, сбрасывая с себя одну за другой прежние свои государственные обязанности, но не теряя прежних прав и даже приобретая новые. Так одно сословие достигло государственного раскрепления, получило возможность жить для себя, руководилось сословными или личными интересами. Вслед за этим сословием раскрепилось и другое – торгово-промышленное. Оба класса составляли незначительную часть всего населения, но теперь они стали в исключительное положение. Логическим последствием раскрепления обоих сословий должно было быть облегчение государственных повинностей, лежавших и на остальных классах, т. е. более уравнительное распределение этих повинностей. Но это раскрепление остальных классов должно было совершиться иным путем, не таким, каким раскрепилось дворянство. Новое положение дворянина было признано законом, но оно подготовлено было не вполне законным порядком, революционными средствами. Освобождение дворянства от обязательной службы не совершилось бы так легко и скоро, если бы сословию не пришлось принять деятельное участие в создании высших правительств, т. е. в дворцовых переворотах по смерти Петра. Эти дворцовые перевороты и подготовили законодательное освобождение дворянства от обязательной службы.

Точно таким же путем думало раскрепиться и крепостное крестьянское население: вслед за дворянством и оно хотело достигнуть свободы рядом незаконных восстаний. Таков смысл многочисленных крестьянских мятежей, которые начались в царствование Екатерины II и которые, постепенно распространяясь, слились в громадный пугачевский бунт. Во имя общественного порядка не следовало допускать этих сословий до такого насильственного раскрепления: их положение следовало устроить законным путем, посредством правомерного определения отношений к земле. Этого правомерного определения не сделало правительство Екатерины. Таким образом, отношения двух основных классов русского общества к концу царствования Екатерины представляли еще менее гармонии, чем прежде; общественное разъединение стало еще резче. Таким образом, в царствование Екатерины усилилась рознь как в племенном, так и социальном составе государства.

Дворянство и общество. С другой стороны, понизилась

способность руководящего класса руководить обществом. Этим руководящим классом и во второй половине XVIII в. оставалось дворянство. Его нравственные и политические средства постепенно создавались обязательной службой, которая была политической и общественной школой для сословия. Припомним, как шла эта служба в продолжение XVIII в.

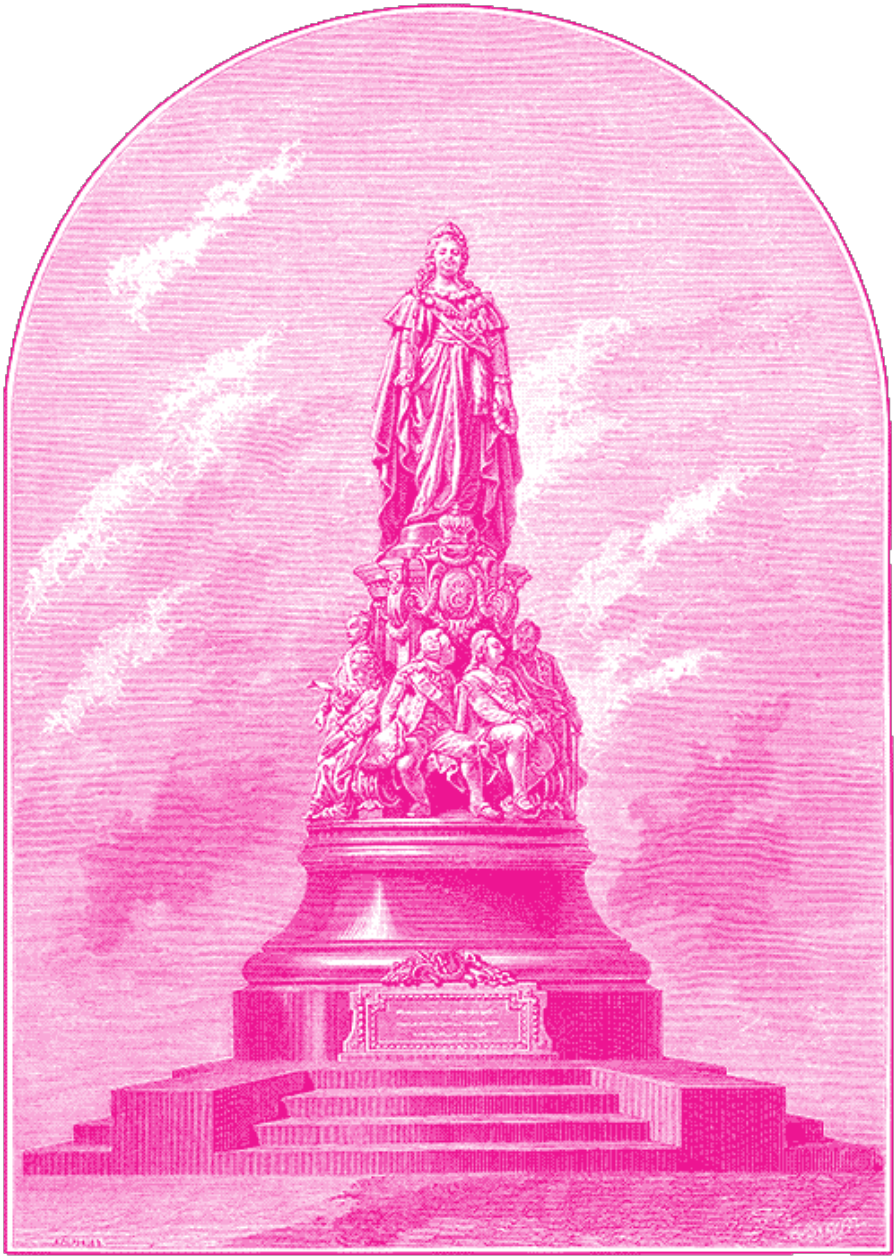
При Петре дворянин подвергался обязательной военно-технической выучке. Эта выучка при его преемницах сменилась светской муштровкой, которая отличалась от прежней гвардейской или навигацкой выучки тем, что не нужна была для самой службы, зато требовалась для успеха на службе. При Екатерине II не требовалась ни та, ни другая выучка – ни навигацкая наука, ни светская муштровка, потому что не требовалась и сама обязательная служба. Но дворянство вынесло из двух пройденных школ, несмотря на их внутреннее различие, если не сознание необходимости получать образование, то, по крайней мере, некоторый навык к учению, некоторый инстинктивный порыв к образованию (или воспитанию), воспоминание о пройденном учении. С этим навыком, или с этим воспоминанием, дворянство и вступило в положение, какое было создано сословию законом 18 февраля 1762 г. «О вольности дворянства», губернскими учреждениями 1775 г. и жалованной грамотой сословию 1785 г.

Екатерина II, окруженная семейством и придворными.
С гравюры 1784 г.

Вкусы, приобретенные на службе, поневоле теперь, развиваясь свободно, стали искать себе удобнейшей пищи. В царствование Екатерины, под влиянием примеров, шедших от

двора, к прежней светской муштровке присоединилось требование и некоторой литературной полировки. Обширный досуг, открывшийся сословию с освобождением от обязательной службы, доставлял ему возможность приобретать эту полировку. Наклонность к чтению при Елизавете, бесцельная и беспорядочная, при Екатерине получила более определенное направление. Чтобы оживлять дремлющий, вянущий от праздности ум, щекотать дремавшую мысль, высший слой дворянства стал жадно заимствовать смелые и пикантные идеи, распространявшиеся в чужой литературе. Таким образом, можно обозначить главные моменты, пройденные дворянством на пути образования: петровский артиллерист и навигатор через несколько времени превратился в елизаветинского петиметра, а петиметр при Екатерине II превратился, в свою очередь, в homme de lettresa, который к концу века сделался вольнодумцем, масоном либо вольтерьянцем; и тот высший слой дворянства, прошедший указанные моменты развития в течение XVIII в., и должен был после Екатерины руководить обществом.[2] Легко заметить скудность политических и нравственных средств, какими этот класс располагал для руководства своим обществом. Надобно представить себе положение этого слоя в конце века, не указывая на лица, ибо все лица, служившие представителями этого слоя, в основных чертах были похожи друг на друга. Положение этого класса в обществе покоилось на политической несправедливости и венчалось общественным бездельем. С рук дьячка-учителя человек этого класса переходил на руки к французу-гувернеру, довершал свое образование в итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные понятия в столичных гостиных и доканчивал свои дни в московском или деревенском своем кабинете с Вольтером в руках. С книжкой Вольтера в руках где-нибудь на Поварской или в тульской деревне этот дворянин представлял очень странное явление. Усвоенные им манеры, привычки, понятия, чувства, самый язык, на котором он мыслил, – все было чужое, все привозное, а дома у него не было никаких живых органических связей с окружающими, никакого серьезного дела. Ни участие в местном управлении, ни сельское хозяйство не задавали ему такой серьезной работы. Таким образом, живые, насущные интересы не привязывали его к действительности. Чужой между своими, он старался стать своим между чужими и, разумеется, не стал. На Западе, за границей, в нем видели переодетого татарина, а в России на него смотрели, [как] на случайно родившегося в России француза. Так он стал в положение межеумка, исторической ненужности; рассматривая его в этом положении,

мы готовы жалеть о нем, думая, что ему иногда становилось невыразимо грустно от этого положения. Бывали случаи проявления такой грусти или отчаяния от мысли о невозможности примириться с окружающей действительностью.



Памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге

Пример такого отчаяния представляет ярославский помещик Опочинин. Он воспитался в понятиях и чувствах, которые составляли верхний слой тогдашнего умственного и

нравственного движения в Европе. Разумеется, усвоенные отсюда идеалы поставили Опочинина в непримиримую вражду с окружающей действительностью. Не умея примириться с ней, Опочинин, более искренний, чем другие люди того же образа мыслей, в 1793 г. покончил с собой. В предсмертном завещании он пишет, объясняя свой поступок: «Отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить своевольно свою судьбу». По завещанию Опочинин пустил на волю два семейства дворовых, а барский хлеб велел раздать крестьянам. Он не освободил крестьян, ибо по тогдашнему законодательству еще был вопрос, имеет ли право помещик освобождать крестьян и отпускать их на волю. Всего любопытнее в завещании строки о библиотеке помещика. «Книги, – пишет он, – мои любезные книги! Не знаю, кому завещать их: я уверен, в здешней стране они никому не надобны; прошу покорно моих наследников предать их огню. Они были первое мое сокровище, они только и питали меня в моей жизни; если бы не было их, то моя жизнь была бы в беспрерывном огорчении, и я давно бы с презрением оставил сей свет». За несколько минут до смерти Опочинин имел еще духу начать перевод стихотворения Вольтера «О Боже, которого мы не знаем».

Но Опочинин – исключительное явление. Люди его образа мыслей не разделяли его космополитической скорби, не грустили и даже не скучали; грустить они начали несколько позже, в царствование Александра I, а скучать еще позже, в царствование Николая. Вольтерьянец времен Екатерины был весел и только. Он праздновал свой выход в отставку после вековой, обязательной службы и, подобно выпущенному из корпуса кадету, не мог налюбоваться на свой дворянский мундир, с которым его освободили от службы. По-видимому, идеи, которыми он увлекался, книжки, которые он читал, должны были ставить его, как и Опочинина, в непримиримую вражду с окружающей действительностью, но вольтерьянец конца XVIII в. ни с чем не враждовал, не чувствовал в своем положении никакого противоречия. Книжки украшали его ум, сообщали ему блеск, даже потрясали его нервы. Известно, что образованный русский человек никогда так охотно не плакал от хороших слов, как в прошедшем столетии. Но далее не простиралось действие усвоенных идей; они, не отражаясь на воле, служили для носителей своих патологическим развлечением, нервным моционом; смягчая ощущения, не исправляли отношений, украшая голову, не улучшали существующего порядка.

Нельзя, однако, думать, чтобы поколение этих вольтерьянцев было совсем бесплодным явлением в нашей истории. Само это

поколение не сделало употребления из своих идей, но оно послужило важным передаточным пунктом. Не применяя к делу своего умственного запаса, поколение это сберегло до поры до времени и передало его следующему поколению, которое сделало из него более серьезное употребление. Таким образом, руководящий класс, очутившись во главе русского общества в конце XVIII в., не мог стать деятельным руководителем этого общества; наибольшая польза, какую он мог сделать этому обществу, могла состоять только в решимости не делать ему вреда.

Визитная карточка екатерининского времени

Павел I

Император Павел I Петрович

Царствование. Император Павел I был первый царь, в некоторых актах которого как будто проглянуло новое направление, новые идеи. Я не разделяю довольно обычного пренебрежения к значению этого кратковременного царствования. Напрасно считают его каким-то случайным эпизодом нашей истории, печальным капризом недоброжелательной к нам судьбы, не имеющим внутренней связи с предшествующим временем и

ничего не давшим дальнейшему. Нет, это царствование органически связано как протест – с прошедшим, а как первый неудачный опыт новой политики, как назидательный урок для преемников – с будущим. Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями – его главной задачей. Так как исключительное положение, приобретенное одним сословием, имело свой источник в отсутствии основных законов, то император Павел I начал создание этих законов.

Главный пробел, какой оставался в основном законодательстве XVIII в., заключался в отсутствии закона о престолонаследии, достаточно обеспечивающего государственный порядок. 5 апреля 1797 г. Павел издал закон о престолонаследии и учреждение об императорской фамилии – акты, определившие порядок престолонаследия и взаимное отношение членов императорской фамилии. Это первый положительный основной закон в нашем законодательстве, ибо закон Петра 1722 г. имел отрицательный характер.

Далее, преобладающее значение дворянства в местном управлении держалось на тех привилегиях, какие утверждены были за этим сословием в губернских учреждениях 1775 г. и в жалованной грамоте 1785 г. Павел отменил эту грамоту, как и одновременно изданную грамоту городам, в их самых существенных частях, и принялся теснить дворянское и городское самоуправление. Он пытался заменить дворянское выборное управление коронным чиновничеством, ограничив право дворян замещать выборами известные губернские должности. Этим обозначился основной мотив и в дальнейшем движении управления – торжество бюрократии, канцелярии. Местное значение дворянства держалось также на его корпоративном устройстве. Павел предпринял разрушение и дворянских корпораций: он отменил губернские дворянские собрания и выборы; на выборные должности (1799), и даже губернских своих предводителей (1800), дворянство выбирало в уездных собраниях. Отменено было и право непосредственного ходатайства (закон 4 мая 1797 г.). Наконец, Павел отменил важнейшее личное преимущество, которым пользовались привилегированные сословия по жалованным грамотам, – свободу от телесных наказаний. Как дворяне, так и высшие слои городского населения – именитые граждане и купцы I и II гильдий, зауряд с белым духовенством по резолюции 3 января 1797 г. и указу Сената того же года подвергались за уголовные преступления телесным наказаниям наравне с людьми податных состояний.

Уравнение – превращение привилегий некоторых классов в

общие права всех. Павел превращал равенство прав в общее бесправие. Учреждения без идей – чистый произвол. Планы Павла возникали из недобрых источников, либо из превратного политического понимания, либо из личного мотива.

Всех более страдали неопределенностью и произволом отношения землевладельцев к крепостным крестьянам. По первоначальному своему значению крепостной крестьянин был тяглый хлебопашец, обязанный тянуть государственное тягло, и как государственный тяглец должен был иметь от своего владельца поземельный надел, с которого мог бы тянуть государственное тягло. Но небрежное и неразумное законодательство после Уложения, особенно при Петре Великом, не умело оградить крепостного крестьянского труда от барского произвола. И во второй половине XVIII в. стали нередки случаи, когда барин совершенно обезземеливал своих крестьян, сажал их на ежедневную барщину и выдавал им месячину, месячное пропитание, как бесхозяйным дворовым холопам, платя за них подати. Крепостное русское село превращалось в негритянскую североамериканскую плантацию времен дяди Тома.

Павел был первый из государей изучаемой эпохи, который попытался определить эти отношения точным законом. По указу 5 апреля 1797 г. определена была нормальная мера крестьянского труда в пользу землевладельца; этой мерой назначены были три дня в неделю, больше чего помещик не мог требовать работы от крестьянина. Этим воспрещалось обезземеление крестьян. Но эта деятельность в уравнительном и устроительном направлении лишена была достаточной твердости и последовательности. Причиной тому было воспитание, полученное императором, его отношения к предшественнице – матери, а больше всего природа, с какой он появился на свет. Науки плохо давались ему, и книги дивили его своей безустанной размножаемостью. Под руководством Никиты Панина Павел получил не особенно выдержанное воспитание, а натянутые отношения к матери неблагоприятно подействовали на его характер. Павел был не только удален от правительственных дел, но и от собственных детей, принужден был заключиться в Гатчине, создавши здесь себе тесный мирок, в котором он и вращался до конца царствования матери.

Осмотр великим князем Павлом Петровичем работ на набережной Невы в 1775 г.

С гравюры Ле Би XVIII в.

Незримый, но постоянно чувствуемый обидный надзор, недоверие и даже пренебрежение со стороны матери, грубость со стороны временщиков – устранение от правительственных дел – все это развило в великом князе озлобленность, а нетерпеливое ожидание власти, мысль о престоле, не дававшая покоя великому князю, усиливали это озлобление.

Отношения, таким образом, сложившиеся и продолжавшиеся более десятка лет, гибельно подействовали на характер Павла, держали его слишком долго в том настроении, которое можно назвать нравственной лихорадкой. Благодаря этому настроению на престол принес он не столько обдуманных мыслей, сколько накипевших при крайней неразвитости, если не при полном притуплении политического сознания и гражданского чувства, и при безобразно исковерканном характере горьких чувств. Мысль, что власть досталась слишком поздно, когда уже не успеешь уничтожить всего зла, наделанного предшествующим царствованием, заставляла Павла торопиться во всем, недостаточно обдумывая предпринимаемые меры. Таким образом, благодаря отношениям, в каких готовился Павел к власти, его преобразовательные позывы получили оппозиционный отпечаток, реакционную подкладку борьбы с предшествующим либеральным царствованием. Самые лучшие по идее предприятия

испорчены были положенной на них печатью личной вражды.

Всего явственнее такое направление деятельности выступает в истории самого важного закона, изданного в это царствование, – о престолонаследии. Этот закон был вызван более личными, чем политическими, побуждениями. В конце царствования Екатерины носились слухи о намерении императрицы лишить престола нелюбимого и признанного неспособным сына, заменив его старшим внуком. Эти слухи, имевшие некоторое основание, усилили тревогу, в какой жил великий князь. Французский посол Сегюр, уезжая из Петербурга в начале революции, в 1789 г., заехал в Гатчину проститься с великим князем. Павел разговорился с ним и, по обыкновению, начал жестко порицать образ действий матери; посланник возражал ему. Павел, прервавши его, продолжал: «Объясните мне, наконец, отчего это в других европейских монархиях государи спокойно вступают на престол один за другим, а у нас иначе?» Сегюр сказал, что причина этого – недостаток закона о престолонаследии, право царствующего государя назначать себе преемника по своей воле, что служит источником замыслов честолюбия, интриг и заговоров. «Это так, – отвечал великий князь, – но таков обычай страны, который переменить небезопасно». Сегюр сказал, что для перемены можно было бы воспользоваться каким-нибудь торжественным случаем, когда общество настроено к доверию, например коронацией. «Да, надобно об этом подумать!» – отвечал Павел. Следствием этой думы, вызванной личными отношениями, и был закон о престолонаследии, изданный 5 апреля 1797 г., в день коронации.

А. Бенуа. **Парад при Павле I.** *1907 г.*

Благодаря несчастному отношению Павла к предшествующему царствованию, его преобразовательная деятельность лишена была последовательности и твердости. Начав борьбу с установившимися порядками, Павел начал преследовать лица; желая исправить неправильные отношения, он стал гнать идеи, на которых эти отношения были основаны. В короткое время деятельность Павла вся перешла в уничтожение того, что сделано было предшественницей; даже те полезные нововведения, которые были сделаны Екатериной, уничтожены были в царствование Павла. В этой борьбе с предшествующим царствованием и с революцией постепенно забылись первоначальные преобразовательные помыслы. Павел вступил на престол с мыслью придать более единства и энергии государственному порядку и установить на более справедливых основаниях сословные отношения. Между тем, из вражды к матери, он отменил губернские учреждения в присоединенных к России остзейских и польских провинциях, чем затруднил слияние завоеванных инородцев с коренным населением империи. Вступивши на престол с мыслью определить законом нормальные отношения землевладельцев к крестьянам и улучшить положение последних, Павел потом не только не ослабил крепостного права, но и много содействовал его расширению. Он так же, как и предшественники, щедро раздавал дворцовых и казенных крестьян в частное владение за услуги и

выслуги; вступление его на престол стоило России 100 тыс. крестьян с миллионом десятин казенной земли, розданной приверженцам и любимцам в частное владение.

Внешняя политика России в XIX в. Царствование императора Павла было первым и неудачным приступом к решению задач, ставших на очередь с конца XVIII столетия. Преемник его гораздо обдуманнее и последовательнее проводил новые начала как во внешней, так и во внутренней политике.

Расширение территории. Явления внешней политики чрезвычайно последовательно развиваются из международного положения России, какое сложилось в продолжение XVIII столетия со времени Петра Великого. Явления эти так тесно связаны друг с другом, что я сделаю их обзор до последней турецкой войны, 1877–1878 гг., не различая царствований. В продолжение XVIII в. Россия почти завершает давнее свое стремление стать в естественные этнографические и географические границы. Это стремление было завершено в начале XIX в. приобретением всего восточного берега Балтийского моря, по присоединении Финляндии с Аландскими островами по договору со Швецией 1809 г., продвижением западной границы, по присоединении Царства Польского, по акту Венского конгресса, и границы юго-западной, по присоединении Бессарабии по Бухарестскому договору 1812 г.

Но как скоро государство стало в свои естественные границы, внешняя политика России раздвоилась: различные стремления преследует она на азиатском, восточном и на европейском юго-западе.

Различие этих задач объясняется главным образом неодинаковостью тех географических условий и той исторической среды, какие встретила Россия, достигнув своих естественных границ, на востоке и на юго-западе. Русские границы на востоке не отличались резкой определенностью или замкнутостью: во многих местах они были открыты; притом за этими границами не лежали плотные политические общества, которые бы своей плотностью сдержали дальнейшее распространение русской территории. Вот почему скоро Россия здесь должна была перешагнуть за естественные границы и углубиться в степи Азии. Этот шаг сделан был ею частью против ее собственной воли.

По Белградскому договору 1739 г. владения России на юго-востоке дошли до Кубани; на Тереке издавна существовали русские казацкие поселения. Таким образом, ставши на Кубани и на Тереке, Россия очутилась перед Кавказским хребтом. В конце XVIII столетия русское правительство совсем не думало переходить этот хребет, не имея ни средств, ни охоты. Но за

Кавказом, среди магометанского населения, прозябало несколько христианских княжеств, [которые], почуяв близость русских, начали обращаться к ним за покровительством. Еще в 1783 г. грузинский царь Ираклий, теснимый Персией, отдался под покровительство России; Екатерина принуждена была послать за Кавказский хребет, в Тифлис, русский полк. Со смертью ее русские ушли из Грузии, куда вторглись персиане, все опустошая, но император Павел принужден был поддержать грузин и в 1799 г. признал царем Грузии преемника Ираклия Георгия XII. Этот Георгий, умирая, завещал Грузию русскому императору, и в 1801 г. волей-неволей пришлось принять завещание. Грузины усиленно хлопотали о том, чтобы русский император принял их под свою власть. Русские полки, воротившись в Тифлис, очутились в чрезвычайно затруднительном положении: сообщение с Россией возможно было только чрез Кавказский хребет, населенный дикими горными племенами. От Каспийского и Черного морей русские отряды были отрезаны туземными владениями, из которых одни магометанские ханства, на востоке, состояли под покровительством Персии, другие, маленькие княжества на западе, – под протекторатом Турции. Нужно было для безопасности пробиться и на восток и на запад. Западные княжества были все христианские, то были: Имеретия, Мингрелия и Гурия по течению Риона. Следуя примеру Грузии, и они, одно за другим, признали, подобно ей, верховную власть России – Имеретия (Кутаис) при Соломоне [в] 1802 г.; Мингрелия при Дадиане в 1804 г.; Гурия (Озургеты) в 1810 г. Эти присоединения привели Россию в столкновение с Персией, от которой пришлось отвоевывать многочисленные зависимые от нее ханства – Шемахинское, Нухинское, Бакинское, Эриван, Нахичеванское и другие. Это столкновение вызвало две войны с Персией, кончившиеся Гюлистанским договором 1813 г. и Туркманчайским 1828 г. Но как скоро русские стали на каспийском и черноморском берегах Закавказья, они должны были, естественно, обеспечить свой тыл завоеванием горских племен. С момента присвоения Грузии и начинается это продолжительное завоевание Кавказа, кончившееся на нашей памяти.[3] Кавказский хребет по составу населения делится на две половины – западную и восточную. Западная, обращенная к Черному морю, населена черкесами; восточная, обращенная к Каспийскому морю, – чеченцами и лезгинами. С 1801 г. и начинается борьба с теми и другими. Раньше был покорен Восточный Кавказ завоеванием Дагестана в 1859 г.; в следующие годы докончено было завоевание Западного Кавказа. Концом этой борьбы можно признать 1864 год, когда покорились последние независимые

черкесские аулы.

Такой сложный ряд явлений вызвало завещание Георгия XII Грузинского. Ведя эту борьбу, русское правительство совершенно искренне и неоднократно признавалось, что не чувствует никакой потребности и никакой пользы от дальнейшего расширения своих юго-восточных границ. Совершенно так же расширялась территория и за Каспийским морем, в глубине Азии. Южные границы Западной Сибири издавна беспокоили кочевые киргизы, населявшие Северный Туркестан. В царствование Николая эти киргизы были усмирены, но усмирение это привело Россию в столкновение с различными ханствами Туркестана – Кокандом, Бухарой и Хивой. Поддерживаемое своими единоплеменниками, население этих ханств начало сильнее тревожить юго-восточные пределы Руси. Рядом походов 1864–1865 гг. под командой Черняева и Веревкина были почти завоеваны сначала ханство Кокандское, потом Бухарское. Из завоеванных владений в 1867 г. было образовано Туркестанское генерал-губернаторство на Сырдарье. Тогда разбойничью роль, от которой должны были отказаться оба ханства, приняли на себя хивинцы, отделенные от новых границ России песчаными степями. Рядом походов, начатых в 1873 г. под начальством генерал-губернатора Ташкентского Кауфмана и законченных Текинской экспедицией Скобелева, 1880–1881 гг., завоевана была и Хива. Таким образом, юго-восточные границы России сами собою дошли либо до могущественных естественных преград, либо до преград политических. Такими преградами являются: хребты Гинду-Куш, Тянь-Шань, Афганистан, Английская Индия и Китай.

Восточный вопрос. Итак, в продолжение XIX в. юго-восточные границы России постепенно отодвигаются за естественные пределы неизбежным сцеплением отношений и интересов. Совсем иным направлением отличается внешняя политика России на юго-западных европейских границах. Здесь с начала века усвоены были новые задачи.

Кончив политическое объединение русского народа, территориальное собирание русской равнины, Россия предпринимает политическое освобождение других национальностей, связанных с русским народом родством, либо племенным, либо религиозным, либо религиозно-племенным. Но эта задача не сразу далась России, выработалась и усвоилась ею постепенно, даже не без стороннего внушения. В XVIII в., в царствование Екатерины, еще не понимали религиозно-племенных задач внешней политики, не стремились обдуманно к политическому освобождению родственных народностей. Во внешней политике по отношению к Турции и к Польше

господствовала одна простая цель, которую можно обозначить словами: «территориальное урезывание враждебного соседа с целью округления собственных границ». У врагов просто отнимали смежные земли, чтобы исправить собственные пределы.

Заключение мира в Туркманчае 10 февраля 1828 г.

Исправляя свои границы, наконец, дошли на юге до пределов, далее которых нельзя было вести прежнюю политику, именно нельзя было по двум причинам. Теперь русские войска остановились перед такими областями Турции, которые либо нельзя было присоединить к империи, не возбудив страшной тревоги на Западе, либо неудобно было присоединять по отсутствию прямых географических связей их с империей. Так, из политики территориального урезывания соседа развился другой план – политика раздробления соседа. Присмотревшись к Турции, увидели, что это не цельное тело, а куча разнохарактерных народностей. Тогда и решили постепенно обособлять эти составные части двояким способом: или деля их между сильными державами Европы, или восстановляя из них государства, некогда существовавшие в пределах нынешней Турции. Отсюда развивается двойная политика по отношению к Турции – политика ее международного раздела, подобного польским, и политика исторических реставраций. Оба эти стремления иногда причудливо смешивались в одних и тех же планах, но оба эти стремления были совершенно чужды религиозно-племенным принципам.

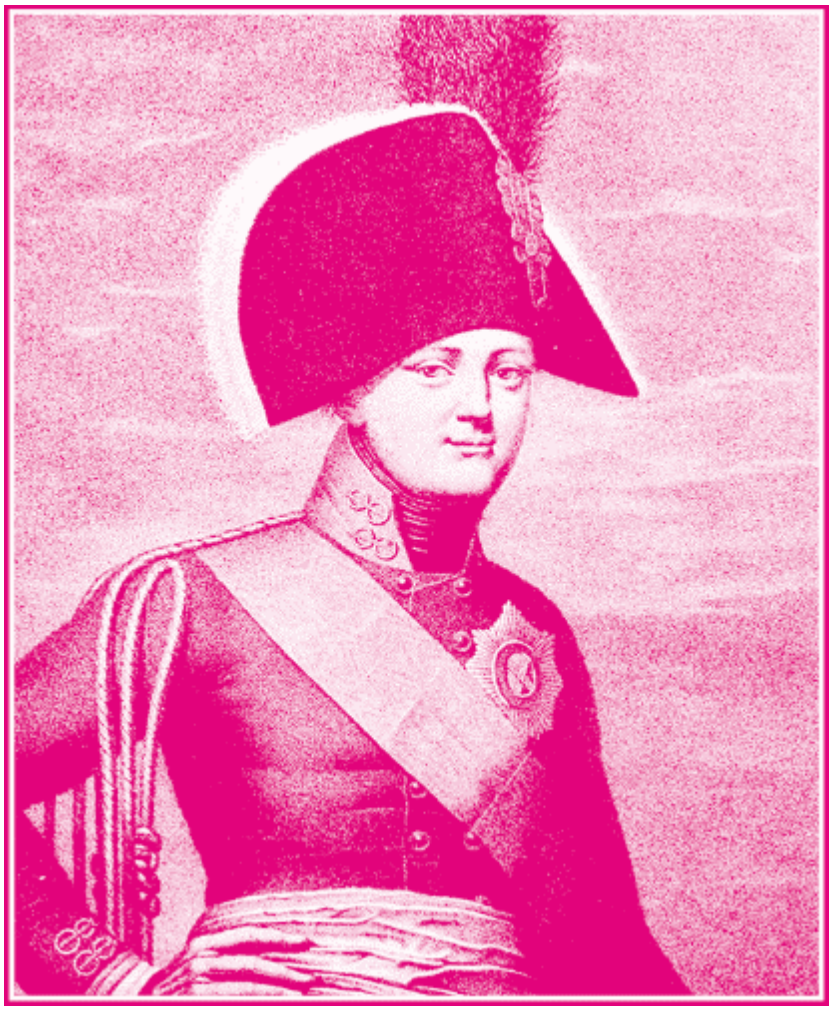
Любопытный образец этого смешения представляет знаменитый греческий проект Екатерины. Готовясь ко второй войне с Турцией, в 1782 г. Россия заключила союз с Австрией на таких условиях: из Молдавии, Валахии и Бессарабии образуется независимое государство Дакийское (термин, вычитанный из средневековых летописцев). Из коренных областей Европейской и,

если можно, Азиатской Турции образуется восстановленная Византийская империя. Босния и Сербия отдаются Австрии вместе с владениями Венеции на материке, которая в возмездие за то получает Морею, Крит и Кипр. Нельзя себе представить большего хаоса в политических понятиях и большего дурачества в международных комбинациях: восстановляется несуществующее государство (Дакия какая-то), славянские земли отдаются немецкой Австрии, православно-греческие области присоединяются к католической Венеции.

Подобным хаосом отличается и план, предложенный в 1800 г. Ростопчиным императору Павлу. Считая Турцию неспособной существовать, Ростопчин думал, что лучше всего разделить ее с Австрией и Францией. Россия берет себе Молдавию, Болгарию и Румынию, отдает Австрии Валахию, Сербию и Боснию, а Франции – Египет. Морея с архипелагом островов становится независимой республикой. В этом плане есть все – и раздел Турции, и политическая реставрация с границами, не имевшими никакой опоры в истории, и пренебрежение к религиозно-племенным интересам и отношениям. Этот хаос заставил некоторых политиков идти против всякого раздела Турции; таков был наш посланник в Константинополе граф Кочубей. В 1802 г. он писал императору, что всего хуже – раздел Турции, всего лучше – сохранение ее: «Турки – самые спокойные соседи, и потому для блага нашего лучше всего сохранить сих естественных наших неприятелей».

Екатерина II, Павел I и Александр I в медальоне.
С гравюры Бельдта

Александр I

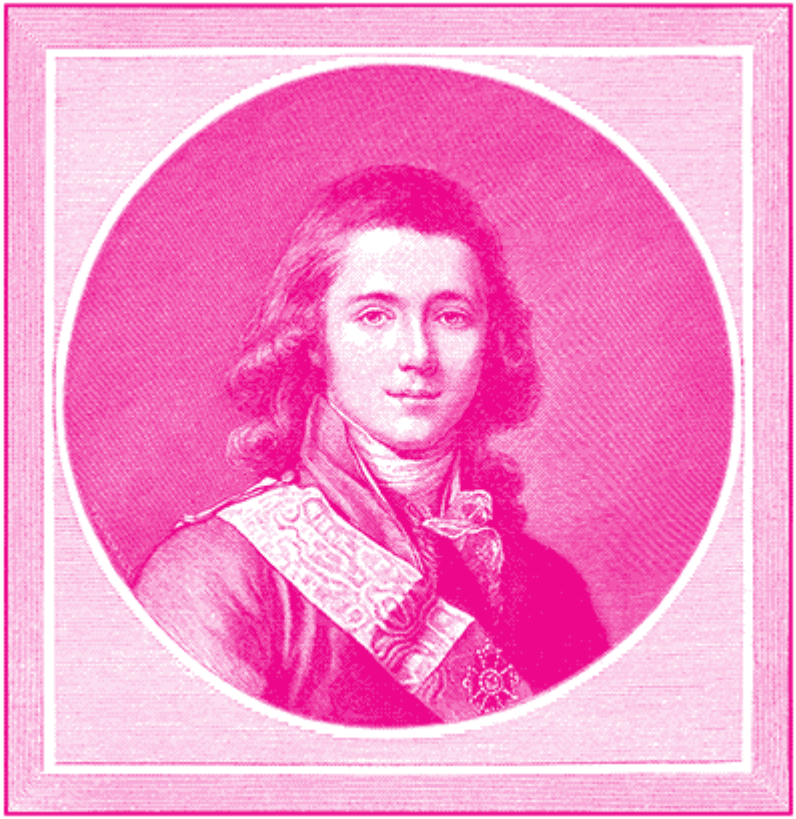


Император Александр I

Царствование. Александр, преемник императора Павла, вступил на престол с более широкой программой и осуществлял ее обдуманнее и последовательнее предшественника. Я указывал на два основных стремления, которые составляли содержание внутренней политики России с начала XIX столетия: это уравнение сословий перед законом и введение их в совместно дружную государственную деятельность. Это были основные задачи эпохи, но они осложнялись другими стремлениями, которые были необходимой подготовкой к их разрешению либо неизбежно вытекали из их разрешения. Уравнение сословий

перед законом, естественно, изменяло самые основания законодательства; таким образом, возникала потребность в кодификации с целью привести в согласие различные узаконения, прежние и новые.

Далее, перестройка государственного порядка на правовых уравнительных началах требовала подъема образовательного уровня народа, а между тем осторожное, частичное ведение этой перестройки вызывало двойное недовольство в обществе: одни были недовольны тем, что разрушается старое; другие были недовольны тем, что слишком медленно вводится новое. Отсюда представлялась правительству необходимость руководить общественным мнением, сдерживать его справа и слева, направлять, воспитывать умы. Никогда цензура и народное образование не входили так тесно в общие преобразовательные планы правительства, как в истекшем [XVIII] столетии. Наконец, ряд войн и внутренних реформ, изменяя вместе с внешним, международным положением государства и внутренний, социальный склад общества, колебал государственное хозяйство, расстраивал финансы, заставлял напрягать платежные силы народа и поднимать государственное благоустройство, понижал народное благосостояние. Вот ряд явлений, которые приплетались к основным фактам нашей жизни в течение первой половины века. Основные вопросы времени: социально-политический, состоявший в установлении новых отношений между общественными классами, в устройстве общества и управления с участием общества; к нему – вопрос кодификационный, состоявший в упорядочении нового законодательства; вопрос педагогический, состоявший в руководстве, направлении и воспитании умов; и, наконец, вопрос финансовый, состоявший в новом устройстве государственного хозяйства.



Великий князь Александр Павлович в юности. *С портрета Лампи*

Воспитание. Император Александр I поставил на очередь и смело приступил к разрешению всех этих задач. В приемах этого разрешения принимали большое участие, во-первых, политические идеи, которые были им усвоены, и, во-вторых, практические соображения, политические взгляды на положение России, которые сложились в нем из личных опытов и наблюдений. Те и другие – и политические идеи и личные взгляды – были тесно связаны с воспитанием, какое получил этот император, и с его характером, какой образовался под влиянием его воспитания. Вот почему воспитание Александра I, как и характер его, получают значение важных факторов в истории нашей государственной жизни. А потом, мне думается, что личность Александра I имела не одно местное значение: он был показателем общего момента, пережитого всей Европой. Александр стоял на рубеже двух веков, резко между собой различавшихся.

XVIII столетие было веком свободных идей, разрешившихся крупнейшею революцией. XIX век, по крайней мере в первой

своей половине, был эпохой реакций, разрешавшихся торжеством свободных идей. Эти переливы настроений должны были создавать своеобразные типы. Мы их знаем в литературных художественных воспроизведениях.

Император Александр I сам по себе, не по общественному положению, по своему природному качеству был человек средней величины, не выше и не ниже общего уровня. Ему пришлось испытать на себе влияние обоих веков, так недружелюбно встретившихся и разошедшихся. Но он был человек более восприимчивый, чем деятельный, и потому воспринимал впечатления времени с наименьшим преломлением. Притом это было лицо историческое, действительное, не художественный образ. И, как сказать, может быть, следя за воспитанием Александра I и кладкой его характера, мы кое-что уясним себе в вопросе, каким образом европейским миром поочередно могли распоряжаться такие контрасты, как Наполеон, игравший в реакционном эпилоге революции роль хохочущего Мефистофеля, и тот же Александр, которому досталось амплуа романтически-мечтательного и байронически-разочарованного Гамлета.

Наблюдая Александра I, мы наблюдаем целую эпоху не русской только, но и европейской истории, потому что трудно найти другое историческое лицо, на котором бы встретилось столько разнообразных культурных влияний тогдашней Европы.

Я не разделяю довольно распространенного мнения, будто Александр, благодаря хлопотам бабушки, получил хорошее воспитание; он был воспитан хлопотливо, но не хорошо, и не хорошо именно потому, что слишком хлопотливо.

Александр родился 12 декабря 1777 г., от второго брака великого князя Павла с Марией Федоровной, принцессой Вюртембергской. Рано, слишком рано бабушка оторвала его от семьи, матери, чтобы воспитать его в правилах тогдашней философской педагогики, т. е. по законам разума и природы, в принципах разумной и натуральной добродетели. Локк – высший авторитет, «Эмиль» Руссо был тогда привилегированным учебником такой педагогики; оба требовали, чтобы воспитание давало человеку крепкий закал против физических и житейских невзгод. Когда великий князь и следовавший за ним брат Константин стали подрастать, бабушка составила философский план их воспитания и подобрала штат воспитателей.

Главным наставником, воспитателем политической мысли великих князей был избран полковник Лагарп, швейцарский республиканец, восторженный, хотя и осторожный поклонник отвлеченных идей французской просветительной философии, ходячая и очень говорливая либеральная книжка. Учить великого

князя русскому языку и истории, также нравственной философии был приглашен Михаил Никитич Муравьев, весьма образованный человек и очень недурной писатель в либерально-политическом и сантиментально-дидактическом направлении. Наконец, общий надзор за поведением и за здоровьем великих князей был поручен генерал-аншефу графу Н. И. Салтыкову, не блестящему, но типичному вельможе екатерининской школы, который твердо знал одно: как жить при дворе; делал, что говорила жена, подписывал, что подавал секретарь. Впрочем, его настоящей партитурой в этом педагогическом оркестре, по выражению Массона, было «предохранять великих князей от сквозного ветра и засорения желудка». Лагарп, по его собственному признанию, принялся за свою задачу очень серьезно как педагог, сознающий свои обязанности по отношению к великому народу, которому готовил властителя. Он начал читать и в духе своих республиканских убеждений объяснять великим князьям латинских и греческих классиков – Демосфена, Плутарха и Тацита, английских и французских историков и философов – Локка, Гиббона, Мабли, Руссо.

Во всем, что он говорил и читал своим питомцам, шла речь о могуществе разума, благе человечества, договорном происхождении государства, природном равенстве людей, справедливости, более и настойчивее всего – о природной свободе человека, нелепости и вреде деспотизма, гнусности рабства. Эти явления рассматривались не как исторические факты или практические возможности, а одни – как требования разума и заповеди философского катехизиса, другие – как глупости, невежества и преступления деспотизма. [Лагарп] не разъяснял ход и строй человеческой жизни, а подбирал подходящие явления, полемизировал с исторической действительностью, которую учил не понимать, а только презирать.

Добрый и умный Муравьев подливал масла в огонь, читая детям как образцы слога свои собственные идиллии о любви к человечеству, законе, свободе мысли и заставлял их переводить на русский язык тех же Руссо, Гиббона, Мабли и т. д. Заметьте, что все это говорилось и читалось будущему русскому самодержцу в возрасте от 10 до 14 лет, т. е. немного преждевременно. В эти лета, когда люди живут непосредственными впечатлениями и инстинктами, отвлеченные идеи обыкновенно облекаются у них в образы, а политические и социальные принципы перерождаются в чувства и становятся верованиями. Преподавание Лагарпа и Муравьева не давало ни точного научного реального знания, ни логической выправки ума,

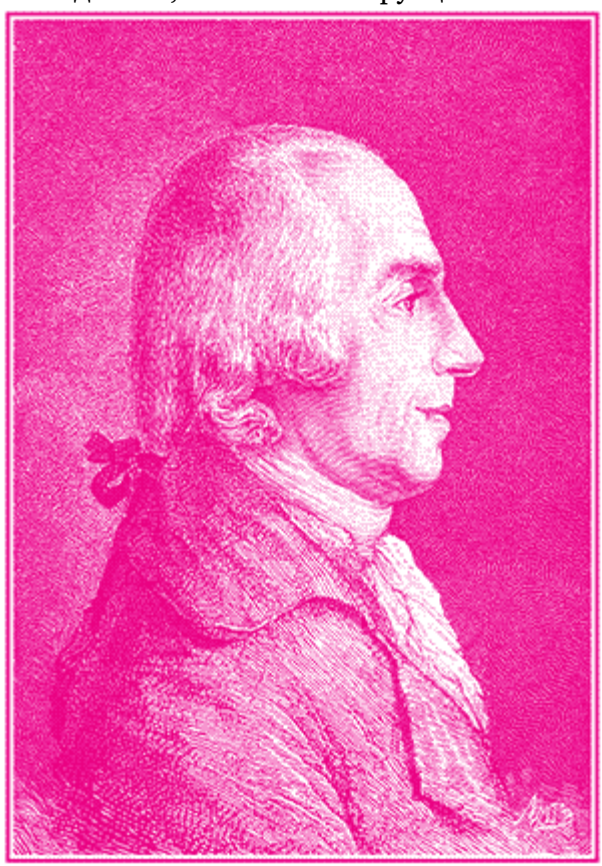
ни даже привычки к умственной работе; оно не вводило в окружающую действительность и не могло еще возбуждать и направлять серьезную мысль. Высокие идеи воспринимались 12-летним политиком и моралистом как политические и моральные сказки, наполнявшие детское воображение не детскими образами и волновавшие его незрелое сердце очень взрослыми чувствами.

Если ко всему этому прибавить еще графа Салтыкова с его доморощенным курсом салонных манер и придворной гигиены, то легко заметить пробел, какой был допущен в воспитании великого князя. Его учили, как чувствовать и держать себя, но не учили думать и действовать; не задавали ни научных, ни житейских вопросов, которые бы он разрешал сам, ошибаясь и поправляясь. Ему на все давали готовые ответы – политические и нравственные догматы, которые не было нужды проверять и придумывать, а только оставалось затвердить и прочувствовать. Его не заставляли ломать голову, напрягаться, не воспитывали, а, как сухую губку, пропитывали дистиллированной политической и общечеловеческой моралью, насыщали лакомствами европейской мысли. Его не познакомили со школьным трудом, миниатюрными горями и радостями, с тем трудом, который только, может быть, и дает школе воспитательное значение.

Преподавание Лагарпа было для Александра эстетическим наслаждением; но в записках одного из русских воспитателей великих князей – Протасова – мы встречаем не раз горькие жалобы на «праздность, медленность и лень» Александра, нелюбовь его к серьезным упражнениям, тому, что воспитатель называет «прочным умствованием». Когда великие князья начали подрастать настолько, чтобы понимать, а не чувствовать только идеи Лагарпа, они искренно привязались к идеалисту-республиканцу, с наслаждением слушали его уроки, с наслаждением – и только; то были художественные сеансы, а не умственная работа. Это большое несчастье, когда между учениками и учителем образуется отношение зрителей к артисту, когда урок наставника становится для питомцев развлечением, хотя и эстетическим.

Благодаря такому обильному приему политической и моральной идиллии, великий князь рано стал мечтать о сельском уединении, не мог без восторга пройти мимо полевого цветка или крестьянской избы, волновался при виде молодой бабы в нарядном платье. Он рано привык скользить по житейским явлениям тем легким взглядом, для которого жизнь есть приятное препровождение времени, а мир – обширный кабинет для эстетических опытов и упражнений. С летами это само собой бы исправилось, мечты сменились бы трезвыми наблюдениями,

чувства, охладев, превратились бы в убеждения, но случилось так, что этот необходимый и полезный процесс был преждевременно прерван. Зная по опыту, как добродетель, даже подмороженная философией, легко тает под палящими лучами страстей, императрица Екатерина поспешила застраховать от них сердце своего внука и женила его в 1793 г., когда ему еще не было 16 лет. Ничего нельзя сказать против брака, но все-таки прав фонвизинский Недоросль: чаще всего женитьба или замужество – конец учению, школьной подготовке к жизни с ее строгой наукой. Там пойдут другие чувства и интересы, завяжется другое миросозерцание, начнется другое, взрослое развитие, не похожее на прежнее, юношеское, и, если прежнее прервано преждевременно, это останется на всю жизнь невозвратимой потерей, неизгладимым, болезненным рубцом.



Фридрих-Цезарь Лагарп.
С гравированного портрета XIX в.

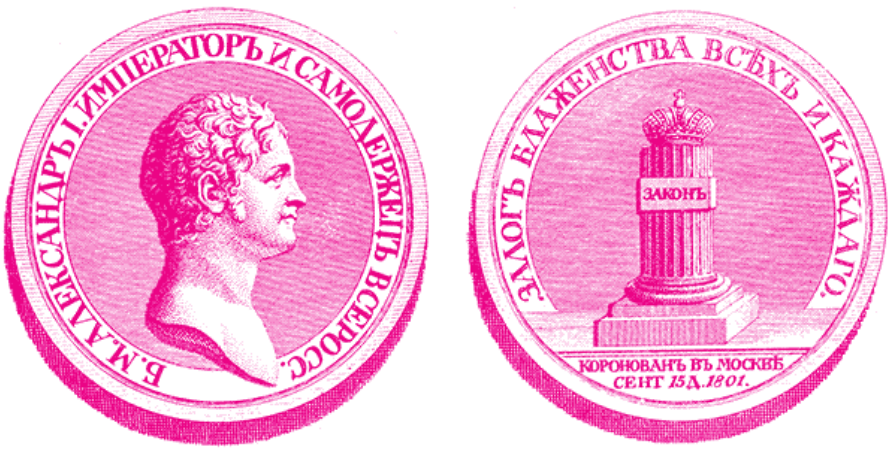
Греция и Рим, свобода, равенство, республика – какое же, спросите вы, в этом калейдоскопе героических образов и политических идеалов, какое место занимала в нем Россия с ее

невзрачным прошлым и настоящим? Как в голове великого князя русская действительность укладывалась с тем, что проповедовал чувствительный республиканец и не менее чувствительный русский действительный статский советник Муравьев? А очень просто: ее, эту действительность, признавали как факт низшего порядка, неразумное стихийное явление, признавали и игнорировали ее, т. е. ничего больше о ней знать не хотели, как досужие вольтерьянцы екатерининской эпохи. Лагарп в этом отношении поступал, как старые девы-гувернантки, воспитывавшие наших барышень в былое время: воспитательница нарисует воспитаннице очаровательный мир благовоспитанных людских отношений, основанных на правилах строжайшей скромности и неумолимого приличия, по которым даже высунуть кончик башмака из-под платья считалось чуть ли не смертным грехопадением, и вдруг обе девы тут же в доме налетят на какую-нибудь самую натуральную русскую сцену, которая покажет им, как мужчины и женщины бранятся и толкаются, шумят и целуются. Юная устремит на старую испуганный взгляд, а та конфузливо начнет ее успокаивать: «Это так… это ничего… это тебя не касается, забудь это, уйдем к себе».

С обильным запасом величавых античных образов и самоновейших политических идей вступил Александр в действительную жизнь. Она встретила его как-то двусмысленно или двулично: он должен был вращаться между бабушкой и отцом, а это были не только два лица, а даже два особых мира. То были два двора, совсем не похожие один на другой, между которыми расстояние нравственное было гораздо больше географического.

Каждую пятницу великий князь отправлялся в Гатчину, чтобы присутствовать на субботнем параде, на котором он изучал жесткие, бесцеремонные казарменные нравы вместе с казарменным непечатным лексиконом. Здесь великий князь командовал одним из батальонов, а вечером возвращался в Петербург и являлся в ту залу Зимнего дворца, в которой Екатерина проводила свои вечера, окруженная избранным обществом: это был Эрмитаж. Здесь говорили только о самых важных политических делах, вели самые остроумные беседы, шутили самые изящные шутки, смотрели лучшие французские пьесы и грешные дела и чувства облекали в самые опрятные прикрытия. Вращаясь между двумя столь различными дворами, Александр должен был жить на два ума, держать два парадных обличия, кроме третьего – будничного, домашнего, двойной прибор манер, чувств и мыслей. Как эта школа была непохожа на аудиторию Лагарпа!

Принужденный говорить, что нравилось другим, он привык скрывать, что думал сам. Скрытность из необходимости превратилась в потребность. С воцарением отца эти затруднения сменились постоянными ежедневными тревогами: великий князь назначен был генерал-губернатором Петербурга и командиром гвардейского корпуса. Ни в чем не виноватый, он рано поселил к себе недоверие со стороны отца, должен был вместе с другими дрожать перед вспыльчивым государем. Это время, хотя и короткое, положило на характер Александра оттенок грусти, который не сходил с него в самые солнечные минуты его жизни.



Медаль на коронацию Александра I. *Снимок с подлинной медали*

Характер. Так воспитывался Александр. Надобно признаться, он шел к престолу не особенно гладкой тропой. С пеленок над ним перепробовали немало воспитательных экспериментов. Его не вовремя оторвали от матери для опыта натурально-рационалистической педагогии. Из недоконченного Эмиля превратили в преждевременного политика и философа, едва начавшего развиваться студента, преобразили в незрелого семьянина, а тихое течение семейной жизни и недоконченные учебные занятия прерывали развлечениями легкого эрмитажного общества, а потом казарменными тревогами, гатчинской дисциплиной. Это все было или не вовремя, или не то, что было нужно.

Александру вечно приходилось вращаться между двумя противоположными течениями, из коих ни одно не было ему попутным, стоять между двумя противоречиями, подвергаясь опасности стать третьим, попасть в разлад с самим собой. В детстве – между бабушкой и родителями, в ранней молодости – между отцом и матерью, в учебной комнате – между атеистом

Лагарпом и ортодоксальным Самборским, несогласными наставниками, которые на нем, его сознании и совести разыгрывали вражду своих вкусов и убеждений. Наконец, на престоле – между конституционными идеалами и абсолютистскими привычками. Такие условия не могли выработать открытого характера. Его обвиняли в двоедушии, притворстве («северный Тальма», «византийский грек»), в наклонности казаться, а не быть. [Это] неточно. Александр не имел нужды притворно казаться тем, чем хотел быть; он только не хотел показаться тем, чем он был на самом деле. Притворство – порок, скрытность – недостаток, вроде глухоты и т. п. Великому князю нужна была, прежде всего, привычка к деловому, терпеливому и настойчивому труду, больше всего – знакомство с той жизнью, которой он призван был со временем руководить. Ни тем, ни другим нельзя было запастись ни в Эмилевой детской, ни в Лагарповой аудитории, ни в бабушкином салоне, ни на отцовском вахтпараде. Великого князя не научили даже родному языку, как следует. Один современник говорит, что он до конца жизни не мог вести по-русски обстоятельного разговора о каком-нибудь сложном деле. Даже все было сделано, чтобы затруднить великому князю знакомство с действительностью, которой он должен был управлять. Из воспитания своего великий князь вынес скрытность, внушавшую недоверие к нему, наклонность казаться и не быть [самим собой], скрытое презрение к людям, круг политических идей и чувств, которые должны были наделать ему чрезвычайно много хлопот.

Еще в царствование Екатерины он признавался князю Чарторыйскому, что принимает сердечное участие во Французской революции. Он ненавидит деспотизм во всяком его проявлении, любит свободу, которая должна принадлежать всякому, наследственность власти он признает [как] несправедливое и нелепое установление, верховная власть должна быть вверяема не по случайности рождения, а по голосу нации, которая сумеет выбрать наиболее достойного управлять ею. Что мог сделать великий князь с обильным запасом таких ненужных идей и чувств? Эти идеи и чувства, [а] всего более – воспитание мешали развитию в нем чутья действительности, практического глазомера. Эти чутье и глазомер приобретаются путем упорного труда и продолжительной возни в той грязи, из которой состоит жизнь; а великий князь не приучен был ни упорно трудиться, ни самостоятельно работать, ни возиться в этой грязи. Он знал изящную грязь бабушкина салона, как и неопрятную грязь отцовой казармы, но его не познакомили с той здоровой житейской грязью, пачкаться в которой сам Господь

благословил человека, сказав ему: «В поте лица твоего снеси хлеб твой».

Таким образом, Александр вступил на престол с запасом возвышенных и доброжелательных стремлений, которые должны были водворять свободу и благоденствие в управляемом народе, но не давал отчета, как это сделать. Эта свобода и благоденствие, так ему казалось, должны были водвориться сразу, сами собой, без труда и препятствий, каким-то волшебным «вдруг». Разумеется, при первом же опыте встретились препятствия. Не привыкнув одолевать затруднений, великий князь начинал досадовать на людей и жизнь, приходил в уныние. Непривычка к труду и борьбе развила в нем наклонность преждевременно опускать руки, слишком скоро утомляться; едва начав дело, великий князь уже тяготился им; уставал раньше, чем принимался за работу.

Николай Николаевич Новосильцев

В 1796 г., имея 18 лет от роду, он уже чувствовал себя усталым и признавался, что его мечта – со временем, отрекшись от престола, поселиться с женой на берегу Рейна и вести жизнь

частного человека в обществе друзей и в изучении природы. Затруднения, встреченные дома при осуществлении задуманной программы, постепенно поселили в нем холодность к внутренней деятельности. Тогда все идеалы императора постепенно уходили из России, с Невы на Вислу, сосредоточивались на Польше и даже переходили за границу, в Западную Европу. Известно, что во вторую половину царствования император очень мало занимался внутренними делами России, все его внимание постепенно сосредоточилось на устройстве политического порядка в Польше, поддержании устройством Священного союза политического порядка в Западной Европе. Таким образом, прежняя русская национально-политическая идиллия сменилась идиллией всемирно-исторической – Священным союзом, которым думали устроить политический порядок в Западной Европе, на правилах Евангелия, т. е. на принципах частной личной морали.

После царя Алексея Михайловича император Александр [производил] наиболее приятное впечатление, вызывал к себе сочувствие своими личными качествами; это был роскошный, но только тепличный цветок, не успевший или не умевший акклиматизироваться на русской почве. Он рос и цвел роскошно, пока стояла хорошая погода, а как подули северные бури, как наступило наше русское осеннее ненастье, он завял и опустился.

Такие недостатки, вынесенные из воспитания, всего сильнее отразились на первоначальной преобразовательной программе.

Преобразовательные опыты первых лет. Сделаю обзор главных явлений внутренней преобразовательной деятельности императора Александра. Этот император вступил на престол 12 марта 1801 г. Его вступление на престол возбудило в русском, преимущественно дворянском, обществе самый шумный восторг; предшествующее царствование для этого общества было строгим великим постом. Карамзин говорит, что слух о воцарении нового императора был принят как весть искупления. Продолжительное напряжение нервов от страха разрешалось обильными слезами умиления: люди на улицах и в домах плакали от радости; при встрече знакомые и незнакомые поздравляли друг друга и обнимались, точно в день Светлого воскресения. Но скоро новый, 24-летний император стал предметом восторженного внимания и обожания. Самая наружность, обращение, появление на улице его, как и обстановка, производили обаятельное действие.

В первый раз увидали государя гуляющим в столице пешком, без всякой свиты и без всяких украшений, даже без часов, и приветливо отвечающим на поклоны встречных. Новое правительство поспешило прямо заявить направление, в каком оно намерено было действовать. В манифесте 12 марта 1801 г.

император принимал на себя обязательство управлять народом «по законам и по сердцу своей премудрой бабки». В указах, как и в частных беседах, император выражал основное правило, которым он будет руководиться: на место личного произвола деятельно водворять строгую законность. Император не раз указывал на главный недостаток, которым страдал русский государственный порядок; этот недостаток он называл «произволом нашего правления». Для устранения этого недостатка он указывал на необходимость коренных, т. е. основных, законов, которых почти еще не было в России. В таком направлении велись преобразовательные опыты первых лет.

С первых дней нового царствования императора окружили люди, которых он призвал помогать ему в преобразовательных работах. То были люди, воспитанные в самых передовых идеях XVIII в. и хорошо знакомые с государственными порядками Запада; они принадлежали к поколению, непосредственно следовавшему за дельцами екатерининского времени. Во второй половине этого царствования они принадлежали к великосветской молодежи, которая вместе с манерами французских салонов усвояла незаметно и политические идеи французской литературы Просвещения. То были граф Кочубей, племянник екатерининского дельца Безбородка Новосильцев, граф Строганов, родственник Новосильцева, и поляк князь Адам Чарторыйский. Эти люди составили интимный кружок, неофициальный комитет, который собирался после обеденного кофе в укромной комнате императора, и вместе с ним вырабатывали план преобразований. Благодаря тому что один из членов этой комиссии – граф П. А. Строганов – вел для себя записи его негласных заседаний на французском языке (24 июня 1801 г. – 9 ноября 1803 г.), мы можем следить за деятельностью этого комитета. Он сразу затронул самые разнообразные государственные вопросы. Задачей этого комитета было помогать императору «в систематической работе над реформою бесформенного здания управления империей» – так выражена была эта задача в одной записи. Положено было предварительно изучить настоящее положение империи, потом преобразовать отдельные части администрации и эти отдельные реформы завершить «уложением (так я перевожу слово constitution), установленным на основании истинного народного духа». Начали с центрального управления. Екатерина, как мы видели, оставила незавершенным здание центрального управления. Создав сложный и стройный порядок местной администрации и суда, она не дала правильных центральных учреждений с точно распределенными ведомствами, ясным обозначением «твердых

пределов», что было обещано в июльском манифесте 1762 г.

Князь Адам Чарторыйский.
С гравированного портрета начала XIX в.

Внук продолжал работу бабки, но выведенная им вершина правительственного здания по духу и строю своему вышла непохожей на корпус, не соответствовала своему фундаменту. Собиравшийся по личному усмотрению императрицы Екатерины Государственный совет 30 марта 1801 г. заменен был постоянным учреждением, получившим название «Непременного совета», для рассмотрения и обсуждения государственных дел и постановлений. Он был организован на скорую руку, состоял из

12 высших сановников без разделения на департаменты. Затем преобразованы были петровские коллегии, уже при Екатерине утратившие свой первоначальный характер. Манифестом 8 сентября 1802 г. они преобразованы были в восемь министерств. То были министерства иностранных дел, военно-сухопутных сил, морских сил, внутренних дел, финансов, юстиции, коммерции и народного просвещения с Комитетом министров для обсуждения дел, требующих общих соображений. Это последнее является впервые в системе наших центральных учреждений. Прежние коллегии подчинены министерствам или вошли в новые министерства, как их департаменты. Главным отличием новых органов центрального управления была их единоличная власть: каждое ведомство управлялось министром вместо прежнего коллегиального присутствия; каждый министр был подотчетен Сенату.

Такова была первая попытка перестройки центрального управления, предпринятая новым императором. Одновременно с реформами административными, затронуты были и общественные отношения. Здесь также резко заявлено было направление, в каком предполагалось действовать; направление это состояло в уравнении всех общественных состояний перед законом. В числе первых мер нового императора было восстановление жалованных сословных грамот, отмененных, как мы видели, прежним императором в их главных частях. Но в неофициальном комитете император признавался, что он против воли восстановил жалованную грамоту дворянству, потому что исключительность дарованных ею сословных прав была ему всегда противна. Затронут был робко щекотливый вопрос о крепостном праве.

Рядом мер с начала царствования заявлено было намерение правительства постепенно подготовить умы к упразднению этого права. Так, в правительственных периодических изданиях запрещено было печатать публикации о продаже крестьян без земли. С 1801 г. запрещена была раздача населенных имений в частную собственность. 12 декабря 1801 г., в день рождения императора, обнародован был еще более важный указ, предоставлявший лицам всех свободных состояний приобретать вне городов в собственность недвижимые имущества без крестьян; этим правом могли воспользоваться купцы, мещане, казенные крестьяне. Закон 12 декабря разрушил вековую землевладельческую монополию дворянства, которое одно дотоле пользовалось правом приобретать землю в личную собственность. Ободренные этим первым начинанием, некоторые свободомыслящие помещики возымели желание, вступая в

соглашение со своими крепостными крестьянами, освобождать их на волю целыми селениями. Доселе не существовало закона о таком массовом освобождении крестьян. Так, воронежский помещик Петрово-Соловово заключил сделку с 5001 душой своих крестьян, предоставив им в собственность земли, которые они обрабатывали, с условием выплатить ему в 19 лет 1 1/2 млн руб.

Сын екатерининского фельдмаршала граф Сергей Румянцев задумал отпустить на волю 199 душ своих крестьян с землей по добровольному соглашению с ними, но при этом он представил правительству проект общего закона о сделках помещиков с крепостными крестьянами. Правительство приняло этот проект, и 20 февраля 1803 г. издан был указ о свободных хлебопашцах: помещики могли вступать в соглашение со своими крестьянами, освобождая их непременно с землей целыми селениями или отдельными семьями. Эти освобожденные крестьяне, не записываясь в другие состояния, образовали особый класс «свободных хлебопашцев». Закон 20 февраля был первым решительным выражением правительственного намерения отменить крепостное право.

Таковы были первые опыты перестройки управления и общественных отношений, они составляют первую эпоху преобразовательной деятельности Александра. Опыты эти недостаточно обдумывались и страдали важными недостатками: недостаточно соглашались одни с другими, велись чрезвычайно торопливо; так, новые центральные ведомства, министерства явились единоличными учреждениями, а руководимые ими губернские учреждения сохранили прежний коллегиальный строй. Затем последовали известные внешние события, на некоторое время отвлекшие императора от внутренних работ. То было участие в двух коалициях против Франции – 1805 г. в союзе с Австрией; 1806–1807 гг. – в союзе с Пруссией. Во время этих войн расстроился интимный кружок первых советников императора. Походы и неудачи охладили первоначальное либерально-идиллическое настроение Александра; наблюдения, им собранные, поселили в нем недовольство окружающим. Члены неофициального комитета один за другим удалились от императора. Их опустелые места занял один человек, который стал единственным доверенным сотрудником императора. То был Михаил Михайлович Сперанский.

В 1812 г. начался новый перерыв во внутренней деятельности этого царствования. Внешние события надолго отвлекли внимание правительства и общества от внутренних дел. Когда бури военных лет пронеслись, правительство не возвратилось к деятельности в прежнем направлении. События этих лет

неодинаково подействовали на общество и на правительство: в первом они вызвали необычайное политическое и нравственное возбуждение; общество непривычно оживилось, приподнятое великими событиями, в которых ему пришлось принять такое деятельное участие. Это возбуждение долго не могло улечься и по возвращении русской армии из-за границы. Силу этого возбуждения нам трудно теперь себе представить; оно сообщилось и правительственным сферам, проникло в официальные правительственные издания. Печатались статьи о политической свободе, свободе печати; попечители учебных округов на торжественных заседаниях управляемых ими заведений произносили речи о политической свободе как о последнем и прекраснейшем даре Божьем. Частные журналы шли еще дальше: они прямо печатали статьи под заглавием «О конституции», в которых старались доказать «доброту представительного учреждения». Возбуждение сообщилось и, может быть, даже поддерживалось военными людьми, возвратившимися из заграничных походов. В офицерских кругах образовывались общества, в которых читались речи о недостаточности специального военно-технического образования для военных людей, необходимости для них чтения, ученых упражнений общего образования.

Совсем иначе подействовали внешние события на правительство, прежде всего на самого императора: оно вышло из тревог военных лет с чувством усталости, с неохотой продолжать преобразовательные начинания первых лет, даже с некоторым разочарованием в прежних своих политических идеалах. Различные причины вызвали эту перемену в настроении правительства; из них одной можно признать оказавшиеся результаты исполненных преобразований. Эти результаты не оправдали ожиданий, не внесли заметного улучшения в государственную жизнь, не устранили старых многочисленных злоупотреблений. Правительство пришло в уныние от этих неудач; притом и внешняя политика начала оказывать давление на ход внутренних дел. Внешние события поставили Россию в борьбу с последствиями Французской революции; русское правительство как-то самым ходом дел стало консерватором в международных отношениях, охранителем законности, следовательно, поборником восстановления старины. Такое направление из международных отношений невольно переносилось на внутреннюю политику. Нельзя же было, в самом деле, одной рукой поддерживать охранительные начала на Западе, а другой продолжать преобразовательные предприятия дома.

Таким образом, правительство во второй половине царствования стало постепенно отказываться от программы, которая так громко возвещена была вначале и к осуществлению которой были сделаны такие сильные приступы. Вследствие этого неодинакового действия одних и тех же событий на правительство и на общество, они, правительство и общество, разошлись между собою, как никогда не расходились прежде. Благодаря такому разладу, в обществе стало развиваться уныние, которое, питаясь все новыми, подбавлявшимися условиями, постепенно превратилось в глубокое недовольство. По привычкам, усвоенным еще в масонстве XVIII в., это недовольство, укоренившееся в высших, образованных кругах русского общества, повело к образованию тайных обществ, а тайные общества привели к катастрофе 14 декабря 1825 г.

Вторая половина царствования. Изменения в политике. Внешние дела 1812–1815 гг. оказали могущественное влияние на ход дел внутренних; можно даже сказать, что редко когда внешняя политика так изменяла направление внутренней жизни в России; может быть, это произошло оттого, что Россия редко переживала такие события, какие испытала в те годы. События эти очень неодинаково действовали на русское общество и на русское правительство. В первом они вызвали необыкновенное политическое и нравственное возбуждение. Русские люди, только что пережившие такие опасности, вышли из них с более живым ощущением своих сил. Возбуждение это сказывалось и в литературе, даже официальной. В периодических официальных изданиях, продолжая прежний тон, с начала царствования установившийся в печати, встречались статьи о таких вопросах, как свобода печати и т. п. Еще живее сказывалось это возбуждение в неофициальной периодической литературе; здесь прямо печатались статьи под заглавием «О конституции», в которых доказывалась «доброта представительных учреждений». Попечители учебных округов на торжественных актах произносили речи о политической свободе, называя ее «последним и возвышенным даром Бога». Итак, высшие руководители общества, т. е. военно-гражданские, расположены были к самым широким ожиданиям, надеялись теперь, что правительство не только предложит, но и расширит свою прежнюю программу.

Между тем правительство относилось уже не по-прежнему к преобразованиям. Оно не расположено было проводить и прежней программы. На правительстве отразилось то настроение, с которым вышел из пережитых опасностей его глава. Император Александр очень утомился в эти годы; быстрая смена побед и

поражений нарушила в нем прежнее нравственное равновесие; недаром он в 1814 г., возвращаясь из-за границы, привез домой седые волосы. Пережитые события поселили в правительстве чувство утомления, охлаждения к энергичной внутренней деятельности, даже некоторое разочарование в прежних политических идеалах. К тому же ход важнейших событий поставил его в упорную борьбу с последствиями Французской революции, волей или неволей сделал его представителем консерватизма в международных отношениях, восстановителем и охранителем законного порядка, основанного на предании старины. Это охранительное направление из внешней политики необходимо переносилось и на внутреннюю; нельзя же было, в самом деле, одной рукой за границей поддерживать консервативные начала, а дома продолжать преобразовательную, революционную, как говорили тогда, деятельность. Как бы отвечая на изменившееся положение дел, правительство слабо продолжало деятельность прежнего направления; да и эта ослабленная деятельность сосредоточивалась не на коренных областях России, а на окраинах, находящихся ближе к Западной Европе; очевидно, путь тяготения внутренней политики также переместился ближе к западной границе.

Конституция Царства Польского. Слабый отблеск прежнего направления сказывался во вторую половину царствования Александра в тех мерах правительства, которые касались Царства Польского и Остзейских провинций.

По определениям Венского конгресса, Россия, как бы в награду за все то, что она сделала для освобождения европейских народов от «французского ига», получила герцогство Варшавское. Это Варшавское герцогство, как известно, образовано было Наполеоном после войны с Пруссией 1806–1807 гг. из тех провинций бывшей Польской республики, которые по трем разделам отошли к Пруссии.

Образованное Наполеоном герцогство Варшавское теперь переименовано было в Царство Польское с присоединением к нему некоторых частей Польского государства, по разделу доставшихся России, именно Литвы. Царство Польское отдано было России без всяких условий, но сам Александр настоял на Венском конгрессе, чтобы в международный акт конгресса внесено было постановление, обязывавшее правительства тех государств, в пределах которых находились бывшие польские провинции, дать этим провинциям конституционное устройство. Это обязательство Александр принял и на себя; по этому обязательству польские области, находившиеся в пределах России, должны были получить представительство и такие

учреждения, которые русский император найдет полезным и приличным дать им. В силу этого была выработана конституция Царства Польского, утвержденная императором в 1815 г. В силу этой конституции в 1818 г. открыт был первый польский сейм. Польша управлялась под руководством наместника, которым стал брат Александра Константин; законодательная власть в Польше принадлежала сейму, распадавшемуся на две палаты – сенат и палату депутатов. Сенат состоял из представителей церковной иерархии и государственной администрации, т. е. из представителей шляхетства, городской и свободной сельской общины. Первый сейм был открыт речью императора, в которой было объявлено, что представительные учреждения были всегда предметом заботливых помыслов государя и что, примененные с добрым намерением и чистосердечностью, они могут послужить основанием истинного народного благоденствия. Так случилось, что завоеванная страна получила учреждения, более свободные, чем какими управлялась страна-завоевательница. Варшавская речь 1818 г. болезненно отозвалась в сердцах русских патриотов. Ходили слухи, что и для империи вырабатывается новое государственное устройство; проект этот был поручен будто бы бывшему сотруднику императора Новосильцеву.

Р. Штейн. **Капитуляция Варшавы**

Освобождение остзейских крестьян. Продолжением деятельности в прежнем направлении могло казаться и освобождение остзейских крестьян. Еще в 1811 г. эстляндское дворянство предложило правительству освободить своих крестьян от крепостной зависимости; тогда была образована особая

комиссия для выработки положения о крестьянах, выходивших на волю. В 1814 г. возобновлена была деятельность этой комиссии, прерванная войною; следствием этой деятельности была выработка положения об освобождении остзейских крестьян. Положение это было утверждено в 1816 г. Вопрос об освобождении возбужден был также в Курляндии и Лифляндии; выработанные положения об освобождении этих крестьян утверждены в 1817 и 1819 гг. Все эти положения построены были на одинаковых началах. Остзейские крестьяне получили личную свободу, но эта свобода была стеснена запрещением переселяться в другие губернии и приписываться к городским обществам. Прежде, когда действовал в Остзейских губерниях еще старый шведский устав, крепостные остзейские крестьяне наследственно пользовались своими участками, которых у них не мог отнять землевладелец. Теперь этот порядок был изменен. Известная часть земли у каждого помещика, по положению, должна была обязательно находиться в постоянном пользовании крестьян. Но каждый отдельный участок помещик отдавал крестьянину на известный срок в аренду, по добровольному соглашению с ним, т. е. каждый помещик мог согнать своего крестьянина с участка только с обязательством заменить согнанного другим. Помещичья земля была разделена на две половины: одной он мог пользоваться сам, другую отдавал обязательно в аренду крестьянам. Но выбор и условия соглашения представлялись договаривавшимся сторонам, из которых перевес, разумеется, принадлежал сильному. Значит, остзейские крестьяне освобождены были от личной зависимости, но без земли и в поземельных отношениях предоставлены были усмотрению произвола землевладельцев. Для разбора тяжб между крестьянами и землевладельцами устроены были особые суды, но председателями в них были землевладельцы: точно так же вотчинная полиция осталась в руках землевладельцев. Смысл остзейской эмансипации был таков: землевладелец удерживал над крестьянином всю прежнюю власть, но по закону освобождался от всех обязанностей по отношению к крестьянам; это был один из художественных фактов остзейского дворянства. Положение остзейских крестьян тотчас ухудшилось.

Крестьянский вопрос. Понятно, что остзейская эмансипация не могла быть желательным образцом для разрешения крепостного вопроса в коренных областях России. Благомыслящие и знакомые с положением дела люди думали, что лучше не возбуждать вопроса об освобождении крестьян, чем разрешать его по-остзейски. Однако вопрос обсуждался в правительственных кругах. Правительству [был] представлен

целый ряд проектов, большая часть из них построена на мысли о безземельном освобождении крестьян, многие понимали необходимость освобождения с землей.

Любопытно, как распределились государственные дельцы на стороны, на партии в этом вопросе. Из всех проектов особенный интерес представляют два: один из них принадлежит либеральному и талантливому лицу – адмиралу Мордвинову, другой – нелиберальному и неталантливому дельцу графу Аракчееву, имя которого тогда уже стало одним из ненавистных имен в России. Как бы вы думали, предполагали освобождение крестьян эти дельцы? Трудно наперед угадать придуманные ими способы решения, по качеству своему они обратно пропорциональны умам и талантам обоих дельцов. Адмирал Мордвинов находил справедливым и возможным выкуп личной свободы. Об освобождении с земельным наделом не было и речи. Земля должна была вся остаться во владении помещиков; но крестьяне получали право выкупить личную свободу, для этого автор проекта составил таксу – сумма выкупа соответствует возрасту выкупающегося, т. е. его рабочей способности. Например, дети от 9—10 лет платят по 100 руб.; чем старше возраст, тем выше плата; работник 30–40 лет – 2 тыс. (на тогдашнем рынке это равняется нашим 6–7 тыс. руб.); работник 40–50 лет платит меньше и т. п. по мере рабочей силы. Понятно, какие крестьяне по этому проекту вышли бы на волю, – это сельские кулаки, которые получили бы возможность накопить необходимый для выкупа капитал. Словом, трудно было придумать проект, менее практический и более несправедливый, чем тот, какой развивается в записке Мордвинова.

Неизвестно, кто составил проект для Аракчеева, которому это было поручено императором, едва ли подписавшийся под ним был его автором. Этот проект отличался некоторыми достоинствами: Аракчеев предполагал освобождение крестьян провести под руководством правительства – оно покупает постепенно крестьян с землею у помещиков по соглашению с ними по ценам данной местности. Для этого оно назначает капитал ежегодно; капитал этот образуется или посредством отчисления известной суммы из питейного дохода, или посредством выпуска соответственного количества 5-процентных облигаций государственного казначейства. Крестьяне выпускаются с землею в размере двух десятин на душу. В проекте Аракчеева изложены были выгоды такой операции для землевладельцев; о выгоде операции для крестьян автор благоразумно умалчивал. Землевладельцы, очень пострадавшие в войну, посредством такого освобождения крестьян освобождались

от долгов, которые обременяли их имения, получали оборотный капитал, которого у них не было, и не лишались рабочих рук для той цели, какая оставалась за ними, потому что крестьяне, получив столь малый надел, принуждены были брать в аренду помещичьи земли. Много недостатков можно указать в этом проекте, может быть, в нем было мало доброжелательства к крестьянам, но проект нельзя назвать непрактичным, в нем, по крайней мере, нет бессмыслицы, осуществление этого проекта не сопровождалось бы разгромом государства, к которому привел бы непременно проект Мордвинова. Все это показывает только, как мало государственные умы были подготовлены к разрешению этого вопроса, о котором, кажется, уже давно пора было подумать.

Самый лучший проект принадлежал дельцу без цвета, которого нельзя было назвать ни либералом, ни консерватором; этот проект был составлен по воле государя и в основе своей противоречил взглядам последнего; автором его был Канкрин, ставший потом министром финансов. Проект был построен на медленном выкупе крестьянской земли у помещиков в достаточном размере. Вся операция рассчитана была на 60 лет, так что в 1880 г. окончательно разверстывались отношения между крестьянами и помещиками без долгов, т. е. без налога на крестьян для уплаты процентов по казенной выкупной сумме, заплаченной за крестьян землевладельцам. Некоторые государственные люди даже пугались самой мысли об освобождении крестьян, которая представлялась им страшным переворотом. К таким предусмотрительным людям принадлежал известный в свое время государственный человек, считавшийся в числе первых политических голов, граф Ростопчин. Своим обычным лаконическим языком он наглядно описывал опасности, которые произойдут по освобождении крестьян. Россия испытает все бедствия, какие перенесла Франция во время революции, и, может быть, худшие, какие перенесла Россия при нашествии Батыя.

Реакция. Из всех этих проектов, толков, возбужденных в правительстве, не вышло ничего практического; вопрос был оставлен, как оставлены были и другие преобразовательные предположения. В этом имели некоторое участие и внешние события, которые преимущественно поглощали внимание государя. Основатель политического Священного союза, т. е. религиозно-политического консерватизма в международной политике, с каждым годом все более убеждался, как шатки основания, на которых тогда держался европейский политический порядок. То там, то здесь прорывались вспышки, народы не

хотели мирно сидеть на местах, на которые их усадил Венский конгресс. В 1818 г. германские студенты производят беспорядки и празднуют в Вартбурге 300-летний юбилей Реформации. Они наделали много юношеских выходок, на что взглянули руководители германской политики чрезвычайно серьезно, т. е., говоря проще, трусливо; для германских университетов выработаны были новые правила, которые подчиняли надзору не только поведение молодежи, но и преподавателей. В 20-х годах произошла революция в Испании, которая отозвалась движениями на Апеннинском полуострове, в Неаполе, Клермонте. В 1827 г. восстали греки против турок. Здание Венского конгресса разваливалось с разных сторон.

Граф Алексей Андреевич Аракчеев.
С *гравированного портрета Уткина*

По мере того как усиливались на Западе волнения, возникали опасения подобных явлений в России. С этого времени получает серьезное значение политика народного просвещения, полиция умов становится серьезным вопросом; она выразилась в целом ряде тревожных мер, принятых для того, чтобы дать надлежащее направление литературе и народному образованию, т. е. школам. Как известно, при Павле учреждена была цензура

преимущественно для книг, приходящих из-за границы, но она скоро прекратила свои действия, потому что запрещен был ввоз книг, кроме написанных на тунгусском языке. В царствование Александра издан был цензурный устав 1804 г., очень обдуманный и вообще доброжелательный к успехам российской словесности; только этот устав оказался неудовлетворительным, потому что плохо сдерживал разгул мысли. Создана была новая организация надзора за печатью. Но этот надзор по свойству своему требовал опытных и размышляющих орудий; смотреть за порядком бумаг гораздо труднее, чем наблюдать за порядком на улице, а орудиями этого надзора были сделаны типы не лучше тех, которые стояли на постах на улицах. Вместо должного направления в литературе вышел ряд смешных или печальных анекдотов, которые беспокоили или веселили самых консервативных людей. Шишков, министр просвещения, в конце царствования Александра, представитель консерватизма, сам рассказывает анекдот об одном цензоре, которого смутили такие стихи в подлежавшей его суду книге; печальный поэт жаловался на свою судьбу, говоря: «Что в мире мне, где все на мне – и смерть и рок царит…» Цензор нашел, что доброму христианину неприлично жаловаться на рок, зачеркнул слово «рок» и отдал в печать; вышло: «Что в мире мне, где все на мне – и смерть царит». Шишков прибавляет, что цензура должна быть не только строга, но и умна. Один писатель напечатал книгу, самое название которой, по-видимому, освобождало цензора от обязанности читать ее, – это «Беседа о бессмертии души при гробе младенца», книга добрая, назидательная. Министр просвещения, князь Голицын, нашел несогласие с христианским учением и поднял целую бурю: автор был выслан за границу, книга была отобрана из магазинов, а цензор – инспектор Духовной академии, архимандрит Иннокентий, получил выговор, а потом отставку от должности. При Шишкове дело это возобновилось. [Было] поручено нескольким духовным лицам вновь пересмотреть книгу «О бессмертии души», и священники, рассматривавшие ее, нашли, что она не только согласна с христианским учением, но даже обнаруживает горячую ревность о вере и Церкви. Книга была напечатана вновь на казенный счет и пущена в обращение.

Новое направление еще тяжелее отозвалось на высшей школе, которая всегда платилась за грехи общества. В царствование Александра возникли три новых университета – Казанский, Харьковский и Петербургский, первоначально образованных в виде институтов для приготовления учителей в средние учебные заведения. Средних учебных заведений в царствование Александра было много. При Екатерине еще был составлен

проект средних и низших школ, оставленный неосуществленным; в начале царствования Александра этот проект был приведен в исполнение с изменениями, возник ряд гимназий и приходских школ. Для приготовления учителей в новые учебные заведения и основан был в Петербурге главный Педагогический институт, который в 1819 г. был преобразован в университет. Впервые теперь было обращено внимание на университет, но внимание это было направлено не на то, чему учили, а на то, как мыслили и чувствовали. Для того чтобы дать должное направление школе, при Министерстве народного просвещения образовано было Главное управление училищ, а при Главном управлении училищ – Учебный комитет, который должен был специально следить за учебными руководствами, выходящими в России.

Манифестом 24 октября 1817 г. Министерство народного просвещения даже соединено было с ведомством духовных дел, т. е. с ведомством Святейшего Синода; министром народного просвещения и духовных дел назначен был князь Голицын. Это соединение двух ведомств объяснялось в манифесте такою целью, чтобы «истинно христианское благочестие всегда служило основанием просвещению умов». Для Учебного комитета была составлена инструкция, в которой указывалось, какое направление должно было получить народное образование. Последнее должно быть направлено к тому, чтобы «посредством лучших учебных книг водворить постоянное и спасительное согласие между верою, ведением и разумом», т. е. между религиозным сознанием, между образованием умственным и между порядком политическим. Эти добрые начала, которые составляют идеал всякого образования, практически были разработаны так, что «вера, ведение и разум» почувствовали себя еще большими врагами, чем прежде.

В числе бойких сотрудников Сперанского во время его деятельности в Государственном совете был некий Магницкий, кончивший курс не без успеха в Московском университете, а потом служивший в гвардейском Преображенском полку. Магницкий этот пал вместе со Сперанским в 1812 г., но потом раскаялся в своих увлечениях и, заняв должность симбирского губернатора, показал большую ревность в противоположном, нелиберальном направлении. Эта ревность не по разуму послужила даже причиной потери губернаторского места. Почуяв перемену ветра, Магницкий поступил на службу по Министерству просвещения и стал членом Главного управления училищ. До министра дошли слухи о том, что преподавание в Казанском университете идет по ложной дороге; назначена была ревизия университета и ревизором послан Магницкий. Он налетел на

университет, пошарил кое-что, пробыл всего шесть дней в Казани и, воротившись, доложил, что университет, по всей справедливости и строгости законов, подлежит уничтожению, притом в виде публичного его разрушения. Император положил на доклад резолюцию: «Зачем разрушать, можно исправить». Исправлять университет был послан тот же Магницкий, назначенный попечителем Казанского округа, для чего при его участии составлена была инструкция ректору и директору Казанского университета (директор соответствовал нынешнему инспектору). Инструкция утверждена была в 1820 г., она направлена была к тому, чтобы поставить преподавание и студентов на прямую дорогу. Главный порок, замеченный Магницким в преподавании, – это «дух вольнодумства и лжемудрия», грозящий разрушением общественному порядку. Магницкий с инструкцией в руках возвратился в Казань, чтобы поставить преподавание, как он говорил, на началах Священного союза.

Инструкция для начальства Казанского университета, данная Магницкому, определяла подробно направление преподавания каждого предмета и быт студентов; она получает значение даже факта в истории нашего просвещения, потому что применена была и к другим университетам. Магницкий, рассматривая списки почетных членов Казанского университета, с ужасом встретил имя аббата Грегуара, который, как известно, был депутатом Конвента и подавал голос за смерть Людовика XVI. По недосмотру университет забыл зачеркнуть это завалявшееся имя. Магницкий и выставил его ребром как доказательство маратизма и робеспьерства, овладевшего Казанским университетом. Инструкция указывала, как и по каким руководствам должны быть преподаваемы предметы университетского курса, например, философия должна руководиться более всего посланиями апостола Павла, начала политических наук должны быть извлекаемы из творений Моисея, Давида и Соломона и, только в случае какого недостатка, – из сочинений Аристотеля и Платона. Преподаватель всеобщей истории должен был меньше говорить о первоначальном обществе и должен был показать, как от одной пары все человечество развилось. Преподаватель русской истории обязан был показать, что при Владимире Мономахе Русское государство упреждало все прочие государства на пути просвещения, и он должен был доказать это законодательством Мономаха о народном просвещении, хотя инструкция не указывала, из каких источников преподаватель должен был извлечь известие об этом законодательстве. В таком духе направлено было преподавание всех предметов.

Определен был точный порядок жизни студентов, значительная часть которых, по тогдашнему устройству высших заведений, жила в самом университете. Так как главная обязанность христианина состоит в повиновении властям, то начальство должно было по инструкции являть пример наистрожайшего подчинения. Директор, наблюдавший за студентами, подбирает штат богобоязненных помощников, наводит у полиции справки о домашней жизни студентов, живших не в университете. Казеннокоштные студенты устроены были в иноческую общину, в которой должны были господствовать столь строгие нравы, сравнительно с которыми строго устроенные женские институты казались распущенными. Студенты распределялись не по курсам, а по степеням нравственного содержания; каждый разряд жил в особом этаже университетского здания, обедали отдельно, чтобы порочные не могли заражать. Если студент провинится, то он должен вынести известный курс нравственного исправления. Он назывался не виноватым, а грешным; его сажали в особую комнату, называемую «комнатой уединения» (в позднейшем переводе эта комната называется карцером). Окна и дверь этой комнаты были заставлены железной решеткой; над входом виднелась надпись из Священного Писания; в самой комнате на одной стене висело распятие, на другой – картина Страшного суда, на которой наказываемый должен был отметить будущее место свое среди грешников. Студента вводили в комнату в лаптях, в крестьянском армяке; он должен был находиться в комнате, пока исправится. В продолжение его заключения товарищи каждое утро перед лекциями должны были молиться за него; заключенного каждый день посещал священник, который по окончании курса испытания исповедовал и причащал его.

Течение университетской жизни получило духовную, монашескую окраску; этой окраской отличались и некоторые лекции. На торжественных актах пелись духовные гимны, читались речи все о нравственном совершенстве, согласовании образования с истинами веры; эти почтенные слова помыкались на каждом шагу. Некоторые преподаватели, входя в дух инструкций, согласно с нею перестраивали свои курсы, даже те курсы, которые по содержанию своему имели мало отношения к вопросам веры и нравственности. Один преподаватель даже задумал построить чистую математику на принципах нравственности, и в этом направлении читал однажды речь, доказывая, что математика вовсе не содействует развитию вольнодумства, подтверждая высочайшие истины веры. Например, как без единицы не может быть числа, так и мир не

может быть без единого Творца. Гипотенуза в прямоугольном треугольнике есть не что иное, как символ соединения земного с Божественным, горнего с дольним. Доносы сами собою входят в воспитательную программу как дополнительное средство надзора. Профанация святыни сопровождалась развитием лицемерия и легкомысленнейшего отношения к предметам, которыми вообще дорожат все.

Подобное направление проводилось и в других университетах. В Петербургском университете, на первых шагах его деятельности по преобразованию его в университет, это направление вызвало даже соблазнительный процесс четырех профессоров, который наделал много шуму в свое время. Процесс состоял в том, что четыре профессора: философии – Галич, всеобщей истории – Раупах и статистики – Герман и Арсеньев – заподозрены были в неблагонамеренном направлении и подверглись суду, столь несправедливому и беспорядочному, что высшее правительство отвергло его решение, а в следующее царствование прекращен был и самый процесс. Впрочем, все четыре профессора были уволены, а это были самые благонамеренные и консервативные преподаватели, отличавшиеся от других только тем, что больше знали. Их благонамеренность даже была оценена преемником Александра Николаем, который одного из преподавателей – Арсеньева – назначил преподавателем своего старшего сына.

Университет в Санкт-Петербурге

Так хотели поставить русское печатное слово и русскую мысль. То же направление проводилось и в других сферах

государственной жизни. Знаменем этого нового направления был известный Аракчеев. С 1814 г. он становится близко к государю, облекается его полным доверием и делается чем-то вроде первого министра. С 1823 г. он является единственным докладчиком при государе по всем делам, даже по ведомству Святейшего Синода; начальники отдельных частей управления являлись с докладом к Аракчееву, который уже сообщения их представлял государю. Чтобы не входить в подробности, достаточно обозначить деятельность Аракчеева словами одного современника, который сказал, что Аракчеев хотел из России построить казарму да еще поставить фельдфебеля к дверям. Следствием всего этого было тягостное настроение, которое все более овладевало обществом. Настроение это живо нам передают люди того времени без различия образа мыслей. Может быть, такое настроение не было новостью в истории нашего общества, но никогда оно не сопровождалось такими последствиями: оно повело к печальной катастрофе 14 декабря 1825 г.

Прогулка императора Александра по окрестностям Петербурга.

С гравюры Афанасьева

Неудача преобразований. Нам известны начинания Александра I; все они были безуспешны. Лучшие из них те, которые остались бесплодными, другие имели худший результат, т. е. ухудшили положение дел. В самом деле, мечты о

конституционном порядке осуществлены были на западном крае России, в Царстве Польском. Действие этой конституции причинило неисчислимый вред истории. Вред этот имел случай почувствовать сам виновник польской конституции. За пожалованную конституцию поляки вскоре отплатили упорной оппозицией на сейме, которая заставила отменить публичность заседаний и установить в Польше, помимо конституции, управление в чисто русском духе. Одним из лучших законов первых лет был указ 1803 г. 20 февраля «О вольных хлебопашцах»; на этот закон возлагали большие надежды, думали, что он подготовит постепенно и мирно освобождение крестьян. Лет за 20 со времени издания закона вышло на волю по добровольному соглашению с помещиками, 30 тыс. душ крепостных крестьян, т. е. около 0,3 % всего крепостного населения империи (по VI ревизии в 1818 г., его считалось до 10 млн ревизских душ). К такому микроскопическому результату привел закон, наделавший столько движения. Даже и административные реформы, новые центральные учреждения вовсе не внесли ожидаемого обновления в русскую жизнь, зато усилили очень заметно нескладицу в русском административном механизме. До тех пор в центре, как и в провинции, действовали, по крайней мере, по наружности, коллегиальные учреждения. Государственный совет, Сенат и Комитет министров были построены на том же коллегиальном начале, какое проведено было в губернских учреждениях Екатерины. А учреждения, служившие посредниками между теми и другими, министерства и главные управления, были основаны на начале единоличной власти и единоличной ответственности своих управителей; верх и низ управления построены были на ином начале, не на том, на каком держалась средина управления (это система передаточных учреждений). Вообще, если бы сторонний наблюдатель, который имел случай ознакомиться с русским государственным порядком и с русской общественной жизнью в конце царствования Екатерины, потом воротился бы в Россию в конце царствования Александра и внимательно вгляделся бы в русскую жизнь, не заметил бы, что была эпоха правительственных и социальных преобразований; он не заметил бы царствования Александра.

В чем заключалась причина этой безуспешности этих преобразовательных начинаний? Она заключалась в их внутренней непоследовательности, на которую я имел уже случай указать. В этой непоследовательности историческая оценка деятельности Александра. Новые правительственные учреждения, осуществленные или только задуманные, основаны были на начале законности, т. е. на идее твердого и для всех одинакового

закона, который должен был стеснить произвол во всех сферах государственной и общественной жизни, в управлении, как и в обществе. Но, по молчаливому или гласному признанию действующего закона, целая половина населения империи, которого тогда считалось свыше 40 млн душ обоего пола, целая половина этого населения зависела не от закона, а от личного произвола владельца. Следовательно, частные гражданские отношения не были согласованы с основаниями новых государственных учреждений, которые были введены или задуманы. По требованию исторической логики новые государственные учреждения должны были стать на готовую почву новых согласованных гражданских отношений, должны были вырастать из отношений, как следствие вырастает из своих причин. Император и его сотрудники решились вводить новые государственные учреждения раньше, чем будут созданы согласованные с ними гражданские отношения, хотели построить либеральную конституцию в обществе, половина которого находилась в рабстве, т. е. они надеялись добиться последствий раньше причин, которые их производили. Мы знаем и источник этого заблуждения; он заключается в преувеличенном значении, какое тогда придавали формам правления.

Люди тех поколений были уверены, что все части общественных отношений изменятся, все частные вопросы разрешатся, новые нравы водворятся, как только будет осуществлен нарисованный смелой рукой план государственного устройства, т. е. система правительственных учреждений. Они расположены тем более были к такому мнению, что гораздо легче ввести конституцию, чем вести мелкую работу изучения действительности, работу преобразовательную. Первую работу можно начертать в короткое время и пожать славу; результаты второй работы никогда не будут оценены, даже замечены современниками и представляют очень мало пищи для исторического честолюбия.

На той же точке зрения, на какой стояли Александр I и его сотрудники, стояли и люди 14 декабря; если они о чем размышляли и толковали много, то о тех формах, в какие должен облечься государственный порядок, о той же конституции. Правда, все, что они проектировали определенного и практически исполнимого, все было уже сказано раньше их, в проекте Сперанского. Они касались и частных гражданских отношений, т. е. взаимных отношений лиц и сословий, но их мысли касались этого, как язвы отечества, не зная, как устранить, каким строем отношений заменить действующий общественный порядок. Как сотрудники Александра, так и люди 14 декабря, односторонне

увлеченные идеей личной и общественной свободы, совсем не понимали экономических отношений, которые служат почвой для политического порядка. Эта односторонность тех и других, и воспитателей и воспитанников (ибо декабристы были воспитанниками Александра и Сперанского), особенно резко выразилась в вопросе о крепостном праве; как правительство Александра, так и декабристы были в большой уверенности, что стоит дать крестьянам личную свободу, чтобы обеспечить их благоденствие; о материальном их положении, об отношении их к земле, об обеспечении их труда они и не думали или думали очень мало.

Итак, я не приписываю движению 14 декабря ни того значения, ни тех последствий, которые ему приписывают. Но было одно очень важное последствие в истории одного сословия, именно дворянства. До тех пор дворянство было классом правящим в русском обществе; как мы знаем, такое политическое положение его создано было главным образом участием дворянской гвардии в дворцовых переворотах XVIII в. Движение 14 декабря было последним гвардейским дворцовым переворотом; им кончается политическая роль русского дворянства. Оно еще останется некоторое время при делах, как сословие, будет принимать деятельное участие в областных учреждениях, но оно уже перестанет быть правящим классом. Оно превратится в такое же орудие правительства, в такое же вспомогательное средство бюрократических учреждений, каким оно было в старые времена, в XVII столетии. В этом заключается, по моему мнению, самое важное последствие 14 декабря.

Не только по закону, но и по нравственным средствам дворянство должно было потерять после того прежнее значение. После 14 декабря пошли за Урал лучшие люди сословия, после которых осталось много мест, не занятых в продолжение следующего царствования. Это была потеря, которую было трудно вознаградить и при более обильном запасе нравственных сил сословия. Из него выбыло столько дельцов, которые могли восстановить и усилить политический авторитет сословия, если бы остались в рядах. В следующее царствование дворянство не могло иметь прежнего значения уже потому, что оскудело силами после катастрофы 14 декабря.

Николай I

Император Николай I

Задачи царствования. Я сделаю краткий обзор главных явлений в царствование Николая, ограничиваясь, впрочем, только событиями жизни правительственной и социальной. С этими двумя процессами, изменением правительственного порядка и перестройкой общественных отношений связаны все главнейшие явления этого времени.

Царствование Николая обыкновенно считают реакцией, направленной не только против стремлений, которые были заявлены людьми 14 декабря, но и против всего предшествовавшего царствования. Такое суждение едва ли вполне справедливо; предшествовавшее царствование в разное время преследовало неодинаковые стремления, ставило себе неодинаковые задачи. Как мы видели, в первую половину его господствовало стремление дать империи политический порядок, построенный на новых основаниях, а потом уже подготовить частные отношения, согласуя их с новым политическим

порядком. Говоря проще, в первой половине господствовала надежда, что можно дать стране политическую свободу, сохранив на время рабство. Потом, когда обнаружилась нелогичность этой задачи, надо было бы перейти от первой ее половины ко второй, т. е. к предварительной перестройке частных общественных отношений; но тогда уже не хватило энергии, и вторая задача разрешалась без надежды и без желания разрешить первую. Эту вторую задачу усвоил себе преемник Александра. Отказавшись от перестройки государственного порядка на новых основаниях, он хотел устроить частные общественные отношения, чтобы на них можно было потом выстроить новый государственный порядок. Я считаю царствование Николая прямым логическим продолжением второй половины предшествовавшего царствования. Такая более скромная задача царствования Николая I объясняется отчасти личными свойствами нового императора.

Начало царствования. Император Николай I родился в июне 1796 г., следовательно, за несколько месяцев до смерти своей бабушки; он принадлежал вместе с младшим братом Михаилом ко второму поколению сыновей Павла и получил поэтому иное воспитание, непохожее на то, какое дано было старшим братьям – Александру и Константину. Он воспитан был кое-как, совсем не по программе Руссо. Третий брат готовил себя к очень скромной военной карьере; его не посвящали в вопросы высшей политики, не давали ему участия в серьезных государственных делах. До 18 лет он даже вовсе не имел определенных служебных занятий; только в этом году его назначили директором Инженерного корпуса и дали ему в команду одну гвардейскую бригаду, следовательно, два полка.

Император Николай Павлович на улицах Петербурга.
С рисунка К. Брож

Вступление Николая I на престол, как мы знаем, было чистою случайностью. Но, не имея серьезных занятий, великий князь каждое утро проводил по нескольку часов в дворцовых передних, теряясь в толпе ждавших аудиенции или доклада. При нем, как при третьем брате, не стеснялись; великий князь мог наблюдать людей в том виде, как они держались в передней, т. е. в удобнейшем для их наблюдения виде. Он здесь узнал отношения, лица, интриги и порядки, так как в той сфере, где он вращался, интриги были синонимом порядка. Эти мелкие познания очень понадобились ему на престоле; он вступил на престол с очень скромным запасом политических идей, которых так много принес сюда его старший брат. Вот почему он мог заглянуть на существующий порядок с другой стороны, с какой редко удается взглянуть на него монарху. Александр смотрел на Россию сверху, со своей философской политической высоты, а, как мы знаем, на известной высоте реальные очертания или неправильности жизни исчезают. Николай имел возможность взглянуть на существующее снизу, оттуда, откуда смотрят на сложный механизм рабочие, не руководствуясь идеями, не строя планов.

Николай поставил себе задачей ничего не переменять, не вводить ничего нового в основаниях, а только поддерживать существующий порядок, восполнять пробелы, чинить обнаружившиеся ветхости помощью практического

законодательства и все это делать без всякого участия общества, даже с подавлением общественной самостоятельности, одними правительственными средствами. Но он не снял с очереди тех жгучих вопросов, которые были поставлены в прежнее царствование, и, кажется, понимал их жгучесть еще сильнее, чем его предшественник. Итак, консервативный и бюрократический образ действия – вот характеристика нового царствования; поддержать существующее помощью чиновников – еще так можно обозначить этот характер.

В первое время, может быть, под свежим впечатлением недавно пережитых событий новый император был близок к мысли о реформах, но он поставил себе ближайшей задачей предварительно войти в положение дел и принялся усердно изучать самые грязные подробности. Он сам лично ревизовал ближайшие столичные учреждения: бывало, налетит в какую-нибудь казенную палату, напугает чиновников и уедет, дав всем почувствовать, что он знает не только их дела, но и их проделки. В губернии он разослал доверенных сановников для производства строгой ревизии. Вскрывались ужасающие подробности; обнаруживалось, например, что в Петербурге, в центре, ни одна касса никогда не проверялась; все денежные отчеты составлялись заведомо фальшиво; несколько чиновников с сотнями тысяч пропали без вести. В судебных местах император [нашел] два миллиона дел, по которым в тюрьмах сидело 127 тыс. человек. Сенатские указы оставлялись без последствий подчиненными учреждениями. Губернаторам назначен был годовой срок для очистки неисполненных дел; император сократил его до трех месяцев, дав неисправным губернаторам положительное и прямое обещание отдать их под суд.

Чтобы поправить действие правительственного механизма, столь расстроенного, составлена была комиссия, известная под именем сенатора Энгеля. Комиссия должна была выработать проект нового судебного устройства. Выработанный проект отличался очень либеральными началами: уничтожалось тайное канцелярское производство, вводилась несменяемость судей и более строгое распределение судебных дел от административных. Император вполне одобрил эти проекты, но нашел их более рассчитанными на будущее, чем на настоящее, и оставил их без последствий. В этом отношении императора к преобразовательным проектам и выразилось основное начало, которым он руководился. Он одобрял все хорошие предложения, которые могли поправить дело, но никогда не решался их осуществить. Итак, поддерживать существующий порядок – вот программа нового правительства.

Кодификация. Для того чтобы существующий порядок действовал правильно, надо было дать учреждениям строгий кодекс. Над созданием такого кодекса работали с 1700 г., и дело не удавалось. Такой кодекс мог быть выработан при указанной программе: если решено поддерживать существующий порядок, то в свод законов должны быть взяты существующие узаконения; новый свод законов должен быть сводом законов действующих, а не кодексом, созданным отвлеченной мыслью. Эту задачу, прежде всего, и взялся разрешить Николай. Для этого он учредил при себе особое отделение Собственной канцелярии (II отделение) и в руководители дела призвал лицо, давно искусившееся в этой работе, знакомого нам М. М. Сперанского.

Сперанский, после ссылки, был назначен пензенским губернатором, потом генерал-губернатором Сибири, изучил обширную Сибирь и составил проект нового ее устройства, с которым и приехал в Петербург в 1821 г. Его оставили в Государственном совете, хотя он не пользовался прежним влиянием. Николай решительно признавал его жертвою политических интриг и при этом ссылался на признание своего старшего брата, будто бы когда-то сказавшего ему, что он в долгу у Сперанского, что он тогда не мог сладить с интригой, хотя знал, что обвинение, взводимое на Сперанского, – клевета. Сперанский еще в 1811 г. начал каяться в своих широких политических затеях, сознавая всю их преждевременность и непригодность, а теперь он к тому же прошел отличную административную школу, ибо что можно представить себе лучше для назидания и знакомства с делом, как ссылка и губернаторство. Сперанскому поручено было составление свода законов. Вылечившись от затей, Сперанский сохранил трудолюбие своей молодости и теперь в короткое время совершил изумительные дела по программе, ему заданной.

Прежде всего, из разных канцелярий и архивов он стянул к себе все указы, начиная с Уложения 1649 г. и кончая последним указом императора Александра I. Все эти указы, уставы и регламенты он расположил в хронологическом порядке и напечатал их, дав сборнику заглавие «Полное собрание законов Российской империи». Это сборник 45 громадных томов, каждый из которых не всякий осилит поднять. В этот сборник вошло 30 920 номеров. Сборник, за составление которого Сперанский принялся в 1826 г., издан был в 1830 г. с приложением рисунков, табели и различных указаний. До сих пор это полное собрание материалов остается основным для истории русского законодательства. Это полное собрание законов он и положил в основание действующих законов. Из различных указаний он брал

годные к действию узаконения, облекал их в краткие статьи, применяясь к тексту подлинника, и со ссылками на источник эти статьи расположил в систематическом порядке, сводя их в особые уставы. Так составился «Свод законов Российской империи», изданный в 1833 г. в 15 томах. В большей части своего состава этот памятник доселе остается действующим у нас кодексом.

«Свод законов Российской империи» расположен в систематическом порядке. В первых трех томах изложены законы «основные и учредительные», т. е. определяющие пределы власти и порядок делопроизводства правительственных учреждений, Государственного совета, Сената, министерств, губернского управления и т. д. В дальнейших пяти томах (4–8) изложены законы «государственных сил», т. е. средств, которыми питается государство, законы о государственных повинностях, доходах и имуществе. В 9-м томе изложены законы «о состояниях», т. е. о сословиях. В 10-м томе изложены законы гражданские и межевые. В четырех дальнейших (11–14) – законы «государственного благоустройства и благочиния», т. е. полицейские, и в последнем (15) – законы уголовные. Вот строй законов, в котором каждая статья не представляет ничего нового, а извлечена из изданного закона и только нашла место в общей системе. Таким образом, Свод законов составился из 42 тыс. статей; это слишком много законов, чтобы знать их. Обилие законов есть главный недостаток Свода, и сам Сперанский сознавал это. Дальнейшие узаконения присоединились к Своду как дополнение, и теперь таких статей свыше 100 тыс. Сперанский смотрел на Свод законов только как на подготовительную, черновую работу для выработки удобоприменимого кодекса. Трудно представить себе памятник, более выражающий основную мысль царствования: ничего не вводить нового и только чинить и приводить в порядок старое.

Свод законов, сказал я, издан был в 1833 г.; но, кроме того, Сперанский приводил в порядок целый ряд специальных и местных законодательств. Так, ему принадлежит Свод военных постановлений в 12 томах; Свод законов остзейских и западных губерний; Свод законов Великого княжества Финляндского. Свод законов и должен был стать руководством для деятельности правительственных учреждений.

Собственная канцелярия. Легко предвидеть, в каком направлении должен был измениться правительственный порядок. Основания правительственного строя остались прежние, но, взявшись руководить громадной империей без всякого участия общества, Николай должен был усложнять механизм центрального управления. Вот почему в его царствование создалось громадное количество либо новых департаментов в

старых учреждениях, либо новых канцелярий, комиссий и т. д. Все это время было эпохой необозримого количества комитетов и комиссий, которые создавались для каждого нового государственного вопроса. Всего лучше выразилась мысль этих правительственных перемен в создании целого сложного управления.

Сам руководя важнейшими делами, входя в их рассмотрение, император должен был иметь собственную канцелярию; такая канцелярия и создана была четырьмя отделениями под таким названием – Собственная его величества канцелярия, существующая и доселе, только не в полном комплекте отделений. Вот перечень этих отделений, который, может быть, понадобится, чтобы увидеть, каким кругом дел хотел непосредственно руководить носитель государственной власти. Первое отделение подготовляло бумаги для доклада императору и следило за исполнением высочайших повелений. Второе отделение образовалось из бывшей комиссии составления законов, занималось кодификацией законов и состояло под управлением Сперанского до смерти его в 1839 г. Третьему отделению поручены были дела высшей полиции под управлением начальника, который был вместе и шефом жандармов (теперь это отделение упразднено). Четвертое отделение управляло благотворительными воспитательными заведениями, начало которым положено было императрицей-вдовой Марией Федоровной; это – ведомство императрицы Марии. При Николае существовало даже пятое отделение Собственной его величества канцелярии – для подготовки нового порядка управления и государственных имуществ.

Губернское управление. Областное управление при Николае I осталось на прежних основаниях, даже в прежнем виде; оно не было усложнено, подобно центральному; подверглось некоторым изменениям только управление сословное, дворянское. Как мы знаем, дворянству было предоставлено учреждениями 1775 г. решительное господство в местном управлении.

При императоре Павле упразднены были некоторые из судебных и губернских учреждений. При Александре было даже несколько расширено участие дворянства в местном управлении. Не передавая всех подробностей, укажу, что по учреждениям 1775 г. Судебные палаты (Уголовная и Гражданская, служившие высшей инстанцией для сословных высших учреждений, например губернского магистрата, верхнего земского суда) не имели сословного характера, состояли из членов от короны. По закону 1780 г. предоставлено было дворянству и купечеству выбирать по два заседателя в обе палаты, которые действовали

вместе с председателем и советником от короны. По закону 1831 г. дворянству предоставлено было право выбирать председателей обеих палат. Таким образом, и общий суд, несословный, в губернии отдан был в распоряжение дворянства, но зато было ограничено право участия дворянства в губернском управлении установлением ценза. В губернских учреждениях 1775 г. на дворянских съездах право выбора имел каждый потомственный дворянин или высший штаб-офицерский чин.

Положение 1831 г. точнее определяло участие дворян в съездах и выборах: именно, одни дворяне могли участвовать в съездах с голосом, другие – без голоса. Право участвовать с голосом имел потомственный дворянин, достигший 21 года, имевший недвижимую собственность в губернии, получивший на действительной службе, по крайней мере, чин 14-го класса или служивший три года по дворянским выборам, – вот главные условия. Не удовлетворявшие им потомственные дворяне участвовали в съездах без голоса. Притом и право голоса было двоякое. Одни дворяне подавали голос во всех делах, обсуждавшихся в собрании; другие – во всех, кроме выборов. Право участвовать во всех делах и в выборах предоставлено было потомственным дворянам, которые имели в губернии не менее 100 душ крестьян или не менее 3 тыс. десятин удобной, хотя и незаселенной, земли. Голос во всех делах, кроме выбора, принадлежал потомственным дворянам, которые имели в губернии менее 100 душ или 3 тыс. десятин земли. Один разряд дворян имел непосредственное право голоса, другой – посредственный голос через уполномоченных; именно мелкие участки складывались в одно, так чтобы их совокупность составляла нормальный участок в 100 душ, и выбирали одного уполномоченного на дворянский съезд. Законом 1837 г. усложнено было устройство земской полиции, как известно, руководимой дворянством. Исправник, начальник уездной полиции, действовал по-прежнему, но каждый уезд разделен на станы, и во главе стана поставлен был становой. Становой – коронный чиновник, который назначается губернским управлением только по рекомендации Дворянского собрания. Принимая во внимание все перемены, внесенные в губернское управление, следует сказать, что влияние дворянства на местное управление не было усилено; расширено было участие, но вместе и ослаблено введением цензов и сочетанием выборных должностей с коронными. До сих пор дворянство было руководящим классом в местном управлении; со времени издания законов 1831 и 1837 гг. дворянство стало вспомогательным средством коронной администрации, полицейским орудием

правительства.

Вот и все важные перемены, какие были внесены в центральное и губернское управление. Легко заметить, что этими переменами нарушено было равновесие между тем и другим; центральное управление было страшно расширено, и в нем получила необыкновенное развитие канцелярия; местное управление осталось в прежней форме. Если мы представим усиленную деятельность, какая внесена была императором в учреждения, то нам будет понятен главный недостаток управления. Все дела велись канцелярским порядком, через бумагу; размноженные центральные учреждения ежегодно выбрасывали в канцелярии, палаты десятки, сотни тысяч бумаг, по которым эти палаты и канцелярии должны были чинить исполнение. Этот непрерывный бумажный поток, лившийся из центра в губернии, наводнял местные учреждения, отнимал у них всякую возможность обсуждать дела. Все торопились очищать их. Не исполнить дело, а «очистить» бумагу – вот что стало задачей местной администрации; все цели общественного порядка, который охранялся администрацией, свелись к опрятному содержанию писаного листа бумаги; общество и его интересы отодвинулись перед чиновником далеко на задний план.

Все управление представляло громадный и не совсем правильный механизм, который без устали работал, но который был гораздо шире, тяжелее наверху, чем внизу, так что нижние части и колеса подвергались опасности треснуть от слишком усиленной деятельности в верхних. Чем больше развивался такой механизм, тем менее оставалось у руководителей его возможности следить за действием его частей. Никакой механизм не мог усмотреть за работой всех колес, их ломкой и своевременной починкой. Таким образом, руководство делами уходило с центра вниз; каждый министр мог только, посмотрев на всю эту громадную машину государственного порядка, махнуть рукой и предоставить все воле случая; настоящими двигателями этого порядка стали низшие чиновники, которые очищали бумаги. Этот недостаток и выражен был самим наблюдательным императором, который сказал раз, что Россией правит не император, а столоначальники. Такой вид представляло здание бюрократизма, как оно было поставлено в это царствование, т. е. как оно было тогда завершено.

Рост бюрократии. Достиг ли этот бюрократический механизм государственной цели лучше, чем прежде, на это дает простой ответ одна цифра. В начале царствования император пришел в ужас, узнав, что только по ведомству юстиции во всех служебных местах им произведено 2 800 тыс. дел. В 1842 г.

министр юстиции представил государю отчет, в котором значилось, что во всех служебных местах империи не очищено еще 33 млн дел, которые изложены по меньшей мере на 33 млн писаных листов. Вот каких результатов достигло бюрократическое здание, завершенное в это царствование. Накопление бумаг, однако, вовсе не улучшило исправности и отчетности учреждений. Под покровом канцелярской тайны совершались дела, которые даже теперь кажутся чистыми сказками. В конце 20-х годов и в начале 30-х производилось одно громадное дело о некоем откупщике. Это дело вели 15 для того назначенных секретарей, не считая писцов; дело разрасталось до ужасающих размеров, нескольких сотен тысяч листов. Один экстракт дела, приготовленный для доклада, изложен был на 15 тыс. листов. Велено было, наконец, эти бумаги собрать и препроводить из Московского департамента в Петербург. Наняли несколько десятков подвод и, нагрузив дело, отправили его в Петербург, но оно все, до последнего листа, пропало без вести, так что никакой исправник, никакой становой не могли ничего сделать, несмотря на строжайший приказ Сената; пропали листы, подводы и извозчики.

Столь развитой правительственный механизм требовал множество рабочих рук. Царствование Николая I было временем развития чиновничества, знати, табели о рангах. К сожалению, мы не имеем точных статистических данных, чтобы судить о размножении чиновничества; можно только понять, чего стоило казне содержание этого административного рабочего люда. Сверх окладов, за особые заслуги, чиновникам раздавали из казенных земель аренды обыкновенно на 12 лет, как делается и доселе. До 1844 г. аренд выдавалось ежегодно разным чиновникам [на] 30 тыс. [руб.]; определяя поземельный доход по 4 %, мы найдем, что арендная сумма равнялась 750 млн руб. (это только добавочное вознаграждение чиновникам). Кроме того, чиновникам раздавали за заслуги в собственность незаселенные, но доходные казенные земли и угодья; до 1844 г. таких земель было роздано свыше миллиона десятин. Вот что стоило государству содержание той администрации, которая умела терять дела, изложенные на нескольких сотнях тысяч листов.

Приезд Николая I с первым поездом Николаевской железной дороги в Москву 19 августа 1851 г. Встреча поезда главнокомандующим путей сообщения графом Клейнмихелем

Александр II

Император Александр II

Очерк важнейших реформ. На 18 февраля 1855 г., т. е. дне смерти императора Николая, можно положить конечный рубеж целого периода нашей истории, который начался с воцарением новой династии после Смутного времени. В этот период действовали известные начала, которые служили основанием нашей политической и общественной жизни. С 18 февраля 1855 г. начинается новый период, в который выступают иные начала жизни. Начала эти мы знаем, знаем их происхождение и свойства, но не знаем их последствий, а потому они не могут быть предметом исторического изучения. Однако в это время, с 18 февраля 1855 г., разрешены некоторые вопросы, поставленные

еще в предшествующий период. Мы видели, как эти вопросы ставились, какими потребностями была вызвана их постановка; нам нужно узнать, по крайней мере, как они были разрешены. То, о чем я хочу сказать, т. е. краткий очерк важнейших реформ Александра II, будет только пояснением того, что мы изучали в предшествующем периоде.

Мы знаем, какими двумя чертами характеризуется наш политический и общественный быт в предшествовавший период. Эти черты были: невольный обязательный труд в пользу государства всех сословий; с половины XVIII в. этот обязательный крепостной труд остался только на одном крестьянском сословии. Далее, другой чертой, характеризующей жизнь этого периода, было разобщение этих сословий, прекращение их совместной политической деятельности. С половины или с конца XVIII столетия ходом дел поставлены были два коренных вопроса, от разрешения которых зависело правильное устройство политического и хозяйственного быта России: 1) об освобождении от обязательного крепостного труда крестьянского населения и 2) о восстановлении прерванной прежде совместной деятельности сословий в делах политических и хозяйственных. Эти два коренных вопроса и были разрешены известным образом в царствование Александра II. Первый был разрешен освобождением крестьян с землею; второй – введением земских учреждений.

Теперь нельзя историку изложить ни той, ни другой реформы: для этого еще нет достаточных исторических данных, по которым он мог бы судить о значении той или другой реформы. Ни та, ни другая не обнаружили своих последствий, а исторические факты ценятся главным образом по своим последствиям. Итак, я изложу не историю, а короткий очерк хода и сущности той и другой реформ.

Вступление на престол. Таково было положение дел, когда 19 февраля 1855 г. вступил на престол новый император. Он был известен за представителя дворянских привилегий, и первые акты его царствования поддерживали в дворянском обществе это убеждение. Актами этими было выражено и подчеркнуто намерение нового правительства нерушимо охранять дворянские права. Вот почему желавшие развязки тяжелого вопроса мало ждали от нового царствования. Пока правительство было отвлечено внешней борьбой, доставшейся по наследству от прежнего царствования. Наконец, 18 марта 1856 г. был заключен Парижский мир. В этот промежуток некоторые сравнительные перемены еще более убедили дворянство, что его права останутся неприкосновенными. При воцарении нового императора

министром внутренних дел был Бибиков. Некогда он был на должности генерал-губернатора Западной Руси, т. е. в Киевской и прилежащих губерниях. Он показал себя приверженцем крестьянских интересов. Тогда он выработал в Западной и Юго-Западной Руси известные свои инвентари, т. е. акты, которыми определялось по каждому имению, сколько крестьяне должны платить или работать на помещика. Инвентари, таким образом, стесняли произвол землевладельцев по отношению к крестьянам. Инвентари произвели сильный ропот в западнорусском дворянстве. Вскоре по вступлении нового императора на престол, в августе 1855 г., Бибиков, всегда неприятный Александру, был удален, и на место его был назначен министром внутренних дел человек, равнодушный к вопросу и считавшийся другом дворян, – Ланской. Бибиков, стесняя произвол дворян, на министерском посту настоял, чтобы исправники, которые прежде выбирались дворянством, назначались от короны. В начале нового царствования этот закон был отменен, и уездная полиция опять была возвращена дворянству в лице выборного исправника. Итак, дворянское общество остановилось на мысли, что новое царствование будет царствованием дворянским, и довольно спокойно встретило манифест о мире, который призывал общество «к устранению вкравшихся в нем недостатков». Это принято было за фразы, которые писались из приличия, а не за программу нового царствования.

А. Кившенко. **Чтение манифеста 1861 г. Александром II на Смольной площади в Санкт-Петербурге**

Подготовка крестьянской реформы. Вдруг случилось нечто необычное. В марте 1856 г., т. е. вскоре по заключении мира, император отправился в Москву. Здешний генерал-губернатор, известный крепостник граф Закревский, ходатайствовал перед императором о желании местного дворянства представиться государю по поводу распространившегося среди него слуха, что правительство замышляет отмену крепостного права. Император принял московского губернского предводителя дворянства князя Щербатова с уездными представителями и вот что приблизительно сказал им: «Между вами распространился слух, что я хочу отменить крепостное право. Я не имею намерения сделать это теперь, но вы сами понимаете, что существующий порядок владения душами не может остаться неизменным. Скажите это своим дворянам, чтобы они подумали, как это сделать». Эти слова, как громом, поразили слушателей, а потом и все дворянство, а дворяне только что надеялись укрепить свои права и с такой надеждой готовились встретить коронацию, назначенную на август того года. Новый министр – Ланской – обратился к императору за справкой, что значат его московские слова. Император отвечал, что он не желает, чтобы эти слова остались без последствий. Тогда в Министерстве внутренних дел начались подготовительные работы, цель которых еще пока не была выяснена.

На коронации в августе 1856 г. собрались в Москву, по обычаю, губернские и уездные предводители дворянства. Товарищу министра внутренних дел Левшину поручено было узнать, как они отнеслись к вопросу «об улучшении участи крепостных крестьян» (тогда еще избегали слова «освобождение»). Левшин позондировал и с печалью донес, что дворянство ни с той, ни с другой стороны не поддается; некоторый луч надежды подавало лишь одно западнорусское дворянство, преимущественно литовское. Недовольные бибиковскими инвентарями, предводители этих дворян как будто выразили готовность содействовать правительству, почему виленскому генерал-губернатору Назимову поручено было так настроить дворян, чтобы они сами обратились к правительству с заявлением желания улучшить положение своих крестьян; тем дело и кончилось.

Созидатели земли русской

Добрые люди Древней Руси

Благотворительность – вот слово с очень спорным значением и с очень простым смыслом. Его многие различно толкуют, и все одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и возможно, что получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но поставьте их прямо пред несчастным случаем, пред страдающим человеком с вопросом, что делать – и все будут готовы помочь, кто чем может. Чувство сострадания так просто и непосредственно, что хочется помочь даже тогда, когда страдающий не просит о помощи, даже тогда, когда помощь ему вредна и даже опасна, когда он может злоупотребить ею. На досуге можно размышлять и спорить об условиях правительственных ссуд нуждающимся, организации и сравнительном значении государственной и общественной помощи, отношении той и другой к частной благотворительности, доставлении заработков нуждающимся, деморализующем влиянии дарового пособия. На досуге, когда минует беда, и мы обо всем этом подумаем и поспорим. Но когда видишь, что человек тонет, первое движение – броситься к нему на помощь, не спрашивая, как и зачем он попал в воду и какое нравственное впечатление произведет на него наша помощь.

При обсуждении участия, какое могут принять в деле помощи народу правительство, земство и общество, надобно разделять различные элементы и мотивы: экономическую политику, принимающую меры, чтобы вывести труд и хозяйство народа из неблагоприятных условий, и следствия помощи, могущие оказаться невыгодными с точки зрения полиции и общественной дисциплины, и возможность всяких злоупотреблений. Все это соображения, которые относятся к компетенции подлежащих ведомств, но которых можно не примешивать к благотворительности в собственном смысле. Нам, частным лицам, открыта только такая благотворительность, а она может руководиться лишь нравственным побуждением, чувством сострадания к страдающему. Лишь бы помочь ему остаться живым и здоровым, а если он дурно воспользуется нашей помощью, это его вина, которую, по миновании нужды, позаботятся исправить подлежащие власти и влияния. Так понимали у нас частную благотворительность в старину; так, без сомнения, понимаем ее и мы, унаследовав путем исторического воспитания добрые понятия и навыки старины.

Нищелюбие князя Андрея Боголюбского.
Из Царственного летописца

Древнерусское общество под руководством Церкви в продолжение веков прилежно училось понимать и исполнять и вторую из двух основных заповедей, в которых заключаются весь закон и пророки, – заповедь о любви к ближнему. При общественной безурядице, недостатке безопасности для слабого и защиты для обижаемого, практика этой заповеди направлялась преимущественно в одну сторону: любовь к ближнему полагали, прежде всего, в подвиге сострадания к страждущему, ее первым требованием признавали личную милостыню. Идея этой милостыни полагалась в основание практического нравоучения; потребность в этом подвиге воспитывалась всеми тогдашними средствами духовно-нравственной педагогики.

Любить ближнего – это, прежде всего, накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило *нищелюбие*. Благотворительность была не столько вспомогательным средством общественного благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здоровья: она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему. Целительная сила милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слезы страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, смотря

на его слезы и страдания, самому пострадать с ним, пережить то чувство, которое называется человеколюбием.

Древнерусский благотворитель, «христолюбец», менее помышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественного благосостояния, чем о том, чтобы возвысить уровень собственного духовного совершенствования. Когда встречались две древнерусские руки, одна с просьбой Христа ради, другая с подаяньем во имя Христово, трудно было сказать, которая из них больше подавала милостыни другой: нужда одной и помощь другой сливались во взаимодействии братской любви обеих. Вот почему Древняя Русь понимала и ценила только личную, непосредственную, благотворительность, милостыню, подаваемую из руки в руку, притом «отай», тайком, не только от стороннего глаза, но и от собственной «шуйцы» (левая рука. – *Прим. ред.*).

Нищий был для благотворителя лучший богомолец, молитвенный ходатай, душевный благодетель. «В рай входят святой милостыней, – говорили в старину, – нищий богатым питается, а богатый нищего молитвой спасается». Благотворителю нужно было воочию видеть людскую нужду, которую он облегчал, чтобы получить душевную пользу; нуждающийся должен был видеть своего милостивца, чтобы знать, за кого молиться. Древнерусские цари, накануне больших праздников, рано по утрам, делали тайные выходы в тюрьмы и богадельни, где из собственных рук раздавали милостыню арестантам и призреваемым, также посещали и отдельно живших убогих людей.

Как трудно изучить и лечить болезни по рисунку или манекену больного организма, так казалась малодействительной заочная милостыня. В силу того же взгляда на значение благотворительного дела, нищенство считалось в Древней Руси не экономическим бременем для народа, не язвой общественного порядка, а одним из главных средств нравственного воспитания народа, состоящим при Церкви практическим институтом общественного благонравия. Как в клинике необходим больной, чтобы научиться лечить болезни, так в древнерусском обществе необходим был сирый и убогий, чтобы воспитать уменье и навык любить человека. Милостыня была дополнительным актом церковного богослужения, практическим требованием правила, что вера без дел мертва. Как живое орудие душевного спасения, нищий нужен был древнерусскому человеку во все важные минуты его личной и семейной жизни, особенно в минуты печальные. Из него он создал идеальный образ, который любил носить в мысли, как олицетворение своих лучших чувств и

помышлений. Если бы чудодейственным актом законодательства или экономического прогресса и медицинского знания вдруг исчезли в Древней Руси все нищие и убогие, кто знает, может быть, древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую нравственную неловкость, подобно человеку, оставшемуся без посоха, на который он привык опираться; у него оказался бы недочет в запасе средств его душевного домостроительства.

Трудно сказать, в какой степени такой взгляд на благотворительность содействовал улучшению древнерусского общежития. Никакими методами социологического изучения нельзя вычислить, какое количество добра вливала в людские отношения эта ежедневная, молчаливая, тысячерукая милостыня, насколько она приучала людей любить человека и отучала бедняка ненавидеть богатого. Явственнее и осязательнее обнаруживалось значение такой личной милостыни, когда нужда в благотворительной помощи вызывалась не горем отдельных несчастливых жизней, а народным физическим бедствием. Природа нашей страны издавна была доброй, но иногда бывала своенравной матерью своего народа, который, может быть, сам же и вызывал ее своенравие своим неуменьем обращаться с ней. Недороды и неурожаи были нередки в Древней Руси. Недостаток экономического общения и административной распорядительности превращал местные недоборы продовольствия в голодные бедствия.

Такое бедствие случилось в начале XVII в., при царе Борисе. В 1601 г., едва кончился весенний сев, полили страшные дожди и лили все лето. Полевые работы прекратились. Хлеб не вызрел, до августа нельзя было начать жатву, а на Успеньев день неожиданно ударил крепкий мороз и побил недозревший хлеб, который почти весь остался в поле. Люди кормились остатками старого хлеба, а на следующий год посеялись кое-как собранным зяблым зерном нового урожая; но ничего не взошло, все осталось в земле, и наступил трехлетний голод. Царь не жалел казны, щедро раздавал в Москве милостыню, предпринял обширные постройки, чтобы доставить заработок нуждающимся.

Прослышав об этом, народ толпами повалил в Москву из неурожайных провинций, чем усилил нужду в столице. Началась сильная смертность: только в трех казенных столичных скудельницах, куда царь велел подбирать бесприютные жертвы, за два года и четыре месяца их насчитали 127 тыс. Но беда создана была в значительной мере искусственно. Хлеба оставалось довольно от прежних урожаев. После, когда самозванцы наводнили Русь шайками поляков и казаков, которые своими опустошениями прекратили посевы на обширных пространствах,

этого запасного хлеба много лет хватало не только на своих, но и на врагов. При первых признаках неурожая начала разыгрываться хлебная спекуляция. Крупные землевладельцы заперли свои склады.

Скупщики пустили все в оборот: деньги, утварь, дорогое платье, чтобы забрать продажный хлеб. Те и другие не пускали ни зерна на рынок, выжидая высоких цен, радуясь, по выражению современника, барышам, «конца же вещи не разумеюще, сплетены смуты слагающе и народ смущающе». Хлебные цены были взбиты на страшную высоту: четверть ржи с 20 тогдашних копеек скоро поднялась до 6 руб., равнявшихся нашим 60 руб., т. е. вздорожала в 30 раз! Царь принимал строгие и решительные меры против зла, запретил винокурение и пивоварение, велел сыскивать скупщиков и бить кнутом на рынках нещадно, переписывать их запасы и продавать в розницу понемногу, предписывал обязательные цены и карал тяжкими штрафами тех, кто таил свои запасы.

Сохранившийся памятник вскрыл нам одну из частных благотворительных деятельностей, которые в то время работали внизу, на местах, когда царь боролся с народным бедствием наверху. Жила тогда в своем имении вдова-помещица, жена зажиточного провинциального дворянина, Ульяна Устиновна Осорьина. Это была простая, обыкновенная добрая женщина Древней Руси, скромная, боявшаяся чем-нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убогому, – чувство, с которым русская женщина на свет родится, – в ней была тоньше и глубже, обнаруживалась напряженнее, чем во многих других, и, развиваясь от непрерывной практики, постепенно наполнила все ее существо, стала основным стимулом ее нравственной жизни, ежеминутным влечением ее вечно деятельного сердца.

Еще до замужества, живя у тетки по смерти родителей, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице. По выходе ее замуж, свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка оказалась умной и распорядительной хозяйкой. Но привычная мысль о бедном и убогом не покидала ее среди домашних и семейных хлопот. Она глубоко усвоила себе христианскую заповедь о тайной милостыне. Бывало, ушлют ее мужа на царскую службу куда-нибудь в Астрахань года на два или на три.

Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла. Рукоделье свое продавала и выручку тайком раздавала нищим, которые приходили к ней по ночам. Не считая себя вправе брать что-нибудь из домашних запасов без спроса у свекрови, она однажды прибегла даже к маленькому лукавству с

благотворительной целью, о котором позволительно рассказать, потому что его не скрыл ее почтительный сын в биографии матери. Ульяна была очень умеренна в пище, только обедала, не завтракала и не полдничала, что очень тревожило свекровь, боявшуюся за здоровье молодой невестки.

Случился на Руси один из нередких неурожаев, и в Муромском краю наступил голод. Ульяна усилила обычную свою тайную милостыню и, нуждаясь в новых средствах, вдруг стала требовать себе полностью завтраков и полдников, которые, разумеется, шли в раздачу голодающим. Свекровь полушутливо заметила ей: «Что это подеялось с тобой, дочь моя? Когда хлеба было вдоволь, тебя, бывало, не дозовешься ни к завтраку, ни к полднику, а теперь, когда всем стало есть нечего, у тебя какая охота к еде припала». – «Пока не было у меня детей, – отвечала невестка, – мне еда и на ум не шла, а как пошли ребята родиться, я отощала и никак не могу наесться, не только что днем, но часто и ночью так и тянет к еде; только мне стыдно, матушка, просить у тебя». Свекровь осталась довольна объяснением своей доброй лгуньи и позволила ей брать себе пищи, сколько захочется, и днем, и ночью.

Эта постоянно возбужденная сострадательная любовь к ближнему, обижаемому жизнью, помогла Ульяне легко переступить через самые закоренелые общественные предрассудки Древней Руси.

Глубокая юридическая и нравственная пропасть лежала между древнерусским барином и его холопом: последний был для первого по закону не лицом, а простою вещью. Следуя исконному туземному обычаю, а может быть, и греко-римскому праву, не вменявшему в преступление смерти раба от побоев господина, русское законодательство еще в XIV в. провозглашало, что, если господин «огрешится», неудачным ударом убьет своего холопа или холопку, за это его не подвергать суду и ответственности. Церковь долго и напрасно вопияла против такого отношения к крепостным людям. Десятками наполняя дворы зажиточных землевладельцев, плохо одеваемая и всегда содержимая впроголодь, челядь составляла толпу домашних нищих, более жалких сравнительно с вольными публичными нищими. Древнерусская церковная проповедь так и указывала на них господам, как на ближайший предмет их сострадания, призывая их позаботиться о своих челядинцах, прежде чем протягивать руку с благотворительной копейкой нищему, стоящему на церковной паперти. В усадьбе Ульяны было много челяди. Она ее хорошо кормила и одевала, не баловала, но щадила, не оставляла без дела, но задавала каждому работу по силам и не требовала от

нее личных услуг, что могла, все делала для себя сама, не допускала даже разувать себя и подавать воды умыться. При этом она не позволяла себе обращаться к крепостным с кличками, какими душевладельческая Русь вплоть до самого 19 февраля 1861 года окрикивала своих людей: Ванька, Машка, но каждого и каждую называла настоящим именем. Кто, какие социальные теории научили ее, простую сельскую барыню XVI века, стать в такие прямые и обдуманные отношения к низшей подвластной братии?

Праведная Иулиания во время голода подает милостыню нищим

Она была уже в преклонных летах, когда ее постигло последнее и самое тяжкое благотворительное испытание. Лукавый бес, добра ненавистник, давно уже суетившийся около этой досадной ему женщины и всегда ею посрамляемый, раз со злости пригрозил ей: «Погоди же! Будешь ты у меня чужих кормить, когда я тебя самое на старости лет заставлю околевать с голоду». Такой добродушно-набожной комбинацией объяснено в биографии происхождение постигшей добрую женщину беды. Похоронив мужа, вырастив сыновей и поставив их на царскую

службу, она уже помышляла о вечном устроении собственной души, но все еще тлела перед Богом любовью к ближнему, как тлеет перед образом догорающая восковая свечка. Нищелюбие не позволило ей быть запасливой хозяйкой. Домовое продовольствие она рассчитывала только на год, раздавая остальное нуждающимся. Бедный был для нее какой-то бездонной сберегательной кружкой, куда она с ненасыщаемым скопидомством все прятала да прятала все свои сбережения и излишки. Порой у нее в дому не оставалось ни копейки от милостыни, и она занимала у сыновей деньги, на которые шила зимнюю одежду для нищих, а сама, имея уже под 60 лет, ходила всю зиму без шубы.

ГОЛОДЪ ПРИ ЦАРѢ БОРИСѢ ГОДУНОВѢ, 1601. ГОДА

Начало страшного голодного трехлетия при царе Борисе застало ее в нижегородской вотчине совсем неприготовленной. С полей своих она не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Но она не упала духом, а бодро принялась за дело, распродала остаток скота, платье, посуду, все ценное в доме и на вырученные деньги покупала хлеб, который и раздавала голодающим, ни одного просящего не отпускала с пустыми руками и особенно заботилась о прокормлении своей челяди. Тогда многие расчетливые господа просто прогоняли с дворов своих холопов, чтобы не кормить их, но не давали им отпускных, чтобы после воротить их в неволю. Брошенные на произвол судьбы среди всеобщей паники, холопы принимались воровать и грабить.

Ульяна больше всего старалась не допустить до этого своих челядинцев и удерживала их при себе, сколько было у ней силы. Наконец, она дошла до последней степени нищеты, обобрала себя дочиста, так что не в чем стало выйти в церковь. Выбившись из сил, израсходовав весь хлеб до последнего зерна, она объявила своей крепостной дворне, что кормить ее больше она не может, кто желает, пусть берет свои крепости или отпускные и идет с богом на волю. Некоторые ушли от нее, и она проводила их с молитвой и благословением; но другие отказались от воли, объявили, что не пойдут, скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее. Она разослала своих верных слуг по лесам и полям собирать древесную кору и лебеду и принялась печь хлеб из этих суррогатов, которыми кормилась с детьми и холопами, даже ухитрялась делиться с нищими, «потому что в то время нищих было без числа», лаконически замечает ее биограф.

Окрестные помещики с упреком говорили этим нищим: «Зачем это вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голоду». – «А мы вот что скажем, – говорили нищие, – много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нам так всласть, как хлеб этой вдовы – как бишь ее?» Многие нищие не умели и назвать ее по имени. Тогда соседи-помещики начали подсылать к Ульяне за ее диковинным хлебом: отведав его, они находили, что нищие были правы, и с удивлением говорили меж себя: мастера же ее холопы хлебы печь! С какой любовью надобно подавать нищему ломоть хлеба, не безукоризненного в химическом отношении, чтобы этот ломоть становился предметом поэтической легенды тотчас, как был съедаем! Два года терпела она такую нищету и не опечалилась, не пороптала, не дала безумия Богу, не изнемогла от нищеты, напротив, была весела, как никогда прежде. Так заканчивает биограф свой рассказ о последнем подвиге матери. Она и умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 г. Предания нашего прошлого не сохранили нам возвышенного и более трогательного образца благотворительной любви к ближнему.

Никто не сосчитал, ни один исторический памятник не записал, сколько было тогда Ульян в Русской земле, и какое количество голодных слез утерли они своими добрыми руками. Надобно полагать, что было достаточно тех и других, потому что Русская земля пережила те страшные годы, обманув ожидания своих врагов. Здесь частная благотворительность шла навстречу усилиям государственной власти. Но не всегда так бывает. Частная благотворительность страдает некоторыми неудобствами. Обыкновенно она оказывает случайную и мимолетную помощь и часто не настоящей нужде. Она легко

доступна злоупотреблению: вызываемая одним из самых глубоких и самых нерасчетливых чувств, какие только есть в нравственном запасе человеческого сердца, она не может следить за своими собственными следствиями. Она чиста в своем источнике, но легко поддается порче в своем течении. Здесь она против воли благотворителей и может разойтись с требованиями общественного блага и порядка.

Петр Великий, усиливавшийся привести в производительное движение весь наличный запас рабочих сил своего народа, вооружился против праздного нищенства, питаемого частной милостыней. В 1705 г. он указал рассылать по Москве подьячих с солдатами и приставами ловить бродячих нищих и наказывать, деньги у них отбирать, милостыни им не подавать, а подающих хватать и подвергать штрафу; благотворители должны были доставлять свои подаяния в богадельни, существовавшие при церквах. Петр вооружился против частной милостыни во имя общественной благотворительности, как учреждения, как системы богоугодных заведений. Общественная благотворительность имеет свои преимущества: уступая частной милостыне в энергии и качестве побуждений, в нравственно-воспитательном действии на обе стороны, она разборчивее и действительнее по своим практическим результатам оказывает нуждающемуся более надежную помощь, дает ему постоянный приют.

Мысль об общественной благотворительности, разумеется, с особенной силой возбуждалась во времена народных бедствий, когда количество добра требуется прежде, чем спрашивают о качестве побуждений добродеяния. Так было в Смутное время. В 1609 г. второй самозванец осаждал Москву. Повторились явления Борисова времени. В столице наступил страшный голод. Хлеботорговцы устроили стачку, начали всюду скупать запасы и ничего не пускали на рынок, выжидая наибольшего подъема цен. За четверть ржи стали спрашивать 9 тогдашних рублей, т. е. свыше 100 руб. на наши деньги. Царь Василий Шуйский приказал продавать хлеб по указной цене – торговцы не слушались. Он пустил в действие строгость законов – торговцы прекратили рискованный подвоз закупленного ими по провинциям хлеба в осажденную столицу. Мало того, по московским улицам и рынкам полилась из тысяч уст оппозиционная публицистика, начали говорить, что все беды, и вражий меч, и голод падают на народ потому, что царь несчастлив. Тогда в Московский Успенский собор созвано было небывалое народное собрание. Патриарх Гермоген сказал сильную проповедь о любви и милосердии; за ним сам царь произнес речь, умоляя кулаков не скупать хлеба, не поднимать цен. Но борьба обеих высших властей, церковной и

государственной, с народной психологией и политической экономией была безуспешна. Тогда светлая мысль, одна из тех, какие часто приходят в голову добрым людям, осенила царя и патриарха. Древнерусский монастырь всегда был запасной житницей для нуждающихся, ибо церковное богатство, как говорили пастыри нашей Церкви, – нищих богатство.

Жил тогда на Троицком подворье в Москве келарь Троицкого Сергиева монастыря, отец Авраамий, обладавший значительными запасами хлеба. Царь и патриарх уговорили его выслать несколько сот четвертей на московский рынок по 2 руб. за четверть. Это была больше психологическая, чем политико-экономическая операция: келарь выбросил на рынок многолюдной столицы всего только 200 мер ржи; но цель была достигнута. Торговцы испугались, когда пошел слух, что на рынок тронулись все хлебные запасы этого богача-монастыря, считавшиеся неисчерпаемыми, и цена хлеба надолго упала до 2 рублей. Через несколько времени Авраамий повторил эту операцию с таким же количеством хлеба и с прежним успехом.

На долю XVII века выпало печальное преимущество тяжелым опытом понять и оценить всю важность поставленного еще на Стоглавом соборе вопроса об общественной благотворительности, как вопроса законодательства и управления, и перенести его из круга действия личного нравственного чувства в область общественного благоустройства. Тяжелые испытания привели к мысли, что государственная власть своевременными мерами может ослабить или предотвратить бедствия нуждающихся масс и даже направить частную благотворительность.

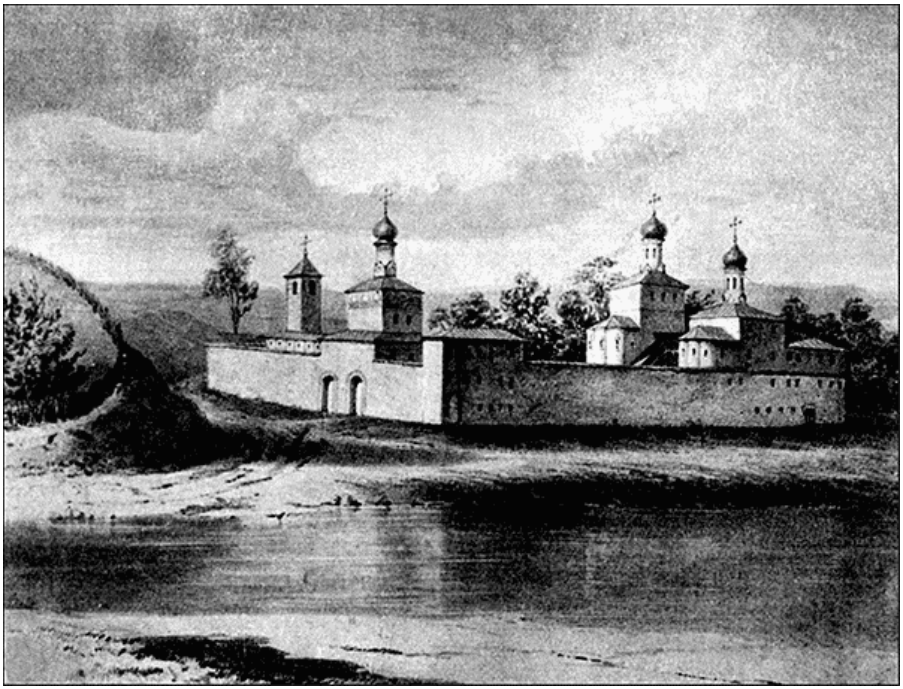
В 1654 г. началась и при очень неблагоприятных условиях продолжалась война с Польшей за Малороссию. Эпидемия опустошила деревни и села и уменьшила производство хлеба. Падение курса выпущенных в 1656 г. кредитных медных денег с номинальной стоимостью серебряных усилило дороговизну: цена хлеба, с начала войны удвоившаяся, к началу 1660-х годов в иных местах поднялась до 30–40 руб. за четверть ржи на наши деньги. В 1660 г. сведущие люди из московского купечества, призванные для совещания с боярами о причинах дороговизны и о средствах ее устранения, между прочим указали на чрезвычайное развитие винокурения и пивоварения, и предложили прекратить продажу вина в питейных заведениях, закрыть винные заводы, также принять меры против скупки хлеба и не допускать скупщиков и кулаков на хлебные рынки раньше полудня. Наконец, переписать запасы хлеба, заготовленные скупщиками, перевезти их в Москву на казенный счет и продавать здесь бедным людям, а скупщикам заплатить из казны по их цене деньгами. Как только тяжесть

положения заставила вдуматься в механизм народнохозяйственного оборота, тотчас живо почувствовалось, что может сделать государственная власть для устранения возникающих в нем замешательств.

В эти тяжелые годы стоял близко к царю человек, который добрым примером показал, как можно соединить частную благотворительность с общественной и на чувстве личного сострадания построить устойчивую систему благотворительных учреждений.

Это был Ф. М. Ртищев, ближний постельничий, как бы сказать, обер-гофмейстер при дворе царя Алексея Михайловича, а потом его дворецкий, т. е. министр двора. Этот человек – одно из лучших воспоминаний, завещанных нам древнерусской стариной. Один из первых насадителей научного образования в Москве XVII века, он принадлежал к числу крупных государственных умов Алексеева времени, столь обильного крупными умами. Ему приписывали и мысль упомянутой кредитной операции с медными деньгами, представлявшей небывалую новость в тогдашней финансовой политике, и не его вина, если опыт кончился неблагополучно. Много занятый по службе, пользуясь полным доверием царя и царицы и большим уважением придворного общества, воспитатель царевича Алексея, Ртищев поставил задачей своей частной жизни служение страждущему и нуждающемуся человечеству. Помощь ближнему была постоянной потребностью его сердца, а его взгляд на себя и на ближнего сообщал этой потребности характер ответственного, но непритязательного нравственного долга.

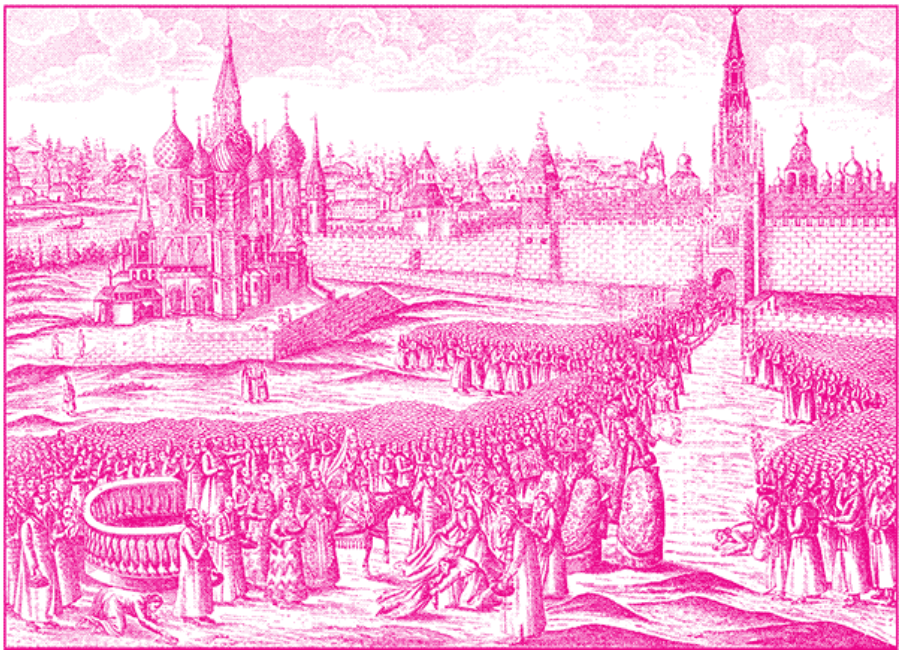
Ртищев принадлежал к числу тех редких и немного странных людей, у которых совсем нет самолюбия, по крайней мере, в простом ходячем смысле этого слова. Наперекор природным инстинктам и исконным людским привычкам в заповеди Христовой любить ближнего своего, как самого себя, он считал себя способным исполнять только первую часть. Он и самого себя любил только для ближнего, считая себя самым последним из своих ближних, о котором не грешно подумать разве только тогда, когда уже не о ком больше думать. Совершенно евангельский человек, правая щека которого сама собою без хвастовства и расчета подставлялась ударившему по левой, как будто это было требованием физического закона или светского приличия, а не подвигом смирения.



Андреевский монастырь под Москвой, где в 1647 году было основано училище.

Литография XIX в. со старинной гравюры

Ртищев не понимал обиды, как иные не знают вкуса в вине, не считая этого за воздержание, а просто не понимая, как это можно пить такую неприятную и бесполезную вещь. Своему обидчику он первый шел навстречу с просьбой о прощении и примирении. С высоты своего общественного положения он не умел скользить высокомерным взглядом поверх людских голов, останавливаясь на них лишь для того, чтобы сосчитать их. Человек не был для него только счетной единицей, особенно человек бедный и страждущий. Высокое положение только расширило, как бы сказать, пространство его человеколюбия, дав ему возможность видеть, сколько живет на свете людей, которым надо помочь, и его сострадательное чувство не довольствовалось помощью первому встречному страданию. С высоты древнерусского сострадания личному, конкретному горю, вот тому или этому несчастному человеку, Ртищев умел подняться до способности соболезновать людскому несчастью, как общему злу, и бороться с ним, как со своим личным бедствием. Потому случайные и прерывистые вызовы личной благотворительности он хотел превратить в постоянно действующую общественную организацию, которая подбирала бы массы труждающихся и обремененных, облегчая им несение тяжкой повинности жизни.



Крестный ход в Москве в XVII в.

Впечатления польской войны могли только укрепить эту мысль. Сам царь двинулся в поход, и Ртищев сопровождал его, как начальник его походной квартиры. Находясь по должности в тылу армии, Ртищев видел ужасы, какие оставляет после себя война, и которых обыкновенно не замечают сами воюющие – те, которые становятся их первыми жертвами. Тыл армии – тяжкое испытание и лучшая школа человеколюбия: тот уже неотступно полюбит человека, кто с перевязочной линии не унесет ненависти к людям.

Ртищев взглянул на отвратительную работу войны, как на жатву своего сердца, как на печально-обильный благотворительный урожай. Он страдал ногами, и ему трудно было ездить верхом. По дороге он кучами подбирал в свой экипаж больных, раненых, избитых и разоренных, так что иногда и ему не оставалось места, и, пересев на коня, он плелся за своим импровизированным походным лазаретом до ближнего города, где тотчас нанимал дом, куда, сам кряхтя от боли, сваливал свою охающую и стонущую братию, устроял ей содержание и уход за ней и даже неизвестно каким образом набирал врачебный персонал, «назиратаев и врачев им и кормителей устрояше, во упокоение их и врачевание от имения своего им изнуряя», как вычурно замечает его биограф. Так обер-гофмейстер двора его величества сам собою превратился в печальника Красного Креста, им же и устроенного на собственные средства.

Впрочем, в этом деле у него была тайная денежная и сердечная пособница, которую выдал истории тот же болтливый биограф. В своем молчаливом кармане Ртищев вез на войну значительную сумму, тихонько сунутую ему царицей Марьей Ильиничной, и биограф нескромным намеком дает понять, что перед походом они уговорились принимать в задуманные ими временные военные госпитали даже пленных врагов, нуждавшихся в госпитальной помощи. Надобно до земли поклониться памяти этих людей, которые безмолвной экзегетикой своих дел учат нас понимать слова Христа: «Любите враги ваша, добро творите ненавидящим вас». Подобные дела повторились и в Ливонском походе царя, когда в 1656 г. началась война со Швецией.

Можно думать, что походные наблюдения и впечатления не остались без влияния на план общественной благотворительности, составившийся в уме Ртищева. Этот план рассчитан был на самые больные язвы тогдашней русской жизни. Прежде всего, крымские татары в XVI и XVII вв. сделали себе прибыльный промысел из разбойничьих нападений на Русскую землю, где они тысячами и десятками тысяч забирали пленных, которых продавали в Турцию и другие страны. Чтобы спасти и воротить домой этих пленных, московское правительство устроило их выкуп на казенный счет, для чего ввело особый общий налог, *полоняничные деньги*. Этот выкуп назывался «общей милостыней», в которой все должны были участвовать: и царь, и все «православные христиане», его подданные. По соглашению с разбойниками были установлены порядок привоза пленного товара и тариф, по которому он выкупался, смотря по общественному положению пленников. Выкупные ставки во времена Ртищева были довольно высоки: за людей, стоявших в самом низу тогдашнего общества, крестьян и холопов, назначено было казенного откупа около 250 руб. на наши деньги за человека; за людей высших классов платили тысячи. Но государственное воспособление выкупу было недостаточно.

Насмотревшись во время походов на страдания пленных, Ртищев вошел в соглашение с жившим в России купцом-греком, который, ведя дела с магометанским Востоком, на свой счет выкупал много пленных христиан. Этому доброму человеку Ртищев передал капитал в 17 тыс. рублей на наши деньги, к которому грек, принявший на себя операцию выкупа, присоединил свой вклад, и таким образом составилась своего рода благотворительная компания для выкупа русских пленных у татар. Но, верный уговору с царицей, Ртищев не забывал и иноземцев, которых плен забрасывал в Россию, облегчал их

тяжелое положение своим ходатайством и милостыней.

Московская немощеная улица XVII в. была очень неопрятна: среди грязи несчастие, праздность и порок сидели, ползали и лежали рядом; нищие и калеки вопили к прохожим о подаянии, пьяные валялись на земле. Ртищев составил команду рассыльных, которые подбирали этот люд с улиц в особый дом, устроенный им на свой счет, где больных лечили, а пьяных вытрезвляли и потом, снабдив необходимым, отпускали, заменяя их новыми пациентами. Для престарелых, слепых и других калек, страдавших неизлечимыми недугами, Ртищев купил другой дом, тратя на их содержание свои последние доходы. Этот дом под именем Больницы Федора Ртищева существовал и после его смерти, поддерживаемый доброхотными даяниями.

Так Ртищев образовал два типа благотворительных заведений: амбулаторный приют для нуждающихся во временной помощи и постоянное убежище – богадельню для людей, которых человеколюбие должно было взять на свои руки до их смерти. Но он прислушивался к людской нужде и вне Москвы и здесь продолжал дело своей предшественницы Ульяны Осорьиной: кстати сказать, и его мать звали Ульяной. Случился голод в Вологодском краю. Местный архиепископ помогал голодающим, сколько мог. Ртищев, растратив деньги на свои московские заведения, продал все свое лишнее платье, всю лишнюю домашнюю утварь, которой у него, богатого барина, было множество, и послал вырученные деньги вологодскому владыке, который, прибавив к пожертвованию и свою малую толику, прокормил много бедного народа.

С осторожным и глубоко сострадательным вниманием останавливался Ртищев перед новым родом людей, нуждавшимся в сострадательном внимании, который во времена Иулиании только зарождался: в XVII в. сложилось крепостное состояние крестьян. Личная свобода крестьян была одною из тех жертв, какие наше государство в XVII в. было вынуждено принести в борьбе за свою целость и внешнюю безопасность. Биограф Ртищева только двумя-тремя чертами обозначил его отношение к этому новому поприщу благотворения, но чертами, трогающими до глубины души.

Будучи крупным землевладельцем, он однажды должен был, нуждаясь в деньгах, продать свое село Ильинское. Сторговавшись с покупщиком, он сам добровольно уменьшил условленную цену, но при этом подвел нового владельца к образу и заставил его побожиться, что он не увеличит человеколюбиво рассчитанных повинностей, какие отбывали крестьяне села в пользу прежнего барина, – необычная и немного странная форма словесного

векселя, взятого на совесть векселедателя. Поддерживая щедрыми ссудами инвентарь своих крестьян, он больше всего боялся расстроить это хозяйство непосильными оброками и барщинными работами и недовольно хмурил брови всякий раз, когда в отчетах управляющих замечал приращение барского дохода.

Известно, как заботился древнерусский человек о загробном устроении своей души с помощью вкладов, посмертной молитвы и поминовения. Вотчины свои Ртищев завещал своей дочери и зятю князю Одоевскому. Он заказал наследникам отпустить всех своих дворовых на волю. Тогда законодательство еще не выработало порядка увольнения крепостных крестьян с землей целыми обществами. «Вот как устроите мою душу, – говорил Ртищев перед смертью зятю и дочери, – в память по мне, будьте добры к моим мужикам, которых я укрепил за вами, владейте ими льготно, не требуйте от них работ и оброков свыше силы-возможности, потому что они нам братья; это моя последняя и самая большая к вам просьба».

Ртищев умел сострадать положению целых обществ или учреждений, как сострадают горю отдельных лиц. Мы все помним прекрасный рассказ, читанный нами еще на школьной скамье в учебнике. Под Арзамасом у Ртищева была земля, за которую ему давали частные покупатели до 17 тыс. рублей на наши деньги. Но он знал, что земля до зарезу нужна арзамасцам, и предложил городу купить ее хотя бы за пониженную цену. Но городское общество было так бедно, что не могло заплатить сколько-нибудь приличной цены, и не знало, что делать. Ртищев подарил ему землю.

Современники, наблюдавшие двор царя Алексея, свои и чужие, оставили очень мало известий о министре этого двора Ртищеве. Один иностранный посол, приезжавший тогда в Москву, отозвался о нем, что, едва имея 40 лет от роду, он превосходил благоразумием многих стариков. Ртищев не выставлялся вперед. Это был один из тех скромных людей, которые не любят идти в первых рядах, но, оставаясь назади и высоко подняв светочи над головами, освещают путь передовым людям.

Особенно трудно было уследить за его благотворительной деятельностью. Но его понимали и помнили среди низшей братии, за которую он положил свою душу. Его биограф, описывая его смерть, передает очень наивный рассказ, Ртищев умер в 1673 г. всего 47 лет от роду. За два дня до его смерти, жившая у него в доме девочка лет 12, которую он привечал за ее кроткий нрав, помолившись, как было заведено в этом доме, улеглась спать и, задремав, видит: сидит ее больной хозяин, такой веселый да нарядный, а на голове у него точно венец.

Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к нему молодец, тоже нарядно одетый, и говорит: «Зовет тебя царевич Алексей». А этот царевич, воспитанник Ртищева, тогда был уже покойником. «Погоди немного, нельзя еще», – отвечал хозяин. Молодец ушел. Скоро пришли двое других таких же и опять говорят: «Зовет тебя царевич Алексей». Хозяин встал и пошел, а за ноги его уцепились две малютки, дочь его да племянница, и не хотят отстать от него. Он отстранил их, сказав: «Отойдите, не то возьму вас с собой». Вышел хозяин из палаты, а тут перед ним очутилась лестница от земли до самого неба, и полез он по этой лестнице, а там на выси небесной объявился юноша с золотыми крылышками, протянул хозяину руку и подхватил его. В этом сне девочки, рассказанном в девичьей Ртищева, отлились все благородные слезы бедных людей, утертые хозяином. Много рассказывали и про самую смерть его. В последние минуты, уже совсем приготовившись, он позвал к себе в спальню нищих, чтобы из своих рук раздать им последнюю милостыню, потом прилег и забылся. Вдруг его угасавшие глаза засветились, точно озаренные каким-то видением, лицо оживилось, и он весело улыбнулся: с таким видом он и замер. Всю жизнь страдать, благотворить и умереть с веселой улыбкой – вполне заслуженный конец такой жизни.

Б. Кустодиев. **Московская школа XVII века.** *1907 г.*

Не осталось известий о том, нашло ли отголосок в землевладельческом обществе отношение Ртищева к крепостным крестьянам; но его благотворительная деятельность, по-

видимому, не осталась без влияния на законодательство. Добрые идеи, поддержанные добрыми проводниками и примерами, легко облекаются в плоть и кровь своего рода, в обычаи, законы, учреждения. Нерасчетливая частная благотворительность Древней Руси вскормила ремесло нищенства, стала средством питания праздности и сама нередко превращалась в холодное исполнение церковного приличия, в раздачу копеечек просящим вместо помощи нуждающимся. Милостивцы, подобные Иулиании и Ртищеву, восстановляли истинное христианское значение милостыни, источник которой – теплое сострадательное чувство, а цель – уничтожение нужды, нищеты, страдания. В этом же направлении после Ртищева начинает действовать и законодательство.

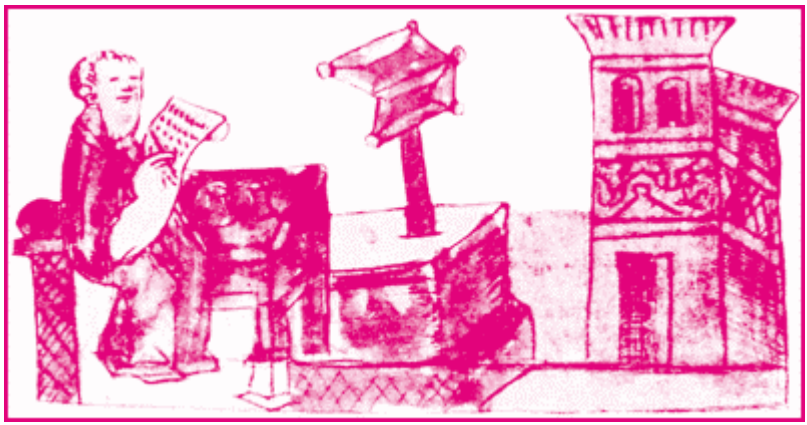
Со времени Алексеева преемника идет длинный ряд указов против праздного ремесленного нищенства и частной ручной милостыни. С другой стороны, государственная власть подает руку церковной для дружной работы над устройством благотворительных заведений. При царе Федоре Алексеевиче произвели разборку московских нищих: действительно беспомощных велено содержать на казенный счет в особом приюте, а здоровым лентяям дать работу, может быть, в задуманных тогда же рабочих домах.

Предположено было построить в Москве два благотворительных заведения, больницу и богадельню для болящих, бродящих и лежащих по улицам нищих, чтобы они там не бродили и не валялись: по-видимому, предполагались заведения, подобные тем, какие устроены были Ртищевым. На церковном соборе 1681 г. царь предложил патриарху и архиереям устроить такие же убежища для нищих и в провинциальных городах, и собор принял предложение. Так частный почин доброго и влиятельного человека дал прямой или косвенный толчок мысли об устройстве целой системы церковно-государственных благотворительных заведений. Он не только оживил, без сомнения, усердие доброхотных дателей к доброму делу, но и подсказал самую его организацию, желательные и возможные формы, в которые оно должно было облечься.

Тем ведь и дорога память этих добрых людей, что их пример в трудные минуты не только ободряет к действию, но и учит, как действовать. Иулиания и Ртищев – это образцы русской благотворительности. Одинаковое чувство подсказывало им различные способы действия, сообразные с положением каждого. Одна благотворила больше дома, в своем тесном сельском кругу; другой действовал преимущественно на широкой столичной площади и улице. Для одной благодеяние было выражением

личного сострадания; другой хотел превратить его в организованное общественное человеколюбие. Но, идя различными путями, оба шли к одной цели: не теряя из виду нравственно-воспитательного значения благотворительности, они смотрели на нее, как на непрерывную борьбу с людской нуждой, горем беспомощного ближнего. Они и им подобные воспитатели и пронесли этот взгляд через ряд веков, и он доселе живет в нашем обществе, деятельно обнаруживаясь всякий раз, когда это нужно. Сколько Ульян, незаметно и без шума, ведет теперь эту борьбу по захолустьям пораженных нуждой местностей! Есть, без сомненья, и Ртищевы, и они не переведутся. По завету их жизни будут действовать даже тогда, когда их самих забудут. Из своей исторической дали они не перестанут светить, подобно маякам среди ночной мглы, освещая нам путь и не нуждаясь в собственном свете. А завет их жизни таков: жить – значит любить ближнего, т. е. помогать ему жить; больше ничего не значит жить и больше не для чего жить.

Нестор И Сильвестр



Нестор Летописец.
Из Кенигсбергской летописи

В составном, сводном изложении дошло до нас древнейшее повествование о том, что случилось в нашей земле в IX, X, XI и в начале XII вв. по 1110 г. включительно. Рассказ о событиях этого времени, сохранившийся в старинных летописных сводах, прежде было принято называть Летописью Нестора, а теперь чаще называют Начальной летописью. В библиотеках не спрашивайте Начальной летописи – вас, пожалуй, не поймут и переспросят: «Какой список летописи нужен вам?» Тогда вы, в свою очередь, придете в недоумение. До сих пор не найдено ни одной рукописи, в которой Начальная летопись была бы помещена отдельно в том виде, как она вышла из-под пера древнего составителя. Во всех известных списках она сливается с рассказом ее продолжателей, который в позднейших сводах доходит обыкновенно до конца XVI в.

Если хотите читать Начальную летопись в наиболее древнем ее составе, возьмите Лаврентьевский или Ипатьевский ее список. Лаврентьевский список – самый древний из сохранившихся списков общерусской летописи. Он писан в 1377 г. «худым, недостойным и многогрешным рабом Божиим мнихом Лаврентием для князя Суздальского Димитрия Константиновича», тестя Димитрия Донского, и хранился потом в Рождественском монастыре в городе Владимире, на Клязьме. В этом списке за Начальной летописью следуют известия о Южной, Киевской, и о Северной, Суздальской, Руси, прерывающиеся на 1305 г.

Другой список, Ипатьевский, писан в конце XIV или в начале XV столетия и найден в Костромском Ипатьевском монастыре,

отчего и получил свое название. Здесь за Начальной летописью следует подробный и превосходный по простоте, живости и драматичности рассказ о событиях в Русской земле, преимущественно в Южной, Киевской Руси XII в., а с 1201 по 1292 г. идет столь же превосходный и часто поэтический рассказ Волынской летописи о событиях в двух смежных княжествах – Галицком и Волынском.

Преподобный Нестор Летописец.
Из книги «Патерик Печерский – сие есть Отечник»

Рассказ с половины IX столетия до 1110 г. включительно по

этим двум спискам и есть древнейший вид, в каком дошла до нас Начальная летопись. Прежде, до половины прошлого столетия, критика этого капитального памятника исходила из предположения, что весь он – цельное произведение одного писателя, и потому сосредоточивала свое внимание на личности летописца и на восстановлении подлинного текста его труда. Но, всматриваясь в памятник ближе, заметили, что он не есть подлинная древняя киевская летопись, а представляет такой же летописный свод, каковы и другие позднейшие, а древняя киевская летопись есть только одна из составных частей этого свода.

Следы древнего летописца. До половины XI в. в Начальной летописи не встречаем следов этого древнего киевского летописца; но во второй половине века он несколько раз выдает себя. Так, под 1065 годом, рассказывая о ребенке-уроде, вытащенном рыбаками из речки Сетомли близ Киева, летописец говорит: «…его же позоровахом до вечера». Был ли он тогда уже иноком Печерского монастыря или бегал мальчиком смотреть на диковину, сказать трудно. Но в конце XI в. он жил в Печерском монастыре. Рассказывая под 1096 годом о набеге половцев на Печерский монастырь, он говорит: «…и придоша на монастырь Печерский, нам сущим по кельям почивающим по заутрени». Далее узнаем, что летописец был еще жив в 1106 г. В этом году, пишет он, «скончался старец добрый Ян, живший 90 лет, в старости маститой, жил он по закону Божию, не хуже был первых праведников, от него же и аз многа словеса слышах, еже и вписах в летописаньи сем». На основании этого можно составить некоторое понятие о начальном киевском летописце. В молодости он жил уже в Киеве, в конце XI и в начале XII в. был, наверное, иноком Печерского монастыря и вел летопись. С половины XII в., даже несколько раньше, и летописный рассказ становится подробнее и теряет легендарный отпечаток, какой лежит на известиях летописи до этого времени.

Кто он был? Кто был этот летописец? Уже в начале XIII столетия существовало предание в Киево-Печерском монастыре, что это был инок того же монастыря Нестор. Об этом Несторе, «иже написа летописец», упоминает в своем послании к архимандриту Акиндину (1224–1231) монах того же монастыря Поликарп, писавший в начале XIII столетия. Историограф Татищев откуда-то знал, что Нестор родился на Белоозере.

Нестор известен в нашей древней письменности, как автор двух повествований, жития преподобного Феодосия и сказания о святых князьях Борисе и Глебе. Сличая эти памятники с соответствующими местами известной нам Начальной летописи,

нашли непримиримые противоречия. Например, в летописи есть сказание об основании Печерского монастыря, где повествователь говорит о себе, что его принял в монастырь сам преподобный, а в житии Феодосия биограф замечает, что он, грешный Нестор, был принят в монастырь уже преемником Феодосия, игуменом Стефаном. Эти противоречия между летописью и названными памятниками объясняются тем, что читаемые в летописи сказания о Борисе и Глебе, Печерском монастыре и преподобном Феодосии не принадлежат летописцу. Они вставлены в летопись составителем свода и писаны другими авторами. Первое – монахом XI в. Иаковом. Два последние, помещенные в летописи под 1051 и 1074 гг., вместе с третьим рассказом под 1091 г. о перенесении мощей преподобного Феодосия представляют разорванные части одной цельной повести, написанной постриженикомом и учеником Феодосиевым, который, как очевидец, знал о Феодосии и монастыре его времени больше Нестора, писавшего по рассказам старших братий обители. Однако эти разноречия подали повод некоторым ученым сомневаться в принадлежности Начальной летописи Нестору, тем более что за рассказом о событиях 1110 г. в Лаврентьевском списке следует такая неожиданная приписка: «Игумен Силивестр святого Михаила написах книгы си летописец, надеяся от Бога милость прияти, при князи Володимере, княжащю ему Кыеве, а мне в то время игуменящю у святого Михаила, в 6624».

Сомневаясь в принадлежности древней киевской летописи Нестору, некоторые исследователи останавливаются на этой приписке как на доказательстве, что начальным киевским летописателем был игумен Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве Сильвестр, прежде живший иноком в Печерском монастыре. Но и это предположение сомнительно. Если древняя киевская летопись оканчивалась 1110 г., а Сильвестр сделал приписку в 1116 г., то почему он пропустил промежуточные годы, не записавши совершившихся в них событий, или почему сделал приписку не одновременно с окончанием летописи, а пять-шесть лет спустя? С другой стороны, в XIV–XV вв. в нашей письменности, по-видимому, отличали начального киевского летописателя от Сильвестра, как его продолжателя. В одном из поздних сводов, Никоновском, после сенсационного рассказа о несчастном для русских нашествии ордынского князя Едигея в 1409 г., современник-летописец делает такое замечание: «Я написал это не в досаду кому-нибудь, а по примеру начального летословца киевского, который, не обинуясь, рассказывает вся временна бытства земская (все события, совершившиеся в нашей земле. – *В.К.*)»; да и наши первые

властодержцы без гнева позволяли описывать все доброе и недоброе, случавшееся на Руси, как при Владимире Мономахе, не украшая, описывал оный великий Сильвестр Выдубицкий. Значит, Сильвестр не считался в начале XV в. начальным летословцем киевским.

Разбирая состав Начальной летописи, мы, кажется, можем угадать отношение к ней этого Сильвестра. Эта летопись есть сборник очень разнообразного исторического материала, нечто вроде исторической хрестоматии. В ней соединены и отдельные краткие погодные записи, и пространные рассказы об отдельных событиях, писанные разными авторами, и дипломатические документы, например договоры Руси с греками X в. или послание Мономаха к Олегу Черниговскому 1098 г., спутанное с его же «Поучением к детям» (под 1096 г.), и даже произведения духовных пастырей, например «Поучение Феодосия Печерского». В основание свода легли как главные его составные части три особые цельные повествования.

Теперь можно объяснить отношение этого Сильвестра и к Начальной летописи, и к летописцу Нестору. Так называемая Начальная летопись, читаемая нами по Лаврентьевскому и родственным ему спискам, есть летописный свод, а не подлинная летопись киево-печерского инока. Эта Киево-Печерская летопись не дошла до нас в подлинном виде, а, частью сокращенная, частью дополненная вставками, вошла в начальный летописный свод как его последняя и главная часть. Значит, нельзя сказать ни того, что Сильвестр был начальным киевским летописцем, ни того, что Нестор составил читаемую нами древнейшую летопись, т. е. начальный летописный свод. Нестор был составителем древнейшей киевской летописи, не дошедшей до нас в подлинном виде, а Сильвестр – составителем начального летописного свода, который не есть древнейшая киевская летопись. Он был и редактором вошедших в состав свода устных народных преданий и письменных повествований, в том числе и самой Нестеровой летописи.

Исторические воззрения летописца. Этот исторический взгляд так сросся с настроением, со всем духовным складом летописца, что его можно назвать летописным, хотя его разделяли люди одинакового с летописцем настроения или мышления, не принимавшие никакого участия в летописном деле. Этот взгляд имеет большое значение в историографии, потому что пережил летописание и долго управлял мышлением ученых-историков. Они долго продолжали смотреть на явления человеческой жизни глазами летописца, даже когда покинули летописные приемы их обработки и изложения. Потому, кажется

мне, этот взгляд заслуживает нашего внимания. Научная задача историка, как ее теперь понимают, состоит в уяснении происхождения и развития человеческих обществ. Летописца гораздо более занимает сам человек, его земная и особенно загробная жизнь. Его мысль обращена не к начальным, а к конечным причинам существующего и бывающего. Историк-прагматик изучает генезис и механизм людского общежития; летописец ищет в событиях нравственного смысла и практических уроков для жизни; предметы его внимания – историческая телеология и житейская мораль. На мировые события он смотрит самоуверенным взглядом мыслителя, для которого механика общежития не составляет загадки: ему ясны силы и пружины, движущие людскую жизнь.

Два мира противостоят и борются друг с другом, чтобы доставить торжество своим непримиримым началам добра и зла. Борцами являются ангелы и бесы. У дня и ночи, света и мрака, снега и града, весны, лета, осени и зимы есть свой ангел; ко всему, ко всем творениям приставлены ангелы. Так и ко всякому человеку, всякой земле, даже языческой, приставлены ангелы охранять их от зла, помогать им против лукавого. И у противной стороны есть сильные средства и способы действия: это – бесовские козни и злые люди.

Бесы подтолкнут человека на зло и сами же над ним смеются, ввергнув его в пропасть смертную. Прельщают они видениями, волхвованиями, особенно женщин, и разными кознями наводят людей на зло. А злой человек хуже самого беса: бесы хоть Бога боятся, а злой человек «ни Бога ся боит, ни человек ся стыдит». Но и у бесов есть своя слабость – умея внушить людям злые помыслы, они не знают мыслей человеческих, которые ведает только Бог, и потому, пуская свои лукавые стрелы наугад, часто промахиваются. Борьба обоих миров идет из-за человека. Куда, к какому концу направляется житейский водоворот, производимый борьбой, и как в нем держаться человеку – вот главный предмет внимания для летописца. Жизнь дает человеку указания, предостерегающие и вразумляющие; надобно только уметь замечать и понимать их.

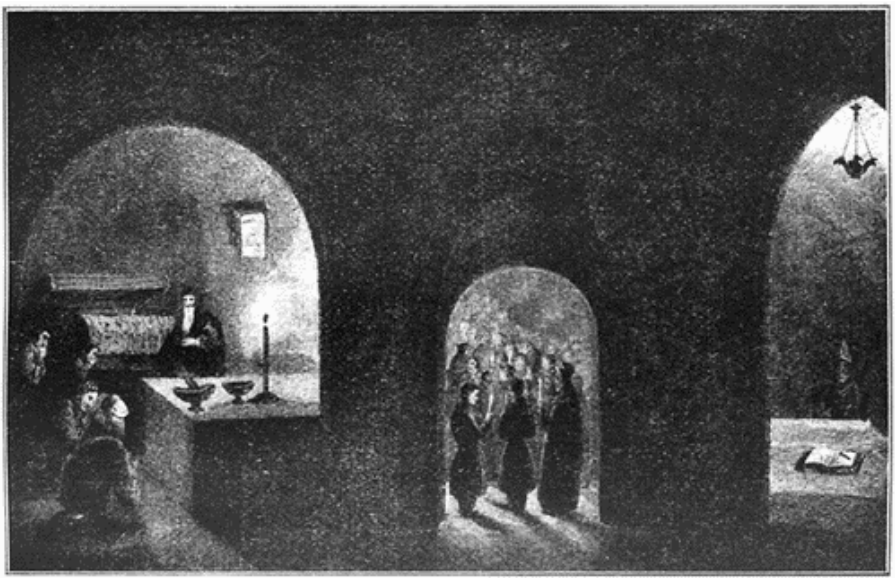
Главная святыня Киево-Печерской лавры – чудотворная икона Успения Божией Матери

Летописец описывает нашествия поганых на Русскую землю, беды, какие она терпит от них. Зачем попускает Бог неверным торжествовать над христианами? Не думай, что Бог любит первых больше, чем последних: нет, Он попускает поганым торжествовать над нами не потому, что их любит, а потому, что нас милует и хочет сделать достойными Своей милости, чтобы мы, вразумленные несчастиями, покинули путь нечестия. Поганые – это батог, которым Провидение исправляет детей своих. «Бог бо казнит рабы Своя напастьми различными, огнем и водою и ратью и иными различными казньми; хрестьянину бо многими напастьми внити в Царство Небесное».

Так историческая жизнь служит нравственно-религиозной школой, в которой человек должен научиться познавать пути Провидения. Горе ему, если он разойдется с этими путями. Игорь и Всеволод Святославичи, побив половцев, мечтают о славе, какая ждет их, когда они прогонят поганых к самому морю, куда еще не ходили деды наши, а возьмем до конца свою славу и честь. Говорили они так, «не ведая Божия строения», предназначившего им поражение и плен. Все провозвещает эти пути, не только исторические события, но и физические явления, особенно необычайные знамения небесные. Отсюда напряженный интерес летописца к явлениям природы. В этом отношении его программа даже шире, чем у современного историка. У него природа прямо вовлечена в историю, является не источником стихийных, часто

роковых влияний, то возбуждающих, то угнетающих дух человека, даже не просто немой обстановкой человеческой жизни. Она сама – живое, действующее лицо истории, живет вместе с человеком, радеет ему, знамениями вещает ему волю Божию. У летописца есть целое учение о знамениях небесных и земных и об их отношении к делам человеческим. Знамения бывают либо к добру, либо ко злу. Землетрясения, затмения, необычайные звезды, наводнения – все такие редкие, знаменательные явления не на добро бывают, проявляют либо рать, усобицу, голод, мор, либо чью смерть. Согрешит какая-либо земля – Бог казнит ее голодом, нашествием поганых, зноем либо иной какой казнью.

Так летописец является моралистом, который видит в жизни человеческой борьбу двух начал, добра и зла, Провидения и диавола, а человека считает лишь педагогическим материалом, который Провидение воспитывает, направляя его к высоким целям, ему предначертанным. Добро и зло, внешние и внутренние бедствия, самые знамения небесные – все в руках Провидения служит воспитательным средством для человека, пригодным материалом для строения Божия, мирового нравственного порядка, созидаемого Провидением. Летописец более всего рассказывает о политических событиях и международных отношениях; но взгляд его по существу своему – церковно-исторический. Его мысль сосредоточена не на природе действующих в истории сил, известной ему из других источников, а на образе их действий по отношению к человеку и на уроках, какие человек должен извлекать для себя из этого образа действий. Эта дидактическая задача летописания и сообщает спокойствие и ясность рассказу летописца, гармонию и твердость его суждениям.



В пещерах Киево-Печерской лавры.
Из книги «Картины России» П. Свиньина, издания 1839 года

Сергий Радонежский

Образ Преподобного Сергия Радонежского.
Работа иконописной мастерской Троице-Сергиевой лавры

Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства.

Когда вместе с разнообразной, набожно крестящейся народной волной вступаешь в ворота Сергиевой Лавры, иногда думаешь: почему в этой обители нет и не было особого наблюдателя, подобного древнерусскому летописцу, который спокойным неизменным взглядом наблюдал и ровной бесстрастной рукой записывал, «еже содеяся в Русской земле», и делал это одинаково из года в год, из века в век, как будто это был один и тот же человек, не умиравший целые столетия? Такой

бессменный и не умирающий наблюдатель рассказал бы, какие люди приходили в течение 500 лет поклониться гробу Преподобного Сергия, и с какими помыслами и чувствами возвращались отсюда во все концы Русской земли. Между прочим, он объяснил бы нам, как это случилось, что состав общества, непрерывною волной притекавшего к гробу Преподобного, в течение пяти веков оставался неизменным. Еще при жизни Преподобного, как рассказывает его жизнеописатель-современник, многое множество приходило к нему из различных стран и городов, и в числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди, «на селе живущие». И в наши дни люди всех классов русского общества притекают к гробу Преподобного со своими думами, мольбами и упованиями, государственные деятели приходят в трудные переломы народной жизни, простые люди – в печальные или радостные минуты своего частного существования. И этот приток не изменился в течение веков, несмотря на неоднократные и глубокие перемены в строе и настроении русского общества. Старые понятия иссякали, новые пробивались или наплывали, а чувства и верования, которые влекли сюда людей со всех концов Русской земли, бьют до сих пор тем же свежим ключом, как били в XIV в.

Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью Преподобного, что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано пред его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни.

Впрочем, если Преподобный Сергий доселе остается для приходящих к нему тем же, чем был для них при своей жизни, то и теперь на их лицах можно прочитать то же, что прочитал бы монастырский наблюдатель на лицах своих современников 400 или 500 лет назад. Достаточно взглянуть на первые встречные лица из многого множества, в эти дни здесь теснящегося, чтобы понять, во имя чего поднялись со своих мест эти десятки тысяч, а сотни других мысленно следовали за ними. Да и каждый из нас в своей собственной душе найдет то же общее чувство, стоя у гробницы Преподобного.

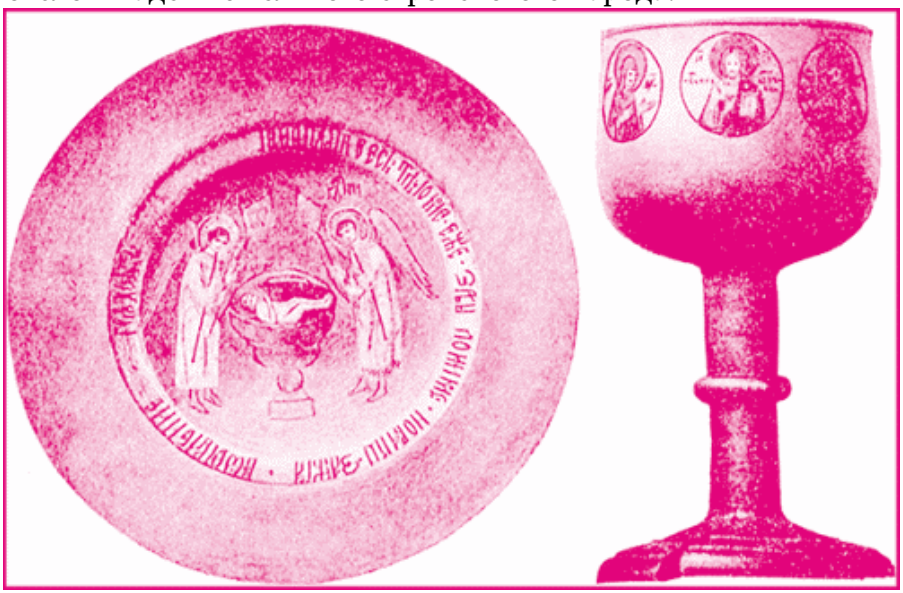
У этого чувства уже нет истории, как для того, кто покоится в этой гробнице, давно остановилось движение времени. Это чувство вот уже пять столетий одинаково загорается в душе молящегося у этой гробницы, как солнечный луч в продолжение тысячелетий одинаково светится в капле чистой воды. Спросите любого из этих простых людей, с посохом и котомкой пришедших сюда издалека: когда жил Преподобный Сергий и что сделал для

Руси XIV века, чем он был для своего времени? И редкий из них даст вам удовлетворительный ответ; но на вопрос, что он есть для них, далеких потомков людей XIV века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно.

Есть имена, которые носили исторические люди, жившие в известное время, делавшие исторически известное жизненное дело, но имена, которые уже утратили хронологическое значение, выступили из границ времени, когда жили их носители. Это потому, что дело, сделанное таким человеком, по своему значению так далеко выходило за пределы своего века, своим благотворным действием так глубоко захватило жизнь дальнейших поколений, что с лица, его сделавшего, в сознании этих поколений постепенно спадало все временное и местное, и оно из исторического деятеля превратилось в народную идею, а самое дело его из исторического факта стало практической заповедью, заветом, тем, что мы привыкли называть идеалом. Такие люди становятся для грядущих поколений не просто великими покойниками, а вечными их спутниками, даже путеводителями, и целые века благоговейно твердят их дорогие имена не столько для того, чтобы благодарно почтить их память, сколько для того, чтобы самим не забыть правила, ими завещанного. Таково имя Преподобного Сергия; это не только назидательная, отрадная страница нашей истории, но и светлая черта нашего нравственного народного содержания.

Какой подвиг так освятил это имя? Надобно припомнить время, когда подвизался Преподобный. Он родился, когда вымирали последние старики, увидевшие свет около времени татарского разгрома Русской земли, и когда уже трудно было найти людей, которые бы этот разгром помнили. Но во всех русских нервах еще до боли живо было впечатление ужаса, произведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося многократными местными нашествиями татар. Это было одно из тех народных бедствий, которые приносят не только материальное, но и нравственное разорение, надолго повергая народ в мертвенное оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно отдавались своему прискорбному положению, не находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, родившиеся после нее. Мать пугала непокойного ребенка лихим татарином; услышав это злое слово, взрослые растерянно бросались бежать, сами не зная куда. Внешняя случайная беда грозила превратиться во внутренний хронический недуг; панический ужас одного поколения мог развиться в народную робость, в черту национального характера,

и в истории человечества могла бы прибавиться лишняя темная страница, повествующая о том, как нападение азиатского монгола повело к падению великого европейского народа.



Деревянные дискос и чаша Святого Сергия, на которых совершал Таинства Преподобный в своем храме во имя Живоначальной Троицы.

Хранятся в ризнице Троице-Сергиевой лавры

Могла ли, однако, прибавиться такая страница? Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подниматься на ноги после падения. Как бы ни было тяжко его унижение, но пробьет урочный час, он соберет свои растерянные нравственные силы и воплотит их в одном великом человеке или в нескольких великих людях, которые и выведут его на покинутую им временно прямую историческую дорогу.

Русские люди, сражавшиеся и уцелевшие в бою на Сити, сошли в могилу со своими сверстниками, безнадежно оглядываясь вокруг, не займется ли где заря освобождения. За ними последовали их дети, тревожно наблюдавшие, как многочисленные русские князья холопствовали перед татарами и дрались друг с другом. Но подросли внуки, сверстники Ивана Калиты, и стали присматриваться и прислушиваться к необычным делам в Русской земле. В то время как все русские окраины страдали от внешних врагов, маленькое срединное Московское княжество оставалось безопасным, и со всех краев Русской земли потянулись туда бояре и простые люди.

В то же время московские князьки, братья Юрий и этот самый Иван Калита, без оглядки и раздумья, пуская против врагов все

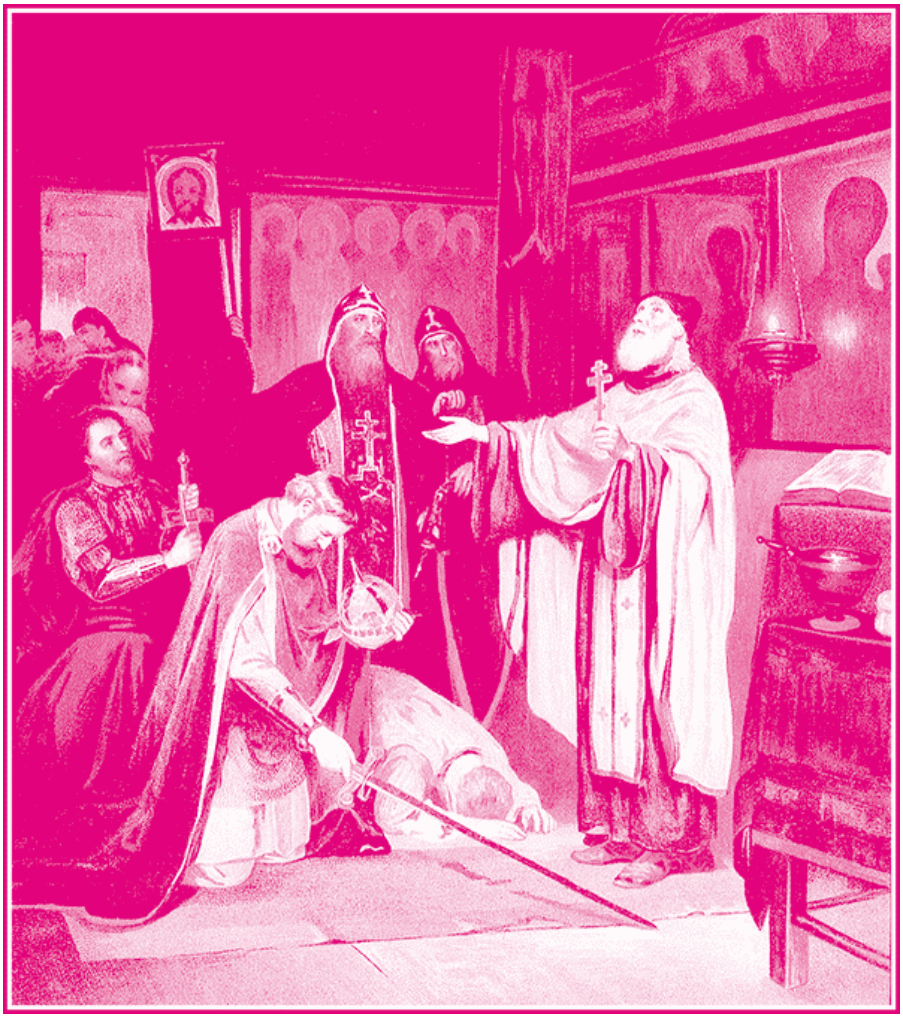
доступные средства, ставя в игру все, что могли поставить. Они вступили в борьбу со старшими и сильнейшими князьями за первенство, старшее Владимирское княжение, и, при содействии самой Орды, отбили его у соперников. Тогда же устроилось так, что и русский митрополит, живший во Владимире, стал жить в Москве, придав этому городку значение церковной столицы Русской земли. И как только случилось все это, все почувствовали, что татарские опустошения прекратились и наступила давно не испытанная тишина в Русской земле. По смерти Калиты Русь долго вспоминала его княжение, когда ей впервые в сто лет рабства удалось вздохнуть свободно, и любила украшать память этого князя благодарной легендой.

Так к половине XIV в. подросло поколение, выросшее под впечатлением этой тишины, начавшее отвыкать от страха ордынского, от нервной дрожи отцов при мысли о татарине. Недаром представителю этого поколения, сыну великого князя Ивана Калиты, Симеону, современники дали прозвание Гордого. Это поколение и почувствовало ободрение, что скоро забрезжит свет. В это именно время, в начале сороковых годов XIV в., свершились три знаменательных события.

1. Из московского Богоявленского монастыря вызван был на церковно-административное поприще скрывавшийся там скромный 40-летний инок Алексий.

2. Один 20-летний искатель пустыни, будущий Преподобный Сергий, в дремучем лесу – вот на этом самом месте – поставил маленькую деревянную келию с такой же церковью.

3. В Устюге, у бедного соборного причетника, родился сын, будущий просветитель Пермской земли святой Стефан. Ни одного из этих имен нельзя произнести, не вспомнив двух остальных.



А. Новоскольцев. **Преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на битву с Мамаем**

Эта приснославленная троица ярким созвездием блещет в нашем XIV в., делая его зарей политического и нравственного возрождения Русской земли. Тесная дружба и взаимное уважение соединяли их друг с другом. Митрополит Алексий навещал Сергия в его обители и советовался с ним, желал иметь его своим преемником. Припомним задушевный рассказ в житии Преподобного Сергия о проезде святого Стефана Пермского мимо Сергиева монастыря, когда оба друга на расстоянии 10 с лишком верст обменялись братскими поклонами.

Все три св. мужа, подвизаясь каждый на своем поприще, делали одно общее дело, которое простиралось далеко за пределы церковной жизни и широко захватывало политическое положение всего народа. Это дело – укрепление Русского

государства, над созиданием которого по-своему трудились московские князья XIV в. Это дело было исполнением завета, данного русской церковной иерархии величайшим святителем Древней Руси, митрополитом Петром. Еще в мрачное время татарского ига, когда ниоткуда не проступал луч надежды, он, по преданию, пророчески благословил бедный тогда городок Москву, как будущую церковную и государственную столицу Русской земли. Духовными силами трех наших св. мужей XIV в., воспринявших этот завет святителя, Русская земля и пришла поработать над предвозвещенной судьбой этого города. Ни один из них не был коренным москвичом. Но в их лице сошлись для общего дела три основные части Русской земли: Алексий, сын черниговского боярина-переселенца, представлял старый киевский юг, Стефан – новый финско-русский север, а Сергий, сын ростовского боярина-переселенца, – великорусскую средину. Они приложили к делу могущественные духовные силы. Это были образованнейшие русские люди своего века; о них древние жизнеописатели замечают, что один «всю грамоту добре умея», другой «всяко Писание Ветхаго и Новаго Завета пройде», третий даже «книги греческия извыче добре». Потому ведь и удалось московским князьям так успешно собрать в своих руках материальные, политические силы русского народа, что им дружно содействовали добровольно соединявшиеся духовные его силы.

Но в общем деле каждый из трех деятелей делал свою особую часть. Они не составляли общего плана действий, не распределяли между собой призваний и подвигов и не могли этого сделать, потому что были люди разных поколений. Они хотели работать над самими собой, делать дело собственного душевного спасения. Деятельность каждого текла своим особым руслом, но текла в одну сторону с двумя другими, направляемая таинственными историческими силами, в видимой работе которых верующий ум прозревает миродержавную десницу Провидения. Личный долг каждого своим путем вел всех троих к одной общей цели.

Происходя из родовитого боярства, искони привыкшего делить с князьями труды обороны и управления страны, митрополит Алексий шел боевым политическим путем, был преемственно главным советником трех великих князей Московских, руководил их Боярской думой, ездил в Орду ублажать ханов, отмаливая их от злых замыслов против Руси, воинствовал с недругами Москвы всеми средствами своего сана, карал церковным отлучением русских князей, непослушных московскому государю, поддерживая его первенство, с

неослабной энергией поддерживая значение Москвы как единственного церковного средоточия всей политически разбитой Русской земли. Уроженец г. Устюга, в краю которого новгородская и литовская колонизация, сливаясь и вовлекая в свой поток туземную чудь, создавала из нее новую Русь, св. Стефан пошел с христианской проповедью в Пермскую землю продолжать это дело обрусения и просвещения заволжских инородцев. Так церковная иерархия благословила своим почином две народные цели, достижение которых послужило основанием самостоятельного политического существования нашего народа: это – сосредоточение династически раздробленной государственной власти в московском княжеском доме и приобщение восточноевропейских и азиатских инородцев к Русской церкви и народности посредством христианской проповеди.

Но чтобы сбросить варварское иго, построить прочное независимое государство и ввести инородцев в ограду христианской церкви, для этого самому русскому обществу должно было встать в уровень столь высоких задач, роднить и укрепить свои нравственные силы, приниженные вековым порабощением и унынием. Этому третьему делу, нравственному воспитанию народа, и посвятил свою жизнь Преподобный Сергий. То была внутренняя миссия, долженствовавшая служить подготовкой и обеспечением успехов миссии внешней, начатой пермским просветителем; Преподобный Сергий и вышел на свое дело значительно раньше святого Стефана. Разумеется, он мог применять к делу средства нравственной дисциплины, ему доступные и понятные тому веку, а в числе таких средств самым сильным был живой пример, наглядное осуществление нравственного правила. Он начал с самого себя и продолжительным уединением, исполненным трудов и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руководителем других пустынножителей.

Жизнеописатель, сам живший в братстве, воспитанном Сергием, живыми чертами описывает, как оно воспитывалось, с какой постепенностью и любовью к человеку, с каким терпением и знанием души человеческой. Мы все читали и перечитывали эти страницы древнего Жития, повествующие о том, как Сергий, начав править собиравшейся к нему братией, был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником служил ей, как раб купленный, по выражению Жития, ни на один час не складывал рук для отдыха. Как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же черную хозяйственную работу, он принимал искавших у него

пострижения, не спускал глаз с каждого новика, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по силам, ночью дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь или окно напоминал празднословившим, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а поутру осторожными намеками, не обличая прямо, не заставляя краснеть, «тихой и кроткой речью» вызывал в них раскаяние без досады.

Читая эти рассказы, видишь пред собою практическую школу благонравия, в которой сверх религиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были уменье отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Наставник вел ежедневную дробную терпеливую работу над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями каждого брата, приспособляя их к целям всего братства.

По последующей самостоятельной деятельности учеников Преподобного Сергия видно, что под его воспитательным руководством лица не обезличивались, личные свойства не стирались, каждый оставался сам собой и, становясь на свое место, входил в состав сложного и стройного целого, как в мозаической иконе различные по величине и цвету камешки укладываются под рукой мастера в гармоническое выразительное изображение. Наблюдение и любовь к людям дали умение тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее чувства, – то уменье, перед которым не устоял самый упрямый русский человек XIV века, князь Олег Иванович Рязанский, когда, по просьбе великого князя Московского Дмитрия Ивановича, как рассказывает летописец, «старец чудный» отговорил «суровейшего» рязанца от войны с Москвой, умилив его тихими и кроткими речами и благоуветливыми глаголами.

Так воспиталось дружное братство, производившее, по современным свидетельствам, глубокое назидательное впечатление на мирян. Мир приходил к монастырю с пытливым взглядом, каким он привык смотреть на монашество, и если его не встречали здесь словами «прииди» и «виждь», то потому, что такой зазыв был противен Сергиевой дисциплине. Мир смотрел на чин жизни в монастыре Преподобного Сергия, и то, что он видел, быт и обстановка пустынного братства поучали его самым простым правилам, которыми крепко людское христианское общежитие. В монастыре все было бедно и скудно, или, как выразился разочарованно один мужичок, пришедший в обитель Преподобного Сергия повидать прославленного величественного игумена, «все худостно, все нищетно, все сиротинско». В самой

ограде монастыря первобытный лес шумел над кельями и осенью обсыпал их кровли палыми листьями и иглами; вокруг церкви торчали свежие пни и валялись неубранные стволы срубленных деревьев.

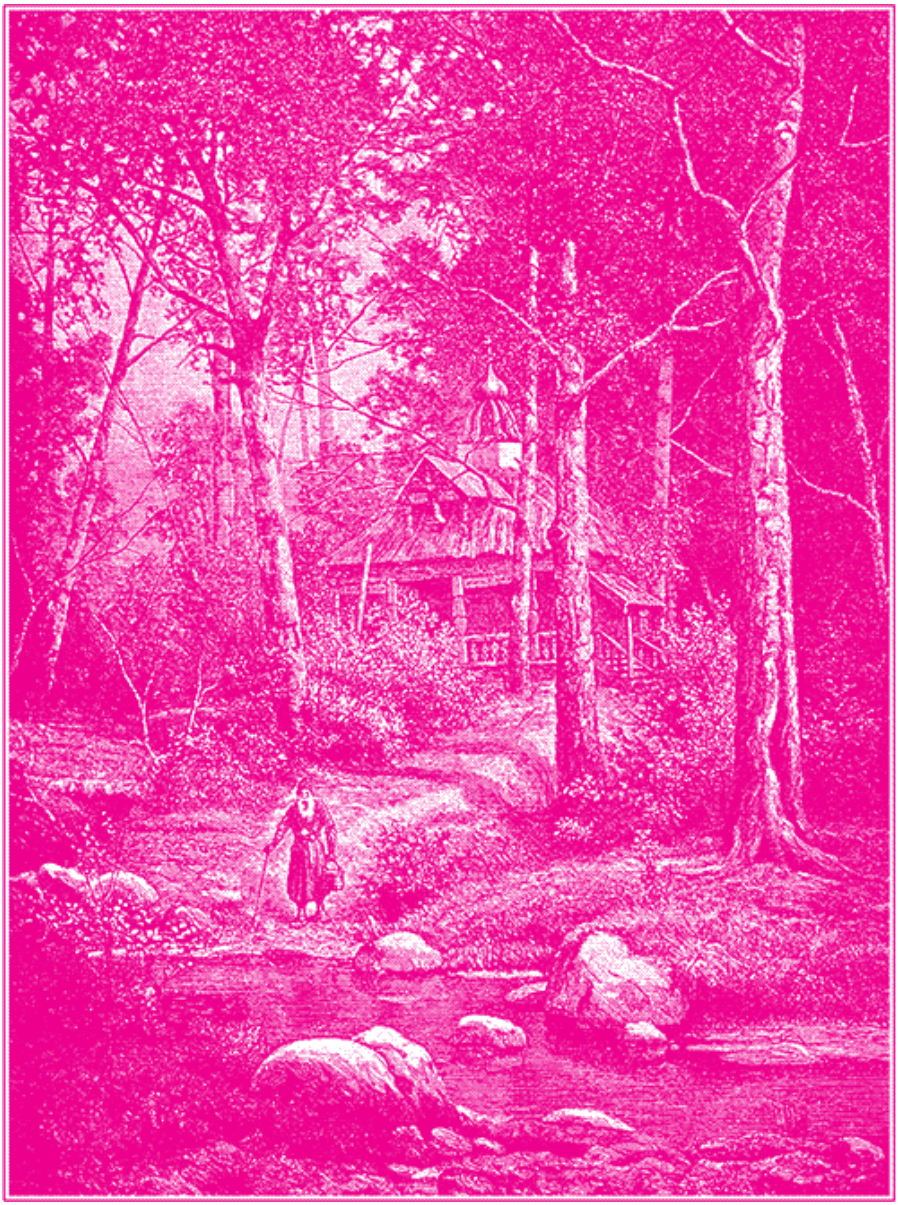
Общежитие в Сергиевой обители.

Из Жития Преподобного Сергия, хранящегося в Троице-Сергиевой лавре

В деревянной церковке за недостатком свеч пахло лучиной; в обиходе братии столько же недостатков, сколько заплат на сермяжной ряске игумена; чего ни хватись, всего нет, по выражению жизнеописателя; случалось, вся братия по целым дням сидела чуть не без куска хлеба. Но все дружны между собой и приветливы к пришельцам, во всем следы порядка и размышления. Каждый делает свое дело, каждый работает с молитвой, и все молятся после работы. Во всех чуялся скрытый огонь, который без искр и вспышек обнаруживался живительной теплотой, обдававшей всякого, кто вступал в эту атмосферу

труда, мысли и молитвы. Мир видел все это и уходил ободренный и освеженный, подобно тому, как мутная волна, прибивая к прибрежной скале, отлагает от себя примесь, захваченную в неопрятном месте, и бежит далее светлой и прозрачной струей.

Надобно припомнить людей XIV века, и быт и обстановку, запас их умственных и нравственных средств, чтобы понять впечатление этого зрелища на набожных наблюдателей. Нам, страдающим избытком нравственных возбуждений и недостатком нравственной восприимчивости, трудно уже воспроизвести слагавшееся из этих наблюдений настроение нравственной сосредоточенности и общественного братства, какое разносили по своим углам из этой пустыни побывавшие в ней люди XIV в. Таких людей была капля в море православного русского населения. Но ведь и в тесто немного нужно вещества, вызывающего в нем живительное брожение.



Е. Волков. **Скит**

Нравственное влияние действует не механически, а органически. На это указал сам Христос, сказав: «Царство Божие подобно закваске». Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь нравственный строй души русского человека XIV в. От вековых бедствий этот человек так оскудел нравственно, что не мог не замечать в своей жизни недостатка этих первых основ христианского общежития, но еще не настолько очерствел

от этой скудости, чтобы не чувствовать потребности в них.

Пробуждение этой потребности и было началом нравственного, а потом и политического возрождения русского народа. Пятьдесят лет делал свое тихое дело Преподобный Сергий в Радонежской пустыни; целые полвека приходившие к нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыни утешение и ободрение и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими. Никто тогда не считал гостей пустынника и тех, кого они делали причастниками приносимой ими благодатной росы, – никто не думал считать этого, как человек, пробуждающийся с ощущением здоровья, не думать о своем пульсе. Но к концу жизни Сергия едва ли вырывался из какой-либо православной груди на Руси скорбный вздох, который бы не облегчался молитвенным призывом имени св. старца. Этими каплями нравственного влияния и выращены были два факта, которые легли среди других основ нашего государственного и общественного здания и которые оба связаны с именем Преподобного Сергия. Один из этих фактов – великое событие, совершившееся при жизни Сергия, а другой – целый сложный и продолжительный исторический процесс, только начавшийся при его жизни.

Событие состояло в том, что народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался наконец с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарских полчищ в открытой степи и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями. Как могло это случиться? Откуда взялись, как воспитались люди, отважившиеся на такое дело, о котором боялись и подумать их деды? Глаз исторического знания уже не в состоянии разглядеть хода этой подготовки великих борцов 1380 года; знаем только, что Преподобный Сергий благословил на этот подвиг главного вождя русского ополчения, сказав: «Иди на безбожников смело, без колебания, и победишь», – и этот молодой вождь был человек поколения, возмужавшего на глазах Преподобного Сергия и вместе с князем Димитрием Донским бившегося на Куликовом поле.

Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое Преподобный Сергий вдохнул в русское общество, еще живее и полнее воспринималось русским монашеством. В жизни русских монастырей со времени Сергия начался замечательный перелом: заметно оживилось стремление к иночеству. В бедственный первый век ига это стремление было очень слабо: в сто лет (1240–1340) возникло всего каких-нибудь десятка три новых монастырей. Зато в следующее столетие, 1340–1440 гг., когда

Русь начала отдыхать от внешних бедствий и приходить в себя, из куликовского поколения и его ближайших потомков вышли основатели до 150 новых монастырей. Таким образом, древнерусское монашество было точным показателем нравственного состояния своего мирского общества: стремление покидать мир усиливалось не оттого, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Это значит, что русское монашество было отречением от мира во имя идеалов, ему непосильных, а не отрицанием мира во имя начал, ему враждебных. Впрочем, исторические факты здесь говорят не более того, что подсказывает сама идея православного иночества. Эта связь русского монастыря с миром обнаружилась и в другом признаке перелома, в перемене самого направления монастырской жизни со времен Преподобного Сергия. До половины XIV в. почти все монастыри на Руси возникали в городах или под их стенами; с этого времени решительный численный перевес получают монастыри, возникавшие вдали от городов, в лесной глухой пустыни, ждавшей топора и сохи. Так к основной цели монашества, в борьбе с недостатками духовной природы человека, присоединилась новая борьба с неудобствами внешней природы; лучше сказать, эта вторая цель стала новым средством для достижения первой.

Преподобный Сергий со своею обителью и своими учениками был образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни, «начальником и учителем всем монастырем, иже в Руси», как называет его летописец. Колонии Сергиевской обители, монастыри, основанные учениками Преподобного или учениками его учеников, считались десятками, составляли почти четвертую часть всего числа новых монастырей во втором веке татарского ига, и почти все эти колонии были пустынные монастыри, подобно своей митрополии. Но, убегая от соблазнов мира, основатели этих монастырей служили его насущным нуждам. До половины XIV в. масса русского населения, сбитая врагами в междуречье Оки и Верхней Волги, робко жалась здесь по немногим расчищенным среди леса и болот полосам удобной земли. Татары и Литва запирали выход из этого треугольника на запад, юг и юго-восток. Оставался открытым путь на север и северо-восток за Волгу; но то был глухой непроходимый край, кое-где занятый дикарями-финнами; русскому крестьянину с семьей и бедными пожитками страшно было пуститься в эти бездорожные дебри. «Много было тогда некрещеных людей за Волгой», т. е. мало крещеных, говорит старая летопись одного заволжского монастыря о временах до Сергия. Монах-пустынник и пошел туда смелым разведчиком.

Огромное большинство новых монастырей с половины XIV до конца XV в. возникло среди лесов костромского, ярославского и вологодского Заволжья: этот волжско-двинский водораздел стал северной Фиваидой православного Востока. Старинные памятники истории Русской церкви рассказывают, сколько силы духа проявлено было русским монашеством в этом мирном завоевании финского языческого Заволжья для христианской Церкви и русской народности. Многочисленные лесные монастыри становились здесь опорными пунктами крестьянской колонизации: монастырь служил для переселенца-хлебопашца и хозяйственным руководителем, и ссудной кассой, и приходской церковью, и, наконец, приютом под старость. Вокруг монастырей оседало бродячее население, как корнями деревьев сцепляется зыбучая песчаная почва. Ради спасения души монах бежал из мира в заволжский лес, а мирянин цеплялся за него и с его помощью заводил в этом лесу новый русский мир. Так создавалась верхневолжская Великороссия дружными усилиями монаха и крестьянина, воспитанных духом, какой вдохнул в русское общество Преподобный Сергий.

Напутствуемые благословением старца, шли борцы, одни на юг за Оку – на татар, другие на север за Волгу – на борьбу с лесом и болотом.

Время давно свеяло эти дела с народной памяти, как оно же глубоко заметало вековой пылью кости куликовских бойцов. Но память святого пустынножителя доселе парит в народном сознании, как гроб с его нетлеющими останками невредимо стоит на поверхности земли. Чем дорога народу эта память, что она говорит ему, его уму и сердцу? Современным, засохшим в абстракциях и схемах языком трудно изобразить живые, глубоко сокрытые движения верующей народной души. В эту душу глубоко запало какое-то сильное и светлое впечатление, произведенное когда-то одним человеком и произведенное неуловимыми, бесшумными нравственными средствами, про которые не знаешь, что и рассказать, как не находишь слов для передачи иного светлого и ободряющего, хотя молчаливого взгляда. Виновник впечатления давно ушел, исчезла и обстановка его деятельности, оставив скудные остатки в монастырской ризнице да источник, изведенный его молитвою, а впечатление все живет, переливаясь свежей струей из поколения в поколение, и ни народные бедствия, ни нравственные переломы в обществе доселе не могли сгладить его. Первое смутное ощущение нравственного мужества, первый проблеск духовного пробуждения – вот в чем состояло это впечатление. Примером своей жизни, высотой своего духа Преподобный Сергий поднял

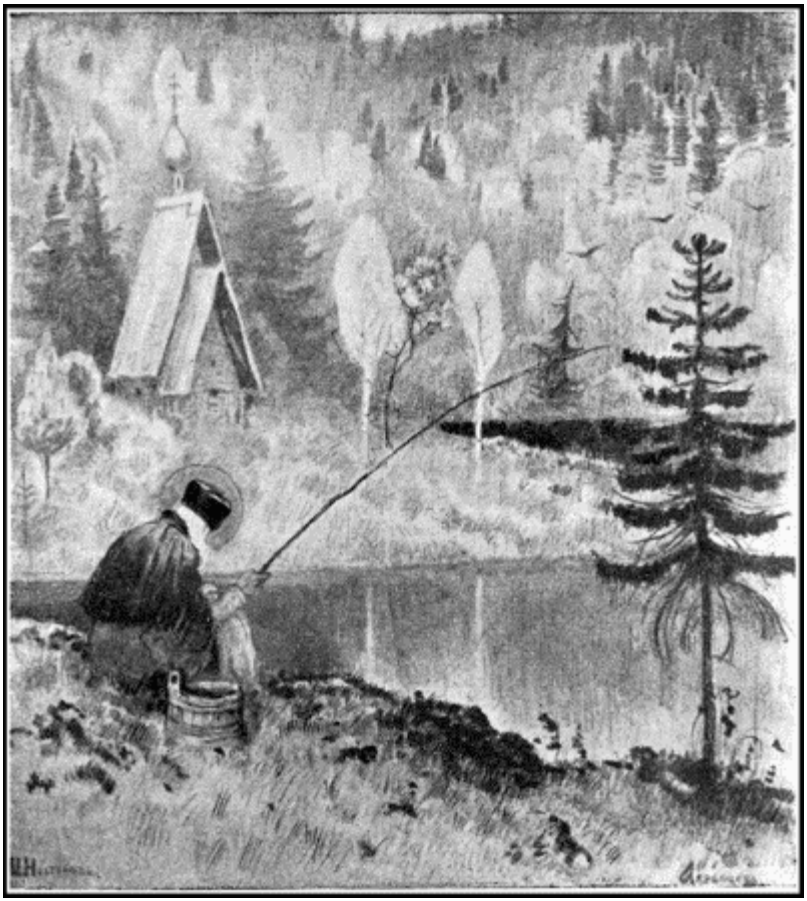
упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе, к своим силам, вдохнул веру в свое будущее. Он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. Так думали тогда все на Руси, и это мнение разделял православный Восток, подобно тому цареградскому епископу, который, по рассказу Сергиева жизнеописателя, приехав в Москву и слыша всюду толки о великом русском подвижнике, с удивлением восклицал: «Како может в сих странах таков светильник явитися?» Преподобный Сергий своей жизнью, самой возможностью такой жизни дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло; своим появлением среди соотечественников, сидевших во тьме и сени смертной, он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом, потому что оживить и привести в движение нравственное чувство народа, поднять его дух выше его привычного уровня – такое проявление духовного влияния всегда признавалось Чудесным, творческим актом; таково оно и есть по своему существу и происхождению, потому что его источник – вера. Человек, раз вдохнувший в общество такую веру, давший ему живо ощутить в себе присутствие нравственных сил, которых оно в себе не чаяло, становится для него носителем чудодейственной искры, способной зажечь и вызвать к действию эти силы всегда, когда они понадобятся, когда окажутся недостаточными наличные обиходные средства народной жизни.

Печенежский монастырь в Русской Лапландии, сооруженный над мощами святого Трифона Кольского

Впечатление людей XIV века становилось верованием поколений, за ними следовавших. Отцы передавали воспринятое ими одушевление детям, а они возводили его к тому же источнику, из которого впервые почерпнули его современники. Так духовное влияние Преподобного Сергия пережило его земное бытие и перелилось в его имя, которое из исторического воспоминания сделалось вечно деятельным нравственным двигателем и вошло в состав духовного богатства народа. Это имя сохраняло силу непосредственного личного впечатления, какое производил Преподобный на современников; эта сила длилась и тогда, когда стало тускнеть историческое воспоминание, заменяясь церковной памятью, которая превращала это впечатление в привычное, поднимающее дух настроение. Так теплота ощущается долго после того, как погаснет ее источник. Этим настроением народ жил целые века; оно помогало ему устроить свою внутреннюю жизнь, сплотить и упрочить государственный порядок. При имени Преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает

правило, что политическая крепость прочна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило – самые драгоценные вклады Преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание.

Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа. Они – его питательная почва. В них его корни; оторвите его от них – оно завянет как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей – только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его.



М. Нестеров. **Святой старец удит рыбу**

Иван Никитич Берсень-Беклемишев и Максим Грек

Древний образ преподобного Максима Грека

Несколько явственнее выступают чувства и стремления оппозиционной боярской знати в княжение Василия. До нас дошел от того времени памятник, вскрывающий политическое настроение боярской стороны, – это отрывок следственного дела об думном человеке Иване Никитиче Берсене-Беклемишеве (1525). Берсень, далеко не принадлежавший к первостепенной знати, был человек упрямый, неуступчивый. В то время проживал в Москве вызванный с Афона для перевода с греческого Толковой Псалтыри ученый монах Максим Грек. Это был человек образованный, знакомый с католическим Западом и его наукой, учившийся в Париже, Флоренции и Венеции. Он привлек к себе любознательных людей из московской знати, которые приходили к нему побеседовать и поспорить «о книгах и цареградских обычаях», так что Максимова келья в подмосковном Симоновом монастыре стала похожа на ученый клуб.

Любопытно, что наиболее обычными гостями Максима были все люди из оппозиционной знати: между ними встречаем и князя

Андрея Холмского, двоюродного племянника опального боярина, и В. М. Тучкова, сына боярина Тучкова, наиболее грубившего Ивану III, по свидетельству Грозного. Но самым близким гостем и собеседником Максима был Иван Никитич Берсень, с которым он часто и подолгу сиживал с глазу на глаз.

Берсень находился в это время в немилости и удалении от двора, оправдывая свое колючее прозвище (берсень – крыжовник). Иван Никитич раз в Думе что-то резко возразил государю при обсуждении вопроса о Смоленске. Великий князь рассердился и выгнал его из совета, сказав: «Пошел, смерд, вон, ты мне не надобен». В беседах с Максимом Берсень и изливал свои огорченные чувства, в которых можно видеть отражение политических дум тогдашнего боярства.

Передам их беседы, как они записаны были на допросах. Это очень редкий случай, когда мы можем подслушать интимный политический разговор в Москве XVI в.

Беседы Берсеня с Максимом Греком. Опальный советник, конечно, очень раздражен. Он ничем не доволен в Московском государстве: ни людьми, ни порядками. «Про здешние люди есми молвил, что ныне в людях правды нет». Всего более недоволен он своим государем и не хочет скрывать своего недовольства перед иноземцем.

«Вот, – говорил Берсень старцу Максиму, – у вас в Царьграде цари теперь басурманские, гонители; настали для вас злые времена, и как-то вы с ними перебиваетесь?» – «Правда, – отвечал Максим, – цари у нас нечестивые, однако в церковные дела у нас они не вступаются». – «Ну, – возразил Берсень, – хоть у вас цари и нечестивые, да ежели так поступают, стало быть, у вас еще есть Бог».

И, как бы в оправдание проглоченной мысли, что в Москве уже нет Бога, опальный советник пожаловался Максиму на московского митрополита, который в угоду государю не ходатайствует по долгу сана за опальных, и вдруг, давая волю своему возбужденному пессимизму, Берсень обрушился и на своего собеседника: «Да вот и тебя, господин Максим, взяли мы со Св. Горы, а какую пользу от тебя получили?» – «Я – сиротина, – отвечал Максим обидчиво, – какой же от меня и пользе быть?» – «Нет, – возразил Берсень, – ты человек разумный и мог бы нам пользу принести, и пригоже нам было тебя спрашивать, как государю землю свою устроить, как людей награждать и как митрополиту вести себя». – «У вас есть книги и правила, – сказал Максим, – можете и сами устроиться».

Берсень хотел сказать, что государь в устроении своей земли не спрашивал и не слушал разумных советов и потому строил ее

неудовлетворительно. Это «несоветие», «высокоумие», кажется, всего больше огорчало Берсеня в образе действия великого князя Василия. Он еще снисходительно относился к Васильеву отцу. Иван III, по его словам, был добр и до людей ласков, а потому и Бог помогал ему во всем; он любил «встречу», возражение против себя. «А нынешний государь, – жаловался Берсень, – не таков: людей мало жалует, упрям, встречи против себя не любит и раздражается на тех, кто ему встречу говорит».

Итак, Берсень очень недоволен государем; но это недовольство совершенно консервативного характера. С недавнего времени старые московские порядки стали шататься, и шатать их стал сам государь – вот на что особенно жаловался Берсень. При этом он излагал целую философию политического консерватизма.

«Сам ты знаешь, – говорил он Максиму, – да и мы слыхали от разумных людей, что которая земля перестанавливает свои обычаи, та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи нынешний великий князь переменил: так какого же добра и ждать от нас?» Максим возразил, что Бог наказывает народы за нарушение Его заповедей, но что обычаи царские и земские переменяются государями по соображению обстоятельств и государственных интересов. «Так-то так, – возразил Берсень, – а все-таки лучше старых обычаев держаться, людей жаловать и стариков почитать; а ныне государь наш, запершись сам-третей у постели, всякие дела делает».

Этой переменой обычаев Берсень объясняет внешние затруднения и внутренние неурядицы, какие тогда переживала Русская земля. Первой виновницей этого отступничества от старых обычаев, сеятельницей этой измены родной старине Берсень считает мать великого князя. «Как пришли сюда греки, – говорил он Максиму, – так земля наша и замешалась, а до тех пор земля наша Русская в мире и тишине жила. Как пришла сюда мать великого князя, великая княгиня Софья, с вашими греками, так и пошли у нас нестроения великие, как и у вас в Царегороде при ваших царях». Максим Грек счел долгом заступиться за землячку и возразил: «Великая княгиня Софья с обеих сторон была роду великого: по отцу – царского роду царегородского, а по матери – великого дуксуса Феррарийского Италийской страны». – «Господин! какова бы она ни была, да к нашему нестроению пришла», – так заключил Берсень свою беседу.

Итак, если Берсень точно выражал взгляды современного ему оппозиционного боярства, оно было недовольно нарушением установленных обычаем правительственных порядков, недоверием государя к своим боярам. Тем, что рядом с Боярской

думой он завел особый интимный кабинет из немногих доверенных лиц, с которыми предварительно обсуждал и даже предрешал государственные вопросы, подлежавшие восхождению в Боярскую думу. Берсень не требует никаких новых прав для боярства, а только отстаивает старые обычаи, нарушаемые государем; он – оппозиционный консерватор, противник государя, потому что стоит против вводимых государем перемен.

С. Иванов. **В приказе московского времени**

Нил Сорский и Иосиф Волоцкий

Преподобный Нил Сорский

Вопрос о монастырских вотчинах. Монастырское землевладение было вдвойне неосторожной жертвой, принесенной набожным обществом недостаточно ясно понятой идее иночества: оно мешало нравственному благоустроению самих монастырей и в то же время нарушало равновесие экономических сил государства. Раньше почувствовалась внутренняя нравственная его опасность. Уже в XIV в. стригольники восставали против вкладов по душе и всяких приносов в церкви и монастыри за умерших. Но то были еретики. Скоро сам глава русской иерархии выразил сомнение, подобает ли монастырям владеть селами. Один игумен спрашивал митрополита Киприана, что ему делать с селом, которое князь дал в его монастырь. «Святые отцы, – отвечал митрополит, – не предали инокам владеть людьми и селами; когда чернецы будут владеть селами и обяжутся мирскими попечениями, чем они

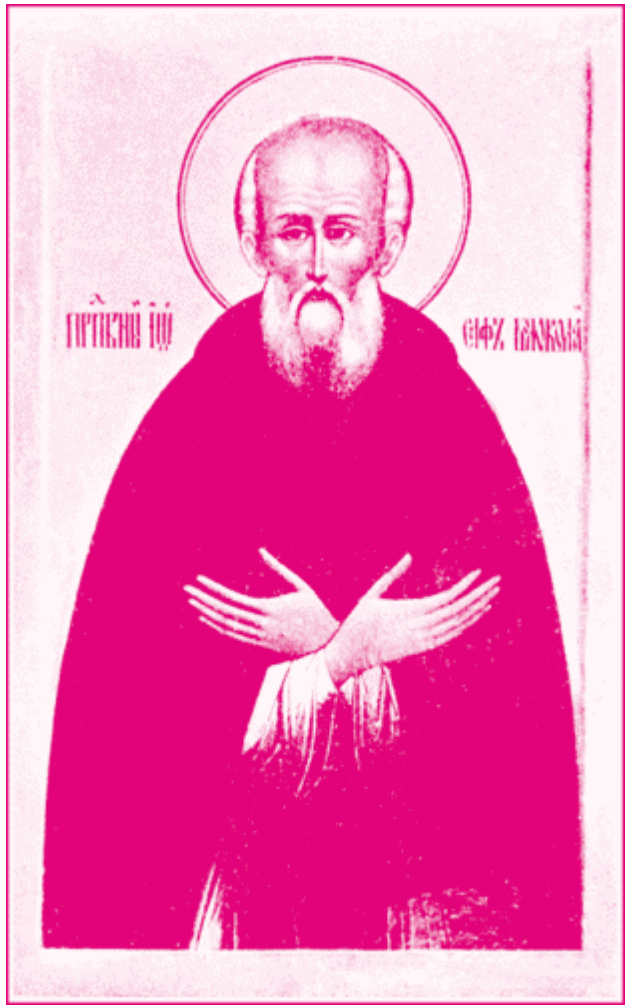
будут отличаться от мирян?» Но Киприан останавливается перед прямым выводом из своих положений и идет на сделку. Он предлагает село принять, но заведовать им не монаху, а мирянину, который привозил бы оттуда в монастырь все готовое, жито и другие припасы. И преподобный Кирилл Белозерский был против владения селами и отклонял предлагаемые земельные вклады, но вынужден был уступить настояниям вкладчиков и ропоту братии, и монастырь уже при нем начал приобретать вотчины.

Но сомнение, раз возникнув, повело к тому, что колеблющиеся мнения обособились в два резко различных взгляда, которые, встретившись, возбудили шумный вопрос, волновавший русское общество почти до конца XVI в. и оставивший яркие следы в литературе и законодательстве того времени. В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного источника – из мысли о необходимости преобразовать существующие монастыри. Общежитие прививалось в них очень туго; даже в тех из них, которые считались общежительными, общее житие разрушалось примесью *особного*. Одни хотели в корне преобразовать все монастыри на основе *нестяжательности*, освободив их от вотчин. Другие надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой собственности. Первое направление проводил преподобный Нил Сорский, второе – преподобный Иосиф Волоцкий.

Нил Сорский. Постриженик Кириллова монастыря, Нил долго жил на Афоне, наблюдал тамошние и цареградские скиты и, вернувшись в отечество, на реке Соре в Белозерском краю основал первый скит в России.

Скитское жительство – средняя форма подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством. Скит похож и на особняк своим тесным составом из двух-трех келий, редко больше, и на общежитие тем, что у братии пища, одежда, работы – все общее. Но существенная особенность скитского жития – в его духе и направлении. Нил был строгий пустынножитель; но он понимал пустынное житие глубже, чем понимали его в древнерусских монастырях. Правила скитского жития, извлеченные из хорошо изученных им творений древних восточных подвижников и из наблюдений над современными греческими скитами, он изложил в своем скитском уставе. По этому уставу подвижничество – не дисциплинарная выдержка инока предписаниями о внешнем поведении, не физическая

борьба с плотью, не изнурение ее всякими лишениями, постом до голода, сверхсильным телесным трудом и бесчисленными молитвенными поклонами. «Кто молится только устами, а об уме небрежет, тот молится воздуху: Бог уму внимает». Скитский подвиг – это умное, или мысленное, делание, сосредоточенная внутренняя работа духа над самим собой, состоящая в том, чтобы «умом блюсти сердце» от помыслов и страстей, извне навеваемых или возникающих из неупорядоченной природы человеческой. Лучшее оружие в борьбе с ними – мысленная, духовная молитва и безмолвие, постоянное наблюдение за своим умом. Этой борьбой достигается такое воспитание ума и сердца, силой которого случайные, мимолетные порывы верующей души складываются в устойчивое настроение, делающее ее непреступной для житейских тревог и соблазнов. Истинное соблюдение заповедей, по уставу Нила, не в том только, чтобы делом не нарушать их, но в том, чтобы и в уме не помышлять о возможности их нарушения. Так достигается высшее духовное состояние, та, по выражению устава, «неизреченная радость», когда умолкает язык, даже молитва отлетает от уст и ум, кормчий чувств, теряет власть над собой, направляемый «силою иною», как пленник; тогда «не молитвой молится ум, но превыше молитвы бывает»; это состояние – предчувствие вечного блаженства, и, когда ум сподобится почувствовать это, он забывает и себя, и всех, здесь, на земле, сущих. Таково скитское «умное делание» по уставу Нила.

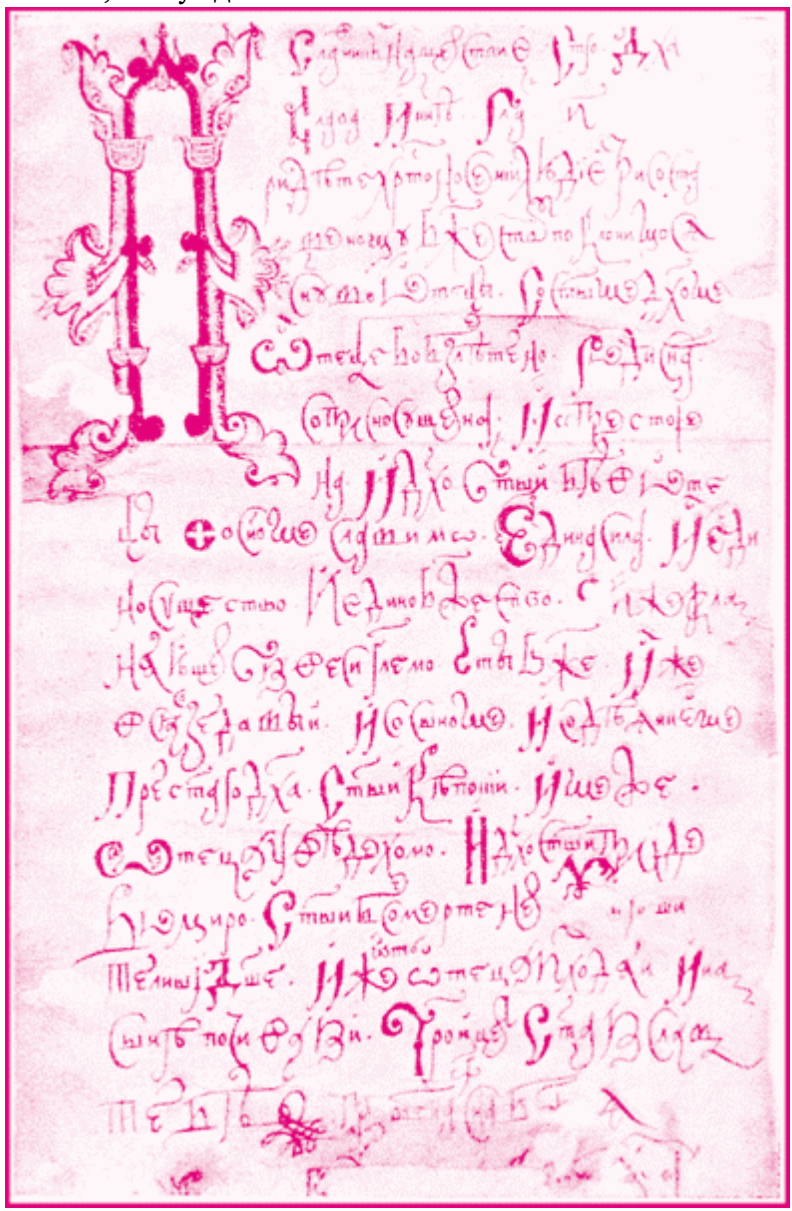


Святой Иосиф Волоцкий.

С древней иконы, хранящейся в храме Волоколамского монастыря, основанного преподобным

Перед смертью (1508) Нил завещал ученикам бросить труп его в ров и похоронить «со всяким бесчестием», прибавив, что он изо всех сил старался не удостоиться никакой чести и славы ни при жизни, ни по смерти. Древнерусская агиография исполнила его завет, не составила ни жития его, ни церковной ему службы, хотя Церковь причислила его к лику преподобных. Вы поймете, что в тогдашнем русском обществе, особенно в монашестве, направление преподобного Нила не могло стать сильным и широким движением. Оно могло собрать вокруг пустынника тесный кружок единомысленных учеников-друзей, влить живительную струю в литературные течения века, не изменив их русла, бросить несколько светлых идей, способных осветить всю

бедноту русской духовной жизни, но слишком для нее непривычных. Нил Сорский и в Белозерской пустыни остался афонским созерцательным скитником, подвизавшимся на «умной, мысленной», но чуждой почве.



Страница из собственноручной рукописи святого Иосифа Волоцкого, хранящейся в ризнице Волоколамского монастыря

Иосиф Волоцкий. Зато вполне туземная, родная почва была под ногами его противника преподобного Иосифа. Современники

оставили нам достаточно черт для определения этой совершенно реальной, вполне положительной личности. Ученик и племянник его Досифей, в своем надгробном слове Иосифу, изображает его с портретной точностью и детальностью, хотя несколько приподнятым тоном и изысканным языком. Проходя суровую школу иночества в монастыре Пафнутия Боровского, Иосиф возвышался над всеми его учениками, совмещая в себе, как никто в обители, разнообразные качества духовные и телесные, остроту и гибкость ума соединяя с основательностью, имел плавный и чистый выговор, приятный голос, пел и читал в церкви, как голосистый соловей, так что приводил слушателей в умиление: никто нигде не читал и не пел, как он. Святое Писание знал он наизусть, в беседах оно было у него все на языке, и в монастырских работах он был искуснее всех в обители. Он был среднего роста и красив лицом, округлой и не слишком большой бородой, темно-русыми, потом поседевшими волосами, был весел и приветлив в обращении, сострадателен к слабым. Церковное и келейное правило, молитвы и земные поклоны совершал он в положенное время, отдавая остальные часы монастырским службам и ручным работам. В пище и питии соблюдал меру, ел раз в день, иногда через день, и повсюду разносилась слава его добродетельного жития и добрых качеств, коими он был исполнен.

Видно, что это был человек порядка и дисциплины, с сильным чутьем действительности и людских отношений, невысоким мнением о людях и великой верой в силу устава и навыка, лучше понимавший нужды и слабости людей, чем возвышенные качества и стремления души человеческой. Он мог покорять себе людей, выправлять и вразумлять их, обращаясь к их здравому смыслу.

В одном из житий его, написанных современниками, читаем, что силой его слова смягчались одичалые нравы у многих сановников, часто с ним беседовавших, и они начинали жить лучше: «Вся же тогда Волоцкая страна к доброй жизни прелагашеся». Там же рассказано, как Иосиф убеждал господ в выгоде снисходительного отношения их к своим крестьянам. Обременительная барщина разорит хлебопашца, а обнищавший хлебопашец – плохой работник и плательщик. Для уплаты оброка он продаст свой скот: на чем же он будет пахать? Его участок запустеет, станет бездоходным, и разорение крестьянина падет на самого господина. Все умные сельскохозяйственные соображения – и ни слова о нравственных побуждениях, человеколюбии. При таком обращении с людьми и делами Иосиф, по его признанию, не имевший ничего своего при поселении в волоколамском лесу,

мог оставить после себя один из самых богатых монастырей в тогдашней России.

Если ко всему этому прибавим непреклонную волю и физическую неутомимость, получим довольно полный образ игумена – хозяина и администратора, – тип, под который подходило с большей или меньшей удачей большинство основателей древнерусских общежительных монастырей. При устроении монастыря, когда у него еще не было мельницы, хлеб мололи ручными жерновами. Этим делом после заутрени усердно занимался сам Иосиф. Один пришлый монах, раз застав игумена за такой неприличной его сану работой, воскликнул: «Что ты делаешь, отче! пусти меня», – и стал на его место. На другой день он опять нашел Иосифа за жерновами и опять заместил его. Так повторялось много дней. Наконец, монах покинул обитель со словами: «Не перемолоть мне этого игумена».

Собор 1503 г. На церковном соборе 1503 г. оба борца встретились и столкнулись. Скитское миросозерцание Нила все сполна было против монастырского землевладения. Его возмущали, как он писал, эти монахи, кружащиеся ради стяжаний; по их вине жизнь монашеская, некогда превожделенная, стала «мерзостной». Проходу нет от этих лжемонахов в городах и весях; домовладельцы смущаются и негодуют, видя, как бесстыдно эти «прошаки» толкутся у их дверей. Нил и стал умолять великого князя, чтобы у монастырей сел не было, а жили бы чернецы по пустыням и кормились бы своим рукоделием. Великий князь поставил этот вопрос на Соборе.

Нил и стоявшие за него белозерские пустынники говорили об истинном смысле и назначении иночества. Иосиф ссылался на примеры из истории Восточной и Русской церквей и при этом высказал такой ряд практических соображений: «Если у монастырей сел не будет, то как честному и благородному человеку постричься, а если не будет доброродных старцев, откуда взять людей на митрополию, в архиепископы, епископы и на другие церковные властные места? Итак, если не будет честных и благородных старцев, то и вера поколеблется». Этот силлогизм впервые высказывался при обсуждении церковно-практического вопроса. Церковные авторитеты не ставили монастырям задачи быть питомниками и рассадниками высших церковных иерархов и не признавали непременным оплотом веры иерархию родовитого происхождения, как это было в Польше. Первое положение Иосиф заимствовал из практики Русской церкви, в которой высшие иерархи обыкновенно выходили из монастырей; второе положение было личной мечтой или личным

предрассудком Иосифа, предок которого, выходец из Литвы, сделался волоколамским дворянином-вотчинником.

Собор согласился с Иосифом и свое заключение представил Ивану III в нескольких докладах, очень учено составленных, с каноническими и историческими справками. Но вот что в этих докладах возбуждает недоумение: на Соборе оспаривали только монастырское землевладение, а великому князю отцы Собора заявили, что они не благоволят отдавать и архиерейские земли, против которых на Соборе никто не говорил. Дело объясняется молчаливой тактикой стороны, восторжествовавшей на Соборе. Иосиф знал, что за Нилом и его нестяжателями стоит сам Иван III, которому были нужны монастырские земли. Эти земли трудно было отстоять: Собор и связал с ними вотчины архиерейские, которых не оспаривали, обобщил вопрос, распространив его на все церковные земли, чтобы затруднить его решение и относительно монастырских вотчин. Иван III молча отступил перед Собором.

Итак, дело о секуляризации монастырских вотчин, поднятое кружком заволжских пустынников по религиозно-нравственным побуждениям, встретило молчаливое оправдание в экономических нуждах государства и разбилось о противодействие высшей церковной иерархии, превратившей его в одиозный вопрос об отнятии у Церкви всех ее недвижимых имуществ.

Литературная полемика. После Собора вопрос о монастырских вотчинах перенесен был с практической почвы на более безопасную, литературную. Загорелась оживленная полемика, длившаяся почти до конца XVI в. Она очень любопытна. В ней столкнулись разнообразные и важные интересы, занимавшие тогдашнее русское общество; высказались наиболее мыслящие умы века; с ней прямо или косвенно связались самые яркие явления русской духовной жизни того времени. Ограничусь ее немногими чертами.

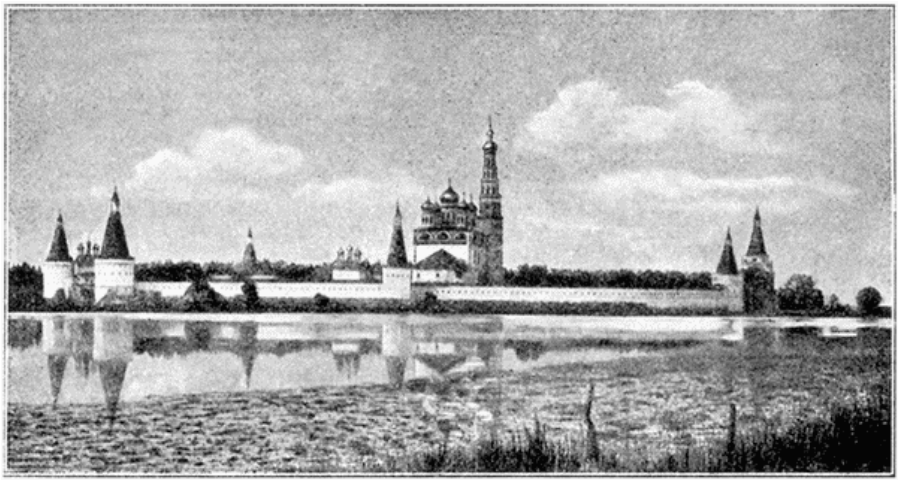
Самыми видными противниками «осифлян», как звали последователей Иосифа, выступили в полемике князь-инок Вассиан Косой и пришелец с Афона Максим Грек. Сочинения Вассиана – обличительные памфлеты. Поборая по своем учителе Ниле Сорском, яркими, нередко правдиво резкими чертами изображает он немонашескую жизнь вотчинных монастырей, хозяйственную суетливость монахов, их угодливость перед сильными и богатыми, корыстолюбие, лихоимство и жестокое обращение со своими крестьянами. В нем говорит не одно негодование пустынника-нестяжателя, но часто и раздражение бывшего боярина из рода князей Патрикеевых против людей и

учреждений, опустошавших боярское землевладение. Вассиан клонит свою речь к тем же обвинениям, какие потом прямо высказал единомышленник его, князь Курбский: «Любостяжательные монахи своим сельским хозяйничаньем разорили крестьянские земли, а внушениями о спасительности вкладов по душе сделали воинский чин, служилых землевладельцев хуже калик убогих».

Сочинения Максима Грека против монастырского землевладения свободны от полемических излишеств. Он спокойно разбирает предмет по существу, хотя по местам и не обходится без колких замечаний. Вводя строгое общежитие в своем монастыре, Иосиф надеялся исправить монастырский быт и устранить противоречие между иноческим отречением от собственности и земельными богатствами монастырей более диалектической, чем практической, комбинацией: в общежитии-де все принадлежит монастырю и ничего отдельным монахам. Это все равно, возражает Максим, как если бы кто, вступив в шайку разбойников и награбив с ними богатство, потом, пойманный, стал оправдываться на пытке: я не виноват, потому что се осталось у товарищей, а я у них ничего не взял. Качества истинного монаха никогда не совместятся с отношениями и привычками любостяжательного монашества: такова основная мысль полемики Максима Грека. Литература тогда значила еще меньше для правительственной деятельности, чем стала значить позднее.

При всех полемических усилиях и успехах нестяжателей, московское правительство, после Собора 1503 г., покинуло наступательные планы против монастырских вотчин и ограничилось обороной. Особенно после того, как попытка царя Ивана около 1550 г. воспользоваться ближайшими к Москве землями митрополичьей кафедры для хозяйственного устройства служилых людей встретила решительный отпор со стороны митрополита. Длинный ряд указов и пространные рассуждения на Стоглавом соборе о монастырских непорядках, не решая вопроса по существу, пробовали различные меры с целью остановить дальнейшее земельное обогащение монастырей на счет служилого класса, «чтоб в службе убытка не было и земля бы из службы не выходила»; усиливался и правительственный надзор за монастырскими доходами и расходами. Все отдельные меры завершились приговором церковного собора с участием бояр 15 января 1580 г. Было постановлено: архиереям и монастырям вотчин у служилых людей не покупать, в заклад и по душе не брать и никакими способами своих владений не увеличивать; вотчины, купленные или взятые в заклад у служилых людей

архиереями и монастырями до этого приговора, отобрать на государя, который за них заплатит или нет – его воля. Вот все, чего могло или умело добиться от духовенства московское правительство XVI в. в деле о церковных вотчинах.



Вид Иосифо-Волоколамского монастыря в XIX веке

К.Минин и Д.М. Пожарский

М. И. Скотти. **Минин и Пожарский**

Второе ополчение. В конце 1611 г. Московское государство представляло зрелище полного видимого разрушения. Поляки взяли Смоленск; польский отряд сжег Москву и укрепился за уцелевшими стенами Кремля и Китая-города; шведы заняли Новгород и выставили одного из своих королевичей кандидатом на московский престол; на смену убитому второму Лжедимитрию в Пскове уселся третий, какой-то Сидорка; первое дворянское ополчение под Москвой со смертью Ляпунова расстроилось. Между тем страна оставалась без правительства. Боярская дума, ставшая во главе его, по низложении В. Шуйского, упразднилась сама собою, когда поляки захватили Кремль, где сели и некоторые из бояр со своим председателем князем Мстиславским. Государство, потеряв свой центр, стало распадаться на составные части; чуть не каждый город действовал особняком, только пересылаясь с другими городами. Государство преображалось в какую-то бесформенную, мятущуюся федерацию.

Но с конца 1611 г., когда изнемогли политические силы, начинают пробуждаться силы религиозные и национальные, которые пошли на выручку гибнувшей земли. Призывные грамоты архимандрита Дионисия и келаря Авраамия, расходившиеся из Троицкого монастыря, подняли нижегородцев под руководством их старосты, мясника Кузьмы Минина. На призыв нижегородцев

стали стекаться оставшиеся без дела и жалованья, а часто и без поместий служилые люди, городовые дворяне и дети боярские, которым Минин нашел и вождя, князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Так составилось второе дворянское ополчение против поляков.

По боевым качествах оно не стояло выше первого, хотя было хорошо снаряжено благодаря обильной денежной казне, самоотверженно собранной посадскими людьми нижегородскими и других городов, к ним присоединившихся. Месяца четыре ополчение устроялось, с полгода двигалось к Москве, пополнялось по пути толпами служилых людей, просивших принять их на земское жалованье. Под Москвой стоял казацкий отряд князя Трубецкого, остаток первого ополчения. Казаки были для земской дворянской рати страшнее самих поляков, и на предложение князя Трубецкого она отвечала: «Отнюдь нам вместе с казаками не стаивать». Но скоро стало видно, что без поддержки казаков ничего не сделать, и в три месяца стоянки под Москвой без них ничего важного не было сделано.

В рати князя Пожарского числилось больше сорока начальных людей, все с родовитыми служилыми именами, но только два человека сделали крупные дела, да и те были не служилые люди: это – монах А. Палицын и мясной торговец К. Минин. Первый, по просьбе князя Пожарского, в решительную минуту уговорил казаков поддержать дворян, а второй выпросил у князя Пожарского три-четыре роты и с ними сделал удачное нападение на малочисленный отряд гетмана Хоткевича, уже подбиравшегося к Кремлю со съестными припасами для голодавших там соотчичей. Смелый натиск Минина приободрил дворян-ополченцев, которые вынудили гетмана к отступлению, уже подготовленному казаками. В октябре 1612 г. казаки же взяли приступом Китай-город.

Но земское ополчение не решилось штурмовать Кремль; сидевшая там горсть поляков сдалась сама, доведенная голодом до людоедства. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы отбили от Волоколамска короля Сигизмунда, направлявшегося к Москве, чтобы воротить ее в польские руки, и заставили его вернуться домой. Дворянское ополчение здесь еще раз показало в Смуту свою малопригодность к делу, которое было его сословным ремеслом и государственной обязанностью.

Стяг князя Д. М. Пожарского.
Хранится в Московской Оружейной палате

Патриарх Никон

Патриарх Никон.

Из «Царского титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

Довольно неожиданно появление в ряду обличителей доморощенных политических непорядков верховного блюстителя доморощенного порядка церковно-нравственного, самого

всероссийского патриарха. Но это был не просто патриарх, а сам патриарх Никон. Припомните, как он из крестьян поднялся до патриаршего престола, какое огромное влияние имел на царя Алексея, который звал его своим «собинным другом», как потом друзья рассорились, вследствие чего Никон в 1658 г. самовольно покинул патриарший престол, надеясь, что царь униженной мольбой воротит его, а царь этого не сделал.

В припадке раздраженного чувства оскорбленного самолюбия, Никон написал царю письмо о положении дел в государстве. Нельзя, конечно, ожидать от патриарха беспристрастного суждения. Но любопытны краски, выбираемые патриархом, чтобы нарисовать мрачную картину современного положения: все они взяты из финансовых затруднений правительства и из хозяйственного расстройства народа. Никон более всего злился на учрежденный в 1649 г. Монастырский приказ, который судил духовенство по недуховным делам и заведовал обширными церковными вотчинами. В этом приказе сидели боярин да дьяки; не было ни одного заседателя из духовных лиц. В 1661 г. Никон и написал царю письмо, полное обличений. Намекая на ненавистный приказ, патриарх пишет, играя словами: «Судят и насилуют мирские судьи, и сего ради собрал ты против себя в день судный великий собор, вопиющий о неправдах твоих. Ты всем проповедуешь поститься, а теперь и неведомо, кто не постится ради скудости хлебной; во многих местах и до смерти постятся, потому что есть нечего. Нет никого, кто был бы помилован: нищие, слепые, вдовы, чернецы и черницы, все данями обложены тяжкими; везде плач и сокрушение; нет никого веселящегося в дни сии». Те же густотемные краски кладет Никон на финансовое положение государства и в письме 1665 г. к восточным патриархам, перехваченном московскими агентами. Жалуясь на захват царем церковных имуществ, он пишет: «Берут людей на службу, хлеб, деньги, берут немилостиво; весь род христианский отягчил царь данями сугубо, трегубо и больше, – и все бесполезно».

Характер. Он родился в 1605 г. в крестьянской среде, при помощи своей грамотности стал сельским священником, но по обстоятельствам жизни рано вступил в монашество, закалил себя суровым искусом пустынножительства в северных монастырях и способностью сильно влиять на людей приобрел неограниченное доверие царя. Он довольно быстро достиг сана митрополита Новгородского и, наконец, 47 лет от роду стал всероссийским патриархом. Из русских людей XVII в. я не знаю человека крупнее и своеобразнее Никона. Но его не поймешь сразу: это – довольно сложный характер и, прежде всего, характер очень неровный. В

спокойное время, в ежедневном обиходе он был тяжел, капризен, вспыльчив и властолюбив, больше всего – самолюбив. Но это едва ли были его настоящие, коренные свойства. Он умел производить громадное нравственное впечатление, а самолюбивые люди на это неспособны. За ожесточение в борьбе его считали злым; но его тяготила всякая вражда, и он легко прощал врагам, если замечал в них желание пойти ему навстречу. С упрямыми врагами Никон был жесток. Но он забывал все при виде людских слез и страданий; благотворительность, помощь слабому или больному ближнему была для него не столько долгом пастырского служения, сколько безотчетным влечением доброй природы.

По своим умственным и нравственным силам он был большой делец, желавший и способный делать большие дела, но только большие. Что умели делать все, то он делал хуже всех. Но он хотел и умел делать то, за что не умел взяться никто, все равно, доброе ли то было дело или дурное. Его поведение в 1650 г. с новгородскими бунтовщиками, которым он дал себя избить, чтобы их образумить, потом, во время московского мора 1654 г., когда он, в отсутствие царя, вырвал из заразы его семью, обнаруживает в нем редкую отвагу и самообладание. Но он легко терялся и выходил из себя от житейской мелочи, ежедневного вздора; минутное впечатление разрасталось в целое настроение. В самые трудные минуты, им же себе созданные и требовавшие полной работы мысли, он занимался пустяками и из-за пустяков готов был поднять большое шумное дело.

Осужденный и сосланный в Ферапонтов монастырь, он получал от царя гостинцы, и, когда раз царь прислал ему много хорошей рыбы, Никон обиделся и ответил упреком, зачем не прислали овощей, винограду в патоке, яблочек. В добром настроении он был находчив, остроумен, но, обиженный и раздраженный, терял всякий такт и причуды озлобленного воображения принимал за действительность. В заточении он принялся лечить больных, но не утерпел, чтобы не кольнуть царя своими целительными чудесами, послал ему список излеченных, а царскому посланцу сказывал, был-де ему глагол, отнято-де у тебя патриаршество, зато дана чаша лекарственная: «лечи болящих». Никон принадлежал к числу людей, которые спокойно переносят страшные боли, но охают и приходят в отчаяние от булавочного укола. У него была слабость, которой страдают нередко сильные, но маловыдержанные люди. Он скучал покоем, не умел терпеливо выжидать; ему постоянно нужна была тревога, увлечение смелою ли мыслью или широким предприятием, даже просто хотя бы ссорой с противным человеком. Это – словно парус, который только в буре бывает самим собой, а в затишье

треплется на мачте бесполезной тряпкой.

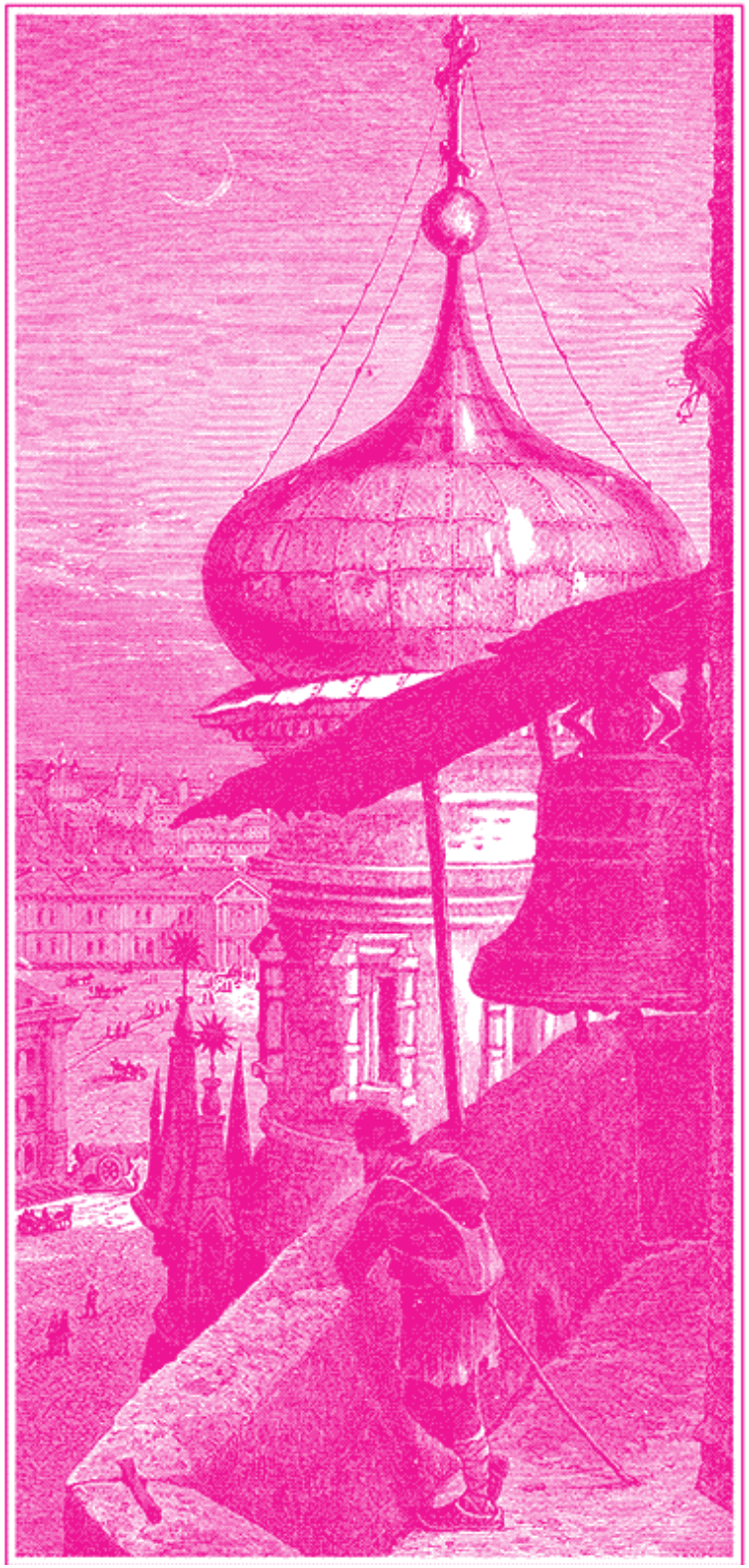
Положение Церкви. Почти еще во цвете лет и с нетронутым запасом сил Никон стал патриархом Русской церкви. Он попал в бурливый и мутный водоворот разносторонних стремлений, политических замыслов, церковных недоразумений и придворных интриг. Государство готовилось воевать с Польшей, свести с ней затянувшиеся со Смутного времени счеты и сдержать прикрытый ее флагом католический натиск на Западную Русь. Для успеха в этой борьбе Москве нужны были протестанты, их военное искусство и промышленные указания. Для русской церковной иерархии возникала двусторонняя забота: надобно было поощрять царское правительство к борьбе с католиками и сдерживать его от увлечения протестантами. Под гнетом этой заботы в застоявшейся церковной жизни появляются признаки некоторого движения.

Готовясь к борьбе, русское церковное общество насторожилось, спешило прибраться, почиститься, собраться с силами, внимательнее присмотреться к своим недостаткам: издаются строгие указы против суеверий, языческих обычаев в народе, безобразного провождения праздников, против кулачных боев, зазорных игрищ, пьянства и невежества духовенства, против беспорядков в богослужении. Спешили возможно скорее вымести сор, небрежно копившийся вместе с церковными богатствами 6 1/2 столетия. Стали искать союзников. Если государству понадобился мастер-немец, то церковь почувствовала нужду в учителе-греке или киевлянине. Отношения к грекам улучшаются: вопреки прежнему недоверчивому и пренебрежительному взгляду на их пестрое благочестие, теперь в Москве признают их строго православными. Сношения с восточной иерархией оживляются. Все чаще появляются в Москве восточные иерархи с просьбами и предложениями; все чаще обращаются из Москвы на Восток к греческим владыкам с запросами по церковным нуждам и недоумениям. Русская Автокефальная церковь с подобающим благоговением относится к церкви Константинопольской, как к своей бывшей митрополии. Мнениям восточных патриархов в Москве внемлют, как голосу Вселенской церкви; никакого важного церковного недоумения не решают без их согласия. Греки шли навстречу шедшим из Москвы призывам.

В то время как Москва искала света на греческом Востоке, оттуда шли внушения самой Москве стать источником света для православного Востока, питомником и рассадником духовного просвещения для всего православного мира, основать высшее духовное училище и завести греческую типографию. В то же время доверчиво пользовались трудами и услугами киевской

учености. Но все эти духовные силы легче было собрать, чем объединить, наладить для дружной работы. Киевские академики и ученые греки являлись в Москву спесивыми гостями, коловшими глаза хозяевам своим научным превосходством. Придворные сторонники западной культуры, как Морозов и Ртищев, дорожа немцами, как мастерами, привечали греков и киевлян, как церковных учителей, и помогали Никонову предшественнику, патриарху Иосифу, который тоже держался обновительного направления вместе с царским духовником Стефаном Вонифатьевым, хлопотал о школе, переводе и издании образовательных книг. А для проведения в народную массу благопристойных понятий и нравов, Стефан вызвал из разных углов России популярных проповедников: священников Ивана Неронова из Нижнего, Даниила из Костромы, Логгина из Мурома, Аввакума из Юрьевца Повольского, Лазаря из Романова-Борисоглебска. В этой компании вращался и Никон, пока молчаливо себе на уме присматриваясь к товарищам, своим первым будущим врагам. Но Ртищева за научные наклонности заподозрили в ереси, а царский духовник, с виду благодушный и смиренный назидатель царя, при первом столкновении обругал перед ним патриарха и весь Освященный собор волками и губителями, сказав, что в Московском государстве и Церкви-то Божией совсем нет, так что патриарх бил челом царю по силе Уложения, присуждающего смертную казнь за хулу на Соборную и Апостольскую церковь.

Наконец, и подобранные духовником сотрудники перестали слушаться своего вожака. Они говорили с ним «жестоко и противно», попросту ругались и с фанатическим самозабвением во имя того же русского Бога набросились на патриарха и всех нововводителей с их новыми книгами, идеями, порядками и учителями, не разбирая ни немцев, ни греков, ни киевлян. Духовник царский был прав, сказав, что в Московском государстве нет Церкви Божией, если под Церковью разуметь церковно-иерархическую дисциплину и богослужебный порядок.



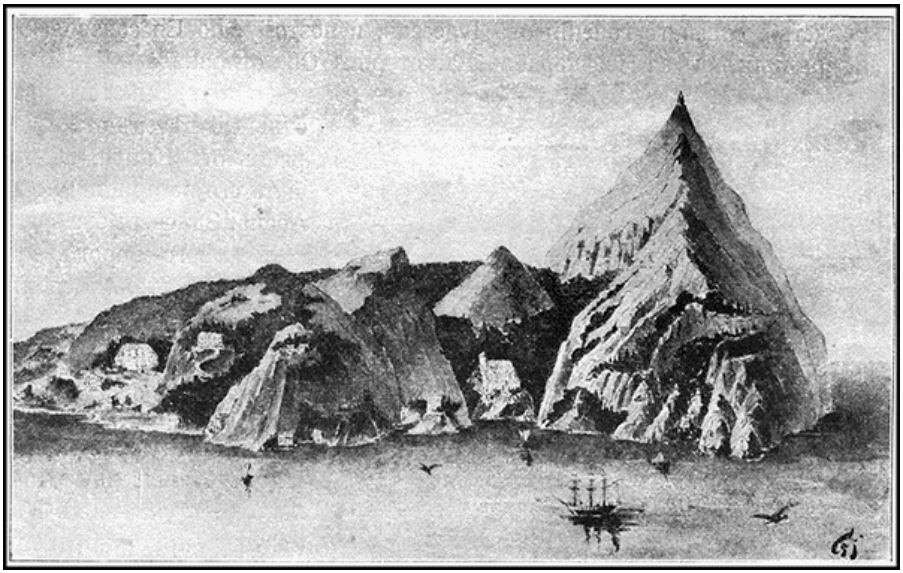
Вид с колокольни Ивана Великого

Здесь царили безнарядье и бесчиние. Набожная, выдержанная в церковности русская паства скучала долгим стоянием в храме. Угождая ей, духовенство самовольно ввело ускоренный порядок богослужения: читали и пели разное в два-три голоса или одновременно дьячок читал, дьякон говорил ектению, а священник возгласы, так что ничего нельзя было разобрать, лишь бы было прочитано и спето все положенное по служебнику.

Еще Стоглавый собор строго воспретил такое многогласие; но духовенство не слушалось соборного постановления. За такое бесчиние достаточно было подвергать бесчинных священнослужителей дисциплинарному взысканию. Но патриарх по приказу царя в 1649 г. созвал по этому делу целый церковный собор, который, опасаясь ропота духовенства и мирян, утвердил беспорядок. В 1651 г. недовольство сторонников церковного благочиния понудило на новом соборе перерешить дело в пользу единогласия. Высшие пастыри Церкви боялись своей паствы и даже подвластного духовенства, а паства ни во что не ставила своих пастырей, которые под гнетом изменчивых влияний метались из стороны в сторону, не отставая в законодательной растерянности от государственного правительства.

Идея Вселенской церкви. Можно было бы подивиться духовной силе Никона, сумевшего среди этой взбаламученной разносторонними веяниями церковной мути выработать и донести до патриаршего престола ясную мысль о церкви Вселенской и отношении к ней поместной церкви Русской, если бы он внес в эту мысль более серьезного содержания.

Он вступил в управление Русской церковью с твердой решимостью восстановить полное согласие ее с церковью Греческой, уничтожив все обрядовые особенности, которыми первая отличалась от последней. Не было недостатка во внушениях, поддерживавших в нем сознание необходимости этого единения. Восточные иерархи, все чаще наезжавшие в Москву в XVII в., укоризненно указывали русским церковным пастырям на эти особенности, как на местные новизны, могущие расстроить согласие между поместными православными церквами. Незадолго до вступления Никона на патриаршую кафедру случилось событие, указывавшее на такую опасность.



Святая гора Афон

На Афоне монахи всех греческих монастырей, составив собор, признали двуперстие ересью, сожгли московские богослужебные книги, в которых оно было положено, и хотели сжечь самого старца, у которого нашли эти книги. Можно угадывать личное побуждение, заставлявшее Никона больше всего заботиться об упрочении тесного общения Русской церкви с Восточными, русского патриарха с вселенскими. Он понимал, что вялые преобразовательные поползновения патриарха Иосифа и его единомышленников не выведут Русской церкви из ее безотрадного положения. Он воочию видел, каким жалким статистом служил на придворной сцене всероссийский патриарх. По собственному опыту знал, как легко настойчивый человек может повернуть молодого царя в любую сторону. Его взрывчатое самолюбие возмущалось при мысли, что и он, патриарх Никон, может стать игрушкой в руках какого-нибудь зазнавшегося царского духовника, подобно своему предшественнику, к концу патриаршества ждавшего со дня на день отставки. На высоте апостольского престола в Москве, Никон должен был чувствовать себя одиноким и искал опоры на стороне, вселенском Востоке, тесном единении с восточными сопрестольниками. Ибо авторитет Вселенской церкви, при всей трудности этого представления для московского церковного разумения, все же был некоторым пугалом для набожно-трусливой, хотя и всевластной московской совести.

По своей привычке всякую идею, всякое чувство, его захватывавшее, разрабатывать при содействии воображения, он

забывал свою нижегородскую мордовскую родину и хотел заставить себя стать греком. На церковном соборе 1655 г. он объявил, что хотя он русский и сын русского, но его вера и убеждения – греческие. В том же году, после торжественной службы в Успенском соборе, он на глазах всего молившегося народа снял с себя русский клобук и надел греческий. Впрочем, это вызвало не улыбку, а сильный ропот, как вызов всем веровавшим, что в Русской церкви все предано апостолами по внушению Святого Духа. Никон хотел даже стол иметь греческий. В 1658 г. сам архимандрит греческого монастыря на Никольской улице с келарем «строили кушанье государю патриарху по-гречески» и за то получили по полтине, рублей по 7 на наши деньги.

Укрепившись опорой вне сферы московской власти, Никон хотел быть не просто московским и всероссийским патриархом, а еще одним из вселенских и действовать самостоятельно. Он хотел дать действительную силу титулу «великого государя», какой он носил наравне с царем, все равно, была ли это снисходительно допущенная узурпация или неосторожно пожалованная «собинному другу» царская милость. Он ставил священство не только вровень с царством, но и выше его. Когда его упрекали в папизме, он без смущения отвечал: «За доброе отчего и Папу не почитать? Там верховные апостолы Петр и Павел, а он у них служит». Никон бросил вызов всему прошлому Русской церкви, как и окружающей русской действительности. Но он не хотел считаться со всем этим: перед носителем вечной и вселенской идеи должно исчезать все временное и местное. Вся задача в том, чтобы установить полное согласие и единение церкви Русской с другими поместными православными церквами, а там уж он, патриарх всея Руси, сумеет занять подобающее место среди высшей иерархии Вселенской церкви.

Новшества. Никон приступил к делу восстановления этого согласия со своей обычной ревностью и увлечением. Вступая на патриарший престол, он связал боярское правительство и народ торжественною клятвой дать ему волю устроить церковные дела, получил своего рода церковную диктатуру. Став патриархом, он на много дней затворился в книгохранилище, чтобы рассмотреть и изучить старые книги и спорные тексты. Здесь, между прочим, он нашел грамоту об учреждении патриаршества в России, подписанную в 1593 г. восточными патриархами. В ней он прочитал, что московский патриарх, как брат всех прочих православных патриархов, во всем должен быть с ними согласен и истреблять всякую новизну в ограде своей Церкви, так как новизны всегда бывают причиной церковного раздора. Тогда

Никоном овладел великий страх при мысли, не попустила ли Русская церковь какого-нибудь отступления от православного греческого закона.

Он начал рассматривать и сличать с греческим славянский текст Символа веры и богослужебных книг и везде нашел перемены и несходства с греческим текстом. В сознании своего долга поддерживать согласие с церковью Греческой, он решил приступить к исправлению русских богослужебных книг и церковных обрядов. Он начал с того, что своею властью без собора в 1653 г. перед Великим постом разослал по церквам указ, сколько следует класть земных поклонов при чтении известной молитвы св. Ефрема Сирина, причем предписывал также креститься тремя перстами. Потом он ополчился против русских иконописцев своего времени, которые отступали от греческих образцов в писании икон и усвояли приемы католических живописцев. Далее, при содействии юго-западных монахов, он ввел на место древнего московского унисонного пения новое киевское партесное, а также завел небывалый обычай произносить в церкви проповеди собственного сочинения.

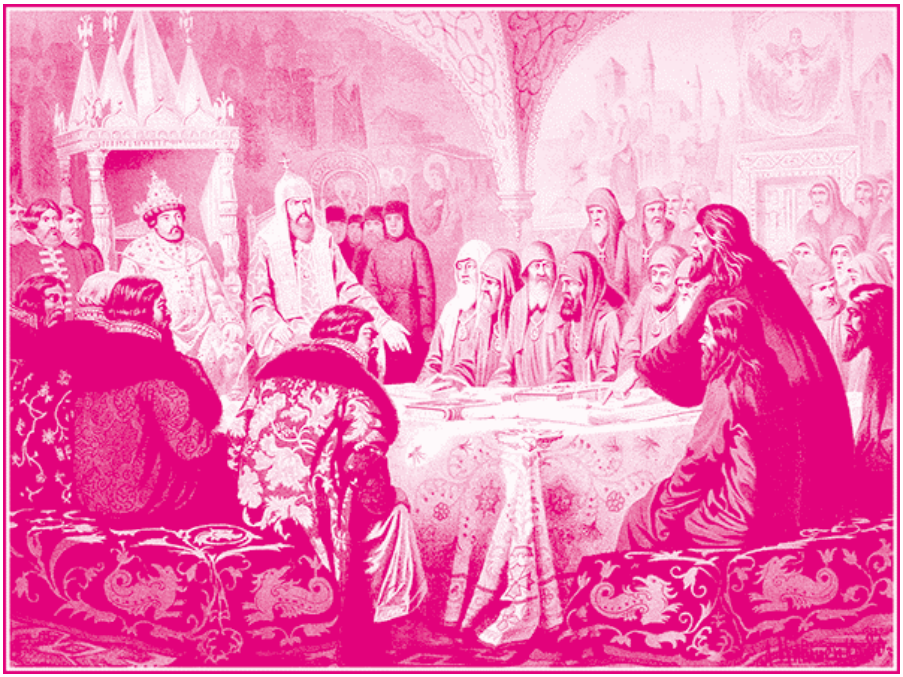
В Древней Руси подозрительно смотрели на такие проповеди, видели в них признак самомнения проповедника; пристойным считали читать поучения святых отцов, хотя обыкновенно и их не читали, чтобы не замедлять церковной службы. Никон сам любил и был мастер произносить поучения собственного сочинения. По его внушению и примеру и приезжие киевляне начали говорить в московских церквах свои проповеди, иногда даже на современные темы. Легко понять смущение, в какое должны были впасть от этих новизн православные русские умы, и без того тревожно настроенные.

Распоряжения Никона показывали русскому православному обществу, что оно доселе не умело ни молиться, ни писать икон, и что духовенство не умело совершать богослужение как следует. Это смущение живо выразил один из первых вождей раскола, протопоп Аввакум. Когда вышло распоряжение о великопостных поклонах, «мы, – пишет он, – собрались и задумались: видим, зима наступает, сердце озябло, и ноги задрожали». Смущение должно было усилиться, когда Никон приступил к исправлению богослужебных книг, хотя это дело он провел через церковный собор 1654 г. под председательством самого царя и в присутствии Боярской думы. Собор постановил при печатании церковных книг исправлять их по древним славянским и по греческим книгам. Богослужебные книги в Древней Руси плохо отличали от Священного Писания. Потому предприятие Никона возбуждало вопрос: неужели и Божественное Писание неправо? Что же после

этого есть правого в Русской церкви? Тревога усиливалась еще тем, что все свои распоряжения патриарх вводил порывисто и с необычайным шумом, не подготовляя к ним общества и сопровождая их жестокими мерами против ослушников. Оборвать, обругать, проклясть, избить неугодного человека – таковы были обычные приемы его властного пастырства. Так он поступил даже с епископом Коломенским Павлом, возражавшим ему на Соборе 1654 г.: без соборного суда Павел был лишен кафедры, предан «лютому биению» и сослан, сошел с ума и погиб безвестной смертью. Один современник рассказывает, как Никон действовал против нового иконописания.

В 1654 г., когда царь был в походе, патриарх приказал произвести в Москве обыск по домам и забрать иконы нового письма везде, где они окажутся, даже в домах знатных людей. У отобранных икон выкалывали глаза и в таком виде носили их по городу, объявляя указ, который грозил строгим наказанием всем, кто будет писать такие иконы. Вскоре после того в Москве настала моровая язва, и случилось солнечное затмение. Москвичи пришли в сильное волнение, собирали сходки и бранили патриарха, говоря, что мор и затмение – кара Божия за нечестие Никона, ругающегося над иконами, собирались даже убить иконоборца.

В 1655 г., в Неделю православия, патриарх совершал в Успенском соборе торжественное богослужение в присутствии двух восточных патриархов, Антиохийского и Сербского, случившихся тогда в Москве. После литургии Никон, прочитав беседу о поклонении иконам, произнес сильную речь против новой русской иконописи и предал церковному отлучению всех, кто впредь будет писать или держать у себя новые иконы. При этом ему подносили отобранные иконы, и он, показывая каждую народу, бросал ее на железный пол с такою силою, что икона разбивалась. Наконец, он приказал сжечь неисправные иконы. Царь Алексей, все время смиренно слушавший патриарха, подошел к нему и тихо сказал: «Нет, батюшка, не вели их жечь, а прикажи лучше зарыть в землю».



А. Кившенко. **Патриарх Никон на Соборе русских иерархов предлагает новые богослужебные книги. Начало раскола**

Содействие расколу. Что было всего хуже, такое ожесточение против привычных церковных обычаев и обрядов вовсе не оправдывалось убеждением Никона в их душевредности, исключительной душеспасительности новых. Как до возбуждения вопросов об исправлении книг сам он крестился двумя перстами, так и после допускал в Успенском соборе и сугубую и трегубую аллилуию.

Уж в конце своего патриаршества, в разговоре с покорившимся Церкви противником Иваном Нероновым о старых и новоисправленных книгах, он сказал: «…И те, и другие добры; все равно, по коим хочешь, по тем и служишь…» Значит, дело было не в обряде, а в противлении церковной власти. Неронов с единомышленниками и был проклят на Соборе 1656 г. не за двуперстие или старопечатные книги, а за то, что не покорялся церковному собору. Вопрос сводился с обряда на правило, обязывавшее повиноваться церковной власти. На том же основании и Собор 1666–1667 г. положил клятву на старообрядцев. Дело получало такой смысл: церковная власть предписывала непривычный для паствы обряд. Непокорные предписанию отлучались не за старый обряд, а за непокорность; но кто раскаивался, того воссоединяли с Церковью и разрешали ему держаться старого обряда. Это похоже на пробную лагерную

тревогу, приучающую людей быть всегда в боевой готовности. Но такой искус церковного послушания – пастырская игра религиозной совестью пасомых.

Протопоп Аввакум и другие не нашли в себе столь гибкой совести и стали расколоучителями. А объяви Никон в самом начале дела всей Церкви то же, что он сказал покорившемуся Неронову, не было бы и раскола. Никон много помог успехам раскола тем, что плохо понимал людей, с которыми ему приходилось считаться, слишком низко ценил своих первых противников – Неронова, Аввакума и других своих бывших друзей. Это были не только популярные проповедники, но и народные агитаторы. Свой учительный дар они показывали преимущественно на учениях святых отцов, особенно Иоанна Златоуста, на «Маргарите», как назывался сборник его поучений. И Неронов, священствуя в Нижнем, не расставался с этой книгой, читал и толковал ее с церковной кафедры, даже по улицам и площадям, собирая большие толпы народа.

Патриарх Никон со своим клиром

Неизвестно, много ли было богословского смысла в этих экзегетических импровизациях, но темперамента, несомненно, было с избытком. Притом это был жестокий обличитель мирских пороков, пьянства духовных, гроза скоморохов, даже воеводских злоупотреблений, за что не раз был биваем. Когда он стал настоятелем Казанского собора в Москве, туда на его служение сходилась вся столица, переполняла храм и паперть, облепляла окна; сам царь с семьей приходил послушать проповедника. На Неронова похожи были и другие из братии царского духовника.

Популярность и благоволение двора наполнили их непомерной дерзостью. Привыкнув запросто обходиться с Никоном до патриаршества, они теперь стали грубить ему, срамить его на Соборе, доносить на него царю. Патриарх отвечал им жестокими карами. Муромский протопоп Логгин, благословляя жену местного воеводы в его доме, спросил ее, не набелена ли она. Обиженный хозяин и гости заговорили: ты, протопоп, хулишь белила, а без них и образа не пишутся. «Если, – возразил Логгин, – составы, какими пишутся образа, положить на ваши рожи, вам это не понравится»; сам Спас, Пресвятая Богородица и все святые честнее своих образов. В Москву сейчас донос от воеводы: «Логгин похулил образа Спасителя, Богородицы и всех святых». Никон, не разобрав этого нелепого дела, подверг Логгина жестокому аресту – в отместку за то, что протопоп прежде укорял его в гордости и высокоумии.

Внося личную вражду в церковное дело, Никон одновременно и ронял свой пастырский авторитет, и украшал страдальческим венцом своих противников, а разгоняя их по России, снабжал глухие углы ее умелыми сеятелями староверья. Так Никон не оправдал своей диктатуры, не устроил церковных дел, напротив, – еще более их расстроил. Власть и придворное общество погасили в нем духовные силы, дарованные ему щедрой для него природой. Ничего обновительного, преобразовательного не внес он в свою пастырскую деятельность; всего менее было этого в предпринятом им исправлении церковных книг и обрядов. Корректура – не реформа, и если корректурные поправки были приняты частью духовенства и общества за новые догматы и вызвали церковный мятеж, то в этом прежде всего виноват сам Никон со всей русской иерархией. Зачем он предпринимал такое дело, обязанный знать, что из него выйдет, и что же делали русские пастыри в продолжение столетий, если не научили своей паствы отличать догмат от сугубой аллилуии?

Никон не перестраивал церковного порядка в каком-либо новом духе и направлении, а только заменял одну церковную форму другой. Самую идею Вселенской церкви, во имя которой предпринято было это шумное дело, он понял слишком узко, по-раскольничьи, с внешней обрядовой стороны. Он не сумел ни провести в сознание русского церковного общества более широкого взгляда на Вселенскую церковь, ни закрепить его каким-либо вселенским соборным постановлением и завершил все дело тем, что в лицо обругал судивших его восточных патриархов султанскими невольниками, бродягами и ворами. Ревнуя о единении церкви Вселенской, он расколол *свою*, поместную. Основная струна настроения русского церковного

общества, косность религиозного чувства, слишком крепко натянутая Никоном, оборвавшись, больно хлестнула и его самого, и правящую русскую иерархию, одобрившую его дело.

Латинобоязнь. Кроме собственного образа действий Никон располагал еще двумя вспомогательными средствами для борьбы со староверческим упрямством, которые при данной им делу постановке столь же удачно способствовали успехам староверия. Во-первых, ближайшими сотрудниками Никона и проводниками его церковных нововведений были южнорусские ученые. О них знали в Москве, что они тесно соприкасались с польским католическим миром; или такие греки, как помянутый Арсений, бродяга-перекрест, бывший католик и, по слухам, даже басурман, доверенный книжный справщик Никона, вывезенный им из Соловецкого исправительного подначала, «ссыльный чернец темных римских отступлений», как о нем тогда отзывались. Притом введение церковных новшеств сопровождалось резкими попреками со стороны приезжих малороссов и греков, направленными против великороссов.

Киевский монах, хохол, «нехай», как тогда говорили, на каждом шагу колол глаза великорусскому обществу, особенно духовенству, злорадно коря его в невежестве, без умолку твердя о его незнакомстве с грамматикой, риторикой и другими школьными науками. Симеон Полоцкий торжественно с церковной кафедры в Московском Успенском соборе возвещал, что премудрость не имеет в России где главу преклонить, что русские учения чуждаются и мудрость, предстоящую Богу, презирают, говорил о невеждах, которые смеют называться учителями, не быв нигде и никогда учениками: «Поистине это не учители, а мучители». Под этими невеждами разумелись прежде всего московские священники. В хранителях древнерусского благочестия эти попреки возбуждали раздраженные вопросы: точно ли они так невежественны, да и эти привозные школьные науки в самом ли деле так уж необходимы для охранения вверенного Русской церкви сокровища?

Общество и без того уж было настроено тревожно и подозрительно вследствие наплыва иноземцев, а к этому прибавлялось еще раздраженное чувство национального достоинства, оскорбляемое своею же православной братией. Наконец, русские и восточные иерархи на Соборе 1666–1667 г., предав анафеме двуперстие и другие обряды, признанные Стоглавым собором 1551 г., торжественно объявили, что «отцы этого Собора мудрствовали невежеством своим безрассудно».

Таким образом, русская иерархия XVII в. предала полному осуждению русскую церковную старину, которая для

значительной части тогдашнего русского общества имела вселенское значение. Легко понять смущение, в какое все эти явления повергли православные русские умы, воспитанные в описанном религиозном самодовольстве и так тревожно настроенные. Это смущение и повело к расколу, как скоро была найдена разгадка непонятных церковных нововведений. Участие в них приезжих греков и западнорусских ученых, которых подозревали в связи с латинством, назойливое навязывание ими школьных наук, процветавших на латинском Западе, появление церковных новшеств вслед за западными новинами, неразумное пристрастие правительства к казавшимся ненужными заимствованиям с того же Запада, откуда накликали и сытно кормили столько еретического люда, – все это распространило в русском рядовом обществе догадку, что церковные новшества – дело тайной латинской пропаганды. Никон и его греческие и киевские сотрудники суть орудие Папы, еще раз задумавшего олатынить русский православный народ.

Признания первых старообрядцев. Достаточно заглянуть в самые ранние произведения старообрядческой литературы, чтобы видеть, что именно такие впечатления и опасения руководили первыми борцами раскола и их последователями. В числе этих произведений видное место занимают две челобитные, из которых одна подана была царю Алексею в 1662 г. чернецом Савватием, а другая, в 1667 г., – братией Соловецкого монастыря, восставшей против Никоновых нововведений.

Издатели исправленных богослужебных книг при Никоне кололи глаза приверженцам старых неисправных книг тем, что они не знали грамматики и риторики. В ответ на это чернец Савватий пишет царю о новых книжных исправителях: «Ей, государь! Смутились и книги портят, а начали так плутать недавно: свела их с ума несовершенная их грамматика да приезжие нехаи». Церковные нововведения Никона оправдывались одобрением восточных греческих иерархов. Но греки давно уже возбуждали в русском обществе подозрение насчет чистоты своего православия. В ответ на обращение к их авторитету соловецкая челобитная замечает, что греческие учители сами лба перекрестить «по подобию», как подобает, не умеют и без крестов ходят. Им самим следовало бы учиться благочестию у русских людей, а не учить последних. Церковные нововводители уверяли, что обряды Русской церкви неправы; но та же челобитная, смешивая обряд с вероучением и становясь за русскую церковную старину, пишет: «Ныне новые вероучители учат нас новой и неслыханной вере, точно мы мордва или черемиса, Бога не знающая. Пожалуй, придется нам вторично

креститься, а угодников Божиих и чудотворцев вон из церкви выбросить. И так уже иноземцы смеются над нами, говоря, что мы и веры-то христианской по сие время не знали».

Очевидно, церковные нововведения задевали самую чувствительную струну в настроении русского церковного общества, его национально-церковную самоуверенность. Протопоп Аввакум, один из первых и самый жаркий борец за раскол, является самым верным истолкователем его основной точки зрения и его побуждений. В образе действий и в сочинениях этого старообрядческого борца выражается вся сущность древнерусского религиозного мировоззрения, как оно сложилось к изучаемому времени. Аввакум видит источник церковной беды, постигшей Русь, в новых западных обычаях и в новых книгах: «Ох, бедная Русь! – восклицает он в одном сочинении, – что это тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступков?» И он того мнения, что восточные церковные учители, которых призывали на Русь научить и наставить ее в церковных недоумениях, сами нуждаются в научении и вразумлении и именно со стороны Руси.

В своей автобиографии он рисует бесподобную сцену, разыгравшуюся на судившем его церковном соборе 1667 г., именно свое поведение в присутствии восточных патриархов. Последние говорят ему: «Ты упрям, протопоп: вся наша Палестина, и сербы, и албанцы, и римляне, и ляхи – все тремя перстами крестятся; один ты упорно стоишь на своем и крестишься двумя перстами; так не подобает». – Аввакум возразил: «Вселенские учители! Рим давно пал, и ляхи с ним же погибли, до конца остались врагами христианам; да и у вас православие пестро, от насилия турского Махмета немощны вы стали и впредь приезжайте к нам учиться. У нас Божией благодатью самодержавие, и до Никона-отступника православие было чисто и непорочно и Церковь безмятежна». Сказав это, подсудимый отошел к дверям палаты да на бок и повалился, приговаривая: «Посидите вы, а я полежу». Некоторые засмеялись, говоря: «Дурак протопоп, и патриархов не почитает». Аввакум продолжал: «Мы уроды Христа ради; вы славны, а мы бесчестны, вы сильны, а мы немощны». Основную мысль, руководившую первыми вождями раскола, Аввакум выразил так: «Хотя я несмысленный и очень неученый человек, да то знаю, что все, святыми Отцами Церкви преданное, свято и непорочно; держу до смерти, якоже приях, не прелагаю предел вечных; до нас положено – лежи оно так во веки веков». Эти черты древнерусского религиозного миросозерцания, которому события XVII в. сообщили чрезвычайно болезненное возбуждение и

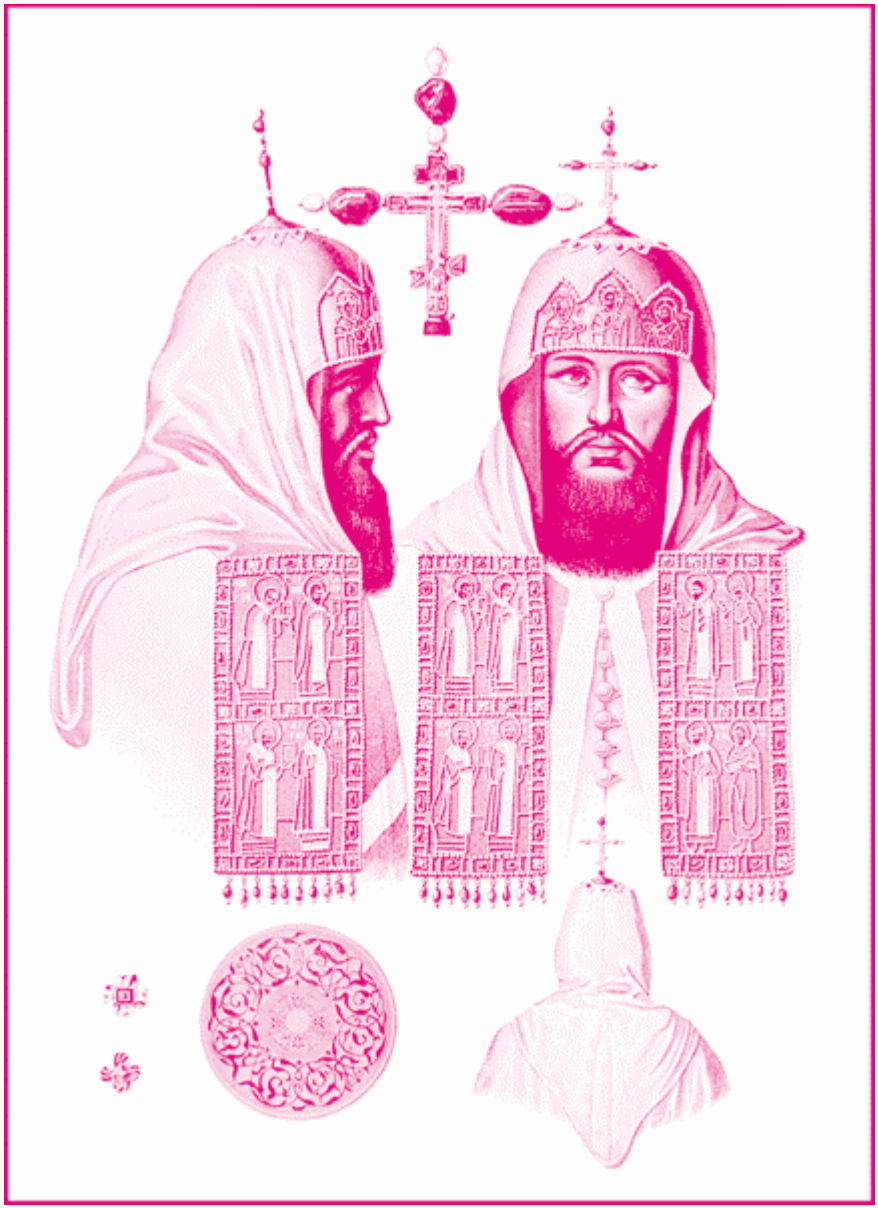
одностороннее направление, целиком перешли в раскол, легли в основание его религиозного миросозерцания.

Так я объясняю происхождение раскола. Внешние бедствия, постигшие Русь и Византию, уединили Русскую церковь, ослабив ее духовное общение с церквами православного Востока. Это помутило в русском церковном обществе мысль о Вселенской церкви, подставив под нее мысль о церкви Русской, как единственной православной, заменившей собою церковь Вселенскую. Тогда авторитет вселенского христианского сознания был подменен авторитетом местной национальной церковной старины. Замкнутая жизнь содействовала накоплению в русской церковной практике местных особенностей, а преувеличенная оценка местной церковной старины сообщила этим особенностям значение неприкосновенной святыни. Житейские соблазны и религиозные опасности, принесенные западным влиянием, насторожили внимание русского церковного общества, а в его руководителях пробудили потребность собираться с силами для предстоявшей борьбы, осмотреться и прибраться, подкрепиться содействием других православных обществ и для того теснее сойтись с ними.

К. Вещилов. **Суд над протопопом Аввакумом**

Так в лучших русских умах около половины XVII в. оживилась замиравшая мысль о Вселенской церкви, обнаружившаяся у патриарха Никона нетерпеливой и порывистой деятельностью, направленной к обрядовому сближению Русской церкви с восточными церквами. Как самая эта идея, так и обстоятельства

ее пробуждения и особенно способы ее осуществления вызвали в русском церковном обществе страшную тревогу. Мысль о Вселенской церкви выводила это общество из его спокойного религиозного самодовольства, из национально-церковного самомнения.



Клобук патриарха Никона *(изображение лица с портрета, находящегося в Воскресенском монастыре)*

Порывистое и раздраженное гонение привычных обрядов оскорбляло национальное самолюбие, не давало встревоженной

совести одуматься и переломить свои привычки и предрассудки. А наблюдение, что латинское влияние дало первый толчок этим преобразовательным порывам, наполнило умы паническим ужасом при догадке, что этой ломкой родной старины двигает скрытая злокозненная рука из Рима.

Народно-психологический состав старообрядства. Итак, раскол как религиозное настроение и как протест против западного влияния произошел от встречи преобразовательного движения в государстве и Церкви с народно-психологическим значением церковного обряда и с национальным взглядом на положение Русской церкви в христианском мире. С этих сторон он есть явление народной психологии – и только.

В народно-психологическом составе старообрядства надобно различать три основные элемента: 1) церковное самомнение, по вине которого православие у нас превратилось в национальную монополию (национализация Вселенской церкви); 2) косность и робость богословской мысли, не умевшей усвоить духа нового чуждого знания и испугавшейся его, как нечистого латинского наваждения (латинобоязнь); 3) инерция религиозного чувства, не умевшего отрешиться от привычных способов и форм своего возбуждения и проявления (языческая обрядность).

Но протестующее противоцерковное настроение раскола превратилось в церковный мятеж. Старообрядцы отказались повиноваться своим церковным пастырям за их предполагаемую привязанность к латинству. А русские церковные иерархи с двумя восточными патриархами на Московском соборе 1667 г. отлучили непокорных старообрядцев от Православной церкви за их противление канонической власти церковных пастырей. С того времени раскол и получил свое бытие не только как религиозное настроение, но и как особенное церковное общество, отделившееся от господствующей Церкви.

Раскол и просвещение. Раскол скоро отозвался и на ходе русского просвещения, и на условиях западного влияния. Это влияние дало прямой толчок реакции, породившей раскол, а раскол, в свою очередь, дал косвенный толчок школьному просвещению, на которое он так ополчался. И греческие, и западнорусские ученые твердили о народном русском невежестве как о коренной причине раскола. Теперь и стали думать о настоящей правильной школе. Но какого она должна быть типа и направления? Здесь раскол помог разделиться взглядам, прежде сливавшимся по недоразумению.

Пока перед глазами стояли внешние еретики, папежники и люторы, для борьбы с ними радушно призывали и греков, и киевлян, и Епифания Славинецкого, приходившего с греческим

языком, и Симеона Полоцкого – с латинским. Но теперь завелись еретики домашние, староверы, отпавшие от Церкви за ее латинские новшества, и хлебопоклонники, исповедовавшие латинское учение о времени пресуществления Святых Даров, и заводчиком этой ереси в Москве считали латиниста С. Полоцкого. Возник горячий спор об отношении к обоим языкам, о том, который из них должен лечь в основу православного школьного образования. Эти языки были тогда не просто разные грамматики и лексиконы, а разные системы образования, враждебные культуры, непримиримые миросозерцания.

Латынь – это «свободные учения», «свобода взыскания», свобода исследования, о которой говорит благословенная грамота прихожанам церкви Иоанна Богослова. Это науки, отвечающие и высшим духовным, и ежедневным житейским нуждам человека, а греческий язык – это «священная философия», грамматика, риторика, диалектика, как служебные науки, вспомогательные средства для уразумения слова Божия. Восторжествовали, разумеется, эллинисты.

В царствование Федора в защиту греческого языка написана была статья, которая начинается постановкой вопроса и ответом на него: «Учитися ли нам полезнее грамматики, риторики, философии и феологии и стихотворному художеству и оттуду познавати Божественная Писания, или, не учася сим хитростем, в простоте Богу угождати и от чтения разум святых писаний познавати, – и что лучше российским людем учитися греческого языка, а не латинского». Латинское учение по этой статье безусловно вредно и губительно, грозит двумя великими опасностями: прослышав о принятии этого учения в Москве, лукавые иезуиты подкрадутся со своими неудобопознаваемыми силлогизмами и «душетлительными аргументами», и тогда с Великой Россией повторится то же, что испытала Малая, где «быша мало не все униаты – редции осташася во православии»; потом, если в народе, особенно в «простаках», прослышат о латинском учении, не знаю, пишет автор, какого ждать добра, «точию избави Боже всякие противности».

В 1681 г. при московской типографии на Никольской открыто было училище с двумя классами для изучения греческого языка в одном и славянского в другом. Руководил этой типографской школой долго живший на Востоке иеромонах Тимофей с двумя учителями-греками. В школу вступило 30 учеников из разных сословий. В 1686 г. их числилось уже 233 человека. Потом заведена была и высшая школа, Славяно-греко-латинская академия, открытая в 1686 г. в Заиконо-Спасском монастыре на Никольской же. Руководить ею призваны были греки братья

Лихуды. Сюда перевели старших учеников типографского училища, которое стало как бы низшим отделением академии.

В 1685 г. ученик Полоцкого, Сильвестр Медведев, поднес правительнице царевне Софье привилегий, или устав академии, составленный еще при царе Федоре. Характер и задачи академии ясно обозначены некоторыми пунктами устава. Она открывалась для людей всех состояний и давала служебные чины воспитанникам. На должности ректора и учителей допускались только русские и греки; западнорусские православные ученые могли занимать эти должности только по свидетельству достоверных благочестивых людей. Строго запрещалось держать домашних учителей иностранных языков, иметь в домах и читать латинские, польские, немецкие и другие еретические книги; за этим, как и за иноверной пропагандой среди православных, наблюдала академия, которая судила и обвиняемых в хуле на православную веру, за что виновные подвергались сожжению. Так продолжительные хлопоты о московском рассаднике свободных учений для всего православного Востока завершились церковно-полицейским учебным заведением, которое стало первообразом церковной школы. Поставленная на страже православия от всех европейских еретиков, без приготовительных школ, академия не могла проникнуть своим просветительным влиянием в народную массу и была безопасна для раскола.

Содействие раскола западному влиянию. Сильнее воздействовал раскол в пользу западного влияния, которым был вызван. Церковная буря, поднятая Никоном, далеко не захватила всего русского церковного общества. Раскол начался среди русского духовенства, и борьба в первое время шла собственно между русской правящей иерархией и той частью церковного общества, которая была увлечена оппозицией против обрядовых новшеств Никона, веденной агитаторами из подчиненного белого и черного духовенства. Даже не вся правящая иерархия была первоначально за Никона: епископ Коломенский Павел в ссылке указывал еще на трех архиереев, подобно ему хранивших древнее благочестие. Единодушие здесь устанавливалось лишь по мере того, как церковный спор передвигался с обрядовой почвы на каноническую, превращался в вопрос о противлении паствы законным пастырям. Тогда в правящей иерархии все поняли, что дело не в древнем или новом благочестии, а в том, остаться ли на епископской кафедре без паствы или пойти с паствой без кафедры, подобно Павлу Коломенскому.

Масса общества вместе с царем относилась к делу двойственно. Они принимали нововведение по долгу церковного послушания, но не сочувствовали нововводителю за его

отталкивающий характер и образ действий; сострадали жертвам его нетерпимости, но не могли одобрять непристойных выходок его исступленных противников против властей и учреждений, которые привыкли считать опорами церковно-нравственного порядка. Степенных людей не могла не повергнуть в раздумье сцена в соборе при расстрижении протопопа Логгина, который, по снятии с него однорядки и кафтана, с бранью плевал через порог в алтарь в глаза Никону и, сорвав с себя рубашку, бросил ее в лицо патриарху.

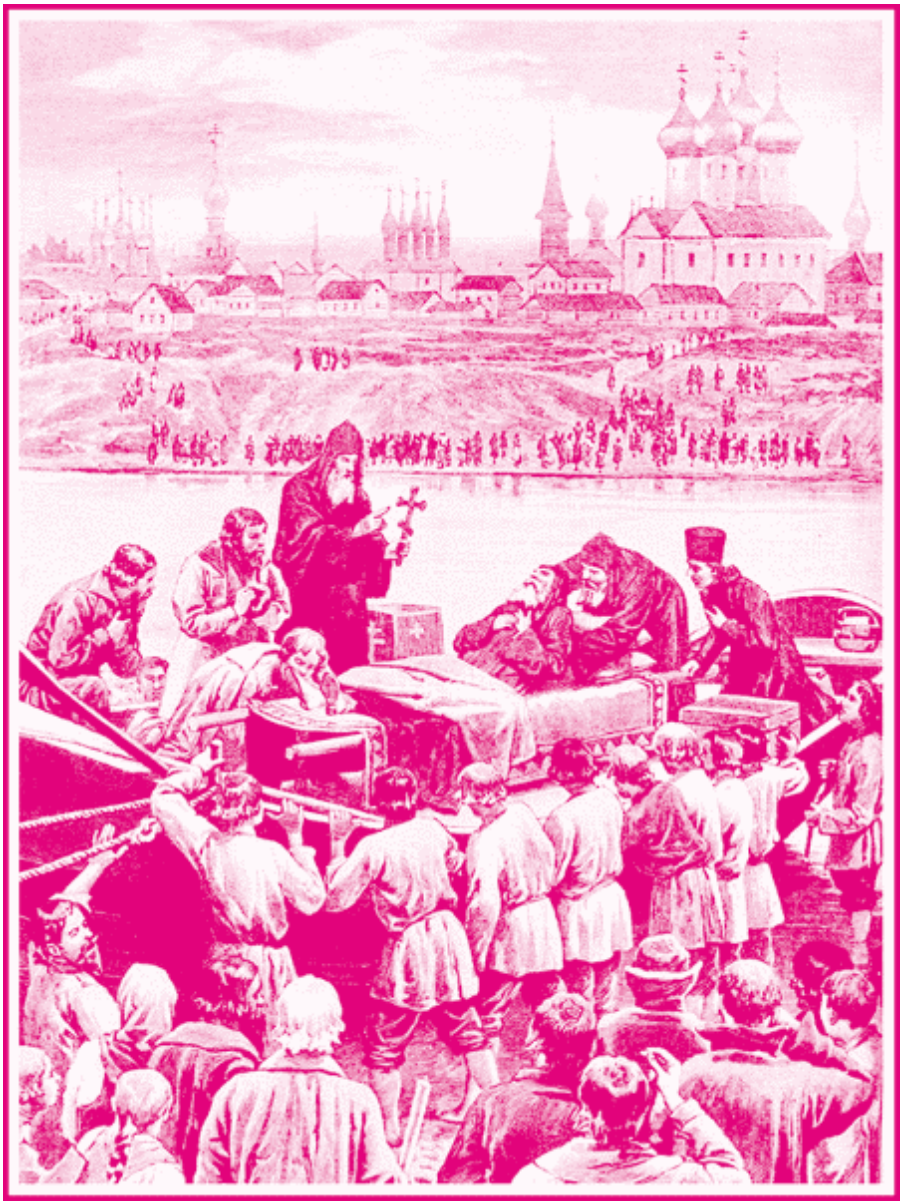
Мыслящие люди старались вдуматься в сущность дела, чтобы найти для своей совести точку опоры, которой не давали пастыри. Ртищев, отец ревнителя наук, говорил одной из первых страдалиц за старую веру, княгине Урусовой: «Смущает меня одно – не ведаю, за истину ли терпите». Он мог спросить и себя, за истину ли их мучат. Даже дьякон Федор, один из первых борцов за раскол, в тюрьме наложил на себя пост, чтобы узнать, что есть неправого в древнем благочестии и что правого в новом. Иные из таких сомневавшихся уходили в раскол; большая часть успокаивалась на сделке с совестью, оставались искренне преданы Церкви, но отделяли от нее церковную иерархию и полное равнодушие к последней прикрывали привычным наружно-почтительным отношением.

Правящие государственные сферы были решительнее. Здесь надолго запомнили, как глава церковной иерархии хотел стать выше царя, как он на вселенском судилище в 1666 г. срамил московского носителя верховной власти, и, признав, что от этой иерархии, кроме смуты, ждать нечего, молчаливо, без слов, общим настроением решили предоставить ее самой себе, но до деятельного участия в государственном управлении не допускать. Этим закончилась политическая роль древнерусского духовенства, всегда плохо поставленная и еще хуже исполняемая. Так было устранено одно из главных препятствий, мешавших успехам западного влияния. Так как в этом церковно-политическом кризисе ссора царя с патриархом неуловимыми узлами сплелась с церковной смутой, поднятой Никоном, то ее действие на политическое значение духовенства можно признать косвенной услугой раскола западному влиянию. Раскол оказал ему и более прямую услугу, ослабив действие другого препятствия, которое мешало реформе Петра, совершавшейся под этим влиянием.

Подозрительное отношение к Западу распространено было во всем русском обществе и даже в руководящих кругах его, особенно легко поддававшихся западному влиянию, родная старина еще не утратила своего обаяния. Это замедляло

преобразовательное движение, ослабляло энергию нововводителей. Раскол уронил авторитет старины, подняв во имя ее мятеж против Церкви, а по связи с ней и против государства. Большая часть русского церковного общества теперь увидела, какие дурные чувства и наклонности может воспитывать эта старина и какими опасностями грозит слепая к ней привязанность. Руководители преобразовательного движения, еще колебавшиеся между родной стариной и Западом, теперь с облегченной совестью решительнее и смелее пошли своей дорогой. Особенно сильное действие в этом направлении оказал раскол на самого преобразователя.

В 1682 г., вскоре по избрании Петра в цари, старообрядцы повторили свое мятежное движение во имя старины, старой веры (спор в Грановитой палате 5 июля). Это движение, как впечатление детства, на всю жизнь врезалось в душе Петра и неразрывно связало в его сознании представления о родной старине, расколе и мятеже: старина – это раскол; раскол – это мятеж; следовательно, старина – это мятеж. Понятно, в какое отношение к родной старине ставила преобразователя такая связь представлений.



Н. Дмитриев-Оренбургский.

Кончина патриарха Никона на реке Которости в г. Ярославле

Симеон Полоцкий

Симеон Полоцкий (Самуил Гаврилович Ситианович-Петровский)

Люди высшего московского класса старались запастись средствами для домашнего образования своих детей, принимая к себе в домы приезжих учителей, западнорусских монахов и даже поляков. Сам царь Алексей подавал пример в этом. Он не удовлетворился элементарным обучением, какое получили его старшие сыновья, Алексей и Федор, от московского приказного учителя, велел обучать их иноземным языкам, латинскому и польскому, и, для довершения их образования, призвал западнорусского ученого монаха Симеона Ситияновича Полоцкого, воспитанника Киевской академии, знакомого и с польскими школами.

Симеон – приятный учитель, облекавший науку в привлекательные формы. В его виршах можно видеть стихотворный конспект его уроков. Здесь он касается и политических предметов, стараясь развить в своих царственных питомцах политическое сознание: «Како гражданство преблаго

бывает,/ Гражданствующим (правителям) знати подобает». Он рисует своим ученикам политический идеал отношений царя к подданным в образе доброго пастыря и овец: «Тако начальник должен есть творити – / Бремя подданных крепостно носити, / Не презирати, не за псы имети, / Паче любити, яко своя дети».

Интерес к переводным и даже подлинным польским книгам вместе с польским языком, при помощи домашних учителей, проникает во дворец московского царя и в дома московского боярства. Старшие сыновья царя Алексея, как я сказал, обучены были языкам польскому и латинскому; царевич Федор выучился даже искусству слагать вирши и был сотрудником С. Полоцкого в стихотворном переложении Псалтыря, переложил два псалма. О нем говорили, что он был любитель наук, особенно математических. Одна из царевен, Софья, также обучалась польскому языку и читала польские книги, даже букву *у* писала по-латыни. По свидетельству Лазаря Барановича, архиепископа Черниговского, в его время «царский синклит польского языка не гнушался, но читал книги и истории ляцкие в сладость». Иные из московского общества старались черпать западную науку из первых источников, и тем усерднее, что она стала считаться необходимою для успехов на службе. Боярин Матвеев учил своего сына латинскому и греческому языку.

Предшественник его по управлению Посольским приказом, Ордин-Нащокин, окружил своего сына пленными поляками, которые внушили ему такую любовь к Западу, что соблазнили молодого человека бежать за границу. Первый русский резидент в Польше Тяпкин отдал своего сына в польскую школу. В 1675 г., посылая его в Москву с дипломатическим поручением, отец представил его во Львове королю Яну Собескому. Молодой человек произнес перед королем речь, в которой благодарил его «за хлеб, за соль и за науку школьную». Речь была сказана на тогдашнем школьном полупольском и полулатинском жаргоне, причем, по донесению отца, «сынок так явственно и изобразительно свою орацию предложил, что ни в одном слове не запнулся». Король пожаловал оратору сотню злотых и 15 аршин красного бархата.

Так почувствовали в Москве потребность в европейском искусстве и комфорте, а потом и в научном образовании. Начали иноземным офицером и немецкой пушкой, а кончили немецким балетом и латинской грамматикой. Вызванное насущными материальными нуждами государства, западное влияние вместе с необходимым приносило и то, чего не требовали эти нужды, без чего можно было пока обойтись, с чем можно было еще повременить.

Шереметев. **Посольский приказ**

А. Л. Ордин-Нащокин

А. Л. Ордин-Нащокин.
Литография с портрета работы неизвестного мастера. XVII в.

Из ряда сотрудников царя Алексея резкой фигурой выступает самый замечательный из московских государственных людей XVII в. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин.

Московский государственный человек XVII в. Самое это выражение может показаться злоупотреблением современной политической терминологией. Государственный человек – ведь это значит развитой политический ум, способный наблюдать, понимать и направлять общественные движения, с самостоятельным взглядом на вопросы времени, разработанной программой действия, наконец, известным простором для политической деятельности – целый ряд условий, присутствия которых мы совсем не привыкли предполагать в старом Московском государстве.

Да, до XVII в. этих условий, действительно, не заметно в государстве московских самодержцев, и трудно искать государственных людей при их дворе. Ход государственных дел тогда направлялся заведенным порядком да государевой волей.

Личный ум прятался за порядком, лицо служило только орудием государевой воли; но и порядок и самая эта воля подчинялись еще сильнейшему влиянию обычая, предания. В XVII в., однако, московская государственная жизнь начала прокладывать себе иные пути. Старый обычай, заведенный порядок пошатнулись; начался сильный спрос на ум, на личные силы, а воля царя Алексея Михайловича для общего блага готова была подчиниться всякому сильному и благонамеренному уму.

Царь Алексей, сказал я, создал в русском обществе XVII в. преобразовательное настроение. Первое место в ряду государственных дельцов, захваченных таким настроением, бесспорно принадлежит самому блестящему из сотрудников царя Алексея, наиболее энергическому провозвестнику преобразовательных стремлений его времени, боярину Афанасию Лаврентьевичу Ордин-Нащокину. Этот делец вдвойне любопытен для нас, потому что вел двойную подготовку реформы Петра Великого.

Во-первых, никто из московских государственных дельцов XVII в. не высказал столько, как он, преобразовательных идей и планов, которые после осуществил Петр. Потом, Ордин-Нащокину пришлось не только действовать по-новому, но и самому создавать обстановку своей деятельности. По происхождению своему он не принадлежал к тому обществу, среди которого ему привелось действовать. Привилегированным питомником политических дельцов в Московском государстве служило старое родовитое боярство, пренебрежительно смотревшее на массу провинциального дворянства. Ордин-Нащокин был едва ли не первым провинциальным дворянином, проложившим себе дорогу в круг этой спесивой знати, а за ним уже потянулась вереница его провинциальной братии, скоро разбившей плотные ряды боярской аристократии.

Афанасий Лаврентьевич был сын очень скромного псковского помещика. В Псковском и в ближнем Торопецком уездах ютилось целое фамильное гнездо Нащокиных, которое шло от одного видного служилого человека при Московском дворе XVI в. Из этого гнезда, захудавшего после своего родоначальника, вышел и наш Афанасий Лаврентьевич. Он стал известен еще при царе Михаиле: его не раз назначали в посольские комиссии для размежевания границ со Швецией. В начале Алексеева царствования Ордин-Нащокин уже считался на родине видным дельцом и усердным слугой московского правительства. Вот почему во время псковского бунта 1650 г. мятежники намеревались убить его. При усмирении этого бунта московскими полками Ордин-Нащокин показал много усердия и уменья. С тех

пор он пошел в гору.

Когда в 1654 г. открылась война с Польшей, ему поручен был чрезвычайно трудный пост: с малыми военными силами он должен был сторожить московскую границу со стороны Литвы и Ливонии. Он отлично исполнил возложенное на него поручение. В 1656 г. началась война со Швецией, и сам царь двинулся в поход под Ригу. Когда московские войска взяли один из ливонских городов на Двине, Кокенгаузен (старинный русский Кукейнос, когда-то принадлежавший полоцким князьям), Нащокин был назначен воеводой этого и других новозавоеванных городов. На этой должности Ордин-Нащокин делает очень важные военные и дипломатические дела: сторожит границу, завоевывает ливонские городки, ведет переписку с польскими властями; ни одно важное дипломатическое дело не делается без его участия. В 1658 г. его усилиями заключено было Валиесарское перемирие со Швецией, условия которого превзошли ожидания самого царя Алексея. В 1665 г. Ордин-Нащокин сидел воеводой в родном своем Пскове. Наконец, он сослужил самую важную и тяжелую службу московскому правительству: после утомительных восьмимесячных переговоров с польскими уполномоченными он заключил в январе 1667 г. в Андрусове перемирие с Польшей, положившее конец опустошительной для обеих сторон тринадцатилетней войне. В этих переговорах Нащокин показал много дипломатической сообразительности и уменья ладить с иноземцами. Он вытягал у поляков не только Смоленскую и Северскую землю и Восточную Малороссию, но и из Западной – Киев с округом. Заключение Андрусовского перемирия поставило Афанасия очень высоко в московском правительстве, составило ему громкую дипломатическую известность. Делая все эти дела, Нащокин быстро поднимался по чиновной лестнице. Городовой дворянин по отечеству, по происхождению, по заключении упомянутого перемирия, он был пожалован в бояре и назначен главным управителем Посольского приказа с громким титулом «царской большой печати и государственных великих посольских дел сберегателя», т. е. стал государственным канцлером.

Такова была служебная карьера Нащокина. Его родина имела некоторое значение в его судьбе. Псковский край, пограничный с Ливонией, издавна был в тесных сношениях с соседними немцами и шведами. Раннее знакомство с иноземцами и частые сношения с ними давали Нащокину возможность внимательно наблюдать и изучить ближайшие к России страны Западной Европы. Это облегчалось еще тем, что в молодости Ордин-Нащокину как-то посчастливилось получить хорошее образование: он знал, говорили, математику, языки латинский и немецкий. Служебные

обстоятельства заставили его познакомиться и с польским языком. Так он рано и основательно подготовился к роли дельца в сношениях Московского государства с европейским Западом. Его товарищи по службе говорили о нем, что он «знает немецкое дело и немецкие обычаи знает же». Внимательное наблюдение над иноземными порядками и привычка сравнивать их с отечественными сделали Нащокина ревностным поклонником Западной Европы и жестоким критиком отечественного быта. Так он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление: он первый провозгласил у нас правило, что «доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов».

После него остался ряд бумаг, служебных донесений, записок или докладов царю по разным политическим вопросам. Это очень любопытные документы для характеристики как самого Нащокина, так и преобразовательного движения его времени. Видно, что автор – говорун и бойкое перо. Недаром даже враги признавали, что Афанасий умел «слагательно», складно писать. У него было и другое, еще более редкое качество – тонкий, цепкий и емкий ум, умевший быстро схватывать данное положение и комбинировать по-своему условия минуты. Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений. С ним было трудно спорить. Вдумчивый и находчивый, он иногда выводил из терпения иноземных дипломатов, с которыми вел переговоры, и они ему же пеняли за трудность иметь с ним дело. Не пропустит ни малейшего промаха, никакой непоследовательности в дипломатической диалектике, сейчас подденет и поставит в тупик оплошного или близорукого противника, отравит ему чистые намерения, самим же им внушенные, за что однажды пеняли ему польские комиссары, с ним переговаривавшиеся. Такое направление ума совмещалось у него с неугомонной совестью, с привычкой колоть глаза людям их несообразительностью. Ворчать за правду и здравый рассудок он считал своим долгом и даже находил в том большое удовольствие. В его письмах и докладах царю всего резче звучит одна нота: все они полны немолчных и часто очень желчных жалоб на московских людей и московские порядки.

Ордин-Нащокин вечно на все ропщет, всем недоволен: правительственными учреждениями и приказными обычаями, военным устройством, нравами и понятиями общества. Его симпатии и антипатии, мало разделяемые другими, создавали ему неловкое, двусмысленное положение в московском обществе. Привязанность его к западноевропейским порядкам и порицание своих нравились иноземцам, с ним сближавшимся, которые

снисходительно признавали в нем «неглупого подражателя» своих обычаев. Но это же самое наделало ему множество врагов между своими и давало повод его московским недоброхотам смеяться над ним, называть его «иноземцем».

Двусмысленность его положения еще усиливалась его происхождением и характером. Свои и чужие признавали в нем человека острого ума, с которым он пойдет далеко. Этим он задевал много встречных самолюбий, и тем более что он шел не обычной дорогой, к какой предназначен был происхождением, а жесткий и несколько задорный нрав его не смягчал этих столкновений.

Нащокин был чужой среди московского служебного мира и как политический новик должен был с бою брать свое служебное положение, чувствуя, что каждый его шаг вперед увеличивает число его врагов, особенно среди московской боярской знати. Таким положением выработалась его своеобразная манера держаться среди враждебного ему общества. Он знал, что его единственная опора – царь, не любивший надменности, и, стараясь обеспечить себе эту опору, Нащокин прикрывался перед царем от своих недругов видом загнанного скромника, смирением до самоуничижения. Он невысоко ценит свою службишку, но не выше ставит и службу своих знатных врагов и всюду горько на них жалуется. «Перед всеми людьми, – пишет он царю, – за твое государево дело никто так не возненавижен, как я». Он называет себя «облихованным и ненавидимым человеченком, не имеющим, где приклонить грешную голову». При всяком затруднении или столкновении с влиятельными недругами он просит царя отставить его от службы, как неудобного и неумелого слугу, от которого может только пострадать государственный интерес. «Государево дело ненавидят ради меня, холопа твоего», – пишет он царю и просит «откинуть от дела своего омерзелого холопа».

Въезд римского посланника в Москву 23 мая 1661 г.

Но Афанасий знал себе цену, и про его скромность можно было сказать, что это – напускное смирение паче гордости, которое не мешало ему считать себя прямо человеком не от мира сего: «Если бы я от мира был, мир своего любил бы», – писал он царю, жалуясь на общее к себе недоброжелательство. Думным людям противно слушать его донесения и советы, потому что «они не видят стези правды и сердце их одебелело завистью». Злая ирония звучит в его словах, когда он пишет царю о правительственном превосходстве боярской знати сравнительно со своей худородной особой. «Думным людям никому не надобен я, не надобны такие великие государственные дела… У таких дел пристойно быть из ближних бояр: и роды великие, и друзей много, во всем пространный смысл иметь и жить умеют; отдаю тебе, великому государю, мое крестное целование, за собою держать не смею по недостатку умишка моего».

Царь долго и настойчиво поддерживал своенравного и запальчивого дельца, терпеливо выносил его скучные жалобы и попреки, уверял его, что ему нечего бояться, что его никому не выдадут, грозил его недругам великими опалами за вражду с Афанасием и предоставлял ему значительный простор для деятельности. Благодаря этому Ордин-Нащокин получил возможность не только обнаружить свои административные и дипломатические таланты, но и выработать, даже частью осуществить, свои политические планы. В письмах своих к царю он больше порицает существующее или полемизирует с противниками, чем излагает свою программу. Однако в его бумагах можно набрать значительный запас идей и проектов, которые при надлежащей практической разработке могли стать и стали надолго руководящими началами внутренней и внешней

политики.

Здание приказов.
Деталь гравюры «Москва» Пикаря. 1710 г.

Первая идея, на которой упорно стоит Нащокин, заключалась в том, чтобы во всем брать образец с Запада, все делать «с примеру сторонних чужих земель». Это исходная точка его преобразовательных планов; но не все нужно брать без разбора у чужих. «Какое нам дело до иноземных обычаев, – говаривал он, – их платье не по нас, а наше не по них». Это был один из немногих западников, подумавших о том, что можно и чего не нужно заимствовать, искавших соглашения общеевропейской культуры с национальной самобытностью.

Потом Нащокин не мог помириться с духом и привычками московской администрации, деятельность которой неумеренно руководилась личными счетами и отношениями, а не интересом государственного дела, порученного тому или другому дельцу. «У нас, – пишет он, – любят дело или ненавидят его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает: меня не любят, а потому и делом моим пренебрегают». Когда царь выражал Нащокину неудовольствие за его нелады с тем или другим знатным завистником, Афанасий отвечал, что личной вражды у него нет, но «о государеве деле сердце болит и молчать не дает, когда в государеве деле вижу чье нераденье». Итак, дело в деле, а не в лицах – вот второе правило, которым руководился Нащокин.

Главным его поприщем была дипломатия, и это был дипломат первой величины, по признанию современников, даже иностранцев; по крайней мере, он едва ли не первый из русских

государственных людей заставил иностранцев уважать себя. Англичанин Коллинс, врач царя Алексея, прямо называет Нащокина великим политиком, который не уступит ни одному из европейских министров. Зато и он уважал свое дело. Дипломатия составляет, по его мнению, главную функцию государственного управления, и только достойные люди могут браться за такое дело. «На государственные дела, – писал он, – подобает мысленные очеса устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства со всех сторон, а это есть дело одного Посольского приказа».

У Нащокина были свои дипломатические планы, своеобразные взгляды на задачи внешней московской политики. Ему пришлось действовать в ту минуту, когда ребром были поставлены самые щекотливые вопросы, питавшие непримиримую вражду Московского государства с Польшей и Швецией, вопросы о Малороссии, Балтийском береге. Обстоятельства поставили Нащокина в самый водоворот сношений и столкновений, вызванных этими вопросами. Но у него не закружилась голова в этом водовороте: в запутанных делах он умел отделить важное от шумного, привлекательное от полезного, мечты от достижимого. Он видел, что в тогдашнем положении и при наличных средствах Московского государства для него неразрешим в полном объеме вопрос малороссийский, т. е. вопрос о воссоединении Юго-Западной Руси с Великороссией. Вот почему он склонялся к миру и даже к тесному союзу с Польшей, и хотя хорошо знал, как он выражался, «зело шаткий, бездушный и непостоянный польский народ», но от союза с ним ждал разнообразных выгод.

Между прочим, чаял он, турецкие христиане, молдаване и волохи, прослышав про этот союз, отложатся от турок. И тогда все дети Восточной церкви, обитающие от самого Дуная вплоть до пределов Великой России и ныне разъединяемые враждебной Польшей, сольются в многочисленный христианский народ, покровительствуемый православным царем Московским, и сами собою прекратятся шведские козни, возможные только при русско-польской распре. В 1667 г. польским послам, приехавшим в Москву для подтверждения Андрусовского договора, Нащокин в одушевленной речи развивал свои мечты о том, какой великой славой покрылись бы все славянские народы и какие великие предприятия увенчались бы успехом, если бы племена, населяющие наши государства и почти все говорящие по-славянски от Адриатического до Немецкого моря и до Северного океана, соединились, и какая слава ожидает оба государства в будущем, когда они, стоя во главе славянских народов,

соединятся под одною державою.

Хлопоча о тесном союзе с вековым врагом и даже мечтая о династическом соединении с Польшей под властью московского царя или его сына, Нащокин производил чрезвычайно крутой поворот во внешней московской политике. Он имел свои соображения, оправдывавшие такую перемену в ходе дел. Малороссийский вопрос в его глазах был пока делом второстепенным. «Если, – писал он, – черкасы (казаки) изменяют, то стоят ли они того, чтобы стоять за них?» Действительно, с присоединением Восточной Малороссии главный узел этого вопроса развязывался, Польша переставала быть опасной для Москвы, твердо ставшей на Верхнем и Среднем Днепре. Притом нельзя было навсегда удержать временно уступленный Киев и присоединить Западную Малороссию, не совершив международной неправды, не нарушив Андрусовского перемирия. А Нащокин был одним из редких дипломатов, обладающих дипломатической совестливостью, качеством, с которым и тогда неохотно мирилась дипломатия.

Он ничего не хотел делать без правды: «Лучше воистину принять злому животу моему конец и вовеки свободну быть, нежели противно правды делати». Поэтому, когда гетман Дорошенко с Западной Малороссией, отложившись от Польши, поддался турецкому султану, а потом изъявил согласие стать под высокую руку царя Московского, Нащокин на запрос из Москвы, можно ли принять Дорошенка в подданство, отвечал решительным протестом против такого нарушения договоров. Он выразил даже негодование, что к нему обращаются с такими некорректными запросами. По его мнению, дело надобно было повести так, чтобы сами поляки, разумно взвесив свои и московские интересы, для упрочения русско-польского союза против басурман и для успокоения Украйны добровольно уступили Москве и Киев, и даже всю Западную Малороссию, «а нагло писать о том в Польшу невозможно». Еще до перемирия в Андрусове Нащокин убеждал царя, что с польским королем «надобно мириться в меру», на умеренных условиях, чтобы поляки не искали потом первого случая отомстить: «Взять Полоцк да Витебск, а если поляки заупрямятся, то и этих городов не надобно».

В докладе о необходимости тесного союза с Польшей у Нащокина вырвался даже неосторожный намек на возможность отступиться и от всей Малороссии, а не от Западной только, ради упрочения союза. Но царь горячо восстал против такого малодушия своего любимца и очень энергично выразил свое негодование. «Эту статью, – отвечал ему царь, – отложили и

велели выкинуть, потому что непристойна, да и для того что обрели в ней полтора ума, один твердый разум да половину второго, колеблемого ветром. Собаке недостойно есть и одного куска хлеба православного (полякам не подобает владеть и Западной Малороссией): только то не по нашей воле, а за грехи учинится. Если же оба куска святого хлеба достанутся собаке – ох, какое оправдание приимет допустивший это? Будет ему воздаянием преисподний ад, прелютый огонь и немилосердные муки. Человече! иди с миром царским средним путем, как начал, так и кончай, не уклоняйся ни направо, ни налево; Господь с тобою!» И упрямый человек сдался на набожный вздох своего государя, которого порой прямо не слушался, крепко ухватился и за другой кусок православного хлеба, вытягав у поляков в Андрусове вместе с Восточной Малороссией еще Киев из Западной.

Помыслы о соединении всех славян под дружным руководительством Москвы и Польши были политической идиллией Нащокина. Как практического дельца, его больше занимали интересы более делового свойства. Его дипломатический взгляд обращался во все стороны, всюду внимательно высматривая или заботливо подготовляя новые прибыли для казны и народа. Он старался устроить торговые сношения с Персией и Средней Азией, Хивой и Бухарой, снаряжал посольство в Индию, смотрел и на Дальний Восток, на Китай, помышляя об устройстве казацкой колонизации Поамурья. Но в этих поисках на первом плане, разумеется, оставалась в его глазах ближайшая западная сторона, Балтийское море.

Руководясь народнохозяйственными соображениями не меньше, чем национально-политическими, он понимал торгово-промышленное и культурное значение этого моря для России, и потому его внимание было усиленно обращено на Швецию, именно на Ливонию, которую, по его мнению, следовало добыть во что бы ни стало. От этого приобретения он ждал громадной пользы для русской промышленности и казны царя. Увлекаемый идеями своего дельца, царь Алексей смотрел в ту же сторону, хлопотал о возвращении бывших русских владений, приобретении «морских пристанищ» – гаваней Нарвы, Ивангорода, Орешка и всего течения реки Невы со шведской крепостцой Канцами (Ниеншанц), где позднее возник Петербург. Но Нащокин и здесь шире смотрел на дело. Он доказывал, что из-за мелочей не следует выпускать из виду главной цели, что Нарва, Орешек – все это неважные пункты. Нужно пробраться прямо к морю, приобрести Ригу, пристань которой открывает ближайший прямой путь в Западную Европу. Составить коалицию

против Швеции, чтобы отнять у нее Ливонию, – это была заветная мысль Нащокина, составлявшая душу его дипломатического плана. Для этого он хлопотал о мире с ханом Крымским, о тесном союзе с Польшей, жертвуя Западной Малороссией. Эта мысль не увенчалась успехом; но Петр Великий целиком унаследовал эти помыслы отцова министра.

План Москвы 1661–1662 гг.
Из книги «Рисунки к путешествию Мейберга»

Впрочем, политический кругозор Нащокина не ограничивался вопросами внешней политики. Нащокин по-своему смотрел и на порядок внутреннего управления в Московском государстве: он был недоволен как устройством, так и ходом этого управления. Он восставал против излишней регламентации, господствовавшей в московском управлении. Здесь все держалось на самой стеснительной опеке высших центральных учреждений над подчиненными исполнителями: исполнительные органы были слепыми орудиями данных им сверху наказов. Нащокин требовал известного простора для исполнителей. «Не во всем дожидаться государева указа, – писал он, – везде надобно воеводское рассмотрение», т. е. действие по собственному соображению уполномоченного. Он указывал на пример Запада, где во главе войска ставится знающий полководец, сам рассылающий указы подчиненным начальникам, а не требующий на всякую мелочь указа из столицы. «Где глаз видит и ухо слышит, тут и надо

промысл держать неотложно», – писал он.

Но, требуя самостоятельности для исполнителей, он возлагает на них и большую ответственность. Не по указу, не по обычаю и рутине, а по соображению обстоятельств минуты должна действовать администрация. Такую деятельность, основанную на личной сообразительности дельца, Нащокин называет «промыслом». Грубая сила мало значит. «Лучше всякой силы промысл. Дело в промысле, а не в том, что людей много; и много людей, да промышленника нет, так ничего не выйдет; вот швед всех соседних государей безлюднее, а промыслом над всеми верх берет; у него никто не смеет отнять воли у промышленника; половину рати продать да промышленника купить – и то будет выгоднее». Наконец, в административной деятельности Нащокина замечаем черту, которая всего более подкупает нас в его пользу. Это – при взыскательности и исполнительности – беспримерная в московском управлении внимательность к подчиненным, участие сердца, чувства человечности в отношении к управляемым, стремление щадить их силы, ставить их в такое положение, в котором они с наименьшей затратой усилий могли бы принести наиболее пользы государству.

Герб Пскова

Во время шведской войны в покоренном краю по Западной Двине русские рейтары и донские казаки принялись грабить и мучить обывателей, хотя те уже присягнули московскому царю. Нащокин, сидя тогда воеводой в Кукейносе, возмущался до глубины души таким разбойничьим способом ведения войны; у него сердце обливалось кровью от жалоб разоряемого населения. Он писал царю, что ему приходится посылать помощь и против неприятелей, и против своих грабителей. «Лучше бы я на себе раны видел, только бы невинные люди такой крови не терпели. Лучше бы согласился я быть в заточении необратном, только бы не жить здесь и не видать над людьми таких злых бед». Царь Алексей всего более способен был оценить это качество в своем сотруднике. В грамоте 1658 г., возводя Нащокина в думные дворяне, царь хвалит его за то, «что он алчных кормит, жаждущих поит, нагих одевает, до ратных людей ласков, а ворам не спускает».

Таковы административные взгляды и приемы Нащокина. Он

делал несколько попыток практического применения своих идей. Наблюдения над жизнью Западной Европы привели его к сознанию главного недостатка московского государственного управления, который заключался в том, что это управление направлено было единственно на эксплуатацию народного труда, а не на развитие производительных сил страны. Народнохозяйственные интересы приносились в жертву фискальным целям и ценились правительством лишь как вспомогательные средства казны. Из этого сознания вытекали вечные толки Нащокина о развитии промышленности и торговли в Московском государстве. Он едва ли не раньше других усвоил мысль, что народное хозяйство само по себе должно составлять один из главнейших предметов государственного управления.

Нащокин был одним из первых политико-экономов на Руси. Но чтобы промышленный класс мог действовать производительнее, надо было освободить его от гнета приказной администрации. Управляя Псковом, Нащокин попытался применить здесь свой проект городского самоуправления, взятый «с примеру сторонних чужих земель», т. е. Западной Европы. Это единственный в своем роде случай в истории местного московского управления XVII в., не лишенный даже некоторого драматизма и ярко характеризующий как самого Нащокина, его виновника, так и порядки, среди которых ему приходилось действовать. Приехав в Псков в марте 1665 г., новый воевода застал в родном городе страшную неурядицу. Он увидел великую вражду между посадскими людьми: «лутчие», состоятельные купцы, пользуясь своей силой в городском общественном управлении, обижали «середних и мелких людишек» в разверстке податей и в нарядах на казенные службы, вели городские дела «своим изволом», без ведома остального общества. Те и другие разорялись от тяжб и приказной неправды.

Из-за немецкого рубежа в Псков и из Пскова за рубеж провозили товары беспошлинно. Маломочные торговцы, не имея оборотного капитала, тайно брали у немцев деньги на подряд, скупали подешевле русские товары и как свои продавали, точнее, передавали их своим доверителям, довольствуясь ничтожным комиссионным заработком, «из малого прокормления». Этим они донельзя сбивали цены русских товаров, сильно подрывали настоящих капиталистов, должали неоплатно иноземцам, разорялись. Нащокин вскоре по приезде предложил псковскому посадскому обществу ряд мер, которые земские старосты Пскова, собравшись с лучшими людьми в земской избе (городской управе) «для общего всенародного совету», должны были обсудить со всяким усердием. Здесь при участии воеводы выработаны были

«статьи о градском устроении», своего рода положение об общественном управлении города Пскова с пригородами в 17 статьях. Положение было одобрено в Москве и заслужило милостивую похвалу царя воеводе за службу и радение, а псковским земским старостам и всем посадским людям – «за их добрый совет и за раденье во всяких добрых делех».

Важнейшие статьи положения касаются преобразования посадского общественного управления и суда и упорядочения внешней торговли, одного из самых деятельных нервов экономической жизни Псковского края. Посадское общество города Пскова выбирает из своей среды на три года 15 человек, из коих пятеро, по очереди, в продолжение года, ведут городские дела в земской избе. В ведении этих «земских выборных людей» сосредоточиваются городское хозяйственное управление, надзор за питейной продажей, таможенным сбором и торговыми сношениями псковичей с иноземцами; они же и судят посадских людей в торговых и других делах; только важнейшие уголовные преступления – измена, разбой и душегубство – остаются подсудны воеводам. Так псковский воевода добровольно поступался значительной долей своей власти в пользу городского самоуправления. В особо важных городских делах очередная треть выборных совещается с остальными и даже призывает на совет лучших людей из посадского общества.

Нащокин видел главные недостатки русской торговли в том, что «русские люди в торговле слабы друг перед другом», неустойчивы, не привыкли действовать дружно и легко попадают в зависимость от иностранцев. Главные причины этой неустойчивости – недостаток капиталов, взаимное недоверие и отсутствие удобного кредита. На устранение этих недостатков и были направлены статьи псковского положения о торговле с иноземцами. Маломочные торговцы распределяются «по свойству и знакомству» между крупными капиталистами, которые наблюдают за их промыслами. Земская изба выдает им из городских сумм ссуды для покупки русских вывозных товаров.

Для торговли с иноземцами учреждаются под Псковом две двухнедельные ярмарки с беспошлинным торгом, от 6 января и от 9 мая. К этим ярмаркам мелкие торговцы на полученную ссуду при поддержке капиталистов, к которым приписаны, скупают вывозные товары, записывают их в земской избе и передают своим принципалам; те уплачивают им покупную стоимость принятых товаров для новой закупки к следующей ярмарке и делают им «наддачу» к этой покупной цене «для прокормления», а продав иноземцам доверенный товар по установленным большим ценам, выдают своим клиентам причитающуюся им «полную

прибыль», компанейский дивиденд. Такое устройство торгового класса должно было сосредоточить обороты внешней торговли в немногих крепких руках, которые были бы в состоянии держать на надлежащей высоте цены туземных товаров.

Такие своеобразные торговые товарищества рассчитаны были на возможность дружного сближения верхнего торгового слоя с посадской массой, значит, на умиротворение той общественной вражды, какую нашел Нащокин в Пскове. Расчет мог быть основан на обоюдных выгодах обеих сторон, патронов и клиентов. Сильные капиталисты доставляли хорошую прибыль маломочным компанейщикам, а последние не портили цен сильным. Важно и то, что эти товарищества состояли при городской управе, которая становилась ссудным банком для маломочных и контролем для их патронов: посадское общество города Пскова, при зависимости от него пригородов, получало возможность через свой судебно-административный орган руководить внешней торговлей всего края. Но общественная рознь помешала успеху реформы. Маломочные посадские псковичи приняли новое положение, как царскую милость, но «прожиточные люди», богачи, городские воротилы, оказали ему противодействие и нашли себе поддержку в столице.

Можно себе представить, как «ненавидимо» встречено было предприятие Нащокина московским боярским и приказным миром: здесь в нем усмотрели только дерзкое посягательство на исконные права и привычки воевод и дьяков в угоду тяглого посадского мужичья. Можно подивиться, как успел Нащокин в 8 месяцев воеводства не только обдумать идею и план сложной реформы, но и обладить суетливые подробности ее исполнения. Преемник Нащокина в Пскове, князь Хованский, чванный поборник боярских притязаний, «тараруй», как его прозвали в Москве, болтун и хвастун, которого «всяк дураком называл», по выражению царя Алексея, представил государю псковское дело Нащокина в таком свете, что царь отменил его, несмотря на свой отзыв о князе, уступая своей слабости – решать дела по последнему впечатлению.

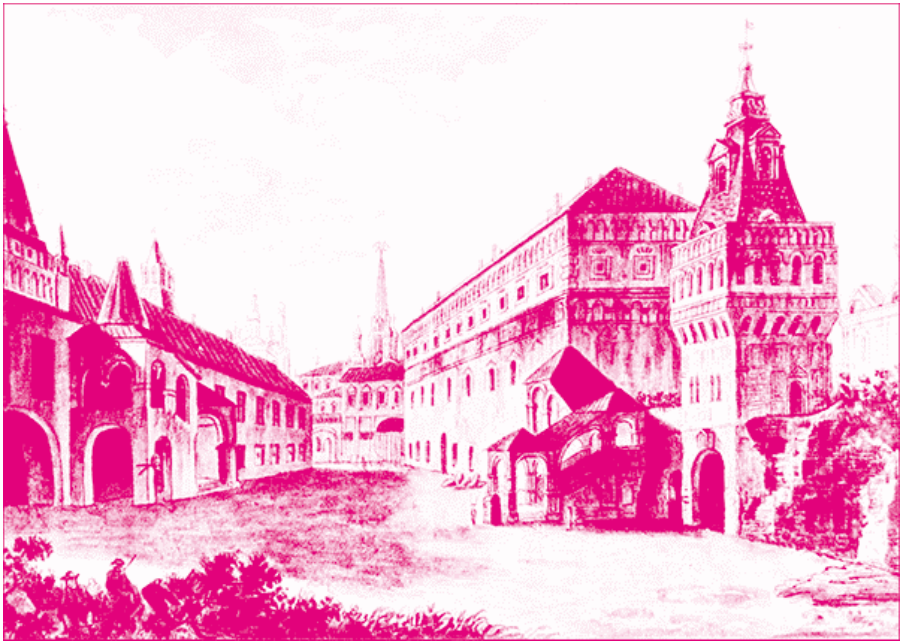
Нащокин не любил сдаваться ни врагам, ни враждебным обстоятельствам. Он так верил в свою псковскую реформу, что впал в самообольщение при своем критическом уме, так хорошо выправленном на изучении чужих ошибок. В псковском городовом положении он выражает надежду, что, когда эти псковские «градские права в народе поставлены и устроены будут», на то смотря, жители и других городов будут надеяться, что и их пожалуют таким же устроением. Но в Москве решили наоборот: в Пскове не подобает быть особому местному порядку,

«такому уставу быть в одном Пскове не уметь». Однако в 1667 г., став начальником Посольского приказа, во вступлении к проведенному им тогда Новоторговому уставу, Нащокин не отказал себе в удовольствии, хотя совершенно бесплодном, повторить свои псковские мысли о выдаче ссуд недостаточным торговцам из московской таможни и городовых земских изб, о том, чтобы маломочные торговые люди складывались с крупными капиталистами для поддержания высоких цен на русские вывозные товары и т. д.

В этом уставе Нащокин сделал еще шаг вперед в своих планах устроения русской промышленности и торговли. Уже в 1665 г. псковские посадские люди ходатайствовали в Москве, чтобы их по всем делам ведали в одном приказе, а не волочиться бы им по разным московским учреждениям, терпя напрасные обиды и разорение. В Новоторговом уставе Нащокин провел мысль об особом приказе, который ведал бы купецких людей и служил бы им в пограничных городах обороной от других государств и во всех городах защитой и управой от воеводских притеснений. Этот *Приказ купецких дел* имел стать предшественником учрежденной Петром Великим Московской ратуши, или Бурмистерской палаты, ведавшей все городское торгово-промышленное население государства.

Таковы преобразовательные планы и опыты Нащокина. Можно подивиться широте и новизне его замыслов, разнообразию его деятельности: это был плодовитый ум с прямым и простым взглядом на вещи. В какую бы сферу государственного управления ни попадал Нащокин, он подвергал суровой критике установившиеся в ней порядки и давал более или менее ясный план ее преобразования. Он сделал несколько военных опытов, заметил недостатки в военном устройстве и предложил проект его преобразования. Конную милицию городовых дворян он признавал совсем непригодной в боевом отношении и считал необходимым заменить ее обученным иноземному строю ополчением из пеших и конных «даточных людей», рекрутов. Очевидно, это мимоходом высказанная мысль о регулярной армии, комплектуемой рекрутскими наборами из всех сословий. Что бы ни задумывалось нового в Москве, заведение ли флота на Балтийском или Каспийском море, устройство заграничной почты, даже просто разведение красивых садов с выписными из-за границы деревьями и цветами, – при всяком новом деле стоял или предполагался непременно Ордин-Нащокин. Одно время по Москве ходили даже слухи, будто он занимается пересмотром русских законов, перестройкой всего государства и именно в духе децентрализации, в смысле ослабления столичной приказной

опеки над местными управлениями, с которой Нащокин воевал всю свою жизнь.



Ф. Алексеев. **Приказ Большого дворца в Кремле.** *Конец XVIII в.*

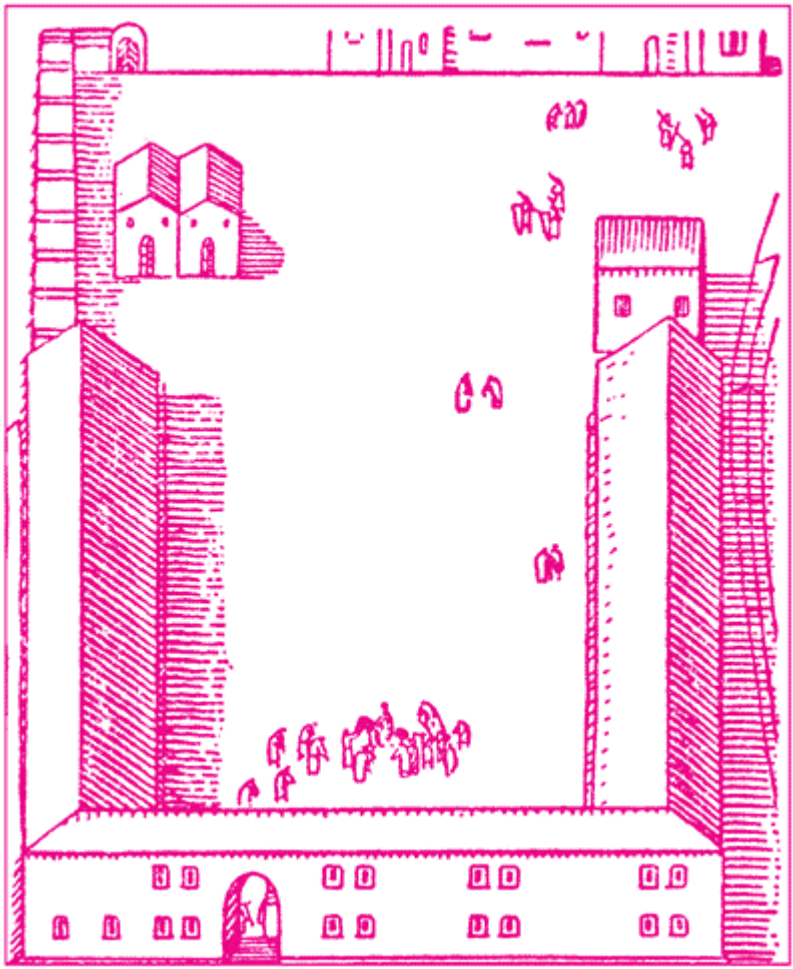
Можно пожалеть, что ему не удалось сделать всего, что он мог сделать; его неуступчивый и строптивый характер положил преждевременный конец его государственной деятельности. У Нащокина не было полного согласия с царем во взглядах на задачи внешней политики. Оставаясь вполне корректным дипломатом, виновник Андрусовского договора крепко стоял за точное его исполнение, т. е. за возможность возвращения Киева Польше, что царь считал нежелательным, даже прямо грешным делом. Это разногласие постепенно охлаждало государя к его любимцу. Назначенный в 1671 г. для новых переговоров с Польшей, в которых ему предстояло разрушать собственное дело, нарушать договор с поляками, скрепленный всего год тому назад его присягой, Нащокин отказался исполнить поручение. А в феврале 1672 г. игумен Псковской Крыпецкой пустыни Тарасий постриг Афанасия в монахи под именем Антония. Он записал себе на память день своей отставки, 2 декабря 1671 г., когда царь при всех боярах его «милостиво отпустил и от всее мирския суеты освободил явно». Последние мирские заботы инока Антония были сосредоточены на устроенной им во Пскове богадельне. Он умер в 1680 г.

Ордин-Нащокин во многом предупредил Петра и первый

высказал много идей, которые осуществил преобразователь. Это был смелый, самоуверенный бюрократ, знавший себе цену, но при этом заботливый и доброжелательный к управляемым, с деятельным и деловым умом; во всем и прежде всего он имел в виду государственный интерес, общее благо. Он не успокаивался на рутине, всюду зорко подмечал недостатки существующего порядка, верно соображал средства для их устранения, чутко угадывал задачи, стоявшие на очереди.

Обладая сильным практическим смыслом, он не ставил далеких целей, слишком широких задач. Умея найтись в разнообразных сферах деятельности, он старается устроить всякое дело, пользуясь наличными средствами. Но, твердя без умолку о недостатках действующего порядка, он не касался его оснований, думал поправлять его по частям. В его уме неясные преобразовательные порывы Алексеева времени впервые стали облекаться в отчетливые проекты и складываться в связный план реформы; но это не был радикальный план, требовавший общей ломки: Нащокин далеко не был безрасчетным новатором. Его преобразовательная программа сводилась к трем основным требованиям: улучшению правительственных учреждений и служебной дисциплины, выбору добросовестных и умелых управителей и увеличению казенной прибыли, государственных доходов посредством подъема народного богатства путем развития промышленности и торговли.

Я начал чтение замечанием о возможности появления у нас государственного человека в XVII в. Если вы вдумаетесь в превратности, в мысли, в чувства, во все перипетии описанной государственной деятельности далеко не рядового ума и характера, в борьбу Ордина-Нащокина с окружавшими его условиями, то поймете, почему такие счастливые случайности были у нас редки.



Приказы в Московском Кремле.
Фрагмент плана конца XVI в.

Князь В.В. Голицын

Василий Васильевич Голицын.
Гравюра 1689 г.

Младшим из предшественников Петра был князь В. В. Голицын, и он уходил от действительности гораздо дальше старших. Еще молодой человек, он был уже видным лицом в правительственном кругу при царе Федоре и стал одним из самых влиятельных людей при царевне Софье, когда она, по смерти старшего брата, сделалась правительницей государства. Властолюбивая и образованная царевна не могла не заметить умного и образованного боярина, и князь Голицын личной дружбой связал свою политическую карьеру с этой царевной.

Голицын был горячий поклонник Запада, для которого он отрешился от многих заветных преданий русской старины. Подобно Нащокину, он бегло говорил по-латыни и по-польски. В его обширном московском доме, который иноземцы считали одним из великолепнейших в Европе, все было устроено на европейский лад: в больших залах простенки между окнами были заставлены большими зеркалами, по стенам висели картины, портреты русских и иноземных государей и немецкие географические карты в золоченых рамах; на потолках нарисована была планетная система; множество часов и термометр художественной работы довершали убранство комнат. У Голицына была значительная и разнообразная библиотека из рукописных и печатных книг на русском, польском и немецком языках. Здесь между грамматиками польского и латинского языков стояли «Киевский летописец», немецкая геометрия, Алкоран в переводе с польского, четыре рукописи о строении комедий, рукопись Юрия Сербенина (Крижанича). Дом Голицына был местом встречи для образованных иностранцев, попадавших в Москву, и в гостеприимстве к ним хозяин шел дальше других московских любителей иноземного, принимал даже иезуитов, с которыми те не могли мириться.

Разумеется, такой человек мог стоять только на стороне преобразовательного движения – и именно в латинском, западноевропейском, не лихудовском[4] направлении. Один из преемников Ордин-Нащокина по управлению Посольским приказом, князь Голицын развивал идеи своего предшественника. При его содействии состоялся в 1686 г. Московский договор о вечном мире с Польшей. По нему Московское государство приняло участие в коалиционной борьбе с Турцией в союзе с Польшей, Германской империей и Венецией. Этим оно формально вступило в концерн европейских держав, за что Польша навсегда утверждала за Москвой Киев и другие московские приобретения, временно уступленные по Андрусовскому перемирию.

И в вопросах внутренней политики князь Голицын шел впереди прежних дельцов преобразовательного направления. Еще при царе Федоре он был председателем комиссии, которой поручено было составить план преобразования московского военного строя. Эта комиссия предложила ввести немецкий строй в русское войско и отменить местничество (закон 12 января 1682 г.). Голицын без умолку твердил боярам о необходимости учить своих детей, выхлопотал разрешение посылать их в польские школы, советовал приглашать польских гувернеров для их образования. Несомненно, широкие преобразовательные планы роились в его голове. Жаль, что мы знаем только их обрывки или

неясные очерки, записанные иностранцем Невиллем, польским посланцем, приехавшим в Москву в 1689 г. незадолго до падения Софьи и Голицына. Невилль видался с князем, говорил с ним полатыни о современных политических событиях, особенно об Английской революции, мог от него кое-что слышать о положении дел в Москве и тщательно собирал о нем московские слухи и сведения.

Голицына сильно занимал вопрос о московском войске, недостатки которого он хорошо изведал, не раз командуя полками. Он, по словам Невилля, хотел, чтобы дворянство ездило за границу и обучалось там военному искусству. Он думал заменить хорошими солдатами взятых в даточные и непригодных к делу крестьян, земли которых оставались без обработки на время войны. Взамен их бесполезной службы, обложить крестьянство умеренной поголовной податью. Значит, даточные рекруты из холопов и тяглых людей, которыми пополняли дворянские полки, устранялись, и армия, вопреки мысли Ордин-Нащокина, сохраняла строго сословный дворянский состав с регулярным строем под командой обученных военному делу офицеров из дворян же.

Военно-техническая реформа в мыслях Голицына соединялась с переворотом социально-экономическим. Преобразование государства Голицын думал начать освобождением крестьян, предоставив им обрабатываемые ими земли с выгодой для царя, т. е. казны, посредством ежегодной подати, что, по его расчету, увеличивало доход казны более чем наполовину. Иноземец кое-чего недослышал и не объяснил условий этой поземельной операции. Так как на дворянах оставалась обязательная и наследственная военная служба, то, по всей вероятности, насчет поземельного государственного оброка с крестьян предполагалось увеличить дворянские оклады денежного жалованья, которые должны были служить вознаграждением за потерянные помещиками доходы с крестьян и за отошедшие к ним земли.

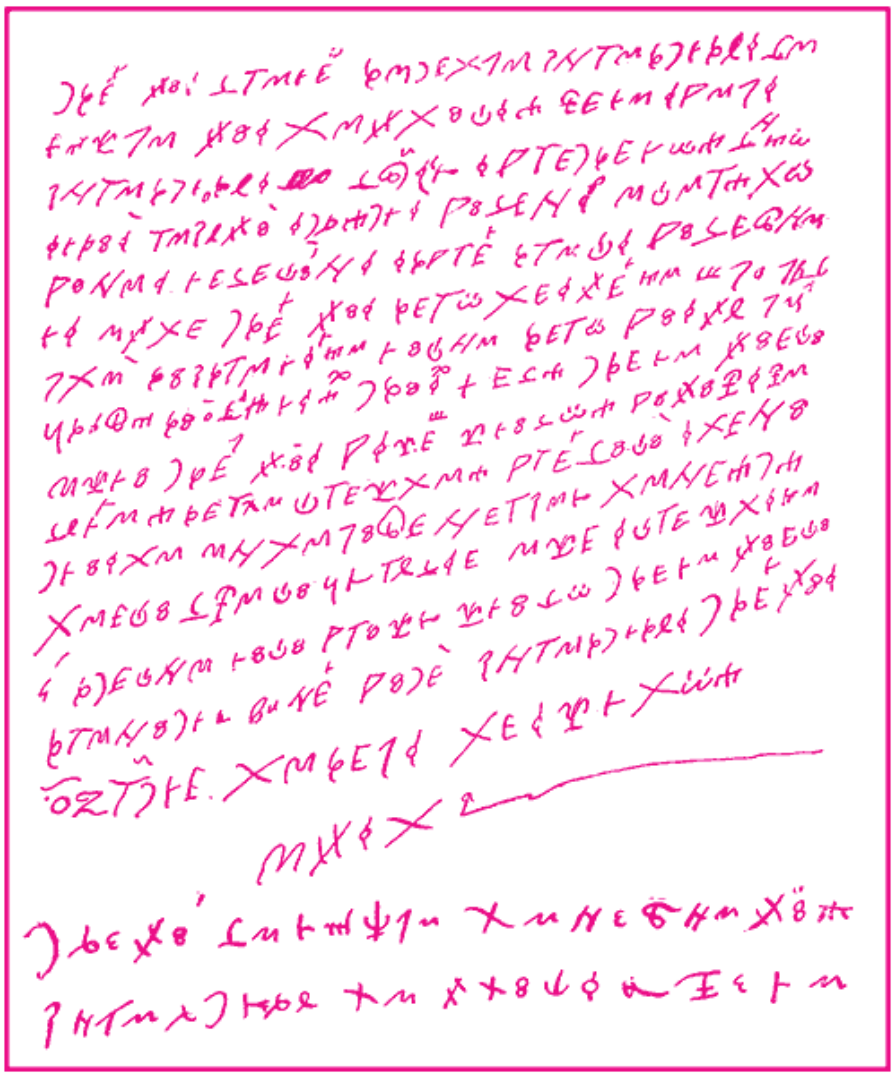
Таким образом, по плану Голицына операция выкупа крепостного труда и надельной земли крестьян совершалась посредством замены капитальной выкупной суммы непрерывным доходом служилых землевладельцев, получаемым от казны в виде возвышенного жалованья за службу. При этом не стесненный законом помещичий произвол в эксплуатации крепостного труда заменялся определенным поземельным казенным налогом. Подобные мысли о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не раньше как полтора века спустя после Голицына.

Прения о вере в Грановитой палате (1682 г.)

Много другого слышал Невилль о планах этого вельможи, но, не передавая всего слышанного, иноземец ограничивается общим, несколько идилличным отзывом: «Если бы я захотел написать все, что узнал об этом князе, я никогда бы не кончил. Достаточно сказать, что он хотел населить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов в храбрецов, пастушечьи шалаши в каменные палаты». Читая рассказы Невилля в его донесении о Московии, можно подивиться смелости преобразовательных замыслов «великого Голицына», как величает его автор. Эти замыслы, переданные иностранцем отрывочно без внутренней связи, показывают, однако, что в основании их лежал широкий и, по-видимому, довольно обдуманный план реформ, касавшийся не только административного и экономического порядка, но и сословного устройства государства и даже народного просвещения. Конечно, это были мечты, домашние разговоры с близкими людьми, а не законодательные проекты.

Личные отношения князя Голицына не дали ему возможности даже начать практическую разработку своих преобразовательных замыслов. Связав свою судьбу с царевной Софьей, он пал вместе с нею и не принимал участия в преобразовательной деятельности Петра, хотя был ближайшим его предшественником и мог бы быть хорошим его сотрудником, если не лучшим. В законодательстве слабо отразился дух его планов: смягчены условия холопства за долги, отменены закапывание мужеубийц и смертная казнь за возмутительные слова. Усиление карательных мер против старообрядцев нельзя ставить целиком насчет правительства царевны Софьи: то было профессиональное занятие церковных

властей, в котором государственному управлению приходилось обыкновенно служить лишь карательным орудием. К тому времени церковные гонения вырастили в старообрядческой среде изуверов, по слову которых тысячи совращенных жгли себя ради спасения своих душ, а церковные пастыри ради того же жгли проповедников самосожжения. Ничего не могло сделать и для крепостных крестьян правительство царевны, пристращавшей буйных стрельцов дворянами, пока не явилась возможность припугнуть дворян стрельцами и казаками.



Письмо царевны Софьи к князю В. В. Голицыну в 1689 г.

Однако несправедливо было бы отрицать участие идей Голицына в государственной жизни; только его надо искать не в новых законах, а в общем характере семилетнего правления

царевны. Свояк и шурин царя Петра, следовательно, противник Софьи, князь Б. И. Куракин оставил в своих записках замечательный отзыв об этом правлении. «Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольству народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и все государство пришло во время ее правления через семь лет в цвет великого богатства, также умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку… И торжествовала тогда довольность народная». Свидетельство Куракина о «цвете великого богатства», по-видимому, подтверждается и известием Невилля, что в деревянной Москве, считавшей тогда в себе до полумиллиона жителей, в министерство Голицына построено было более трех тысяч каменных домов. Неосторожно было бы подумать, что сама Софья своим образом действий вынудила у противника такой хвалебный отзыв о своем правлении. Эта тучная и некрасивая полудевица с большой неуклюжей головой, грубым лицом, широкой и короткой талией, в 25 лет казавшаяся 40-летней, властолюбию пожертвовала совестью, а темпераменту стыдом. Но, достигнув власти путем постыдных интриг и кровавых преступлений, она, как принцесса «великого ума и великий политик», по словам того же Куракина, нуждаясь в оправдании своего захвата, способна была внимать советам своего первого министра и «голанта», тоже человека «ума великого и любимого от всех». Он окружил себя сотрудниками, вполне ему преданными, все незнатными, но дельными людьми вроде Неплюева, Касогова, Змеева, Украинцева, с которыми и достиг отмеченных Куракиным правительственных успехов.

Продолжатель Ордин-Нащокина. Князь Голицын был прямым продолжателем Ордин-Нащокина. Как человек другого поколения и воспитания, он шел дальше последнего в своих преобразовательных планах. Он не обладал ни умом Нащокина, ни его правительственными талантами и деловым навыком, но был книжно образованнее его, меньше его работал, но больше размышлял. Мысль Голицына, менее сдерживаемая опытом, была смелее, глубже проникала в существующий порядок, касаясь самых его оснований. Его мышление было освоено с общими вопросами о государстве, его задачах, строении и складе общества. Недаром в его библиотеке находилась какая-то рукопись «О гражданском житии, или О поправлении всех дел, яже належат обще народу». Он не довольствовался, подобно Нащокину, административными и экономическими реформами, а думал о распространении просвещения и веротерпимости,

свободе совести, свободном въезде иноземцев в Россию, улучшении социального строя и нравственного быта. Его планы шире, отважнее проектов Нащокина, но зато идилличнее их.

Представители двух смежных поколений, оба они были родоначальниками двух типов государственных людей, выступающих у нас в XVIII в. Все эти люди были либо нащокинского, либо голицынского пошиба. Нащокин – родоначальник практических дельцов Петрова времени; в Голицыне заметны черты либерального и несколько мечтательного екатерининского вельможи.

Подготовка и программа реформы. Мы видели, с какими колебаниями шла подготовка реформы. Русские люди XVII в. делали шаг вперед и потом останавливались, чтобы подумать, что они сделали, не слишком ли далеко шагнули. Судорожное движение вперед и раздумье с пугливой оглядкой назад – так можно обозначить культурную походку русского общества в XVII в. Обдумывая каждый свой шаг, они прошли меньше, чем сами думали. Мысль о реформе вызвана была в них потребностями народной обороны и государственной казны. Эти потребности требовали обширных преобразований в государственном устройстве и хозяйственном быту, в организации народного труда. В том и другом деле люди XVII в. ограничились робкими попытками и нерешительными заимствованиями у Запада.

Но среди этих попыток и заимствований они много спорили, бранились и в этих спорах кое о чем подумали. Их военные и хозяйственные нужды столкнулись с их заветными верованиями и закоренелыми привычками, вековыми предрассудками. Оказалось, что им нужно больше, чем они могут и хотят, чем подготовлены сделать, что для обеспечения своего политического и экономического существования им необходимо переделать свои понятия и чувства, все свое миросозерцание. Так они очутились в неловком положении людей, отставших от собственных потребностей. Им понадобилось техническое знание, военное и промышленное, а они не только не имели его, но и были дотоле убеждены, что оно ненужно и даже греховно, потому что не ведет к душевному спасению. Каких же успехов достигли они в этой двойной борьбе со своими нуждами и с самими собой, со своими собственными предубеждениями?

Для удовлетворения своих материальных нужд они в государственном порядке произвели не особенно много удачных перемен. Они нанимали несколько тысяч иноземцев, офицеров, солдат и мастеров. С их помощью кое-как поставили значительную часть своей рати на регулярную ногу, и то плохую,

без надлежащих приспособлений, и построили несколько фабрик и оружейных заводов. А с помощью этой подправленной рати и этих заводов, после больших хлопот и усилий, с трудом вернули две потерянные области, Смоленскую и Северскую, и едва удержали в своих руках половину добровольно отдавшейся им Малороссии. Вот и все существенные плоды их 70-летних жертв и усилий!

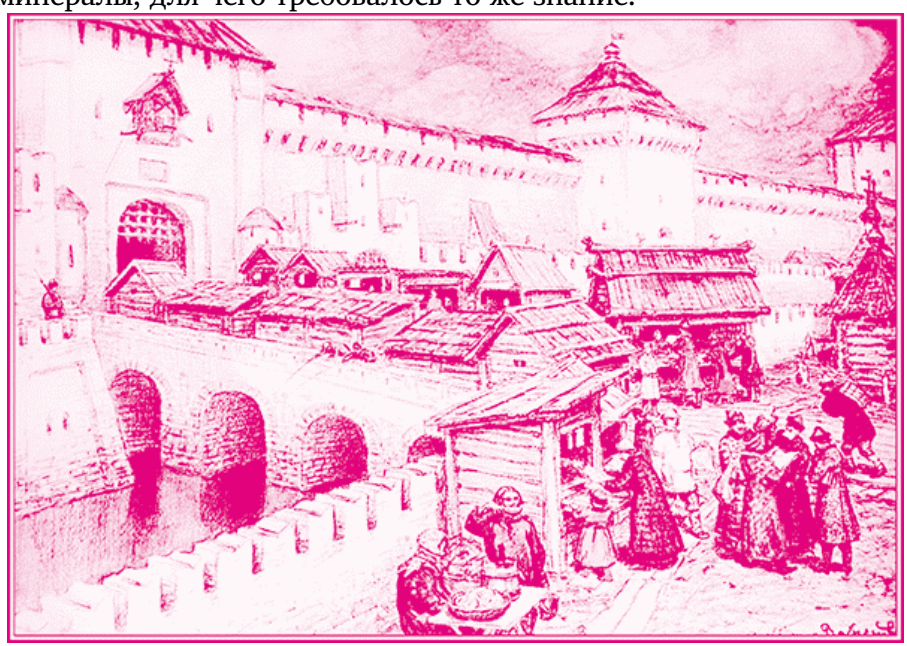
Государственного порядка они не улучшили, напротив, сделали его тяжелее прежнего, отказавшись от земского самоуправления, обособлением сословий усилив общественную рознь и пожертвовав свободой крестьянского труда. Зато в борьбе с самими собой, своими привычками и предубеждениями они одержали несколько важных побед, облегчивших эту борьбу дальнейшим поколениям. Это была их бесспорная заслуга в деле подготовки реформы. Они подготовляли не столько самую реформу, сколько себя самих, свои умы и совести к этой реформе, а это менее видная, но не менее трудная и необходимая работа. Попытаюсь обозначить в коротком перечне эти их умственные и нравственные завоевания.

Во-первых, они сознались, что многого не знали из того, что нужно знать. Это была самая трудная победа их над собой, своим самолюбием и своим прошедшим. Древнерусская мысль усиленно работала над вопросами нравственно-религиозного порядка, дисциплиной совести и воли, покорением ума в послушание вере, тем, что считалось спасением души. Но она пренебрегала условиями земного существования, видя в нем законное царство судьбы и греха, и потому с бессильною покорностью отдавала его на произвол грубого инстинкта. Она сомневалась, как это можно внести и стоит ли вносить добро в земной мир, который по Писанию во зле лежит, следовательно, и обречен во зле лежать. Она была убеждена, что наличный житейский порядок так же мало зависит от человеческих усилий, так же неизменен, как и порядок мировой. Вот эту веру в роковую неизменность житейского порядка и начало колебать двустороннее влияние, шедшее изнутри и извне.

Внутреннее влияние исходило из потрясений, испытанных государством в XVII в. Смутное время впервые и больно ударило по сонным русским умам, заставило способных мыслить людей раскрыть глаза на окружающее, взглянуть прямым и ясным взглядом на свою жизнь. У писателей того времени, у келаря А. Палицына, у дьяка И. Тимофеева, у князя И. Хворостинина ярко просвечивает то, что можно назвать исторической мыслью, наклонность вникнуть в условия русской жизни, в самые основы сложившихся общественных отношений, чтобы здесь найти

причины пережитых бедствий. И после Смуты до конца века все увеличивавшиеся государственные тягости поддерживали эту наклонность, питая недовольство, прорывавшееся в ряде мятежей.

На земских соборах и в особых совещаниях с правительством выборные люди, указывая на всяческие непорядки, обнаруживали вдумчивое понимание печальной действительности в предлагаемых средствах ее исправления. Очевидно, мысль тронулась и пыталась повлечь за собою застоявшуюся жизнь, не видя в ней более свыше установленного неприкосновенного порядка. С другой стороны, западное влияние приносило к нам понятия, направлявшие мысль на условия и удобства именно земного общежития и ставившие его усовершенствование самостоятельной и важной задачей государства и общества. Но для этого нужны были знания, каких не имела и которыми пренебрегала Древняя Русь, особенно изучение природы и того, чем она может служить потребностям человека: отсюда усиленный интерес русского общества XVII в. к космографическим и другим подобным сочинениям. Само правительство поддерживало этот интерес, начиная подумывать о разработке нетронутых богатств страны, разыскивая всякие минералы, для чего требовалось то же знание.

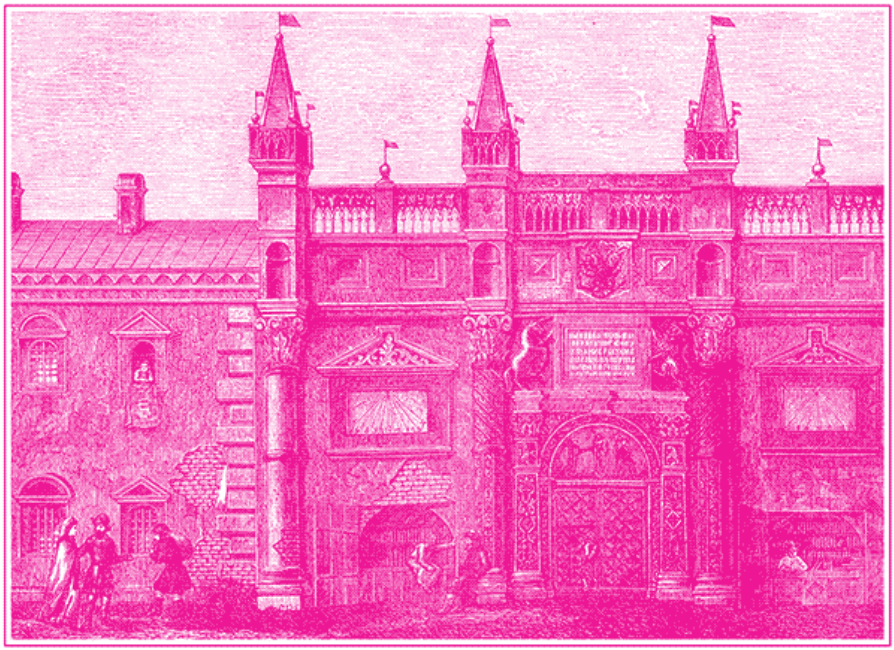


А. Васнецов. **Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке.** *1916 г.*

Новое веяние захватывало даже таких слабых людей, как царь Федор, слывший за великого любителя всяких наук, особенно

математических, и, по свидетельству Сильвестра Медведева, заботившийся не только о богословском, но и о техническом образовании. Он собирал в свои царские мастерские «художников всякого мастерства и рукоделия», платил им хорошее жалованье и сам прилежно следил за их работами. Мысль о необходимости такого знания с конца XVII в. становится господствующей идеей передовых людей нашего общества, жалобы на его отсутствие в России – общим местом в изображении ее состояния. Не подумайте, что это сознание или эта жалоба тотчас повели к усвоению понадобившегося знания, что это знание, став очередным вопросом, скоро превратилось в насущную потребность. Далеко нет: у нас необыкновенно долго и осторожно собирались приступить к решению этого вопроса.

Во весь XVIII в. и большую часть XIX в. размышляли и спорили о том, какое знание пригодно нам и какое опасно. Но пробудившаяся потребность ума скоро изменила отношение к существующему житейскому порядку. Как скоро освоились с мыслью, что помощью знания можно устроить жизнь лучше, чем она идет, тотчас стала падать уверенность в неизменности житейского порядка. И возникло желание устроиться так, чтобы жилось лучше. Возникло это желание прежде, чем успели узнать, как это устроить. В знание уверовали прежде, чем успели овладеть им. Тогда принялись пересматривать все углы существующего порядка и, как в доме, давно не ремонтированном, всюду находили запущенность, ветхость, сор, недосмотры. Стороны жизни, казавшиеся прежде наиболее крепкими, перестали возбуждать доверие к своей прочности. До сих пор считали себя сильными верой, которая без грамматики и риторики способна постигать разум Христов, а восточный иерарх Паисий Лигарид указывал на необходимость школьного образования для борьбы с расколом. И русский патриарх Иоаким, вторя ему, в направленном против раскола сочинении писал, что многие и из благочестивых людей уклонились в раскол по скудости ума, недостатку образования.



Печатный двор в Москве, на Никольской улице, в конце XVII века.

По рисунку конца XVII в.

Так ум, образование были признаны опорами благочестия. Переводчик Посольского приказа Фирсов в 1683 г. перевел Псалтырь. И этот чиновничек Министерства иностранных дел признает необходимым обновить церковный порядок помощью знания. «Наш российский народ, – пишет он, – грубый и неученый; не только простые, но и духовного чина люди истинные ведомости и разума и Святого Писания не ищут, ученых людей поносят и еретиками называют».

В пробуждении этой простодушной веры в науку и этой доверчивой надежды с ее помощью все исправить, по моему мнению, и заключался главный нравственный успех в деле подготовки реформы Петра Великого. Этой верой и надеждой руководился в своей деятельности и преобразователь. Та же вера поддерживала нас и после преобразователя всякий раз, когда мы, изнемогая в погоне за успехами Западной Европы, готовы были упасть с мыслью, что мы не рождены для цивилизации, и с ожесточением бросались в самоуничижение.

Но эти нравственные приобретения достались людям XVII в. не даром, внесли новый разлад в общество. До той поры русское общество жило влияниями туземного происхождения, условиями своей собственной жизни и указаниями природы своей страны. Когда на это общество повеяла иноземная культура, богатая

опытами и знаниями, она, встретившись с доморощенными порядками, вступила с ними в борьбу, волнуя русских людей, путая их понятия и привычки, осложняя их жизнь, сообщая ей усиленное и неровное движение. Производя в умах брожение притоком новых понятий и интересов, иноземное влияние уже в XVII в. вызвало явление, которое еще более запутывало русскую жизнь. До тех пор русское общество отличалось однородностью, цельностью своего нравственно-религиозного состава.

При всем различии общественных положений древнерусские люди по своему духовному облику были очень похожи друг на друга, утоляли свои духовные потребности из одних и тех же источников. Боярин и холоп, грамотей и безграмотный запоминали неодинаковое количество священных текстов, молитв, церковных песнопений и мирских бесовских песен, сказок, старинных преданий, неодинаково ясно понимали вещи, неодинаково строго заучивали свой житейский катехизис. Но они твердили один и тот же катехизис, в положенное время одинаково легкомысленно грешили и с одинаковым страхом Божиим приступали к покаянию и причащению до ближайшего разрешения «на вся».

Такие однообразные изгибы автоматической совести помогали древнерусским людям хорошо понимать друг друга, составлять однородную нравственную массу. Они устанавливали между ними некоторое духовное согласие, вопреки социальной розни, и делали сменяющиеся поколения периодическим повторением раз установившегося типа. Как в царских палатах и боярских хоромах затейливой резьбой и позолотой прикрывался простенький архитектурный план крестьянской деревянной избы, так и в вычурном изложении русского книжника XVI–XVII вв. проглядывает непритязательное наследственное духовное содержание «сельского невегласа, проста умом, простейша же разумом».

Западное влияние разрушило эту нравственную цельность древнерусского общества. Оно не проникало в народ глубоко, но в верхних его классах, по самому положению своему наиболее открытых для внешних веяний, оно постепенно приобретало господство. Как трескается стекло, неравномерно нагреваемое в разных своих частях, так и русское общество, неодинаково проникаясь западным влиянием во всех своих слоях, раскололось. Раскол, происшедший в Русской церкви XVII в., был церковным отражением этого нравственного раздвоения русского общества под действием западной культуры. Тогда стали у нас друг против друга два миросозерцания, два враждебных порядка понятий и чувств. Русское общество разделилось на два лагеря, на

почитателей родной старины и приверженцев новизны, т. е. иноземного, западного.

Руководящие классы общества, оставшиеся в ограде Православной церкви, стали проникаться равнодушием к родной старине, во имя которой ратовал раскол, и тем легче отдавались иноземному влиянию. Старообрядцы, выкинутые за церковную ограду, стали тем упорнее ненавидеть привозные новшества, приписывая им порчу древнеправославной Русской церкви. Это равнодушие одних и эта ненависть других вошли в духовный состав русского общества как новые пружины, осложнившие общественное движение, тянувшие людей в разные стороны.

Особенно счастливым условием для успеха преобразовательных стремлений надобно признать деятельное участие отдельных лиц в их распространении. То были последние и лучшие люди Древней Руси, положившие свой отпечаток на стремления, которые они впервые проводили или только поддерживали. Царь Алексей Михайлович пробудил общее и смутное влечение к новизне и усовершенствованию, не порывая с родной стариной. Благодушно благословляя преобразовательные начинания, он приручал к ним пугливую русскую мысль, самым своим благодушием заставляя верить в их нравственную безопасность и не терять веры в свои силы.

Боярин Ордин-Нащокин не отличался ни таким благодушием, ни набожной привязанностью к родной старине и своим неугомонным ворчанием на все русское мог нагнать тоску и уныние, заставить опустить руки. Но его честная энергия невольно увлекала, а его светлый ум сообщал смутным преобразовательным порывам и помыслам вид таких простых, отчетливых и убедительных планов, в разумность и исполнимость которых хотелось верить, польза которых была всем очевидна. Из его указаний, предположений и опытов впервые стала складываться цельная преобразовательная программа, не широкая, но довольно отчетливая программа реформы административной и народнохозяйственной. Другие, менее видные дельцы, пополняли эту программу, внося в нее новые мотивы или распространяя ее на другие сферы государственной и народной жизни, и таким образом подвигали дело реформы. Ртищев пытался внести нравственный мотив в государственное управление и возбудил вопрос об устройстве общественной благотворительности. Князь Голицын мечтательными толками о необходимости разносторонних преобразований будил дремавшую мысль правящего класса, признававшего существующий порядок вполне удовлетворительным.

Этим я заканчиваю обзор явлений XVII в. Он весь был эпохой,

подготовлявшей преобразования Петра Великого. Мы изучили дела и видели ряд людей, воспитанных новыми веяниями XVII в. Но это были лишь наиболее выдававшиеся люди преобразовательного направления, за которыми стояли другие, менее крупные: бояре Б. И. Морозов, Н. И. Романов, А. С. Матвеев, целая фаланга киевских ученых и в стороне – пришлец и изгнанник Юрий Крижанич. Каждый из этих дельцов, стоявших в первом и втором ряду, проводил какую-нибудь преобразовательную тенденцию, развивал какую-нибудь новую мысль, иногда целый ряд новых мыслей. Судя по ним, можно подивиться обилию преобразовательных идей, накопившихся в возбужденных умах того мятежного века. Эти идеи развивались наскоро, без взаимной связи, общего плана, но, сопоставив их, видим, что они складываются сами собой в довольно стройную преобразовательную программу, в которой вопросы внешней политики сцеплялись с вопросами военными, финансовыми, экономическими, социальными, образовательными.

Вот важнейшие части этой программы: 1) мир и даже союз с Польшей; 2) борьба со Швецией за восточный балтийский берег, с Турцией и Крымом за Южную Россию; 3)завершение переустройства войска в регулярную армию; 4) замена старой сложной системы прямых налогов двумя податями, подушной и поземельной; 5) развитие внешней торговли и внутренней обрабатывающей промышленности; 6) введение городского самоуправления с целью подъема производительности и благосостояния торгово-промышленного класса; 7) освобождение крепостных крестьян с землей; 8) заведение школ не только общеобразовательных с церковным характером, но и технических, приспособленных к нуждам государства, – и все это по иноземным образцам и даже с помощью иноземных руководителей. Легко заметить, что совокупность этих преобразовательных задач есть не что иное, как преобразовательная программа Петра. Эта программа была вся готова еще до начала деятельности преобразователя. В том и состоит значение московских государственных людей XVII в. Они не только создали атмосферу, в которой вырос и которой дышал преобразователь, но и начертали программу его деятельности, в некоторых отношениях шедшую даже дальше того, что он сделал.

Князь Д.М. Голицын

Дмитрий Михайлович Голицын

В князе Д. М. Голицыне родовая знать имела стойкого и хорошо подготовленного вождя. В 1697 г., будучи уже за 30 лет, он с толпой русской знатной молодежи был отправлен в заграничное учение, побывал в Италии и других странах. С Запада он привез живой интерес к устройству тамошних государств и к европейской политической литературе, сохранив при этом любовь к отечественной старине. Богатая библиотека, им собранная в подмосковном его селе Архангельском и расхищенная после его ссылки в 1737 г., совмещала в себе рядом с ценными памятниками русского права и бытописания до 6 тысяч книг на разных языках и в русском переводе по истории, политике и философии. Здесь собраны были все сколько-нибудь замечательные произведения европейских политических мыслителей XVI, XVII и начала XVIII в., начиная от Макиавелли, и между ними более десятка специальных сочинений об аристократии и столько же об английской конституции. Это показывает, в какую сторону обращена была мысль собирателя и какой образ правления наиболее занимал его.

Губернаторствуя в Киеве, Голицын заказывал переводить некоторые из этих книг на русский язык в тамошней академии. Из политических учений того времени Голицына особенно привлекала моралистическая школа рационалистов с ее главою Пуффендорфом, которого ценил и Петр, приказавший перевести

и напечатать его Введение в историю европейских государств и трактат об обязанностях человека и гражданина. Для Голицына были переведены и другие произведения того же публициста вместе с трактатом Гуго Гроция «О праве войны и мира»; но произведений Гоббса, главы материалистической школы публицистов, как и сочинения Локка «О правлении», в этих переводах не встречаем. Голицыну, как и Петру, была понятнее и казалась назидательнее разработанная моралистами теория происхождения государства не из войны всех против всех, как учил Гоббс, а из нужды каждого во всех и всех друг в друге – теория, полагавшая в основу государственного порядка не права, а обязанности гражданина к государству и согражданам. Точно так же и Локк своим демократическим учением об участии народа в законодательстве не отвечал боярским воззрениям князя Голицына.

Голицын был одним из образованнейших русских людей XVIII в. Делом его усиленной умственной работы было спаять в цельный взгляд любовь к отечественной старине и московские боярские притязания с результатами западноевропейской политической мысли. Но, несомненно, ему удалось то, что так редко удавалось русским образованным людям его века, – выработать политические убеждения, построенные на мысли о политической свободе. Как почитатель науки и политических порядков Западной Европы, он не мог быть принципиальным противником реформы Петра, оттуда же заимствовавшей государственные идеи и учреждения. Но он не мирился с приемами и обстановкой реформы, с образом действий преобразователя, с нравами его ближайших сотрудников и не стоял в их ряду.

Императоръ Петръ II
отправляется изъ Петерговскаго дворца на охоту.

Петр чтил, но недолюбливал Голицына за его упрямый и жесткий характер, и при нем честный, деловой и усердный киевский губернатор с трудом добрался до сенаторства, но не пользовался значительным влиянием. На события, совершавшиеся в России при Петре и после него, Голицын смотрел самым мрачным взглядом; его все здесь оскорбляло как нарушение старины, порядка, даже приличия. Не его одного тяготили два политических недуга, от которых, особенно в последнее время, все страдали: это – власть, действующая вне закона, и фавор, владеющий слабой, но произвольной властью. На исцелении отечества от этих недугов и сосредоточились его помыслы. Он изучал европейские государственные учреждения, чтобы выбрать из них наиболее подходящие к России, много говорил о том с известным нам Фиком. Исходя из мысли, субъективно или генеалогически у него сложившейся, что только родовитая знать способна держать правомерный порядок в стране, он остановился на шведской аристократии и Верховный тайный совет решил сделать опорным пунктом своего замысла.

Верховники 1730 г. В ночь на 19 января 1730 г. в Москве, в Лефортовом дворце, умер от оспы 15-летний император Петр II, внук преобразователя, не назначив себе преемника. Вместе с ним гасла династия, пресекалась мужская линия дома Романовых. Вместе с тем престолонаследие осталось без прочных законодательных норм и законных наследников. Закон Петра I, неясный, произвольно толкуемый и оставленный без действия самим законодавцем, терял свою нормирующую силу, а

Екатеринин тестамент и не имел ее, как документ спорный.

Для замещения престола перебирали весь наличный царский дом, называли царицу-монахиню, первую жену Петра, его младшую дочь Елизавету, двухлетнего сына старшей умершей дочери Анны, герцога Голштинского, трех дочерей царя Ивана. Но ни на ком не могли остановиться, ни у кого не могли найти бесспорного права на престол. Закон Петра I спутал все династические понятия и отношения. Кандидаты ценились по политическим соображениям, по личным или фамильным сочувствиям, а не по законным основаниям. Среди этой сумятицы толков и интересов Верховный тайный совет, как руководитель управления, взял на себя почин в деле замещения престола.

В ту же ночь, тотчас по смерти Петра II, он совещался об этом деле, назначив на наступавшее утро собрание всех высших чинов государства, чтобы совместно с ними решить столь важный вопрос. При этом Совет пополнил сам себя: в его пятичленном составе были уже три аристократа, князь Д. М. Голицын и двое князей Долгоруких; теперь приглашены были другой Голицын, брат Димитрия, и еще двое Долгоруких. Присутствие шести лиц только из двух знатнейших боярских фамилий придавало осьмичленному Совету не только аристократический, но и прямо олигархический характер. На совещании говорили много и долго, «с немалым разгласием», по выражению Феофана Прокоповича.

Заявление князя Долгорукого, отца второй невесты Петра II, о праве его дочери на престол, будто бы завещанный ей покойным женихом, и чье-то предложение о царице-бабке были отклонены как «непристойные». Тогда князь Д. Голицын, возвысив голос, сказал, что Бог, наказуя Россию за ее безмерные грехи, наипаче за усвоение чужестранных пороков, отнял у нее государя, на коем покоилась вся ее надежда. И так как его смертью пресеклось мужское колено царского дома, то надлежит перейти к старшей женской линии, дочерям царя Ивана. Тем более что дочери Петра I и сами по себе не имеют права на престол, как незаконные, родившиеся до вступления их отца в брак с их матерью. Завещание же Екатерины не имеет никакого значения, так как эта женщина, будучи низкого происхождения, и сама не имела права на престол и не могла им распоряжаться; но и старшая из дочерей царя Ивана, Екатерина Мекленбургская, неудобна, как жена иноземного принца, притом человека сумасбродного; всего удобнее вторая царевна, вдовствующая герцогиня Курляндская Анна, дочь русской матери из старинного доброго рода, женщина, одаренная всеми нужными для престола качествами ума и сердца.

«Так, так! Нечего больше рассуждать, выбираем Анну», – в

один голос зашумели верховники. Но, предложив неожиданно Анну, Голицын еще неожиданнее добавил: «Ваша воля, кого изволите; только надобно и себе полегчить». – «Как это, себе полегчить?» – спросил канцлер Головкин. – «А так полегчить, чтобы воли себе прибавить», – пояснил Голицын. – «Хоть и зачнем, да не удержим того», – возразил один из Долгоруких. – «Право, удержим», – настаивал Голицын. Все охотно приняли предложение о герцогине Курляндской, но о прибавке воли смолчали. Голицын продолжал: «Будь ваша воля; только надобно, написав, послать к ее величеству пункты».

Между тем в другой зале дворца сенаторы и высшие генералы дожидались, на чем порешат верховники. Известный уже нам Ягужинский, бывший генерал-прокурор Сената, отвел в сторону одного из толпившихся тут Долгоруких и высказывал ему чисто голицынский образ мыслей: «Долго ли нам терпеть, что нам головы секут! Теперь время, чтоб самодержавию не быть». Когда верховники вышли и объявили об избрании Анны, никто не возражал, а Ягужинский подбежал к одному из них и завопил, как будто подслушав слова Голицына: «Батюшки мои! Прибавьте нам как можно воли!» Но это была игра в простодушие: Ягужинский, как и большинство сановников, согласившись с выбором верховников, разошлись, озлобленные на то, что их не пригласили на совещание.

Утром 19 января собравшимся в Кремле Синоду, Сенату, генералитету и прочим высшим чинам Верховный тайный совет объявил о поручении российского престола царевне Анне, прибавив, что требуется на то согласие всего отечества в лице собравшихся чинов. Все изъявили полное согласие. Больше ничего не было объявлено собранию. Между тем в тот же день спешно были составлены и под покровом строжайшей тайны посланы в Митаву при письме к Анне пункты, или «кондиции», ограничивавшие ее власть. Императрица обещается по принятии русской короны во всю жизнь не вступать в брак и преемника ни при себе, ни по себе не назначать. А также править вместе с Верховным тайным советом «в восьми персонах» и без согласия его: 1) войны не начинать; 2) мира не заключать; 3) подданных новыми податями не отягощать; 4) в чины выше полковничья не жаловать и «к знатным делам никого не определять», а гвардии и прочим войскам быть под ведением Верховного тайного совета; 5) у шляхетства жизни, имения и чести без суда не отнимать; 6) вотчин и деревень не жаловать; 7) в придворные чины ни русских, ни иноземцев «без совету Верховного тайного совета не производить» и 8) государственные доходы в расход не употреблять (без согласия Совета). Эти обязательства

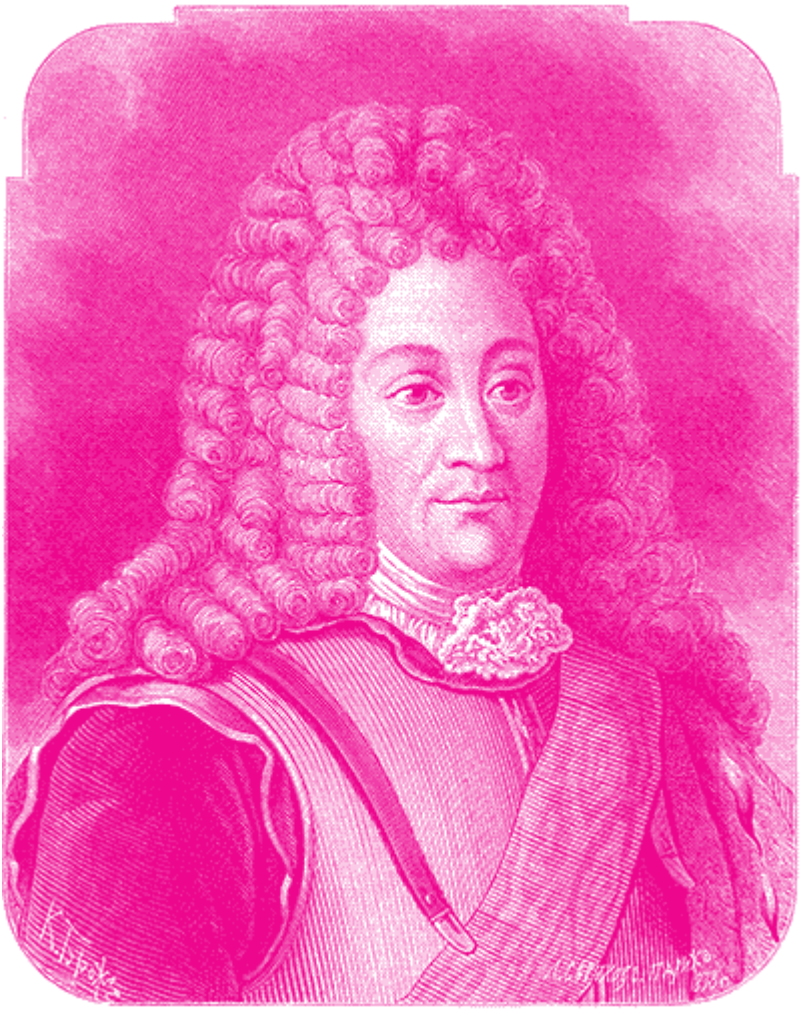
заканчивались словами от лица императрицы: «А буде чего по сему обещанию не исполню и не додержу, то лишена буду короны российской».

Между тем ретивый Ягужинский, ночью 19 января так горячившийся против самодержавия, озлился, увидев, что его не пустят в Верховный тайный совет, и тайком заслал к Анне в Митаву с предупреждением, чтобы она не во всем верила депутатам Совета, пока сама не приедет в Москву, где узнает всю правду. Анна без колебаний согласилась на условия и скрепила их подписью: «По сему обещаю все без всякого изъятия содержать. Анна». Через два-три дня она решила выехать в Москву, потребовав у посланцев Совета 10 тысяч рублей на подъем.

С.П. Ягужинский

Брожение среди дворянства. Избрание герцогини Анны Верховным тайным советом, скоро став известным, вызвало в Москве необычайное движение. Случайное обстоятельство придало ему не местное, только московское, но и общерусское значение. На тот самый день, 19 января, когда умер император, назначена была его свадьба с княжной Долгорукой. Вслед за полками с их генералами и офицерами в Москву, в ожидании придворных празднеств, наехало множество провинциального дворянства. Собравшись на свадьбу и попав на похороны, дворяне очутились в водовороте политической борьбы. Замысел верховников сначала встречен был в обществе глухим ропотом. Современник, зорко следивший за тогдашними событиями и принимавший в них деятельное участие против верховников, архиепископ Новгородский Феофан Прокопович живо рисует в своей записке ход движения: «Жалостное везде по городу видение стало и слышание; куда ни придешь, к какому собранию ни пристанешь, не иное что было слышать, только горестные нарекания на осьмиличных оных затейщиков; все их жестоко порицали, все проклинали необычное их дерзновение, несытое лакомство и властолюбие». Съехавшиеся в Москву дворяне разбивались на кружки, собирались по ночам и вели оживленные толки против верховников; Феофан насчитывал до 500 человек, захваченных агитационной горячкой. Вожаки, «знатнейшие из шляхетства», составили оппозиционный союз, в котором боролись два мнения: сторонники одного, «дерзкого», думали внезапно напасть на верховников с оружием в руках и перебить их всех, если они не захотят отстать от своих умыслов; приверженцы другого мнения, «кроткого», хотели явиться в Верховный тайный совет и заявить, что не дело немногих состав государства переделывать и вести такое дело тайком от других, даже от правительствующих особ: «неприятно то и смрадно пахнет». Но Феофан проведал, что энергия оппозиции с каждым днем «знатно простывала» от внутреннего разлада: слабейшая часть ее, консервативная, хотела во что бы то ни стало сохранить старое прародительское самодержавие; сильнейшая и либеральная сочувствовала предприятию верховников, но была лично раздражена против них за то, что те их «в дружество свое не призвали». Однако и в этой либеральной части иноземные послы не замечали единомыслия. «Здесь, – писал из Москвы секретарь французского посольства Маньян, – на улицах и в домах только и слышны речи об английской конституции и о правах английского парламента». Прусский посол Мардефельд писал своему двору,

что вообще все русские, т. е. дворяне, желают свободы, только не могут сговориться насчет ее меры и степени ограничения абсолютизма. «Партий бесчисленное множество, – писал в январе из Москвы испанский посол де Лириа, – и хотя пока все спокойно, но, пожалуй, может произойти какая-нибудь вспышка».



Князь В.Л. Долгорукий

Прежде всего, разумеется, обратились к Западу – как там? Глаза разбегались по тамошним конституциям, как по красивым вещам в ювелирном магазине, – одна другой лучше – и недоумевали, которую выбрать. «Все заняты теперь мыслью о новом образе правления, – читаем в депешах иноземных послов, – планы вельмож и мелкого дворянства разнообразны до бесконечности. Все в нерешительности, какой образ правления избрать для России. Одни хотят ограничить власть государя правами парламента, как в Англии, другие – как в Швеции,

третьи хотят устроить избирательное правление, как в Польше; наконец, четвертые желают аристократической республики без монарха».

При отсутствии политического глазомера, при непривычке измерять политические расстояния, так недалеко казалось от пыточного застенка до английского парламента. Но при таком разброде мнений перед глазами всех стояло пугало, заставлявшее несогласных теснее жаться друг к другу: это фавор, болезнь распущенной и неопрятной власти. «Испытав возвышение Долгоруких, – писали послы, – русские боятся могущества временщиков и думают, что при абсолютном царе всегда найдется фаворит, который будет управлять ими и жезлом, и пырком, и швырком», как делали при покойном Петре II Долгорукие. Значит, дворянство не было против идеи ограничения власти, как предохранительного средства от временщиков. Но его возмущал замысел верховников, как олигархическая затея, грозившая заменить власть одного лица произволом стольких тиранов, сколько членов в Верховном тайном совете. По выражению историка и публициста екатерининского времени князя Щербатова, верховники из себя самих «вместо одного толпу государей сочиняли». Так же смотрели на дело и в 1730 г.

В одной записке, которая тогда ходила по рукам в форме письма к кому-то в Москву от лица среднего шляхетства, читаем: «Слышно здесь, что делается у вас или уже и сделано, чтобы быть у нас республике; я зело в том сумнителен: Боже сохрани, чтобы не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий! И так мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать и милости у всех искать, да еще и сыскать будет трудно». Брожение достигло крайней степени, когда на торжественном заседании Верховного тайного совета 2 февраля Сенату, Синоду, генералитету, президентам коллегий и прочим штатским чинам прочитали подписанные Анной «кондиции» и будто бы ее письмо, разумеется, заранее заготовленное от ее имени в Москве. В нем, соглашаясь на свое избрание, она заявляла, что «для пользы Российского государства и ко удовольствованию верных подданных» написала и подписала, какими способами она то правление вести хочет.

Обязательства, поставленные Анне непременным условием ее избрания, оказались теперь ее добровольной жертвой на благо государства. Это шитое белыми нитками коварство привело собрание в крайнее изумление. По изобразительному описанию Феофана Прокоповича, все опустили уши, как бедные ослики,

перешептывались, а с негодованием откликнуться никто не смел. Сами верховные господа тоже тихо друг другу пошептывали и, остро глазами посматривая, притворялись, будто и они удивлены такой неожиданностью. Один князь Д. М. Голицын часто похаркивал и выкрикивал, «до сытости» повторяя на разные лады: вот-де как милостива государыня; Бог ее подвинул к сему писанию; отселе счастливая и цветущая будет Россия. Но как все упорно молчали, он с укором заговорил: «Что же никто слова не промолвит? Извольте сказать, кто что думает, хоть, впрочем, и сказать-то нечего, а только благодарить государыню». Наконец, кто-то из кучи тихим голосом и с большой запинкой промолвил: «Не ведаю и весьма дивлюсь, отчего на мысль пришло государыне так писать».

Но этот робкий голос не нашел отзвука. Заготовили и предложили подписать протокол заседания, в котором значилось: выслушав присланные императрицей письмо и пункты, все согласно объявили, «что тою ее величества милостью весьма довольны и подписуемся своими руками». Тут уж и бедные ослики потеряли терпение и отказались подписаться, заявив, что сделают это через день. Все словно вдруг постарели, «дряхлы и задумчивы ходили», рассказывает Феофан. Слишком уж сильно ударили по холопьему чувству; никто не ожидал, что так жестко скрутят императрицу. Верховников спрашивали, как же то правление впредь быть имеет. Вместо того чтобы заявить, что ответ на этот вопрос уже дан самой Анной в письме и пунктах и что воля ее не подлежит пересмотру, Голицын предоставил присутствующим написать об этом проект от себя и подать на другой день. Этим он вскрыл плохо скрываемые карты.

Доселе дело носило как будто корректный вид. Верховный тайный совет, фактически оставшись единственным органом верховного управления, избрал на безнаследный престол царевну Анну; все высшие чины до бригадира, считавшиеся должностными представителями народа, «всего отечества лицо на себе являющими», по выражению Прокоповича, единогласно одобрили выбор Совета. Нежданная, но оказавшаяся желанной избранница по праву великодушия, принесла на пользу отечества уцелевшие после Петра I обноски предковского самодержавия и в подписанных собственноручно пунктах указала, какими способами хочет она повести свое правление. Милостивый дар не рассматривают как покупной товар, а просто приемлют с подобающим благодарением. А Голицын бросил этот дар на обсуждение высших чинов вплоть «до бригадира» и тем обнаружил, что кондиции – не великодушный дар императрицы народу, а ее закулисная сделка с верховниками.

Пьеса ставилась на шаткие подмостки: в обстановке поддельной законности разыгрывалась простенькая неподдельная придворная плутня. Притом дело о регулировании личной верховной власти запутывалось, расплываясь в общий пересмотр государственных учреждений. Вынужденное или неосторожное предложение Голицына вызвало бурный отклик: началась горячка мнений, записок, устных заявлений о новом образе правления, которыми все чины до полковника и даже шляхетство бесчиновное осаждали Совет. Верховникам пришлось выслушать и прочитать кучу огорчений. Смятение дошло до того, что можно было опасаться восстания. Верховный совет хотел припугнуть расходившихся политиков, напомнив им, что у него на мятежников есть полководцы, сыщики, пытки. Тогда оппозиция превратилась в конспирацию: люди слабые, «маломощные», по выражению Прокоповича, без положения и связей, собирались тайком, боялись ночевать дома, перебегали от одного знакомого к другому, и то ночью, переодетые.

Шляхетские проекты. Призыв чинов к участию в обсуждении дела придал олигархической интриге вид более широкого политического движения. До сих пор вопрос вращался в правительственном кругу: Верховный тайный совет имел дело с высшими учреждениями – Сенатом, Синодом, генералитетом, президентами коллегий. С момента подачи проектов в дело вступает общество, шляхетство знатных фамилий в рангах и даже без рангов. Правительственные учреждения рассыпаются на кружки, сановники вмешиваются в ряды своей сословной братии; мнения подаются не от присутственных мест, не от сослуживцев, а от групп единомышленников.

В движение входят новые интересы. Известно до 13 мнений, записок, проектов, поданных или приготовленных к подаче в Верховный тайный совет от разных шляхетских кружков; под ними встречаем более тысячи подписей. Только проект, составленный Татищевым и поданный от Сената и генералитета, разработан в цельный историко-политический трактат. Остальные составлялись наскоро, мысли развивались кое-как; значит, здесь можно искать неподкрашенного, откровенного выражения политического настроения дворянства. Проекты не касаются прямо ни пунктов, ни избрания Анны с ограниченной властью, как будто признают молчаливо совершившийся факт. Только Татищев, как историк-публицист, тряхнул своим знакомством с русской историей и с западной политической литературой, как последователь моралистической школы Пуффендорфа и Вольфа. Он ставит дело на общие основы государственного права и доказывает, что России по ее положению всего полезнее

самодержавное правление и что, по пресечении династии, избрание государя «по закону естественному должно быть согласием всех подданных, некоторых персонально, других чрез поверенных». Татищев знал двухпалатную систему представительства на Западе, а может быть, вспомнил и состав отечественного Земского собора XVII в. Потому он возмущается не столько ограничением власти Анны, сколько тем, что это сделали немногие самовольно, тайком, попирая право всего шляхетства и других чинов. Он призывает единомышленников защищать это право до крайней возможности.

Другие проекты идут низменнее: им не до теории и устройства верховной власти; они сосредоточивают свое внимание на двух предметах – на высшем управлении и на желательных льготах для дворянства. Неполными и неясными чертами проекты рисуют такой план управления. «Вышним правительством» или остается Верховный тайный совет, или становится Сенат. Больше всего проекты озабочены численным и фамильным составом этого правительства. Оно не должно составлять такого тесного кружка, как наличный осьмичленный Верховный тайный совет. В нем должно быть от 11 до 30 персон; всего надобнее не допускать в него более двух членов из одной фамилии: четверня князей Долгоруких в составе Верховного совета 19 января, очевидно, торчала досадной спицей в глазах у всего шляхетства.

Все высшее управление должно быть выборное и дворянское. Дворянство – не цельный, однородный класс: в нем различаются «фамильные люди», родовая знать, «генералитет военный и штатский», знать чиновная и шляхетство. Из этих разрядов и выбираются члены Верховного тайного совета, Сената, президенты коллегий и даже губернаторы. Избирают на эти должности генералитет и шляхетство, по некоторым проектам – только «знатное» и совместно с Верховным тайным советом и Сенатом. Это избирательное собрание в проектах и зовется обществом. Ему же усвояется власть законодательная и даже учредительная; духовенство и купечество участвуют в выработке плана государственных реформ только по специальным вопросам, их касающимся.

В некоторых проектах выражается желание облегчить податную тягость крестьян, т. е. платежную ответственность самих дворян; но не нашлось ни одного дворянина, который проронил бы слово не об освобождении крепостных – до того ли было, – а хотя бы о законном определении господских поборов и повинностей. Существенную часть проектов составляют льготы для дворянства по службе и землевладению: назначение срока

службы, право поступать на службу прямо офицерами, отмена единонаследия и т. п. Этими льготами вовлекали в движение рядовое шляхетство. Дело вела родовитая или чиновная знать. Мелкое дворянство, равнодушное к толкам о разных образах правления, не действовало самостоятельно, не составляло особых политических кружков, а ютилось вокруг важных «персон», суливших им заманчивые льготы. Оно вторило своим вожакам тем послушнее, что большинство его были гвардейские и армейские офицеры, привыкшие и в строю повиноваться тем же вожакам, своим полковникам и генералам: из 1100 подписей под разными проектами более 600 – офицерских.

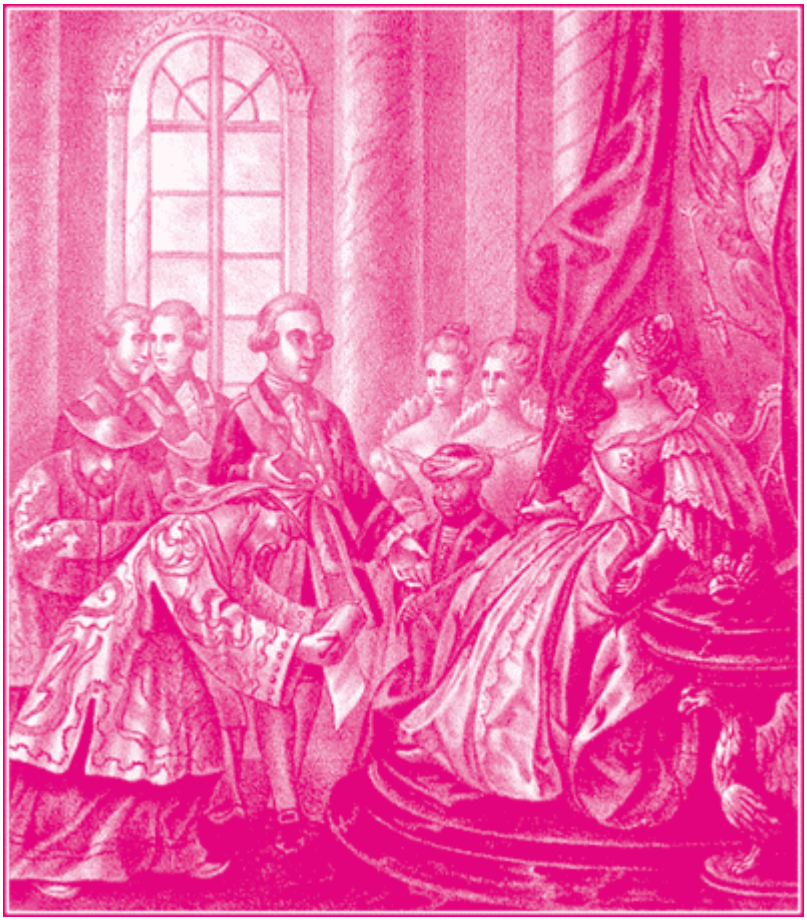
Все проекты построены на мысли, что дворянство – единственное правомочное сословие, обладающее гражданскими и политическими правами, настоящий народ в юридическом смысле слова, своего рода pays legal; через него власть и правит государством. Остальное население – только управляемая и трудящаяся масса, платящая за то и другое, и за управление ею, и за право трудиться; это – живой государственный инвентарь. Народа в нашем смысле слова в кругах, писавших проекты, не понимали или не признавали.

Императрица Анна Иоанновна в коронационном платье

Новый план. Пока шляхетство в своих проектах спешило заявить свои сословные желания, князь Д. Голицын вырабатывал и обсуждал с Верховным тайным советом план настоящей конституции. По этому плану императрица распоряжается только своим двором. Верховная власть принадлежит Верховному тайному совету в составе 10 или 12 членов из знатнейших фамилий. В этом Совете императрице уделено только два голоса. Совет начальствует над всеми войсками: все по примеру

шведского государственного совета во время его борьбы с сеймовым дворянством в 1719–1720 гг. Под Советом действуют у Голицына еще три учреждения: 1) Сенат из 36 членов, предварительно обсуждающий все дела, решаемые Советом; 2) Шляхетская камера (палата) из 200 членов по выбору шляхетства охраняет права сословия от посягательств со стороны Верховного тайного совета и 3) Палата городских представителей заведует торговыми и промышленными делами и оберегает интересы простого народа.

Итак, знатнейшие фамилии правят, а шляхетские представители наравне с купеческими обороняются и обороняют народ от этого правления. Этот план не тушил пожара, а только подливал боярское масло в дворянский огонь. Старый Дон Кихот отпетого московского боярства, ввиду надвигавшейся из Митавы своей избранницы, пошел, наконец, на уступки, решился немного приотворить двери ревниво замыкаемого верховного управления и даже допустить нечто похожее на представительство народных интересов, идея которого была так трудна для сознания господствующих классов. Еще шире захватывает он интересы общественных классов в составленной им форме присяги императрице. Он и здесь упрямо стоит на аристократическом составе и на монополии законодательной власти Верховного тайного совета. Но расточает важные льготы и преимущества духовенству, купечеству, особенно знатному шляхетству, и сулит всему дворянству то, о чем оно не осмеливалось просить в своих проектах: полную свободу от обязательной службы с правом поступать добровольно во флот, армию и даже в гвардию прямо офицерами. Эта своего рода хартия сословных вольностей шляхетства венчалась обещанием, особенно для него желанным, – дворовых людей и крестьян ни к каким делам не допускать. Петровскому крестьянину Посошкову и целому ряду административных и финансовых дельцов, выведенных Петром Великим из боярской дворни, произносилось политическое отлучение.



Б. Чориков. **Императрица Анна Ивановна принимает китайских посланников**

Крушение. Политическая драма князя Голицына, плохо срепетированная и еще хуже разыгранная, быстро дошла до эпилога. Раздор в правительственных кругах и настроение гвардии ободрили противников ограничения, доселе таившихся или притворно примыкавших к оппозиции. Составилась особая партия, или «другая компания», по выражению Феофана, столь же сделочного состава, как и прочие: в нее вошли родственники императрицы и их друзья, обиженные сановники, как князья Черкасский, Трубецкой, которых Верховный тайный совет не пустил в свой состав. К ним примкнули люди нерешительные или равнодушные. Тут ожил и Остерман. Все время он сидел дома больной, совсем собрался умирать, причастился и чуть ли не соборовался, но теперь стал вдохновителем новой компании. Отношения, интересы и лица выяснились, и немудрено было согласить компанейщиков, уверив их, что от самодержавной

императрицы они скорее добьются желаемого, чем от самовластного Верховного совета, сенаторов утешил восстановлением Сената в значении верховного правления, генералитет и гвардейцев – избавлением от команды верховников, всех – упразднением Верховного тайного совета. Колоколом партии был Феофан Прокопович. Он измучился, звоня по всей Москве о тиранстве, претерпеваемом от верховников государыней, которую стерегущий ее дракон В. Л. Долгорукий довел до того, что она «насилу дышит». Владыка сам испугался успеха своей пастырской проповеди, заметив, что многие, ею распаленные, «нечто весьма страшное умышляют».

Подъезжая к Москве, Анна сразу почувствовала под собою твердую почву, подготовленную конспиративной агитацией слывшего безбожником немца и первоприсутствовавшего в Св[ященном] Синоде русского архиерея, и смело стала во главе заговора против самой себя, против своего честного митавского слова. В подмосковном Всесвятском, вопреки пунктам, она объявила себя подполковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов, собственноручно угостив их водкой, что было принято с величайшим восторгом. Еще до приезда Анны гвардейские офицеры открыто говорили, что скорее согласятся быть рабами одного тирана-монарха, чем многих.

Анна торжественно въехала в Москву 15 февраля, и в тот же день высокие чины в Успенском соборе присягали просто государыне, не самодержице, да «отечеству» – и только. Не замечая интриги, зародившейся вокруг Анны, сторонники Верховного тайного совета ликовали, рассказывали, что наконец-таки настало прямое порядочное правление. Императрице назначают 100 тысяч рублей в год и больше ни копейки, ни последней табакерки из казны без позволения Совета, да и то под расписку; чуть что, хотя в малом в чем нарушит данное ей положение, – сейчас обратно в свою Курляндию. И что она сделана государыней, и то только на первое время – помазка по губам. Но верховники уже не верили в удачу своего дела и, по слухам, будто бы сами предлагали Анне самодержавие.

И вот, 25 февраля, сот восемь сенаторов, генералов и дворян в Большой дворцовой зале подали Анне прошение образовать комиссию для пересмотра проектов, представленных Верховному тайному совету, чтобы установить форму правления, угодную всему народу. Императрица призывалась стать посредницей в своем собственном деле между верховниками и их противниками. Один из верховников предложил Анне, согласно кондициям, предварительно обсудить прошение вместе с Верховным тайным советом; но Анна, еще раз нарушая слово, тут же подписала

бумагу.

Верховники остолбенели. Но вдруг поднялся невообразимый шум: это гвардейские офицеры, уже надлежаще настроенные, с другими дворянами принялись кричать вперебой: «Не хотим, чтоб государыне предписывали законы. Она должна быть самодержицею, как были все прежние государи». Анна пыталась унять крикунов, а они – на колена перед ней с исступленной отповедью о своей верноподданнической службе и с заключительным возгласом: «Прикажите, и мы принесем к вашим ногам головы ваших злодеев». В тот же день после обеденного стола у императрицы, к которому приглашены были и верховники, дворянство подало Анне другую просьбу, с 150 подписями, в которой «всепокорнейшие раби» всеподданнейше приносили и все покорно просили всемилостивейше принять самодержавство своих славных и достохвальных предков, а присланные от Верховного тайного совета и ею подписанные пункты уничтожить. «Как? – с притворным удивлением простодушного неведения спросила Анна. – Разве эти пункты были составлены не по желанию всего народа?» – «Нет!» – был ответ. – «Так ты меня обманул, князь Василий Лукич!» – сказала Анна Долгорукому. Она велела принести подписанные ею в Митаве пункты и тут же при всех разорвала их. Все время верховники, по выражению одного иноземного посла, «не пикнули», а то бы офицеры гвардии побросали их за окна. А 1 марта по всем соборам и церквам «паки» присягали уже самодержавной императрице: верноподданнической совестью помыкали и налево и направо с благословения духовенства. Так кончилась десятидневная конституционно-аристократическая русская монархия XVIII в., сооруженная 4-недельным временным правлением Верховного тайного совета.

Но, восстановляя самодержавие, дворянство не отказывалось от участия в управлении. В той же послеобеденной петиции 25 февраля оно просило, упразднив Верховный тайный совет, возвратить прежнее значение Сенату из 21 члена, предоставить шляхетству выбирать баллотированием сенаторов, коллежских президентов и даже губернаторов и, согласно дообеденной челобитной, установить форму правления для предбудущего времени. Если бы это ходатайство было уважено, центральное и губернское управление составилось бы из выборных агентов дворянства вроде екатерининских капитан-исправников. Российская империя не стала «сестрицей Польши и Швеции», как надеялся Фик; зато рядом с республиканско-шляхетской Польшей стала Россия самодержавно-шляхетская.

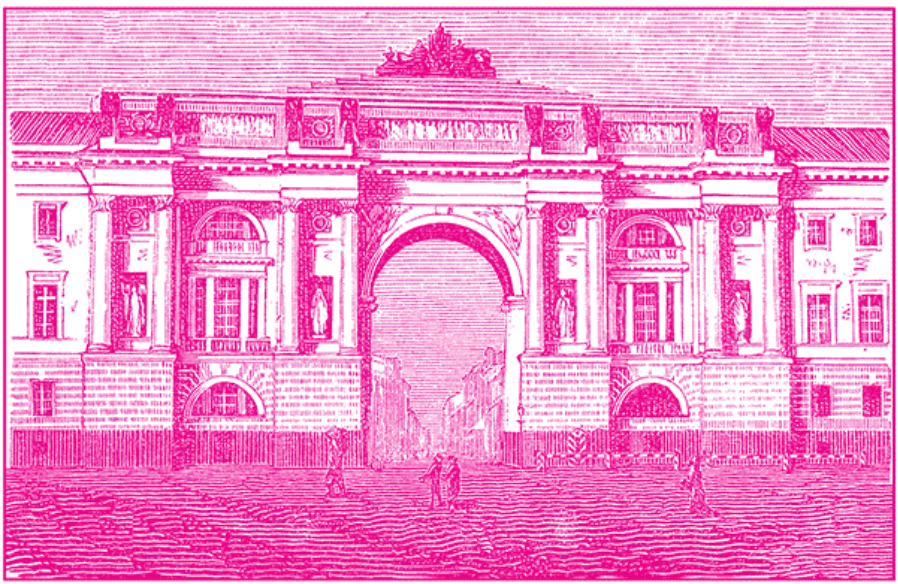
Причины. Дело 1730 г. представлялось современным

наблюдателям борьбой, поднявшейся из-за ограничения самодержавия в среде господствующего класса, между родовой аристократией и дворянством: прочие классы народа не принимали в этом движении никакого участия: нельзя же придавать сословного значения суетливой беготне архиепископа Феофана Прокоповича по московским шляхетским домам. Но первоначально Верховный тайный совет дал предпринятому им делу очень узкую постановку. Это было, собственно, не ограничение самодержавия сословным или народным представительством, а только совместное осуществление прерогатив верховной власти лицом, к ней призванным, и учреждением, призвавшим это лицо к власти.

Верховная власть меняла свой состав или форму, переставала быть единоличной, но сохраняла прежнее отношение к обществу. Ограничительные пункты давали только одно право гражданской свободы, да и то лишь одному сословию: «У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать». Но о политической свободе, участии общества в управлении пункты верховников не говорят ни слова. Государством правят неограниченно императрица и Верховный тайный совет, а Верховный тайный совет не представлял собою никого, кроме самого себя: одни из его членов были назначены верховной властью еще до ее ограничения, другие кооптированы, приглашены самим Советом в ночном заседании 19–20 января. Так думал Совет вести дела и впредь; только оппозиция заставила его обещать созыв всех чинов для совещания, и только для совещания, о наилучшем устройстве государственного управления. Всего менее представляли верховники русскую родовитую знать.

Большая часть тогдашней старинной знати, Шереметевы, Бутурлины, князья Черкасские, Трубецкие, Куракины, Одоевские, Барятинские, были по московскому родословию ничем не хуже князей Долгоруких, а члены этих фамилий стояли против Верховного тайного совета. Верховники не могли объединить вокруг себя даже собственных родичей: имена Голицыных и Долгоруких значатся в подписях под оппозиционными проектами. Эта оппозиционная знать была душою движения, волновала мелкое шляхетство, суля ему заманчивые льготы по службе и землевладению, руководила шляхетскими кружками, диктуя им записки для подачи в Верховный тайный совет. Шляхетство рядовое выступало в деле не деятелем, а статистом, выводимым на сцену, чтобы произвести впечатление количественной силы. Табель о рангах еще не успела перетасовать родословные масти и освободить чин от гнета породы. В этом дворянстве, темном и бедневшем, нуждавшемся в высокостойных милостивцах,

привычное холопье родопочитание еще дружно уживалось с зарождавшимся рабьим чинопочитанием. «Шляхетство фамильным рабски служат и волю их всяко исполняют и тою службою для обогащения получают комендантства и у других важных царских интересов командирство», – так изображает петровский прожектер Иван Филиппов отношения рядового дворянства к знати, не успевшие скоро измениться и после Петра. Но и вожаки шляхетства были высшие должностные лица, члены правительственных учреждений, впереди всех – сенаторы и генералитет, который был не просто куча генералов, а особое учреждение, главный совет Генерального штаба с определенными штатами и окладами. Первый проект, поданный в Верховный тайный совет и самый оппозиционный, шел именно от Сената и генералитета.



Сенат и Синод в Санкт-Петербурге

Значит, в деле 1730 г. боролись не лица и не общественные классы, а высшие правительственные учреждения, не знать старая, родовитая, с новой, чиновной, или та и другая с рядовым шляхетством, а Сенат, Синод и генералитет с Верховным тайным советом, который присвоял себе монополию верховного управления. Словом, боролись не правительство и общество за власть, а органы правительства между собою за распределение власти. Но учреждения – только колеса правительственной машины, приводимые в движение правительственной или общественной силой. Верховники хотели, чтобы такою силой были знатные фамилии, или фамильные люди; но того же хотели и их противники: фамильные тягались с фамильными.

Со времени опричнины правящий класс так осложнился и перепутался, что трудно стало разобрать, кто и в какой мере фамилен или нефамилен. Общественная сила, какою был этот смешанный класс, теперь цеплялась за готовые правительственные учреждения, потому что не было учреждений общественных, за которые можно было бы уцепиться. Старая военно-генеалогическая организация служилого класса была разрушена отменой местничества и регулярной армией, а попытка Петра вовлечь местные дворянские общества в управление потерпела неудачу. Только учреждения и объединяли неслаженные интересы и невыясненные взгляды лиц и классов; сами верховники, разделяемые фамильными счетами и личными враждами, действовали если не единодушно, то хоть компактно, не по чувству аристократической солидарности, а по товариществу в Верховном тайном совете. Оставалось превратить высшие правительственные учреждения в общественные, выборные, т. е. представительные. Эта мысль и бродила в умах того времени. Но и верховникам, кроме разве одного Д. Голицына, и их противникам недоставало ни понимания сущности представительства, ни согласия в подробностях его устройства; под выборными из шляхетства разумели набранных из дворян, случившихся в столице.

Вид набережной Невы в XVIII веке

Таким образом, ни установившиеся общественные отношения, ни господствовавшие политические понятия не давали средств развязать узел, в какой затянулись столкнувшиеся

интересы и недоразумения. Вопрос разрешен был насильственно, механическим гвардейским ударом. Дворянская гвардия поняла дело по-своему, по-казарменному: ее толкали против самовластия немногих во имя права всех, а она набросилась на всех во имя самовластия одного лица – не туда повернула руль: просить о выборном управлении, восстановив самодержавие, значило прятать голову за дерево. На другой день после присяги самодержавная Анна, исполняя часть шляхетской просьбы, составила Сенат из 21 члена, но назначила их сама, без всяких выборов. Так ходом дела выясняются главные причины его неудачи. Прежде всего, самый замысел князя Д. Голицына не имел ни внутренней силы, ни внешней опоры. Он ограничивал верховную власть не постоянным законом, а учреждением с неустойчивым составом и случайным значением; чтобы придать ему устойчивость, Голицын хотел сделать его органом и оплотом родовой аристократии – класса, которого уже не существовало: оставались только немногие знатные фамилии, разрозненные и даже враждебные друг другу. Голицын строил монархию, ограниченную призраком.

Далее, Верховный тайный совет со своим случайным и непопулярным составом, упрямо удерживая за собой монополию верховного управления, оттолкнул от себя большинство правительственного класса и вызвал оппозицию с участием гвардии и шляхетства, перевернув дело, превратив вопрос об ограничении самодержавия в протест против собственной узурпации. Наконец, оппозиция и отдельные члены самого Верховного тайного совета смотрели в разные стороны: Совет хотел ограничить самодержавие, не трогая высшего управления; оппозиция требовала перестройки этого управления, не касаясь самодержавия или умалчивая о нем; гвардейская и дворянская масса добивалась сословных льгот, относясь враждебно или равнодушно и к ограничению верховной власти, и к перестройке управления.

При такой розни и политической неподготовленности оппозиционные кружки не могли выработать цельного и удобоприемлемого плана государственного устройства. Этим они оправдывали отзыв прусского посла Мардефельда, что русские не понимают свободы и не сумеют с нею справиться, хотя и много о ней толкуют. Сам Голицын объяснял неудачу своего предприятия тем, что оно было не по силам людям, к которым он обратился с призывом стать его сотрудниками. В этом смысле надобно понимать его слова, которыми он сам отпел свое дело. Когда восстановлено было самодержавие, он сказал: «Пир был готов, но званые оказались недостойными его. Я знаю, что паду жертвой

неудачи этого дела; так и быть, пострадаю за отечество. Мне уж и без того остается немного жить. Но те, кто заставляет меня плакать, будут плакать дольше моего». В этих словах приговор Голицына и над самим собой. Зачем, взявшись быть хозяином дела, назвал таких гостей, или зачем затевал пир, когда некого было звать в гости?

Связь с прошедшим. В предприятии князя Голицына возбуждают недоумение две черты: выбор лица, не стоящего на наследственной очереди, и подделка избирательного акта, превратившая условия избрания в добровольный дар избранницы. Первая черта наводит на мысль о некотором участии шведского влияния. Воцарение Анны несколько напоминает вступление на шведский престол сестры Карла XII Ульрики-Элеоноры в 1719 г. То же избрание женщины помимо прямого наследника (герцога Голштинского) с ограничением власти избранницы; то же домогательство аристократического государственного совета стать полновластным и такое же противодействие дворянства. Наконец, русские исследователи событий 1730 г. с помощью шведских историков указали очевидные следы влияния шведских конституционных актов в ограничительных пунктах, в плане и проекте присяги, составленных Голицыным. Но при сходстве обстоятельств условия были далеко не одинаковы.

При избрании Анны Голицын помнил и мог принимать в соображение случившееся с Ульрикой-Элеонорой: удалось там – почему не удастся здесь? Шведские события давали только ободрительный пример, шведские акты и учреждения – готовые образцы и формулы. Но побуждения, интересы и согласованная с ними тактика были свои, незаимствованные. Это особенно сказалось в другой черте дела. Зачем понадобилась Голицыну фальсификация избирательного акта? Здесь надобно обратиться к русскому прошлому. Закулисная интрига в перемене образа правления имела у нас долгую и невзрачную историю. В 1730 г. уже не в первый раз поднимался старый и коренной вопрос русского государственного порядка – вопрос о закономерной постановке верховной власти. Он вызван был пресечением династии Рюриковичей, как историческая необходимость, а не как политическая потребность.

До 1598 г. на московского государя смотрели как на хозяина земли, а не народа. В народном правосознании не было места для мысли о народе как о государственном союзе; не могло быть места и для идеи народной свободы. Церковь учила, что всякая власть от Бога, а так как воля Божия не подлежит никакому юридическому определению, то ее земное воплощение становилось вне права, закона, мыслилось как чистая аномия. С

1598 г. русское политическое мышление стало в большое затруднение. Церковное понятие о власти еще можно было кое-как пристроить к наследственному государю – хозяину земли; но царь выборный, деланный хоть и земскими, но все же земными руками, трудно укладывался под идею богопоставленной власти. Политическое настроение раздвоилось. Плохо понимая, что за цари пошли с Бориса Годунова, народная масса сохранила чисто отвлеченное библейское представление о царской власти; но, уже закрепощаемая и прежде умевшая только бегать от притеснений властей, она в XVII в. выучилась еще бунтовать против бояр и приказных людей.

В свою очередь, и боярство под влиянием горьких опытов и наблюдений над соседними порядками освоилось с мыслью о договорном царе. Но, исходя из правящего класса, а не из народной массы, заслуженно ему не доверявшей, эта мысль всегда стремилась отлиться и дважды отливалась в одинаковую форму закулисной сделки, выступавшей наружу в виде добровольного дара власти либо проявлявшейся в ослабленных браздах правления. Такая форма была выходом из положения между двух огней, в какое попадали люди, чутьем или сознательно пытавшиеся исцелить страну от болезненного роста верховной власти. Дело 1730 г. было седьмой попыткой более или менее прикрытого сделочного вымогания свободы правительственным кружком и четвертым опытом открытого, формального ограничения власти. Негласное вымогание свободы вызывалось нравственным недоверием к дурно воспитанной политической власти и страхом перед недоверчивым к правящему классу народом; формальное ограничение не удавалось вследствие розни среди самих господствующих классов.

Н.И. Новиков

Н. И. Новиков. *С портрета Д. Левицкого*

Его время. Полтораста лет прошло от рождения Н. И. Новикова, и идет 77-й год со дня его смерти. Теперь осталось очень мало людей, которые могли бы его лично знать и помнить. Мы можем только вспоминать о нем. Таким воспоминанием позвольте на несколько минут занять ваше благосклонное внимание. Ничего не скажу ни нового, ни даже цельного, а только из общеизвестного о Новикове напомню то, чем особенно можно и должно помянуть его.

Н. И. Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере, сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим. Хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества, настоящим своим делом он считал издательство. На типографию и книжную лавку положил

он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка – это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную и неповторенную. Нам теперь трудно представить себе типографскую и книгопродавческую деятельность, которою можно было бы сослужить такую службу. Правда, и в наше время нелегкое и немаловажное дело дать в руки простому читателю, не любителю и не ученому, полезную и приятную книгу, попасть во вкус и потребности грамотного общества; в малограмотные времена Новикова это было во много раз труднее и важнее, чем теперь. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественною, народно-просветительною силой. Постигшая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных «случайных» звезд, появлявшихся на русском великосветском небосклоне прошлого века.

Я наперед скажу, где причина такого небывалого на Руси явления, как могло получить такое значение скромное само по себе дело. Энтузиазм частных людей к делу народного образования, соединенный с чутким пониманием его нужд и недостатков и с расчетливым выбором средств их удовлетворения и устранения, – вот что особенно вспоминаем мы, собравшись почтить воспоминанием 150-ю годовщину рождения Н. И. Новикова.

Вспоминая деятельность Новикова, я, прежде всего, должен говорить именно о нуждах и недостатках современного ему русского просвещения, т. е. придать своему воспоминанию несколько одностороннее направление, теневую окраску. Но тени сами собой отступают назад перед светлыми чертами, так ярко отразившимися в деятельности Новикова и его друзей, и мы получаем возможность видеть русское общество того времени с обеих сторон, лицевой и оборотной.

При мысли о Новикове невольно перебираешь в памяти целый ряд явлений в умственной и нравственной жизни русского общества с самого начала прошлого века – так тесно связана была издательская деятельность Новикова с ходом нашего просвещения, особенно с судьбою книги на Руси, с историей книжного чтения. Мы привыкли в своем представлении соединять просвещение с книгой, как с одним из главных его средств или пособий. Но в истории нашего просвещения был момент, когда средство начинало удаляться от своей цели, когда книга грозила

вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепутьем между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою реформой порядков и екатерининскою реформой умов. Такой разлад между средством и целью подготовлен был некоторыми туземными и заносными (внешними. – *Прим. ред.*) условиями, действовавшими на состав и направление книжного чтения, каким питалось тогдашнее грамотное общество на Руси.

В Древней Руси читали много, но немногое и немногие. Этим чтением со строго ограниченным содержанием и направлением вырабатывались мастера-начетчики, которые знали свою литературу, свое божественное писание, как они ее называли, не хуже, чем «Отче наш…» или святцы. Такие начетчики не переводились у нас во весь XVIII век, не перевелись и доныне. Реформа Петра потребовала от высших служащих классов новых знаний, выходивших далеко за пределы древнерусского книжного кругозора, и заставила читать новые книги преимущественно учебного характера. Так как читали для ученья, а учились по долгу службы, то эта литература разновозрастных учебников не могла стать популярной ни в младших, ни в старших возрастах, не могла привить читателям внутренней потребности в ней, которая пережила бы ее внешнюю принудительность. Ведь любознательность ее записных потребителей поддерживалась более всего экзаменной проверкою и служебного ответственностью с энергическими последствиями той и другой, и, по мере того как со смертью Петра истощались эти деятельные писатели научного огня, гасла и самая любознательность и застаивались в пыли на полках все эти повелительно втиснутые Петром в руки временнообязанных читателей Пуффендорфии, Юсты Липсии, Кугорны, Девигнолы (Виньола), Гюйгенсы, Боргсдорфы, Бухнеры с их руководствами истории, политики, артиллерии, фортификации, с книгами *мирозрения* (космография), *марсовыми, архитектурными, союзными* и другими подобными. Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных учебною повинностью умов льготным временем ближайших преемников и преемниц преобразователя. Немного прочных знаний и отчетливых понятий умели почерпнуть из нее обязательные ее читатели, а их не обязанные службой сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но тех и других она самым появлением и видом своим приручала к книге гражданской печати, освобождала от древнерусского страха перед ней, как перед аптечною банкой. И при всей скудости извлекаемого из нее научного содержания, все же мирила с ней

как с неизбежным злом на службе и в общежитии. И вот, приблизительно с половины царствования Елизаветы Петровны, на ниву русского просвещения, все более очищавшуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал, сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок, усердно сочинявшихся доморощенными стихотворцами с легкой руки Сумарокова.

Д.И. Фонвизин

По крайней мере, современник Болотов, в своих записках под 1752 г., рассказывает, что «самая нежная любовь, толико подкрепляемая нежными и любовными и в порядочных стихах сочиненными песенками, тогда получала первое только над молодыми людьми свое господствие», но таких песенок было еще очень мало, и «они были в превеликую еще диковинку», и потому молодыми барынями и девицами «с языка были не спускаемы».

Аза песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментально-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе.

Колючая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щекотавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. Из холодной и сухой области научной мысли, перескочив прямо в распаренную наркотическую атмосферу вольного чувства и образа, светски образованные люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика, долженствующие идти об руку одна с другой к одной цели – познанию жизни, в сознании этих людей стали непримиримыми врагами. Эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень. Одногодки Новиков и Фонвизин молодостью своей попали в этот момент, и последний увековечил его в своем «Бригадире» (1766) коротким и выразительным обменом мыслей между двумя образцовыми продуктами этого момента, Советницей и Иванушкой:

– Боже тебя сохрани, – говорит первая второму, – от того, чтобы голова твоя была наполнена чем иным, кроме любезных романов! Кинь, душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги просвещают.

– Madame! – отвечает ей Иванушка, – вы говорите правду. Я сам, кроме романов, ничего не читывал.

А какое направление преобладало в этих романах, потреблявшихся русскими советницами и Иванушками, видно из рассказа того же Фонвизина о том, как он, будучи еще студентом Московского университета, взамен гонорара за перевод басен Гольберга получил от московского книгопродавца целую кучу иностранных книг, «соблазнительных, украшенных сквернымиэстампами» и испортивших его воображение. Такие книги, очевидно, наиболее спрашивались тогдашнею светскою молодежью. Людям, чувствовавшим потребность порядочности, надобно было, подобно фонвизинскому Сорванцову, отговариваться в обществе, что они не ставят своего невежества себе в достоинство.

Титульный лист журнала «Живописен» 1772 г.

«Живописец» Новикова в 1772 г. скорбит о том, что романы раскупаются вдесятеро больше наилучших переводных книг серьезного содержания, да и было о чем скорбеть. Хороший роман служит прекрасным пособием для познания жизни тому, кто в нем ищет и находит художественное объяснение своих случайных и хаотических житейских впечатлений; для такого читателя роман – художественная иллюстрация действительности; без того и лучший роман – пустая игрушка воображения, лубочная картинка, лишенная своей истолковательницы – подписи внизу. Наших читателей и читательниц роман отучал от понимания действительности, заменяя им житейские опыты и наблюдения призраками, как детям куклы заменяют живых людей; подобно пушкинской Татьяне, они «влюблялися в обманы и Ричардсона, и

Руссо».[5]

Подготовленный любовными песенками вроде сумароковских или николевских, вкус романической публики быстро изощрялся, поддерживая возбуждаемость усталого литературного аппетита. Начинали строго добродетельным семейным романом во вкусе Ричардсоновой «Памелы», продолжали романом тоже довольно добродетельным, вроде «Клариссы», но уже с участием «Ловеласа», а кончали ничем не прикрытыми приключениями вроде тех эстампов, на которые жаловался Фонвизин. Самые заглавия романов вторили изощрявшимся вкусам: «Российскую Памелу, или Приключения Марии, добродетельной поселянки», сменяло «Геройство любви», или «Изображение великодушного любовника», а затем уже прямо следовала «Генриетта, или Гусарское похищение» в трех частях. Так народился у нас значительно разросшийся потом класс потребителей и особенно потребительниц романа, идиллически-мечтательный род петиметров и кокеток с кисейными чувствами и «с чепухою сладких слов», как выразился некогда Княжнин[6] овыведенном им в комедии «Чудаки» подобном продукте идиллии и романа. Жившие в России иностранцы с удивлением встречали в русском большом свете много дам и девиц, которые говорили на четырех-пяти языках, играли на разных инструментах иотлично знакомы были с произведениями известнейших романистов Франции, Англии и Италии. В этом знакомстве трудно искать любознательности, питавшей размышление. К этим дамам и девицам шло воззвание в переведенной тогда идиллии мадам Дезульер:

Овечки! Ни наук, ни правил вы не зная, Паситесь в тишине: не нужно то для вас.

Надобно сказать правду об этой идиллической чувствительности: для массы сердец она служила только приправой чувственности, не смягчая чувства. Мамаша, после обычной утренней расправы на конюшне с крестьянами и крестьянками, принималась за французскую любовную книжку и откровенно объясняла по-русски все прелести любви и нежности прекрасного пола своему тринадцатилетнему сыну («Живописец» Новикова).

Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими своими сторонами, лицевой и оборотной. В нашей разреженной культуре, как в решете, сор мысли как-то сам собою отсеивался от ее зерна. После 28 июня 1762 г. у нас было немало умных и

благомыслящих людей, которые, становясь у дел, понимали, чем могут воспользоваться из содержания этой философии политика, право и общежитие, и русское законодательство стало провозвестником ее зиждительных идей. Но популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша модно образованная публика особенно понятливо воспринимала это критическое направление просветительной философии и не столько самую критику, сколько ее приправу. Подобно ночным мотылькам, которые ничего не видят при дневном свете, непривычные к размышлению умы слепо бросались на яркие парадоксы тогдашних esprits forts (усилие духа. – *Прим. ред.*) и на них сжигали последние остатки здравого смысла, уцелевшие от романов и идиллий.

Развинченное ими вольное чувство, встретившись с вольною смеющеюся мыслью, спешило устранить все сдержки и преграды и, прежде всего, набросилось на простейшие нравственные связи. «Не щадить отца – вот прямая добродетель века!» – восклицает Советница в «Бригадире», восхищенная скотским взглядом Иванушки на семейные отношения. В лице одного из героев «Чудаков», разбогатевшего самодура-дворянина из кузнецов Лентягина, Княжнин изобразил одного из этих выращенных новым духом времени и старыми нравами русских вольнодумцев, у которых протестующий философский смех перерождался в безразборчивое зубоскальство надо всем, а отрицание предрассудков – в забвение приличий. Словом, из свободы мысли выходило озорство почуявшего волю холопского темперамента. Тогда, по свидетельству Фонвизина, составлялись кружки молодежи, все философское упражнение которых состояло в богохульстве и кощунстве. Потеряв своего бога, заурядный русский вольтерианец не просто уходил из его храма как человек, ставший в нем лишним, а, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать и перепачкать.

Что еще прискорбнее, многими, если не большинством наших вольнодумцев, вольные мысли почерпались не прямо из источников, – это все-таки задавало бы некоторую работу уму, – а хватались ими с ветра, доходили до них отдаленными сплетнями из вторых-третьих рук. Какой-нибудь молодой Фирлюфюшков (петиметр в комедии Екатерины II «Именины госпожи Ворчалкиной»), воротясь из Парижа, проповедовал их доверчивым зевакам-сверстникам, или старый высокочиновный греховодник зазывал молодежь к себе на обеды, чтобы сообщить ей последние, самые свежие полученные из Парижа новости по части атеизма и

материализма.

Многим русским вольтерианцам Вольтер был известен только по слухам как проповедник безбожия, а из трактатов Руссо до них дошло лишь то, что истинная мудрость – не знать никаких наук. С просветительною философией у нас повторилось то же, что бывало с сентиментально-назидательною беллетристикой: мать пушкинской Татьяны была от Ричардсона без ума:

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла;
Но в старину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.

Таким образом, открывалось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятывались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ, как указание или требование природы. Новые идеи нравились, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерианца от законов Божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических. Словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность; да этот смех и там, кажется, был преемником, едва ли даже не был *натуральным сыном* этой самой индульгенции.

При каком угодно мнении о просветительной философии можно огорчаться таким ее употреблением. Порошин рассказывает в своих записках под 1765 г., как за несколько лет до того к одному московскому дворянину нанялся француз учить его детей французскому языку. После оказалось, что этот француз был вовсе не француз, а чухонец, и обучил он детей дворянина не французскому, а чухонскому языку. Нечто подобное тому, что

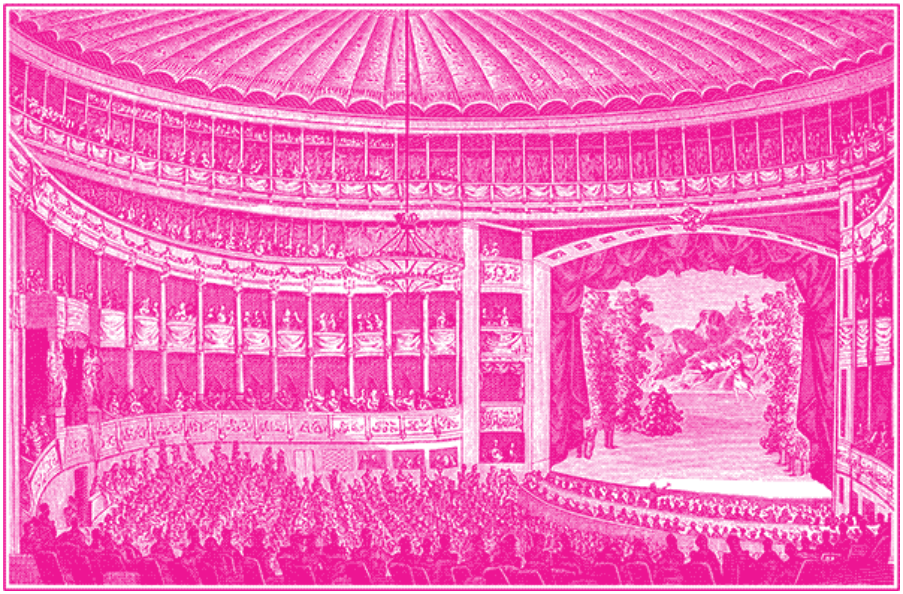
испытал здесь французский язык, случилось у нас и с французскою философией: многие наши вольтерианцы поступили с ней совсем по-чухонски, под фирмой ее идей выдавали свои собственные темниковские или судогодские измышления и недомыслия. Еще один ветхозаветный мыслитель сказал, что и мудрое слово в устах малоумного становится безумием. Направление русских умов, таким образом, воспринимавших просветительное влияние, становилось уже не усвоением европейской цивилизации, а болезненным расстройством национального смысла, не подготовленного к такому острому питанию. Привозные лекарства только растравляли старые туземные недуги, и приходилось лечить не только от болезней, но и от самого лечения.

Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь чувства и идеи, мало пригодные для частного, как и для общественного блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусие, слепое увлечение, и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первою турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации, русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и просвещения.

Моды в России в 1779 г.

В продолжение 5–6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и доморощенные, и завозные пороки русского общества. Сама императрица с несколькими обличительными комедиями вступила волонтером в это патриотическое литературное

ополчение под прозрачным вуалем всем знакомого неизвестного. Тогда двадцатипятилетним новобранцем выступил на литературно-издательском поприще и армейский поручик в отставке Н. И. Новиков, и его журналы «Трутень», «Живописец» и «Кошелек» по смелости и меткости своей сатиры стали решительно впереди всей фаланги сатирических изданий тех годов.



Вид зала Большого театра в екатерининское время

От журналов Новикова всего больнее досталось и зараженному французским влиянием модному русскому свету; «Кошелек» даже выступил специальным партизаном против этого влияния. В журналах Новикова встречаем едва ли не самые яркие изображения типических продуктов галломании, именно русской галломании, львов и львиц тогдашнего большого света, щеголей и щеголих или столь памятных петиметров и кокеток с их кукольною выделкой и невероятным нравственным одичанием, с ходульными каблучками, буклями в виде крылышек горлицы и до облаков взбитыми прическами, с разученно нежною вскидкой взглядов, с вечными разговорами о любви и с ненавистью к наукам, к книгам, кроме тех, в которых они находили, говоря их языком, «слог расстеганный и мысли прыгающие» и которые они «фелитировали без всякой дистракции». Что же вышло из этих благородных усилий русской сатиры? Есть основание опасаться, что она больше обогатила литературу, чем исправила нравы, научила добродетели только добродетельных.

В «Живописце» есть статья самого Новикова, передающая юмористическую беседу писателей в разных родах со своими

читателями. Между прочим, писателю комедий на его речи о нравственно-исправительном действии комедии читатель отвечает: «Знай, когда ты меня осмеиваешь, тогда я тебя пересмехаю». Нечто подобное, кажется, случилось и с русскою сатирой прошлого века. Даже более того: осмеиваемый шут, увидев свой карикатурный портрет на сцене или в сатирическом журнале, любовался им и хохотал не менее других зрителей.

Добрая половина столичного партера, аплодировавшего комедиям Фонвизина, состояла из подлинников или живых иллюстраций его художественных карикатур, по крайней мере, видела в них портреты своей близкой родни. Какою сатирой можно было донять фонвизинскую княгиню Халдину, которая любила одеваться при мужчинах? Она не находила ничего странного в том, что все ее дети уродились в друзей ее мужа, – ведь вмужниных же друзей, а не в каких-либо иных, поймите вы это, – и которая с гордостью добродетели говорила: «Мне стыдно чего-нибудь стыдиться»? Обличение бессильно против людей, которые, по выражению древнерусского летописца, *ни Бога ся боят, ни человека ся стыдят.* Удары негодующей сатиры безболезненно падали на наших великосветских щеголей и щеголих прошлого века, служа только возбудительным массажем для их износившихся в праздной суете или залежавшихся в сентиментальной апатии нервов. Более щекотливые надувались сердито, но не исправлялись. Что касается собственно вольнодумства как особого направления мыслей, сатирические журналы тех лет касались его лишь слегка, мимоходом, вероятно, потому, что оно не успело еще выделиться в такое направление из общего хаоса распущенных речей и мыслей. Впрочем, после, когда оно стало походить несколько на особое миросозерцание, обличение и на него не оказало заметного действия.

Зло, с которым боролась сатира, было ни слабостью, ни простым пороком, а нечто вроде порока сердца, т. е. болезнью, пороком просвещения, а болезни лечат, не осмеивают. Уж если злоупотреблять медицинским языком, эту болезнь можно назвать анемией общественного сознания и нравственного чувства, соединенной с неестественным отношением к окружающему. Общечеловеческая культура, приносимая иноземным влиянием, воспринималась так, что не просветляла, а потемняла понимание родной действительности: непонимание ее сменялось равнодушием к ней, продолжалось пренебрежением и завершалось ненавистью или презрением. Люди считали несчастьем быть русскими. Подобно Иванушке Фонвизина, утешались только мыслью, что хотя тела их родились вРоссии, но души принадлежали короне французской.

Такое направление умов в высшем обществе грозило немалыми опасностями. Еще вДревней Руси дворянство стало во главе русского общества как орган управления и землевладельческий класс. Петр Великий хотел упрочить и расширить это руководящее значение сословия, сделав его, по крайней мере, верхний слой его – дворянство столичное, еще и проводником западноевропейского просвещения в России. Но что бы это был за руководящий класс, который не понимает руководимого им общества и даже презирает его! Он сам себя осуждал на упразднение, и тогда русское общество очутилось бы в руках провинциальных Простаковых и Скотининых с их Митрофанами и Николашками, в 18 лет едва одолевавшими азбуку (в комедии Екатерины II «О время!»).

Болезнь была тем серьезнее, что происходила не от каприза или увлечения отдельных лиц, а от причин, которые коренились в исторически сложившемся положении всего класса. Иноземное влияние не встречало надлежащей подкладки в элементарном общем образовании, которое давало бы уменье воспринимать потребное, отбрасывая лишнее. Обязательная выучка дворянства совсем не давала такого образования, а модное гувернерское воспитание во многом было даже хуже простого невежества. Новая книга, попадавшая в руки взрослому просвещенному человеку, служила ему не дополнением, а заменой учебника. Новые идеи неслись поверх умов какими-то сухими туманами, застилая глаза и не освежая мысли, а только оставляя на ней сорный осадок в виде пустых фраз, дурных манер, непристойных выходок против общепринятого и т. п. Притом с освобождением от обязательной службы значительная часть дворянства поспешила избавиться от привычного, но надоевшего дела, для которого она училась, но не умела найти, да и не искала никакого нового общеполезного дела, стала праздной. Деловая цель образования исчезла из глаз, и книга стала только средством приятно наполнять пустоту праздного и бесцельного существования. Этим определились направление умов и вкусов, выбор чтения и идей, характер воспитания. Привычка учиться для службы не выработала в сословии внутренней потребности образования, а отсутствие сословного дела уничтожало и общественное побуждение к тому.

Наконец, тогдашний класс «просвещенных людей» составлял очень тонкий слой, который случайно взбитою пеной вертелся на поверхности общества, едва касаясь его. Отделенный от народной массы привилегиями, нравами, понятиями, предубеждениями, не освежаемый притоком новых сил снизу, он замирал в своих искусственных, призрачных интересах и никому не нужных

суетах. Не такими ли наблюдениями внушены были замечания одного иностранца (Макартнея), бывшего в России в начале царствования Екатерины II и писавшего, что русское дворянство самое необразованное в Европе? Русскому правительству труднее будет цивилизовать своих дворян, чем крестьян. Им лучше было бы не иметь никакого образования, чем иметь такое, какое им дается, потому что оно не может сделать их полезными для общества.

Правительство Екатерины II чувствовало эти недуги русского просвещения и принимало меры против них. Отсюда его настойчивая проповедь о необходимости воспитания, которое нравственно переродило бы общество, его усиленные заботы о закрытых воспитательных заведениях, о создании «третьего чина», или среднего сословия, которое стало бы, как в других странах Европы, носителем научного образования, питомником просвещения в России. И. И. Бецкий в своих докладах императрице указывал именно на отсутствие у нас восприимчивой среды, питательной почвы, к которой могло бы прикрепиться научное образование. Говорил, что люди, приобретавшие такое образование, скоро теряли его и возвращались в прежнее невежество по недостатку спроса и практики для их знаний.

Эти просветительные усилия правительства не были свободны от иллюзий и недоразумений. Спешили заводить закрытые воспитательные училища. А где же учителя и учебники, где книги для чтения, которые восполняли бы учебники и учительские уроки? Как, наконец, подготовить общество к приему перерожденных в новых училищах питомцев, чтоб они не тонули в темной массе и не возвращались в прежнее невежество?

Новиков прямо и смело пошел навстречу этим усилиям и недоразумениям. Неизвестно, как складывался его взгляд на свое дело. Новиков появился в литературном мире как-то вдруг, исподтишка, без заметной подготовки. Сын достаточного, но небогатого дворянина, 16-ти лет исключенный из дворянской гимназии при Московском университете «за леность», признававший себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков. После восьми лет службы в гвардии он вышел в отставку армейским поручиком. С 1769 г., когда ему было 25 лет, последовательно выступал с тремя лучшими в то время сатирическими журналами, привлек к себе обширный круг читателей, стал известным литератором и издателем. В то же время и после выпустил ряд ученых изданий по русской истории и литературе, из которых некоторые, особенно «Древняя российская вивлиофика», сборник разнообразных памятников по

русской истории, изданный при содействии Екатерины II, доселе не потеряли своей ученой цены. Из впечатлений и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, по-видимому, сложился ясный взгляд на то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 г. переехал в Москву, заарендовал на 10 лет университетскую типографию с книжною лавкой и принялся за дело.

ТРУТЕНЬ,
ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ
ИЗДАНІЕ,
на
1769 годъ,
мѢсяцъ май.
Они работаютъ, а вы ихъ трудъ ядите.
Г. Сумар. въ XLIII. притчѣ, I. книги.
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ.

Титульный лист журнала «Трутень», 1769 г.

В 1792 г., разбитый постигшею его бедой, Новиков на допросе произвел на враждебного ему следователя впечатление человека острого, догадливого, с характером смелым и дерзким. Бесспорно, Новиков был человек умный и решительный. Труднее было заметить в нем еще одну черту, это – энтузиазм сдержанный

и обдуманный. У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание. Это – служение отечеству и книга как средство служить отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какою-то верой в ее чудодейственную просветительную силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читателей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума.

На этой вере в могущество книги Новиков строил практично обдуманный план действий. Этот план был тесно связан со взглядом на недостатки и нужду русского просвещения, какой просвечивает в изданиях и во всей деятельности Новикова. Один из главных врагов этого просвещения – галломания, не само французское просвещение, а его отражение в массе русских просвещенных умов, то употребление, какое здесь из него делали. «Благородные невежды», как называл Новиков русских галломанов, сходились спростыми невеждами старорусского покроя в убеждении, что они достаточно все понимают и без науки, что, «и не учась грамоте, можно быть грамотеем». Значит, вольномыслие не от учения, а от невежества, и есть не более как легкомыслие. Всякий мыслящий человек, так писал Новиков в одном из своих журналов, чувствует сострадание, взирая на простодушных людей, которые беззащитно увлекаются надменными и остроумными мудрованиями, разрушающими основы человеческого общежития, или гнушаются всем отечественным, обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение должно быть основано на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европейского образования с национальною самобытностью. В составе воспитания Новиков не отставлял разума на задний план, не ронял цены научного образования, как это делали иногда литературные и даже должностные педагоги того времени. Неосторожно было набрасывать тень на разум в обществе, где и без того многие им тяготились, воздерживать от увлечения

науками, которыми и без того не занимались.

А.П. Сумароков

Когда Сумароков в речи при открытии Академии художеств восклицал: «Воссияли науки – и погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца», сколько госпож Простаковых готовы были аплодировать этим желанным словам, так легко и просто разрешавшим все их материнские муки со своими Митрофанами! Ведь Руссо у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук оправдывал нашу неохоту учиться. В «Живописце» Новиков насмешливо сопоставлял мудрость доморощенных философов донаучной чистоты с учением Руссо, говоря им: «Он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны». Новикову принадлежит честь одного из первых, кто заговорил у нас о разграничении заимствуемого и самобытного, о черте, за которую не должно переступать иноземное влияние.

В «Кошельке» 1774 г. восстает против мнения, что русские должны заимствовать у иноземцев все, даже характер, который у всякого народа свой особый. Не одной же России отказано, в нем и суждено скитаться по всем странам, побираясь обычаями у разных народов, чтоб из этой сборной культурной милостыни

составить характер, никакому народу не свойственный, а идущий к лицу только обезьянам.

Где же было найти у нас опору истинному просвещению? Такою опорой не мог быть большой свет ничему не хотевших учиться вольтерианцев и модных петиметров: здесь надобно было предоставить мертвым хоронить своих мертвецов. Екатерина с Бецким задумывали отнять у всего дворянства принадлежавшее ему с Петра значение хранителя и проводника европейского научного образования и передать это значение особому «среднему сословию», подобному французской буржуазии, сделав его специальным питомником наук и художеств. Но такого сословия не существовало в России, его еще надобно было созидать. Это была радикальная мера, хлопотливая и несколько самонадеянная. В ней сказался философский XVIII век, любивший кроить общество по своим идеям. Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись наличными средствами, не ломая общества: ведь легче издавать полезные книги для читателей из готовых сословий, чем создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было, а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотного люда разных сословий создать читающую публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для успехов просвещения. Он сам на себе испытал ее значение для литературы: его «Живописец» выдержал в прошлом веке пять изданий.

Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещан, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям, по незнанию ими чужестранных языков, нравятся. Всамом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были «Синопсис», учебник русской истории, «Совершенное воспитание детей» и тому подобные книги, не пользовавшиеся никаким уважением просвещенных людей большого света.

«Имей душу, имей сердце», – проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь при бездушной школьной выучке и бессердечном вертопрашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно еще сотворить и научить, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения есть своя черновая часть. Сколько нужно понести пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения, выходя на свою ниву,

находит много готовых вспомогательных средств для своего дела. Не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить одовольно налаженном типографском и книгопродавческом деле.

Правда, в книжном деле у нас и теперь бывают прискорбные недоразумения. Так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом вжмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжные лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тыс. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за спросом читателей простонародных романов и повестей вроде «Бовы Королевича» или «Еруслана Лазаревича», и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской саже истать за пыльным прилавком книжной лавки.

В обществе, где, по сознанию самого новиковского «Живописца», даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патриотическое призвание. У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могущество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это уменье собирать раздробленные силы в большое дружное дело.

Московский кружок Новикова – явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составился именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно, в припадке капризного раздражения, писал, что там все

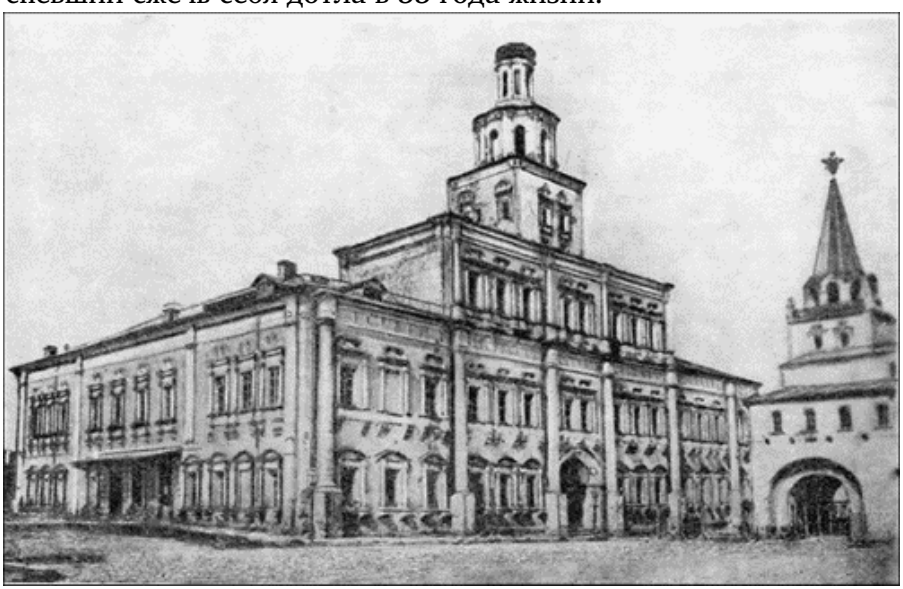
улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее.

В обществе, где встречались носители всех перебывавших в России миросозерцаний от «Голубиной книги»[7] до «Системы природы» Гольбаха.[8] Так на одном и том же пиру за менуэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все – самого теплого воспоминания.

Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И. В. Лопухина.[9] Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся врусском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким идаже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечавшим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню – не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; с детства он привык любоваться удовольствием, какое поставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; во время его судейской службы в Уголовной палате, совестном суде и Сенате сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье, – не добродетель, а случайность, каприз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара.

Мы, если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем

его, когда видим, что оно, если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь барином и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбранил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего. А по другую сторону Новикова надобно поставить И. Г. Шварца,[10] по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неугомонный энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя дотла в 33 года жизни.



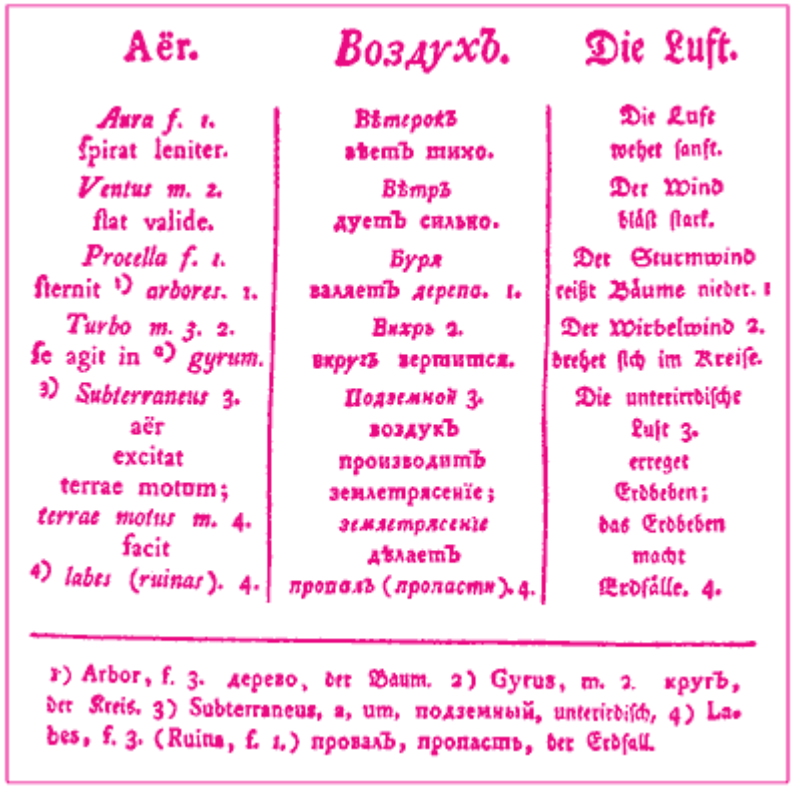
Первое здание Московского университета (ныне не существующее).

Рисунок XIX в.

Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России. Будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о

гармонии наук в изучении таинств природы, связи духа и материи, союзе между Богом и человеком, стремлении к свету и добру, познанию божества и внутреннего человека.

А для изображения С. И. Гамалеи,[11] правителя Канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримиримо – это со своим собственным, его пороками и страстями, и какими страстями! – с нюханьем табаку, например, и т. п. Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и с своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 руб. и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с богом на волю. Но он не мог простить себе ежегодной траты 15 руб. на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали «Божьим человеком»!



Aër.	Воздухъ.	Die Luft.
Aura f. 1.	Вѣтерокъ	Die Luft
ſpirat leniter.	вѣетъ тихо.	wehet ſanft.
Ventus m. 2.	Вѣтръ	Der Wind
flat valide.	дуетъ сильно.	bläſt ſtark.
Procella f. 1.	Буря	Der Sturmwind
ſternit 1) *arbores.* 1.	валяетъ *дерева.* 1.	reißt Bäume nieder. 1
Turbo m. 3. 2.	Вихрь 2.	Der Wirbelwind 2.
ſe agit in 2) *gyrum.*	вкругъ вертится.	drehet ſich im Kreiſe.
3) *Subterraneus* 3.	*Подземной* 3.	Die unterirrdiſche
aër	воздухъ	Luft 3.
excitat	производитъ	erreget
terrae motum;	землетрясеніе;	Erdbeben;
terrae motus m. 4.	*землетрясеніе*	das Erdbeben
facit	дѣлаетъ	macht
4) *labes (ruinas).* 4.	*провалъ (пропасти).* 4.	Erdfälle. 4.

1) Arbor, f. 3. дерево, der Baum. 2) Gyrus, m. 2. кругъ, der Kreis. 3) Subterraneus, a, um, подземный, unterirrdiſch, 4) Labes, f. 3. (Ruina, f. 1.) провалъ, пропасть, der Erdfall.

Страница из учебника для начальных школ второй половины XVIII века

И другие члены кружка были проникнуты тем же новиковским или лопухинским духом; это были лучшие, образованнейшие люди московского общества: князья Трубецкие и Черкасский, И. П. Тургенев[12] и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова[13] и нескольких профессоров. Среди этого товарищества просвещения и благотворительности радушною хозяйкой на Покровке и в подмосковном Очакове, самоотверженною пособницей и ободрительницей вкаждом деле и затруднении кружка являлась царившая в нем энергичная княгиня Варвара Александровна Трубецкая, урожденная княжна Черкасская. Одна из прекраснейших русских женщин прошлого века, у которой ни дух времени, ни светское образование, ни таланты и влияние на окружающих не ослабили силы и непосредственности христианского чувства. Надобно думать, что дух и состав кружка сообщали ему большую притягательную силу, если ревностным сподвижником его стал богач, скучавший жизнью от пресыщения ее благами, сын бывшего недоброй памяти петербургского генерал-полицмейстера, П. А. Татищев,

своим значительным вкладом давший возможность осуществить заветную мечту Щварца об основании просветительного общества. Другой богач, сын верхотурского ямщика и уральского горнозаводчика, Г. М. Походяшин, тронутый речью Новикова о помощи нуждающимся в голодный 1787 год, раскроил свое огромное состояние щедрыми пожертвованиями на дела просвещения и благотворения. Умирая в бедности, он услаждал свои последние минуты тем, что с умилением смотрел на портрет Новикова как своего благодетеля, указавшего ему истинный путь жизни.

Эта нравственная сила многим членам кружка далась не даром. Когда мы читаем признание Новикова, что он мучился сомнениями, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, и не имел краеугольного камня, на котором мог бы основать свое душевное спокойствие, когда И. В. Лопухин рассказывает в своих записках, как он, быв усердным читателем Вольтера и Руссо и задумав распространять в рукописях свой перевод из восхитившей его «Системы природы» Гольбаха, вдруг охвачен был чувством неописанного раскаяния, не мог заснуть прежде, нежели сжег приготовленную к пропаганде красивую тетрадку вместе с черновой, и успокоился вполне только тогда, когда написал «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями».

Когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образованного русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется переживать впоследствии. Это раздумье, естественно, рождалось из самого положения русского образованного человека. Запоздалый работник в культурной мастерской, принужденный учиться у тех, кого должен был догонять, он уже в продолжение двух-трех поколений привык обращаться к западноевропейской мысли за советом, к общественному порядку, в котором эта мысль вырабатывалась, за опытами и уроками.

Но западноевропейский разум, вырабатывавший и эту мысль, и этот порядок, в прошлом веке потянуло в противоположные стороны. Фонвизин резкими чертами изобразил это раздвоение, когда писал из Франции в 1777 г., что там, при невероятном множестве способов к просвещению, весьма нередко глубокое невежество с ужасным суеверием. Одни воспитываются духовенством в сильном отвращении к здравому рассудку, адругие заражаются новою философией, так что встречаются почти только крайности – или рабство, или нахальство разума. В борьбе, возникшей из этого раздвоения, европейская мысль,

постепенно разгораясь и разгорячаясь, приняла отрицательное направление, из светоча превратилась в зажигательный факел и решительно пошла против служившего ей очагом общественного порядка.

Тогда русский образованный человек, если он притом был еще и человек мыслящий, почувствовал себя в неловком положении: служивший ему образцом строй понятий, чувств, общественных отношений был осужден как неразумный. Здание отечественной гражданственности, над которым он призван был трудиться, нельзя стало продолжать ни по старым образцам, ни по новым идеалам. В ожидании огромного крушения, не надеясь ничего найти на Западе для этой постройки, кроме раскаленной лавы да гнилых развалин, он вынужден был искать доморощенных средств. Но, видя вокруг себя умы, больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями, люди новиковского направления решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек, пока не касаясь его оснований, должен обратиться к самому себе.

Сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и нравственном усовершенствовании, чтоб этой дробною мозаическою работой приготовить живой годный материал для будущего общества. Так понимал этих людей хорошо знакомый сними Карамзин: он называл их христианскими мистиками, пренебрегавшими школьною мудростью, но требовавшими от своих учеников истинных добродетелей и не вмешивавшимися в политику. Та же мысль о необходимости и достаточности личного усовершенствования для подъема общественного порядка высказывалась и в любимых книгах этих людей, и в их собственных признаниях.

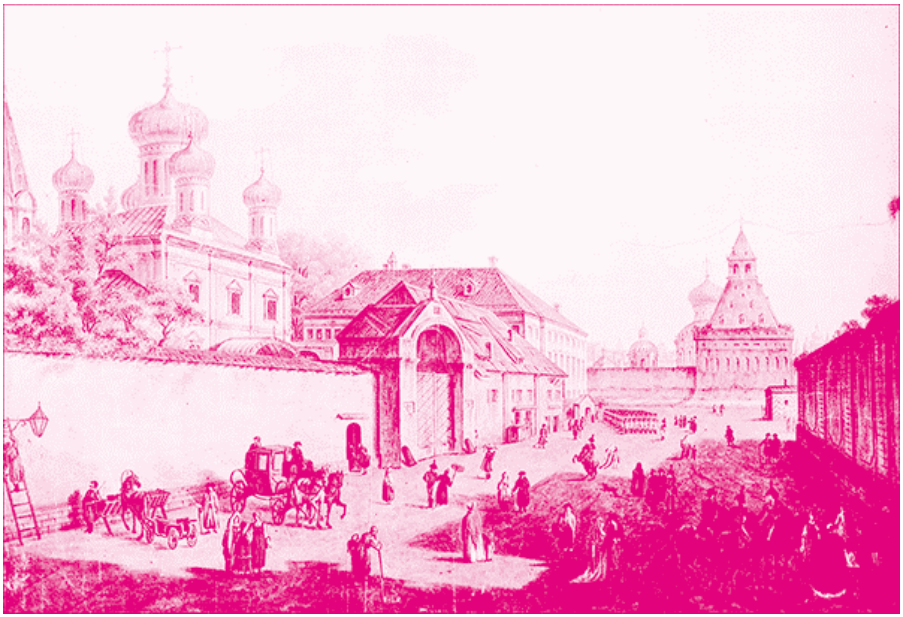
«В школах и на кафедрах твердят: люби Бога, люби ближнего, но не воспитывают той натуры, коей любовь сия свойственна», – это говорит И. В. Лопухин в своих записках, настаивая на необходимости для человека морально переродиться, чтобы сродниться севангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди считали возможным достигнуть такого перерождения и чего от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста Иоанна Масона о самопознании, переведенной членом кружка И. П. Тургеневым и кружку же посвященной.[14] Эта книга учит, что чем лучше мы себя познаем, тем с большею пользой занимаем то место в жизни человеческой, на какое мы поставлены провидением. Успехи в науке познания самого себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих. Могут сказать, что в таком взгляде много

оптимистического самообольщения, что нравственный уровень обществ так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука.

Я и не вхожу в разбор этого взгляда, а хочу только отметить момент, когда, по моему мнению, образованный русский человек впервые почувствовал затруднительность своего культурного положения и как он пытался выйти из этого затруднения. Опять скажут: люди новиковского кружка нашли такой выход, потому что были масоны, мартинисты, и их христианские добродетели сильно омрачены этою сектантскою тенью.

Можно сказать и так, можно и наоборот. Они потому стали и масонами, что нашли такой выход из своего затруднения, больше масонствовали, чем были масонами. Они – воспользуемся их же фигурным языком – вступили в состав «малого избранного народа» вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломонова, т. е. для будущего идеального русского общества. Что же касается их добродетелей, то я не берусь судить, насколько нравственная доблесть Гамалеи тускнела оттого, что он прикрывал ее от недоброжелательных людских глаз театральным рубищем какого-то масонства. Но когда я припоминаю, как отозвался о Новикове архиепископ Московский Платон, испытавший его в законе Божием по распоряжению императрицы и заявивший, что он молит Бога, чтобы не только в его пастве, но и во всем мире были такие христиане, каков Новиков, – у меня не хватает решимости искать пятен на христианстве этого мистика: ведь я не сумею быть православнее православного русского иерарха.

Вспоминая о Новикове и его сотрудниках, я хотел напомнить характер светского образования в России их времени, их взгляды на недостатки и нужды этого образования и на свойства истинного просвещения, их цели, планы и нравственные средства. Но мне едва ли необходимо подробно говорить о том, как они проводили свои взгляды, какие материальные средства вводили в свое дело, какие встретили препятствия и чего добились: все это, кажется, достаточно известно, и я могу ограничиться наиболее крупными чертами, не входя в подробности.



Ф. Алексеев. **Типография Н. И. Новикова на Лубянской площади.** *1800 г.*

План действий, как он обнаружился в предприятиях кружка и по частям был высказан в записках Лопухина и изданиях Новикова, можно изложить в таких чертах. Для успеха правительственных попечений о народном просвещении необходимо содействие частных лиц, соединяющих свои силы и средства с целью споспешествовать воспитанию юношества в полезных обществу науках; издавать книги, утверждающие корень чистой нравственности и добродетели. Для этого такие общества частных людей на свои средства, во-первых, устроят пробные или образцовые учебно-воспитательные заведения, во-вторых, подготовляют надежных учителей и воспитателей при помощи университета и, в-третьих, разборчивым изданием книг и журналов создают самобытную, дельную печать для обширного круга читателей. Такими способами можно вывести русское просвещение из тесного круга оторванных от народа «просвещенных людей» модно воспитанного высшего дворянства в широкий мир «простосердечных мещан», простого грамотного люда, и обдуманным сочетанием общечеловеческих и национально-исторических элементов дать этому просвещению самобытный склад, который изменит дух общества, господствующее направление умов. Что было осуществлено из этого плана, который сам по себе есть уже немалая заслуга русскому просвещению?

Арендуя у Московского университета типографию и книжную

лавку, Новиков имел ввиду, прежде всего, потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легко доступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, во-вторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в три года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных. В числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 г., менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т. п.

МОСКОВСКОЙ
ЖУРНАЛЪ.

J'ai toujours senti que l'état d'auteur n'était, ne pouvait être illustre & respectable qu'autant qu'il n'était pas un métier.
Ж. Ж. Руссо.

Часть VI.

МОСКВА,
Въ Университетской Типографіи.
у В Окорокова.
1792 года.

МОСКОВСКОЙ ЖУРНАЛЪ.
Часть шестая. Книжка третія.
Мѣсяцъ Іюнь.

I.
СИЗОЙ ГОЛУБОЧИКЪ.
Пѣсня.

Стонетъ сизой голубочикъ,
Стонетъ онъ и день и ночь;
Его милепькой дружочикъ
Отлетѣлъ далеко прочь.

Онъ ухъ болѣ не воркуетъ
И пшенички не клюетъ;
Все тоскуетъ, все тоскуетъ
И тихонько слезы льетъ.

Съ нѣжной вѣтки на другую
Перепархиваетъ онъ,
И подружку дорогую
Ждетъ къ себѣ со всѣхъ сторонъ

Часть. VI. П Ждетъ

Титульный лист и начальная страница из «Московского журнала»

Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей, по мысли Шварца *Дружеском ученом обществе*, которое при торжественном открытии своем в1782 г. объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг

по школам. Указ 1783 г. о вольных типографиях дал возможность обществу завести две собственные типографии на имя своих членов – Новикова и Лопухина. Потом, в 1784 г., завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на паях под фирмой *Типографской компании*, со складочным капиталом в 57 500 руб. (более 150 тыс. руб. на наши деньги) и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тыс. руб. по продажной цене.

При таких средствах Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова уВоскресенских ворот по спросу ее товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого Моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тыс. руб. при Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 руб. Ежегодный доход *Типографской компании*, по показанию Новикова, простирался свыше 40 тыс. руб., доходя в иные годы до 80 тыс. руб. О размерах предприятия можно судить по тому, что, после закрытия компании в 1791 г., когда все дело ее было разрушено, несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось еще по каталожной цене без малого на 700 тыс. руб. (более1 1/2 млн на наши деньги), не считая 25 тыс. экземпляров книг, сожженных или переданных в Духовную академию и университет.

Трудно сметить даже на глаз, какие успехи достигнуты были такими усилиями. Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела, новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Если частный случай что-нибудь доказывает, я приведу библиографическую подробность из своего детства: в деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы – «Иосиф Битобэ» и «Потерянный рай» Мильтона[15] и вместе с альманахом Карамзина «Аглаей» были в числе первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтение ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков «Московских Ведомостей», издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемеро (с 600 до 4 тыс.). При них выходили прибавления разнообразного

содержания: по литературе, сельскому хозяйству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения.

Не упоминаю о других московских периодических изданиях Новикова. Он был не только типографщиком и книгопродавцем, но и издателем, выбирал, что нужно печатать, заказывал работы переводчикам и сочинителям, небывалым гонораром оживил переводную и оригинальную письменность, отдавая предпочтение произведениям научным и духовно-нравственным. Этим он внес в текущую литературу того времени новую струю, шедшую против господствовавшего направления умов и литературных вкусов тогдашнего светского общества. Книжная лавка Новикова, откуда шла эта струя, получила своеобразный вид, и в ней бывали характерные сцены: приходил покупатель, рылся вкнижных новостях, разложенных на прилавке, находил все издания духовно-нравственного содержания, которых не хотел покупать, спрашивал, почему нет романов; Новиков отвечал, что переводчики что-то перестали носить ему такие сочинения, и, набрав связку книг, какие были на прилавке, просил покупателя принять их от него в дар. После сам Новиков показывал следователю об усилении спроса на духовные книги, а один из учеников Новикова писал, что целое море душеспасительных книг было им пущено против потока вольнодумческих сочинений.

В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику. Сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество – общественное мнение. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому *новиковскому десятилетию* (1779–1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же – сеятелем просвещения.

Это новиковское десятилетие – одна из лучших эпох и в истории Московского университета. В тот год, когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел докончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты, были обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела

еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни. Иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском факультете, оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все науки своего факультета.

Студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр. Люди хорошего общества еще побаивались пускать в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала. У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала «Утренний Свет». Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспитательной части стал, разумеется, Шварц. Приготовление учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения.

Став профессором в 1779 г. и по поручению университета составляя учебники и проекты улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тыс. руб. своих кровных сбережений и в конце того же года открыл при университете *учительскую семинарию*, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее «Дружеского ученого общества», которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы приготовлять их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через 3 года той семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых Общество давало по 100 руб. на человека, купив притом дом для их помещения; в числе их находились два будущие с. – петербургские митрополита: Михаил и Серафим.

Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток, «Дружеское общество», по мысли Шварца, в 1782 г. учредило при университете другую семинарию, переводческую, или филологическую, в которую приняло 16 студентов. Из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства уже известного нам Татищева, остальные – на счет других членов кружка. Лучших своих питомцев «Дружеское общество» посылало для довершения образования за границу.

Заботы Общества распространялись на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий Общества. Студенты, преимущественно питомцы Общества, были сотрудниками и даже руководителями периодических изданий Новикова – «Вечерней Зари» 1782 г. и «Покоящегося Трудолюбца» 1784 г. Неугомонный педагог Общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа.

Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике он читал еще усебя на дому приватный курс о видах познания и особый курс «философской истории» для семинаристов Общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели «всякого рода и звания», по выражению одного из них. Эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству.

В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов устроенное Шварцем *Собрание университетских питомцев*. Это было если не первое, то, наверное, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи. Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнение в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительною целью.

Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервозно. Молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и это разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорировавших, чем освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок – они разгорятся. Среди студентов стали зарождаться нравственная товарищеская солидарность, наклонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины. Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы «Дружеского общества», как трудно уследить, куда попадали книги, которые оно рассеивало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т. е. ректора) и пять профессоров.

Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась

с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало университету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет, со своей стороны, немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их. Кажется, университет не остался вдолгу перед Обществом. Да и зачем им сводить счеты между собою? Ведь они оба будут тем богаче, чем больше задолжают друг другу.

Наиболее распространенная марка типографии Н. И. Новикова

М.М. Сперанский

Граф М. М. Сперанский.
Литография с портрета Дж. Доу

Преобразовательный план. Я передам лишь главные черты его жизни до того времени, когда он стал близок к императору. Сперанский вышел из общественной среды, которой не знали прежние государственные дельцы. Сперанский родился в 1772 г. и был сын сельского священника села Черкутина Владимирской губернии. Первоначальное воспитание он получил в Суздальской духовной семинарии и довершил свое образование в Петербургской главной семинарии, которая при Павле была

преобразована в Духовную академию. Отлично кончив здесь курс, он остался преподавателем академии; преподавал сначала свой любимый предмет – математику, потом красноречие, философию, французский язык и т. д. Все эти разнообразные предметы Сперанский преподавал с большим успехом. Жажда знания заставила его перейти на гражданскую службу. Он думал ехать за границу и довершить свое образование в немецких университетах. Рекомендованный в домашние секретари князю Куракину, Сперанский при его протекции поступил в канцелярию генерал-прокурора, которым тогда и стал этот вельможа. Так в 1797 г. 25-летний магистр богословия преобразился в титулярного советника.

Сперанский принес в русскую неопрятную канцелярию XVIII в. необыкновенно выправленный ум, способный бесконечно работать (48 часов в сутки), и отличное умение говорить и писать. По всему этому, разумеется, он был настоящей находкой для канцелярского мира. Этим подготовилась его необыкновенно быстрая служебная карьера.

Уже при Павле он получил известность в петербургском чиновном мире. По воцарении Александра он был переведен в новообразованный Непременный совет, где в звании статс-секретаря ему поручено было управлять Экспедицией гражданских и духовных дел. Когда были образованы министерства, министр внутренних дел граф Кочубей перезвал его в свою канцелярию с оставлением в прежней должности статс-секретаря при Государственном совете. Все важнейшие проекты законов, изданных с 1802 г., были редактированы Сперанским как управляющим департаментом Министерства внутренних дел. С 1806 г., когда первые сотрудники императора удалялись от него один за другим, Сперанский, за болезнью Кочубея, раз послан был с докладом к императору. Александр, уже знавший ловкого и расторопного статс-секретаря, был изумлен искусством, с каким был составлен и прочитан доклад. С тех пор они сблизились.

Отправляясь на свидание с Наполеоном в Эрфурт (1808), император взял с собой Сперанского для докладов по гражданским делам. В Эрфурте Сперанский, отлично владевший французским языком, сблизился с представителями французской администрации, присмотрелся к ним и многому от них научился. Раз на балу, говорят, император спросил Сперанского, как ему нравятся чужие края в сравнении с отечеством. «Мне кажется, – отвечал Сперанский, – здесь установления, а у нас люди лучше». – «Воротившись домой, – заметил император, – мы с тобой много об этом говорить будем». По возвращении в Россию Сперанский назначен был товарищем министра юстиции и вместе с

императором начал работать над общим планом государственных реформ. Этот план отличается особенностями, которые имеют тесную связь с характером и складом ума его составителя. Впечатлительного, более восприимчивого, чем деятельного, Александра подкупило обаяние этого блестящего ума, твердого, как лед, но и холодного, как лед же.

Сперанский был лучшим, даровитым представителем старого, духовно-академического образования. По характеру этого образования он был идеолог, как тогда говорили, или теоретик, как назвали бы его в настоящее время. Ум его вырос в упорной работе над отвлеченными понятиями и привык с пренебрежением относиться к простым житейским явлениям, или, говоря философским жаргоном, к конкретным, эмпирическим фактам жизни. Философия XVIII в., как известно, породила много таких умов; русская Духовная академия всегда изготовляла их достаточно. Это был Вольтер в православно-богословской оболочке. Но Сперанский имел не только философский, но еще и необыкновенно крепкий ум, каких всегда бывает мало, а в тот философский век было меньше, чем когда-либо. Упорная работа над отвлеченностями сообщила необыкновенную энергию и гибкость мышлению Сперанского; ему легко давались самые трудные и причудливые комбинации идей.

Благодаря такому мышлению Сперанский стал воплощенной системой, но именно это усиленное развитие отвлеченного мышления составляло важный недостаток в его практической деятельности. Продолжительным и упорным трудом Сперанский заготовил себе обширный запас разнообразных знаний и идей. В этом запасе было много роскоши, удовлетворявшей изысканным требованиям умственного комфорта. Было, может быть, даже много лишнего и слишком мало того, что было нужно для низменных нужд человека, понимания действительности (у него больше политических схем, чем идей); в этом он походил на Александра, и на этом они сошлись друг с другом. Но Сперанский отличался от государя тем, что у первого вся умственная роскошь была прибрана и стройно расставлена по местам, как дорогие безделки в уборной опрятной светской женщины. Со времен Ордин-Нащокина у русского престола не становился другой такой сильный ум; после Сперанского, не знаю, появится ли третий. Это была воплощенная система.

Ворвавшись со своими крепкими неизрасходованными мозговыми нервами в петербургское общество, уставшее от делового безделья, Сперанский взволновал и встревожил его, как струя свежего воздуха, пробравшаяся в закупоренную комнату хворого человека, пропитанную благовонными миазмами. Но в

русский государственный порядок он не внес такого движения, как в окружавшую его петербургскую правительственную среду. Тому причиной был самый склад его ума. Это был один из тех сильных, но заработавшихся умов, которые, без устали все анализируя и абстрагируя, кончают тем, что перестают понимать конкретное. Сперанский и доработался было до этого несчастия. Он был способен к удивительно правильным политическим построениям, но ему туго давалось тогда понимание действительности, т. е. истории.

Приступив к составлению общего плана государственных реформ, он взглянул на наше отечество, как на большую грифельную доску, на которой можно чертить какие угодно математически правильные государственные построения. Он и начертал такой план, отличающийся удивительной стройностью, последовательностью в проведении принятых начал. Но когда пришлось осуществлять этот план, ни государь, ни министр никак не могли подогнать его к уровню действительных потребностей и наличных средств России. Нет надобности подробно излагать этот неосуществившийся план. По словам Сперанского, «весь разум его плана состоял в том, чтобы посредством законов учредить власть правительства на началах постоянных и тем сообщить действию этой власти более достоинства и истинной силы».

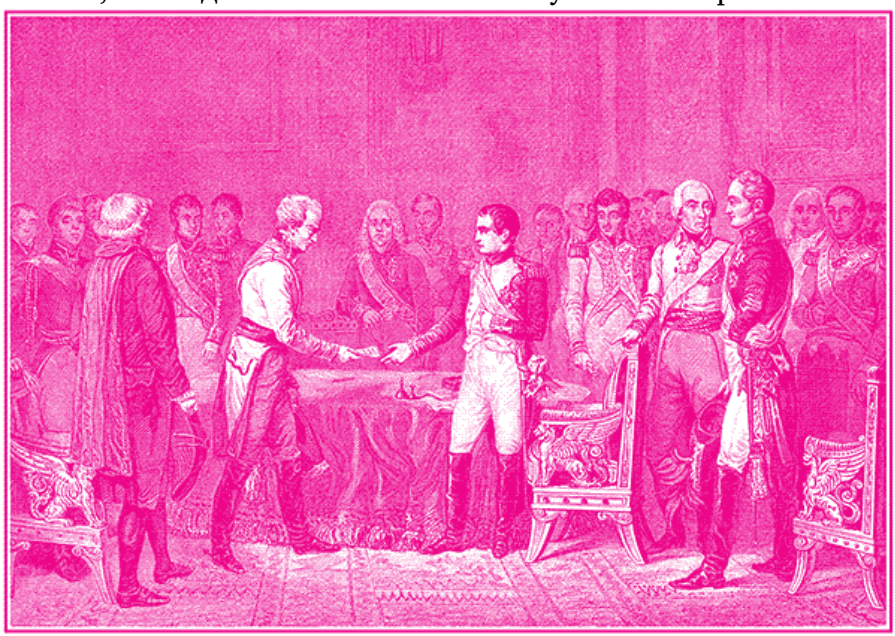
Сперанский заплатил в своем плане щедрую дань политическим идеям XVIII в. о воле народа как истинном источнике власти и т. п. План его излагал основания уравнения русских сословий пред законом и новое устройство управления. Крестьяне получали свободу без земли, управление составлялось из тройного рода учреждений – законодательных, исполнительных и судебных. Все эти учреждения сверху донизу, с сельской волости до вершины управления, имели земский выборный характер. Во главе этого здания стояли три учреждения: законодательное – Государственная дума, состоящая из депутатов всех сословий; исполнительное – министерства, ответственные перед Думой; и судебное – Сенат.

Деятельность этих трех высших учреждений объединялась Государственным советом, состоящим из представителей аристократии, устроенной наподобие английской. Эта аристократия – блюстительница законов по всем отраслям управления и охранительница интересов народа. Вот этот изумительно смелый план, насколько он нам известен. План составлялся с необычайной быстротой: он начат был в конце 1808 г. и начале октября 1809 г. уже лежал на столе императора вполне готовый. Едва ли нужно прибавлять, что этот план не мог

быть осуществлен в полном объеме, ибо нисколько не был рассчитан на наличные политические средства страны. Это была политическая мечта, разом озарившая два лучших ума в России: один светлый, но презиравший действительность, другой теплый, но не понимающий ее. Впрочем, кое-что из этого плана было осуществлено, и я сейчас укажу на эти осуществленные его отрывки.

Устройство центрального управления по плану Сперанского. Осуществленные части преобразовательного плана Сперанского все относятся к центральному управлению, и осуществление их сообщило последнему более стройный вид. Это был второй, более решительный приступ к устройству нового государственного порядка. Приступу этому предпосланы были две частные меры, имевшие внутреннюю связь с готовившимися реформами; они давали последнему дух и направление этой реформы, указывая, какие дельцы требуются для новых правительственных учреждений.

3 апреля 1809 г. издан был указ о придворных званиях. Звания камергера и камер-юнкера не соединялись с определенными и постоянными должностными обязанностями, однако давали важные преимущества. Указом представлялось всем, носившим это звание, но не состоявшим в какой-нибудь службе, военной или гражданской, в двухмесячный срок поступить на такую службу, заявив, по какому ведомству они желают служить; самое звание обращается впредь в простое отличие, не соединенное ни с какими служебными правами.



Эрфуртский конгресс 1808 года (генерал Витсен вручает Наполеону письмо австрийского императора).

С гравюры Монье, сделанной с картины Госса

Указ 6 августа того же года установил порядок производства в гражданские чины коллежского асессора (8-й класс) и статского советника (5-й класс). Эти чины, которыми в значительной степени обусловливалось назначение на должности, приобретались не только заслугой, но и простой выслугой, т. е. установленным сроком службы. Новый указ запретил производить в эти чины служащих, которые не имели свидетельства об окончании курса в одном из русских университетов или не выдержали в университете экзамена по установленной программе, которая и была приложена к указу. По этой программе от желавшего получить чин коллежского асессора или статского советника требовалось знание русского языка и одного из иностранных, знание прав естественного, римского и гражданского, государственной экономии и уголовных законов, основательное знакомство с отечественной историей и элементарные сведения в истории всеобщей, статистике Русского государства, географии, математике и физике.

Оба указа произвели тем больший переполох в придворном обществе и чиновной среде, что были изданы совершенно неожиданно. Они были выработаны и составлены Сперанским тайно от высших правительственных сфер. Указы ясно и твердо выражали требования, каким должны удовлетворять служащие в правительственных учреждениях. Закон требовал исполнителей, «опытом и постепенным прохождением службы приуготовленных, минутными побуждениями не развлекаемых». По выражению указа 3 апреля, – «исполнителей сведущих, обладающих твердым и отечественным образованием», т. е. воспитанных в национальном духе, возвышающихся не выслугой лет, а «действительными заслугами и отличными познаниями», как гласит указ 6 августа.

А. Максимов. **Невский проспект в конце XVIII в.**

Действительно, требовались новые дельцы, чтобы действовать в духе тех начал, какие старались провести в правительственных учреждениях, открытых с 1810 г. Эти учреждения назывались скромным именем «новых образований прежних учреждений», возникших в первые годы царствования. Однако начала и формы, внесенные в управление этими «новыми образованиями», были так новы для России, что преобразование сообщило правительственным местам характер новых учреждений. 1 января 1810 г. открыт был преобразованный Государственный совет.

Это учреждение в основаниях своих действует доселе по плану Сперанского, настолько своеобразному, что он заслуживает внимания даже в коротком обзоре царствования. Значение его в системе управления выражено в манифесте 1 января определением, что в нем «все части управления в их главном отношении к законодательству сообразуются и чрез него восходят к верховной власти». Это значит, что Государственный совет обсуждает все подробности государственного устройства, насколько они требуют новых законов, и свои соображения представляет на усмотрение верховной власти.

Итак, Государственный совет – не законодательная власть, а только ее орудие, и притом единственное, которое собирает законодательные вопросы по всем частям управления, обсуждает

их и свои заключения возносит на усмотрение верховной власти. Таким образом, устанавливается твердый порядок законодательства. В этом смысле и определяет значение Совета Сперанский в ответе государю о деятельности учреждения за 1810 г., говоря, что Совет «учрежден для того, чтобы власти законодательной, дотоле рассеянной и разбросанной, дать новое начертание постоянства и единообразия». Такое начертание, сообщенное законодательству, тремя обозначенными в законе чертами характеризует новое учреждение: 1) Совет рассматривает новые законы по всем отраслям управления; 2) он один их рассматривает и 3) ни один закон, им рассмотренный, не передается к исполнению без утверждения верховной власти.

Этими чертами указывается двоякое значение Совета – законодательное и объединительное. Он, во-первых, обсуждает возбуждаемые по всем отраслям управления законодательные вопросы; во-вторых, утвержденными верховной властью решениями он объединяет деятельность всех этих отраслей, сообщая им одинаковое направление. Но тому и другому значению поставлены были известные пределы. В законодательных актах следует различать два элемента – законодательную норму, устанавливающую известные отношения в государстве, и законодательный авторитет, сообщающий этим нормам силу закона. Авторитет принадлежит верховной власти, выработка нормы есть дело Совета. Но, не разделяя законодательного авторитета, Совет, так сказать, соприкасается с ним; таким соприкосновением служат мнения Совета – большинства и меньшинства, как и отдельных членов, представляемые на рассмотрение верховной власти. Высказанные разногласия вместе с заключениями, т. е. проектами законов, и принимаются верховной властью во внимание при окончательном решении дела. Потому Совет нельзя назвать простой машиной для изготовления законопроектов в заранее предназначенном смысле: он разрешает законодательные вопросы не по указанной программе, а по собственному разуму «пользуется всею свободою мнений», по выражению закона. Но, с другой стороны, его нельзя назвать законодательным учреждением в смысле западных законодательных собраний. Когда декрет, принятый законодательным представительным собранием, отвергается короной, государство остается без закона до нового возбуждения законодательного вопроса. В России верховная власть, признавши решение Совета неудобным, может предписать ему рассмотреть дело вновь и выработать новое решение, не подсказывая его, а обращая внимание Совета на упущенные им обстоятельства дела. На Западе закон есть политическая сделка двух властей – короны

и законодательного собрания; у нас он есть воля одной верховной власти, но обыкновенно внушаемая Советом, что и выражается в самой формуле высочайше утверждаемых мнений Государственного совета: «внявши мнению Совета», «быть по сему». Но западный порядок законодательства основан на мысли о равенстве двух властей, на желании не дать одной из них перевес над другой; у нас в основании этого порядка положена мысль о средствах и условиях для наиболее правильной и осмотрительной выработки новых законодательных норм. Точно так же и значение Совета, законодательное и объединительное, и руководство всеми частями управления выражается не в надзоре за подробностями управления и исполнением законов, что есть дело Сената, а в соображении общих условий, обеспечивающих правильное исполнение законов. Потому Государственному совету принадлежит разъяснение истинного смысла законов, принятие общих мер к их успешному действию, распределение государственных доходов и расходов, наконец, рассмотрение отчетов всех министерств по управлению вверенными им частями. Все эти особенности делают организацию Государственного совета довольно своеобразным явлением в государственном праве.

Такому значению Совета соответствует и данное ему устройство. В Совете председательствовал сам государь, назначавший и членов Совета, числом которых положено было 35. Совет состоял из общего собрания и четырех департаментов – законодательного, дел военных, дел гражданских, духовных и государственной экономии. Для ведения делопроизводства Совета при нем была учреждена государственная канцелярия с особым отделением для каждого департамента. Дела каждого отдельного управления статс-секретарь докладывал в своем департаменте, а всей канцелярией руководил государственный секретарь, докладывавший дела в общем собрании и представлявший журнал Совета на высочайшее усмотрение. Государственным секретарем был назначен, разумеется, Сперанский, главный организатор учреждения, что при новости дела давало ему значение руководителя всего Совета.

Вслед за Государственным советом преобразованы были по плану Сперанского министерства, учрежденные манифестом 8 сентября 1802 г. Сперанский находил двойной недостаток в этих министерствах: отсутствие точного определения ответственности министров и неправильное распределение дел между министерствами. Они были преобразованы двумя актами – манифестом 12 июля 1810 г. о разделении государственных дел на особые управления и «Общим учреждением министерств» 25

июня 1811 г.

По новому распорядку упразднялось одно из восьми прежних министерств, именно коммерции, дела которого распределялись между министерствами финансов и внутренних дел; зато из ведения последнего выделены были дела о внутренней безопасности, для которых образовалось особое министерство полиции. Кроме того, учреждено было несколько особых ведомств под названием «главных управлений» со значением отдельных министерств: «Главное управление ревизии государственных счетов» (или государственный контроль), «Главное управление духовных дел иностранных исповеданий» и, наконец, еще раньше, в 1809 г., «Главное управление путей сообщения».

Таким образом, отдельных центральных ведомств, между которыми были распределены дела в порядке исполнительном, т. е. административном, явилось всех одиннадцать вместо прежних восьми. В «Общих учреждениях» определены были состав и делопроизводство министерств, пределы власти министерств, их ответственность и другие подробности министерского управления. Оба акта, которыми преобразованы были министерства и особые главные управления, по стройности плана, логической последовательности его развития, своеобразности и точности изложения, доселе признаются образцовыми произведениями нашего законодательства, которыми не без основания гордился сам автор, и административный порядок, им установленный, даже в подробностях доныне продолжает действовать.

Предположено было преобразовать и Сенат. Проект преобразования приготовлен был к началу 1811 г. и в июне внесен в Государственный совет. Этот проект был основан на строгом разделении дел административных и судебных, которые смешивались в прежнем устройстве Сената. Согласно с этим Сенат было предположено преобразовать в два особых учреждения, из которых одно, названное Сенатом Правительствующим и сосредоточивавшее в себе правительственные дела, должно было состоять из министров с их товарищами и начальниками особых (главных) частей управления, это прежний Комитет министров. Другое, под названием Сената судебного, распадалось на четыре местных отделения, которые размещены по четырем главным судебным округам империи: в Петербурге, Москве, Киеве и Казани. Особенностью этого судебного Сената была двойственность его состава: одни члены его назначались от короны, другие выбирались дворянством. В этом особенно блеснула искра тех идей, на которых был построен общий преобразовательный план

Сперанского. Этот проект вызвал резкие возражения в Государственном совете; сильнее всего, разумеется, нападали на право выборов дворянством членов Сената, видя в этом ограничение самодержавной власти. Несмотря на то что при подаче голосов большая часть членов Совета высказалась за проект и государь утвердил мнение большинства, но различные препятствия, внешние и внутренние, помешали осуществлению новой реформы, и сам Сперанский советовал ее отсрочить. Благодаря тому Сенат сохранил прежнее смешение ведомств, внося некоторую нестройность в общий склад центрального управления. Значит, из трех отраслей высшего управления – законодательной, исполнительной и судебной – были преобразованы только две первые; третьей не коснулась реформа. К преобразованию губернского управления не было и приступлено.

По разным причинам, которые имели более биографическое, чем политическое, значение, Сперанский был уволен от должности, едва только начали вводиться преобразованные им учреждения. Он получил отставку в марте 1812 г. и, сверх чаяния, сослан был в Нижний, напутствуемый самой искренней бранью со стороны высшего общества и ожесточенной озлобленностью со стороны народа. Причины ненависти первого легко понять; менее понятен был ропот, поднявшийся против Сперанского в народе. Главной причиной этого недовольства был еще один преобразовательный план, составленный Сперанским. В удивительно разнообразную деятельность этого дельца входило и устройство финансов, которые находились в печальном положении вследствие войн и затруднений торговых, причиненных континентальной системой. По смете 1810 г. всех выпущенных в обращение ассигнаций считалось 577 млн; внешнего долгу – 100 млн. Смета доходов на 1810 г. обещала сумму в 127 млн ассигнациями, смета расходов требовала суммы в 193 млн, итак, дефицит – 66 млн, что составляло более половины всей суммы государственных доходов. Это положение и хотел устранить Сперанский составленным им широким планом финансовых реформ. План этот основан был на двух началах – совершенном прекращении выпуска новых ассигнаций и постепенном изъятии из обращения старых; далее, на возвышении всех налогов, прямых и косвенных. Законами 2 февраля 1810 г. и 11 февраля 1812 г. и возвышены были все налоги – иные удвоены, другие более чем удвоены. Так, цена пуда соли с 40 коп. поднята была до рубля; подушная подать с 1 руб. возвышена была до 3 руб. Любопытно, что в этот план входил и новый, небывалый прежде налог – «подоходный прогрессивный»;

им обложен был доход помещиков с их земель. Низший налог взимался с 500 руб. дохода и составлял 1 % последнего; высший налог падал на имения, дававшие больше 18 тыс. руб. дохода, и составлял 10 % последнего. Возвышение налогов и было главной причиной народного ропота против Сперанского, чем успели воспользоваться его враги из высшего общества.

Дворянский выезд конца XVIII века

А.С. Пушкин

А. С. Пушкин. *Литография с портрета работы О. Кипренского*

Для чего мы празднуем юбилейные годовщины великих деятелей нашего прошлого? Не для того ли, чтобы питать национальную гордость воспоминаниями о своих великих поколениях? Едва ли. Национальная гордость – культурный стимул, без которого не может обойтись человеческая культура. Национальное самомнение, как и национальное самоуничижение, – это только суррогаты народного самосознания. Надобно добиваться настоящего блага, истинного самосознания без участия столь сомнительных побуждений.

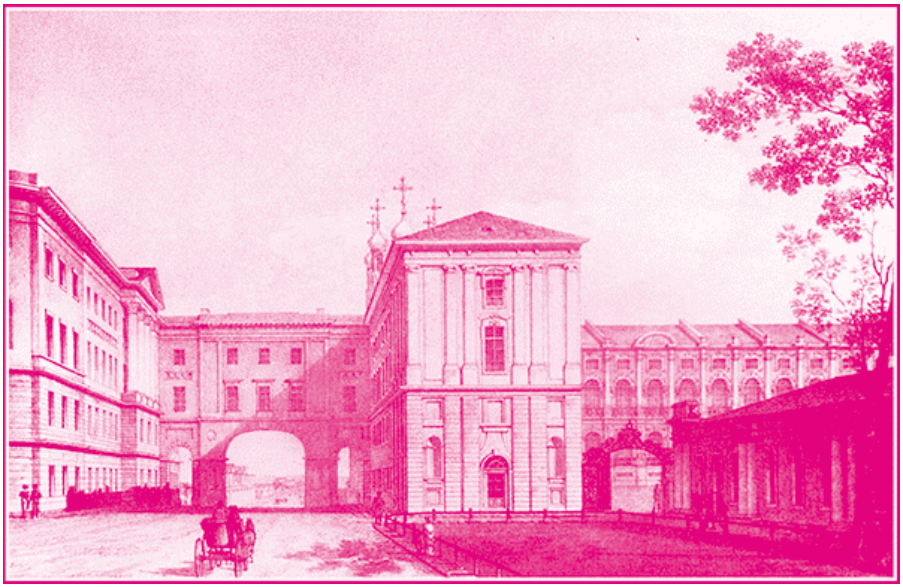
Самосознание – трудное и медленное дело, венчающее работу человека или народа над самим собой, и достигается

разносторонними путями. Праздники в память людей, двинувших или облегчивших эту работу, – минутные остановки, чтобы осмотреться, перевести дух, оглянуться на пережитое, сосчитать прожитые годы. Так в пути оглядываются назад, чтобы по выдающимся пунктам сообразить пройденное расстояние и проверить направление.

Великие деятельности – проверочные моменты народной жизни. Каким-то трудно уловимым процессом общения лица с окружающей средой в них собираются мелкие, раздробленные интересы и стремления и действием личного творчества перерабатываются в цельное и крупное дело, которое в одно и то же время и вскрывает запас нажитых обществом сил и средств, и предуказывает их дальнейшее развитие. Такие деятельности – и показатели народного роста, и указатели направления его жизни. В них, как в зеркале, мы видим самих себя, сквозь них всматриваемся в собственную душу; они объясняют нам нас самих. Великие исторические могилы тем и памятны, что оживляют народное самосознание.

На протяжении двух последних столетий нашей истории были две эпохи, решительно важные в движении русского самосознания. Они ознаменованы деятельностью двух лиц, работавших на очень далеких одно от другого поприщах, но тесно связанных логикой исторической жизни. Один из этих деятелей был император, другой – поэт. «Полтава» и «Медный Всадник» образуют поэтическую близость между ними.

Древняя Русь, целые века изнывая в изнурительной борьбе с восточным варварством, оторванная этой борьбой от живого общения с образованным Западом, из доступного домашнего материала и домашними средствами с трудом сколотила невзрачное, тяжелое, но прочное государство. В ней скрывались богатые материальные средства, которых она не умела найти и разработать, а силы духовные росли кое-как, без надлежащего призора и ухода, не зная сами себя. Петр Великий разглядел те и другие и начал с первых, мощными мозолистыми руками взрыл это, как он говорил, Божие благословение, втуне под землею скрывающееся, призвав на помощь техническое знание Запада, и трудным ломаным путем из Москвы через Полтаву, Гангут и Ништадт вдвинул Россию в семью европейских держав и народов. С той минуты Европа была объединена и закончена, впервые стала цельной и сплоченной, Западно-Восточной Европой.



А. Тон. **Царское Село. Лицей.** *1822 г.*

Оплакивая смерть своего преобразователя, и Россия впервые почувствовала сквозь слезы свою столь нежданно и быстро создавшуюся международную и политическую мощь. Это было чувство, ей непривычное и незнакомое; оно и было первым движением пробуждавшегося народного самосознания. Но силы духовные все еще оставались как бы в забытьи, в привычном коснении, да и новая материальная работа, грозно заданная народу, мало помогала их возбуждению. Петр трогал их мимоходом, отдельными толчками, вызывая в лучших умах первые проблески русской политической мысли, а в массе – крики боли, выражавшиеся в заговорах, в протестующих подпольных памфлетах и темных толках про антихриста и близкую кончину мира. Конечно, и они, эти силы, не были совсем безучастны в работе Петра: они сказывались в политической выносливости, с какою народ, несмотря на свое чувство боли и эти протесты, отдавал все, и труд, и достояние, и жизнь, на пользу государства. Но, преждевременно оторванный от своего дела, Петр завещал дальнейшим поколениям средство довершить его, оставил своему народу ключ, которым можно было бы разомкнуть сковывавшие его дух цепи, – насажденную им науку.

Н. Ге. **Пушкин в Михайловском**

И ключ понадобился скоро. Один русский писатель недавнего прошлого хорошо сказал, что Петр своей реформой сделал вызов России, ее гению, и Россия ответила ему.

Но ответ дан был не сразу: и Пушкин исторически подготовлялся; между ним и Петром легло три поколения. На призыв, раздавшийся с престола, прежде всего откликнулся человек с самого низа общества и откликнулся так, что преобразователь из глубины своей петропавловской гробницы был вправе воскликнуть: *ныне отпущаеши*. Холмогорский крестьянский сын, отведав московской славяно-греко-латинской, а потом марбургской немецкой науки, внес первое русское и очень крупное имя в историю европейского научного знания. Потом в неширокий еще поток русского просвещения введена была тонкая, но довольно энергическая струйка вроде электрического тока. Петр брал с Запада, что находил пригодным для России в самой его жизни, брал готовое, бытовое, практически испробованное – парики, кафтаны, машины, мастерства, учебники, государственные коллегии. Идеи и чувства, над которыми много нужно работать, чтобы переработать их в нравы, в житейские отношения, занимали его гораздо менее. Он и английский парламент понял и оценил именно с этой практической стороны: на одном заседании в присутствии короля, наслушавшись речей оппозиции, Петр сказал своим: «Весело слушать, когда сыны отечества открыто говорят королю

правду; вот чему должно у англичан учиться». Екатерина II поступала иначе: брезгая как философ исторической действительностью, не желая марать рук не всегда опрятной практикой западноевропейской жизни, она брала оттуда прямо идеалы, последние лучшие слова западноевропейской мысли, которые и на родине-то казались светлыми и несбыточными мечтами. Уровень русской жизни не поднялся, но Екатерина добилась некоторого подъема русских умов. С той поры над нашей доморощенной действительностью стала парить идея, чуждая, заимствованная идея, но все же служившая путеводной звездой для тех, кто из родной мглы искал выхода к вифлеемскому свету.

Я не скажу фразы, если скажу, что поэзия Пушкина была подготовлена последовательными усилиями двух эпох – Петр I и Екатерина II. Целый век нашей истории работал, чтобы сделать русскую жизнь способной к такому проявлению русского художественного гения. Что сказалось в этой поэзии? До сих пор она не перестает изумлять разнообразием своих мотивов: здесь и детская сказочка, и детская песенка про птичку божью, и знобящий душу анализ скупого рыцарского сердца перед раскрытыми сундуками с золотом, и «Брожу ли я вдоль улиц шумных», и «Безумных лет угасшее веселье», и разгулье удалое, и злые речи Мефистофеля, и священный ужас поэта, внимающего кроткому поэтическому укору московского митрополита, и озаренная теплым светом холодная пустыня скучающей души великосветского бродяги, и «горний ангелов полет, и гад морских подземный ход, и дольней лозы прозябанье».

Пушкин не был поэтом какого-либо одинокого чувства или настроения, даже целого порядка однородных чувств и настроений: пришлось бы перебрать весь состав души человеческой, перечисляя мотивы его поэзии. Недаром муза еще в младенчестве вручила ему семиствольную цевницу, способную на семь ладов петь и «гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов».

Перечитывая его лирические пьесы в хронологическом порядке, испытываешь какую-то ободряющую поэтическую качку от этой быстрой смены несходных чувств и образов. Летучей очередью в стройном разнозвучии проносятся и скучно-грустные впечатления зимней дороги под звуки длинной разгульно-тоскливой песни ямщика, и исполненное светлых надежд послание в Сибирь декабрьским заточникам, и шаловливый альбомный комплимент, и высокое призвание поэта в величавом образе библейского пророка. А рядом в «Поэте» так жизненно-просто объяснены и самые эти кажущиеся столь своенравными

переходы от низменной сцены малодушных состояний к вдохновенным подъемам свыше призванного духа. Это необъятное протяжение поэтического голоса, дававшее ему силу «владеть и смехом и слезами», еще расширялось необычайной восприимчивостью и гибкостью поэтического понимания, уменьем проникать в самые разнообразные людские *положения*, вживаться в чужую душу, всевозможные миросозерцания и настроения, в дух самых отдаленных друг от друга веков и самых несродных один другому народов, воспроизводить и Коран и Анакреона, и Шенье и Парни, и Байрона и Данте,[16] и рыцарские времена и песни западных славян, и волшебные сказания, старинной русской былины и темную эпоху Бориса Годунова, и не остывшие еще предания пугачевской и помещичьей старины. И из этого плавного и мирного потока впечатлений складывается в воображении образ поэта, который не живет, а горит, постепенно разгораясь ровным и сильным пламенем, сжигая нечистую примесь возраста и времени и в себе самом переплавляя в образы и звуки разнообразные движения человеческой души, великие и малые явления человеческой жизни.

Да в поэзии Пушкина и нет ни великого, ни малого: все уравнивается, становясь прекрасным, и стройно укладывается в цельное миросозерцание, в бодрое настроение. Простенький вид и величественная картина природы, скромное житейское положение и трагический момент, самое незатейливое ежедневное чувство и редкий порыв человеческого духа – все это выходит у Пушкина реально точно и жизненно просто и все освещено каким-то внутренним светом, мягким и теплым. Источник этого света – особый взгляд на жизнь, вечно бодрый, светлый и примирительный, умеющий разглядеть затерявшиеся в житейской сумятице едва тлеющие искры добра и порядка и ими осветить темный смысл людских зол и недоразумений. Как сложился, откуда внушен этот взгляд? Конечно, прежде всего, усилиями счастливо одаренного личного духа, стремящегося проникнуть в затемняемый житейскими противоречиями смысл жизни.

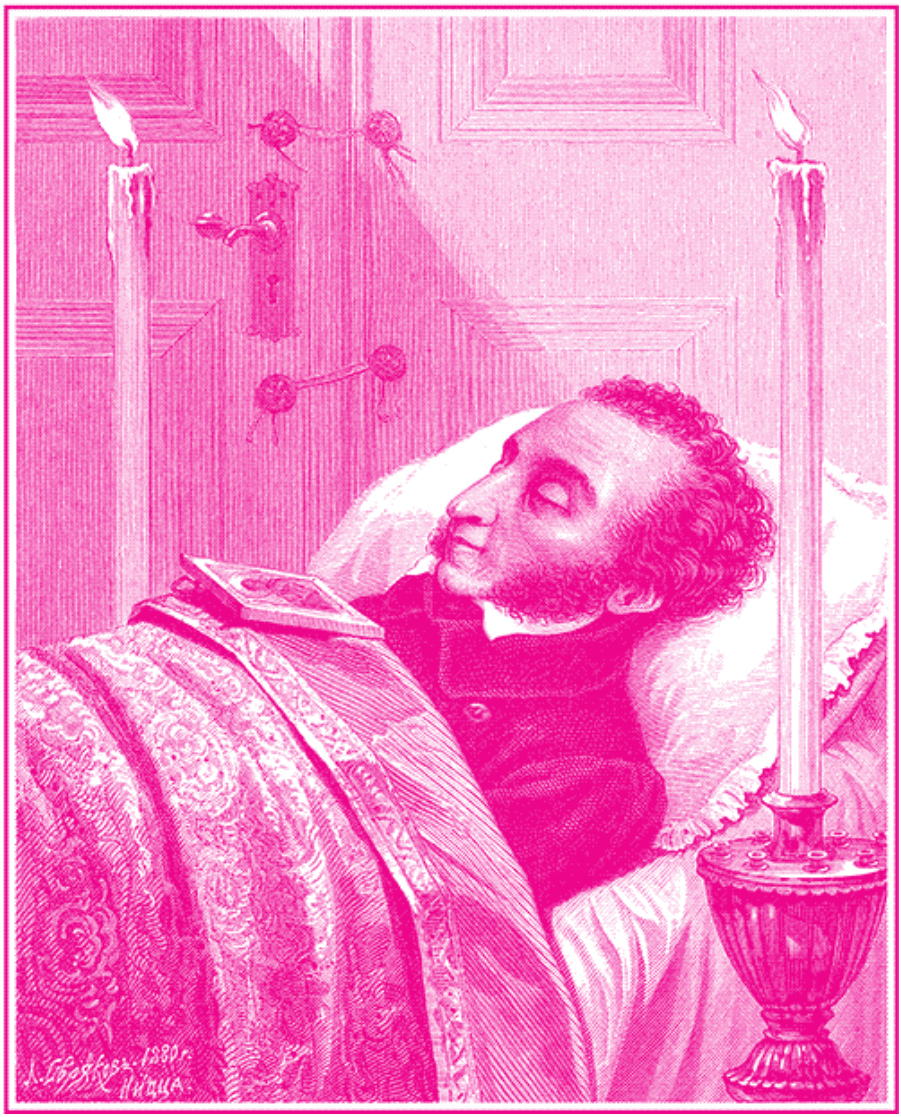
Вспомните, как Пушкин ночью, в часы бессонницы, тревожимый «жизни мышьей беготней», вслушиваясь в ее скучный шепот, силился понять ее смысл и учил ее темный язык. Но неуловимы источники и способы поэтического понимания, умеющего и вокруг себя подметить незаметное для простого глаза, рассеянные там и сям проблески разума жизни и собрать их в светоч, способный осветить темные пути и цели нашего существования. Тот же взгляд просвечивает из глубины русского народного мышления и чувствования, в наших песнях и

пословицах, в ходе истории нашего народа, в основе всего его бытового склада. Заглянув пристально в самого себя, каждый из нас найдет его и в основе своего личного настроения, не мимолетного, случайно набегающего, а того постоянного настроения, которым определяются направление и темп жизни каждого из нас. Вникните в него еще поглубже, разберите мотивы поддерживаемого им настроения, и вы увидите, что они даже не специфически русские, национальные, а общечеловеческие мотивы общежития. Да разве это чье-либо национальное дело или монополия каких-либо избранных поколений, а не всегдашняя и общая задача человеческого духа – внести нравственный порядок в анархию людских отношений, как некогда творческое слово вызвало зримый нами космос из мирового хаоса?

Поэзия Пушкина – русский народный отзвук этой общечеловеческой работы. Общечеловеческим ее содержанием и направлением измеряется и ее значение для нашего национального самосознания. Она впервые показала нам, как русский дух, развернувшись во всю ширь и поднявшись полным взмахом, попытался овладеть всем поэтическим содержанием мировой жизни, и восточным и западным, и античным и библейским, и славянским и русским. Этой широтой поэтического захвата она дала нам почувствовать, какие нетронутые силы таятся в глубине вырастившего ее народного духа, ожидая своего призыва на общечеловеческое дело. Вместе с тем она приподняла настроение, повысила тон жизни русского читающего общества, дав столько новой изящной пищи сердцу и воображению, необъятно расширила наш поэтический кругозор, обогатив наш духовный обиход таким запасом отовсюду собранных чувств, впечатлений и образов, разновременных и разнородных картин и воспоминаний, облеченных в небывалые по совершенству литературные формы.

Русский читатель более прежнего стал любить свой язык, ценить свою словесность, чтить своего писателя, наконец, уважать самого себя и свое отечество; за многое привычное в русской жизни ему стало теперь стыдно, иное стало казаться нетерпимым, другое обязательным, если не по чувству нравственного долга, то хотя из приличия. Литература перестала быть развлечением для скучающих, стала серьезным, ответственным делом, убежищем и органом мыслящих людей. Но что еще важнее для нашего самосознания: если через поэзию Пушкина мы стали лучше понимать чужое и серьезнее смотреть на свое, то через нее же мы сами стали понятнее и себе самим и чужим. В тоне и настроении этой поэзии, в свойстве и сочетании основных мотивов, ее вдохновлявших, во взгляде поэта на жизнь, во всем складе его

миросозерцания впервые обозначился духовный облик русского человека.



А. С. Пушкин на смертном одре

В одной пьесе Пушкин сам назвал свой поэтический голос эхом русского народа. Но он видел народности писателя не в особенностях языка, не в выборе предметов из отечественной истории, а в особом образе мыслей и чувствований, принадлежащем исключительно какому-либо народу, в его особенной физиономии, создавшейся физическими и нравственными условиями его жизни, отражающейся в его поэзии. Вот эта физиономия русского народа с его образом мыслей и чувствований и отразилась образно и внятно в поэзии

Пушкина. Это, как и сама эта поэзия, народ восприимчивый и наблюдательный, с трезвым и бодрым взглядом на жизнь, терпеливый и исполненный терпимости, чуждый сомнений и непритязательный, благодарный судьбе за радость и за горе, умеющий ценить хорошее чужое и шутить над дурным своим, простодушно и задушевно отзывчивый на все человечное, незлопамятный и осторожный, мирный и примирительный.

В «Медном Всаднике», помните, есть два стиха с вопросами, обращенными к гиганту, который «с простертою рукою сидит на бронзовом коне»:

Какая дума на челе?
Какая сила в нем сокрыта?

Сто лет спустя после рождения Пушкина мы можем ответить на эти вопросы. Дума на челе, – разумеется, о будущем России, а сокрытая в нем сила сказалась в том, что он овладел народной массой, похожей на ту бесформенную скалу, на которой остановился его бронзовый конь, и державно простертою рукою начал над ней свою преобразовательную работу. Та же сила сказалась еще в том, что русский поэт, ставший возможным по мановению той же простертой руки, сквозь окружавшее его общество, о котором я ради памятного дня ничего не хочу сказать, кроме того, что ему, право, было бы не грешно и не трудно быть немного получше, – сквозь это общество первый прозрел в народной массе тот облик народа, который и отпечатлел в своей поэзии. Этим он предуказал задачу и дальнейшим поколениям: точно запечатлев в своем самосознании образ своего народа, провиденный поэтом, мы и наши потомки обязаны отделять от своего народного существа все лишнее, как случайный нарост, пока не предстанет пред миром и русский народ с тем обликом, который провиден поэтом. Тогда и исполнится то, о чем некогда мечтал Пушкин вместе с Мицкевичем,[17] тогда еще «мирным, благосклонным».

«…о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся»…

В этой мирной семье народов под знаменем Петра Великого и займет свое место мирный русский народ.

Декабристы

У нас доселе господствуют не совсем ясные, не совсем согласные суждения насчет события 14 декабря; одни видят в нем политическую эпопею, другие считают его великим несчастием. Для того чтобы установить правильный взгляд на это событие, нам надо рассмотреть ход, подготовивший общество к нему; это возвратит нас к истории общества, т. е. к истории чувств и мыслей, господствовавших в известное время. Движение 14 декабря вышло из одного сословия, из того, которое доселе делало нашу историю, – высшего образованного дворянства. Но не весь этот класс принимал в нем прямое участие. Событие это было частью этого класса, в которой господствовал известный образ мыслей, известное настроение. Но эта часть была собственно известный возраст, известное поколение; катастрофа 14 декабря сделана была дворянской образованной молодежью. Это легко заметить, просматривая графу о возрасте в списке лиц, которые судились по делу 14 декабря. Всех лиц к ответственности было призвано 121; из них только 12 имели 34 года, значительное большинство остальных не имело и 30 лет.

Воспитание. Мы знаем, какое настроение утвердилось в высшем образованном дворянстве благодаря умственным влияниям, какие проникли в наше общество с половины XVIII столетия. Сравнив последние поколения екатерининского времени с тем поколением, представители которого подверглись каре за дело 14 декабря, мы встречаем между ними сходство и

различие. Родство между ними было и нравственное и генеалогическое; образ мыслей, который усвоили себе отцы, разделяли и дети; люди 14 декабря, даже в буквальном смысле, – дети людей, принадлежавших к вольнодумцам при Екатерине. Но между ними есть одно существенное различие. Вольнодумство воспитало в вольтерьянцах холодный рационализм, сухую мысль, вместе с тем отчужденную от окружающей жизни; холодные идеи в голове остались бесплодными, не обнаруживались в стремлениях, даже в нравах вольнодумцев. Совсем иной чертой отличалось поколение, из которого вышли люди 14 декабря. В них мы замечаем удивительное обилие чувства, перевес его над мыслью и вместе с тем обилие доброжелательных стремлений, даже с пожертвованием личных интересов. Отцы были вольнодумцами, дети были свободомыслящие дельцы. Откуда произошла эта разница? Вопрос этот имеет некоторый интерес в истории нашей общественной физиологии.

По высшему обществу в начале царствования Александра пробежала эта тень, которую часто забывают в истории общества того времени. Мы знаем, что в воспитании, которое получило высшее русское дворянство прошедшего столетия, сменилось два дельца. То были гувернеры двух разных привозов: первый – ни о чем не думавший гувернер, парикмахер, второй – вольнодумец. В конце XVIII в. начинается прилив в Россию французских эмигрантов, которые должны были расстаться со своим революционным отечеством; то были все либо аббаты, либо представители французского дворянства; значительная часть дворян вышла из аббатов. В Россию они спасались от бедствий революции, приносили с ожесточением против новых политических идей чрезвычайное количество католических чувств, которое всплыло в них после философского рационализма, как известно, долго составлявшего салонную забаву французского дворянства. Эти эмигранты, приветливо принятые Россией, с ужасом увидели успех религиозного и политического рационализма в русском образованном обществе.

Тогда начинается смена воспитателей русской дворянской молодежи. На место гувернера-вольнодумца становится аббат – консерватор и католик, это был гувернер третьего привоза. При Павле, как известно, Мальтийский орден, территория которого была завоевана Францией, выхлопотал себе покровительство русского императора. Ряд мальтийцев явился в Петербург с теми же католическими чувствами: это еще более усилило влияние пришельцев. В XVIII в., под влиянием либеральных идей, Папа Климент закрыл иезуитский орден, но они остались под разными предлогами и званиями и стали прокрадываться через Польшу в

Россию. Много таких иезуитов явилось в Петербурге под именем мальтийцев. Католическое, именно иезуитское, влияние и становится теперь на смену вольтерьянства. В числе родовитых эмигрантов, приехавших в Россию еще при Екатерине, был и граф Шуазель-Гуфье. Он приехал со всем своим семейством; воспитателем при его сыне состоял некто аббат Николь. Шуазель выставлял этого домашнего учителя великосветским барыням, как превосходного педагога; барыни стали просить у графа позволения их сыновьям слушать Николя вместе с сыном.

Постепенно учебная комната Шуазеля-младшего превратилась в великосветскую аудиторию, которая даже не могла вместить всех своих слушателей. Николь заставил основать учебное заведение для высшего дворянства; иезуиты пристроились к этому делу, разумеется, под чужой вывеской. Николь стал их орудием; он приобрел дом рядом с великолепным дворцом Юсупова, близ Фонтанки, и в этот пансион повалила русская дворянская молодежь. Чтобы не пустить сюда разночинцев и мелкое дворянство, назначена была безбожная плата за воспитание – от 11 до 12 тыс. руб. в год, что равнялось нынешним 45 тыс. Список пансионеров блистал аристократическими именами; здесь видим Орловых, Меншиковых, Волконских, Бенкендорфов, Голицыных, Нарышкиных, Гагариных и т. д. Но и родители не оставались без влияния новых педагогов; католическая пропаганда растет с поразительным успехом.

Началось дело с одной печальной вдовы, княгини Голицыной, жены одного либерального и безбожного вельможи екатерининского времени, который запретил даже произносить имя Бога. Овдовев в 70 лет, княгиня искала религиозного утешения; религиозным утешением к ней явился кавалер Догардт; это был очень ловкий иезуит. Утешение кончилось переходом княгини в католицизм, и вслед за нею потянулись ее сестры, и Протасова, и княгиня Вяземская и другие; целая толпа великосветских барынь стала прозелитками католицизма. При Павле на это смотрели сквозь пальцы, потому что иезуиты успели при дворе утвердить мысль, что существенной разницы между католицизмом и православием не существует, а что католицизм есть исповедание, наиболее умеющее воспитывать народ в консервативных, монархических стремлениях и принципах. Случилось так, что в одной болезни императору помог некто Грубер; ему была предложена награда, от которой он отказался, объявив, что он пользуется своей медициной не для корысти, а для славы имени Бога. Этот Грубер и был направителем целого ряда иезуитов, ставши воспитателем и руководителем

великосветской молодежи и руководителем пансиона Николя.

Вид Арсенала и Литейной улицы в Петербурге в начале XIX века.

С рисунка с натуры Галактионова

Значительная часть людей, которых мы видели в списке осужденных по делу 14 декабря, вышли из этого пансиона или воспитаны были такими гувернерами. Это очень любопытная черта, которой мы не ожидали бы в людях 14 декабря. Кажется, католическое иезуитское влияние, встретившись в этих молодых [людях] с вольтерьянскими преданиями отцов, смягчило в них и католическую нетерпимость и холодный философский рационализм. Благодаря этому влиянию сделалось возможным слияние обоих влияний, а из этого слияния вышло теплое патриотическое чувство, т. е. нечто такое, чего не ожидали воспитатели. Только при этом предположении становится возможным проследить нравственный рост того поколения, представители которого вышли на площадь 14 декабря.

Настроение общества. Я напомню связь, в какой мы рассматривали явления второй половины изучаемого царствования. По окончании войн общество было возбуждено более чем в начале царствования, и ждало от правительства продолжения начатой им внутренней деятельности, а правительство было утомлено и не хотело его продолжения. Так общество и правительство разошлись между собой больше, чем

расходились когда-либо; вследствие этого поднятое движение ушло внутрь общества и здесь получило революционное направление. Чтобы объяснить такую перемену в общественном движении, мы начали изучать настроение общества, его характер в начале XIX столетия и отметили одну новую черту: влияние философской французской литературы XVIII столетия теперь стало сменяться в образованном русском обществе католической и иезуитской пропагандой. Эта пропаганда, соединенная с попытками иезуитов овладеть воспитанием русского великосветского общества, привела к результату, который не мог входить в цели пропагандистов, – пробуждению патриотического чувства. Может показаться странным такой результат, столь не соответствующий источнику, из которого он выходил; но католическо-иезуитская пропаганда могла подготовить его прямо и косвенно. Прежде всего, она должна была изменить, если можно так выразиться, температуру общественного настроения; она в образованных кругах прекратила и ослабила прежнюю великосветскую игру в либеральные идеи, заменив ее фальшиво или искренно настроенным религиозным чувством. Молодое поколение, подраставшее в то время, должно было выносить из детства иные впечатления сравнительно со своими отцами; на место бесцельно и бестолково вольнодумствующих отцов и матерей теперь явились отцы и матери, искавшие какого-то неопределенного, не то православного, не то католического Бога. Далее, подрастая, это поколение, вследствие успехов иезуитской пропаганды, должно было спросить себя: долго ли русский ум будет жертвой чуждых влияний? Значит, успех иезуитской пропаганды должен был пробуждать смутную потребность попробовать, наконец, жить своим умом. Многие молодые люди большого света получили воспитание под руководством иезуитов, сменивших прежних гувернеров-вольнодумцев. Я думаю, и эта перемена учителей могла быть полезной, так же как перемена идеалов. И иезуит, как известно, – хороший учитель во всем, что не касается религиозной пропаганды. Он умеет отлично вызывать и эксплуатировать умственную силу ученика, тогда как прежний француз-гувернер только напитывал своего питомца высокими и ненужными идеями, не возбуждая работы мысли. Я думаю, что люди, выходившие из пансиона Николя, могли быть исковерканные характеры, но более привычные к мысли сравнительно со своими отцами, питомцами Бодри или Лагарпов.

Кончина императора Александра I. *Факсимиле гравюры И. Кулакова 1827 года*

Таким образом, поколение, которое вступило в деятельность к концу царствования Александра, я думаю, воспитывалось при ином настроении общества и воспитывалось лучше своих отцов; правда, и ему воспитание давало очень мало знакомства с действительностью; просматривая в списке привлеченных к ответственности по делу 14 декабря графу о воспитании каждого, мы видим, что большинство декабристов училось в кадетских корпусах, сухопутных, морских, пажеских, а кадетские корпуса были тогда рассадниками общего либерального образования и всего менее были похожи на технические и военно-учебные заведения. Некоторые воспитывались за границей, в Лейпциге, в Париже, другие – в многочисленных русских пансионах, содержимых иностранцами, и в том числе в пансионе Николя. Из последнего вышли, например, декабрист князь Голицын и Давыдовы. Очень многие из 121 обвиненного учились дома, но тоже под руководством иностранцев.

Может быть, не будет лишен интереса перечень некоторых из выдающихся членов тайного общества с пометкой их лет и замечанием об их воспитании. Один из самых видных членов общества – князь Сергей Трубецкой, полковник гвардейского Преображенского полка (в 1825 г. после ареста – 34 лет), учился дома. Учителями были иностранцы. Князь Евгений Оболенский, поручик гвардейского Финляндского полка, 28 лет; учился дома под руководством гувернеров-французов, которых у него сменилось от 16 до 18 человек. Братья Муравьевы-Апостолы, дети

нашего испанского посланника; оба учились в Париже, в пансионе Гикса. Панов, поручик Преображенского полка, – 22 года – учился дома; учителями были иностранцы; докончил образование в Петербургском пансионе Жакино, и т. д., все в этом роде.

Русская действительность. Но это воспитание, так мало приближавшее воспитанников к окружающей действительности, встретилось с сильно пробужденным национальным движением, какое продолжалось и после 1815 г. Страна недаром испытала нашествие французов: многие иллюзии, внушенные французским гувернером или французской литературой, должны были рассеяться. Эти усилия сбросить с себя иго французской мысли и книжки выразились, например, в стихотворении тогда еще молодого Аксакова, автора «Семейной хроники»; стихотворение это писано в 1814 г. Поэт разочарован в своих ожиданиях, что французское нашествие совсем освободит нас от французского рабства, что «испытанные бедствия навеки поселят к французам отвращение», что «мы подражания смелого устыдимся и к обычаю, языку родному обратимся». Автор сетует, что «рукой победной, но в рабстве мы умами, клянем французов мы французскими словами». Этот порыв к изучению родной действительности сказывается тогда наверху и внизу общества. Притом надобно припомнить историческое впечатление, под действие которого попало молодое поколение, вступив в действительную жизнь. Многие из этих людей помнили еще ту восторженную тревогу, какая овладела образованною молодежью при первых шагах нового царствования; потом этим людям пришлось пережить много испытаний; почти все это были военные, преимущественно гвардейцы. Они сделали поход 1812–1815 гг.; многие из них вернулись ранеными. Они прошли Европу от Москвы и почти до западной ее окраины, участвовали в шумных событиях, которые решали судьбу западноевропейских народов, чувствовали себя освободителями европейских национальностей от чужеземного ига. Все это приподнимало их, возбуждало мысль; при этом заграничный поход дал им обильный материал для наблюдений. С возбужденной мыслью, сознанием только что испытанных сил, они увидели за границей иные порядки. Никогда такая масса молодого поколения не имела возможности непосредственно наблюдать иноземные политические порядки. Но все, что они увидели и наблюдали, имело для них значение не само по себе, как для их отцов, а только по отношению к России. Все, что они видели, и все, что они вычитывали из иноземных книг, они прилагали к своему отечеству, сравнивали его порядки и предания с заграничными.

Таким образом, даже непосредственное знакомство с чужим

миром только поддерживало интерес к родному. Изменившаяся ли семейная среда, из которой они выходили, или свойство пережитых впечатлений сообщили им особый характер, я бы сказал, особый отпечаток. Большею частью то были добрые и образованные молодые люди, которые желали быть полезными отечеству, проникнуты были самыми чистыми побуждениями и глубоко возмущались при встрече с каждой, даже с самой привычной, несправедливостью, на которую равнодушно смотрели их отцы. Очень многие из них оставили после себя автобиографические записки; некоторые даже вышли недурными писателями. На всех произведениях лежит особый отпечаток, особый колорит, так что вы, вчитавшись в них, даже без особых автобиографических справок, можете угадать, что данное произведение писано декабристом. Я не знаю, как назвать этот колорит. Это соединение мягкой и ровной, совсем не режущей мысли с задушевным и опрятным чувством, которое чуть окрашено грустью. У них всего меньше соли и желчи ожесточения. Так пишут хорошо воспитанные молодые люди, в которых жизнь еще не опустошила юношеских надежд, первый пыл сердца зажег не думы о личном счастии, а стремление к общему благу. Впрочем, мне едва ли нужно много говорить об этом тоне; мы его очень хорошо знаем по самому серьезному политическому произведению русской литературы XIX в. Этот тип как живой стоит перед нами в неугомонной и говорливой, вечно негодующей и непобедимо бодрой, но при этом неустанно мыслящей фигуре Чацкого; декабрист послужил оригиналом, с которого списан Чацкий.

При таком личном настроении, которое явилось результатом лучшего воспитания и обстоятельств характера чисто политического, интерес к окружающей действительности у людей первой четверти XIX столетия должен был получить особое напряжение и вести к особым впечатлениям, каких не переживали их отцы. Эти люди все же мало знали окружающих, как и их отцы, но у них сложилось иное отношение к действительности. Отцы не знали этой действительности и игнорировали ее, т. е. и знать ее не хотели, дети продолжали не знать ее, но перестали игнорировать. Военные события, тяжести похода, заграничные наблюдения, интерес к родной действительности – все это должно было чрезвычайно возбуждать мысль; эстетические наблюдения отцов должны были превратиться в более определенное и практическое стремление быть полезными. Легко понять, в каком виде должна была представиться окружающая действительность, как только эти люди стали вникать в нее. Она должна была представить им самую мрачную картину: рабство,

неуважение к правам личности, презрение общественных интересов – все это должно было удручающим образом подействовать на молодых наблюдателей, производить в них уныние; но они были слишком возбуждены, чтобы уныние могло их заставить складывать руки.

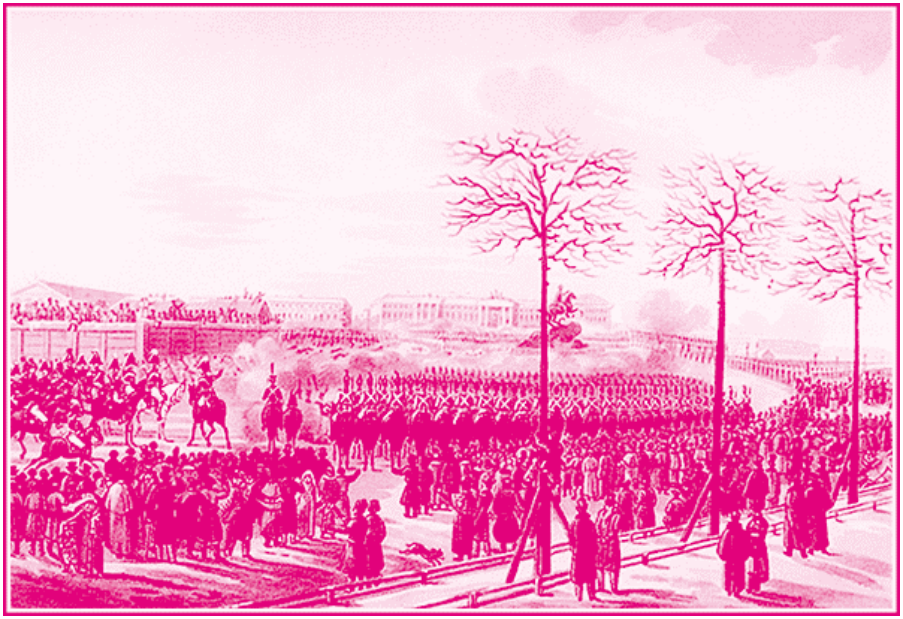
Один из немногих невоенных участников движения 14 декабря – Кюхельбекер – на допросе верховной следственной комиссии откровенно признавался, что главной причиной, заставившей его принять участие в тайном обществе, была скорбь его об обнаружившейся в народе порче нравов как следствии угнетения. «Взирая, – говорит он, – на блистательные качества, которыми Бог одарил русский народ, единственный на свете по славе и могуществу, по сильному и мощному языку, которому нет подобного в Европе, по радушию, мягкосердечию, я скорбел душой, что все это задавлено, вянет и, быть может, скоро падет, не принесши никакого плода в мире». Это важная перемена, совершившаяся в том поколении, которое сменило екатерининских вольнодумцев; веселая космополитическая сентиментальность отцов превратилась теперь в детях в патриотическую скорбь. Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими. Вот и вся разница между отцами и детьми. Настроением того поколения, которое сделало 14декабря, и объясняется весь ход дела.

К. Гольдштейн. **Съезд «Союза благоденствия»**

Тайные общества. Историю тайного общества и возбужденного им мятежа можно передать в немногих словах. Масонские ложи, терпимые правительством, давно приучили русское дворянство к такой форме общежития. При Александре тайные общества составлялись так же легко, как теперь акционерные компании, и даже революционного в них было не больше, как в последних. Члены тайного общества собирались на секретные заседания, но сами были всем известны и, прежде всего, полиции. Само правительство предполагало возможным не только для гражданина, но и для чиновника принадлежать к тайному обществу и не видело в этом ничего преступного. Только указом 1822 г. от чиновников велено было отобрать показания, не принадлежат ли они к тайному обществу, и взять подписку, что впредь они ни к какому обществу принадлежать не будут.

Молодые люди, офицеры во время похода, на бивуаках привыкли заводить речь о положении отечества, за которое они льют свою кровь; это было обычным содержанием офицерских бесед вокруг походного костра. Воротившись домой, они продолжали составлять кружки, похожие на мелкие клубы. Основанием этих кружков обыкновенно был общий стол; собираясь за общим столом, они обыкновенно читали по окончании обеда. Иностранный журнал, иностранная газета были потребностями для образованного гвардейского офицера, привыкшего зорко следить за тем, что делалось за границей. Чтение прерывалось обыкновенно рассуждениями о том, что делать, как служить. Никогда в истории нашей армии не встречались и неизвестно, встретятся ли когда-нибудь такие явления, какие тогда были обычны в армиях и гвардейских казармах. Собравшись вместе, обыкновенно заговаривали о язвах России, закоснелости народа, тягостном положении русского солдата, равнодушии общества и т. д. Разговорившись, офицеры вдруг решат не употреблять с солдатами телесного наказания, даже бранного слова, и без указа начальства в полку вдруг исчезнут телесные наказания. Так было в гвардейских полках Преображенском и Семеновском. По окончании похода солдаты здесь не подвергались побоям; офицер остался бы на службе не более часа, если бы позволил себе кулак или даже грубое слово по отношению к солдату. Образованный, т. е. гвардейский, офицер исчез из петербургского общества; в театрах нельзя было встретить семеновца: он сидел в казарме, учил солдат грамоте. Семеновские офицеры уговорились не курить, потому что шеф их, государь, не курит. Никогда не существовало среди офицерских корпораций таких строгих нравов. Офицеры привыкли собираться

и разговаривать; эти кружки незаметно превратились в тайные общества.



К. Кольман. **Восстание декабристов на Сенатской площади. 1825 г.**

В 1816 г. в Петербурге образовалось тайное общество из нескольких офицеров, преимущественно из гвардейских офицеров Генерального штаба под руководством Никиты Муравьева, сына известного нам учителя Александра, и князя Трубецкого. Общество это было названо «Союз спасения» или «истинных и верных сынов отечества»; оно поставило себе довольно неопределенную цель – «содействовать в благих начинаниях правительству в искоренении всякого зла в управлении и в обществе». Это общество, расширяясь, выработало в 1818 г. устав, образцом которого послужил статут известного патриотического немецкого общества Тугенбунд, который подготовил национальное восстание против французов. Общество тогда приняло другое имя – «Союз благоденствия»; задача его определена была несколько точнее. Поставив себе ту же цель – «содействовать благим начинаниям правительства», оно вместе с тем решило добиваться конституционного порядка, как удобнейшей для этой цели формы правления. Оно, однако же, не считало себя революционным; в обществе долго обдумывалась мысль обратиться с просьбой о разрешении к самому государю – в уверенности, что он будет сочувствовать их целям. Расширяясь в составе, общество разнообразилось во мнениях; появились в нем бешеные головы, которые предлагали безумные насильственные

проекты, но над этими проектами или улыбались, или отступали в ужасе. Это разнообразие мнений повело в 1821 г. к распадению Союза благоденствия.

Когда распался Союз благоденствия, тогда из развалин его возникли два новых союза – Северный и Южный. Северный союз в первое время имел руководителем известного нам Никиту Муравьева, офицера Генерального штаба, и статского советника Николая Тургенева. Он был в то время известен как автор превосходной книжки теории налогов. Он много занимался политико-экономическими вопросами; его задушевной мечтой было работать над освобождением крестьян. В 1823 г. в Северное общество вступил Кондратий Рылеев, отставной артиллерист, служивший по выборам петербургского дворянства и вместе управлявший делами Североамериканской торговой компании. Он стал вождем Северного общества; здесь господствовали конституционно-монархические стремления. Гораздо решительнее было Южное общество. Оно составилось из офицеров Второй армии, расположенной в Киевской и Подольской губерниях. Главная квартира этой армии находилась в Тульчине (Подольской губернии). Вождем Южного общества стал командир пехотного Вятского полка Пестель, сын бывшего сибирского генерал-губернатора, человек образованный, умный и с очень решительным характером. Благодаря этому вождю в Южном обществе получили преобладание республиканские стремления. Впрочем, Пестель не создавал определенной формы правления в уверенности, что ее выработает общее земское собрание; он надеялся быть членом этого собрания и готовил себе программу, обдумывая предметы, о которых будут говорить на соборе.

Смерть Александра I. Довольно трудно сказать, вышли ли бы общества, Северное и Южное, на улицу под революционным знаменем, если бы не одна несчастная случайность. Император Александр был бездетен; престол после него по закону 5 апреля 1797 г. должен был перейти к следующему брату, Константину, а Константин был также несчастен в семейной жизни, развелся с первой женой и женился на польке; так как дети этого брака не могли иметь права на престол, то Константин стал равнодушен к этому праву и в 1822 г. в письме к старшему брату отказался от престола. Старший брат принял отказ и манифестом 1823 г. назначил наследником престола следующего за Константином брата – Николая. Все это было довольно просто, потому что было необходимо. Но странно, что этот манифест не был обнародован и даже доведен до сведения самого нового наследника. В трех экземплярах этот манифест за печатью был положен в Москве, в

Успенском соборе, в Петербурге – в Сенате и в Государственном совете с собственноручной надписью государя: «Вскрыть после моей смерти». Таким образом, Николай, говорят, не имел точных сведений об ожидавшей его судьбе. Кроме государя и Константина, знали об этом только императрица-вдова, императрица-мать, да князь А. Н. Голицын, да еще Филарет, митрополит Московский, который редактировал текст манифеста. Ничем разумным нельзя объяснить таинственность, в какую облечено было распоряжение о престолонаследии; надо прибавить к тому, что действовавшее тогда общество никогда не было тайной для Александра. Рассказы о доносчиках, которые будто бы выдали секрет, ничего не значат. Александр все знал: главных членов обоих союзов, их цели, читал даже некоторые их проекты. Когда Н. Тургенев был вождем Северного общества, раз ему передано было от имени императора увещание бросить заблуждение; увещание было передано не как приказание, а как «совет одного христианина другому». Повинуясь этому доброму совету и равнодушный к формам правления, политической программе тайного общества, занятый только мыслью об освобождении крестьян, Тургенев покинул Россию и вышел из общества. Тогда Рылеев стал вождем Северного союза.

В 1825 г. Александр поехал на юг России провожать свою больную императрицу и 19 ноября умер в Таганроге от тифозной горячки. Благодаря таинственности, которой облечен был вопрос о престолонаследии, смерть эта сопровождалась важным замешательством: великий князь Николай принес присягу Константину, а в Варшаве старший брат, Константин, принес присягу младшему, Николаю. Начались сношения, при тогдашних дорогах занявшие много времени. Этим временем междуцарствия и воспользовалось Северное тайное общество. Сами участники говорили, что никогда не было бы 14 декабря, если бы генерал-губернатор Петербурга принял предупредительные меры или манифест о престолонаследии был заявлен заранее. Генерал-губернатор Милорадович старался уверить себя, что частные собрания Северного союза имели только литературную цель; он хорошо знал цель этого общества.

Выступление 14 декабря 1825 г. Николай согласился принять престол, и 14 декабря была назначена присяга войск и общества. Члены Северного общества распространяли в некоторых казармах, где популярно было имя Константина, слух, что Константин вовсе не хочет отказаться от престола, приготовляется насильственный захват власти и даже что великий князь арестован. Этими слухами и увлечены были некоторые гвардейские солдаты; значительная часть Московского

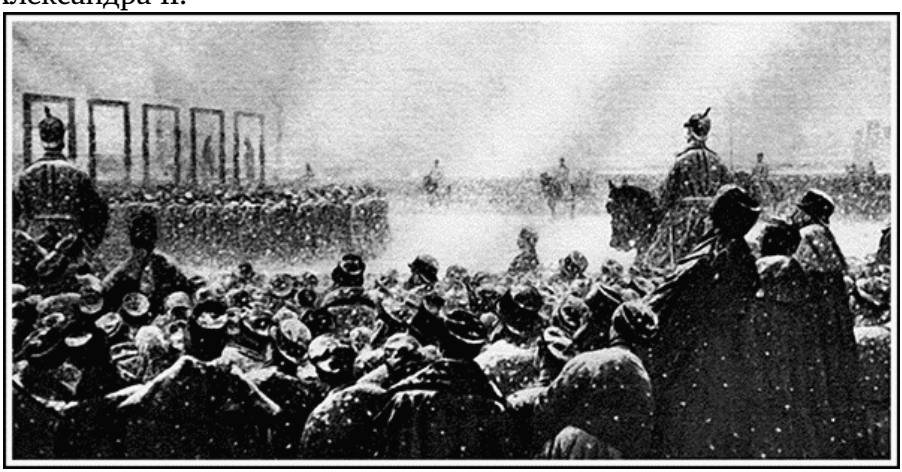
гвардейского полка 14 декабря отказалась дать присягу. С распущенными знаменами, в одних сюртуках, солдаты бросились на Сенатскую площадь и построились здесь в каре; к ним присоединилась часть гвардейского гренадерского полка и весь гвардейский морской экипаж; всего собралось на Сенатской площади тысячи две. Члены тайного общества накануне решили действовать по настоянию Рылеева, который, впрочем, был уверен в неуспехе дела, но только твердил: «Все-таки надо начать, что-нибудь выйдет». Диктатором назначен был князь С. Трубецкой, но он не явился на площадь, и напрасно его искали; всем распоряжался бывший в отставке и носивший простой сюртук Пущин, частью – Рылеев. Впрочем, каре мятежников стояло в бездействии в продолжение значительной части декабрьского дня. Великий князь Николай, собиравший около себя полки, оставшиеся ему верными и расположенные у Зимнего дворца, также оставался в бездействии в продолжение значительной части дня. Одна рота, приставшая к мятежникам, стремясь на Сенатскую площадь, забежала на внутренний двор Зимнего дворца, но встретилась с солдатами, которые остались верными Николаю, тогда они кинулись на площадь; Николай спросил: куда они? «Туда», – сказали солдаты, и Николай указал им дорогу, как пробраться к мятежникам. У одного мятежника была мысль о том, что он может решить дело насильственно. Положив в оба кармана по заряженному пистолету, он поместился на Адмиралтейском бульваре. Мимо него несколько раз прошел Николай, несколько раз обращался за справкой; офицер хорошо знал, что в обоих карманах лежит по пистолету, но у него не хватило духу на насилие. Так обе стороны спорили великодушием.

Наконец, Николая уговорили в необходимости кончить дело до наступления ночи, в противном случае другая декабрьская ночь даст мятежникам возможность действовать. Приехавший только что из Варшавы Толь подступил к Николаю: «Государь, прикажите площадь очистить картечью или откажитесь от престола». Дали холостой залп, он не подействовал; выстрелили картечью – каре рассеялось; второй залп увеличил число трупов. Этим кончилось движение 14 декабря.

Вожди были арестованы; на юге Муравьев-Апостол увлек за собой кучку солдат, но был взят с оружием в руках. Верховная следственная комиссия расследовала дело, а чрезвычайный суд произнес приговор, который был смягчен новым государем. По этому приговору пять участников дела были наказаны смертью через повешение, а остальные сосланы были в Сибирь. Всех привлеченных к следствию – 121 человек. Повешены были вожди обоих союзов: Пестель, Рылеев, Каховский (у которого хватило

духу застрелить Милорадовича, когда тот, после неудачной попытки уговорить мятежников, возвращался к Николаю), Бестужев-Рюмин (один из деятельнейших распорядителей на площади 14декабря) и С. Муравьев-Апостол, взятый на юге, в Киевской губернии, с оружием в руках. Так кончилось это движение, которое, как мы видели, стало возможным только благодаря стечению неожиданных обстоятельств.

Я изложил событие 14 декабря кратко, имея в виду книгу, к которой можно обратиться для более близкого знакомства с событием: это «Восшествие императора Николая на престол», барона Корфа (сочинение, изданное по высочайшему повелению). Книга очень верно воспроизводит события, только не все. Подробнее изложена заметка о престолонаследии; мимоходом описывается история тайного общества, как и условия, его подготовившие. Книга эта была составлена по желанию покойного государя, когда он был еще наследником, и долго хранилась в рукописи, потом была несколько раз напечатана в ограниченном числе экземпляров и не выходила из стен дворца; она была обнародована только по вступлении на престол Александра II.



В. Верещагин. **Казнь заговорщиков в России**

Значение выступления 14 декабря 1825 г. Событию 14 декабря придавалось значение, какого оно не имело; приписывались ему последствия, которые не из него вытекали. Чтобы вернее оценить его, не следует, прежде всего, забывать его наружность. По наружности это один из тех дворцовых гвардейских переворотов, какие происходили по смерти Петра в продолжение XVIII в. В самом деле, движение вышло из гвардейских казарм, руководили им почти одни гвардейские офицеры, представители коренного, столбового русского

дворянства. Движение было поднято по вопросу о престолонаследии, как поднимались все движения XVIII в., и на знамени движения было написано личное имя. В движении 14 декабря столько сходства с гвардейскими переворотами XVIII в., что современники, наблюдавшие это событие, не могли не вспомнить о гвардейских переворотах. В любопытнейшей записке приехавшего около того времени в Петербург родственника императрицы-матери, принца Евгения Вюртембергского, мы находим следующий характерный рассказ. Когда получена в Петербурге весть о кончине государя, незадолго до 14 декабря, принц Евгений встретил во дворце петербургского генерал-губернатора графа Милорадовича, который, разговорившись о положении дел, выразил принцу сомнение в успехе дела, т. е. в успехе присяги великому князю Николаю, так как гвардия, по словам Милорадовича, очень привязана к Константину. «О каком успехе говорите вы, граф? – сказал Евгений, – я жду естественного перехода престола к великому князю Николаю, в случае если Константин будет настаивать на отречении; причем тут гвардия?» – «Я с вами согласен, – отвечал Милорадович, – гвардии, понятно, не следовало мешаться в это, но она уже испокон века привыкла к этому и сроднилась с таким понятием». Итак, люди 14 декабря сделали дело, как не раз делали его в продолжение XVIII в. Теперь в последний раз русская дворянская гвардия хотела распорядиться престолом, а потом гвардия перестала быть дворянской.

Несмотря на все сходство движения 14 декабря с дворцовыми переворотами XVIII в., оно вместе с тем существенно отличается от последних. Отличие это заключается не только в характере вождей движения, но и в цели. Знамя, на котором было написано личное имя Константина, выкинуто было только для солдат, которых уверили, что они восстают за угнетенных – великого князя Константина и за его супругу «Конституцию» (великий князь был женат на польке, а польки-де иногда носят очень странные имена). Вожди движения были одинаково равнодушны к обоим именам: они действовали не во имя лица, а во имя порядка. Ни одно гвардейское движение XVIII в. не имело целью нового государственного порядка. Впрочем, это было только стремление к новому порядку; самый порядок не был выработан вождями движения. Выходя на улицу, они не несли за собою определенного плана государственного устройства; они просто хотели воспользоваться замешательством при дворе, для того чтобы вызвать общество к деятельности.

Их план таков: в случае удачи обратиться к Государственному совету и Сенату с предложением образовать временное

правительство из пяти членов; были даже намечены эти члены; между ними рядом с Пестелем, самой дельной головой в тайном обществе, должен был сесть и знакомый нам М. М. Сперанский. Временное правительство должно было руководить делами до собрания Земской думы, той самой Земской думы, план которой проектировал Александр со Сперанским в преобразовательном проекте. Земская дума как учредительное собрание и должна была разработать новое государственное устройство. Таким образом, вожди движения поставили себе целью новый порядок, предоставив выработку этого порядка представителям земли, значит, движение было вызвано не определенным планом государственного устройства, а более накипевшими чувствами, которые побуждали, как бы то ни было, направить дело по другой колее.

Тем не менее нет надобности приписывать этому движению особенно важные последствия. Один высокопоставленный сановник, встретив одного из арестованных декабристов, своего доброго знакомого князя Евгения Оболенского, с ужасом воскликнул: «Что вы наделали, князь! Вы отодвинули Россию, по крайней мере, на 50 лет назад». Это мнение утвердилось впоследствии; событие 14 декабря считали великим несчастьем, которое определило характер следующего царствования, как известно, очень нелиберального. Это – совершенно ложное представление; характер следующего царствования определился не 14 декабря; это царствование имело бы тот же характер и без 14 декабря; оно было прямым продолжением последнего десятилетия царствования Александра. Еще ранее 14 декабря предшественник Николая уже решительно вступил на ту дорогу, по которой шел его преемник. Притом мысль, чтобы мятеж 14 декабря мог отодвинуть Россию на 50 лет назад, невероятна уже потому, что в последние 50 лет она немного сделала шагов вперед: отодвинуться некуда было. Такое значение 14 декабря придавали, также помня фразу, которая не раз срывалась с языка Николая в продолжение его царствования; при встрече с каким-нибудь досадным проявлением вольного духа в обществе, он иногда говаривал: «Ah, ce sont tougours mes amis de quatorse».[18] Но напрасно было придавать этим словам буквальное значение. 14 декабря не было причиной направления следующего царствования; оно само было одним из последствий той причины, которая сообщила такое направление следующему царствованию. Причина эта заключалась в исходе, какой имели все преобразовательные начинания Александра.

Н.М. Карамзин

Н. М. Карамзин. *Литография с портрета работы А. Венецианова*

Карамзин смотрит на исторические явления, как смотрит зритель на то, что происходит на театральной сцене. Он следит за речами и поступками героев пьесы, за развитием драматической интриги, ее завязкой и развязкой. У него каждое действующее лицо позирует, каждый факт стремится разыграться в драматическую сцену. По временам является на сцену и народ; но он остается на заднем плане, у стены, отделяющей сцену от кулис, и является обыкновенно в роли deus ex machina,[19] или в виде молчаливой либо бестолково галдящей толпы. Он выводится не как историческая среда, в которой действуют герои, а тоже в роли особого героя, многоголового действующего лица.

Герои Карамзина действуют в пустом пространстве, без декораций, не имея ни исторической почвы под ногами, ни народной среды вокруг себя. Это – скорее воздушные тени, чем живые исторические лица. Они не представители народа, не выходят из него; это особые люди, живущие своей особой героической жизнью, сами себя родят, убивают один другого и потом куда-то уходят, иногда сильно хлопнув картонной дверью. Они ведут драматическое движение, но сами не движутся, не растут и не стареют, уходя со сцены такими же, какими пришли на нее: русские князья Южной Руси XI–XII вв. говорят, мыслят и чувствуют так же, как русские князья Северной Руси XIV и XV вв., т. е. как мыслил историк. Это люди разных хронологических периодов, но одинакового исторического возраста. Они говорят и делают, что заставляет их говорить и делать автор, потому что они герои, а не потому, что они герои, что говорят и делают это. От времени до времени сцена действий у Карамзина пустеет: герои прячутся за кулисы, и зритель видит одни декорации, обстановку, быт, житейский порядок – это в так называемых внутренних обозрениях… Но среди этого житейского порядка не видать живых людей и не поймешь его отношения к только что ушедшим героям: не видно ни того, чтобы из их речей и поступков должен был сложиться именно такой порядок, ни того, чтобы их речи и поступки были внушены таким порядком. Таким образом, у Карамзина действующие лица действуют без исторической обстановки, а историческая обстановка является без действующих лиц. Потому действующие лица кажутся невозможными, а обстановка действия ненужной. Но, лишенные исторической обстановки, действующие лица у Карамзина окружены особой нравственной атмосферой: это – отвлеченные понятия долга, чести, добра, зла, страсти, порока, добродетели.

Великіе Князья и Цари Россійскіе
РЮРИКЪ
ОЛГА
ЯГОРЬ
СВЯТОСЛАВЪ
ЯРОПОЛКЪ
ВЛАДИМІРЪ
СВЯТОПОЛКЪ
ЯРОСЛАВЪ
ИЗЯСЛАВЪ
СВЯТОСЛАВЪ
ВСЕВОЮДЪ
СВЯТОПОЛКЪ
ВЛАДИМІРЪ
МСТИСЛАВЪ
ЯРОПОЛКЪ
ВЯЧЕСЛАВЪ
ВСЕВОЮДЪ
ЯГОРЬ
ИЗЯСЛАВЪ
ЮРІЙ
АНДРЕЙ
ВСЕВОЮДЪ
ЮРІЙ
КОНСТАНТИНЪ
ЯРОСЛАВЪ
АЛЕКСАНДРЪ
ЯРОСЛАВЪ
ВАСИЛІЙ
ДМИТРІЙ
АНДРЕЙ
ДАНІИЛЪ
МИХАИЛЪ
ЮРІЙ
АЛЕКСАНДРЪ
ИОАНЪ
СИМЕОНЪ
ИОАНЪ
ДМИТРІЙ
ДМИТРІЙ
ВАСИЛІЙ
ВАСИЛІЙ
ВАСИЛІЙ
ИОАНЪ
ЦАРЬ ИОАНЪ
ФЕОДОРЪ
БОРИСЪ
ФЕОДОРЪ
ВАСИЛІЙ
МИХАИЛЪ
АЛЕКСЕЙ
ФЕОДОРЪ
ИОАНЪ
ПЕТРОМЪ

Родословное дерево «Великие князья и цари Российские»

Речи и поступки действующих лиц у Карамзина внушаются этими понятиями и ими же измеряются; это своего рода лампочки, прикрытые от зрителя рампой и бросающие особый от общего освещения залы свет на сцену. Но Карамзин не заглядывает за исторические кулисы, не следит за исторической связью причин и следствий, даже как будто неясно представляет себе, из действия каких исторических сил слагается исторический процесс и как они действуют. Потому у него с целой страной совершаются неожиданные повороты, похожие на мгновенную передвижку театральных декораций, вроде, например, его взгляда на ход дел в Русской земле до Ярослава I и после него, в удельное время, когда, по его словам, «государство, шагнув в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более 300 лет». Зато нравственная правда выдерживается старательно: порок обыкновенно наказывается, по крайней мере, всегда строго осуждается, страсть сама себя разрушает и т. п.

Взгляд Карамзина на историю строился не на исторической закономерности, а на нравственно-психологической эстетике. Его занимало не общество с его строением и складом, а человек с его личными качествами и случайностями личной жизни. Он следил в прошедшем не за накоплением средств материального и духовного существования человечества и не за работой сил, вырабатывавших эти средства, а за проявлениями нравственной силы и красоты в индивидуальных образах или массовых движениях. За этими, как он говорит, «героями добродетели, сильными мышцею и душою, или за яркими чертами ума народного свойства, нравов, драгоценными своею древностию». Он не объяснил и не обобщил, а живописал, морализировал и любовался, хотел сделать из истории России не похвальное слово русскому народу, как Ломоносов, а героическую эпопею русской доблести и славы. Конечно, он много помог русским людям лучше понимать свое прошлое; но еще больше он заставил их любить его. В этом главная заслуга его труда перед русским обществом и главный недостаток его перед исторической русской наукой.

Оптимизм, космополитизм, европеизм, абсолютизм, республиканизм – оставлены. Карамзин остался сентиментальным моралистом XVIII в. и приверженцем просвещения, как лучшего пути к доброй нравственности, которая – основание государственного развития и благоустройства. Остались и особенности его духа, развитые его литературной деятельностью, впечатлительность без анализа впечатлений,

изобразительность без чутья движения, процесса. Наблюдения и принесенные ими разочарования из либералиста в консерватора-патриота: «Всякое гражданское общество, веками утвержденное, есть святыня для граждан; насильственные потрясения гибельны».

Перемена во взгляде на реформу Петра. Впрочем, уцелел и еще один след влияния на него просветительной философии: историческая методика школы Руссо. Сочувствие к республиканскому правлению в «Марфе Посаднице» – влечение чувства, не внушение ума: политические и патриотические соображения склоняли к монархии, и притом к самодержавной. В той же повести слова князя Холмского. В спорах о лучшем образе правления для России он стоял на одном положении: Россия прежде всего должна быть великою, сильною и грозною в Европе, и только самодержавие может сделать ее таковою. Это убеждение, вынесенное из наблюдения над пространством, составом населения, степенью его развития, международным положением России, Карамзин превратил в закон основной исторической жизни России по методу опрокинутого исторического силлогизма: самодержавие – коренное начало русского государственного современного порядка; следовательно, его развитие – основной факт русской исторической жизни, самая сильная тенденция всех ее условий.

Герб Московского государства.
Из «Царского титулярника». 1672 г.

К.Н. Бестужев-Рюмин

2 января текущего (1897) года мы лишились К. Н. Бестужева-Рюмина,[20] 21 год состоявшего членом нашего Общества. Имя покойного принадлежит русской историографии, в летописях которой историческая критика отведет его ученым трудам подобающее почетное место. Мы теперь под несвеявшимся еще впечатлением понесенной потери почтим его память благодарным товарищеским воспоминанием.

Старших из здесь присутствующих я прошу Вас перенестись воспоминаниями лет за 40 назад, к концу 50-х годов.

Я принадлежу по возрасту к поколению тех из Вас, милостивые государи, чье историческое мышление пробуждалось в то время, делая первые усилия в познании родного прошлого. Едва одолев учебники истории всеобщей и русской, мы тогда усиленно читали «Четыре характеристики» Грановского в изданном Кудрявцевым в 1856 г. собрании его сочинений, Костомарова «Богдана Хмельницкого» и «Бунт Стеньки Разина» в выходивших тогда уже (1859) вторых изданиях, первые тома «Истории» Соловьева, его же «Исторические письма» и статьи Кудрявцева, Кавелина, Буслаева, Чичерина[21] и др. в «Русском вестнике», «Отечественных записках», «Современнике». Припомним также, что за этим чтением нас гораздо сильнее удерживало возбужденное общим движением любопытство юношеского ума, чем юношески незрелое понимание читаемого. Мы смутно чувствовали, что и в Русской историографии веет новым духом, который проникал тогда во все отношения, в самые сокровенные углы русской жизни.

Теперь, спустя 40 лет, много перечитав и передумав, быв свидетелями широкого и разностороннего развития русской историографии, мы можем оглянуться на то далекое время с чувством некоторого самодовольства. Наше тогдашнее смутное чутье нас не обманывало; мы знаем теперь, что русское историческое изучение переживало тогда глубокий перелом, успевший уже обнаружиться внушительными признаками. Археографическая комиссия обнародовала уже свои первые капитальные серии русских исторических источников, летописей и актов и в 1859 г. выпускала VII том «Дополнений к Актам историческим». В подмогу ей начали действовать Виленская и Киевская комиссии для разбора древних актов. Предпринято было немало других изданий памятников отечественной старины. Накоплялся значительный запас печатного архивного материала, и вместе с тем все более выяснялось, что в тысячу раз богатейший материал таится в рукописных книгохранилищах и архивах, ожидая работников. Сколько нового открыло тогда одно «Описание» Горского и Невоструева, начавшее выходить с 1856 г.!

С другой стороны, на смену старым собирателям памятников народного творчества и быта – Максимовичу, Сахарову, Снегиреву, Терещенку,[22] – выступил ряд их деятельных продолжателей: Бессонов, Рыбников, Даль, Шеин, а в 1860 г. Общество любителей российской словесности постановило издать песни, собранные П. Киреевским.[23] Много свежих или уже испытанных ученых сил с редкой энергией и превосходной подготовкой принимались за обработку этого нового сырого и разнообразного материала, изданного и неизданного: Буслаев, Афанасьев, Забелин, Победоносцев, Кавелин, Чичерин, Дмитриев, Тихонравов, Пыпин[24] и много-много других. В 1857 г. вышел первый том «Истории Русской Церкви» Макария.[25] Среди всех этих разнообразных, трудолюбивых и талантливых работ спокойным, мерным шагом, своей особой дорогой, по возможности никого не задевая, но и не выпуская из виду чужих трудов, выходила с 1851 г. «История России с древнейших времен» Соловьева, своими неизменными из года в год октябрьскими томами обозначая движение русской исторической науки, как часовая стрелка указывает на циферблате движение времени. Очевидно было, что течение русской историографии страшно дробилось, разбивалось на необозримо разносторонние специальные русла, и возникал вопрос, как следить за этим все увеличивавшимся разветвлением русско-исторической изыскательности, чтобы не потерять нити общего направления русской исторической мысли.

В этот момент в «Московском обозрении» 1859 г. появилась

без подписи автора обширная статья «Современное состояние русской истории как науки». Я был тогда еще слишком юн, далек от Москвы и от ученого мира и лишь много лет спустя узнал, что это статья Бестужева-Рюмина, а узнал это из приобретенного мною еще в студенческие годы экземпляра «Московского обозрения», на котором было написано: «Воспитаннику 3-го спец. класса Феодору Строкину на память от издателя». Под статьей рукой внимательного читателя, сделавшего в книге на полях много заметок, карандашом подписано: *Бестужев*. Бестужев-Рюмин участвовал в издании «Московского обозрения». Около того же времени он преподавал историю в Московских корпусах: не он ли сделал эту надпись, даря книгу со своей статьей одному из старших своих учеников? Я не знаю, какое впечатление произвела эта статья на своих читателей при своем появлении. Перечитывая ее теперь, видим, что она написана бойко и живо и обличает в авторе человека много читавшего, который при случае кстати припомнит и издания Сахарова, и различие между поэзией и историей по Аристотелю,[26] и Геро де Сешеля,[27] требовавшего себе из библиотеки законов Миноса[28] для составления Французской конституции 1793 г., и сделает надлежащую выдержку из Маколея, Грановского, Юлиана Шмита.[29] Главное содержание статьи – критический разбор первых восьми томов «Истории» Соловьева. Но чтобы быть вполне справедливым к своему учителю, которого он слушал в Московском университете, критик обозревает, как понимали историю и как пользовались источниками предшественники Соловьева, писавшие полную историю России: князь Щербатов, Карамзин и Полевой, потом говорит о состоянии разработки источников в эпоху появления «Истории» Соловьева и всему этому предпосылает изложение современных требований от историка как выразителя народного самопознания. Требования очень суровы и трудно выполнимы – это те сложные, возвышенные, словом, идеальные требования, какие, со слов великих мастеров историографии или глядя на их мастерские произведения, любят предъявлять молодые читатели и начинающие ученые, над которыми добродушно покачивают головой искушенные опытом и трудом обыкновенные историки. Соловьев, разумеется, не вполне удовлетворительно выдержал вооруженную такими требованиями критику своего ученика, хотя последний и отнесся к нему с большим почтением.

Но эта большая статья гораздо важнее была для самого автора, чем для Соловьева и других современных русских историков, столь же строго им разобранных. Я думаю, что этот первый большой опыт Бестужева-Рюмина по русской истории окончательно сложил его взгляд на научное дело и на задачи его

собственной научной деятельности. Он, 30-летний ученый, в этой первой серьезной пробе своего ученого пера, обозревая движение русской историографии, продумал в последовательном порядке основные факты нашей истории, пересмотрел ее источники с Карамзиным, Соловьевым и Кавелиным в руках, воочию убедился, как осторожно и обдуманно надобно ими пользоваться, на образцах поучился технике исторической работы. Его критические уроки, сказанные учителям, несомненно гораздо более научили самого критика, чем их.

Этим определялось дальнейшее направление его ученых работ. Отправляясь от основательного изучения состояния, в каком он застал русскую историографию при своем вступлении на ученое поприще, он потом всю жизнь оставался зорким наблюдателем ее движения. Я даже не умею назвать, кто бы с большим вниманием следил за русской исторической литературой нашего времени. Призванный через несколько лет преподавать русскую историю в С.-Петербургском университете, он, сколько мне известно, и в свои курсы вводил вместе с обзором русских исторических источников обзор новейшей русской историографии. Всякий начинающий дельный исследователь по русской истории был им тотчас замечаем и встречал в нем внимательного и доброжелательного ценителя. Помню, видясь с ним в давние редкие приезды его в Москву, бывало, едва поспеваешь отвечать на его нетерпеливые вопросы, кто чем занимается в Москве из молодых ученых по русской истории, что кто задумывает написать, не найдено ли чего нового в рукописях в московских архивах. Сам он не брался за большие специальные работы по неизданным архивным или рукописным источникам. Правда, он оставил крупный след в разработке русских исторических источников: в 1868 г. вышла его известная диссертация «О составе русских летописей до конца XIV в.». Этим трудом он укрепил в нашей исторической литературе прием изучения, который при умелом обращении с ним приносит плодотворные результаты, – это тонкий критический разбор составных частей памятника и их часто трудноуловимого происхождения. Я назвал бы этот прием, как он был выработан Бестужевым-Рюминым на изучении древнейших летописных сводов, – химическим анализом исторического источника.

В общем движении русской историографии он шел до конца своей особой дорогой, избрал себе здесь свое специальное дело, и это дело прямо отвечало на вопрос, поставленный широким развитием русского исторического изучения: он следил за все осложнявшимся движением русской исторической литературы, сводил, подсчитывал ее научные итоги, наблюдал ее общее

направление и по временам отмечал в ней сомнительные или неосторожные уклонения. Плодом этих многочисленных наблюдений и изучений и была его «Русская история», первый том которой вышел в 1872 г. Он сам объясняет задачу этого труда в первых строках предисловья: «Цель этой книги – представить результаты, добытые русскою историческою наукою в полтораста лет ее развития, указать на пути, которыми добывались и добываются эти результаты, и вместе с тем ввести в круг источников, доступных в настоящее время ученой деятельности». Кто из занимающихся русской историей переносит эту своеобразную книгу с письменного стола на полку! Она ежеминутно надобится, как путеводитель при обзоре осматриваемого города. Ее своеобразность в том, что в ней настоящий текст в нижней половине ее страниц, в этих неистощимо обильных цитатах и примечаниях, а верхняя половина – только прагматический фон или фактическая канва, по которой тщательной и удивительно терпеливой рукой выведены лучшие усилия и успехи русского труда и ума по изучению родного прошлого. Нисколько не умаляя и не преувеличивая этого труда, можно сказать, что это не только русская история, но и история работы русской мысли над русской историей. Сам автор хотел дать в своей книге руководство или, лучше, пособие приступающим к самостоятельному изучению русской истории. Собирая, сопоставляя и разбирая мнения, высказанные в литературе, он не выставляет на первый план своих, а высказывает их только кстати, как научную возможность или робкий призыв ученой братии к содействию, проверке и правке. Книга составилась постепенно из университетских чтений, в которых профессор, по его признанию, всегда давал много места оценке источников и пособий и критическому изложению высказываемых в науке мнений.

Зал инкунабул в Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге

С.М. Соловьев

Ученый. С. М. Соловьев родился 5 мая 1820 г. в Москве.[30] Отец его, протоиерей Михаил Васильевич, был законоучителем в Московском коммерческом училище. Первоначальное образование Сергей Михайлович получил дома и только уже на 14-м году поступил в I Московскую гимназию прямо в третий класс. Окончив гимназический курс в 1838 г. с отличным успехом (имя его осталось на золотой доске гимназии), он перешел в Московский университет на первое отделение философского факультета, как тогда назывался историко-филологический факультет.

Из гимназии он вынес основательное знание древних классических языков, и им посвящен был первый литературный опыт, явившийся в печати с именем Соловьева. Это была произнесенная им на гимназическом акте при выпуске речь «О значении древних классических языков при изучении языка отечественного». Изучение древних языков продолжалось и в университете, где в то время сильно действовал на умы слушателей своими блестящими и полными новизны лекциями о древней истории профессор римской словесности Д. Л. Крюков. По рассказу самого Соловьева, Крюков даже предлагал ему специально готовиться под его руководством к занятию кафедры римской словесности. Но Соловьев уже решил выбор ученой специальности, посвятив себя изучению истории, преимущественно отечественной. В это же время, когда Соловьев был на втором курсе (1839), начал свою столь памятную в истории Московского университета ученую деятельность только что вернувшийся из-за границы преподаватель всеобщей истории Т. Грановский. Вместе со многими товарищами Соловьев подчинился обаятельному действию сильного таланта. Впоследствии исторические занятия сблизили его с Грановским, Соловьев стал потом его ближайшим товарищем и до конца его жизни остался связан с ним самой тесной дружбой.

В студенческие годы Соловьева русскую историю преподавал в Московском университете известный М. П. Погодин. Тогда уже близилась к концу его профессорская деятельность, прекратившаяся неожиданно для него самого в 1844 г., когда он по некоторым причинам покинул службу в университете в надежде вернуться туда года через два – и уже не возвращался. Погодин заметил даровитого студента, прилежно и с успехом занимавшегося изучением отечественной истории. Задумав оставить университет на время, Погодин, года за два до своей отставки, предуведомляя совет об этом намерении, указал ему в числе других кандидатов для замещения своей кафедры (Григорьева и Бычкова) и на студента Соловьева, бывшего тогда на последнем курсе.

Тотчас по окончании университетского курса новому кандидату 1-го отделения философского факультета представился случай побывать за границей и там довершить свое историческое образование. Он отправился туда с семейством графа А. Г. Строганова, которому рекомендовал молодого кандидата тогдашний попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов. Соловьев пробыл за границей два года (1842–1844). Проездом он посещал Берлинский университет, бывал, между прочим, в аудитории Неандера;[31] в Праге

познакомился и много беседовал об истории славянства и России с Шафариком[32] и другими чешскими учеными. Но главным местом его заграничных занятий был Париж. Здесь он много читал и много слушал, посещая усердно лекции Ампера, Кинэ, Ленормана, Мишле, Рауль-Рошетта, Ж. Симона, Ф. Шаля, также Фр. Араго и Мицкевича. К изучению истории России он старался подготовить себя основательным знакомством с историей всеобщей, особенно с теми ее явлениями, которые имеют прямую или косвенную связь с фактами нашего прошедшего. Впрочем, и на чужой стороне не прекращались занятия отечественной историей: в Париже Соловьев если не писал, то обдумал и подготовил свою мастерскую диссертацию, которую представил факультету вскоре по возвращении в Москву, в начале 1845 г., выдержав перед тем экзамен на степень магистра русской истории.

Возвратившись из-за границы, Соловьев чрезвычайно быстро прошел ряд испытаний, обязательных для ученого, ищущего профессуры, хотя эти испытания в то время были несравненно сложнее и труднее, чем стали теперь. Так, публичной защите диссертации в то время предшествовал диспут в закрытом заседании факультета, чем приобреталось право на словесный экзамен и на публичную защиту диссертации. Выдержав магистерский экзамен в начале 1845 г., он дважды напечатал и в октябре того же года защитил магистерскую диссертацию «Об отношениях Новгорода к великим князьям». Через год факультету была уже представлена им докторская диссертация «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома» – объемистая книга в 700 страниц. Такая скорость тем удивительнее, что она не отразилась заметно на качестве ученой работы и что, в то время как писалась эта книга, автору ее пришлось работать над другим делом, самым трудным в ученой жизни профессора. В июле 1845 г., по предложению попечителя, он был избран в преподаватели русской истории в Московском университете, читать свой первый курс в университете. А после защиты магистерской диссертации Соловьев утвержден был на кафедре русской истории, впрочем, только в звании исправляющего должность адъюнкта, хотя уже имел степень магистра. Определение совета Московского университета, дозволявшее печатать представленную Соловьевым на степень доктора диссертацию, состоялось 18 декабря 1846 г., в июне следующего года диссертация была защищена. А в промежутке 27-летний магистр русской истории успел сдать экзамен на степень доктора исторических наук, политической экономии и статистики – экзамен, на котором ему предложено было 11

вопросов из этих наук, а также из древней и новой географии. В три года со времени возвращения из-за границы – два экзамена и две диссертации с четырьмя диспутами, не считая первого курса русской истории, читанного студентам в 1845/46 академическом году, не считая и ряда статей, написанных в то же время. Русские ученые поднимались редко по лестнице ученых степеней так быстро и с таким успехом. Уже в те годы Соловьев в совершенстве обладал тем умением беречь время, которое дало ему возможность сделать так много впоследствии.

Обе диссертации создали автору громкую известность не только в тесном кругу ученых, но и во всем читающем обществе. Первое его исследование, выпущенное в свет в ограниченном количестве экземпляров, разошлось так быстро и так настойчиво спрашивалось публикой, что в 1846 г. автор принужден был с некоторыми пополнениями перепечатать его в «Чтениях Общества истории и древностей Российских». По свидетельству одного тогдашнего московского литератора-наблюдателя, первую диссертацию Соловьева «все литературные партии встретили самым решительным одобрением без различия мнений». Вторую диссертацию встретили с таким же, если не с большим сочувствием, которое сказалось и на диспуте (9 июня 1847 г.) и в печати. «Диспут блестящий!» – так начал упомянутый наблюдатель свой отчет о нем: «Несмотря на летнее время, – продолжает он, – когда Москва пустеет, большая университетская аудитория была полна. Кроме профессоров и студентов, было много лиц сторонних. Некоторые посетители и посетительницы не задумались для ученого торжества приехать с дач; публика живо заинтересовалась и следила с участием за диалектикой и доводами говоривших», а говорили, возражая Соловьеву, Грановский, Бодянский, Кавелин и студент Клеванов. Незадолго до диспута ученый из другого литературного лагеря, враждебного тому, к которому примкнул Соловьев, известный И. Д. Беляев в «Московском городском листке» поместил о его книге небольшую, но бойкую статейку, подобные которой ему редко удавалось писать потом. Здесь рецензент называл труд Соловьева «книгой, по своему превосходному содержанию долженствующей быть настольною у каждого занимающегося русскою историей», книгой, которую «можно прочесть с удовольствием десять раз и больше». Строгая логическая последовательность в выводах, по признанию критика, царит над всем сочинением; выводы и факты являются в книге чем-то неразрывным, родным друг другу; иногда даже дивишься, прибавляет Беляев, отчего прежние историки не замечали того, что так естественно и просто открыл Соловьев.

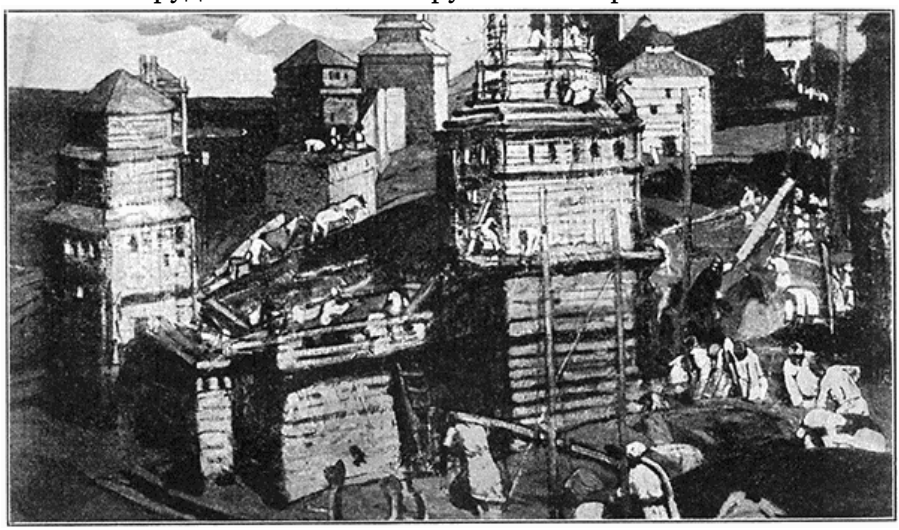
Успех обеих диссертаций, не устаревших и доселе, объясняется не одним талантом автора, но и его серьезной подготовкой. В этих первых ученых опытах своих начинавший историк выступил уже с обдуманными историческими понятиями, с определенным взглядом на задачи и приемы исторического изучения. Этот взгляд определился с помощью раннего и близкого знакомства Соловьева с современным состоянием исторической науки на Западе. Знакомство это началось еще на студенческой скамье в Москве, и потому ему преимущественно посвящены были двухлетние заграничные занятия. В «Москвитянине» в 1843 г. напечатана была чрезвычайно живая, с юношеским одушевлением написанная статья о Парижском университете, под которой стоит пометка: «Прага Чешская, 23 июня 1843 г.». С большим увлечением, которое сообщается и читателю, передает здесь московский слушатель французских профессоров впечатления, накопившиеся в нем в продолжение академического года, когда он усердно посещал Сорбонну. Это ряд метких характеристик преподавателей, которых он слушал в Париже, с остроумными замечаниями о характере и манерах французского университетского преподавания. Мишле, например, выдержками из его лекций очерчен во весь рост с его отвращением к системе, внешней беспорядочностью и болтливостью изложения и блестящей, ловко заостренной и иногда очень меткой отдельной фразой. Но Соловьев не увлекался восторженной импровизацией французских профессоров. Отдавая должное внешним качествам их преподавания, он хорошо видит его внутренние недостатки, превращающие университетскую лекцию в публичную ораторскую речь.

Н. Рерих. **Заморские гости**

Очевидно, не под влиянием этих более ораторских, чем ученых, чтений складывался взгляд Соловьева на задачи и приемы научного исторического исследования. Притом курсы, слушанные им в Париже, по крайней мере те, о которых он отдает отчет в своей пражской статье, и по содержанию своему были слишком далеки от того порядка исторических явлений, на котором он потом останавливал преимущественное внимание в своих исследованиях, а в краткой автобиографической статье, составленной им для «Словаря профессоров Московского университета» (1855), он сам заметил, что за границей «он продолжал исторические занятия, разрабатывая преимущественно те предметы, которые имели ближайшее отношение к его главному предмету – отечественной истории. В Париже он слушал в 1842–1843 гг. чтения С.-Марка Жирардена о французской драме, Ф. Шаля – по историй немецкой литературы, Кинэ – по истории древней немецкой, итальянской и испанской литературы, Ампера – о французской литературе XVII в., Россе С.-Илера – о состоянии Италии до основания Рима, филолога Патена – о комедиях Теренция, Ж. Симона – о философии, Ленормана, преемника Гизо по кафедре новой истории, – о Евангелии и христианстве, наконец, Мишле, курс которого, называвшийся философией истории, по-видимому, мало соответствовал своему названию. Разнообразие этих курсов свидетельствует о широкой любознательности молодого кандидата, посвятившего себя

изучению отечественной истории, но его исторические взгляды вырабатывались больше путем обширного чтения, чем под влиянием заграничной университетской кафедры.

В то время изучена была Соловьевым большая часть важнейших произведений западноевропейской исторической литературы, многочисленные выписки из которых он хранил в своих бумагах. Из всех представителей европейской историографии XIX в. никого не ставил он так высоко, как Гизо, а из исторических произведений прошлого столетия великое научное значение придавал он философии истории Вико (Scienza nuova). Эти имена бросают некоторый свет на источник и характер общих исторических воззрений, которые легли в основание трудов Соловьева по русской истории.



Н. Рерих. **Сооружение древнего русского города**

С начала нынешнего века европейская историческая литература стала заметно принимать иное направление, какое лишь изредка появлялось в ней прежде отдельными робкими попытками без взаимной связи и последовательного развития. Философски, apriori построенные схемы в истории стали терять прежнюю цену, как еще раньше потеряли ее разные историко-дидактические построения судеб человечества. Исторический опыт, тяжелые и быстрые перемены, часто совершенно непредвиденные, какие были испытаны европейскими обществами с конца прошедшего столетия, привели к мысли, что в истории, помимо той пищи, какую она доставляет философскому и эстетическому созерцанию, есть еще сторона, более важная для изучения и более нужная для практических потребностей настоящего и будущего, – это природа и действие

сил и условий, участвующих в построении человеческих обществ. Историческая мысль стала внимательно всматриваться в то, что можно назвать механизмом человеческого общежития. В этом наблюдении она пошла двумя путями, направляемая различными впечатлениями, какие вынесены были из недавнего опыта. Этот опыт состоял из ряда потрясений, совершившихся в политической жизни обществ и вызванных борьбою сменой разных государственных порядков, и, чтобы найти причину столь великих и неожиданных крушений, одни наблюдатели обратились к рассмотрению политической конструкции, кладки разных обществ и изучений процесса, каким они складывались. Но один и тот же политический порядок имел неодинаковую судьбу в разных местах, приводил к различным последствиям. Порядок, по-видимому, наиболее разумно проектированный и обещавший прочно обеспечить человеческое благополучие на иной почве не принимался, портился, разрушал спокойствие и благосостояние целого общества и уступал место другому, казавшемуся худшим, как будто в деле политических учреждений кладка, технически лучшая, может быть негодной на иной исторической почве. И потому другие наблюдатели сосредоточивали свое внимание на свойствах этой почвы и того материала, который из нее извлекался для построения общества. Так задача исторического исследования раздвоилась: для одних предметом его сделались преимущественно генезис и развитие политических форм и социальных отношений, политика и право, для других – рост национальных преданий и обычаев, дух и быт народа. Это раздвоение по существу своему не давало повода к антагонизму обоих направлений в исторической науке. Оно, собственно, было не более как простым разделением труда в работе над одним и тем же предметом; однако же это разделение иногда принималось за различие самых воззрений, принципов и вызывало борьбу.

Соловьев присоединился к первой из этих школ, если можно так назвать указанные направления, господствовавшие в исторической литературе. Преемство политических форм, происхождение и развитие сословного расчленения общества и т. п. – таковы были предметы, на которых он прежде и больше всего сосредоточил свое внимание, как только принялся за самостоятельную обработку отечественной истории по окончании приготовительных занятий. С таким взглядом на задачи исторического изучения возвратился он в 1844 г. из-за границы, и присутствие программы, построенной на таком взгляде, заметно уже в содержании первого университетского курса, читанного им в 1845/46 академическом году.

В подробном «Отчете о состоянии и действиях Московского университета» за этот год читаем, что исправляющий должность адъюнкта магистр Соловьев преподавал по собственным запискам русскую историю студентам 3-го курса 1-го отделения философского факультета и 2-го курса юридического по 4 часа в неделю, предполагая довести свой курс до новейших времен. «Преподаватель особенно обращает внимание своих слушателей на родовой быт, господствовавший в Древней Руси, и постепенный переход его в быт государственный; равно обращает особенное внимание на отношение между Русью Московской и Русью Литовской и на историю сословий».

Сверх того, студентам 4-го курса философского факультета он преподавал по 2 часа в неделю специальный курс, предметом которого была «история междуцарствия». В отчетах ближайших следующих лет находим указания только на содержание этих специальных курсов: в 1846/47 г. читана была история царствования трех первых государей из дома Романовых, в 1847/48 г. – история Петра Великого и т. д. Но уже из отчета за первый год преподавательской деятельности Соловьева достаточно видны содержание и характер его другого курса, который студенты слушали прежде специального. Это был общий обзор истории России, столь памятный всем его слушавшим, который останавливался там, откуда профессор в следующем году предполагал вести более подробное его продолжение. Так уже в первые годы Соловьев установил тот порядок преподавания, которого он долго держался потом. Начав специальное изложение с эпохи, на которой прервалась «История государства Российского» Карамзина, Соловьев с каждым годом понемногу подвигался все дальше вперед, но студент специально знакомился с доставшейся ему эпохой, уже подготовленный к тому общим курсом русской истории с древнейших времен. Содержанием этого курса была именно смена политических форм с объяснением исторических обстоятельств, при которых одна из них зарождалась, падала и переходила в другую, и с указанием перемен, какие при господстве той или другой из них происходили в составе общества и во взаимных отношениях его частей. С течением времени фактические подробности в этом курсе сглаживались все более, так что он превратился, наконец, в непрерывную цепь обобщений, в историко-философскую формулу политического и социального развития России. Тот же самый взгляд на задачи исторического изучения проходит и по обеим диссертациям Соловьева, и последовательное проведение в них этого взгляда было главной причиной сильного впечатления, какое они произвели на читающее общество.

Такое генетическое изучение форм и отношений государственного и общественного быта России было тогда если не совершенной новостью в нашей историографии, то, во всяком случае, явлением, к которому еще не привыкли, которому предшествовали слабые попытки в этом роде. А в обеих первых книгах Соловьева, даже в их заглавиях, как в устном изложении с университетской кафедры, так потом в «Истории России» на первом плане именно отношения. В диссертации об отношениях Новгорода к князьям сделана попытка объяснить социальное происхождение и первоначальное устройство русского города древнейшего времени.

Здесь же впервые высказана была мысль, которой потом историк дал такую важную роль в ходе политической истории России, – мысль о политическом значении новых городов, возникших в Северной Руси XII в., среди которых сложилось понятие об отдельной княжеской собственности, уделе, сменившее прежний порядок владельческих отношений между князьями, основанный на понятии об общности, нераздельности владения. Задачей исследования было изучение «характера новгородского народовластия», решение вопроса: «Был ли Новгород республикою, в которой развивался особый быт, не имевший ничего общего с бытом других городов русских, отделился ли он своим бытом при Ярославе I, или отделился от новой Руси вместе со старой и потом, оставшись один представителем последней, не мог удержать старины и преклонился перед городами юными?»

Тот же взгляд во второй диссертации приложен к кругу явлений нашей политической истории, еще более широкому. В нашей исторической литературе это был первый опыт, имевший целью вывести из одного начала и изобразить в виде непрерывного, последовательного процесса ряд форм политического быта, сменившихся в России с половины IX до конца XVI вв. Восстановляя этот процесс, Соловьев высказался решительно против искусственного деления нашей истории, против названий одного периода удельным, другого монгольским, дающих неверное понятие о характере времени или разрывающих естественную связь событий, «естественное развитие общества из самого себя». Книга об отношениях русских князей Рюрикова дома, по основной своей мысли, имеет тесную внутреннюю связь с исследованием о новгородских отношениях, развивает положения, намеченные в последнем. В этой книге получил окончательную обработку факт, который обозначен был Соловьевым как главное содержание его первого университетского курса. Факт постепенного перехода родовых

отношений, служивших первоначальным основанием порядка княжеского владения, в отношения государственные.

Посредствующим моментом, через который совершился этот переход от одного порядка к другому, служило понятие о княжестве как об отдельной собственности князя, понятие, происхождение которого объяснено было автором в исследовании о Новгороде и которое, на его взгляд, возникло из отношений, установившихся между новыми городами Северной Руси и князем. Что вызвало государственные отношения, спрашивает исследователь, и что дало им торжество над родовыми? Ответом на этот вопрос служит такой ряд исторических соображений. По распадении Ярославова княжеского рода на семьи, часто одна другой враждебные, семья северных князей не развивается в род, как это было на юге, где обособлявшиеся княжеские семьи стремились опять развиться в роды с прежними родовыми отношениями. На Севере первоначальная княжеская семья, отделившись от южных, в дальнейшем развитии своем распадается на такие же отдельные семьи, которые не смыкаются в родовое целое, между которыми не повторяются прежние родовые отношения. Это потому, что нет условия, при котором только они и могли повториться, «нет более понятия об общности, нераздельности владения». Отсюда «постоянное разделение и постоянная борьба между княжествами», что «дает сильнейшему возможность подчинить себе слабейшие. Эта возможность основывается на понятии об отдельной собственности, которая исключала родовое единство. Понятие же об отдельной собственности явилось на Севере вследствие преобладания там городов новых, которые, получив свое бытие от князя, были его собственностью». Таким образом, родовой быт, господствовавший в Древней Руси, является началом, из которого последовательно развился ее политический порядок, и самый этот быт, как исходная точка развития древнерусских политических форм, исследован историком более в явлениях политического порядка, чем в явлениях гражданского общежития, в кругу частных гражданских понятий и отношений.

А. Кившенко. **Призвание князя – встреча князя с дружиной, старейшинами и народом славянского города**

Со времени возвращения своего из-за границы Соловьев удивительно много пишет. В одно время с обеими диссертациями и вслед за ними составлен был им ряд значительных по объему статей не только по русской, но и по всеобщей истории. В 1846 и 1847 гг., когда писалась и печаталась книга об отношениях князей, напечатаны были в разных периодических изданиях исследования о нравах и обычаях Древней Руси от времен Ярослава I до нашествия монголов, о состоянии духовенства в России до половины XIII в., местничестве, Мстиславе Храбром, Данииле, князе Галицком. Сверх того, изложена была русская летопись для первоначального чтения и составлены два очерка по всеобщей истории – «Рим» и «Варвары». В 1848 г. приготовлены были к печати две обширные статьи, из которых одна содержала в себе обзор событий русской истории от кончины царя Феодора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых, другая – очерк истории Малороссии до подчинения ее царю Алексею Михайловичу. Исследования, обзоры, очерки, критики и рецензии идут непрерывным рядом до 1851 г., продолжаются и далее, вливаясь потом из разных повременных изданий, подобно притокам большой реки, в «Историю России с древнейших времен». Следует также припомнить, что к 1850 г. у Соловьева был уже готов на кафедре цельный общий курс древней русской

истории и специально изложена была история XVII и начала XVIII вв.

Такой усиленной ученой деятельностью приготовлялся Соловьев к труду, который стал главным делом его жизни и навсегда связал его имя с успехами русской исторической науки и русского общественного сознания. Важнейшие источники древней русской истории были уже им изучены, важнейшие ее явления обдуманы и приведены во взаимную связь, когда 30-летний историк, по достижении профессорского звания (в июле 1850 г. утвержден был ординарным профессором), предпринял, как он сам замечает в своей упомянутой выше автобиографической записке, «труд написать полную отечественную историю с древнейших времен до настоящего». В августе 1851 г. вышел первый том этой «Истории», и потом, в продолжение 27 лет, каждый следующий том с неизменной точностью являлся через год после предшествующего.

В. Васнецов. **Основание Москвы. Постройка первых стен Кремля Юрием Долгоруким в 1156 году**

Появление этого капитального труда многими встречено было с некоторым недоверием: многим еще казалось слишком смелым писать историю России после Карамзина. Но знаменитая книга Карамзина, прочитанная столь многими, воспитавшая в обществе нашем столь живой интерес к собственному прошедшему, была отражением умственного состояния этого общества, которое уже было отжито им до половины XIX в. Она не

отвечала на исторические вопросы, которые успели выступить в нашем общественном сознании со смерти знаменитого историографа, не отвечала требованиям, с какими стали обращаться к историографии. Около половины нашего века, в истории искали уже не одних «удовольствий для сердца и разума», не пищи для воображения, не «созерцания многообразных случаев и характеров, которые занимают умы или питают чувствительность», но искали и других, более сухих и прозаических указаний. Присутствие этой потребности в нашей литературе за много лет до выхода первого тома «Истории России» Соловьева, между прочим, доказывается появлением исторического труда, отличающегося мыслью и талантом, но составленного слишком торопливо и без достаточной подготовки, – «Истории русского народа» Полевого.

Пока историческая критика разберется в огромном труде Соловьева и оценит его научные результаты, обновим еще раз в памяти то, что было нами в нем читано в продолжение столь многих лет, те основные мысли, в которых выразился взгляд историка на ход нашей истории, и которые надолго останутся точкой отправления и опоры для дальнейшего изучения русского прошедшего. Этот взгляд, обнимая собой девять веков жизни русского народа, проходит чрез длинный ряд томов «Истории» цельной связующей их нитью, которая, о чем никогда не перестанет жалеть русская историческая наука, прерывается на последней четверти прошлого столетия, оставляя нас без последнего слова, без окончательного суждения историка, которое не только осветило бы смысл и значение этого века в нашей истории, но и бросило бы луч исторического света на времена, еще более к нам близкие.

Когда Соловьев начинал писать первый том своей «Истории России», процесс русской исторической жизни, как он понимал его, уже представлялся ему вполне ясно, и оставалось только изложить его подробности. Взгляд на этот процесс определился и установился в первых трудах историка, который остался верен ему и впоследствии. В предисловии к первому тому этот взгляд тот же, каким находим его и 13 лет спустя, когда повествователь, дошедши до конца XVII в., на минуту остановился, чтобы оглянуться на оставшееся позади его время. Согласно с задачей исторического изучения, рано им усвоенной, он поставил главной целью своего труда воспроизвести последовательный рост политической и социальной жизни России. «Не делить, не дробить русскую историю на отдельные части, периоды, но соединять их, следить преимущественно за связью явлений, непосредственным преемством форм. Не разделять начал, но

рассматривать их во взаимодействии, стараться объяснять каждое явление из внутренних причин – вот обязанность историка в настоящее время, как понимает ее автор предлагаемого труда». Преемство именно политических и общественных форм, в какие облекалась жизнь русского народа, несколько раз изложено было историком и в главном труде и отдельных опытах. Так, в одной статье 1857 г. это преемство изображено кратко в виде схемы, отмечающей только самые крупные явления, главные моменты исторического процесса.

На нашей равнине до Рюрика живет несколько редко разбросанных народцев славянских и финских. Они живут особыми, замкнутыми, самостоятельными родами. В некоторых племенах на севере эти роды были приведены к единству под одну общую власть сначала силою, были покорены пришлыми варягами. По изгнании последних, родовая особенность высказалась в усобицах, «встал род на род». Тогда обращаются к недавно испытанному средству, уже добровольно призывают общую власть. Пользуясь соединенными силами призвавших племен, князья подчиняют себе все остальные. Вместо племен, по соединении их, являются волости, каждая со своим князем, но эти князья все – члены одного нераздельного рода, и эта нераздельность поддерживает единство земли во время государственного младенчества. Потом волости соединяются в государство, их князья исчезают, является единовластие. По окончании медленного, вследствие громадности страны, процесса государственного объединения Русское государство получает возможность войти в систему европейских государств с сильным влиянием.

В «Истории России» эта историческая формула раскрывается в таких приблизительно чертах.

Некогда какой-то враг вытеснил славян, именно наших предков, с Дуная, погнав их на девственный северо-восток, из лучшей страны в худшую. Так история-мачеха заставляла их населить страну, где природа является мачехою для человека, тогда как немцы шли в обратном направлении, на юго-запад, из худших стран в лучшие, в области Римской империи, где природа для человека – мать и где притом была уже цивилизация. В этом причина различия всей истории этих двух племен – братьев по происхождению. Наши славяне со своими родами, с их князьками разбросались, затерялись на великой Русской равнине, в поселках по Днестру, Днепру, Оке и т. д. Их городки – огороженные села. Из соседней степи налетят кочевники: городки падали, и степной хищник запрягал славянских женщин в свою телегу. Промчится буря, и все тихо по-прежнему; от хищников остается одна

пословица: «Изгибоша аки Обри»; силы не возбуждаются постоянным присутствием врага, как у германцев в соседстве с римлянами. Но и для наших славян пробил час исторической жизни. На Днепре показываются лодки: плывет из Новгорода русский князь с дружиной. «Платите нам дань», – говорят они в каждом встречном селении. Дело не новое: несут меха, чтобы сбыть гостей поскорее. Но гости не уходят, усаживаются в Киеве, рубят городки, ходят по рекам и речкам за данью. Люди уходят из сел, покидая своих родовых князьков, селятся около городков, где есть льгота и защита, можно много заработать, уходят с князем в поход на Царьград, вступают в дружину, где жить хорошо: от всех почет и всего вволю. Племенное деление исчезает: население делится на сословия – княжих мужей, полных людей, и полулюдей, мужиков, последние – на городских промышленников и сельчан; земля делится не на племенные области, а на княжения, называющиеся по именам главных городов, правительственных средоточий.

Так изменился быт населения под влиянием правительственного начала, но и последнее подпало влиянию туземного быта. В населении равнины господствовал родовой быт. По смерти Ярослава до конца XII в. и между князьями действуют родовые отношения. На них основан порядок владения землей, которую князья считают нераздельным достоянием всего своего рода, отсюда сильное, непрерывное движение, передвижка князей из волоки в волость по старшинству, борьба, споры, усобицы. Но эта беспорядочная беготня князей по волостям не давала последним обособляться, волею-неволею вовлекала их в общую жизнь, создавала общие всем им интересы, укореняла в них сознание своей взаимности, нераздельности всей земли и, таким образом, положила прочное основание государственному и народному единству.

Отдельные племена с призванием князей приведены были в связь, преимущественно внешнюю. Благодаря родовым княжеским отношениям, со смерти Ярослава является впервые русский народ. Теми же отношениями определился и склад общества. Увлеченная вихрем княжеского движения, дружина не приобрела самостоятельного положения ни в качестве оседлых землевладельцев по областям, как феодальное дворянство на западе, ни в качестве наследственных областных правителей, как польское вельможество. Оставаясь бродячим военным братством с правом служить какому захочет князю, она не привыкла действовать дружно; каждый руководился личными, а не сословными интересами. Но при подвижности князей и их дружин получают значение главные города областей со своими

вечами. Они – сила постоянная – пользуются ослаблением князей от усобиц; область смотрит, что скажут, как решат на вече в ее старшем городе, и привыкает руководиться этим решением. Так подле власти князя является власть городского веча, но та же подвижность князей мешала точно определить отношения обеих властей друг к другу. Бродячие князья, не думающие ни о чем прочном, постоянном, бродячие дружины, городские веча с первоначальными формами народных собраний без всяких определений, без крепких форм, способных упрочить местное самоуправление, и, наконец, высшее духовенство во главе с митрополитом-греком, чужим человеком без языка перед народом и влияния, – таковы созданные или поддержанные родовыми княжескими отношениями элементы русского общества XI и XII вв.

Н. Рерих. **Рать на походе**

Как же вышло это общество из такого жидкого, колеблющегося состояния?

Пользуясь неурядицей, кочевники стали одолевать Русь в своем напоре из степи. Это заставило часть жителей Юго-Западной Украины выселиться в страны, более спокойные, дальше на северо-восток, в область Верхней Волги. Но здесь уже хозяйничает князь; поселенцы садятся на его земле, в его городах, получают от него льготы, всем ему обязаны, от него во всем зависят. Из этой зависимости развивается здесь сильная княжеская власть, какой не было на юго-западе, и вместе с ней – оседлость князя, привязанность к своему княжеству, а отсюда – понятие о *моем*, о княжестве как собственности князя. Так на севере со времени Андрея Боголюбского являются основания

нового политического порядка. Понятие об отдельной собственности развивает в князьях стремление увеличить свое княжество на счет других, прекращается передвижка князей из волости в волость, родовые отношения рушатся, происшедшее отсюда разъединение князей помогает одному из них, сильнейшему, подчинить других. Таким является князь Московский. Он присоединяет к своим владениям чужие и низводит своих ближайших родственников, удельных князей, в положение подданных, отнимая у них одно право за другим. Так совершается переход родовых отношений между князьями в государственные. Русская земля на севере собирается, и образуется Московское государство.

Но эти политические успехи достигнуты были не без больших национальных и нравственных потерь. Юго-Западная Русь, обессиленная с отливом исторической жизни на северо-восток, вконец разоренная татарами, отделяется от Северо-Восточной, подчиняется Литве, а через нее Польше и долго тратит свои силы в бесплодной для своего народного развития борьбе за народность. С другой стороны, русский человек, одинокий, заброшенный в мир варваров, затерянный в северо-восточных пустынях, забытый своими и забывший о своих по отдаленности, вышел из общения с европейско-христианскими народами, в каком находился, живя на юго-западе, и целые века двигался все далее в пустыни востока, живя в отчуждении от западных собратий. Отсюда слабость материального, общественного и духовного развития. Общественные силы растут туго. Двор московского князя в XIV и XV вв. наполняется знатными пришельцами с разных сторон. Но это боярство живет еще преданиями отжившей старины, привычками вольных дружин XII в., держится за свое право перехода, когда переходить стало уже не к кому. Запоздалые притязания ведут к борьбе, которая при Грозном принимает кровавый характер и кончается не в пользу знати. И город на севере не удерживает прежнего значения. Ростов Великий падает, побежденный новыми княжескими городами, тотчас по смерти Андрея Боголюбского, и не поднимается более. Падает потом и Новгород Великий, вследствие прилива богатств неестественно вздувшийся в государство, но представлявший собою библейскую статую с золотою головой и глиняными ногами: низшие слои общества были против своекорыстной знати немногих, правивших делами города фамилий и помогли их гибели.

При неразвитости торговли и промышленности в земледельческом государстве города его бедны и слабы, в них не прививается даже самоуправление, какое пытался дать им

Грозный. При слабости других сил, одна великокняжеская власть развивается на просторе при разбросанности населения, недостатке сознания общих интересов, раздробленные части общества стягиваются сильною правительственною централизацией, как разбитый член стягивается хирургической повязкой. Новые тяжести, вызванные внешним положением объединившегося государства, постоянною борьбой на востоке, юге и западе, мешают подняться общественным силам. Сословия закрепляются: служилое – обязательною военною службой, городское и сельское – тяглом. Для обеспечения дохода казны и служилого помещика горожане прикрепляются к городам, крестьяне – к земле. Те и другие бегут от закрепления, куда можно, более всего на Дон, в степь, казаки. Когда государство начинает сжимать вольное казачество, последнее опрокидывается на государство. В начале XVII в., по пресечении старой династии, оно вмешивается в Смуту, начатую людьми, питавшими старинные притязания, и потрясшую государство в самом основании: неоднократно поднималось и потом, в XVII и XVIII вв., но государство устояло. При первых трех царях новой династии оно готовится вступить в общую жизнь с Западною Европой, занять место среди европейских держав. Начинаются важнейшие преобразования, под влиянием которых воспитывается Петр: он доканчивает начатое, решает нерешенное. Усвоение европейской цивилизации, имевшее при Петре материальные цели, во второй половине XVIII в. рождает потребность в духовном, нравственном просвещении.

Таков ряд мыслей, на основе которых развивался рассказ историка. Большая часть их была новостью, когда их впервые высказывал Соловьев, и стала теперь достоянием нашего общественного сознания.

В жизни ученого и писателя главные биографические факты – книги, важнейшие события – мысли. В истории нашей науки и литературы было не много жизней, столь же обильных фактами и событиями, как жизнь Соловьева. Поминать ее не перестанет Московский университет, с которым она была связана в продолжение 40 лет. Соловьев был питомцем этого университета, 34 года преподавал в нем, 6 лет стоял во главе его как ректор, наконец, в его аудитории получил первую обработку главный труд жизни Соловьева. Еще в 1843 г. в статье о Парижском университете он писал о заключении русским обществом «святого союза» с русским университетом «для дружного, братского прохождения своего великого поприща». «История России», ставшая крупным фактом в развитии нашего общественного сознания, служит новой связью, скрепляющею этот союз, и оба

союзника не забудут последнего урока, какой сам собою вытекает из исторического процесса, изображенного Соловьевым. Обзор этого процесса он закончил словами: «Наконец, в наше время просвещение принесло необходимый плод: познание вообще привело к самопознанию», а самопознание, прибавил бы он, если бы довел свой рассказ до нашего времени, должно привести к самодеятельности.

С. Иванов. **Христиане и язычники**

Преподаватель. Преподавание принадлежит к разряду деятельностей, силу которых чувствуют только те, на кого обращены они, кто непосредственно испытывает на себе их действие; стороннему трудно растолковать и дать почувствовать впечатление от урока учителя или лекции профессора. В преподавательстве много индивидуального, личного, что трудно передать и еще труднее воспроизвести. Писатель весь переходит в свою книгу, композитор – в свои ноты, и в них оба остаются вечно живыми. Раскройте книгу, разверните ноты, и, кто умеет читать то и другое, перед тем воскреснут их творцы. Учитель – что проповедник: можно слово в слово записать проповедь, даже урок; читатель прочтет записанное, но проповеди и урока не услышит.

Но и в преподавании даже очень много значит наблюдение, предание, даже подражание. Всегда ли знаем мы, преподаватели, свои средства, их сравнительную силу и то, как, где и когда ими пользоваться? В преподавательстве есть своя техника, и даже

очень сложная. Понятное дело: преподавателю, прежде всего, нужно внимание класса или аудитории, а в классе и аудитории сидят существа, мысль которых не ходит, а летает и поддается только добровольно. В преподавании самое важное и трудное дело – заставить себя слушать, поймать эту непоседливую птицу – юношеское внимание. С удивлением вспоминаешь, как и чем умели возбуждать и задерживать это внимание иные преподаватели. П. Н. Леонтьев[33] совсем не был мастер говорить. Живо помню его приподнятую над кафедрой правую с вилкообразно вытянутыми пальцами руку, которая постоянно надобилась в подмогу медленно двигавшемуся, усиленно искавшему слов, как будто усталому языку, точно она подпирала тяжелый воз, готовый скатиться под гору. Но, бывало, напряженно следишь за развертывавшейся постепенно тканью его ясной, спокойной, неторопливой мысли, и вместе с ударом звонка предмет лекции, какое-нибудь римское учреждение, вырезывался в сознании скульптурной отчетливостью очертаний.

Новое здание Московского университета на Моховой улице.

Архитекторы Д. Жилярди и Е. Тюрин

Казалось, сам бы сейчас повторил всю эту лекцию о предмете, о котором за 40 минут до звонка не имел понятия. Известно, как тяжело слушать чтение написанной лекции. Но когда Ф. И. Буслаев вступал торопливым шагом на кафедру и, развернув сложенные, как складывают прошения, листы, исписанные

крупными и кривыми строками, начинал читать своим громким, как бы нападающим голосом о скандинавской Эдде или какой-нибудь русской легенде, сопровождая чтение ударами о кафедру правой руки с зажатым в ней карандашом, битком набитая большая словесная, час назад только что вскочившая с холодных постелей где-нибудь на Козихе или Бронной (Буслаев читал рано по утрам первокурсникам трех факультетов), эта аудитория едва замечала, как пролетали 40 урочных минут. Не бесполезно знать, какими средствами достигаются такие преподавательские результаты и какими приемами, каким процессом складывается ученическое впечатление. В этом отношении воспоминание об учителе может пригодиться и тому, кто не был его учеником.

Я сел на студенческую скамью в Московском университете в пору, не скажу упадка, – об этом грешно и подумать, – а в пору кратковременного затишья исторического преподавания. Я не застал ни Грановского, ни Кудрявцева. Единственным преподавателем всеобщей истории был С. В. Ешевский. В. И. Герье находился еще за границей, и мне пришлось слушать его уже по окончании курса. Ешевский был превосходный, строгий, но уже угасавший профессор. Мы его и похоронили весной 1865 г. при выходе нашего курса из университета. Он читал нам курсы по древней и средней истории с продолжительными перерывами по болезни, а последний год, когда стояла на очереди новая история, не читал совсем. Мы его очень любили, немного побаивались и с глубокой скорбью шли за его гробом.

Сколько помнится, Соловьев читал на третьем курсе общий обзор истории Древней Руси, на четвертом – более подробный курс русской истории XVIII в. В 1863 г., когда я начал его слушать, это был цветущий 42-летний человек. Не помню теперь, почему мне не пришлось послушать его ни разу до третьего курса; кажется, потому, что его лекции совпадали с лекциями Ф. И. Буслаева или Г. А. Иванова, которых мы не пропускали. На третьем курсе студент уже перестает блуждать по аудиториям с бездонным вниманием и вечно раскрытым ртом, вбирающим все, что ни попадется ему питательного по пути. Он уже становится несколько разборчив во впечатлениях и знаниях, начинает понимать удовольствие «свое суждение иметь» и даже покритиковать профессора. По аудиториям, театрам, заседаниям ученых обществ он уже довольно набрался впечатлений. Пружина восприимчивости от усиленного нажима несколько поослабла и погнулась, и, пользуясь этим, из-под нее все с большим напряжением выступает прижатая дотоле другая сила – потребность разобраться в воспринятом, задержать и усвоить набегающие впечатления, пропитать их собственным духом, –

словом, он начинает чувствовать себя хозяином своего *я* и в состоянии уже ухватить себя за свои собственные усы.

В момент этого перелома начали мы слушать Соловьева. Обыкновенно мы уже смирно сидели по местам, когда торжественной, немного раскачивающейся походкой, с откинутым назад корпусом вступала в *словесную внизу* (название аудитории. – *Прим. ред.*) высокая и полная фигура в золотых очках, с необильными белокурыми волосами и крупными пухлыми чертами лица без бороды и усов, которые выросли после. С закрытыми глазами, немного раскачиваясь на кафедре взад и вперед, не спеша, низким регистром своего немного жирного баритона начинал он говорить свою лекцию и в продолжение 40 минут редко поднимал тон. Он именно говорил, а не читал, и говорил отрывисто, точно резал свою мысль тонкими удобоприемлемыми ломтиками, и его было легко записывать, так что я, по поручению курса составлявший его лекции, как борзописец, мог записывать его чтения слово в слово без всяких стенографических приспособлений. Сначала нас смущали эти вечно закрытые глаза на кафедре, и мы даже не верили своему наблюдению, подозревая в этих опущенных ресницах только особую манеру смотреть; но много после, на мой вопрос об этом, он признался, что действительно никогда не видел студента в своей аудитории.

При отрывистом произношении, речь Соловьева не была отрывиста по своему складу, текла ровно и плавно, пространными периодами с придаточными предложениями, обильными эпитетами и пояснительными синонимами. В ней не было фраз: казалось, лектор говорил первыми словами, ему попадавшимися. Но нельзя сказать, чтобы он говорил совсем просто: в его импровизации постоянно слышалась ораторская струнка; тон речи всегда был несколько приподнят. Эта речь не имела металлического, стального блеска, отличавшего, например, изложение Гизо, которого Соловьев глубоко почитал как профессора. Чтение Соловьева не трогало и не пленяло, не било ни на чувства, ни на воображение; но оно заставляло размышлять. С кафедры слышался не профессор, читающий в аудитории, а ученый, размышляющий вслух в своем кабинете. Вслушиваясь в это, как бы сказать, говорящее размышление, мы старались ухватиться за нить развиваемых перед нами мыслей и не замечали слов. Я бы назвал такое изложение прозрачным. Оттого, вероятно, и слушалось так легко: лекция Соловьева далеко не была для нас развлечением, но мы выходили из его аудитории без чувства утомления.

Легкое дело – тяжело писать и говорить, но легко писать и

говорить – тяжелое дело, у кого это не делается как-то само собой, как бы физиологически. Слово – что походка: иной ступает всей своей ступней, а шаги его едва слышны; другой крадется на цыпочках, а под ним пол дрожит. У Соловьева легкость речи происходила от ясности мысли, умевшей находить себе подходящее выражение в слове. Гармония мысли и слова – это очень важный и даже нередко роковой вопрос для нашего брата, преподавателя. Мы иногда портим свое дело нежеланием подумать, как надо сказать в данном случае, корень многих тяжких неудач наших – в неуменье высказать свою мысль, одеть ее, как следует. Иногда бедненькую и худенькую мысль мы облечем в такую пышную форму, что она путается и теряется в ненужных складках собственной оболочки и до нее трудно добраться, а иногда здоровую, свежую мысль выразим так, что она вянет и блекнет в нашем выражении, как цветок, попавший под тяжелую жесткую подошву. Во всем, где слово служит посредником между людьми, а в преподавании особенно, неудобно как переговорить, так и недоговорить. У Соловьева слово было всегда по росту мысли, потому что в выражении своих мыслей он следовал поговорке: сорок раз примерь, и один раз отрежь. Голос, тон и склад речи, манера чтения – вся совокупность его преподавательских средств и приемов давала понять, что все, что говорилось, было тщательно и давно продумано, взвешено и измерено, отвеяно от всего лишнего, что обыкновенно пристает к зреющей мысли, и получило свою настоящую форму, окончательную отделку. Вот почему его мысль чистым и полновесным зерном падала в умы слушателей.

Гармония мысли и слова! Как легко произнести эти складные слова и как трудно провести их в преподавании! Думаю, что возможность этого находится за пределами преподавательской техники, нашей дидактики и методики и требует чего-то большего, чего-то такого, что требуется всякому человеку, а не преподавателю только. Студенты, как известно, обладают особым чутьем профессорской подготовки: они очень быстро угадывают, излагает ли им преподаватель продуманные и проверенные знания, хорошо выдержанные и устоявшиеся воззрения, или только вчерашние приобретения своего ума, сырые мысли, если можно так выразиться. Слушая Соловьева, мы смутно чувствовали, что с нами беседует человек, много и очень много знающий и подумавший обо всем, о чем следует знать и подумать человеку, и все свои передуманные знания сложивший в стройный порядок, в цельное миросозерцание, чувствовали, что до нас доносятся только отзвуки большой умственной и нравственной работы, какая когда-то была исполнена над самим

собой этим человеком и которую должно рано или поздно исполнить над собой каждому из нас, если он хочет стать настоящим человеком. Этим особенно и усиливалось впечатление лекций Соловьева: его слова представлялись нам яркими строками на освещенном изнутри фонаре. Оно и понятно: студенту старших семестров уже виднеется жизненный путь, на который ему придется вступить по окончании учебных годов, и он уже без студенческой беззаботности и самоуверенности начинает раздумывать, как-то вступит он на этот скользкий путь и какой походкой пойдет по нему. В этом раздумье он уже с деловым, не праздным любопытством и с молчаливым уважением присматривается и прислушивается к тем из старших, которые идут по этому пути твердыми прямыми шагами, с твердым и ясным взглядом на людей и на вещи.

После, став ближе к Соловьеву и начав готовиться к профессуре под его руководством, я получил некоторую возможность следить за непрерывной, строго размеренной и разнообразной работой неутомимого ума, и я понял, как вырабатывается и во что обходится эта гармония мысли и слова. Чего только он не знал, не читал, чем не интересовался и о чем не думал! Он внимательно и с удивительной экономией досуга следил за иностранной литературой по географии, по всему кругу наук исторических и политических, как и за текущими международными отношениями. Прочитать дельную книжку какого-нибудь французского, немецкого или английского путешественника по Индии или Центральной Африке было для него наслаждением, которым он спешил поделиться с близкими людьми. Я уже не говорю о русской литературе, русских делах и отношениях. Помню, я посетил его незадолго до смерти, когда приговор жизни был уже произнесен и исход болезни определился. С третьего слова он спросил меня: «А что новенького в литературе по нашей части? Давно ничего не читал». – Я встречал немного таких образованных и деятельных умов, а судьба нередко и незаслуженно дарила меня счастьем встречаться с образованными и мыслящими людьми.

В аудитории Московского университета.
Рисунок из альбома А. Бобринского. Начало 1840-х гг.

Я не решаюсь сказать, входила ли русская история центральной составной частью в состав этого цельного и широкого миросозерцания. Я не решаюсь на это потому, что знаю, как много места занимали в выработке этого миросозерцания общие вопросы религии и науки. Я могу только утверждать, что на русскую историю он положил всего больше своего научного труда. Но я не говорю об его «Истории России», о нем как об ученом: это вопрос русской историографии, одна из страниц истории русского просвещения, и таких страниц, на которых с отрадой будет всегда останавливаться и раздумываться мыслящий русский человек. Вместе с другими учениками Соловьева я часто докучал ему просьбой издать этот курс в какой-либо из тех редакций, в каких он излагал его из году в год с университетской кафедры; и я до сих пор не могу понять, почему он не сделал этого, даже неохотно вел разговор об этом. С ним вообще трудно было завести речь об его сочинениях; сам он был до несправедливости скромного о них мнения, и отзываться о них с похвалой в его присутствии значило сделать ему неприятность. Ему и говорили об издании курса только как о его профессорской обязанности, даже прибегали к такому изысканному соображению, что его курс вовсе и не принадлежит ему одному, не есть его личное дело, что это беседа профессора со студентами, следовательно, совместная работа профессора и его аудитории. Он называл это плохим софизмом, не стоящим и пятачка, и прекращал разговор об этом. Прибавлю в пояснение, что Соловьев очень любил остроты и при всяком удачном словце,

при нем сказанном, шарил у себя в кармане со словами: «Ах, жаль, пятачка не случилось!» Конечно, превосходная первая глава XIII тома его «Истории», содержащая в себе общий обзор хода древней русской истории, вместе со статьями общего характера, напечатанными в посмертном издании некоторых сочинений С. М. Соловьева, каковы «Начало Русской земли», «Древняя Россия», «Исторические письма» и др., дают некоторую возможность читателю представить себе содержание и даже характер этого общего курса. В этих статьях есть все, что проводилось и развивалось в курсе. Но для читателя останутся неуловимы концепция содержания и впечатление изложения, а в преподавании это – главное, если не всё.

Здание университетской библиотеки

Соловьев давал слушателю удивительно цельный, стройной нитью проведенный сквозь цепь обобщенных фактов взгляд на ход русской истории, а известно, какое наслаждение для молодого ума, начинающего научное изучение, чувствовать себя в обладании цельным взглядом на научный предмет. В курсе Соловьева эта концепция и это впечатление были тесно связаны с одним приемом, которым легко злоупотребить, но который в умелом преподавании оказывает могущественное образовательное влияние на слушателя. Обобщая факты, Соловьев вводил в их изложение осторожной мозаикой общие исторические идеи, их объяснявшие. Он не давал слушателю ни одного крупного факта, не озарив его светом этих идей. Слушатель чувствовал ежеминутно, что поток изображаемой

перед ним жизни катится по руслу исторической логики; ни одно явление не смущало его мысли своей неожиданностью или случайностью. В его глазах историческая жизнь не только двигалась, но и размышляла, сама оправдывала свое движение. Благодаря этому курс Соловьева, излагая факты местной истории, оказывал на нас сильное методологическое влияние, будил и складывал историческое мышление: мы сознавали, что не только узнаем новое, но и понимаем узнаваемое, и вместе учились, как надо понимать, что узнаем. Ученическая мысль наша не только пробуждалась, но и формировалась, не чувствуя на себе гнета учительского авторитета: думалось, как будто мы сами додумались до всего того, что нам осторожно подсказывалось.

Эти общие идеи, которыми перевивались факты русской истории, могут показаться элементарными; но их необходимо продумать на университетской скамье, и только тогда они становятся такими элементарными. С двух сторон Соловьев освещал излагаемые им исторические факты: одну из них можно назвать прагматической, другую – моралистической. Настойчиво говорил и повторял он, где нужно, о связи явлений, последовательности исторического развития, об общих его законах, о том, что называл он необычным словом – историчностью. Вы думаете, легкое дело растолковать сидящему на школьной скамье понятие об основах людского общежития, об историческом процессе, закономерности исторической жизни! Я встречал взрослых и по-своему умных людей, которым никак не удавалось усвоить себе самую идею исторического процесса. У Соловьева сравнения, аналогия жизни народов с жизнью отдельного человека, отвлеченные аргументы и, наконец, его столь известная и любимая фраза, естественно и необходимо, повторявшаяся при всяком случае, как припев, – все врезывало в сознание слушателя эту идею исторической закономерности. С другой стороны, – да не покажется нам это странным, – Соловьев был историк-моралист. Он видел в явлениях людской жизни руку исторической Немезиды или, приближаясь к языку древнерусского летописца, знамение правды Божией. Я не вижу в этом научного греха: эта моралистика у Соловьева была та же прагматика, только обращенная к сознанию своею нравственною стороной, та же научная связь причин и следствий, только приложенная к явлениям добра и зла, помышления и воздействия. Соловьев был историк-моралист в том простом смысле, что не исключал из сферы своих наблюдений мотивов и явлений нравственной жизни. Кто из слушателей Соловьева не запомнил на всю жизнь этих нравственных комментариев, что «общество» может существовать только при условии жертвы,

когда члены его сознают обязанность жертвовать частным интересом интересу общему, что уже первоначальное, естественное общество человеческое, семейство, основано на жертве, ибо отец и мать перестают жить для самих себя, что общество тем крепче, чем яснее между его членами сознание, что основа общества есть «жертва», что «европейское качество всегда торжествовало над азиатским количеством» и что это качество состоит в «перевесе сил нравственных над материальными», что величие Древней Руси заключалось в сознании своих несовершенств, в сбереженной ею способности не мириться со злом, в искреннем и горячем искании выхода в положение лучшее посредством просвещения. Все это, повторяю, довольно элементарно, но все это должно быть продумано на студенческой скамье и только на ней может быть продумано, как следует.

В детстве, помню, где-то я видел старинные колонны, обвитые вьющимся растением. Свежая жизнь бежала по холодному мрамору старины и так стройно обвивала его, что мне казалось, будто эти вьющиеся побеги растут из самого мрамора. Когда я вслушивался, как Соловьев перевивал факты нашей истории общими историческими идеями, своею прагматикой и моралистикой, мне не раз вспоминались эти старые колонны с обвивающими их побегами вьющегося растения и мне думалось, что эти идеи органически вырастали из объясняемых ими фактов.

Сколько знаю, Соловьев никогда не был учителем среднеучебного заведения; он везде, где преподавал, был профессором. Но его университетский курс помогает уяснить отношение гимназического преподавания истории к университетскому. Мы знаем разницу между тем и другим; но у того и другого есть и точка соприкосновения. Неудобно профессорствовать, читать лекции в классе; неудобно и сказывать урок в аудитории. В первом случае гимназист преждевременно забегает в настроение студента, во втором – студент огорчается своим невольным возвращением в положение гимназиста. Учитель истории рассказывает ученикам, что было; профессор рассуждает со студентами, что это былое значило. Но Соловьев так рассуждал со студентами о былом, что они живо представляли себе, как это происходило. Желательно, чтобы учитель так рассказывал о былом, чтобы ученикам хотелось рассуждать о том, что оно значило. Выражу так это отношение, не умея выразить его удачнее.

«История России с древнейших времен». Смерть застала историка за XXIX томом его «Истории России с древнейших времен» и прервала его тридцатилетний труд на полуфразе.

Когда стало известно, что работа, столько лет привлекавшая

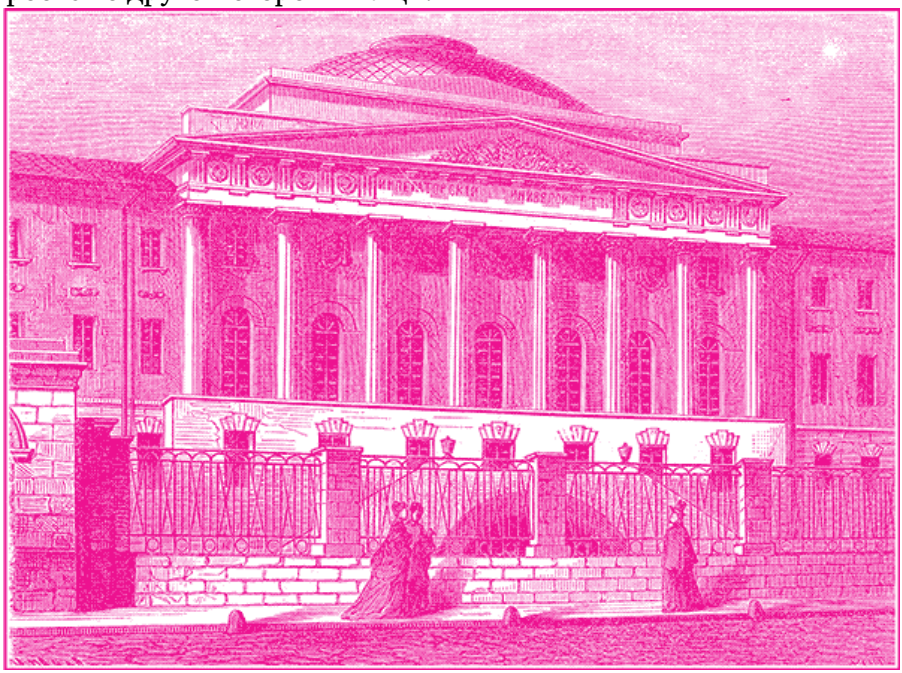
к себе внимание образованного русского общества, остановилась навсегда, что замерла энергия, ее двигавшая, первым побуждением было воздать должное покойному ученому, оценить, что сделал он своим многолетним трудом для науки, изучения русской истории, национального самопознания. Время строго проверяет чувства и суждения. Пишущий эти строки, которому досталась ответственная честь стать преемником С. М. Соловьева по кафедре, под первым впечатлением понесенной утраты написал несколько внушенных чувством ученика строк о характере почившего историка и значении его труда. Перечитав написанное четверть века спустя, автор не нашел преувеличения, к какому обыкновенно располагает еще не закрытая могила. Скорее, напротив: черты кажутся бледными и неполными, взгляд недостаточно широким.

…Биография и историческая критика спокойно и на досуге опишут его жизнь и характер, изобразят ход и значение его ученолитературной деятельности, образ мыслей и убеждения, взгляд на исторические судьбы России. Под неостывшим еще впечатлением тяжелой утраты попытаемся припомнить хотя только наружные, самые поверхностные черты его как ученого.

Соловьев рано стал и до конца жизни остался ученым. Он умер, не дожив до конца своего 60-го года; но имя его уже 34 года известно в русской ученой литературе. Его деятельность в эти 34 года была разделена между архивами, университетской аудиторией и письменным столом его кабинета. Он удивительно много и правильно работал и на успехи русской исторической науки имел влияние, которое пока трудно еще оценить достаточно. С 1845 г., когда появилось его первое исследование по русской истории, и до последней строки, им написанной незадолго до смерти, он работал в одном направлении, которое прямо или косвенно отразилось на ходе всей русской исторической литературы. В движении русской историографии это время можно смело обозначить именем Соловьева: живущие ныне писатели, вместе с ним наиболее поработавшие над историей своего Отечества, охотно согласятся с этим. Вооружившись приемами и задачами, выработанными исторической наукой первой половины нашего века, он первый пересмотрел всю массу исторического материала, оставшегося от жизни русского народа с половины IX до последней четверти XVIII в., связав одной мыслью разорванные лоскуты исторических памятников, и вынес на свет всю наличность уцелевших фактов нашей истории.

Есть и будут десятки трудолюбивых исследователей русского прошедшего, которые останавливаются и будут останавливаться

на том или другом факте дольше Соловьева, изучают и будут изучать то или другое явление подробнее, чем изучал он; но каждый из них, чтобы идти прямо и твердо в своей работе, должен начинать с того, чем кончил Соловьев свою речь о том же, и он, как маяк, еще долго будет служить первым указателем пути даже для тех, кто далеко разойдется с ним в своих последних выводах. В 1851 г. вышел первый том его «Истории России», и с тех пор каждый год читатель получал новый том в урочное время с точностью, которой не могла победить даже предсмертная болезнь автора: умирая, он сдал XXIX том в типографию почти законченным; перо выпало из руки недалеко от предположенного конца книги – описания казни Пугачева. Никогда прежде, в продолжение почти трех десятилетий, в нашу историческую литературу не вливалось так последовательно, такой непрерывной струей столько свежих знаний. После продолжительного и трудного пути повествователь подходил уже к порогу нашего века. Жизнь одного поколения отделяла его от времени наших отцов, когда оборвалась нить его повести и его жизни. Он напоминает своей деятельностью нашего древнего колонизатора, который, отыскав протоптанную тропу по опушке дремучего леса, первый отважился продолжить ее в не пройденную никем глубь и упал, когда уже стал показываться просвет с другой стороны чащи.



Старое здание Московского университета

Сам историк очень спокойно смотрел на значение труда, которому он отдал 30 лучших лет своей жизни. Задолго до смерти он выказывал уверенность, что в недалеком будущем напишут историю России лучше него. За собой он удерживал только заслугу первой тяжелой расчистки пути, первой обработки сырого материала. Но по многим причинам 29 томов его «Истории» не скоро последуют в могилу за своим автором. Даже при успешном ходе русской исторической критики в нашем ученом обороте надолго удержится значительный запас исторических фактов и положений в том самом виде, как их впервые обработал и высказал Соловьев. Исследователи долго будут их черпать прямо из его книги, прежде чем успеют проверить их сами по первым источникам. Еще важнее то, что Соловьев вместе с огромным количеством прочно поставленных фактов внес в нашу историческую литературу очень мало ученых предположений. Трезвый взгляд редко позволял ему переступать рубеж, за которым начинается широкое поле гаданий, столь удобное для игры ученого воображения. При недостатке твердых оснований Соловьев скорее готов был обойти вопрос, подвергаясь упрекам критики, чем решить его какой-либо остроумной догадкой, которая поселила бы самодовольную уверенность, что вопрос покончен, или легла бы лишним камнем на пути для других исследователей. Вот почему от такой продолжительной и быстрой работы над неопрятным, неочищенным материалом у Соловьева осталось так мало *ученого сора*. Найдут разные недостатки в его огромном труде; но нельзя упрекнуть его в одном, от которого всего труднее освободиться историку: никто меньше Соловьева не злоупотреблял доверием читателя во имя авторитета знатока.

Вид на Москву с Воробьевых гор.
Литография первой половины XIX в.

Это был ученый со строгой, хорошо воспитанной мыслью. Черствой правды действительности он не смягчал в угоду патологическим наклонностям времени. Навстречу фельетонным вкусам читателя он выходил с живым, но серьезным, подчас жестким рассказом, в котором сухой, хорошо обдуманный факт не приносился в жертву хорошо рассказанному анекдоту. Это создало ему известность сухого историка. Как относился он к публике, для которой писал, так же точно относился он и к народу, историю которого писал. Русский до мозга костей, он никогда не закрывал глаза, чтобы не видеть темных сторон в прошедшем и настоящем русского народа. Живее многих и многих патриотов чувствовал он великие силы родного народа, крепче многих верил в его будущее; но он не творил из него кумира. Как нельзя больше был он чужд того грубого пренебрежения к народу, какое часто скрывается под неумеренным и ненужным воспеванием его доблестей или под высокомерным и равнодушным снисхождением к его недостаткам. Он слишком глубоко любил и уважал русский народ, чтобы льстить ему, и считал его слишком взрослым, чтобы под видом народной истории сказывать ему детские сказки о народном богатырстве.

Истории Соловьев не ронял до памфлета. Он умел рассматривать исторические явления данного места и времени

независимо от временных и местных увлечений и пристрастий. Его научный исторический кругозор не ограничивался известными градусами географической широты и долготы. Изучая крупные и мелкие явления истории одного народа, он не терял из виду общих законов, правящих жизнью человечества, коренных оснований, на которых строятся людские общества. Мыслитель скрывался в нем за повествователем; его рассказ развивался на историко-философской основе, без которой история становится забавой праздного любопытства. Оттого исторические явления стоят у него на своих местах, освещены естественным, а не искусственным светом; оттого в его рассказе есть внутренняя гармония, историческая логика, заставляющая забывать о внешней беллетристической стройности изложения.

Широта исторического взгляда была отражением широты его исторического образования. В области русской истории трудно быть специалистом более Соловьева. Не много будет после него ученых, которым удастся так последовательно и полно изучить источники нашей истории. Но Соловьев не закапывался в свою специальность. В этом отношении он – поучительный образец, особенно для занимающихся отечественной историей, между которыми часто проявляется наклонность уединяться в своей цеховой келье. Первый мастер своего дела, Соловьев хранил в себе хорошие свойства ученых старого времени, когда научные специальности еще не расходились между собою так далеко, как разошлись они теперь. Образцовые произведения исторической и политической литературы Европы со времени Геродота и до наших дней он изучал в подлинниках и знал превосходно. Библейские книги были ему знакомы, как древние русские летописи. Знатоки поражались внимательностью, с какой он следил за текущей иностранной литературой по истории, географии, этнографии и другим смежным отраслям знания. Для них остается неразрешимой загадкой, где находил время для этого человек, с такой педантической точностью исполнявший свои служебные обязанности, постоянно писавший в периодических изданиях и ежегодно издававший новый том «Истории России».

В минуты отдыха он особенно охотно говорил о какой-нибудь замечательной литературной новости, иностранной или русской, часто очень далекой от предмета его текущих специальных занятий. Феноменально счастливая память помогала этой безустанной работе. Казалось, эта память не умела забывать, как мысль, которой она служила, не умела уставать. Наблюдатель, изучив свойства его таланта, образ его мыслей, круг его интересов, наконец, с недоумением останавливался перед самым

устройством его ума: оно поражало его, как редкий ученый механизм, способный работать одинаково, спокойно и правильно бесконечное число часов, перерабатывая самый разнообразный материал. Он знал тайну искусства удвоять время и восстановлять силы простой переменой занятий. Ни годы, ни житейские тревоги, ни физический недуг не могли ослабить живости его умственных интересов.

Прошедшим летом, прикованный болезнью к креслу, он не мог оторваться от только что изданной переписки Погодина со славянскими учеными и знакомым, пришедшим навестить больного и напрасно усиливавшимся сдержать его участие в разговоре, передавал свои воспоминания о Шафарике и народно-литературном движении среди чехов сороковых годов с живостью недавнего впечатления, хотя прошло уже 37 лет с тех пор, как он был в Праге. Вслед за тем показал он только что полученный выпуск географического труда Реклю, где помещен рисунок старинного деревянного храма в Норвегии, близко напоминающего своей архитектурой московский храм Василия Блаженного, готов был без конца рассуждать о происхождении и значении этого сходства. Недели за три до смерти голосом, которого уже не хватало на окончания слов, он еще спрашивал посетителя: не вышло ли чего новенького по нашей части? Интерес знания еще живо горел, когда гасла физическая жизнь.

Эта энергия умственных интересов поддерживалась единственно нравственной бодростью и не знала тех искусственных возбуждений, которые приходят со стороны на помощь писателю. Соловьев никогда не заблуждался насчет количества читателей своей книги; он даже преувеличивал равнодушие к ней публики. Говоря об увеличивающемся спросе на книгу, необходимости новых изданий разных ее томов, он объяснял это исключительно заглавием своего труда и размножением казенных и общественных библиотек, которым надобно же иметь на полках «Историю России с древнейших времен». Но он принадлежал к числу людей, готовых проповедовать в пустыне. Для Соловьева книга его была задачей жизни, а для таких людей задача жизни имеет значение иноческого обета.

Его нравственный характер очень поучителен. Готовый поступиться многим в своей теории родовых княжеских отношений на Руси в виду достаточных оснований, Соловьев не допускал сделок в нравственных отношениях. Осторожный в решении научных вопросов, он был решителен в вопросах нравственных, потому что основные правила, которыми он руководился при решении этих последних вопросов, имели в его

сознании значение не теории, а простой математической аксиомы. Это был один из тех характеров, которые вырубаются из цельного камня; они долго стоят прямо и твердо и обыкновенно падают вдруг, подточенные не столько временем, сколько непогодой.

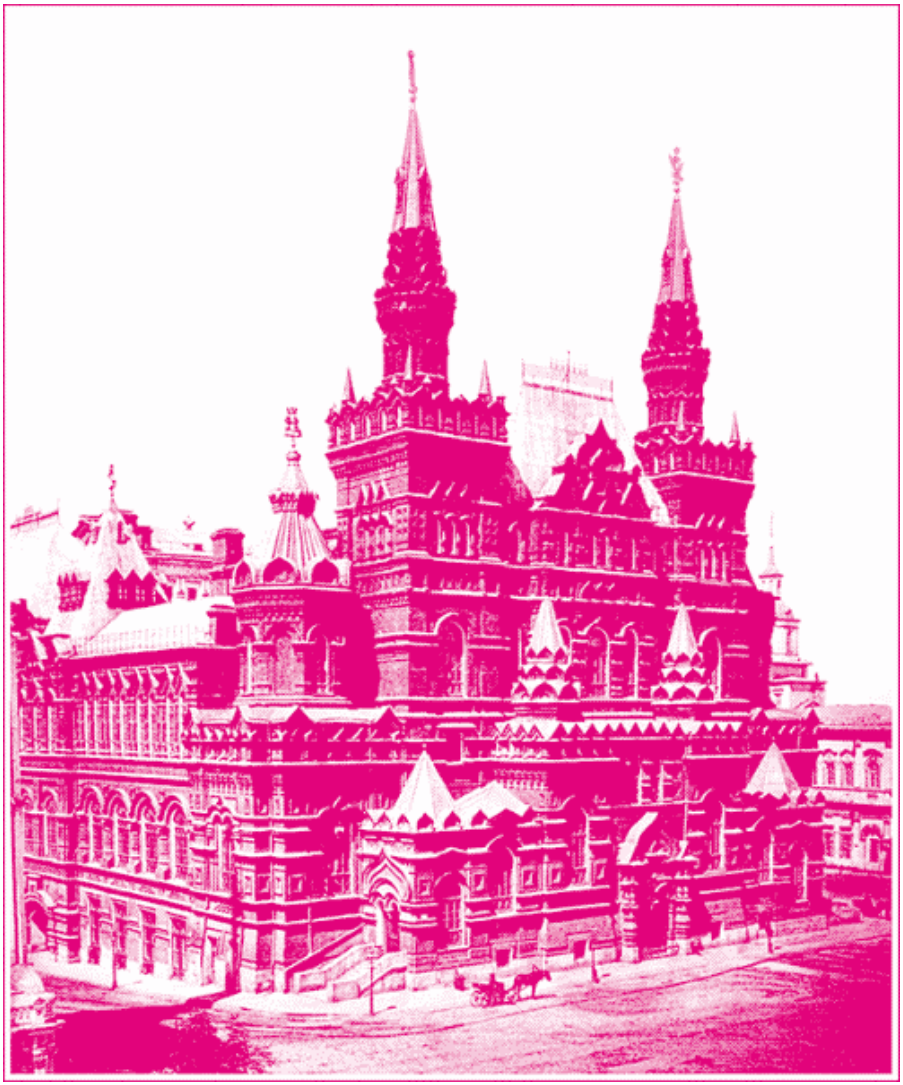
Все это бледно, неполно, поверхностно. Сказать это теперь – значит сказать слишком мало. К двадцать пятой годовщине смерти историка стало ясно и общепризнано многое, что лишь смутно предчувствовалось или чаялось при гробе. Большое компактное издание «Истории» в шести полновесных книгах, начатое в 1893 г., стало быстро расходиться, и три года спустя, когда явился подробный указатель к этим книгам, первые три книги вышли уже вторым изданием. Труд жил, продолжал свою работу и по смерти автора. К нему обращался образованный читатель, желавший расширить, упорядочить и освежить идеями и конкретными впечатлениями свои познания по русской истории. Работой над неисчерпаемым запасом данных, почерпнутых из первых, часто нетронутых источников, фактов, обдуманно подобранных и прагматически истолкованных, начинало пробу своей мысли уже не одно поколение молодых ученых, приступавших к научному изучению нашего прошлого. Целый ряд специальных исследований, посвященных ученой разработке отдельных фактов, эпизодов, учреждений, источников нашей истории, шел от положений, изложенных в «Истории России», в ней искал первых руководительных указаний и ею же проверял свои выводы и открытия, даже когда частично пополнял и поправлял ее.

В популярных изложениях русской истории нередко сквозят материал, фон, мысли и краски, данные тем же произведением. Широкие обобщения и сопоставления, стереотипные положения о естественности и необходимости исторических явлений, закономерности в истории, параллели между личной, индивидуальной и массовой народной жизнью – такие общие исторические идеи, которыми Соловьев любил, как световыми полосками, прокладывать в своем изложении фон исторической жизни, оказывали формирующее действие на мышление русского читателя, еще не отвыкшего мешать историю с анекдотом, мирили его с мыслью, что и в истории есть своя таблица умножения, свое непререкаемое *дважды два*, без которого немыслимо никакое историческое мышление, невозможно даже никакое людское общежитие.

Все это было признано и ценилось еще при жизни историка. Теперь, отдаленные от него таким пространством времени, можем ввести в его оценку еще один мотив: к признанию того, что им

сделано для русской истории, можно присоединить сожаление о том, что преждевременная смерть помешала ему сделать. В минуту смерти речь об этом могла показаться неуместной жалобой; через 25 лет такое сожаление – спокойно-грустное воспоминание о научной потере, которая для русской историографии осталась доселе невознагражденной.

Эта утрата ближайшим образом касалась русской истории XVIII в. В «Истории России» этот век впервые вскрывался во всей полноте своего нетронутого наукой содержания и в непрерывной, тщательно выясненной преемственной связи с его девятью предшественниками. Уже три четверти столетия были пройдены историком, пером и словом которого более 30 лет возбуждалось и поддерживалось внимание русского читающего общества и учащегося юношества к своему прошлому. Тогда уже привыкали думать: еще несколько лет, еще немного усилий неутомимого труда, и этот век, русский XVIII век, столь важный в судьбах нашего отечества, исполненный столь громких дел, вызвавший столько шумных и разноречивых толков своими грехами и успехами, наконец предстанет перед читателем в цельном научном изображении.



Здание Московского исторического музея. *1880-е гг.*

В XIII томе «Истории России», где изложены царствование Федора Алексеевича и следовавшая за смертью этого царя московская Смута 1682 г., автор поставил рядом с общим заглавием своего труда другое, частное, повторенное и в дальнейших пяти томах до смерти Петра Великого: «История России в эпоху преобразования». Большую половину XIII тома занимает предпосланная царствованию Федора вводная глава, в которой за общим обзором хода древней русской истории следует превосходное изображение состояния России перед эпохою преобразования. Таким образом, на 1676 г., когда началось царствование Федора, сам историк провел раздельную черту между древней и новой Россией. Этот XIII том появился в 1863 г.

Семнадцать лет писал Соловьев новую русскую историю. Быстро развившаяся болезнь остановила работу, которая по возрасту автора могла бы продолжаться еще немало лет.

Кремлевская набережная Москвы-реки в 1880-е гг.

Неоконченный XXIX том, изданный по смерти историка в 1879 г., доводит обзор внешней политики до 1774 г., когда был заключен мир с Турцией в Кучук-Кайнарджи, а в описании внутреннего состояния России прерывается на делах 1772 г., перед самым мятежом Пугачева, казнью которого (в январе 1775 г.) предположено было закончить этот том. Соловьев признавался, что не рассчитывает вести свой труд дальше царствования Екатерины II. Рассказ о нем начат в XXV томе. Если первые 12 лет деятельности этой императрицы потребовали пяти томов, то на остальные 22 года необходимо было не менее шести. И если бы плану историка суждено было осуществиться, читатель получил бы громадный исторический труд в 35 томах, из коих 23

были бы посвящены изображению всех 120 лет нашей новой истории с последней четверти XVII до последних лет XVIII в. Так «История России», по замыслу автора, – собственно история новой России, подготовляемой к преобразованию, преобразуемой и преобразованной, и первые 12 томов труда – только пространное введение в это обширное повествование о петровской реформе.

Дело биографии рассказать о редко удающемся совмещении в одном лице качеств, которым удивлялись в Соловьеве, такой научной подготовки, широты исторического взгляда, любви и способности к непрерывной умственной работе, уменья беречь время, силы воли, наконец, такого запаса физических сил, личных условий, встреча которых сделала возможным создание «Истории России». Оглядываясь на этот труд на расстоянии 25 лет от минуты, навсегда его прервавшей, невольно останавливаешься мыслью на его отношении к своему времени, спрашиваешь себя, что он давал своему времени и что воспринимал от него. Это довольно сложный вопрос, относящийся к истории нашего общества, просвещения, нашего общественного самосознания. Было бы опрометчиво входить в разбор такого вопроса в воспоминании по случаю; но позволительно сделать некоторые сопоставления.

Первые тома «Истории России» появлялись в то время, когда в русском литературном мире, не в литературе и не в обществе, а именно в кругу людей, близко стоявших к литературе, но в ней вполне не высказывавшихся, боролись два взгляда на наш XVIII век, собственно на петровскую реформу, наполнявшую его собой и своими разносторонними последствиями. Это очень известные взгляды сороковых и пятидесятых годов прошлого столетия. Люди, смотревшие одним из этих взглядов, видели в реформе Петра пробуждение России, поднятой на ноги толчком могучей руки преобразователя, который, призвав на помощь средства западноевропейской цивилизации, вывел Россию из ее векового культурного застоя и бессильного одиночества и заставил развивать свои мощные, но дремавшие силы в общечеловеческой жизни, прямом общении с образованным европейским миром. Другие находили, что в последовательном и самобытном движении нашей народной жизни реформа Петра произвела насильственный перерыв, сбивший ее с прямой исторической дороги в чужую сторону, убивший зачатки ее самобытного развития чуждыми формами и началами, навязанными ей гениальным капризом. Смотря на дело с противоположных точек зрения, пользуясь для наглядного выражения своих взглядов образами, взятыми из различных порядков явлений, обе стороны сходились в одном основном положении. Обе признавали, что

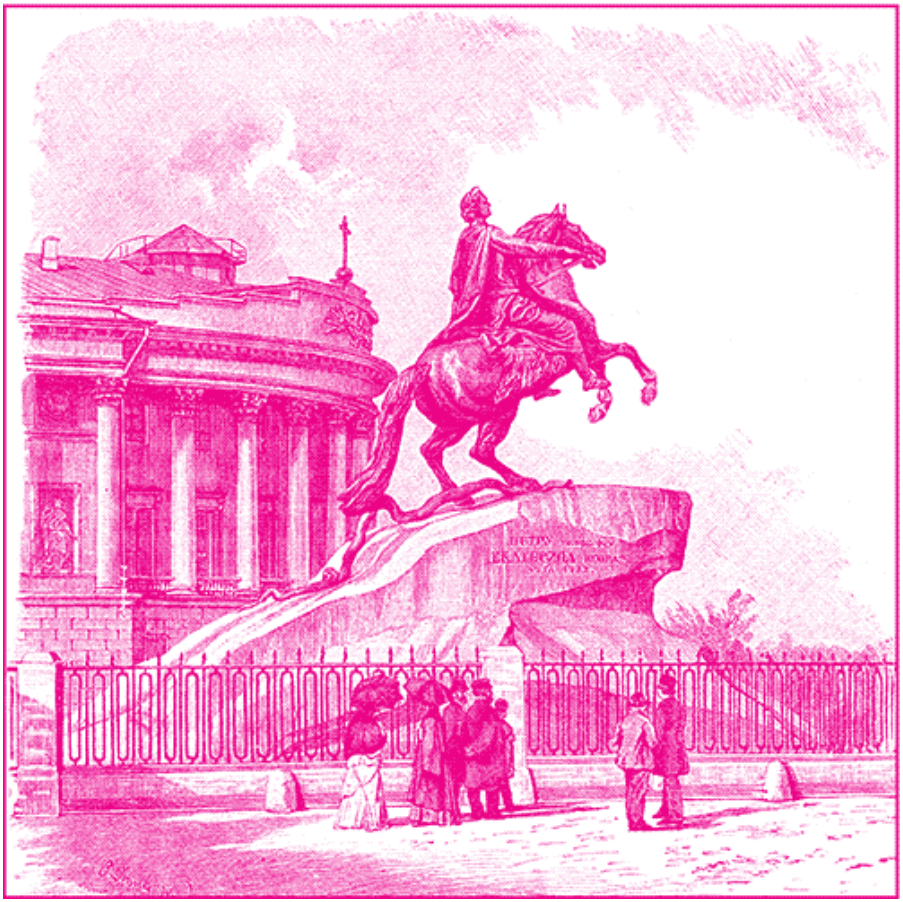
реформа Петра была глубоким переворотом в нашей жизни, изменившим русское общество сверху донизу, до самых его корней и основ; только одна сторона считала этот переворот великой заслугой Петра перед человечеством, а другая – великим несчастьем для России.

Читающее русское общество относилось к борьбе обеих сторон не безучастно, но довольно эклектично, выбирая из боровшихся мнений, что кому нравилось, охотно слушало речи одних о самобытном развитии скрытых сил народного духа, одобряло и суждения других о приобщении к жизни культурного человечества. Притом новое время наступало, принося новые потребности и заботы, поворачивая прошедшее другими сторонами, с которых не смотрели на него ветераны обоих лагерей, возбуждая вопросы, не входившие в программу старого спора о древней и новой России. Начиналась генеральная переверстка мнений и интересов, предвиделся общий пересмотр застоявшихся отношений. Среди деловых людей крепла мысль, что все равно, пошла ли русская жизнь с начала XVIII в. прямой или кривой дорогой, что это вопрос академический: существенно важно лишь то, что полтораста лет спустя она шла очень вяло, нуждалась в обновлении и поощрении. Умы стали практичнее относиться к вопросу о месторождении форм и начал жизни; многие становились на ту точку зрения, что пусть известные формы и начала и не совсем самородны по происхождению, лишь бы они вызвали к действию дремлющие или опустившиеся народные силы, помогли справедливо развязать запутавшиеся узлы общественных отношений. Во всяком случае, можно безобидно сказать, что в начале шестидесятых годов прошлого столетия в нашем обществе не существовало прочно установившегося, господствующего взгляда на ход и значение нашей истории в последние полтора века. В это время, в пору сильнейшего общественного возбуждения и самых напряженных ожиданий, в самый разгар величайших реформ, когда-либо испытанных одним поколением, в год издания Положения о земских учреждениях и Судебных уставов 20 ноября, Соловьев издал XIV том своей «Истории России», в котором начал рассказ о царствовании Петра после падения царевны Софьи и описал первые годы XVIII в.

Казалось, редко работа историка так совпадала с текущими делами его времени, так прямо шла навстречу нуждам и запросам современников. Соловьеву пришлось описывать один из крутых и глубоких переломов русской жизни в те именно годы, когда русское общество переживало другой такой же перелом, даже еще более крутой и глубокий во многих отношениях. И однако то

время нельзя признать особенно благоприятным для развития в обществе интереса к отечественной истории. Общий подъем настроения, конечно, давал историку много сильных возбуждений, много наблюдений, пригодных для исторического изучения, а начавшаяся многосторонняя перестройка быта располагала к историческим справкам, задавала вопросы, усиленно побуждавшие искать указаний в опыте прошедшего. Это сказалось в сильном оживлении русской исторической литературы, в появлении ряда монографий, имевших прямую связь с текущими вопросами, с готовившимися или совершавшимися переменами в положении крестьян, в судоустройстве и местном управлении. Но самому обществу было, по-видимому, не до опытов прошедшего: внимание всех было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее. При первых успехах преобразовательного движения в обществе возобладало немного благодушное настроение, покоившееся на уверенности, что дело решено бесповоротно и пойдет само собой, лишь бы не мешали его естественному ходу, силе вещей. При таком настроении не любят оглядываться. Чего можно искать в темном прошедшем, когда в приближавшейся дали виднелось такое светлое будущее? При виде желанного берега охотнее считают, сколько узлов осталось сделать, чем сколько сделано. Оптимизм так же мало расположен к историческому размышлению, как и фатализм.

И дела пошли своим естественным ходом: порывы сменялись колебаниями, уверенность уступала место унынию. Стороннему наблюдателю Россия представлялась большим кораблем, который несется на всех парусах, но без карт и компаса. От появления случайностей, недостаточно предусмотренных, от преемственной смены подъемов и понижений духа в общественном сознании, наконец, отложилось одно несколько выяснившееся историческое представление, что русская жизнь безвозвратно сошла со своих прежних основ и пробует стать на новые. Тогда русская история опять разделилась на две неравные половины: дореформенную и реформированную, как прежде делилась она на допетровскую и петровскую, или древнюю и новую. Решив, что Россия сошла со старых основ своей жизни, в обществе по этому решению настроили свое историческое мышление. Так явилась новая опора для равнодушия к отечественному прошлому. Еще недавно думали: зачем оглядываться назад, когда впереди так много дела и так светло? Теперь стали думать: чему может научить нас наше прошлое, когда мы порвали с ним всякие связи, когда наша жизнь бесповоротно перешла на новые основы?



М. Фальконе. **Памятник императору Петру I в Санкт-Петербурге**

Но при этом был допущен один немаловажный недосмотр. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, не доглядели, как русская старина преображала реформу. Эту встречную работу прошлого замечали, негодовали на нее, но ее недостаточно строго учитывали, считали только временным неудобством или следствием несовершенства человеческой природы. Скорбели, видя, как исполнительные органы, подобно старым дьякам московских приказов, клавшим в долгий ящик указы самого царя Алексея Михайловича, замедляли исполнение или изменяли смысл и направление актов верховной власти, внушенных доверием к разуму и нравственному чувству народа.

Негодовали на консервативную пугливость людей, которые в неосторожной вспышке незрелой политической мысли или в мужественном презрении противозаконных, но обычных околичностей видели подкоп под вековые основы государственного порядка и испуганно обращались по

принадлежности со стереотипным предостережением, caveant consules, а это значило в переводе, чтобы опасность была предотвращена соответственным испугу градусом восточной долготы. Образованные и состоятельные классы, обязанные показать своим поведением, как следует переходить со старых основ жизни на новые, выставляли из своей среды деятелей, являвшихся в уголовных отделениях новообразованных окружных судов печально-убедительными показателями уровня, на каком покоились их нравы. При таких примерах слишком взыскательное отношение к тому, как только что вышедшие на волю крестьяне понимали и практиковали дарованное им сословное самоуправление, было бы общественной несправедливостью.

М. Микешин. **Памятник императрице Екатерине II в Санкт-Петербурге**

При своей замкнутой жизни и строго размеренной работе, Соловьев внимательно и чутко следил за важными событиями того тревожного времени, волнуясь и негодуя на все, что мешало успехам преобразовательного движения. В журнальных статьях он по временам отзывался на текущие вопросы, занимавшие русское общество. Достаточно вспомнить хотя бы его «Исторические письма» 1858 г., начинающиеся указанием на то, как много жизнь требует от науки, как много объяснений требует настоящее от прошедшего. Здесь же он высказал и свой взгляд на отношение науки к жизни. «Жизнь, – писал он, – имеет полное право предлагать вопросы науке; наука имеет обязанность отвечать на вопросы жизни; но польза от этого решения для жизни будет только тогда, когда, во-первых, жизнь не будет торопить науку решить дело как можно скорее, ибо у науки сборы долгие, и беда, если она ускорит эти сборы, и, во-вторых, когда жизнь не будет навязывать науке решение вопроса, заранее уже составленное вследствие господства того или другого взгляда; жизнь своими движениями и требованиями должна возбуждать науку, но не должна учить науку, а должна учиться у нее».

Все знали, что историк – сторонник одного из указанных выше взглядов, что он даже один из самых убежденных и сильных его защитников в нашей исторической литературе. Но с каждым дальнейшим томом читателю становилось все яснее, что изображение реформы делается не под исключительным углом зрения, какой установлен был взглядом его стороны, что, не изменяя основным ее воззрениям, он значительно преломляет их, исправляя и углубляя привычные суждения. В пяти томах, посвященных собственно деятельности Петра, и потом во всех дальнейших читатель встречает полное изображение реформы с многообразными последствиями и связями, какие соединяли с ней все явления нашей внешней и внутренней жизни как при самом преобразователе, так и при его преемниках и преемницах до последней четверти того века, – и все это на основании изучения обширнейшего, большею частью нетронутого исторического материала, изучения, какого не предпринимал еще ни один русский ученый до Соловьева.

Историк остался верен благоговейному удивлению перед деяниями Петра, который в его повествовании вырастает в величавый, колоссальный образ, во всю свою историческую величину, но история не превращалась в эпос. Самый процесс реформы при Петре и после него описан удивительно просто или,

как говорится, объективно, со всеми колебаниями и ошибками, с намеренными и нечаянными уклонениями в сторону и с тревожными, как бы инстинктивными поворотами на прежний путь. Читатель, переживший реформы императора Александра II, мог по книге Соловьева с большим для себя назиданием наблюдать, во что обходился, каких усилий и жертв стоил Петру каждый успех в общем улучшении народной жизни, как при каждом шаге могучего двигателя старина силилась отбросить его назад, как, по печально удачному выражению Посошкова, «наш монарх на гору сам – десять тянет, а под горы миллионы тянут» – короче, сколько условности, метафоры в наших словах, когда мы, из своей обобщающей дали оглядываясь на прошлое, говорим о переходах народной жизни со старых основ на новые.

Но самое сильное и поучительное впечатление, какое выносил из книги читатель, заключалось во взгляде на происхождение реформы, ее отношение к Древней Руси. «Никогда, – писал историк в заключительной оценке деятельности Петра, – ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века». «История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов, во всемирной истории». И рядом с этим читаем суждение о реформе Петра как о перевороте, необходимо вытекшем со всеми своими последствиями из условий предшествовавшего положения русского народа, что деятельность Петра была подготовлена всей предшествовавшей историей, необходимо из нее вытекала, требовалась народом. Итак, ни личного произвола, ни насильственного, хотя бы творческого перерыва в естественном движении народной жизни, ничего чудесного не понадобилось для научного объяснения единственного в своем роде исторического дела, совершенного «величайшим из исторических деятелей», как назвал Соловьев Петра I: достаточно было простой мысли, что народная жизнь никогда не порывает со своим прошедшим, что такой разрыв – только новая метафора.

В повествовании о времени, следовавшем за смертью Петра, по мере того как оскудевал запас подготовительных трудов в русской исторической литературе и историк оставался один перед громадным сырым материалом, перед мемуарами, журналами Сената, бумагами Государственного совета, делами польскими, шведскими, турецкими, австрийскими и т. д., «История России» все более переходила к летописному,

погодному порядку изложения, изредка прерываемому главами о внутреннем состоянии России, с очерками просвещения за известный ряд лет. Но мысль о реформе как связующая основа в ткани, проходит в повествовании из года в год, из тома в том. Читая эти 11 томов, иногда как будто забываешь, что постепенно удаляешься от времени Петра. Меняются лица и обстановка, а преобразователь как будто продолжает жить, наблюдает за своими преемниками и преемницами, одобряет или порицает их деятельность. Так живо чувствуется действие его идей и начинаний либо непонимание тех и других в мерах и намерениях его продолжателей, и так часто напоминает об этом сам историк, для которого реформа Петра – неизменный критерий при оценке всех развивающихся из нее или после нее явлений.

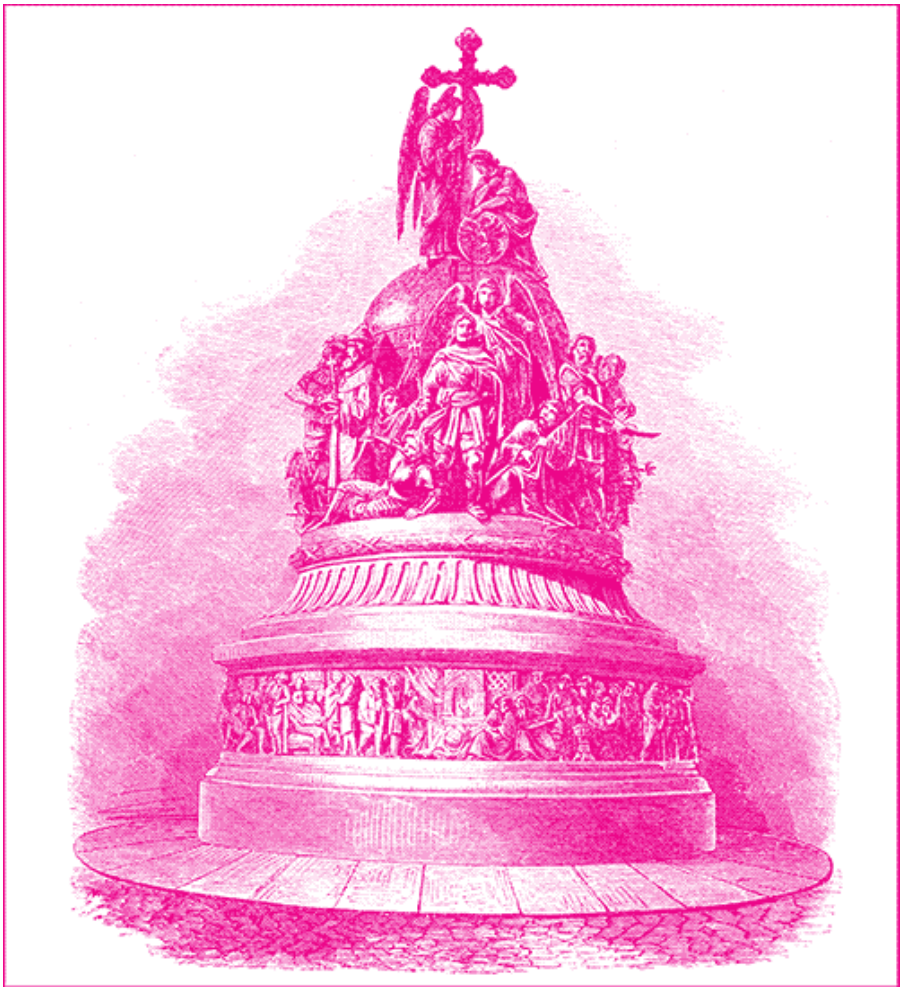
Так читатель приближается к концу третьей четверти века, и тут прерывается рассказ, покидая его накануне пугачевщины, перед эпохой усиленной внутренней деятельности правительства, перед обществом, которому этот мятеж впервые так ярко и так грозно осветил его положение. Но было бы в высшей степени желательно, чтобы именно эту эпоху, конец века, изобразил историк, описавший его начало и продолжение. То было время житейской проверки того, чем жило русское общество дотоле; тогда и в самом обществе появляются первые попытки спокойно, без вражды и без обожания, взглянуть на дело Петра. С наступлением нового века возникнут такие внутренние потребности, придут такие сторонние влияния, которые поставят правительству и обществу задачи, не стоявшие перед Петром. Но до той поры дела бежали, еще движимые толчком, полученным от Петра. Оставалось подвести итоги, подсчитать результаты и объяснить неожиданности.

Один из питомцев Петра выразился о преобразователе: «На что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут». Но к исходу века откуда-то почерпались дела, не сродные сему источнику. Петр ограничил пытку, и если сражение при Лесной, где преобразованная русская армия в 1708 г. впервые победила шведов, не имея численного превосходства, было, говоря словами Петра, «первой солдатской пробой» его дела, то распространение телесных наказаний на привилегированные сословия, три четверти века спустя после указа о пытке, можно признать последней законодательной пробой того же дела, только с другой стороны. Одна из любопытнейших частей нашей истории – судьба петровских преобразований после преобразователя – осталась недосказанной в книге Соловьева.

Долгим трудом воспроизведенное, глубоко продуманное

историческое строение силлогизма русской жизни в продолжение столетия роковым образом перервалось перед моментом, которого читатель давно ждал с напряженным вниманием, – перед завершительным *итак*. Этот перерыв оставил и, может быть, надолго в научной полутьме наш XVIII век. Вот чего жаль, и вот в чем потеря. Никто ближе Соловьева не стоял к источникам истории этого века, никто глубже его не проникал в наиболее сокрытые ее течения; ни чье суждение не помогло бы больше успешному разрешению трудных вопросов, какие она ставит. Об историческом труде Карамзина Соловьев писал, что остановка его на Смутном времени, отсутствие подробной истории XVII в., этого моста между древней и новой Россией, надолго должны были способствовать распространению мнения, что новая русская история есть следствие произвольного уклонения от прежне правильного пути. Соловьев перекинул этот мост, восстановил историческую связь между древней и новой Россией, разрушил предрассудок о произвольном уклонении; но и у него остался недостроенным путь между началом и концом XVIII в. Отсюда ряд недоумений. Век, начавшийся усиленными правительственными заботами о народном просвещении, заведением русской книгопечатни за границей, завершился закрытием частных типографий в самой России. Правнук преобразователя, впервые заговорившего об *Отечестве* в высоком народно-нравственном, а не в узком местническом смысле этого слова, о служении Отечеству как о долге всех и каждого, запретил употребление самого этого слова. Если никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первой четверти XVIII в., то редко когда идея исторической закономерности подвергалась такому искушению, как в последней его четверти.

Повторю: в двадцать пятую годовщину смерти Соловьева, вспоминая, что сделала эта трудовая жизнь для русского исторического сознания, сожалеешь невольно о том, что смерть помешала ей сделать.



М. Микешин. **Памятник тысячелетию Российского государства в Новгороде**

Т.Н. Грановский

Т. Н. Грановский. *С литографии П. Бореля*

Полвека прошло, как закрылась могила Грановского.[34] От него пошло университетское предание, которое чувствует, которое носит в себе всякий русский образованный человек. Все мы более или менее – ученики Грановского и преклоняемся перед его чистою памятью, ибо Грановский, не другой кто, создал для последующих поколений русской науки идеальный первообраз профессора. Едва он успел закрыть глаза, а Соловьев, Дмитриев, Бабст,[35] Кавелин, Чичерин уже благоговейно приникают к памяти человека, скоторым расходились в иных научных взглядах, в складе ума и характера. Их соединяла с Грановским идея, которая в свое время и привлекала студентов в его аудиторию.

Грановский преподавал науку о прошедшем, а слушатели выносили из его лекций веру в свое будущее, ту веру, которая светила им путеводной звездой среди самых беспросветных ночей нашей жизни. Лекции Грановского о Греции и Риме, о феодальном Средневековье воспитывали деятельную любовь к русскому отечеству, ту энтузиастическую жажду работы на его благо, ту крепость общественного духа, которая помогла лучшим русским людям минувшего полувека пронести на своих плечах

сквозь вековые препятствия все тягости преобразовательной эпохи. История, сохраняя в чтениях Грановского свой строгий характер науки, становилась учительницей жизни. Это Грановский научил свою аудиторию ценить научное знание как общественную силу. С его времени, с его публичных лекций Московский университет стал средоточием лучших чаяний и помыслов для образованного русского общества. Грановский завязал ту внутреннюю духовную связь между Московским университетом и обществом, которая крепка доселе и для обоих стала старозаветной традицией. *Наш университет, наш Грановский* – эти слова стали привычными выражениями в Москве с того времени. Эта связь в многотысячном лице московского студенчества тонкими нитями расходилась далеко-далеко от Москвы во все стороны. В эпоху общего нравственного колебания и общественного уныния Грановский, вещая правду и свободу, стоял на своем месте твердо и прямо. Имя его стало лозунгом, символом общественного возрождения, совершаемого переработкой слова науки в дело жизни.

Большая государственная печать Российского государства.

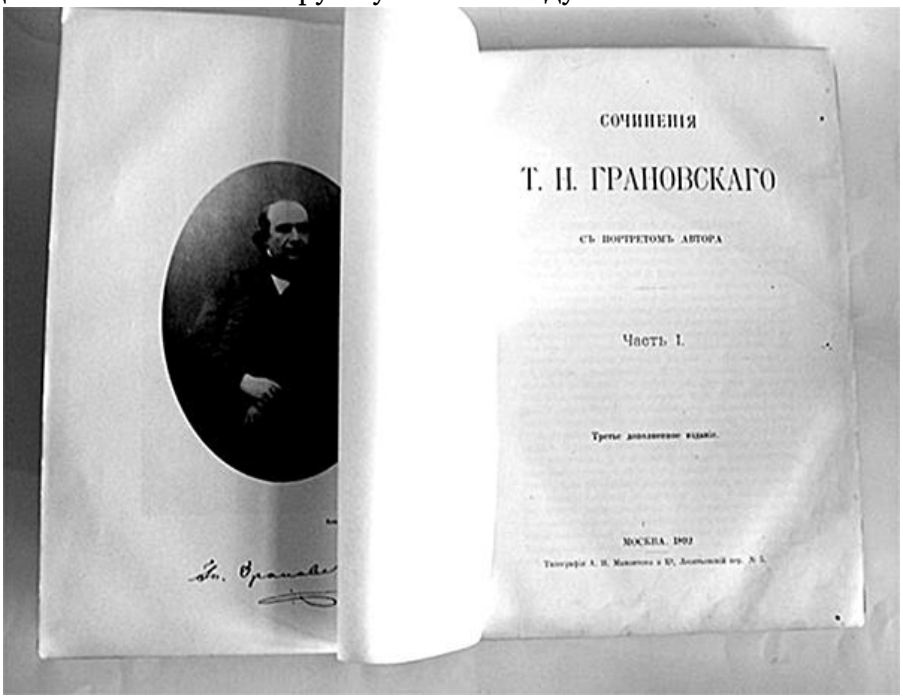
Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

Таково предание, сложившееся о Грановском в продолжение пятидесяти лет со дня его смерти. Можно было бы думать, что мысль Грановского, привыкшая работать над великими мировыми делами и деятелями, неохотно обращалась к отечественной истории, к ее невзрачным или печальным явлениям, о которых

повествуют тощие страницы его летописей. Но русская история стояла вокруг Грановского со всеми своими тяжелыми условиями, над которыми поработали века. От этой истории, точнее, от действительности, ею созданной, невозможно было укрыться в академическую келью: она вторгалась вкаждое независимое личное существование со своими грубыми требованиями. Да и натура Грановского была не такова, чтобы он мог стать ученым-отшельником. Он рано почувствовал, что только упорной борьбой можно пронести сквозь толщу тогдашней жизни общественные начала, которым он решил служить. Он искал вокруг себя и прежде всего в своей аудитории свежих сил, которые можно было бы подготовить к делу. В 1845 г., предупреждая задуманную студентами овацию, Грановский, тогда 32-летний преподаватель, сказал в аудитории своим слушателям, что он и они принадлежат к молодому поколению, в руках которого жизнь и будущность отечества, что им предстоит долгое служение «нашей великой России», преобразованной Петром, идущей вперед и с одинаковым презрением относящейся и к клевете иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей Западу, и к «старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы, и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным воображением». «Побережем себя на великое служение», – сказал в заключение Грановский.

В этих словах выразился его взгляд на свое профессорское дело, а в этом взгляде сказалось глубокое понимание окружающих условий, в которых жило русское общество. Нужно было действовать не только на мысль, но и на настроение и приготовлять деятелей для будущего. Грановский и смотрел на свою аудиторию как на школу гражданского воспитания. Художественная обработка изложения, мягкий пафос профессора помогали слушателю переноситься в область общественно-исторических идей, которые в будущем, в деятелях, выраставших из слушателей, уже сами приложатся к действительности и облагообразят ее. Грановский не проводил своих идей как запретного товара среди поразительной наивности правительства, видевшего конституционную прокламацию в альманахе, и среди пугливого общества, чуявшего запах революции в трескучем письме Погодина. Лояльно-прямо, возвышенно и художественно, он воспитывал в слушателях на своих исторических построениях, на уроках, даваемых ходом истории, идею долга и ответственности перед обществом. И этим Грановский шевелил смутную тревогу влюдях николаевского режима. Его долго не пускали в деканы, чтобы затруднить ему общение со студентами

и влияние на строй преподавания, ославили чуть не тайным революционером, а после его всколыхнувших московское общество публичных курсов позаботились, чтобы в Москве забыли, что такое публичные университетские лекции. Но самую идею профессорской деятельности Грановского все более цепеневшие казенные руки уловить и задушить были бессильны.


СОЧИНЕНІЯ

Т. Н. ГРАНОВСКАГО

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА

Часть I.

Третье дополненное изданіе.

МОСКВА. 1892

Книга «Сочинения Т. Н. Грановского».
1892 г.

Жизненная драма Грановского навевает глубокую грусть. Грановский верил и надеялся, верил в свое дело и надеялся на его успех. Веру он мужественно сберег до конца, но успех становился все безнадежнее, особенно после 1848 г., хотя в личности Грановского соединялись свойства, способные в другом порядке обеспечить ему торжество. Он обладал в высшей степени силой нравственного обаяния, тайна которого скрывалась во всем его духовном складе. Это был оптимист в лучшем смысле слова. Не игнорируя зла, он во всем и во всех искал добра, в каждом явлении умел находить положительную сторону; вего широком взгляде на жизнь и историю смягчались слишком односторонние или резкие направления. Так отзывались о нем люди, хорошо его знавшие, без различия личного к нему отношения. Отрицание было совсем не свойственно его ясному и стройному уму. Но, примирительный по природе, он не был уступчив в принципах. Мягкость отношений соединялась у него с твердостью характера; никого не вызывая на бой, он никому не хотел сдаваться. Между

тем вокруг себя он видел только нетерпимость или духовную апатию. Под гнетом господствовавшего порядка люди озлоблялись или теряли нравственное и общественное понимание.

И. Никитин. **Петр I на смертном ложе**

Известен невольный идейный разрыв Грановского с ближайшими друзьями, известно и то, как он утратил веру в их эмигрантскую деятельность. Еще более известны ужасные слова его про славянофилов: «Эти люди противны мне, как гробы; от них пахнет мертвечиной; ни одной светлой мысли, ни одного благородного взгляда; оппозиция их бесплодна, потому что основана на одном отрицании всего, что сделано у нас в полтора столетия новейшей истории». Но, разорвав с обеими оппозициями в обществе, он не стал менее подозрителен для правительства, и там не могли ничего усвоить из того, за что он стоял. Он изверился, наконец, и в будущем.

Заступаясь за Петра, он написал Герцену полные уныния слова: «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного

и крепкого из славянских племен; наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму, но жить здесь никто не умеет». Но Грановский умел сохранить эту веру и любовь, остался рыцарем, как его называли, благороднейшим крестоносцем, шедшим беззаветно к своей обетованной цели, без надежды на победу, но и без страха перед поражением. Весть о падении Севастополя заставила его плакать. Всего за несколько недель до смерти, уже больной, он писал: «Будь я здоров, я ушел бы в милицию, без желания победы России, но с желанием умереть за нее; душа наболела за это время; здесь все порядочные люди поникли головами». И, однако, он не опускал рук. В последнем письме он жалуется на несвоевременность своей болезни, через двое суток покончившей его жизнь: у него много спешной работы; ему, как декану, надо много сделать для факультета, для улучшения преподавания; он задумал с Кудрявцевым журнал «Исторический сборник», надеясь, что «эластическое слово *исторический* дало бы издателям возможность касаться самых жизненных вопросов», уговаривает Кавелина стряхнуть лень и снова взяться за дело… Грановский не разбивал своих скрижалей.

В 1855 г. Грановскому случилось увидеть портрет Петра Великого, писанный с мертвого, вероятно, тотчас после кончины преобразователя. «Мне кажется, – писал Грановский, – я был бы в состоянии по целым часам стоять перед этой картиной; я охотно отдал бы за нее любимые книги мои». Его поразило выражение бледного лица на фоне красной подушки: «Верхняя часть божественно прекрасного лица запечатлена величавым спокойствием; мысли нет более, но выражение ее осталось. Такой красоты я не видел никогда. Но жизнь еще как будто не застыла в нижней части лица. Уста сжаты гневом и скорбью; они как будто дрожат. Целый вечер смотрел я на это изображение человека, который дал нам право на историю и едва ли не один заявил наше историческое призвание».

Теперь, спустя 50 лет по смерти Грановского, можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра, можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему, С. М. Соловьев, веривший, что восстающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах, Чичерин, в 1860-х годах предпочитавший «честное самодержавие несостоятельному представительству», а 30 лет спустя принужденный печатать за границей свои последние и заветные мысли, и много, много других, менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся

на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя малую крупицу Петра Великого, своего духовного родоначальника, икаждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах.

Приложение

ДРЕВНЕЕ ЗНАМЯ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА КИЕВСКОГО.

Литография В. А. Прохорова. XIX в.

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КИЕВСКИЙ ВЛАДИМИР СВЯТОСЛАВИЧ.
Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, ПРОЗВАННЫЙ МУДРЫМ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КИЕВСКИЙ.

Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

А. Д. Кившенко. **ЧТЕНИЕ НАРОДУ «РУССКОЙ ПРАВДЫ» В ПРИСУТСТВИИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА.** *1880 г.*

В. М. Васнецов. **ОТДЫХ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА МОНОМАХА ПОСЛЕ ОХОТЫ.** *1895 г.*

ВЛАДИМИР II МОНОМАХ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КИЕВСКИЙ.
Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

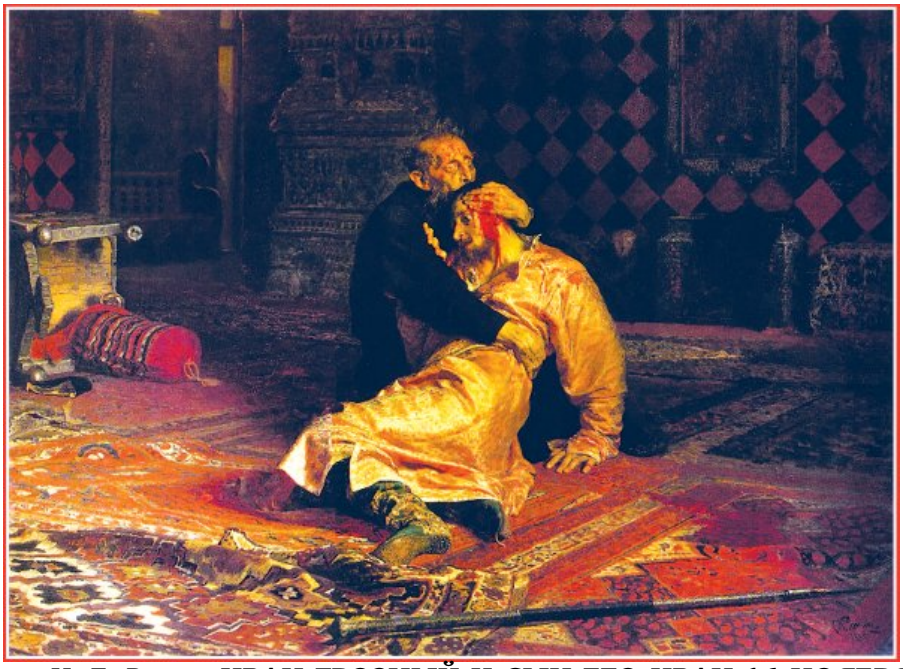
КОЛОКОЛЬНЯ ИВАНА ВЕЛИКОГО.
Литография XIX в.

ИВАН III ВЕЛИКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МОСКОВСКИЙ, ПЕРВЫЙ ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВСЕЯ РУСИ.

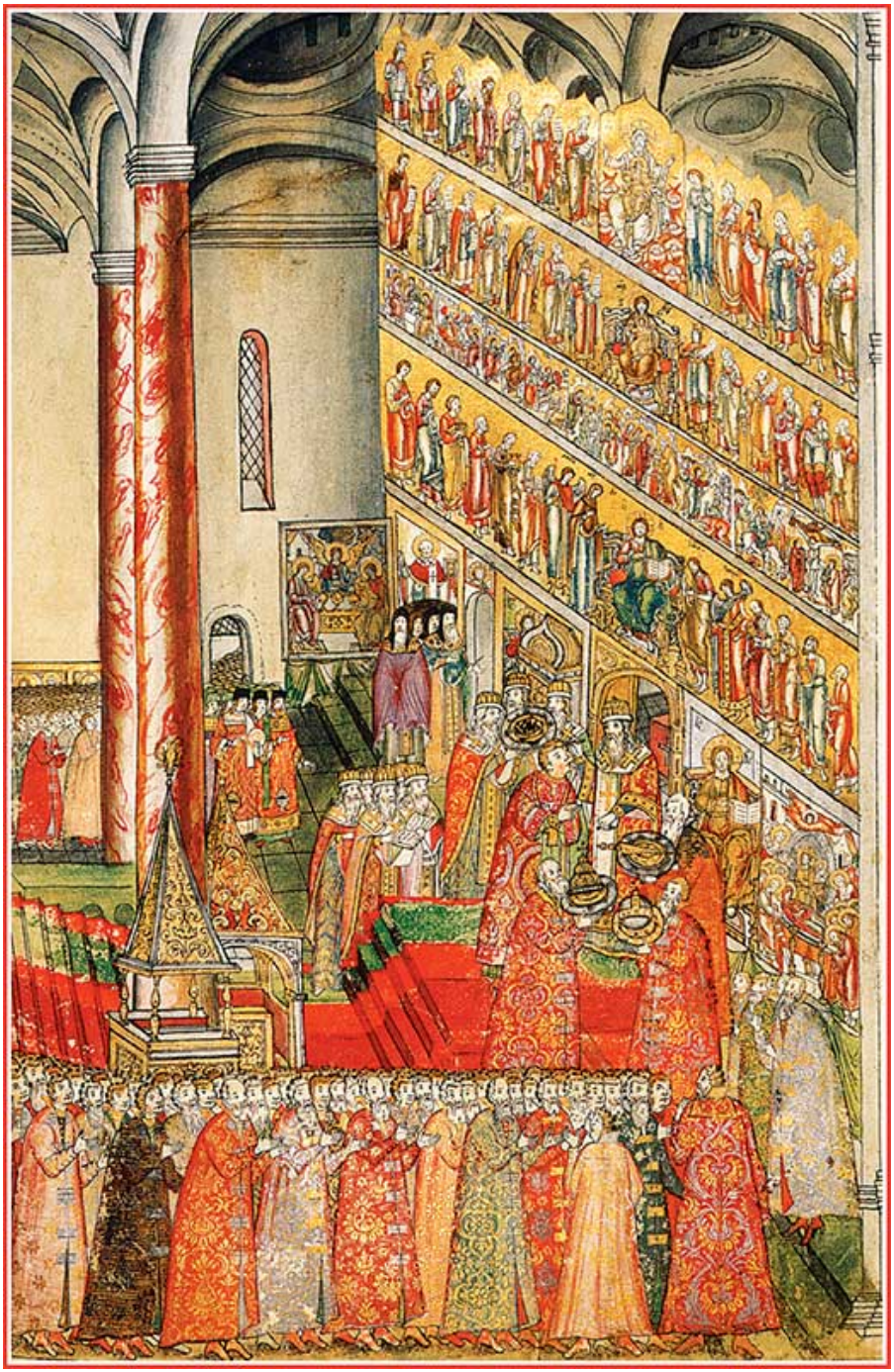
Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВСЕЯ РУСИ ИОАНН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ.

Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.



И. Е. Репин. **ИВАН ГРОЗНЫЙ И СЫН ЕГО ИВАН 16 НОЯБРЯ 1581 ГОДА.** *1885 г.*



ВЕНЧАНИЕ НА ЦАРСТВО ЦАРЯ МИХАИЛА ФЕДОРОВИЧА В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ.

Миниатюра из «Книги об избрании на превысочайший престол великого Российского царствия великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича, всея Великия России самодержца».

Москва, 1672–1673 гг. Фрагмент

ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

БОЛЬШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА.

Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

ЦАРЬ И ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Из «Царского Титулярника» царя Алексея Михайловича. 1672 г.

В. М. Васнецов. **ВЫЕЗД ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА НА ОХОТУ.** *1897 г.*

А. Ф. Афанасьев. **ВЪЕЗД ПЕТРА I В МОСКВУ ПОСЛЕ ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ.** *1890-е гг.*

ЛАРЕЦ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПЕЧАТЯМИ ПЕТРА I
Начало XVIII в.

Е. Е. Лансере.
ПЕТЕРБУРГ В XVIII ВЕКЕ. ЗДАНИЕ ДВЕНАДЦАТИ КОЛЛЕГИЙ.
1903 г. Фрагмент

БОЛЬШАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ ПЕТРА I
Начало XVIII в.

Неизвестный французский художник.
ПЕТР I И ЕКАТЕРИНА I.
1717 г.

Луи Каравакк.
ПОРТРЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ИОАННОВНЫ.
1730 г.

И. Я. Вишняков.
ПОРТРЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ.
1743 г.

А. П. Антропов.
ПОРТРЕТ ПЕТРА III.
1762 г.

Антон Броннер.

ПОРТРЕТ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА И ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ.

1760-е гг.

Стефано Торелли.

КОРОНОВАНИЕ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II 22 СЕНТЯБРЯ 1762 ГОДА.

1777 г. Фрагмент

Т. И. Иванов.
МЕДАЛЬ В ЧЕСТЬ КОРОНАЦИИ ЕКАТЕРИНЫ II.
1762 г.

Ф. И. Шубин. **СКУЛЬПТУРНЫЙ ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ II.** *1791 г.*

Л. О. Пастернак.

ВЫЕЗД ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II В МУНДИРЕ КОННОЙ ГВАРДИИ НА ОХОТУ 3 °СЕНТЯБРЯ 1767 ГОДА.

Начало XX в.

ПОРТРЕТ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II.
Шпалера. 1833 г.

В. Л. Боровиковский.
ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I.
1800 г. Фрагмент

Дж. Доу. **ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.** *1825 г.*

И.А. Иванов. **ПРАЗДНЕСТВО 19 МАРТА 1816 г. В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ЧЕСТЬ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЫ ВСТУПЛЕНИЯ РУССКИХ ВОЙСК В ПАРИЖ.** *1816 г.*

Дж. Доу. **ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I.** *1820-е гг.*

К. И. Кольман. **ВОССТАНИЕ 14 ДЕКАБРЯ 1825 г. НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ.** *1830-е гг.*

А. Д. Кившенко. **ЧТЕНИЕ МАНИФЕСТА 1861 ГОДА АЛЕКСАНДРОМ II НА СМОЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.** *1880 г.*

К. Е. Маковский. **ПОРТРЕТ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II.** *1880-е гг.*

notes

Примечания

1

Данный сборник, включающий персоналии русских исторических деятелей, составлен на основании «Курса по русской истории» и отдельных статей автора. Печатается по изданию: *Ключевский В. О.* Сочинения в девяти томах. М., 1987. Т. I–IX.

2

Данное сравнение В. О. Ключевского понятно, если учитывать, что петиметр – «маленький человек», *a home de lettress* – «человек с большой буквы».

3

В 1861 г. в Российской империи было объявлено о завершении Кавказской войны. Вместе с этим была упразднена Кавказская укрепленная линия, построенная для покорения Кавказа.

4

В 1685 г. по просьбе царя Федора в Москву прибыли греческие учителя – братья Лихуды: Иоанникий и Софроний. Они начали преподавательскую деятельность в школах Заиконо-Спасского монастыря. Свободные от западных влияний, Лихуды преподавали риторику, пиитику, грамматику, логику, математику и физику согласно греческим православным традициям.

5

Сэмюэл Ричардсон (1688–1761) – английский писатель; автор романов «Кларисса», «История сэра Чарльза Грандисона» и др.

Жан Жак Руссо (1712–1778) – французский философ-просветитель, писатель. Сотрудничал в «Энциклопедии». Сочинения: «Об общественном договоре» (1762), «Рассуждения о науках и искусствах» (1750), «Эмиль, или О воспитании» (1762), «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), «Исповедь» (1766–1769) и др.

6

Яков Борисович Княжнин (1742–1791) – писатель. Учился в 1750–1755 гг. в гимназии при Академии наук. С 1762 г. на военной службе. В 1778 г. – секретарь И. И. Бецкого. Член Российской академии с1783 г. Автор трагедий «Росслав» (1784), «Вадим Новгородский» (1789), комедий, переводов Вольтера, П. Корнеля, К. Гольдони и др.

7

Голубиная книга, или *Глубинная* – получила свое название от глубины заключенной в ней премудрости. Представляет собой народный духовный стих, изложенный в вопросах и ответах, рассказывает о космогонии мира.

8

Христиан Гольбах (1690–1764) – математик, академик Петербургской Академии наук с 1725 г. В 1725–1740 гг. конференц-секретарь Академии наук. С 1742 г. служил в Коллегии Иностранных дел.

9

Иван Владимирович Лопухин (1756–1816) – русский государственный деятель, сенатор, публицист. С 1780-х гг. деятель масонства (орден розенкрейцеров). В 1783 г. масонское «Дружеское общество» открыло в Москве две типографии: одну – на имя Н. И. Новикова, другую – на имя И. В. Лопухина.

10

Иван Григорьевич Шварц (ум. в 1784 г.) – писатель. Приехал в Москву в 1776 г., экстраординарный профессор немецкого языка в Московском университете с 1779 г. и инспектор педагогической семинарии при университете.

11

Семен Иванович Гамалея (1743–1822) – один из деятелей новиковского кружка, благотворитель, известен под именем «Божий человек». Учился в Киевской духовной академии, служил в Сенате и Канцелярии московского генерал-губернатора. В 1830-х гг. опубликована его переписка с Новиковым, Лопухиным, Карамзиным, Тургеневым и др.

12

Иван Петрович Тургенев (1752–1807) – директор Московского университета. Отец декабристов Николая и Александра.

13

Михаил Матвеевич Херасков (1733–1807) – писатель, поэт, просветитель, сын валашского боярина, выехавшего в Россию в начале XVIII в. Учился в Сухопутном шляхетском корпусе, служил в армии, затем в Коммерц-коллегии; в 1755–1802 гг. – в Московском университете (заведующий типографией, директор, куратор); создатель Московского благородного пансиона, студенческого театра; активный деятель масонства. Автор трагедий, поэм, од, басен, повестей; издатель журналов «Полезное увеселение», «Невинное развлечение», «Свободные часы». В творчестве Хераскова прослеживается переход от классики к сентиментализму.

Иоанн Масон. Познание самого себя. М., 1783. Ч. I–II.

15

Джон Мильтон (1608–1674) – английский поэт, политический деятель, участник Английской революции. В 1632 г. окончил Кембриджский университет, магистр искусств. Автор памфлетов 1640-х гг. – «Ареопагитика», «Иконоборец», «Защита английского народа». В 1649–1652 гг. в должности «латинского секретаря» вел международную государственную переписку. Соч.: «Потерянный рай» (1671), трагедия «Самсон-борец» (1671), «История Британии» (1670) и др.

16

Анакреонт (ок. 570–478 гг. до н. э.) – древнегреческий лирический поэт, жил на острове Самосе, затем в Афинах.

Андре Мари Шенье (1762–1794) – французский поэт и публицист. Приветствовал Великую Французскую революцию; в 1793 г. арестован и казнен якобинцами. Написал оду «Клятва в зале для игры в мяч» (1791), антиякобинский цикл «Ямбы» (в тюрьме).

Эварсит Дезире де Форж Парни (1753–1814) – французский поэт, член французской Академии (1803), граф. Автор сочинений: «Поэтические безделки» (1779), «Битва богов» (1799) и др.

Джордж Ноэль Гордон Байрон (1788–1824) – английский поэт-романтик, лорд. Учился в Кембридже, с 1809 г. – член палаты лордов; в 1816–1820 гг. жил в Швейцарии и Италии; участник освободительной борьбы греков за независимость против Турции. Умер в Греции. Автор «Паломничества Чайльд-Гарольда», «Шильонского узника», романа в стихах «Дон Жуан», драматических произведений.

Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт. Участник политической борьбы во Флоренции. Главные соч.: «Божественная комедия», политический трактат «О монархии».

17

Адам Мицкевич (1798–1855) – польский поэт. Учился на историко-философском факультете Вилен-ского университета в 1815–1823 гг., в 1819–1823 гг. работал учителем в Ковно. В 1823 г. арестован по делу тайной организации «филоматов». После неудачной попытки присоединиться к польскому восстанию 1830 г. жил в Париже. Автор «Дзядов», «Конрада Валленрода», «Пана Тадеуша», многочисленных лирических стихов.

18

В дословном переводе эта фраза звучит: «А, это сборище моих друзей 14-го».

19

«Бог из машины» (лат.) – неожиданно являющаяся сила, разрушающая безвыходное положение.

20

Константин Николаевич Бестужев-Рюмин (1829–1897) – историк. Окончил юридический факультет Московского университета; с 1865 г. – профессор кафедры русской истории Петербургского университета, с 1890 г. – академик. В 1878–1882 гг. возглавлял Высшие (Бестужевские) женские курсы. Член Археографической комиссии, Русского Географического общества, Общества истории и древностей Российских, активный деятель Петербургского славянского комитета.

21

Николай Иванович Костомаров (1817–1885) – историк, писатель; в 1837 г. окончил Харьковский университет; с 1846 г. – профессор Киевского университета, в 1859–1862 гг. – профессор Петербургского университета. Занимался историей Украины, народных движений в России, этнографией.

Борис Николаевич Чичерин (1828–1904) – историк, правовед, публицист; в 1861–1868 гг. – профессор Московского университета. Один из основателей так называемой «государственной школы»; деятель либерального движения; в 1882–1883 гг. – городской голова Москвы.

22

Михаил Александрович Максимович (1804–1873) – историк, филолог, фольклорист, ботаник-эволюционист. Окончил Московский университет; с 1826 г. – заведующий Ботаническим садом, с 1833 г. – профессор Киевского университета, где занимался изучением украинского фольклора, историей Древней Руси, русской литературой, языкознанием.

Иван Петрович Сахаров (1807–1863) – этнограф-фольклорист, палеограф; член Русского Географического и Русского Археологического обществ. Собиратель и издатель материалов древнерусской письменности, фольклора, этнографии, нумизматики, иконографии.

Иван Михайлович Снегирев (1793–1868) – этнограф-фольклорист, профессор Московского университета. Исследователь обычного права, общности славянского фольклора, собиратель и издатель русских пословиц, обычаев, обрядов и т. п.

Александр Власьевич Терещенко (1806–1865) – археолог, этнограф. Собиратель и издатель фольклора (песни, былины), материалов древнерусского быта. Член Археографической комиссии. Автор сочинения «Быт русского народа» (1848) и многих других.

23

Петр Алексеевич Бессонов (1828–1898) – историк литературы, фольклорист, славянофил.

Павел Николаевич Рыбников (1831–1885) – этнограф-фольклорист. Собиратель в Олонецкой губернии былин, исторических песен и их издатель.

Павел Васильевич Шеин (1826–1900) – этнограф-фольклорист. Собиратель и издатель русского народно-поэтического творчества (былины, песни, сказки, легенды, обряды).

Петр Васильевич Киреевский (1806–1856) – этнограф-фольклорист, публицист, археограф. Собиратель и издатель русского народно-поэтического творчества.

24

Александр Николаевич Афанасьев (1826–1871) – этнограф-фольклорист, историк русской литературы. Автор соч. «Поэтические воззрения славян на природу» (3 т. 1865–1869). Издатель русских сказок, легенд.

Иван Егорович Забелин (1820–1909) – историк и археолог. В 1837–1859 гг. работал в Оружейной палате; в 1859–1876 гг. – в Археологической комиссии в Петербурге. В 1879–1888 гг. – председатель Общества истории и древностей Российских. Один из организаторов, а в 1883–1908 гг. фактический руководитель Исторического музея в Москве. С 1884 г. – член-корреспондент, с 1907 г. – почетный член Петербургской Академии наук. Специалист по истории русского быта и материальной культуры. Соч.: «Домашний быт русского народа в XVI–XVII столетиях» (1862–1869), «История русской жизни с древнейших времен» (1876–1879), «Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы» (1884–1894) и др.

Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) – государственный деятель, сенатор; правовед, окончил училище правоведения (1846); в 1860–1865 гг. – профессор гражданского права Московского университета; в 1880–1905 гг. – обер-прокурор Синода, член Государственного совета. Противник реформ 1860-х гг., сторонник неограниченного самодержавия.

Михаил Александрович Дмитриев (1796–1866) – поэт, мемуарист.

Николай Савич Тихонравов (1832–1893) – историк литературы; профессор Московского университета; академик (1896). Издатель памятников русской литературы, сочинений Н. В. Гоголя.

Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) – историк русской и зарубежной литературы, фольклорист, публицист; академик (1896); активный участник журналов «Современник», «Вестник Европы».

25

Макарий (Булгаков Михаил Петрович) (1816–1882) – церковный деятель и историк, академик с 1854 г.; в 1841 г. окончил Киевскую духовную академию; ее ректор в 1851–1857 гг.; с 1879 г. – митрополит Московский и Коломенский. Автор трудов по истории Церкви, в т. ч. «Истории Русской Церкви» (тт. 1—12, 1866–1883).

26

Аристотель (384–322 гг. до н. э.) – древнегреческий философ, идеолог античного рабовладельческого общества. Учился в Академии Платона (Афины), с 343 г. до н. э. – воспитатель Александра Великого, сына македонского царя Филиппа. С 335 г. – глава философской школы в Афинах.

27

Геро де Сешель (1760–1794) – деятель Французской революции, юрист, депутат Законодательного собрания, якобинец. При якобинской диктатуре казнен как «умеренный».

28

Минос – по греческой мифологии, сын Зевса и Европы, легендарный царь Древнего Крита, положивший начало его морскому могуществу.

29

Томас Бабингтон Маколей (1800–1859) – английский историк, публицист, политический деятель; служил в английской администрации в Индии, в 1839–1841 гг. – военный министр; отражал интересы крупной буржуазии, противник всеобщего избирательного права; автор «Истории Англии».

Юлиан Шмидт (1818–1886) – немецкий критик и историк литературы.

30

Умер 4 октября 1879 г.

31

Август Неандер (1789–1850) – протестантский историк Церкви, как профессор богословия преподавал в Берлине. Считал, что история Церкви не может основываться на умозрительных концепциях, а должна оперировать фактами; его называли «отцом новейшей церковной истории».

32

Павел Йозеф Шафарик (1795–1861) – словацкий и чешский славист.

33

Павел Николаевич Леонтьев (1822–1874) – преподаватель Московского университета, первым читал курс сравнительной грамматики классических языков.

34

Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855) – историк и общественный деятель. Окончил юридический факультет Петербургского университета в 1835 г.; с 1839 г. – профессор всеобщей истории Московского университета, в 1837–1839 гг. занимался в Берлинском университете. С 1839 г. читал в Москве первый (с 1843 г. – публичный) курс истории западноевропейского Средневековья.

35

Федор Михайлович Дмитриев (1829—?) – историк права; в 1859–1868 гг. – профессор Московского университета, с 1882 г. – попечитель Петербургского учебного округа; с 1886 г. – сенатор.

Иван Кондратьевич Бабст (1824–1881) – ученик Т. Н. Грановского; историк, политэконом, статистик; профессор Казанского (1851–1857) и Московского (1857–1874) университетов; в 1864–1868 гг. – директор Лазаревского института (Москва), с 1867 г. – управляющий Купеческим банком в Москве.